ОБЛАДАТЕЛЬ БУКЕРОВСКОЙ ПРЕМИИ 2015

Марлон Джеймс

Краткая история семи убийств



СОДЕРЖИТ НЕЦЕНЗУРНУЮ БРАНЬ

18+

СОДЕРЖИТ НЕЦЕНЗУРНУЮ БРАНЬ

Реальная история покушения на Боба Марли

Краткая история семи убийств
Марлон Джеймс

Аннотация
Марлон Джеймс. Краткая история семи убийств
Действующие лица
  Большой Кингстон (С 1959 Г.)
  Копенгаген
  Восемь проулков
  За пределами Ямайки (1976–1979)
  Монтего-Бэй (1979)
  Майами и Нью-Йорк (1985–1991)
Сэр Артур Джордж Дженнингс
Часть I. Первоначальные рокеры. 2 декабря 1976 года
  Бам-Бам
  Барри Дифлорио
  Папа Ло
  Нина Берджесс
  Бам-Бам
  Джоси Уэйлс
  Нина Берджесс
  Демус
  Алекс Пирс
  Джоси Уэйлс

Бам-Бам
Алекс Пирс
Папа Ло
Барри Дифлорио
Нина Берджесс
Демус
Сэр Артур Джордж Дженнингс
Часть II. Засада в ночи. 3 декабря 1976 года
Нина Берджесс
Папа Ло
Джоси Уэйлс
Барри Дифлорио
Алекс Пирс
Папа Ло
Нина Берджесс
Джоси Уэйлс
Барри Дифлорио
Папа Ло
Алекс Пирс
Нина Берджесс
Барри Дифлорио
Алекс Пирс
Нина Берджесс
Демус
Бам-Бам
Демус

Бам-Бам
Демус
Бам-Бам
Сэр Артур Джордж Дженнингс
Часть III. Танец тени. 15 февраля 1979 года
Ким Кларк
Барри Дифлорио
Папа Ло
Алекс Пирс
Джоси Уэйлс
Сэр Артур Джордж Дженнингс
Часть IV. Белые дорожки (Парни в Америке). 14 августа 1985 г
Доркас Палмер
Ревун
Тристан Филипс
Джон-Джон Кей
Джоси Уэйлс
Тристан Филипс
Доркас Палмер
Джон-Джон Кей
Джоси Уэйлс
Ревун
Доркас Палмер
Тристан Филипс
Ревун

Джон-Джон Кей
Доркас Палмер
Тристан Филипс
Джоси Уэйлс
Джон-Джон Кей
Доркас Палмер
Тристан Филипс
Джоси Уэйлс
Ревун
Доркас Палмер
Джон-Джон Кей
Сэр Артур Джордж Дженнингс
Часть V. Убийство диджея. 22 марта 1991 г
Один
Два
Три
Четыре
Пять
Шесть
Семь
Восемь
Девять
Десять
Одиннадцать
Двенадцать
От автора

Аннотация

3 декабря 1976 года. Ямайка на пороге гражданской войны, а в гетто Кингстона льется кровь. В этот день «король регги» Боб Марли готовился к грандиозному концерту, призванному ослабить напряжение в ямайском обществе. Внезапно семеро стрелков, вооруженных автоматическим оружием, вломились к нему в дом и буквально изрешетили всё вокруг. Певец выжил – и даже провел концерт, несмотря на ранения в грудь и руку. Но неясные, темные слухи об этом покушении еще долго будоражили весь мир…

Марлон Джеймс
Краткая история семи убийств

Морису Джеймсу – джентльмену, непревзойденному в своей лиге

Marlon James
A Brief History Of Seven Killings
Copyright © 2014 by Marlon James
This edition is published by arrangement with Trident Media Group, LLC and The Van Lear Agency LLC

Внимание! Текст книги содержит фрагменты, связанные с распространением и употреблением наркотических средств!

Содержит нецензурную брань!

© Перевод на русский язык. Шабрин А.С., 2016

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Э», 2016

Действующие лица

Большой Кингстон (С 1959 Г.)

Сэр Артур Дженнингс – бывший политик, ныне покойный

Певец – регги-звезда мировой величины

Питер Нэссер – политик, стратег

Нина Берджесс – бывшая секретарша, сейчас безработная

Ким-Мари Берджесс — ее сестра

Рас Трент – бойфренд Ким-Мари

Луис «Доктор Лав» Эрнан Родриго де лас Касас — консультант ЦРУ

Барри Дифлорио – резидент ЦРУ на Ямайке

Клэр Дифлорио — его жена

Уильям Адлер – бывший агент ЦРУ, теперь изменник и негодяй

Алекс Пирс — репортер журнала «Роллинг Стоун»

Марк Лэнсинг — кинорежиссер, сын экс-директора ЦРУ Ричарда Лэнсинга

Луис Джонсон — агент ЦРУ

Мистер Кларк — агент ЦРУ

Билл Билсон — репортер «Глинер» (Ямайка)

Сэлли Кью – посредница, осведомительница

Тони Макферсон — политик

Офицер Уотсон — полисмен

Офицер Невис — полисмен
Офицер Грант — полисмен

Копенгаген

Рэймонд «Папа Ло» Кларк – дон Копенгагена[1] (1960–1979)

Джоси Уэйлс – старший инфорсер[2], дон Копенгагена (1979–1991), главарь «Шторм-группы»

Ревун – криминальный авторитет, старший инфорсер «Шторм-группы» (Манхэттен / Бруклин)

Демус – гангстер

Хекль – гангстер

Бам-Бам — гангстер

Цыпа – гангстер

Рентон — гангстер

Зверюга Легго — гангстер

Тони Паваротти – инфорсер, снайпер

Жрец – курьер, осведомитель

Душка – осведомитель; по слухам, шпион Восьми Проулков

«Уэнг-Гэнг» – банда района Уэнг-Сэнг, связанного с Копенгагеном

---

[1] Примечания: 1

Копенгаген — один из злачных районов Кингстона.

[2] Примечания: 2

Инфорсер — член гангстерской банды с функцией принуждения к выполнению ее требований.

Медяк – инфорсер банды
Китаёз – главарь банды близ Копенгагена
Макуха — гангстер
Бычара — инфорсер

Восемь проулков

Роланд «Шотта Шериф»[3] Палмер – дон Восьми Проулков (1975–1980)

Шутник – инфорсер банды, второй по старшинству

Бантин-Бэнтон – один из заправил, дон Восьми Проулков (1972–1975)

Тряпка – один из заправил, дон Восьми Проулков (1972–1975)

---

[3] Примечания: 3

Кличка происходит от знаменитой песни Боба Марли «Я застрелил шерифа» (*англ.* I Shot the Sheriff, причем рефрен поется как I Shotta Sheriff).

За пределами Ямайки (1976–1979)

Дональд Кассерли – наркоторговец, президент «Ямайской лиги свободы»

Ричард Лэнсинг – директор ЦРУ (1973–1976)

Линдон Вольфсбрикер – американский посол в Югославии

Адмирал Уоррен Танни — директор ЦРУ (1977–1981)

Роджер Теру — агент ЦРУ

Майлз Коупленд – резидент ЦРУ в Каире

Эдгар Анатольевич Чепоров — репортер агентства «Новости»

Фредди Луго – боевик «Альфа-66» (Объединенные революционные бригады «Амблад»)

Эрнан Рикардо Лозано — оперативник «Альфа-66» (Объединенные революционные бригады «Амблад»)

Орландо Бош — боевик «Омега-7» (Объединенные революционные бригады «Амблад»)

Гаэль и Фредди — боевики «Омега-7» (Объединенные революционные бригады «Амблад»)

Сэл Резник — репортер «Нью-Йорк таймс»

Монтего-Бэй (1979)

Ким Кларк — безработная
Чарльз «Чак» — инженер «Алькорп боксит»

Майами и Нью-Йорк (1985–1991)

«Шторм-группа» — ямайский наркосиндикат

«Иерархия донов» — конкурирующий ямайский наркосиндикат

Юби — старший инфорсер «Шторм-группы» (Куинс / Бронкс)

А-Плюс — сообщник Тристана Филипса

Свиной Хвост — инфорсер «Шторм-группы» (Куинс / Бронкс)

Питбуль — инфорсер «Шторм-группы» (Куинс / Бронкс)

Омар – инфорсер «Шторм-группы» (Манхэттен / Бруклин)

Ромео – наркодилер из «Шторм-группы» (Бруклин)

Тристан Филипс — заключенный «Рикерса»[4], член «Иерархии донов»

Джон-Джон Кей — киллер, автоугонщик

Пако — автоугонщик

Гризельда Бланко — наркобаронесса Медельинского картеля на территории Майами

---

[4] Примечания: 4

«Рикерс» — остров-тюрьма в проливе Ист-Ривер, относящийся к нью-йоркским районам Куинс и Бронкс.

Бакстер – вышибала при Гризельде Бланко

Гавайки – инфорсеры при Гризельде Бланко

Кеннет Колтхерст – житель Пятой авеню в Нью-Йорке

Гастон Колтхерст — его сын

Гейл Колтхерст — его невестка

Доркас Палмер — сиделка-домработница

Миллисент Сегри — медик-стажер

Мисс Бетси — управляющая «Боже благослови» (агентство по трудоустройству)

Монифа Тибодо — наркоманка

Сэр Артур Джордж Дженнингс

Как сказать об этом правду?
Милый, это сложнее всего.

Бонни Рэйтт «Заблудшие во тьме»

Если это не так, значит, это примерно так.

Ямайская поговорка

Слушайте.

Мертвые никогда не перестают говорить. Может, потому, что смерть — это вовсе не смерть, а оставление после уроков — точнее, задержание после школы жизни. Ты знаешь, откуда держишь путь, и извечно, раз за разом, возвращаешься из этого места. Знаешь, куда движешься, но все никак туда не доходишь, а сам при этом мертв. Мертв, и всё тут. В этом есть призвук некоей завершенности, но к слову незримо присобачена частица «*-ing*», означающая, согласно грамматике, продолженное время. Ты пересекаешься с людьми, мертвыми значительно дольше тебя; все время куда-то идешь, направляясь во все то же никуда, и слушаешь вокруг себя подвывания и пошипывания, потому как все мы — духи (или,

во всяком случае, так полагаем), но на самом деле мы попросту мертвы.

Духи, что, как сквозняк в окошко, впархивают в других духов. Скажем, женщина иногда крадучись проникает в мужчину и стенает памятью о занятиях любовью. Стенание это достаточно громко и явственно, но в окошко доносится не слышнее посвистывания или шепота под кроватью, которое маленькие дети принимают за барабашку. Залегать под кроватями мертвым нравится по трем причинам: (1) основное время мы действительно проводим лежа; (2) низ кровати снизу кажется изнанкой гроба, но (3) налицо вес — тот самый, человеческий, вес наверху, в который ты можешь забраться и тем самым незаметно усилить его, ревниво вслушиваясь в биение сердца, глядя, как оно качает кровь, а ноздри чуть слышно посвистывают, нагнетая в легкие воздух (о, эта зависть живому дыханию, пусть даже самому краткому!). Что до гробов, то лично мне они не помнятся.

Но мертвые никогда не перестают разговаривать, и иногда это доносится до слуха живых. Вот что мне хотелось сказать. Когда ты мертв, твоя речь представляет собой не более чем набор дуновений ветра и окольных путей, по которым ты

какое-то время бесцельно дрейфуешь. Во всяком случае, так поступают остальные. Я же смекнул, что изошедшие могут учиться от изошедших, хотя дело это непростое. Я ухитряюсь слушать себя, одновременно твердя тем, кто способен слышать, что упал я не сам, а меня выпихнули с балкона отеля «Сансет-Бич» в Монтего-Бэй. Не могу я и велеть себе заткнуться — «закрой хайло, Арти Дженнингс», — потому что каждое утро, просыпаясь, я вынужден заново собирать свою размозженную, как тыква, голову. Даже сейчас при разговоре я могу слышать то, что уже говорил: «Вы вообще врубаетесь, раздолбаи?» В смысле, что загробная жизнь — это вам не миниатюрка из хэппенинга и не отпадная, язви вас, вечеринка («ух ты, сколько же клевых чуваков на ковре»). Но пока так никто и не врубился, и мне не остается ничего иного, как ждать того, кто спровадил меня на тот свет. Но он все не мрет, а лишь медленно стареет, меняя по ходу жен на все более и более молодых, и растит целый выводок имбецилов; дряхлеет и постепенно доводит свою страну до ручки.

Мертвые балаболят без умолку, и порой живые их слышат. Иногда, если подловить спящего в миг трепетанья ресниц во сне, он вступает с

тобой в диалог и не прерывает его, пока жена не шмякнет спящего по щеке. Хотя лично мне больше нравится слушать тех, кто умер давно. Мне порой доводится видеть людей в рваных панталонах и окровавленных камзолах; они тоже пытаются что-то поведать, но у них изо рта начинает булькать кровь — да, восстания рабов были жутким делом, и королеве, конечно же, приходилось не церемониться еще с той поры, как с помпезностью пошла ко дну Вест-Индская компания — в отличие, возможно, от Ост-Индской; а сколько негров при этом полегло к месту и не к месту, просто уму непостижимо… да будь оно все проклято: из-за этой болтовни я, кажется, неправильно составил свою левую половину лица. Быть мертвым — значит понимать, что «мертвый» не значит «сгинувший»; просто ты находишься на плоскости долин смерти. Время здесь не останавливается. Ты наблюдаешь его ход, только при этом сам остаешься недвижен, как картина с улыбкой Джоконды. В этом пространстве рассеченная триста лет назад глотка и младенческая смерть двухминутной давности — по сути, одно и то же.

Если не следить за тем, как ты спишь, то ты снова окажешься таким, каким тебя нашли живые.

Меня они застали на полу с головой, как лопнувшая тыква; правая нога подвернута под спину, обе руки согнуты под немыслимыми углами. С вышины того балкона я смотрелся как раздавленный паук. Представая сразу в двух ракурсах — оттуда сверху и отсюда снизу, — я вижусь себе таким, каким меня видел мой убийца. Мертвые повторно проживают тот импульс движения, всплеск действия, вопль, и снова в той же последовательности: поезд, не умеряющий бега, пока не оторвался от рельсов; балконный выступ на шестнадцатом этаже того здания. Багажник машины, в которой иссяк запас воздуха. Тела хулиганистых юнцов, сдутые, как шарики, от шести десятков пуль.

Без посторонней помощи так не падает никто. Я знаю. Известно мне и то, как ты при этом выглядишь и что ощущаешь, — вспарывающее до самого низа воздух тело с прихваткой за клочья пустоты, с истошной, всего на раз, на гребаный единственный раз, молитвой: «Господи, сучий ты потрох! Да сделай же так, чтоб за воздух можно было хоть как-то зацепиться! Ну?!» И вот ты, все еще трепыхаясь, рушишься, а мраморный плиточный пол встает дыбом и с хрястом лупит тебя, потому как истомился в ожидании крови.

И вот мы просыпаемся, все такие же мертвые: я — раздавленный паук, он — обугленный таракан. О гробах у меня памяти нет.

Слушайте же.

Живые ждут и видят, теша себя обманом, что у них якобы есть время. Мертвые, напротив, видят и ждут. Однажды я спросил свою учительницу в воскресной школе: если рай — место для вечной жизни, а преисподняя — другой ее край, то что превращает ее в ад? «Маленькие рыжие растрепы вроде тебя», — услышал я в ответ. Эта женщина до сих пор жива. Я вижу ее в богадельне «Эвентид», где она превращается в рухлядь, уже наполовину выжив из ума, не помня своего имени и с таким тихим шелестом вместо голоса, что никому невдомек, как она пугается наступления темноты, потому что тогда к ней поспешают крысы, щекотать и покусывать ее старчески искривленные пальцы ног. Но вижу я не только это. Стоит мне как следует вглядеться и посмотреть чуть влево, как становится видна страна — все такая же, как когда я ее покинул. Она никогда не меняется, равно как и люди, вокруг которых я отираюсь. Они все такие же, как на момент моего ухода, и перемена возраста не имеет значения.

Человек, который был отцом нации — для меня

роднее, чем мой собственный, — заслышав о моей смерти, рыдал, как безутешная вдова. До своего ухода ты и не знаешь, что людские сны связаны с тобой, а после ухода уже не остается ничего иного, как взирать на их собственную кончину, но уже иную — медлительную, с постепенным отказом вначале ног, затем рук, системы за системой. Аритмия, диабет, медленно доканывающие болезни с труднопроизносимыми названиями. Через их унылую чреду тело нетерпеливо пробирается к смерти — пошагово, часть за частью. Он еще доживет, этот несчастный, до своего провозглашения национальным героем, а умрет единственным, кто считает себя в проигрыше. Вот что происходит, когда ты воплощаешь собой чаяния и мечты, все в тебе одном. Становишься не более чем метафорой.

Вот вам история нескольких убийств — о мальчиках, которые для безостановочно кружащегося мира не значили ровным счетом ничего, но каждый из которых, дрейфуя мимо меня, несет на себе сладковато-смрадный запах человека, что меня прикончил.

Тот из них, что первый, исходит криком, но крик утыкается в глотку, куда затиснут кляп, воняющий, как ком блевотины. Кто-то связал ему

за спиной руки, но они уже не стиснуты, потому как кожа на них стерлась, а веревка осклизла от крови. Он неистово дрыгает ногами, из которых правая примотана к левой; дрыгает так, что пыль и грязь вздымаются на пять футов, затем на шесть, и вот он уже не в силах стоять под градом валящейся сверху грязи, пыли и камней. Вот один каменюка попадает ему по носу, а другой лупит в глаз, который лопается жирными брызгами, и он вопит, но вопль откатывается от глотки отливом, а прилив грязи взбухает, и он уже не видит своих ног. А затем он проснется, все такой же мертвый, да так и не назовет мне своего имени.

Часть I
Первоначальные рокеры[5]
2 декабря 1976 года

[5] Примечания: 5

«Первоначальные рокеры» (*англ.* Original Rockers) — название альбома (1979) ямайского регги– и даб-музыканта и продюсера Огастеса Пабло.

Бам-Бам

Знаю, что было мне четырнадцать. Это для меня не секрет. Еще знаю, что многие языком чешут абы чесать, особенно Американос, который не затыкается никогда. Или только затем, чтобы начать ржать, и обязательно когда говорит про тебя, да еще с такой чудинкой: вечно приплетает твое имя к каким-то другим, о которых мы слыхом не слыхивали, типа Альенде Лумумба (похоже на страну, из которой взялся Кунта-Кинте). Глаза Американос почти все время прячет за темными очками, типа как он проповедник из Америки, приплыл поучать чернокожих. С Кубинцем они приходят иногда вместе, иногда порознь, и когда один говорит, другой все время помалкивает. Кубинец почем зря стволом не машет — пушки, говорит, всегда нужны, когда нужны.

Знаю еще, что спал я на топчане, мать у меня давала за бабки, а отец был последним хорошим человеком в гетто. И что у твоего домины на Хоуп-роуд мы дежурили уже несколько дней, пока ты не вышел к нам для разговорца с таким видом, будто ты Иисус, а мы тут все Иуды, и типа так кивнул: благословляю, делайте свое дело,

продолжайте в том же духе. Только не припомню, видел ли тебя я, или это кто-то мне сказал, что он тебя видел, а значит, и я мог подумать, что тоже видел, как ты вышел на заднее крыльцо с ломтиком джекфрута, и тут откуда ни возьмись она, как с какого-то важного дела (уж какое оно могло быть, в этом часу ночи? хотя известно какое), да еще такая вся в шоке: как, ты не одет? И потянулась за твоим джекфрутом, как голодная, хотя *раста*[6] не одобряют, чтобы женщины вели себя непочтительно, и вы оба с ней двигаете на полуночный рейв, а я тоже от него балдею — и от вида, и от звука, — а потом ты пишешь об этом песню[7]. Четыре дня подряд, в восемь утра и четыре пополудни, за коричневым конвертом к тебе приезжает один и тот же пацан из Бетонных Джунглей, на одном и том же лягушачьем моцике, пока его наконец не заворачивает новая бригада караульщиков. Об этом деле мы тоже знаем.

В Восьми Проулках и в Копенгагене всё, что

[6] Примечания: 6

Раста (растаманы) — приверженцы религиозного движения растафарианства, зародившегося на Ямайке и ставшего мировой субкультурой.

[7] Примечания: 7

Здесь и далее идет речь о песне Боба Марли «Полуночные рейверы» (*англ.* Midnight Ravers).

ты можешь делать, это смотреть. Сытый голос по радио вещает, что преступность и насилие захлестывают страну, и наступят ли когда-нибудь перемены, надо подождать и посмотреть, но мы здесь, в Восьми Проулках, только и можем, что смотреть и ждать. И вот я смотрю, как по улице вовсю текут сточные воды, и жду. Смотрю, как моя мать дает двоим клиентам за двадцатку и еще одному за четвертной — иначе проваливай, — и жду, жду. Смотрю, как мой отец так на нее вызверивается, что валтузит как собаку, — и жду, жду, жду. Вижу, как оцинковка на крыше ржавеет под дождем, она вся в бурых дырьях, будто импортный сыр; вижу, как в одной комнате ютятся семеро и одна беременная, и все равно трахаются, потому как бедны настолько, что не могут позволить себе стыд, — и все жду, жду. Комнатка становится все тесней и тесней, а из глубинки приваливает все больше братьев-кузин-сестер, а город все разбухает, и уже негде в нем сделать трах-трах, справить нужду или заправить курицу карри, а даже если и есть где, то не по карману, и той вон девчушке дают ножа, поскольку знают: ей по четвергам дают деньги на обед, и ребятам с улицы нравится, что я росл не по годам и в школу хожу как придется, не умею

читать про Дика и Джейн, зато знаю о коке и коле, хочу попасть в студию и нарезать песняк, выдать хит и сделать ноги из гетто, но Копенгаген с Восемью Проулками слишком велики, и едва подбираешься к краю, как они пролегают вперед тебя, как тень, пока весь мир не превращается в гетто, — а ты все ждешь, ждешь, ждешь.

Я вижу, что ты голоден и ждешь, и знаешь, что это просто удача — ошиваться возле студии, и вдруг тебя замечает Десмонд Деккер[8] и указывает, чтобы тебе дали попробовать, и тебе дают, потому что еще до того, как ты начинаешь петь, в твоем голосе слышен голод. Ты делаешь запись, но не хитовую, и уже тогда слишком причесанную для гетто, хотя мы уже прошли то время, когда причесанность облегчала кому-то жизнь. Мы видим, что ты лезешь вперед, а еще впереди на семь футов твои словеса, и мы хотим, чтобы ты облажался. И мы знаем: никто не поверит твоему рудбойскому[9] прикиду, потому что у тебя вид интригана.

---

[8] Примечания: 8

Десмонд Деккер (1941–2006) — ямайский музыкант в стилях ска, регги и рокстеди.

[9] Примечания: 9

Рудбои (от *англ.* rude boy, крутой парень) — представители молодежной субкультуры Ямайки 1960-х, атрибутами которой были агрессивное поведение, легкие наркотики и музыка в стилях ска и регги.

А когда ты исчезаешь в Делавэре и возвращаешься, то пытаешься петь ска, но ска уже покинул гетто и прописался на окраинах. Ска полетел самолетом за границу, показать белым, что это вам не твист. Может, для Сирийца с Ливанцем в этом и есть причина для гордости, но когда я вижу, как он в газетах позирует со стюардессами, я эту их гордость не разделяю, а просто пучу глаза — *чёё*? Ты записываешь еще одну песню, на этот раз хитовую. Но один хит не может выпульнуть тебя из гетто, если ты записываешь хиты для вампира. Один хит не превращает тебя в Скитер Дэвис[10] или парня, что поет «*Баллады ганфайтера*»[11].

К тому времени, как пацан вроде меня отваливает от матери, она считай что перестала существовать. Священник говорит, в жизни каждого есть пустота в форме Бога, но единственное, чем люди гетто могут заполнить пустоту, это сама пустота. Семьдесят второй год — это вам вовсе не тыща девятьсот шестьдесят второй, и люди до сих пор нашептывают (кричать в полный голос — попробуй сыщи такого сумасброда), что когда

---

[10] Примечания: 10

Скитер Дэвис (1931–2004) — американская певица в стиле кантри.

[11] Примечания: 11

Имеется в виду Марти Роббинс (1925–1982), популярный американский исполнитель в стиле кантри-энд-вестерн.

умер Арти Дженнингс, то вдруг оказалось, что он забрал с собой мечту. Какую именно, я не знаю. Глупый все же народ. Мечта не ушла, просто люди не узнают кошмара, сами находясь в его гуще. Все больше людей стало перебираться в гетто, потому как Делрой Уилсон[12] взял и спел «*Лучшее еще настанет*», а вместе с ним это спел человек, который потом станет премьер-министром. Лучшее еще настанет… Человек с прикидом белого, но, когда надо, легко переходящий на ниггерский акцент, поет вам «*Лучшее еще настанет*». Одетая, как королева-женщина, которой гетто по барабану, пока оно не взбухло и не взорвалось, тоже поет «*Лучшее еще настанет*».

Но сначала настало худшее.

А мы смотрим и ждем. Двое доставляют в гетто стволы. Один показывает мне, как ими пользоваться. Хотя люди гетто были привычны убивать друг друга еще задолго до этого. Всем, чем ни попадя, — палками, мачете, ножами, ледорубами, бутылками из-под колы. Убивали за еду. Убивали за деньги. Иногда за то, что одному не понравилось, как на него поглядел другой. Убийству не нужны ни причина, ни резон. Это гетто. Резоны

---

[12] Примечания: 12

Делрой Уилсон (1948–1995) — ямайский певец в стилях ска, регги и рокстеди.

— они для богатых. А у нас правит безумие.

Безумие бродит вдоль центровой улицы и видит женщину, одетую по последней моде, и хочет прямиком подойти к ней и рвануть у нее сумочку — не из-за самой сумочки и даже не из-за денег в ней, но из-за вопля, когда она увидит, как ты выскакиваешь прямо перед ее нежным лицом и можешь ударом вышибить счастье у нее из губ или радость из глаза, убить ее и изнасиловать прямо тут же, до или сразу после убийства, потому что так рудбои вроде нас поступают с приличной женщиной вроде нее.

Безумие заставляет тебя следовать за человеком в костюме по Кинг-стрит, где голодранцы никогда не ходят. Ты смотришь и видишь, как он вышвыривает недоеденный сэндвич с курятиной, чуешь ее по запаху и изумляешься, как люди могут быть настолько богаты, что используют целый ломоть мяса, чтобы положить его меж двумя ломтиками хлеба, и, проходя мимо мусорного бака, ты видишь его, все еще в фольге и все еще свежее, не побуревшее, как остальные отбросы, и еще без мух, и думаешь «может», думаешь «да», думаешь «надо бы» посмотреть и попробовать, какова она на вкус, курятина без костей. Но ты твердишь себе, что ты не безумец; что безумие

в тебе не такое, как у сумасшедших, но безумие гнева, потому как ты знаешь: этот человек выбросил еду специально для того, чтобы ты это видел. И ты даешь себе зарок, что когда-нибудь рудбой начнет ходить с ножом, и в следующий раз ты напрыгнешь на него и вырежешь ему прямо на груди: «*Зажрись!*»

Но он знает, что пацан вроде меня не может ходить по центру долго и что вскоре на меня обратит внимание Вавилон[13]. Полицейскому стоит лишь увидеть, что я без обуви, и тут же раздастся: «А ну, паскуды негритосовские! Вы чего тут шляетесь вблизи приличных людей?» И мне предоставится два варианта. Первый — это бежать в один из пронизывающих город проулков, куда он за мной погонится, чтобы можно было подстрелить меня не на глазах у публики. В магазине полно патронов, так что хоть один да попадет в цель. Или же я могу остановиться и тогда заполучу по скуле прямо на глазах у приличных людей — дубинка вышибет мне все коренные зубы и сделает трещину на виске, так что я окончательно оглохну на одно ухо, а мне скажут, что это урок, чтобы я, вонючий ублюдок,

[13] Примечания: 13

Вавилон — в растафарианстве совокупное название западного общества, его образа жизни и связанных с ним атрибутов.

никогда впредь не совался из гетто в центр. Я вижу все это, и я жду. А затем возвращаюсь сюда снова, хотя никто и не успел хватиться.

Та женщина хочет знать, зачем мы сюда возвращаемся, когда в Америке есть столько для нас хорошего — рис «Анкл Бенс», например. Нас занимает, зачем ты туда ездишь — за хитовыми песнями, что ли? Кое-кто из нас продолжает смотреть, как ты проплываешь по гетто, вроде мелкой рыбки по большой реке. Теперь-то мы знаем твою игру, но в ту пору еще нет — насчет того, как ты водил дружбу с одним бандюком здесь, кичился связью с *растой* там, щемился с тем ушлым и этим рудбоем, знался даже с моим отцом, так что каждый знал тебя достаточно, чтобы проникнуться, но недостаточно, чтобы озаботиться захомутать. Поешь ты обо всем без разбору, лишь бы сделать хит, даже то, что известно одному тебе, а остальным до лампочки. «*И я люблю ее*» исполняешь потому, что Принц Бастер делает кавер на «*Ты меня больше не увидишь*», который попадает в чарты[14]. Ты используешь все, что имеешь, даже не свои мелодии, поешь их усердно и беспрерывно и все-таки выпеваешь

[14] Примечания: 14

«And I Love Her», «You Won't See Me» — названия знаменитых песен группы «Битлз».

себя из гетто. К семьдесят первому году ты уже на телевидении. Я в семьдесят первом прошел через свой первый отстрел. Мне было десять.

Цена жизни в гетто — ломаный грош, убить пацана ничего не стоит. Помню последний раз, когда отец пытался меня спасти. Он прибежал домой с фабрики — помнится, мы с ним оба стояли, и я лицом упирался ему в грудь, а он дышал часто, как загнанный пес. Остаток вечера мы коротали дома, стоя на коленках. Он говорит, игра такая — громко так сказал, быстро. Кто первый встанет, тот проиграл. Ну, я тогда встал — мне же десять, я пацан рослый и устал от этой самой игры, а он заорал, схватил меня и пихнул в грудь. Я тогда запыхтел, хотел разреветься, набрал уже воздуха, чтоб заорать, и тут первая прошила стенку, как все равно что камушек булькнул в воду — «стук». А за ней еще и еще. И вот уже давай тарабанить по стенке — «*па-па-па-па-па-па*», — только последняя цвенькнула по кувшину, а там уж как дождик застучал — седьмая, десятая, двадцатая, — посыпалось, «*чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу*». Отец ухватил меня, пробовал закрыть мне уши, да так сильно, что сам не заметил, как давит мне на глаз. А я слышу все эти пульки — «*па-па-па-па-па-па*», «*тиуу-тиуу-тиуу*» — и чувствую, как пол сотрясается.

Орут все: и мужчина, и женщина, и пацан — так, будто жизнь вот-вот оборвется, и кажется, что вопль обрывается из-за крови, что бьет вверх из горла, и «бульк» — человек ею давится. Отец меня жмет книзу, затыкает мои вопли, а я норовлю тяпнуть его зубами за ладонь — он же мне еще и нос зажимает, — я ему «папуля, пожалуйста, не убивай», а он трясется трясом, и земля тоже ходуном ходит, и ноги, ноги вокруг: все бегают, падают ничком, носятся, гогочут, вопят как очумелые — мол, всем из Восьми Проулков крышка. А отец придавил меня к земле и закрыл собой — тяжелый такой, а мне нос ломит, и чую, как пахнет машинной смазкой, а на спине у меня то ли его колено, то ли еще что, а у пола горький вкус, и я понимаю, что это рыжая мастика, и хочу, чтобы он с меня слез, и все вокруг «*бум-бум-бум*», будто кто в чулках топочет. А когда отец наконец с меня слезает, люди снаружи все еще вопят, но уже без «*па-па-па*» и без «*тиу*», а он плачет, а я его ненавижу[15].

Через два дня мать заявляется домой со смехом

---

[15] Примечания: 15

Здесь и далее: редакция сочла возможным оставить в тексте нецензурные слова и выражения, а также упоминания о приеме персонажами наркотических средств, поскольку в контексте данного романа употребление всего этого неизбежно, при этом не несет позитивного характера.

— новое платье у нее, дескать, самое нарядное во всех этих сраных трущобах, — а отец ее увидал, потому как на работу не ходил, и никто не выходил на улицу: вдруг опять заваруха. И вот он на нее напустился, хвать ее: «Ах ты, — говорит, — проблядь потаскушная, вся как есть мужиками провоняла, спущёнкой аж с порога несет!» Схватил ее за волосы и *на* ей в живот. А она давай вопить, что он и не мужик, блоху и ту топтануть не может. А он: «Ах, так тебя, значит, потоптать надо? Ну так я тебе щас хер подыщу как раз по твоей дырке». Опять хвать ее за волосья, затаскивает в комнату, а я смотрю из-под одеяла, куда он меня спрятал, если кто дурной ночью нагрянет, схватил швабру и давай мать ею охаживать с головы до самых пят, с переду до заду — она вначале орала, потом затявкала, а затем уж просто заскулила, — а он ее лупасит и приговаривает: «Вот тебе, лярва, раз ты хотела, толстым концом по макушке, по всей твоей блядской сучьей наружности». Распалился, ноги ей пинком раскинул и давай шваброй целиться. Измутызгал досиня и выпнул из дома, и одежду ее следом выкинул. Ну, думаю, последний раз я мать свою видел. А она назавтра, гляди-ка, является — перебинтованная вся, прямо как мумия из

фильма, что у нас за тридцать центов в «Риальто» кажут, — а с нею трое. Хватают втроем моего отца, но тот не дается. Дерется как дьявол, прямо как Джон Уэйн[16] на экране, как истинный мужик должен драться. Но он-то один, а их трое, а там и вовсе стало четверо. Четвертый появился, когда они отца ухайдакали в хлам. «Меня, — говорит, — зовут Шутник, я здесь следующий стану доном, а ты знаешь кто? Знаешь, как ты зовешься? А, гондон ты штопаный?» А мать моя ржет, хотя смех-то у нее пополам с кашлем — сильно ей от отца перепало. Шутник и говорит: «Ты думаешь, если на фабрике мантулишь, то значит, главный перец на деревне? Так ты знаешь, какое твое имя, козлина? Стукач тебе имя». И сказал, чтобы все вышли. «А меня, — говорит, — знаешь, почему Шутником кличут? Потому что я шуток никому не спускаю».

Шутник, он даже в тени смотрелся светлее остальных, только кожа красная, будто кровь у него под ней кипит, или как у белых, которые долго лежат на солнце, а глаза серые, как у кошки. И вот он говорит отцу — мол, сейчас ты умрешь, прямо сию минуту, но если ублажишь, то, может,

---

[16] Примечания: 16

Джон Уэйн (*наст.* Мэрион Роберт Моррисон, 1907–1979) — американский актер, называемый «королем вестерна».

я тебя и пощажу, как ту львицу в «*Рожденной свободной*». Из гетто, правда, придется уйти. «Только через это, — говорит, — в живых и останешься» — и еще что-то бормочет, а сам расстегивает ширинку, достает свой причиндал и спрашивает: «Ну так как, хочешь жить? Или не хочешь?» Отец отвечает, что хочет, и сплевывает, а Шутник ему на это подставляет к голове ствол, прямо вот так над ухом. И говорит отцу о том, в какой край ему можно будет податься и выблядка своего забрать с собой. Как он это сказал — «выблядок», — я так сразу затрясся, но никто меня под одеялом не углядел. И вот он повторяет: «Хочешь жить? Хочешь или нет?» — раз за разом, прямо как девчонка-задирала, и водит стволом отцу по губам. Отец тогда приоткрывает рот, а Шутник говорит: «Смотри, головку укусишь — я тебе в шею шмальну, чтоб ты слышал, как подыхаешь» — и сует свой причиндал отцу в губы; сует и говорит: «Сосешь ты, как рыба дохлая, давай хоть лижи». И сам стонет, стонет, как от кайфа, и отца делает в голову, а затем отодвигается, приподнимает отцу подбородок и «*кхх*» из ствола. Именно «*кхх*», а не «*бум*», как в кино про ковбоев или Гарри Каллаха-

на[17] — резко так, будто пробка жахнула на всю комнату. Кровь на стену так и брызнула лужей. Я ахнул, но вышло одновременно с выстрелом, а потому никто не узнал, что там под одеялом я, ни живой ни мертвый.

Прискочила обратно мать — хохочет, отца пнула, — а Шутник подошел к ней и пальнул в лицо. Она брякнулась прямо на меня, потому, когда он скомандовал меня найти, они искали везде, только не под матерью. Шутник говорит: «Представляете? Этот педрила сказал, что отсосет у меня с причмоком и будет ублажать и дальше, если только я его оставлю в живых. Да как ухватится, грязный извращенец, и давай мне хер наяривать. Нет, правда, представляете?» Так вот стоит и говорит, а его люди вокруг ищут меня, но только сверху лежит мать, а пальцы у нее как раз у моего лица, и я смотрю через них, как сквозь решетку, и не плачу, а Шутник все распинается, как он знал всю дорогу, что мой отец извращенец — кто б в здравом уме довел свою бабу до блядства через то, что ей дома даже шишку запарить было некому. Только, говорит, Шотта Шерифу об этом ни слова.

---

[17] Примечания: 17

Гарри Каллахан — киногерой, вымышленный полицейский детектив из Сан-Франциско.

В доме теперь тихо. Я сталкиваю с себя мать, довольный, что темно, но уйти не могу — меня же могут поймать, — а потому смотрю и жду. А пока я жду, мой отец, что на полу у двери, встает, подходит и говорит, что английский — лучший в школе предмет, потому как, даже если ты захочешь устроиться слесарем, никто тебя на работу не возьмет, если у тебя не подвешен язык, а это самое главное еще до того, как ты начал осваивать ремесло. И что мужчина должен научиться готовить, хотя это и женское занятие, и говорит, и говорит, и говорит, да громко так; у него вообще голос громкий, а сейчас так вообще кажется, что он хочет докричаться до соседнего дома, чтобы его там услышали… хотя нет, он все так же на полу и торопит меня бежать, потому как скоро они вернутся, снимут с него кларксовские туфли и заберут все мало-мальски ценное, да еще и дом вверх дном перевернут в поисках денег, хотя все свои деньги он положил в банк. Он у двери. Я стаскиваю с него те кларксовские туфли, но вижу его голову, и меня начинает рвать. Туфли мне велики, и я в них шлеп-шлеп-шлеп на заднюю часть дома, где снаружи только старая узкоколейка да кустарник, и тут я запинаюсь о чертову свою шалаву-мать, которая вдруг дергается, будто живая,

но это только кажется. Залезаю на подоконник и спрыгиваю. Туфли для бега слишком велики, поэтому я их снимаю и бегу через кустарник, по битому стеклу, мокрому дерьму, сухому дерьму, по непогашенному огню, и мертвая узкоколейка выводит меня из Восьми Проулков, и я бегу и прячусь за кустом юкки, пока солнце не становится оранжевым, затем розовым, затем серым, а затем солнце уходит и всходит луна, круглобокая. Тут я вижу, как мимо проезжают три грузовика, где всего по одному человеку внутри, и бегу, бегу до самых Мусорных земель, где ничего, кроме отбросов, хлама и дерьма на целые мили. Ничего, кроме того, что выбрасывают обитатели окраин, и этот мусор громоздится холмами, долинами и дюнами, как пустыня, и везде горит и дымится, а я все бегу, не останавливаюсь, пока не вижу въезд в другое гетто, он под охраной, но рядом там стоит грузовик, и я под него подныриваю и снова бегу, а вслед мне кричит какой-то мужчина, и вопит какая-то женщина, а дома здесь стоят по-иному — ближе, теснее, — а я все бегу, и кто-то там вылетает с автоматом, но женщина кричит, что это всего лишь мальчуган и он в крови, и тут я обо что-то стукаюсь, падаю и начинаю реветь во всю глотку, а надо мной стоят двое. Один из

них наводит ствол, а я теперь лишь сиплю, как, бывало, отец во сне, а тот, что со стволом, сверху кричит: «Ты откуда? От тебя воняет, как от тех ублюдков с Восьми Проулков!» А второй говорит: «Он ведь щегол совсем, да еще в крови. В тебя что, пацан, стреляли, что ли?» А я даже говорить толком не могу, встал и мелю вздор, типа «Кларкс — добрые туфли. Кларкс — очень добрые…». Тогда тот, что со стволом, передергивает затвор, но ему кто-то кричит: «Ишь, как у Джоси Уэйлса руки чешутся! Ему бы все только через “*бам-бам*” решать!» И тогда они оба отходят, но многие другие собираются, в том числе женщина. А потом все расступаются, как Красное море перед Моисеем, и ко мне подходит один. Останавливается. «Это как понимать? — говорит. — Никак Шотта Шериф сам за отстрелы взялся? Не знает, чем кормить своих бойцов, и решил убавить численность? Вот какой, оказывается, в Восьми Проулках контроль за рождаемостью». Тут все давай смеяться. Я ему, мол, «мама, папа» — сам больше ничего выговорить не могу, — а он мне кивает с пониманием. «Хочешь с ним посчитаться?» — спрашивает, а я хочу сказать «за отца — да, а за мать — нет», но изо рта только «ы-ы-ы», и еще я киваю, будто получил по мозгам и речи лишился. Он говорит:

«Ничего, уже скоро» — и подзывает женщину, которая хочет взять меня за руку, но я хватаю те туфли, и он смеется. Большой такой мужчина, в белой вязаной «сеточке», которая под фонарем будто светится и освещает ему лицо, что в основном спрятано в бороде, только глаза у него большие и будто светятся сами собой, и улыбается он так, что толщина губ едва заметна, а когда перестает улыбаться и щеки опадают, то борода будто клином врезается в лицо, а глаза смотрят так пристально, холодно. И он говорит: «Пускай они знают, что в Копенгагене не собаки живут, у нас здесь не как в гетто» — и посмотрел на меня так, будто может говорить без всяких слов, и я знаю, что он видит перед собой что-то такое, чего можно использовать. И говорит: «Принесите этому парню ананасовой воды», а женщина говорит: «Будет сделано, Папа Ло».

И вот с той поры я живу в Копенгагене, вижу отсюда Восемь Проулков и жду своего дня. На моих глазах человек из Копенгагена вначале ходил только с ножом, затем с ковбойским ружьем, затем с «M16», а теперь уже с таким стволищем, который он сам едва таскает, и мне исполняется двенадцать, или, по крайней мере, я так думаю, потому как Папа Ло называет тот день, когда я к

нему попал, днем моего рождения. Дает он ствол и мне и называет меня Бам-Бам. И мы с еще одним пацаном ходим на Мусорные земли учиться стрелять. В первый раз у меня от звона и отдачи плывет в голове, и все смеются и зовут меня шибзденышем, но я им говорю, что так ночью звал мохнагу их мамаши, когда ей вставлял, и все опять смеются, а Джоси Уэйлс сует мне в руку ствол и показывает, как целиться. Я расту в Копенгагене, смотрю, как меняются стволы, и знаю, что они появляются не через Папу Ло. Появляются они от тех двоих, что привозят оружие в гетто, и одного, что показал мне, как с ним управляться.

Мы — то есть я, Сириец, Американос и Доктор Лав у хибары возле моря.

Барри Дифлорио

Снаружи всего одна вывеска, но такая здоровенная, что даже внутри видны желтые изгибы логотипа, накрененного с крыши. Огромная настолько, что когда-нибудь непременно свалится, скорее всего, на какого-нибудь малолетку-школьника, решившего заскочить сюда по случаю отмены последнего урока. Вот он забегает на порог, а логотипище в этот момент скрипит, приходит в движение, но малолетка этого не слышит из-за урчания в животике, тянет на себя ручонками дверь, и тут — «*бах*». Ох как будет ругаться эта маленькая душонка! Распоследними словами, когда уяснит, что именно его прихлопнуло. «*КИНГ БУРГЕР НЯМ-НЯМ*» — такая вот надпись.

Есть здесь еще и «Макдоналдс» — подальше, вниз по Хафуэй-Три-роуд. Логотип на нем синий, а люди, что там работают, божатся, что в задней комнате у них сидит мистер Макдоналд. Но я сижу в «Ням-Няме», он же «Кинг Бургер». Об американском «Бургер Кинге» здесь слыхом не слыхивали. Внутри заведения стульчики из желтой пластмассы, столы из красного стекловолокна, а слово «меню» прописано художественно,

как на киноафише. В три пополудни здесь никогда не бывает людно, потому-то я сюда и прихожу. Многолюдство исконно вызывает во мне нервозность: стоит коротнуть, и от малейшей искры стая имеет свойство обращаться в толпу. Может, оттого и весь этот кипеж снаружи. На Ямайке я с января.

У кассы здесь висит табличка, где указано, что, если бургер для вас готовится дольше пятнадцати минут, вы получаете его бесплатно. Два дня назад, когда я через шестнадцать минут постучал по циферблату, кассирша сказала, что это относится только к чизбургерам. Вчера, когда сверх положенного припозднился мой чизбургер, мне сказали, что правило распространяется только на куриные сэндвичи. Винить «ням-нямов» я не могу: запас бургеров у них, должно быть, роздан на полгода вперед. И все-таки сюда мало кто захаживает. Одна из черт, наиболее ненавистных мне в моих согражданах-американцах: когда и куда бы они ни летали за границу, первое, что они делают, это пытаются разыскать здесь что-нибудь от Америки, и желательно столько, чтобы не умещалось в обеих руках, пусть это хотя бы жрачка в дешевых забегаловках. Сэлли, которая обретается

здесь со времен администрации Джонсона[18], никогда не пробовала здесь ни аки[19], ни соленой трески, хотя я, возможно, двухмиллионный по счету из тех, кто систематически повторяет ей: «Лапка, это то же, что твой омлет, только вкуснее». Мои детишки трескают это с удовольствием. Жена, та изнывает по мэнвичу, рагу или хотя бы по «ужину с гамбурером» из кулинарии, но я лишь желаю ей удачи, если она дерзнет поискать это по супермаркетам. Насчет «найти» я уже не говорю, будучи реалистом: шансы на нуле.

С цыпленком джерк я впервые столкнулся на перекрестке Констант-Спринг-роуд и еще какой-то дороги. К моей машине подошел парень и, опередив мое движение поднять стекло (сломанная ручка заела), крикнул: «Босс, не желаете отведать курочку по-ямайски?» Эдакий верзила в белой майке, с зубами, сияющими на темнокожем лице, и лоснящимися мышцами (еще мальчишка, но по виду уже мужик). От него пряно попахивало

---

[18] Примечания: 18

Имеется в виду Линдон Джонсон — 36-й президент США (1963–1969).

[19] Примечания: 19

Аки, или Блигия вкусная (*лат.* Blighia sapida) — плодовое дерево семейства Сапиндовые. Плоды грушевидные, длиной 7—10 см, с красно-желтой кожицей. До созревания и термической обработки ядовитые; мякоть по вкусу напоминает грецкий орех. Считается национальным ямайским фруктом.

ямайскими специями. И вот я вышел из машины и проследовал за ним в его забегаловку — мелкую, буквально сараюху, — деревянные стены которой венчала цинковая крыша, выкрашенная в синие, зеленые, желтые, оранжевые и красные полосы. Здоровенным мачете — я таких, право, и не видывал — этот парняга отхватил у курицы ногу так, будто рассек кус теплого масла. Ногу он подал мне, а когда я собрался приступить к еде, то он прикрыл глаза и покачал головой — мол, «не так надо». Покачал твердо, мирно и категорично. Не успел я и слова сказать, как он указал мне на большущий кувшин с чем-то полупрозрачным, как будто уже слегка стоялым. Надо сказать, что приключений я не чураюсь (жена сказала бы, что я чокнутый). Дело в том, что это был большущий стеклянный кувшин с толченой перечной пастой. Я обмакнул туда курятину и проглотил кусок. Гм… Вы помните ту серию «*Койота и Дорожного Бегуна*»[20], где заготовленная Хитрым Койотом бомба взрывается после того, как он ее проглатывает, и из ушей и носа у него валит дым? Или мерную ложечку в суши-баре, куда вы впервые пришли и по наивности прибросили:

[20] Примечания: 20

«Хитрый Койот и Дорожный Бегун» — популярный американский мультсериал.

«А слабо́ заглотнуть мне эту вот ложку васаби?» Так вот, это сейчас был я. Не думаю, что парень знал, в какое количество оттенков красного способен окрашиваться белый человек. По крайней мере с минуту я плакал горючими слезами и не мог даже икнуть. Мне будто обдали рот смесью сахара с бензином и поднесли спичку: хлобысь! Ё-моё, вот это, блин, эликсир жизни! После этого я еще долго не мог проплакаться, прокашляться и просморкаться.

Я спросил у кассирши, не подумывают ли в «Ням-Няме» над созданием гамбургера с ямайским цыпленком. «Еду гетто, что ли?» — переспросила она с насмешкой, как ее обычно выражают ямайские женщины — туманно поведя очами, подняв подбородок и полуотвернувшись. Сюда я захаживаю чуть ли не каждый день, и эта деваха работает здесь, похоже, бессменно. «Что закажете?» — спросила она. «Чизбургер». — «Вам лимонад или молочный коктейль?» — «Лучше сок. Виноградный» — «И всё?» — «Да». Под видом чизбургера мне подается вамперер — здесь он выглядит так же, как воппер[21], за вычетом вкуса. Даже лист латука в нем выглядит присты-

[21] Примечания: 21

Вамперер, воппер — виды многослойного гамбургера; стандартное блюдо сети «Бургер Кинг».

женным, мокрым и горьковатым — и зачем я его только беру? Наверное, для того, чтобы потом прихвастнуть ребятишкам: «Знаете, что я сегодня ел? Вамперер». (Ух ты! Вампирер? Папик проглотил вампира и всего-то подзаикивается.)

Солнце сходит с борта корабля, и наступает вечер. Однако этой стране не мешала бы еще и хорошая дискотека. Сохранить рассудок мне помогает единственно смена мест, кочевка из страны в страну каждые три-пять лет. Впрочем, в Конторе сохранить рассудок на протяжении всей карьеры не удается никому. Самые сумасбродные словеса, которые я когда-либо слышал, исходили от моего предшественника на посту резидента, еще изрядно до того, как он попал на суд совести. А сейчас здесь находился его сын, прибывший рейсом DC-301 из Нью-Йорка. Здесь он уже три дня, но при этом не догадывается, что мне известно о его присутствии. Дело не в том, знает он о моей осведомленности или нет; идея устроить своему чаду День открытых дверей его папашу особо не занимала. Из местонахождения сына секрета не делалось, но когда сын бывшего резидента Конторы вдруг объявляется на Ямайке, даже у его сменщика закрадываются подозрения, нет ли здесь чего-то между строк.

Ходит молва, что он кинорежиссер — или, во всяком случае, один из тех богатеньких детишек, кому хватает денег на собственную кинокамеру. Прибыл он с оравой фотографов и киношников на концерт мира, который готовит тот регги-музыкант, что на сегодня популярней кока-колы. Мероприятие обещает быть большим, и хотя я здесь всего лишь с января, даже я знаю, что этой стране нужен хоть худенький мир. Тем более что от парня в кресле здешнего премьер-министра его не очень-то дождешься. И вот этот крутой регги-парень готовит концерт, организованный партией премьер-министра, который делает того регги-парня звездой мировой величины. Из посольства приходят вести, что сюда прилетает Роберта Флэк и уже прибыли Мик Джаггер с Китом Ричардсом из «Роллинг Стоунз», чтоб их всех.

Нет, большого регги-парня я не слушаю. Регги монотонен и скучен, а барабанщик — бездельник немногим лучше кассирши «Ням-Няма». Мне ближе ска, милее Десмонд Деккер. Как раз вчера я спросил кассиршу «Ням-Няма», он же «Кинг Бургер», нравится ли ей «Об-ла-ди Об-ла-да»[22], и она

[22] Примечания: 22

«Об-ла-ди Об-ла-да» — знаменитая композиция группы «Битлз», гланым героем которой является юноша по имени Десмонд.

посмотрела на меня так, будто я предложил ей чмокнуть меня взасос. «Чё-чё?» — переспросила она. «Ну тогда что ты слушаешь?» — «“Биг Юс”, “Майти Даймондс”»[23], — перечислила она. «“Биг Юс” и “Майти Даймондс” — оно, конечно, круто. Но скажи ты мне, хоть один из них значится в гребаной битловской песне, как Десмонд Деккер?» На что она ответила: «Сэр, прошу вас следить за речью. В нашем заведении чтут закон».

Как конструируется несчастный случай? Незаменимых в Конторе не бывает, но иногда я недоумеваю, почему на их место просто не ставится кто-то другой. Без вывертов и подковырок. Фундамент для карнавала в Монтевидео готовил, во всяком случае, не я. А чем все обернулось — не описать словами. Впрочем, мне нравится работа, о которой нельзя рассказывать. Так легче сохранять другие секреты. Жена у меня в конечном итоге пришла к осознанию, что в ходе нашей супружеской жизни возникали и возникают кое-какие вещи, о которых она не прознает никогда; ей остается лишь свыкнуться с тем, с чем свыкаются все другие жены. Знать два факта из каждых четырех. Пять поездок из каждых десяти.

---

[23] Примечания: 23
Популярные в 1960-х гг. исполнители регги.

Одну смерть из каждых пяти. Не думаю, что она имеет четкое представление о характере моих занятий. По крайней мере, этой версией я тешу себя на этой неделе. Я на Ямайке, и почти все идет по плану. Это туповатый способ выразить, что все движется так хрестоматийно легко, что работать здесь, можно сказать, даже скучновато. Совсем неудивительно, что ямайцы имеют свойство вести себя так, как ты предугадываешь. На кого-то, может, это действует освежающе, а для кого-то это просто облегчение.

Так, случай с парнем, угостившим меня курицей джерк, произошел в мае, в новом для меня месте, где я вдруг проникся желанием вкусить настоящей Ямайки. А следовал я за человеком в машине, что держалась четырьмя автомобилями впереди. Человеком, который представлял глубокий интерес и которого возле отеля «Констант Спринг» подобрал шофер. Первоначально я думал, что меня доставили сюда затем, чтобы я за ним следил, но оказалось, что это он ходит за мной. В свое время он работал на Контору, пока тоже не угодил на фатальный суд совести. Вот что случается, когда начальство привычно

рекрутирует отбросов «Лиги плюща»[24], пидоров из элитных подготовительных школ, американских Кимов Филби[25], ждущих входа если не с холода[26], то, во всяком случае, из клозета. К тому времени как я выяснил, что этот человек на Ямайке, он был уже в курсе, что я нахожусь здесь. Агентом под прикрытием я не являюсь — поздновато. Хотя жаль, что в свое время не внес в этот вопрос ясность. Он до сих пор так толком и не решен, а я уже скучаю по «холодной войне».

Из Конторы Билл Адлер уволился в 1969 году; отставка вышла желчной. Возможно, он был просто озлобленным леваком, каких в Конторе, надо сказать, все еще пруд пруди. Хорошие подчас оказываются худшими, посредственные — винтиками с навыками прослушки. Но хорошие в итоге становятся им или мной. А он иногда бывал очень хорош. Когда он развязался с Эквадором — четыре года работы, проделанной им, с позволения сказать, *с бойкостью*, — мне оставалось

---

[24] Примечания: 24

«Лига плюща» — ассоциация восьми старейших университетов Америки.

[25] Примечания: 25

Ким Филби — советский разведчик в Британии.

[26] Примечания: 26

«Шпион, вернувшийся с холода» — знаменитый роман Джона Ле Карре.

единственно подчистить хвосты. Разумеется, я с куда большей охотой напомнил бы ему о том великолепном бардаке в Тлателолько. Шеф тогда окрестил меня новатором, хотя я всего лишь следовал инструкциям Адлера. Использовал потолочные микрофоны, как в свое время он в Монтевидео.

При всем этом ЦРУ он покинул в 1969 году с весьма спорной характеристикой и с той поры доставлял головную боль и подвергал опасности жизни агентуры. В прошлом году он накропал книгу — не шедевр, но с несомненными «зернами». Мы знали о ее предстоящем выходе, но не препятствовали, делая ставку на то, что своими устарелыми разведданными она послужит неплохим отвлекающим маневром, помогающим нам успешно делать реальную работу. Оказалось, что та информация отменного качества (а почему бы и нет, если вдуматься). Имена он тоже указал. Внутри Конторы. Высокое начальство этот опус не читало, но это сделал Майлз Коупленд — еще один премудрый пескарь, заправлявший в свое время каирской резидентурой. Он тогда перешерстил лондонский офис с самого низа. После этого в Афинах оказался убит Ричард Уэлч: пал от рук «17 ноября» — второсортной террористи-

ческой группировки, которой я не доверил бы штурмовать даже лавку с леденцами. Ухлопали его вместе с женой и шофером.

И вот при всем этом, зная, на что способен Адлер, я не имел никакого представления, зачем он здесь. Адлер не был официальным гостем правительства (это было бы непоправимым *faux pas*[27] со стороны премьер-министра, особенно после перекидки какашками с Генри Киссинджером всего пару-тройку месяцев назад). Хотя премьер был определенно доволен его приездом. Я же сейчас находился в ожидании распоряжений от головного отдела насчет нейтрализации угрозы со стороны этого человека или, во всяком случае, приказа ее приглушить. Его пригласил Ямайский совет по правам человека, понуждая меня открыть девственно-чистую папку на моем и без того уже загроможденном столе. Через несколько дней этот гостенёк уже произносил речи — долгие, обо всем подряд (н-да, не того человека назвали Кастро). О том, как люди вроде меня были с ним в Латинской Америке, и это вызывало у него сильнейшую неприязнь, особенно в Чили, когда мы поспособствовали приходу Пиночета.

---

[27] Примечания: 27
Тяжким проступком (*фр.*).

По имени он меня не называл, но я вполне понимал, кого он имеет в виду. Звал нас всадниками апокалипсиса, дестабилизирующими любую страну, остающуюся у нас за кормой. Патетики хоть отбавляй, и все время со ссылкой на свой труд, сложившийся в целый свод инструкций. А это именно то, что нужно премьер-министру, — длинное, многосложное словцо вроде «дестабилизации», которым можно раззванивать, как бубенчиком. И при этом он ставил нас в такую глухую оборону, что допустить такое повторно было решительно невозможно.

Понятное дело, внимала ему исключительно аудитория «*Пентхауса*» (черт возьми, почему совесть Америки вменяет себе в обязанность листание фоток с голыми письками? Ей что, зарплату платят за *это*?). Парни вроде Адлера; деятели, которым вдруг шибает в голову дух миссионерства, разоблачительства злобной Америки, хотя они всего лишь белые парни с отягченной совестью, которые никак не могут решить, когда же им завязать. Ну а Контора все не могла определиться, пора ли мне завязать с ним самим.

В какой-то момент Адлер стал заявлять, что располагает доказательствами, будто бы Кон-

тора стояла за поджогом некой квартиры на Орандж-стрит, что явилось причиной смерти около десятка кубинцев и аукнулось волнениями ямайской портовой инфраструктуры. И что у него есть косвенные улики того, что Контора ссужала партийные деньги оппозиции (вот уж действительно бред сивой кобылы — доверять деньги кому-то в стране третьего мира: моветон, да и только). Не знаю, отчего он не ограничился посылкой заметок в «*Мазер Джонс*», «*Роллинг стоун*»[28] или типа того. Не успела Контора снабдить меня четкими директивами насчет действий, как он уже был таков и отчалил, если верить моим глазам и ушам, в сторону Кубы. Но урон этот ублюдок все-таки нанес. Он выложил ямайцам имена. Да-да, имена, драть их некому. Не мое, но одиннадцати сотрудников посольства, тем самым сорвав маскировку как минимум с семи из них. Ребят пришлось буксировать обратно еще до того, как кто-то сообразил, что их вроде как раскусили по именам. Из-за Адлера мне пришлось начинать все сначала. С середины сентября, в год, для всех пустопорожний. Все с чистого листа, что уже оборачивалось проблемами.

---

[28] Примечания: 28

Названия популярных журналов с рубриками, в т. ч. о политике и культуре.

Проходя мимо кабинета, я случайно заслышал телефонный разговор Луиса о том, что поставка через порт нагнулась. Я навел кое-какие справки: никто из его офиса не заказывал поставку чего-либо, а если и да, то они безусловно не стали бы направлять ее через ямайскую таможню, где она оказалась бы на две трети разворована. Доступом к закрытым данным этот деятель пользуется точно так же, как я, но мне не нравится, когда подлый изменник-агент где-то на Кубе узнает о пропаже чего-то еще до того, как я прознал, что должен этой пропажи хватиться. Это означает, что его низовые сыщики все еще имеют более четкую картину, чем я, а ведь мне заправлять всем этим гребаным шоу. Луис, судя по голосу, был не очень-то удручен, докладывая об этих казусах бог знает кому, а я уже устал стоять под его дверью в позе наушника.

К тому же недавно позвонила жена и сказала, что у нее снова кончились вишенки для десертов. Повторюсь еще раз: «холодная война» еще не закончилась, а я по ней уже скучаю.

Папа Ло

А вот теперь вы меня послушайте. Я ж его предупреждал, милые мои люди. Давно уже трубил эти самые предупреждения, ежели у кого уши не завешаны, о том, что друзья и недруги как пить дать упекут его в беду, да еще какую. Нам же всем хоть кто-то из них да известен, разве нет? Такие важные, держатся по-особому. Всегда рассуждают чинно, но хоть бы раз предложили что-нибудь дельное. Вечно плетут что-то блудное, но хоть бы раз предъявили людям план. Такое вот племя. Вот и мой друг — самая большая суперзвезда на свете, а ум, получается, непрозорлив, как у выходца из гетто, хоть я его и чту как друга. Имен не называя, скажу, что Певца я исконно предупреждал. Говорил: «Под сердцем ты пригрел тех, кто тебя рано или поздно утопит, ты меня слышишь?» Снова и снова это ему втемяшивал. Аж сам притомился так, что надоело. А он знай себе хохотал хохотом, который звенел по всей комнате. Хохот человека, у которого будто уже есть план.

Люди думают, я все понимаю от и до. Может, оно и так, достославные джентльмены, но видит Джа: иногда до меня не доходит, пока не стано-

вится слишком поздно, — а что толку знать, когда уже поздно? «Иногда лучше б вообще ничего не знать», — говаривала мне мамаша. Хуже, когда ты без остатка представляешь собой настоящее время, а вокруг тебя одно прошедшее и с ним приходится иметь дело. Вот вы поглядите окрест. Видите все это? От старого кладбища к западу до бухты к югу и весь юг Западного Кингстона? Этим всем заправляю я. Восемь Проулков — это задворки, пускай они там живут своим укладом. Потом есть еще территория посередине, за которую нам приходится биться; иногда мы проигрываем. Певец в свое время жил в Тренчтауне, поэтому кое-кто держал его на подхвате у Народной национальной партии. Это ладно; я все равно готов принять за него пулю, а он — за меня.

Но есть еще и новые ребята, которые никогда не танцуют рокстеди и им нет дела до украшения танца; эти ребятки ни на кого не работают. Сами за себя. Я понуждаю голосовать за зеленый цвет Лейбористской партии Ямайки; Шотта Шериф приглядывает, чтобы народ голосовал за оранжевый цвет Национальной партии. А эти, новые, выжимают деньги целиком себе в карман. Сейчас на них уж и управы нет.

Нынче, когда Певец в начале года отправлялся

на гастроли, он умолял, чтобы я поехал с ним поглядеть Лондон, — хотя как бы я туда поехал: стоит мне заснуть хоть на час, в гетто начнется форменный армагеддон, — и Певец оставил у себя в доме кое-кого из той братии. Стоило ему уехать, как эта самая братия поназвала отморозков из Джунглей, потому как что-то такое замыслила. Что-то шумное, по-крупному, вроде серии, где Ганнибал Хейс с Кидом Карри[29] грабят банк, а деньги им еще и передает сочная деваха. Мы пытаемся блюсти мир — в смысле, мы с Шотта Шерифом; но когда что-то не срастается — то вдруг школьницу пристукнут за мелочовку, то женщину могут отодрать по дороге в церковь, — то делает это обычно кто-нибудь из мазафакеров Джунглей, по алчности и узколобости своей. И получается, эти самые мазафакеры вяжутся с друзьями Певца в его собственном дому и что-то там мозгуют.

И вот как-то раз, за неделю до Королевских скачек, из Джунглей прибывают пятеро и едут аж на ипподром «Кайманас-парк», прямо в день тренировочного заезда. Приезжают и ждут, когда на стоянку выйдет наиглавный жокей, самый

[29] Примечания: 29

Ганнибал Хейс, Кид Карри — герои американского гангстерского телесериала.

призовой, который никогда не проигрывает. И прямо когда он выходит, весь как есть в жокейских своих цветах, двое хватают его и мешок на голову. Увозят его невесть куда и что-то такое с ним делают, не знаю что, но, когда приходит суббота, он продувает все три заезда, в которых участвует, — три круга, в которых ему выиграть нет ничего, — в том числе и гонку фаворитов. А в понедельник улетает рейсом на Майами — и *пшшт*! Как в воду камень. Никто не знает, где он, даже родные. Ставки на коней стары как мир, так же как и сами скачки, но кое-кто — небольшая кучка — на них жутко обогащается. Состояние делает в минуту. И в ту же неделю, как исчезает тот жокей, пропадают и те двое из Джунглей — *пшшт*! И словно их даже на свете не было. А кое-кто из братии отправляется вдруг на паломничество в Эфиопию. Вот прямо невтерпеж им Рас Тафари[30] поклониться. Рас Тафари, оно понятно, мы чтим донельзя, и посетить его родину, уж где он там упокоился, каждый должен. И тут, когда народ спохватывается, вдруг выясняется, что бра-

[30] Примечания: 30

Рас Тафари Мэконнын (после коронации Хайле Селассие I, 1892–1975) — последний император Эфиопии; по его имени получило свое название растафарианство, а сам он признан одним из воплощений бога Джа на земле.

тья-то паломники, оказывается, дали деру вместе со всеми деньгами. Куда делись, неизвестно, и главное — деньги как корова языком слизнула.

Это было начало. А потом полилось, как из шланга, и прямиком на Певца с его домом. Кто в нем, дескать, засел? Отпетый мошенник, со сплошным жульством на уме, — и где? В тот самом доме, где должна жить сплошь музыка, источая чистый дух. Я помню время, когда это было единственное место, где любой, неважно, на какой он стороне, мог избежать пули. Разъединственное место в Кингстоне, где одно лишь тебя пронзало — музыка. Но те мазафакеры изгадили его своей скверной; уж лучше б они забрались ночью в студию и нахезали на пульт — имен называть не буду. И вот когда Певец вернулся с гастролей, его там уже ждала свора из Джунглей — самых что ни на есть чугуннолобых ямайских отморозков. И наплевать им, что человек был на гастролях, о скачках слыхом не слыхивал и никого в жизни не обманул. Они ему говорят: «Вся эта хрень тут у тебя затевалась, а значит, ты и в ответе». И потащили его на взморье, в Хелл-шир-Бич: а ну поехали, мы тебя рыбкой угостим.

Он мне все это сам рассказывал. Теперь-то он человек, который с самим Богом и дьяволом мог

бы вести беседу, да еще и спросить, в чем между ними разница, коль и тот и другой без женщины. Но в то утро к нему нагрянули в шесть ноль-ноль, перед тем как он выходит на пробежку, делает упражнения и каждое утро купается в реке. То, скажу я вам, был первый знак. Никто не смеет вторгаться в утро Певца: в это время само солнце встает, чтобы отправить ему послание, Святой дух шепчет, какую песню спеть следующей, а сам он ближе всего к зениту. Но все равно он с ними отправляется. Его везут в Форт-Кларенс-Бич, милях в двадцати от Западного Кингстона — через залив, но так близко, что видно с этого берега. Он мне все это сам рассказывал. А при разговоре они все время прятали глаза, переминались и глядели в землю — не хотели, видно, чтобы он их лица подмечал.

— Твои друзья, бро, затевались с нами на одно дельце, ты мекаешь? Приконали в Джунгли подряжать, чтобы кто-нить сделал за них грязную работенку. И дело обкашливать повезли нас к тебе на базу, слышь?

— Слышу, юноши, но в первый раз, — говорит он им. — И ничего об этом не знаю.

— Ай-ай! Нам, бро, вообще-то похуйственно, что ты нам говоришь. Бизнес обкашливали под

твоей крышей, значицца, тебе и отвечать.

— Это отчего же? Те люди не я, не сватья мне и не братья, чего это мне ответ за них держать?

— Ай-ай… Ты чё, бро, не слышишь, чего мы тебе заясняем? То есть мы тут базарим, базарим, а ты и на ум не мотаешь? Бизнес, говорим, под твоей крышей срастался, а те перцы, как вонючие скунсы, ноги сделали, по жадности, ты мекаешь? Мы вон как на жокея наехали: «Ты те три круга сливаешь, иначе мы к тебе придем, а еще к бабе твоей, у которой твой малютка в животике». И вот мы делаем твоим друзьям доброе дело, и жокей его делает, и все его им делают, а они — раз, и со всем наваром делают ноги, а бедняки остаются в бедняках. Это ж как можно? Это ж охренеть можно. Ай-яй-яй…

— Не знаю, босс, — говорит он тому, кто сильнее всех горло дерет; короткий такой крепыш, от него еще опилками пахнет. Я знаю, о ком он. И они ему говорят:

— Нам наши деньги нужны, ты пропёр или нет? И потому мы каждый день, утром и под вечер, будет присылать к тебе парнишку на моцике, чтоб он два раза забирал по посылке, ты нас понял?

Сколько денег они затребовали, он мне так и не сказал, но глаза и уши у меня все же есть.

Они сказали, что за всю ту затею им причитается сорок тыщ. А не получили они ни гроша. И за это ждут теперь самое малое десять, а может, и больше. Мы теперь, дескать, каждый день будем ждать от тебя посылку с кэшью, пока сами не решим, когда хватит. А он им и отвечает:

— Ну уж нет, ребятки. Это все подстава, я за нее не отвечаю и платить ничего не буду. Вы сами рассудите, каково это для меня? Вас там три тыщи, а я должен один всю вашу ораву кормить дважды в день? Три тысячи вас! Не, не пойдет.

А дальше — вы меня слышите? — произошло вот что. Они почти все повыхватывали стволы и наставили на него, прямо посреди пляжа. Некоторые совсем еще шалопаи, лет по четырнадцать, а уже повыхватывали: смотри, дескать, с кем имеешь дело. Это, надо сказать, был уже совсем новый оборот. Раньше так не поступал никто. Все, милостивые господа, — *все!* — и в Копенгагене, и в Восьми Проулках, и в Джунглях, и в Реме, и в центре, и на окраинах — знали, что никому не позволительно наводить ствол на Певца. Погода и та чуяла, что это нечто небывалое; какая-то совсем уж черная туча, не виданная раньше в небе. Певец имел дело с семью стволами, которые отморозки повытаскивали кто из кобуры, кто из

подвески, кто просто из кармана. И с завтрашнего дня ежедневно, дважды в день, к дому стал подъезжать парнишка на зеленой «Веспе».

Он мне рассказал это как раз в тот день, когда я подъехал его поприветствовать, курнуть травки и потолковать о том концерте в поддержку мира. Многие сетуют, что концерт этот — шаг не очень умный. Одни сочтут, что Певец прогибается для Народной национальной партии, что только усугубляет дело. Другие разуверятся в нем, потому как настоящие раста, по их убеждению, никому не должны кланяться. И урезонить их никак нельзя, так как той части мозга, что отвечает за резон, у них с рождения нет. Хотя насчет меня ему беспокоиться не о чем. Правда в том, что я старею и хочу, чтобы мой отпрыск видел меня уже в таком солидном возрасте, когда меня уже приходится таскать. На прошлой неделе я видел на рынке паренька, который таскал с собой своего деда. Старик без палки уже и ходить не мог, и внучок подставлял ему для опоры плечо. Старик тот меня так разжалобил, что я на рынке чуть не разрыдался. А по возвращении домой прошелся по улице и впервые обратил внимание вот на что: в гетто нет ни единого старика.

И я сказал: «Друг, ты знаешь меня, а с другой

стороны знаешь Шотта Шерифа. Так вот, позвони ему и просто скажи: пускай бы он оттеснил людей Джунглей». Но он мудрей меня и знает, что и Шотта Шериф не в силах помочь там, где распоясалась отвязь, имеющая оружие. Месяц назад в порту исчезла партия груза. С той поры времени прошло всего ничего, но у отвязи вдруг стали появляться автоматы, «М16», «М9» и «глоки», и никто не отдает отчета, откуда они взялись. Женщина рожает и растит ребенка, мужчина же способен лишь сделать из него Франкенштейна.

А когда он рассказывал мне о ребятах из Джунглей, то звучал как отец, у которого сын вырос так, что ему с ним не совладать. Он понял еще раньше меня, что я не в силах ему помочь. Я хочу, чтобы вы поняли кое-что важное. Я люблю этого человека безмерно. За Певца я готов получить даже пулю. Но ее, господа, будет достаточно и одной.

Нина Берджесс

Сразу после того, как мне сказали, что вход открыт только для приближенных и для группы, сзади подъехал человек на зеленом, как лайм, мотороллере. Он подъехал почти одновременно с тем, как подошла я; не глуша мотора, молча выслушал наш короткий диалог и укатил, ни словом не перемолвившись с самим охранником. «Это что, прием или доставка?» — пошутила я для отвода глаз, но охранник не улыбнулся и глаз не отвел. С той самой поры, как разнеслась весть о концерте за мир, охрана здесь была едва ли не плотнее, чем в кортеже премьер-министра. «Или в трусах у монашки», — сказал бы мой последний бойфренд. Человек на входе недавно сменился на другого, такого же подозрительного. О концерте слышала не только я, но и, пожалуй, вся Ямайка, так что я ожидала увидеть здесь охрану в униформе или полицию, но никак не таких вот субъектов, вид которых внушал опасение: не стоит ли стеречь вход именно от них? Положение становилось критическим. Может, оно и к лучшему, потому что, едва я вышла из такси, та часть меня, которую я обрубаю после утреннего

кофе, воскресла и сказала: «И на что ты здесь рассчитываешь, дура длинноногая?» Чем хорош автобус, так это тем, что следом за ним приходит другой, готовый забрать тебя сразу, едва до тебя доходит, что зря ты все это затеяла. А такси просто ссаживает тебя — и до свидания. Надо хотя бы начать похаживать туда-сюда (ничего более толкового все равно в голову не идет).

Хэйвендейл — это не Айриштаун, но все равно он ближе к центру, и пускай его не назовешь безопасным, но и убогим все-таки тоже. Всё не окраина. На улице не слышно детских воплей, и беременных не насилуют на ходу, как это что ни день бывает в гетто. Гетто я навидалась, живя с отцом. Каждый обитает на своей собственной Ямайке, и боже упаси, если ту можно назвать моей. На прошлой неделе, где-то за полночь, в дом отца вломились трое. Мать у меня вечно высматривает знаки и знамения, и недавняя газетная заметка о том, что враждующие группировки перешли линию Хафуэй Три и начали намечать цели в спальных районах, показалась ей зна́ком очень дурным. Еще длился комендантский час, согласно которому даже приличные люди с окраин обязаны к определенному часу находиться дома, будь то шесть, восемь или бог знает сколько

часов, иначе тебя схватят. Месяц назад мистер Джейкобс, сосед через четыре дома, возвращался домой с ночного дежурства, и полиция, остановив, безо всяких кинула его в свой фургон и сунула в предвариловку по статье за владение оружием. Он бы все еще там морился, если б папа не нашел судью, который внушил-таки копам, что это откровенная глупость — хватать ни за что ни про что приличных законопослушных граждан. При этом все деликатно умолчали, что для полиции мистер Джейкобс излишне темнолиц, чтобы считаться приличным, несмотря даже на габардиновый костюм.

А затем в дом ворвались грабители. Забрали у родителей обручальные кольца, все мамины статуэтки из Голландии, триста долларов денег, сгребли подчистую всю бижутерию, хотя мама заверяла, что цена ей ломаный грош, прихватили отцовы часы. Папу пару раз стукнули, маме влепили оплеуху за обращенные к одному из них слова, знает ли его мать, что он грешит. Я хотела было спросить, не согрешил ли он заодно и с нею, но сдержалась, вместо этого лишь сказав: «А чего ты хотела? От осины не родятся апельсины».

Несмотря на беспрестанные ночные звонки в участок полисмен явился лишь в полдесятого

утра, когда уже я сама давно была у родителей (до семи утра они не стали меня беспокоить). Протокол он составлял красной ручкой в желтом линованном блокноте (слово «правонарушитель» для верности произнес себе трижды, чтобы не ошибиться в написании). Ну а когда спросил: «Были ль налицо ахты а'хрессии? Фи'урировало ль какое-то о'нестрельное оружие?», я прыснула со смеху, и мать велела мне извиниться.

Эта страна, этот Богом проклятый остров нас доконает. Отец после ограбления не разговаривает. Мужчине приятно думать, что он способен защитить то, что принадлежит ему, но вот приходит кто-то, способный это у него отнять, и самоощущению мужчины наносится урон. Он уже как бы и не мужчина. Лично в моих глазах отец не опустился, только у мамы все не сходит с языка, что у него одно время был шанс купить дом в Норбруке, но он его не использовал, отклонил, потому что уже имел вполне приличный дом с выплаченной ипотекой. Трусом я отца не считаю. И скупердяем тоже. Только иногда, если вдуматься, всплывает и становится видно верхоглядство несколько иного рода. Хотя и это не то слово. Просто он из поколения, что никак не ожидало оказаться на полпути по лестнице к преуспеянию, и когда

попал туда, то был слишком ошеломлен, чтобы дерзнуть карабкаться по ней дальше. В этом и проблема с половиной пути. Верх — это когда у тебя есть всё, а низ — это когда все белые вольны устраивать на твоей улице воскресные гулянки, чтобы полнее ощущать свою состоятельность. Ну а серединка — это ни то ни сё. Ни себе ни людям.

В старших классах я упрашивала его остановиться на автобусной остановке или молила светофор держать красный свет, чтобы я успевала выскочить из машины до того, как отец подвезет меня к школе. Моя сестра Кимми (которая еще лишь созревает проведать своих родителей после того, как их ограбили, а мать, возможно, и изнасиловали) никогда в это не врубалась и всегда ворчала, когда отец ей говорил: «Ну, и ты выходи». Папа никак не был четырнадцатилеткой из средней школы «Непорочное зачатие» для девочек, у которых смысл жизни — повыпендриваться, что у них столько же денег и прав порхать походкой стюардессы с поднятой головкой и откинутыми плечиками, как у тех их сверстниц, которых подвозят к школе на «Вольво». Нельзя же, в самом деле, подъезжать на «фордике» туда, где у ворот залегают в засаде эти сучки, отслеживая, кто и на чем подъехал. «*Ой, вы видели, отец Лизы под-*

вез ее на каком-то драндулете? Хю-хю-хю. Мой бойфренд говорит, что это "Эскорт". У папы на таком горничная ездит. Хю-хю-хю». Кровь у меня вскипает не от того, что у отца не было денег, а от того, что ему в голову не приходило тратить их достойным образом. Потому, наверное, Бог в каком-то смысле на него грабителей и наслал. Наслал, но и не дал им взять много. Он только о том и шипит, что паршивым выблядкам достались всего три сотни баксов.

Но тешить себя обманом, что все безопасно, больше нельзя, потому что безопасности нет нигде. Мама рассказывает, что какое-то время эти типы держали отца за обе руки, чтобы каждый из них мог футбольнуть его в пах. И что он уже махнул рукой на докторов, хотя струя у него неделю от недели все слабее… Бог ты мой, я уже кудахчу, как мать. Но факт в том, что если они пришли раз, то могут прийти и снова. И кто знает, может, они сделают что-нибудь скверное и с Кимми — за то, что та думает навестить своих несчастных родителей после того, как их ограбили, а мать, возможно, и изнасиловали.

Последними «измами» этого премьер-министра-социалиста можно назвать «пофигизм» и «уклонизм». Должно быть, на Ямайке я последняя

из женщин, кто не слышала слов премьера о том, что для тех, кто хочет уехать, рейс на Майами летает пять раз в неделю. «*Лучшее еще настанет*»? Лучшее должно было настать еще четыре года назад. А вместо этого у нас сейчас одни «измы». «Изм» о том, «изм» об этом, да еще папик, ужас как любящий посудачить о политике. Это если на него не накатывают сетования, что у него нет сына, потому как для того, чтобы заботиться о будущности страны, нужны мужчины, а не бабы, для которых предел мечтаний — стать королевой красоты. Лично я политику терпеть не могу. Ненавижу уже потому, что, живя здесь, я вынуждена жить политикой. И ничего тут не поделать. Если ты не живешь политикой, политика будет жить тобой.

Дэнни был из Бруклина. Блондин, приехавший сюда писать диссер по животноводству. Кто знал, что Ямайка, на зависть всем наукам, создаст таких коров? В общем, мы стали с ним встречаться. Гулять он брал меня в отель «Мейфэр», на окраине. Приезжаем и, как по мановению волшебной палочки, — *бах*! Всюду белые — мужчины, женщины, старые, молодые… Раздолье, изобилие! Я, по их понятиям, смуглянка-негритянка, но даже с моим не очень темным цветом кожи видеть та-

кое количество белых было шоком. Должно быть, кто-то спутал это место с Северным Побережьем, уж слишком много там было туристов. И вот кто-то открывал рот, и все давай квакать этим своим американским акцентом. Я там бывала так часто, что даже память поистерлась, но всегда, помнится, челюсть отвешивалась, когда белые начинали меня прикалывать: «*Постой! Хо-хо-хо! Эй, копна, повернись на меня! Эта прича у тебя настоящая? Ба-а-а, давненько мы не видали такого прикидона! Вот это начес так начес! Слушай, а внизу у тебя такой же?*» И все такие белые, как сахарные головы, без намека на загар!

Дэнни слушал реально сумбур, иногда просто дичь, да специально погромче, чтобы меня позлить. Всякий там авангард, рок-н-ролл, «иглы» с «роллингами», и в изобилии всяких негров, которым надо бы запретить косить под белых. А вот ночью он играл мне *песню*. Года четыре назад мы с ним порвали, но всякий раз, когда я смотрю за окно, то мысленно, раз за разом, напеваю две строки: «*Я верю, ты знаешь, нет любви к тому, что покидаешь*». Забавно: с *ним* я познакомилась как раз из-за Дэнни. На какой-то вечеринке, которую устроил рекорд-лейбл, — где-то на выезде, среди холмов. «Вот место, где белые и небелые

живут душа в душу», — сказала, помнится, я. Дэнни сказал, мол, у него и мысли не было, что черные тоже могут быть расистами. Я отлучилась за пуншем — не торопясь, чтобы убить время, — а когда вернулась, Дэнни разговаривал с боссом лейбла. Я тогда была в точности такой, какой меня считали все эти трудяги, — заносчивой негритоской, что факается с американцем. А рядом с Дэнни и боссом стоял он — тот, кого я и не думала, что повстречаю. Последний его сингл заценила даже моя мама, и только отец на него морщил нос. Он был ниже ростом, чем я ожидала, и мы трое — он, я и менеджер — были здесь единственными темнокожими, не охаживающими публику с вопросами типа «вам подсвежить?». И вот он стоит здесь эдаким черным львом. «О, что за прекрасная секси-бестия? Воистину, на живца и зверь бежит», — не сказал, а прямо-таки изрек. И все пятнадцать лет моей выучки хорошей речи сразу под откос. Такой медоточивости на меня не изливалось из уст ни одного мужчины.

Потом я его долго не видела — Дэнни уж сто лет как уехал, — и тут Кимми (которая все никак не соизволит проведать родителей после того, как их ограбили, а мать, возможно, и изнасиловали) неожиданно пригласили на вечеринку в его дом,

а я отправилась с нею. Так вот, он меня не забыл. «Постой-постой, так ты сестра Кимми? Ах вон где ты пряталась!.. Или ты была Спящей Красавицей в ожидании, когда тебя разбудит мужчина?» А я буквально разрывалась между той своей частью, которую обрубаю после утреннего кофе («Да, да, причина именно эта, мой секси-брат», а другая при этом: «Ты что вообще творишь с этим растой, у которого к тому же и инфекции могут быть?»). Кимми через какое-то время ушла, не помню как. А я осталась, даже когда все уже разошлись. Мы смотрели на него — я и луна, — когда он вышел на веранду обнаженный, словно дух ночи, с ножичком для очистки яблока. Локоны курчавятся, как грива у льва, и мышцы такие, и светятся под луной… Только двое на всем свете знают, что «Полуночные рейверы» — это про меня.

Политику я ненавижу. Ненавижу то, что мне положено знать. Папа брюзжит, что никому не выжить его из родной страны, но при этом знает, что бандиты всё набирают силу. Как бы мне хотелось быть богатой, работать, не пробиваться на пособии, и я надеюсь, что он хотя бы помнит ту ночь на своем балконе, с яблоком в руке. У нас есть родня в Майами — том самом месте, куда

нам сказал убираться Майкл Мэнли[31], если мы того захотим. Место для постоя там найдется, но папа не хочет тратить деньги. Черт возьми, Певец теперь так поднялся, что его никто не может больше и видеть; даже женщина, знающая его лучше, чем многие другие. А вообще, что я такое несу? Это блажь, которую втемяшивают себе все бабы. Что ты знаешь мужчину или что открыла какой-то секрет только из-за того, что дала ему залезть себе в трусы… Как бы не так, лапуся. Скорее наоборот. Он тебе вслед и не поглядел.

Я стою через дорогу, жду на остановке автобуса, пропустила уже два. А за ними и третий. Он так и не вышел через переднюю дверь. Ни разу. Не сделал так, чтобы я птицей кинулась к нему через дорогу с криком: «Ты же меня помнишь? Сколько лет, сколько зим! Мне нужна твоя помощь!»

[31] Примечания: 31

Майкл Мэнли — лидер Народной национальной партии Ямайки (1969).

Бам-Бам

Стволы в гетто завозят двое.

Один показывает мне, как ими пользоваться.

Но сначала они завозят другие вещи. Отварную солонину и кленовый сироп «Тетушка Джемайма», с которыми даже никто не знает, что делать, и сахар-рафинад. А еще «Кул-эйд», «Пепси», пузатые мешки муки и другие вещи, которые в гетто никому не по карману, а если и по карману, то где их взять. Первый раз, когда я слышу от Папы Ло о том, что близятся выборы, он рычит это тихо и мрачно, как гром, будто скоро пойдет ливень, и тебе ничего нельзя с этим поделать. Его навещают какие-то незнакомые, все непохожие на него (кто-то из них еще краснее, чем Шутник), почти белые. Они приезжают на блестящем авто, а потом уезжают, и никто не спрашивает, но все знают.

И в это же время приезжаешь обратно ты. Ты теперь больше, чем Десмонд Деккер, больше, чем «Скаталайтс», больше чем Милли Смолл, больше даже, чем белые люди. А Папу Ло ты знаешь еще с той поры, как у вас обоих еще не было на груди волос, и едешь к нему через гетто аки тать в но-

щи, но я тебя вижу. Возле моего дома, куда меня определил Папа Ло. Вижу, как ты подъезжаешь, только ты и Джорджи. А Папа Ло визжит чуть ли не как девушка и выбегает тебя обнять, и обнимает со всех щедрот, а ты всегда был мелковат, и тебе приходится кричать, чтобы он поставил тебя на место, и хватит уже обниматься и тискаться, а то ты начнешь путать его с Миком Джаггером. Ты превращаешься в человека, который судачит об уйме людей, которых никто не знает, и ты рассказываешь, как кокаинщик, именующий себя Слай Стоуном, а на самом-то деле девичье имя у него типа Сильвестр[32], дает тебе место на разогреве, все равно что кидает собаке кость, и ты выскакиваешь на сцену и всех размазываешь, но кто-то из темных говорит: «Что это за дерьмовые хиппанские медляки?» И ты им вообще никак не нравишься, а потому говоришь: «А ну их всех на хер, лучше я буду выступать сам по себе», а Слай Стоун просто уходит и нюхает дальше свой кокс, кидая тебя в Лас-Вегасе. Его мы тоже не знаем, но ты человек, который теперь рассказывает о людях, которых не знаем мы. Ты рассказываешь, что

[32] Примечания: 32

Слай Стоун (*наст.* Сильвестр Стюарт, р. 1943) — американский музыкант и продюсер, стоявший у истоков психоделического фанка; лидер группы «Слай энд зе Фэмили Стоун».

фаны коксовика тебя по-настоящему не оценили и ты их после всего четырех шоу взял и бросил.

Но это была лишь вода под мостом. Ты бредешь по Вавилону, и остаток истории Папа Ло может досказать, потому как ее знают все. Поэтому Папа Ло досказывает, а ты просто киваешь. А затем говоришь, что у тебя есть большой разговор, но он вынужден подождать, потому как все слышали, что ты в Копенгагене, и все сейчас пойдут благодарить и нахваливать страдальца, ставшего большой звездой, но который не забывает других страждущих, которые все еще страждут, а кто-то благодарит тебя за деньги, потому как сейчас ты кормишь три тыщи человек, о чем все знают, но никто не говорит, а машина у тебя смотрится побитой, а не такой, как мы ожидаем, и я от этого сержусь, потому как нет ничего хуже, чем когда у человека есть деньги, а он прикидывается, что у него их нет, все равно что выставлять себя с понтом бедняком. И какая-то женщина обнимает тебя и говорит, что у нее есть тушенка, а ты говоришь: «Мамуля, ты же знаешь, я к свинине не притрагиваюсь», а она тебе: «Да я ж про горошницу! Ты такой и не пробовал!» И тогда ты говоришь: «Беги, мамуля, и принеси мне добрую чашку, самую большую на кухне, и тащи ее в

дом Папы Ло, потому как нам с ним нынче говорить не переговорить». И вы с Папой Ло уходите без всякого даже присмотра, даже Джоси Уэйлс остается снаружи. А я смотрю, как Джоси Уэйлс смотрит, как вы уходите, а он остается, и смотрит, и шипит.

Те двое, что завозят стволы в гетто, смотрят, как ты отпеваешься у них от рук, и им это ох как не нравится. Здесь, на окраинах, никто не поет тебе славу и хвалу. И уж точно не тот, что завозит стволы в Восемь Проулков, где по-прежнему заправляет Шотта Шериф. Этот человек знает, что его партия выходит на выборы и ей нужно победить, остаться у власти, довести власть до народа, всех своих товарищей и социалистов. И Сириец, который завозит стволы в Копенгаген и жаждет выиграть выборы, да так, что самого Бога на его престоле готов подвинуть, тоже ее не поет. И Американос, что приезжает со стволами, знает: тот, кто победит в Кингстоне, выиграет Ямайку, а тот, кто победит в Западном Кингстоне, выиграет Кингстон. Знает еще до того, как кто-то в гетто ему это сказал.

Премьер-министр Майкл Мэнли всем говорит по телевизору и по радио, что обеспечил тебе первый большой прорыв, и если б не он, ты не стал

бы знаменитым. И что он всегда поддерживал голос угнетенных, товарищей в борьбе. А потом ты поешь: «Никогда не давай политикану оказать тебе услугу, ибо он будет ездить на тебе всегда», но он считает, что это спето не о нем, потому как он теперь не политик, он теперь Иисус.

И тот, что завозит стволы в Копенгаген, чтобы там порешали вопрос с Восемью Проулками, слышит, что ты все время ведешь беседы с Папой Ло, как будто б вы с ним снова в школе и замышляете шалость, и тогда царапает голову Сирийцу и спрашивает Папу Ло, о чем он с тобой разговаривает, ведь известно, что ты человек ННП, потому как те обеспечили тебе первый крупный прорыв, и может, этот маленький раста пытается отрихтовать Папу Ло под ННП. Ты не знаешь, что начиная с этой поры люди смотрят за тобой соколиным взором, потому как ты все время общаешься с Папой Ло, а нынче Папа Ло даже поехал к тебе в дом на окраине и провел там целый день.

На те выходные, что Папа куда-то запропал и никто не знал, где он, пронеслась молва, что он на самом деле отправился в Англию посмотреть на твой концерт. Прошло и слово, что ты все еще не потерял связь с Шотта Шерифом, человеком, чей подручный убил мою семью, и я научился

ненавидеть тебя по-новому, так же как любить Папу Ло. Ты его охаживаешь, ты подбиваешь его на что-то, и все это видят. Особенно Джоси Уэйлс. Джоси Уэйлс смотрит за тобой, а я смотрю, как он смотрит за тобой, и ему не нравится, к чему оно все идет, а вслух он этого не говорит, но дает знать тем, кто слышит. А мелкие пташки щебечут, что Папа Ло слабеет, что уже не тот.

Но вот как-то пацан из Копенгагена грабит под стволом женщину, свою же, копенгагенскую, что торгует пудинги и тото на перекрестке Принсесс и Харбор-стрит. А она приходит к дому Папы Ло и указывает, кто это: шкет в трех дверях от моего дома, которого тут все недолюбливают. А мать его в крик: «Ай, ой! Господи помилуй! Сжалься над мальчиком, Папа! Это потому, что у него нет папаши, чтобы научал его уму-разуму!» И по всему видать: врет немилосердно, манда старая. Джоси Уэйлс все шипел, что Папа Ло эти дни слишком уж много думает, а тот, гляди-ка, срывает с этого зассанца одежду и рявкает: «Мачете мне!» — и лупцует им пацана со свистом тупой стороной; каждый удар, как удар грома, надсекает кожу. Парень орет, визжит, но Папа Ло мощен, как дерево, и быстр, как ветер. «Ай, Папа Ло, ой, Папа Ло!», а тот только свирепеет. Пинает его наземь и лупит

и рукой, и ногой, а когда устает от мачете, срывает с себя ремень и пряжкой его, пряжкой, — и по спине, и по груди, и по рукам-ногам. Мать к чаду своему бросается, так он и ей разá звезданул по лицу, она только прикрылась и отбежала. Люди сошлись, смотрят. Папа Ло вынает ствол, хочет пулю пустить, и тут мамаша снова подлетает, прикрывает его и вопит-умоляет Папу Ло, женщину, что потерпела, и всё к Иисусу-Богу взывает, в холмах Сиона почившему. Ну, супротив Иисуса даже Папа Ло не посмел. Сказал только: «Женщина, что такого пизденыша выродила, сама заслуживает пули». Ствол ей ко лбу поднес, но стрелять не стал, просто ткнул и ушел.

В шестидесятых у нас правила Лейбористская партия Ямайки, но тут подняла голову Народная национальная и сказала стране: «Лучшее настанет, и настанет оно с нашей победой на выборах семьдесят второго года». А теперь лейбористы хотят прибрать страну обратно к рукам, и нигде не встретишь ни единого «нет» или «не можем» — только «можем» и «да». Центр города на замке, полиция уже кричит о комендантском часе. Кое-где на улицах так тихо, что даже крысы задумываются, вылезать им или нет. Западный Кингстон в огне. Народ хочет знать, как так

получается: лейбористы теряют Кингстон, а Копенгаген все равно под ними. Люди рассуждают, что это все из-за Ремы — места между ЛПЯ и ННП, что голосует против ЛПЯ, потому как ННП обещает солонину, муку и больше учебников для школ. Человек, что завозит стволы в гетто, привозит их еще больше и говорит, что не успокоится, пока каждый мужчина, женщина и молокосос в Реме не окровавится. Но обе партии оглушенно замирают, когда встает третья партия — *ты* — и на экране откуда-то из чайной лавки говоришь, что жизнь твоя принадлежит не тебе, и если ты не можешь помочь народным массам, то она тебе не нужна. И что ты делаешь для гетто кое-что еще, хотя тебя там и нет. Чего именно ты для него делаешь, я, хоть убей, не знаю. Басы, может быть — то, чего никто не видит, но чувствует, а тот, кто чувствует, знает. Но какая-нибудь баба, что говорит сама с собой, вдруг распустит у себя на дворике язык и, проклиная каждую штанину трусов, которые стирает, заверещит, что устала от этой дерьмократии, от всех этих «измов» и «азмов», и давно уже пора, чтобы большое дерево встретилось с маленьким топориком. Но пока она этого не говорит, а поет, мы знаем, что за всем этим ты. Тьма народа и в гетто, и в Копенгагене,

и в Реме, и, конечно же, в Восьми Проулках поет одно и то же. И двое, что завозят стволы в гетто, не знают, как быть, потому что, когда удар наносит музыка, ты не можешь ударить встречно.

Парень, вроде меня, твоих песен не поет. «Тот, кто чувствует, знает», — поешь ты, только чувство это было у тебя давно. Мы слушаем другую песню, которую крутят по «Сталаг ритм» — песню от людей, которым не по карману гитара и нет белого человека, который бы им ее дал. И в то время, как мы слушаем песню людей таких, как мы, ко мне наведывается Джоси Уэйлс, и я шучу, что он Никодемус, тать в нощи.

На тринадцатилетие он дарит мне подарок, который чуть не вываливается у меня из пальцев, потому как вес пистолета — это вес особый. Не тяжелый, но особенный — холодный, гладкий, плотный. Он не слушается твоих пальцев, если только твоя рука вначале не докажет, что может им владеть. Я помню, как ствол выскальзывает из руки, бухается об пол, а Джоси Уэйлс подскакивает. Вообще он не прыгает. «Последний раз такое было, когда я начисто отстрелил себе четыре пальца», — говорит он и подбирает его. Я хочу спросить, оттого ли он хромает. Джоси Уэйлс напоминает мне, что это он обучает меня,

как использовать ствол, чтобы палить из него в выродков из ННП, если те что-нибудь выкинут, и скоро наступит мой черед защищать Копенгаген, особенно если враг придет из соседних кухонь, а не из далекой пустыни. Джоси Уэйлс никогда не изъясняется музыкально, как Папа Ло или ты, поэтому я смеюсь и получаю от него затрещину. «Не проявляй неуважение к дону», — говорит он. Мне хочется сказать, что он не дон, но я молчу. «Ты готов быть мужчиной?» — спрашивает он. Я говорю, что и так мужчина, но не успеваю закончить, как он утыкает мне в висок ствол: тык. Помню, я напрягаюсь, изо всех себя заклинаю: «Не ссы, ну пожалуйста. Не смотрись трехлеткой, которому неймется надуть в штаны».

Папа Ло грохнул бы меня быстро и четко, все равно что щелкнуть пальцами. Но если б он захотел убить тебя в пятницу, он бы раздумывал над этим, взвешивал, отмерял, планировал с понедельника. Джоси Уэйлс не такой. Он не думает, а просто стреляет. Я смотрю на черное дуло и знаю: он может грохнуть меня прямо сейчас, а затем сказать что-нибудь Папе Ло. А может и не говорить. Никто не в силах угадать, что Джоси Уэйлс выкинет в следующую минуту. И вот он держит мне ствол у виска, а сам хватает за пояс штанов и

тянет, пока не отлетает пуговица. У меня только трое трусов, больше взять неоткуда, и я надеваю их только тогда, когда надо выйти из гетто. Джоси Уэйлс ухватывает меня за трусы и сдергивает. Смотрит снизу вверх, сверху вниз и тогда улыбается. «Пока, — говорит, — не мужчина. Но уже скоро, скоро. Я тебя им сделаю, — говорит. — Ты готов быть мужчиной?» — спрашивает. Я подумал, он мне за политику, вроде того как Майкл Мэнли спрашивает: «Ты хочешь лучшего будущего, товарищ?» Я и кивнул, а он тогда вышел наружу, ну и я за ним пошел по улице, по которой нынче никто не ездит: шибко уж тут часто стреляют. Домов вокруг нет, только куча песка и блоки. Должна была встать казенная многоквартирка, но теперь, видно, не дождаться: правительство строить не будет, потому как мы за Лейбористскую партию.

Поддергивая штаны, я иду за ним вдоль улицы туда, где она вроде как заканчивается — рельсы, рассекающие Кингстон с запада на восток. Здесь, на юге, с этой железной дороги беспрепятственно видно море. И если стоять у моря и глядеть, как Кингстон уходит за горизонт, можно даже позабыть, что ты живешь на острове. Что в гетто есть ребята, которые каждый день бегают к морю и

ныряют в него, чтобы что-то забыть. О них я думаю, только когда смотрю на море. Солнце сейчас садилось, но от него все еще было жарко, и воздух припахивал рыбой. Джоси Уэйлс сворачивает налево, к маленькой хибарке, где когда-то давно спозаранку вставал человек, чтобы перекрыть для прохода поезда дорогу. Идти следом Джоси Уэйлс мне и не говорил. Когда я наконец вхожу внутрь, он смотрит на меня так, будто ждал этого весь день.

Внутри уже темно, и половицы жалобно скрипят. Он зажигает спичку, и я вначале вижу кожу, потную и блестящую. Забавно: после запаха пота вскоре начинается улавливаться запах ссак. Так оно и есть: ссаки будто впитались в пол, но еще не застарелые. Обоссался наверняка тот голый пацан в углу, что лежит на животе. Джоси Уэйлс или кто-то другой привязал ему руку к ноге, так что смотрится это как согнутый лук из человека. Жози Уэйлс указывает на охапку его одежи, что рядом на полу, а затем стволом на меня: «Подбери. Она, возможно, твоего размера. Теперь, — говорит, — у тебя и трусов будет четверо». Я не помню, чтобы говорил кому-то, сколько у меня трусов. Нагибаюсь подобрать, и тут Джоси Уэйлс жахает из ствола. Пуля буцкает

в пол, и мы с пацаном подскакиваем. «А ну стой, шибзденыш, — шипит Джоси мне. — Ты еще не доказал, что ты мужчина». Я смотрю на него — высокий, лысый, его женщина бреет каждую неделю. Коричневый, весь из мышц, в то время как Папа Ло черный и плотный. Когда Джоси Уэйлс лыбится, он похож на азиата, но сказать ему об этом нельзя: пристрелит. Потому что у азиатов хренки не больше чем прыщики, совсем не то что у черных ямайских львов.

«Видишь, какие в Реме пацаны зажиточные? Вот ты можешь себе позволить джинсы? “Фиоруччи”, между прочим, не хухры-мухры. Теперь видишь, какое применение пижончик из Ремы может найти своим тридцати сребреникам?» Джоси Уэйлс знает считай что все одежные чекухи: ему женщина таскает их с фабрики, где работает, а фабрика отправляет одежду в Америку, чтобы народ мог щеголять в ней на дискотеках, — чем еще там людям заниматься. Все это знают, потому как она всем рассказывает. А у тебя, если хочешь на такое добро скопить, вначале от времени яйца поседеют.

«Ну давай», — говорит Джоси и сует ствол мне в руку. Я слышу, как пацан плачет. Он из Ремы, а я оттуда никого не знаю. Да и из Восьми

Проулков, наверное, никого бы не узнал, если б сейчас увидел. «Прямо сейчас давай», — повторяет Джоси Уэйлс. Вес ствола — особенный вес. А может, не столько он, сколько ощущение, что как берешь ствол, то не ты его реально держишь, а он тебя. «Или сейчас, или я тут вами обоими займусь», — говорит Джоси. Я подхожу прямо к пацану, слышу, как он пахнет потом, ссаками и еще чем-то, и жму на спуск. Пацан не орет, не вопит и не ахает, как в кино с Гарри Каллаханом, где тот загибает мальчика. Просто дергается и замирает. Ствол у меня в руке тоже дергается, жестко так, но и выстрел не бабахает, как у Гарри Каллахана. Там одно только эхо расходится до конца фильма, а здесь «*кхх*» — все равно что две доски по ушам въехали, — и уже нет ничего.

Когда пуля входит в тело, слышно только «*чпок*». Этого, из Ремы, я шлепнул прямо-таки с охотой. Вот прямо-таки хотелось, от души. Не знаю почему. Хотел, и всё. Джоси Уэйлс ничего на это не сказал. «Теперь, — говорит, — добей, чтоб наверняка». Я бабахнул, пацан снова дернулся. «Да в голову, дурень», — говорит Джоси, и я снова шмаляю. Крови я из-за темноты не вижу, льется она на пол или нет. Только пистолет стал легче и теплей. Я подумал, что он как будто начинает

меня любить, приживаться. А убить пацана мне было как два пальца об асфальт. Я об этом уже заранее знал — может, у ребят из гетто чутье такое. А что заблевал, так это не из-за смерти, а из-за ссак с говном и кровью, когда отволакивал труп, чтоб скинуть в море. Через три дня вышла газета с заголовком: «*Тело мальчика в Кингстонской бухте: убийцы не щадят никого*». Джоси Уэйлс тогда осклабился и говорит: «Вот теперь ты большой человек, такой, что аж в газеты попал. На всю Ямайку нагнал страху». Ну, а я себя большим не чувствую. Не чувствую вообще ничего. Если и есть что большое, так именно это. Хотя, в общем, и нет. «Только Папе Ло не проболтайся, — наказывает мне Джоси. — А то как бы он и меня не порешил».

Джоси Уэйлс

Ревун, как всегда, не торопится. Он с белыми людьми ладит; всё у него реально пучком после того, как один из них научил его стрелять как мужчину, а не как глупого мальчугана из гетто. Так его поначалу звал Луис Джонсон, именно так. У белых людей муди растут откуда надо, я бы так сказал. Как-то раз Ревун вскочил, выхватил перед белым человеком ствол — пукалку тридцать восьмого калибра, — и тут ему в яйца упирается пушка куда серьезней. «Я все равно могу тебя убить», — хорохорится Ревун. «Ты своим пестиком целишь мне в мозг, а я свой пест упираю в твой, — отвечает Джонсон. — Мне кажется, для ямайца это пострашней убийства, разве не так, бро?» Ревун луп-луп глазами и ну смеяться, трясти ему руку, даже за плечо его обнял и назвал своим брателлой. А как не назвать, когда человек намастрячился разговаривать, как ярди?[33] Я помню, он носил джины «Рэнглер». Американос, который на выезде из Америки старался смотреться еще больше по-американски. Это все было

---

[33] Примечания: 33
Ярди — уличные банды на Ямайке, особенно из района Тренчтаун.

в баре «Розовая леди» на Печон-стрит, между центром Кингстона и его гетто, куда каждый четверг поставляются свежие девки, хотя на прошлой неделе свежей была одна двухлетней давности, которая все еще в танце трясется, как банановая пальма. Времена непростые и, видимо, хужеют с каждым днем, коли на сцене стрипует воспиталка из яслей. Ревун любит факать и ее.

Открывается «Розовая леди» в девять утра, а на джукбоксе там в основном две вещи: приятный такой ска из шестидесятых и сладенький рокстеди типа «Хептонов» и Кена Лазаруса. Никакого вонючего регги наших раста. Если еще раз встречу того шибздика, что не причесывает лохмы и признает своим богом-спасителем Христа, то, наверное, пошлю его на все шесть направлений. Можете эту шутку зачислить на мой счет. Стены здесь для красного слишком розоватые, а для розового — слишком лиловатые. Еще для колера хозяин самолично сделал напыление из позолоты. Лерлетт, худосочная деваха на сцене, всегда любит выламываться под «Бони М». Был как-то год, что мы выставляли им секьюрити на тур по Ямайке; никто даже представить не мог, какой пидорный вид у этих троих чувих и одного чувака с Карибов. И вот каждый раз, когда

песня подходит к последнему припеву — «*she knew how to die*»[34], — Лерлетт всегда падает на одно колено, выставляет перед собой руки, как Джимми Клифф с наганом в «Тернистом пути»[35] и как бы стреляет. В этот свой «*па-па-па-пам*» она вкладывается всем телом, выражает всю свою досаду на житуху. Ревун Лерлетку местами тоже пофакивал.

Когда танец кончается, она натягивает обратно свои трусики-чулочки и приходит ко мне в отгородку. У меня с бабами правило: если у тебя сисоны торчковей, а тело жарче, чем у моей женщины, мы с тобой договариваемся и я тебя беру. А иначе катись к хренам. Десять лет, а я с этой женщиной все еще встречаюсь. Все свои собачьи годы я искал такую, как Уинифред, — женщину, что выносила от меня мальчика, которого я хотел бы считать своим сыном. Скажу одно: мужчина не может позволять себе разбрасываться семенем направо-налево. На прошлой неделе Ревун заявился с сыном от какой-то женщины из Джун-

---

[34] Примечания: 34

«Ма Бейкер» (*англ.* Ma Baker) — один из ранних хитов «Бони М» с рефреном: «Она знала, как умирать».

[35] Примечания: 35

Джимми Клифф — ямайский певец и композитор; сыграл главную роль в фильме «Тернистый путь».

глей, хотя он даже толком не помнит ее по имени. Парнишка то ли тормоз, то ли начал курить траву намного раньше срока: всю дорогу пускал слюни и дышал, как сенбернар на припеке. На Ямайке ты должен быть уверен, что растишь свое чадо правильно. Легкая шоколадная глазурь без лишней подсушки, чтобы твое дитя вовремя получало хорошее питание и имело хорошие волосы.

— Ну чё, пупсик, сообразим вечерком на двоих?

— Грязная девка, а ну шурши отсюда лягами! Или ты не видишь, кто перед тобой?

— Ой-ти. Вижу, да не того. А Ревун где?

— Я ему что, караульщик?

Она не отвечает, а сердито так уходит, оправляя на заднице трусики. По ней прямо со спины видно, что мать ее во младенчестве роняла башкой об пол. Даже, наверное, дважды. В людях я терпеть не могу двух вещей: во-первых, когда они несут похабщину. Но еще хуже, это когда они пытаются заткнуть тебя за пояс своей ученостью, козыряют ею. Мать меня дотянула до окончания школы, спасибо ей. Но на учение я забивал, а знаний набирался через глаза и уши. Я вот и сейчас смотрю телепередачи, Билла Мэнсона и «Я мечтаю о Дженни», каждое утро с десяти слушаю по радио

сериалы — они хоть и для женщин, слезливые, а мне все равно нравится. Слушаю и политиканов — но не тогда, когда они обращаются ко мне так, будто я какой-нибудь позорный ниггер из гетто, а когда они говорят меж собой или с белыми людьми из Америки.

На той неделе сынишка мне сказал: «Папа, зняесь такие слова?» И давай ими крыть — где только, соплезвон, успел понахвататься… «Говно» из них самое безвинное. Я его, засранца, шлепнул так, что он чуть не разревелся. «А ну не смей, — говорю, — разговаривать со мной, будто ты родился под хвостом у коровы».

А взять этого, *нашего*. Смотрит на тебя с таким видом, будто ты ему что-то должен. В том и проблема с этими щегольками. Где они были, когда в шестьдесят шестом гремела война в Балаклаве?[36] Я уж об этом и говорить перестал: больно. Все базарят так, будто они из гетто, особенно *этот*.

Увидел его как-то по телику — мне в жизни еще не было так стыдно. Ты, сучьё, со всем твоим баблом, золотыми дисками, следами от помады всевозможных белых женщин на члене, — и ты

---

[36] Примечания: 36
Балаклава — город на Ямайке, округ Сент-Элизабет.

разговариваешь *так*? Сидишь, гундосишь, как ярди: «*Если моя жизнь только для меня, она мне не нужна*». Правда, что ли? Ну так, сучара, готовься с ней расстаться: я лично к тебе нагряну.

А вот Ревун, он другой. В первый день как вышел из тюрьмы — не самый, скажу вам, удачный, так как вышел он как раз посередь войны, — у него задний карман выпирал бугром. Полез он туда — оказалась книга, а в ней столько красного, даже на обложке, что я сперва решил, типа у него из задницы кровь идет. Оказалось, красные чернила от единственной ручки, которую он прикурковал в тюряге. Я спросил: «Ты чё, еще одну книгу в книге написал?» А он: «Да куда мне. Я не звезда. А среди моих братьев, — говорит, — выше всех Бертран Рассел[37]; лучше, чем он, никому не написать». Книгу того Бертрана Рассела я до сих пор еще не прочел. Ревун говорит, именно благодаря Бертрану Расселу он теперь не верит в Бога, и у меня с этим тоже есть проблемки.

Сижу жду Ревуна. На джукбоксе крутится песня, тоже хитовая. На прошлой неделе я ему и молодым — Бам-Баму, Демусу и Хеклю — сказал,

---

[37] Примечания: 37

Бертран Рассел — британский философ, общественный деятель и математик. Известен своими работами в защиту пацифизма, атеизма и левых политических течений.

что ямаец — это человек в поисках отца, а если тот в комплект не входит, то он все равно будет искать его в ком-нибудь, пока не найдет. Так и Папа Ло. Потому он «папой» и именуется. Только он больше не может быть отцом никому и ничему. Ревун говорит, что он мягчает, а я ему говорю: «Вовсе нет, долбак ты гребаный». Ты вглядись, разуй глаза. Человек не мягчает, он просто достиг возраста, где стоит сам перед собой в зеркале, уже старик, и оба друг другу больше не нравятся, хотя ему всего-то тридцать девять. Но у нас это уже стариковский возраст, и проблема дожившего до него в том, что он не знает, что с собой делать. И начинает вести себя так, будто он уже не из того мира, который своими руками помогал создавать. Нельзя вот так разыгрывать из себя Бога и говорить: «Что-то человек мне разонравился, давай-ка я смою его начисто потопом и начну заново». Папа Ло начинает рыть слишком глубоко и думать, что ему следует быть больше того, чем он уже есть. И он самый безнадежный глупец; глупец, который начинает верить, что всё может быть лучше. Лучшее, оно настанет, но не так, как он думает, а по-иному. Колумбийцы вон начинают мне поговаривать, что устали от этих чокнутых кубинцев, которые вынюхивают

бóльшую лишку из того, что должны лишь продавать, а от багамцев нынче нет проку, так как они навострились химичить кокс сами. Первый раз, когда они спросили, хочу ли я опробовать их зелье, я сказал «нет, *hermano*»[38], но Ревун сказал «да». «*Братья*, — говорит, — *кокс единственная штука, за которую я давал в тюрьме*». Прямо вот так и сказал, начистоту. Зная, что никто в гетто не посмеет к нему подойти и назвать его за это «жопником». Тот человек все еще шлет ему из тюрьмы письма.

Люди — даже те, которым виднее, — начинают подумывать, что Папа Ло мягчает, что ему больше неинтересно выбивать деньги на партию. Что он думает отойти и дать человеку от ННП зайти на *территорию*, а Джунгли и Рема, всегда охочие до того, что плохо лежит, скоро отбелят свои зеленухи и перекрасят их в оранжевый цвет. Так вот Папа Ло не мягчает; он мыслит вглубь, за что политиканы ему не платят. Политиканы поднимаются на востоке и бьют клинья на западе, и ничего ты с ними не поделаешь, никак не изменишь. И вот здесь наши дороги расходятся. Он хочет их забыть; я хочу их использовать. Они

---

[38] Примечания: 38
Собрат, братец (*исп.*).

думают, что ему до народа больше нет дела, но проблема в том, что дело ему как раз есть, и он уже втягивает в него Певца.

Первый раз они зазвали меня в прошлом году. На встречу возле Грин-Бэй. И я первым делом спросил: «А где Папа?» И тот из них, который черный (почти все были белые, коричневые или красные), сказал: «*Хватит с нас Папы. Время Папы прошло, сейчас нужна новая кровь*». Ну прямо как на камеру в «Скрытой камере». В какой-то момент эта гнида Луис Джонсон достает листок — бланк посольства вверх ногами, с приглашением на какой-то банкет, липа полная — и с видом, будто это какое-то секретное постановление, читает всем и улыбается, как будто подтверждает им какую-то хрень насчет меня. Папа, дескать, не заботится о нуждах и чаяниях этой грязной жизни. При этом все эти тормозные залупочесы не ловят, что я-то тоже об этом не забочусь. Словом, Медельин местного розлива.

И вот, стало быть, я даю этому жулику Луису подсластить меня своим плутовским планом. Выслушиваю, как они мне с улыбочками говорят, что они-де сомневаются, а можно ли мне довериться, и прикидываюсь, что не понимаю, когда они намекают: «Дай нам знак». Ну прямо как по

Библии. Разыгрываю из себя дурака, пока они не выкладывают мне в открытую, чего хотят. Луис Джонсон из них единственный от посольства, с кем я вижусь. Он поддерживает связи с темнокожими. Сам высокий, каштановые волосы и темные очки, чтоб не было видно глаз. Я ему говорю, что он сейчас находится в Копенгагене, известном не иначе как ладонь моей руки, которую я, если захочу, в любую минуту могу сжать в кулак. Задираю рубашку и показываю ему историю шестьдесят шестого года. Грудь слева — пуля почти возле сердца. Шея справа — пуля насквозь. Правое плечо — рана в ткань. Левое бедро — пуля отскочила от кости. Ребра — пули почиркали и их. Насчет того, что я думаю послать своего человека в Майами и еще одного в Нью-Йорк, я умалчиваю. А еще, что «*yo tengo suficiente espacol para conocer que eres la mбs gran broma en Sudamйrica*»[39]. Болтаю, как придурковатый ниггер, и задаю тупые вопросы вроде: «А в Америке что, прямо у всех есть стволы? Ух ты! И какими пулями они стреляют? А почему б вам не отрядить вашего Грязного Гарри в филиал на Ямайке?» Хи-хи-хи да ха-ха-ха. А они сообщают мне новости,

[39] Примечания: 39

«Моего испанского достаточно, чтобы знать: ты — самая большая шутка в Южной Америке» (*исп.*).

что Певец, дескать, дает Папе Ло деньги и они оба что-то замышляют по-крупному, думая каким-то образом изничтожить всех людей вроде этих, что зазвали меня на встречу. Я делаю вид, что Папа Ло не успел в прошлый раз рассказать мне о том, как он в Джунглях шмальнул паренька и пожалел, когда узнал, что тот был из выпускного класса. И вот я говорю политиканам и американцам: «Что ж. За-ради доказательства, что я дон из донов, берусь выполнить то, что необходимо сделать». Тут мне говорят: позвольте, мол, внести ясность, правительство Соединенных Штатов никоим образом не поддерживает и не потворствует какой-либо противозаконной или подрывной деятельности на суверенных территориях соседних стран. В общем, ведут себя так, будто я не знаю, что они уже затевают обман и ищут, с кем бы из моих подручных встретиться наедине, как Никодемус в ночи, и сказать ему разделаться со мной сразу, как я выполню намеченное ими. И вот я жду здесь Ревуна — обсудить то, о чем можем говорить только мы с ним, потому как завтра я думаю кое-кем заняться. С завтрашнего дня мне предстоит подзаняться миром.

Нина Берджесс

Семнадцать автобусов. Десять маршруток, включая одну с эмблемой «Ревлон Флекс», которая проехала дважды. Двадцать одно такси. Триста шестьдесят шесть автомобилей или около того. И хоть бы раз он вышел из своего дома. Ни разу — даже чтобы дыхнуть воздухом, посмотреть, исправно ли несут свою службу охранники. Или хотя бы сказать солнцу: «Позже, брат, не до тебя: ты же видишь, я серьезно занят». Ближе к вечеру снова подъехал тот тип на зеленющем мотороллере и снова был услан, но только перед этим слез и поговорил с человеком на входе в течение двух минут семнадцати секунд (я засекла). Часы Дэнни все еще ходят, несмотря на то, что как-то раз, заскочив перекусить в «Терранову», я столкнулась со своей бывшей одноклассницей (сиськи обвислые, как у усталой козы, но сама все такая же надменная сука), и от нее мне открылось, что «Таймекс» — именно те часики, «*что мой папа на той неделе подарил Гортензии за пятнадцать лет безупречной работы по дому*». То есть сука намекала, что я дешевка. Мне хотелось ей сказать: «Какое, должно быть, счастье

быть замужем: можно совершенно не заботиться о своей внешности», — но вместо этого я с улыбкой произнесла: «Надеюсь, твой сынишка умеет плавать: я только что видела, как он мчится к бассейну».

Как жаль, что не изобрели еще телефонов, которые можно носить с собой, иначе я позвонила бы Кимми и спросила, съездила ли она уже навестить своих бедных отца и мать и как нам быть с отъездом к чертовой бабушке из этой страны, пока здесь не произошло что-нибудь еще похлеще. Знание Кимми подсказывало мне: к родителям она если наконец и явится, то не иначе как в какой-нибудь маечке типа «*Университет Ганджи*» и джинсах с кокетливым вырезом сзади; маму будет звать «сестрёна», а отца утешать тем, что виной всему наша вавилонская «shit-стема», а потому и злиться надо не на тех громил, а прежде всего на «шитстему», что их до этого довела. Такие вот разговорчики ведутся у них в тусовочном месте, именуемом «Двунадесять Племен» в разбитном, замусоренном квартале Дом Западных Королей, невдалеке от резиденции представителя Королевы. В вопросах сарказма мне не мешало бы поднатореть. Возможно, я снобиха, но, по крайней мере, я не лицемерка, дрейфующая по

кругу, поскольку мне больше нечем заняться после того, как моя заветная мечта щемиться с Че Геварой ткнула мне в морду кукиш. Не зависаю я и с богатеями в Доме Западных Королей, что нынче щеголяют немытыми патлами, а своим самомнением тревожат родителей, зная наперед, что через пару лет станут во главе их фирм и женятся на каких-нибудь суках из Сирии и Коста-Рики, только что урвавших звание «мисс Ямайки».

Машины: триста шестьдесят девять, триста семьдесят… семьдесят два, семьдесят три… Нет, правда: пора домой. Но я всё здесь, на улице, поджидаю его. У вас порой не бывает ощущения, что дом — это единственное место, куда вы не можете вернуться? Вот вы утром встаете с кровати, умываетесь-причесываетесь и радужно так обещаете себе: ну всё, когда сюда вернусь, я буду уже другой женщиной в новом месте. И теперь возврат вам туда заказан, так как дом ждет от вас чего-то из этого обета.

Останавливается автобус. Я машу — езжай, мол, дальше, я не сажусь. Но он все стоит, дожидается. Тогда я отступаю на шаг и гляжу вдоль дороги, делая вид, что не замечаю, как пассажиры в автобусе костерят меня: им же всем по домам надо,

кормить отпрысков, а та шалава всё не садится. Я отхожу на расстояние, такое, чтобы автобус уже наконец отъехал, а возвращаюсь, как раз когда оседает облако пыли от колес.

Через дорогу до меня докатываются басовые звуки — похоже, у него весь день играется одна и та же песня. Звучит как еще одна композиция обо мне; только по Ямайке, наверное, сейчас разбросано десятка три женщин (а по миру их пара тысяч), которые думают то же самое, слыша эту песню по радио. Хотя «Полночный рейв» — это *точно* обо мне. Когда-нибудь я расскажу об этом Кимми, и она поймет, безусловно поймет — то, что ты хорошенькая, еще не значит, что тебе будет доставаться все на свете. Неожиданно у ворот я замечаю белое с синей полосой полицейское авто — и когда успело подрулить? Ямайская полиция обычно гоняет, не выключая сирен, расшугивая с дороги машины для того лишь, чтобы быстрее проскочить к фастфуду за сэндвичами. Я с полицией не имела дел никогда. Впрочем, было одно исключение.

Как-то раз я ехала 83-м автобусом в Испанский квартал на собеседование; на дворе был 1976-й, так что работу приходилось хватать где лежит, и вот мне подвернулась компания «Боксит». И тут

вдруг сразу три полицейских машины сигналят нам, командуют шоферу остановиться прямо здесь же, на шоссе. «*Э'ей, аутобус 83, остановиться! Усе на выход! А ну сейчас же!*» Прямо посреди шоссе. Небольшой такой отрезок дороги с болотцами по бокам, и всем приходится выходить цепочкой. Женщины давай поругиваться — в самом деле, кому на работу, кому по делам; а мужчины, те молча, так как стрелять полиция воздерживается только в женщин. «*Дежурная проверка*, — объявляет один. — *Предъяуляем документики, то да сё, имя-фамилие*».

— А вы у нас кто, милое создание?

— Не поняла?

— Вы-вы, ох да ах на высоких каблуках. Как вас, 'оворите, звать?

— Берджесс. Нина Берджесс.

— А я Бонд. Джеймс Бонд. Вы, часом, в кино не снимаетесь? И нет ли на вас скрытого, знаете ли, под одеждой оружия? Позвольте вас обыскать.

— А мне позволите крикнуть «насилуют»?

— Да кому, нах, до этого здесь дело есть?

И отсылает меня к остальным женщинам, а другой в это время пистолетом тычет в одного из мужчин, который что-то там заикнулся насчет законности и равноправия.

Есть один секрет насчет полиции, который ни один ямаец не произнесет вслух, — в смысле, тот из ямайцев, кому хоть раз выпадало иметь дело с этими козлами. Всякий раз, когда одного из них подстреливают, а бывает это частенько, некая часть меня — та, что до утреннего кофе, — втихомолку улыбается. Но сейчас это не важно. Меня занимает мысль, не сообщает ли полиции охранник у входа сейчас, как раз сию минуту, что я весь день смотрю с остановки за домом. Но вместо этого они обмениваются какими-то фразами, и толстяк полицейский (среди них всегда находится один такой) залихватски смеется, и этот смех доносится до меня через улицу. Он отходит, чтобы сесть в машину, но тут кто-то изнутри окликает его окриком. Я знаю, что это ты, это *должен* быть ты. С моей стороны близится машина — сколько до нее, девяносто футов? Думаю, успею перед ней проскочить — ведь это же ты, я знаю (сколько там остается, футов сорок?). Бегу, бегу! Не дави ты на клаксон, сукин сын, я не глухая! Я на средней полосе движения; чертовы машины словно сговорились и мчатся как угорелые с обеих сторон, а я тут посерединке жмусь, как Бен Ганн[40] на

[40] Примечания: 40
Бен Ганн — персонаж романа Р.Л. Стивенсона «Остров сокровищ».

необитаемом острове, и хочу лишь одного: чтобы ты увидел меня и сразу вспомнил; «Полуночные рейверы» — это же обо мне, хотя дело было за полночь и ты можешь не знать, как я выгляжу днем, но мне нужна всего лишь услуга, немного помощи: у меня ограбили отца, а мать, возможно, изнасиловали. А хоть и не насиловали (я толком не знаю), но дело все равно срочное, ведь человек пожилой, у него сердце, а тут такое, и я знаю, что это ты, а полицейский ждет (очень, очень хорошо, что он вылезает обратно) — но окликнул его, оказывается, не ты. Наружу выбегает еще один охранник и что-то ему говорит, а толстяк-хохотун снова смеется и усаживается в машину. Я застряла посередине дороги, транспорт проносится в обе стороны, ветром задирая мне юбку.

— Извините, здравствуйте, мне надо…

— Вход запрещен. Турне со следующей недели.

— Да нет, вы не понимаете. Я не насчет турне. Мне нужно видеть…

Он меня ждет.

— Мэм, вход только родным, близким и музыкантам группы. Вы ему что, жена?

— Я? Да нет, конечно. Что за вопрос…

— Вы играете на инструменте?

— Какая разница, на чем я играю. Вы передайте,

что к нему Нина Берджесс, и это срочно.

— Да назовитесь хоть Скуби-Ду[41]. Посторонним вход запрещен.

— Да, но, э-э… я…

— Леди, будьте добры, отойдите от входа.

— Я беременна. От него. Речь о его ребенке, между прочим.

Впервые за весь день охранник меня оглядывает. Я решила, что он меня узнает, но на самом деле он посмотрел на меня как баран на новые ворота — дескать, что это за дама, которая носит под сердцем от такой звезды?

— Опять двадцать пять… Вы знаете, сколько женщин с понедельника сказали то же, что сейчас вы? Вы б хоть сговаривались. Некоторые даже животы казали. Повторяю: никого, кроме родных и музыкантов группы. Приходите на той неделе — уверен, что ребенок за это время в Майами не сбежит. Если оно…

— Эдди! Закрой рот и занимайся охраной.

— Да вот, тут одна дама пристает…

— Ну так отвадь ее.

Я быстро делаю шаг назад. Еще не хватало, чтобы кто-то из этих мужчин притрагивался ко

---

[41] Примечания: 41

Скуби-Ду — пес, популярный персонаж американского мультсериала.

мне. Всегда норовят ухватить тебя за задницу или передок. Сзади подъезжает автомобиль, и из него выходит белый. Какую-то долю секунды меня подмывает выкрикнуть: «Дэнни!», но сходство исчерпывается только бледностью кожи. Длинные каштановые волосы, мелкая острая бородка (мне такие были по вкусу, а Дэнни нет). Желтая майка, джинсы-клеш от бедра. Может, это от жары, но впечатление такое, что (1) он американец, и (2) американцы-мужчины носят плавки с еще большей неохотой, чем американки-женщины носят бюстгальтеры.

— Ёкарный бабай… Глянь-ка, Тэф, Иисус восстал.

— Да ты что? Вот же блин, а я и покаяться не успел.

Белый мужчина шутки, похоже, не уловил. Я отшагнула в сторону со слегка, вероятно, излишней демонстративностью.

— Привет, ребята. Я — Алекс Пирс из «Роллинг стоун».

— Ну-ка постой, Иисус-штаны-в-обтяжку. Джа тебя знает, а вдруг ты врешь? Двое «роллингстоунов» здесь уже побывали — одного звать Кит, другого Мик, и что-то ни один из них на тебя не походил.

— Да они все на одно лицо, Эдди.

— Что верно, то верно.

— Я из *журнала* «Роллинг стоун». Мы говорили по телефону.

— Со мной по телефону ты говорить не мог.

— Ну так с кем-то из офиса. Возможно, секретарь брала трубку, не знаю. Ну так я из журнала, американского. Мы освещаем всех, от «Лед Зеппелин» до Элтона Джона. Не понимаю: секретарь назначила на третье декабря, шесть вечера, когда у него перерыв между репетициями. И вот я здесь.

— Босс, сексетаря у нас нет. Ты что-то путаешь.

— Но…

— Послушай. У нас четкие указания. Никого, кроме родных и группы, — ни туда, ни сюда.

— Опа. А почему у вас всех автоматическое оружие? Вы что, от полиции? В прошлый мой приход секьюрити была другой. Вы на нее не похожи.

— А вот это тебя не касается. Отойди-ка на шаг-другой.

— Эдди, этот человек на входе тебя все еще достает?

— Да вот, говорит, из журнала, про какой-то там «Лезбиян» и Элтона Джона.

— Да нет же: «Лед Зеппелин» и…

— Скажи ему: пусть катит.

— А вот я сейчас разряжу обстановку, — с усмешечкой говорит белый и вынимает бумажник. — Мне нужно всего десять минут. Идет?

Чертовы янки всегда думают, что мы, как они, и что все на свете представляет собой объект купли-продажи. В первый раз я радуюсь, что долболоб-охранник такой въедливый. Он смотрит на деньги, смотрит долго и пристально. Но бывает, что и американские денежки — самые ценные фантики в кошельке янки — не открывают всех дверей. Подкуп одного не означает смены поведения всех. Что за деньги такие: достоинство разное, а цвет один, зеленый… Видит Бог, нарядные деньги — не единственная нарядная вещь, которой на поверку грош цена. Наконец охранник перестает глазеть на свернутые трубочкой купюры и уходит от ворот дома к дверям.

Я не сдержала смешок. Правильно: когда нет сил бороться с соблазном, лучше бежать. Белый человек смотрит на меня раздраженно, а я лишь хмыкаю еще раз. Не каждый день такое увидишь: ямаец, который при виде белого не кидается кланяться — «чего изволите, масса?», «будет исполнено, масса». Дэнни в свое время это выламывало. А затем начало нравиться. Еще бы, круто,

когда белая кожа — главный пропуск. Меня даже слегка удивляла та клёвость, которую я сейчас испытывала: вот так стоять рядом с белым, которого, как и тебя, на равных завернули, словно нищего. Чувствовать себя с ним на одном уровне хотя бы в этом. Нечего нос задирать, считая себя людьми высшей пробы; то же самое и со знакомыми сирийцами, которые мнят себя белыми.

— Вы что, летели из самой Америки только для того, чтобы написать о Певце?

— Ну а как же! Он сейчас — самый писк. А число звезд, собравшихся выступить на этом концерте, — это же фактически второй Вудсток.

— Да?

— Вудсток был…

— Я знаю, чем он был.

— Ну вот видите. Так что Ямайка сейчас гремит на весь мир, по всем новостям. А этот концерт… «Нью-Йорк таймс» только что опубликовала материал, что в лидера ямайской оппозиции стреляли. В офисе премьер-министра, ни больше ни меньше.

— В самом деле? Наверное, это новость и для самого премьер-министра, поскольку у оппозиции нет никакой причины ошиваться в его офисе. Тем более что он на окраине. На этой самой дороге. И

здесь, как слышите, нет никакой пальбы.

— Но в газете сказано совсем другое.

— Ах, ну тогда, конечно, нужно верить. Если вы пишете дерьмо, то поневоле должны его нюхать, из раза в раз.

— Да ладно вам. Тоже мне, разбили в пух и прах… Я, между прочим, не турист какой-нибудь. Я реально знаю Ямайку.

— Вот молодец. А я живу здесь всю свою жизнь, но реальной Ямайки так пока и не узнала.

Я иду прочь, а белый человек трогается за мной. Наверное, оттого, что остановка транспорта всего одна. Может, Кимми наконец-то уже сподобилась навестить своих чертовых родителей, которых ограбили, а мать, возможно, и изнасиловали. Но как только я перехожу на ту сторону, мною с новой силой овладевает желание остаться. Чё к чему? Я знаю, что домой мне идти как бы и не к чему, и нет разницы, что сегодня, что вчера или завтра. Она разве что в заголовках о какой-нибудь застреленной семье, постановлении о комендантском часе, об очередной изнасилованной женщине или о том, как взрастает вал преступности на окраинах, отчего дуреешь от страха. Или в том, как мои отец и мать пытаются вести себя так, будто бандиты не отняли у них

что-то, исконно и сокровенно существовавшее между ними. Весь тот день, что я провела у них, они ни разу друг к другу не прикоснулись.

Белый человек садится в первый же подошедший автобус. Я — нет и внушаю себе, что это якобы из-за того, что я не хочу ехать с ним в одном автобусе. Но я знаю, что пропущу и следующий. И тот, что за ним.

Демус

Кто-то же должен меня выслушать, почему бы не вы. Где-то, кто-то, как-то будет судить быстрых и судить мертвых. Кто-то напишет о суде над добрыми и злыми, потому как я злой и терзаемый мучениями и нет никого злее и терзаемей меня. Кто-то, лет может через сорок, когда Бог придет за всеми нами, не оставив здесь ни одного. Кто-то вздумает об этом написать, сядет воскресным днем за стол, под поскрипыванье пола и жужжанье холодильника, но не будет вокруг него клубиться духов, как они клубятся безотлучно вокруг меня, и напишет мою историю. И не будет знать, что писать и как писать, потому что он ее не прожил и не знает, как пахнет кордит[42] или каков вкус у крови, когда она застоялась во рту, как ее ни сплевывай. Ни капли он ее не чувствовал. И не будет на нем ночами возлегать даппи[43] и морочить его снами, от которых кончают, выса-

[42] Примечания: 42

Кордит — нитроглицериновое взрывчатое вещество, основа бездымного пороха.

[43] Примечания: 43

Даппи — в культе вуду злобный дух, которого призывают, чтобы кому-либо отомстить.

сывая при этом из него жизнь через рот, а я хоть и сплю со стиснутыми до скрипа зубами, но когда просыпаюсь, все мое лицо в густом соку, будто меня кто облил желе и сунул мордой в холодильник. Иоанн Креститель предрекал эту напасть. И злые да убоятся.

А начиналось все вот как.

Как-то раз — я тогда жил в Джунглях — стоял я возле дома у колонки; специально вышел спозаранку, чтобы помыться, а то кто ж тебя на работу примет, если от тебя воняет. И вот я стою за домом на дворе — дом у нас многоквартирный, — и только я намылился, как вдруг влетает фараон с пистолем. Оказывается, на какую-то там женщину — она только-только собиралась в церкви Богу помолиться — какой-то говнюк из Джунглей напрыгнул и отделал. И вот фараон мне: «Ага! Ты чего это там, извращенец, со своей свистулькой играешься? А ну иди сюда, живо!» Я пытаюсь с ним утрясти — ну, Джа Растафарай наказал нам с врагом все утрясать: «Да вы что, господин полисмен? Я тут просто моюсь, ванну принимаю». А он тогда подходит и целует меня рукояткой пистолета по губам, аж кровь пошла. «Ты мне полей еще по ушам, — говорит, — поганец. Ты ж тут с собой любовью тешишься, с

хренком своим играешь, содомит паскудный». И прямо в лоб спрашивает: «*Ты* церковницу на Норт-стрит изнасиловал?» А я ему: «Чего? Да на кой она мне сдалась? У нас тут для этого своих подружек хоть отбавляй». А он меня тогда шлёп по заду, как будто я женщина, и говорит: «А ну-ка давай отойдем». Я ему: «Позвольте мне домыться или хоть трусы одеть», и тут он щелк затвором. «А ну пошел, — говорит, — шибзденыш. Шевелись». И толкает меня дулом. Мы идем, а снаружи еще семерых согнали, и люди смотрят. Кто-то при виде меня отворачивается, другие, наоборот, пялятся, а на мне из одежды только пена несмытая. А еще один фараон говорит: «О. Ты его подловил как раз при смывании улик».

Фараоны — я насчитал их шесть — говорят: «Один из вас — гнусный насильник, топчущий богомолиц по пути из церкви. А так как вы здесь в гетто все лживые поганцы, то я даже не буду просить виновника выйти вперед». Мы стоим, не знаем, что делать: если из нас хоть кто-то назовется насильником, его тут же пристрелят, даже до тюрьмы не довезя. И вот первый из фараонов, который за всех командовал, говорит: «Но мы-то знаем, как вас вывести на чистую воду. А ну все легли на землю!» Мы топчемся, озираемся, на мне

уже пена полопалась, и конец наружу торчит. Фараон дважды стреляет вверх и орет: «Всем лечь!» Ну, мы попадали, лежим. Он просит у еще одного фараона зажигалку, хватает газету, что валяется у обочины. «Теперь, — говорит, — слушайте, что я с вами собираюсь делать. Сейчас вы у меня будете трахать землю, да как следует». Один из нас рассмеялся — шибко уж все это комедию по телику напоминало, — но тут фараон два раза пнул его в бок. «Итак, начали! — кричит. — Трахаем!» Ну, мы давай наяривать. А он: «Шибче, задорней!» Земля твердая, в ней камушки, стеклышки битые, мне уже бедра свело, хрен весь натерся, я возьми и перестань. А он орет: «Тебе кто велел остановиться?» И газету поджигает. «А ну трахай, я сказал! Трахай, трахай!» — и сует мне горящую газету в задницу. Я взвизгнул, а он лишь обозвал меня «девкой». «Трахай, — говорит, — да повеселей». И поджигает бумагу еще одному пацану, и еще, а мы наяриваем, наяриваем.

А он ходит и сверху поглядывает. «Так, — говорит одному, — ты трахаться не умеешь, марш домой. Ты тоже пшел вон. А ты, я вижу, умеешь, значит, остаешься. Ты иди, ты тоже. Ты… А ну-ка, ну-ка, у тебя вроде как получается. Ты, жопошник, вали отсюда, а вот ты, наоборот, останься». Это он

имел в виду меня. Хватают нас троих и бросают в свой фургон, а я все еще голый. Спрашиваю себе хотя бы трусы, и фараон говорит: «Ладно, будет тебе что одеть». Мол, твоя баба пришла, поднесла. «Но только для гетто они слишком уж хорошие, так что мы их у себя оставим». А моей женщине фараон влепил оплеуху и сказал: «Имей достоинство, перестань трахаться с аборигеном из гетто». Так вот и сказал. В тюрьме мы тогда проморились неделю. Меня пинали в лицо, лупили дубинкой, пинали по яйцам, хлестали плеткой с гвоздями — она у них называется «букра масса», «белый хозяин»; одному из наших сломали правую руку. Только тогда они решили, что с нас вроде как хватит. И все эти дни я сидел голый, а они надо мной за это надсмехались.

А на седьмой день случилось вот что. Та изнасилованная передумала — меня, дескать, кто-то из Тренчтауна отделал, так что я от своих показаний отказываюсь, — и нас выпустили. Никто мне и слова сочувствия не сказал, фараоны ни в чем не извинились. Топай, мол, пока цел. Вот я и притопал в Копенгаген. Ну, а когда я там попался фараону, что палил в воздух и орал «я здесь закон и порядок», я уже ученый был. То есть тоже с пистолем. Их было двое. Не знали они того, что

в гетто я хорошо научился стрелять, не хуже того солдата из «Грязной дюжины»[44]. Я тогда, помнится, это кино смотрел и все пересматривал, пересматривал. Когда они наконец сдрейфили и побежали, я их пристрелил обоих — одного в голову, а другого не насмерть, в яйца, чтоб он своим хером больше в жизни не воспользовался.

А дальше вот что. Братья Певца — нет, не он сам, другие — пустили весточку, чтоб мы приехали к Певцу в дом. Это уже само по себе что-то невообразимое. Лохмач теперь переехал на окраину, звал к себе только тех, кого хотел, и то в основном самых-самых воротил или тех, кто бьет без промаха. Только Лохмача там сейчас не было, а была братия, и они позвали туда Хекля, а тот сказал, что ему в помощь нужно еще пять или шесть людей. Дом у Певца был самый большой, какие я только видал. Я прямо так к стенам руками притронулся: со мной ли это происходит, наяву ли. В первую поездку я даже как-то не все запомнил, так много всего было. В первый раз я был в этой части города. В первый раз видел белую женщину в прикиде как раста. В первый раз увидел, как живут люди, у которых есть вещи.

---

[44] Примечания: 44

«Грязная дюжина» (1967) — кинобоевик об американской версии штрафбата.

Но только Певец за все это время ни разу не появился, а только братья и еще целая куча людей, которых я до этого никогда не видел; были даже белые. Они сказали, всё просто. В Джемдауне готовятся большие скачки, все это знают. И вот что там надо устроить. Главный жокей может выиграть, а может и нет, но если делать ставки на него, высокие, а он вдруг продует, то это такая тьма денег, что ни разу и во сне не снилась. И не в одном, а даже в двух. Столько деньжищ, что каждому человеку в гетто можно купить своей бабе по спальному матрасу. В спецмагазине.

Мне матрас по барабану. Я просто хочу мыться не снаружи дома, а внутри; хочу увидеть статую Свободы, а еще хочу себе джинсы «Ли» — настоящие, а не херню с липовой чекухой. Короче, не этого мне надо. А надо денег столько, чтобы перестать их хотеть. Если мыться снаружи — то потому, что это *я*, мля, хочу мыться снаружи. Вы мне чё, матрас из спецмагазина? А нельзя ли чего получше? Хочу смотреть Америку и не уезжать, а заставить ее понять, что могу уехать в любой момент, как только *сам* того захочу. Потому как устал от того, что люди, способные сорить деньгами, смотрят на меня, как на скотину. Хочу денег столько, чтобы, когда ими сорю, мне было

по барабану, потому что у меня их завались. И вот братия мне говорит: «Укради жокея, перетри с ним всё и утряси».

Скачки планировались на субботу. А во вторник Хекль привез меня и еще двоих к ипподрому «Кайманас-парк». И вот как только главный жокей там отзанимался и пошел к своей машине, мы к нему подбегаем, мешок ему на голову, заталкиваем в машину и увозим. Притащили его на старый склад в центре, он нынче стоит пустой. Хекль сует жокею пистоль в рот по самые гланды — он аж закашлялся — и говорит: «Ты, гнида. В субботу чтобы сделал вот что». И рассказал.

Жокей тогда продул все три заезда. А потом прыгнул на самолет в Майами и пропал как по волшебству. Но потом пропал и кое-кто еще. Всего четыре человека, которые собрали кассу в «Кайманас-парке», и все они из числа братии. А я, Хекль и много других остались ни с чем. *Вообще* ни с чем. Мне думалось, я самый из них обозленный, но потом я увидел, как один из братьев сжал бутылку с «Хорликсом» так, что она лопнула, и ему пришлось накладывать швы. К субботе мы все идем на дом Певца, потому что тот, который в нем, должен, по всем понятиям, отдать то, что нам причитается. Но Певец в турне. В следующий

раз, когда мы туда идем, Певец дома, но до нас доходит весть, что он уже повстречался и что-то перетер кое с кем из Джунглей. Нам с Хеклем об этом никто не сказал. То есть опять нам подстава. Никто даже не замечает, когда мы с Хеклем делаем так, что исчезает один из их пацанов. Но теперь, судя по виду, кое-кто из людей начинает получать деньги и всякое такое, а у нас в этом нет доли. Зря я говорю об этом своей женщине, так как через это только порчу ей настроение. И теперь, когда я думаю о братии, ушедшей за границу с деньгами, я хочу пожечь весь тот дом на Хоуп-роуд. Так поступают, когда надо кого-то разорить дотла.

Когда меня в первый раз находит Джоси Уэйлс, он спрашивает, умею ли я пользоваться пистолем. Я смеюсь. «Да я пользуюсь им искусней, чем Джо Грайнд[45] своим членом», — говорю ему я. Он тогда спрашивает, не проблема ли для меня стрельнуть одного парня. «Не проблема, — говорю, — но стреляю я только вавилонских фараонов или людей, на которых у меня зуб. Шмальнул уже троих и не остановлюсь, пока не шмальну десяток». Он спрашивает, почему десяток, а я

[45] Примечания: 45
Джо Грайнд — популярный темнокожий певец и музыкант.

отвечаю: «Потому что десять — число, которое даже Бог счел бы весомым. У меня на них душа горит». Он говорит: «Ну, тогда скоро. Скоро я буду скармливать тебе фараонов, как питону — крыс». Тут я ему рассказываю, что у меня болит нога; болит еще со времени моей отсидки, страдаю уже с год. А его друг Ревун говорит: «Это можно вылечить прямо сейчас». И с тем первым разом я так быстро размяк, что после этого стал умолять его насчет кокса чуть ли не со слезами, как девушка: «Ну пожа-алуйста». А ведь и в самом деле: боль прошла, как бывает, когда курнешь травки. Но травка меня замедляет. А от кокаина у меня разгон. И я говорю: «Погоди-погоди. Все это как-то слишком уж ништяково. Ты даешь мне белый порошок, пистоль и денег за то, чтобы я убил людей, которых не прочь ухлопать за бесплатно? Сегодня что, первое апреля?» Джоси Уэйлс мне говорит: «Нет, бро. То, что мы зальем наш кингстонский Вавилон фараоновской кровью, — это без вопросов. Но сначала я хочу еще кое-чьей кровушки».

Вот это я и хочу сказать перед тем, как писатель скажет это за меня. Когда боль была так сильна, что мне могла помочь лишь крепкая трава, единственное, что помогало мне помимо этого, — Певец. По радио его что-то не крутят.

И смотрящая за мной деваха дала мне кассету. Музыка не сказать, чтобы снимает боль, но когда она играет, я перестаю влачиться за своей болью, я пересаживаюсь на ритм. Но когда Джоси Уэйлс прошлой ночью сообщил, *кого* он желает моими руками застрелить, я притащился домой и заблевал. Заблевал мучительно. Утром я просыпаюсь с мыслью, что это был, должно быть, дурной и страшный сон, но под дверью нахожу записку, что мы с ним должны встретиться в старом брошенном вагончике возле моря. Я злой, я истомленный и терзаемый человек, но мы никогда бы с ним не сговорились, знай я, что он желает убрать Певца. Это жжет мне мозг едче, чем что-либо прежде. И вот теперь я не сплю, а лежу у себя в комнате с широко раскрытыми глазами и слышу, как моя деваха похрапывает во сне.

Когда восходит луна и ее свет через окошко кабаньим клыком вспарывает мне грудь, я знаю, что Бог идет судить меня. Никто из тех, кто убивает фараонов, не отправляется в ад, но убить Певца — это нечто иное. Я даю Джоси Уэйлсу рассказать мне, что Певец лицемер, нашим-вашим, заигрывает с обеими сторонами, дуря и ту и другую. Даю рассказать, что у него, Джоси, большие планы и нам давно пора перестать быть штафирками

гетто для белого человека, что живет на окраине и до выборов ему на нас наплевать. Даю сказать, что Певец — приспешник ННП, кланяющийся премьер-министру. Киваю, когда он говорит, что мне надо будет одного за другим ухлопать еще троих (мне это все равно). Даю сказать, что нас поддержат братья. Он тоже живет в доме, как жирная домашняя крыса, изнывая, просто изнывая, чтобы я, и *только* я показал ему, что с парнем из Джунглей шутки плохи. Когда близится утро, я все еще не сплю, чем и держусь. Довольно. Я хочу сунуть пистоль ему в жопу и впендюрить туда пулю.

Я молча сижу на кровати, а моя деваха в это время ворчит, что в доме есть нечего, и собирается уходить, потому что, если ННП выиграет снова, она не сможет найти хорошей работы. Я жду, когда она уйдет, после чего натягиваю штаны и выхожу наружу. Под колонкой я не плещусь с того самого случая с фараонами. Солнце еще не поднялось, и вокруг все яркое, зеленое и прохладное. Я босиком иду вдоль улочки, мимо оцинкованного забора, затем еще деревянного забора и жестяной крыши, которая у людей прижата камнями, шлакоблоками и всяким там мусором. Те, у кого есть работа, и те, кто ее ищет, уже ушли, оставляя

тех, кто найти ее не может, потому что эта часть города за ЛПЯ, а у власти ННП. Я продолжаю идти. К тому времени как я дохожу до края Джунглей, солнце почти уже в зените и на чьем-то радио слышно музыку. Диско. Я слышу веселое повизгивание: у колонки, тряся грудями, занимается стиркой женщина, возя тряпье по стиральной доске. Ощущение такое, будто я никого не знаю или все, кого я знаю, ушли.

Джоси Уэйлс при встрече задал мне два вопроса. Я шел по дороге из Джунглей к Мусорным землям, а он подъехал на белом «Датсуне» и остановился. В машине сидели еще двое: Ревун и кто-то, кого я не знаю до сих пор. Он сказал, что слышал про мое заправское владение оружием, и спросил, как так получилось, ведь в гетто все стреляют не прицельно. Я сказал, это потому, что в отличие от них у меня для моей пули есть кое-кто конкретный. Тогда он сказал: «Ты хорош, но хороших много. Мне же нужно, чтобы ты был голоден». Объяснять мне это не было нужды, смысл его слов я понимал в точности. Это было неделю назад. Теперь я каждый вечер вижусь с ним в вагончике. Как-то ночью туда пришел один белый и сказал, что на пристани болтается некая партия груза, за которой никто не смотрит, и было бы

грустно, если б с ней что-то произошло, — но ведь это Ямайка, верно? Здесь всю дорогу что-нибудь да пропадает.

Это то, что я хотел рассказать. Кто-то ж должен знать, кто я такой и откуда, хотя, в сущности, это ничего не значит. Люди, говорящие, что у них нет выбора, просто слишком трусливы, чтобы выбирать. Стало быть, сейчас шесть вечера. И через двадцать четыре часа мы выходим к дому Певца.

Алекс Пирс

Поп-фест вроде этого по-своему смачен. Я в Кингстоне, где-то между «Студио Уан» и «Блэк Арк»[46], в мыслях дознаться, по какой такой причине эти места у хиппи такие культовые. Я понимаю, «бедному мальчику нечем заняться, кроме как петь рок-н-ролл» — так поется у «роллингов», — ну а богатый со своей стороны может отпустить волосы, перестать брить подмышки, а заодно, при наличии средств, стёб и трендовость начать путать с отказом от традиционных устоев, впадая очертя голову в растафарианство, — по крайней мере, по своему собственному утлому разумению. А затем этот неофит отправляется на остров Святого Варфоломея или Мауи, в Негрил или Порт-Марию, свой новый статус празднуя дозами ромового пунша. Этих новоявленных хиппаков я исконно ненавижу душою всею. А теперь дело еще и усугубилось: появились состоятельные ямайцы, изображающие из себя хиппи, которые корчат из себя растаманов (вы представ-

[46] Примечания: 46

«Студио Уан», «Блэк Арк» — ямайские студии звукозаписи, популярные среди поп-исполнителей.

ляете? охренеть!). Хотя, эй, это ж Ямайка. Можно на крайняк покайфовать под какой-нибудь «Биг юс» или Джимми Клиффа.

Но когда я сюда прибываю, первый раз в этом году, то неожиданно обнаруживаю, что по радио здесь сплошняком крутят «More More More», «*How Do You Like It How Do You Like It*» — репертуар, основанный на слащавости и фальши. Переключаюсь на другую станцию, и что? «Ma Baker She Knew How to Die». Мотаю дальше, на FM — «*Fly Robin Fly up-up to the Sky*»[47] (!!). Спрашиваю у шофера, челночащего из отеля в аэропорт: «А где у вас можно услышать “Майти Даймондс” или Диллинджера?» Он посмотрел на меня так, будто я предложил ему соснуть, и сказал с ухмылкой: «Если вы ямаец, сэр, это еще не значит, что вы торгуете травкой». Здесь даже «АББА» звучит чаще, чем регги. «*Dancing Queen*» я пропитан уже настолько, что чувствую, как поневоле голубею.

Я живу в «Скайлайне», отеле с чарующим видом на… еще один отель, прямо перед окнами. В Кингстоне идешь по улице и то и дело видишь знакомые лица — белого парня, черного парня, кучу промежуточных оттенков. Думаешь: «Где

---

[47] Примечания: 47
Фразы из диско-хитов 1970-х.

ж я их встречал?» А они, оказывается, все постояльцы одного отеля, или гости дома Певца, или просто обитают на улице. Даже погоду по телевизору вещает черный. Оно понятно, темнокожие на каждом шагу встречаются и в Штатах, но там ты их *не видишь* — во всяком случае, в качестве теледикторов. По радио — да, их гоняют постоянно, но как только песня заканчивается, исчезают и они. Мелькают и на экране, но только если кому-то в передаче хочется приколоться или крикнуть «караул!».

Ямайка в этом плане другая. По телевидению здесь выступает ямаец. Титул «мисс Мира» завоевала белая, но она тоже с Ямайки. Совсем недавно она заявила, что Певец ее бойфренд и она ждет не дождется своего возвращения к нему. Ей-богу. Да, в этом городе определенно есть приколистки, и все они ох как умеют танцевать. Порой кажется, что даже транспорт за окном пляшет под какую-то свою музыку. Всё это, а еще знаменитое местное восклицание — «бомбоклат!». Не «бомба» и не «клад»; на самом деле это ямайское ругательство, переводится типа как «жопья подтирка». Американцы на курортах произносят его как «бамперклат» и козыряют им — дескать, видите, какой я знаток местного колорита! — в

то время как Пятница в обличии улыбчивой девушки плетет им на голове дреды (Пятница — это не день недели, а черномазенький раб-друг Робинзона Крузо; я когда впервые такое обращение услышал, то аж выронил стаканчик с коктейлем — все покосились. Но с той поры я освоился и теперь разговариваю как заправский, бомбоклат, ямаец).

Народ здесь любит потусить, ходит с легкой расхлябанностью, но при этом все знают свое место. Если ты разговариваешь с достаточным числом персонала в отеле, то в речи у тебя постепенно прорезается белый акцент и ты общаешься на свой манер, но люди относятся к этому с пониманием, прощают ляпы, потому что их так научили. А поскольку все здесь завязано на расизм, ляпы случаются то и дело. Как-то раз черный чувак попросил шофера отнести в автобус его чемоданы, так тот просто взял и ушел. Чувак тогда начал орать, что все здесь до сих пор озабочены этой хренью насчет «хижины дяди Тома»[48], и всем стало понятно, что чувак из Америки. Но и тогда шофер попросил сначала показать ему ключи от номера. На улице подход тот же самый, пока

[48] Примечания: 48

«Хижина дяди Тома» — известный роман Г. Бичер-Стоу, направленный против рабовладения в Америке.

ты не отойдешь достаточно далеко; там люди становятся реальнее.

И все же Ямайка и все эти места, как бы это сказать, культовые. У Сержа Генсбура, гаденького французишки, лепящего один за другим второсортные диски и клеящего озабоченных нимфеток, есть одна история. Приезжает он както на Ямайку, чтобы «э-э-э… запьисать рьеггей», а мужики на студии просто потешаются над ним и в хэ не дуют. Это, типа, что за щупленький бомбоклат-французинька? А Серж им: «Я, э-э… самый знаменьитый есть поп-певец». Они: «Чё? Да мы тебя знать не знаем, а единственная, бомбоклат, приличная французская песня, которая нам известна, это “Жатам”[49]». Серж тогда и говорит: «“Жё-тэм”? Так вот я ее и напьисаль». И всё: Генсбур в Кингстоне после этого стал как бог. Или я однажды, в «Студио Уан», попросил кого-то принести мне кофе, черного, без сливок. Так он мне: «Чё? А у тебя самого чё, руки отсохли? Иди, бомбоклат, сам себе неси». Такая вот классика.

Вообще я висел на хвосте у Мика Джаггера, но черт меня дернул тиснуть в печати, что никто

---

[49] Примечания: 49
«Je T’aime» (*фр.*) — «Я люблю тебя».

не назовет «Черное с синим»[50] непонятым шедевром ни через десять, ни через двадцать лет. Ну и пошел он, этот Мик, лесом вместе с Китом, и весь «*Роллинг стоун*» с его колонкой сплетен в частности. Я уже близок к цели, получив наводку на кое-что реально крупное. Как вам «*Время Армагеддона*» — звучит? Самое жужжащее, важнейшее по грохоту событие в мире вот-вот рванет, а между тем оно не в чартах. Чувствуется, что Певец что-то затевает, и оно даже не имеет отношения к концерту за мир. У меня несколько лет ушло на шарахания по округе, чтобы убедить и доказать людям, что я не какой-нибудь там тупенький белый паренек, жаждущий попасть на закрытую вечеринку, чтобы люди обратили на меня внимание и начали со мной разговаривать. Гребаный кингстонский котик на ресепшене не знает даже, кто такой Дон Драммонд[51], но настойчиво твердит, что все для себя нужное я сыщу в Нью-Кингстоне.

Есть еще один нюанс. Ямайцы, причем не толь-

---

[50] Примечания: 50

«Черное с синим» (*англ.* Black and Blue) — альбом «Роллинг стоунз» (1976).

[51] Примечания: 51

Дон Драммонд (р. 1943) — тромбонист, один из музыкантов «Скаталайтс».

ко те, что работают в отеле, но также завсегдатаи баров и ресторанов — шоколадные и белые, пьющие ром и джин, — при виде моей камеры первым делом спрашивают, не из «Лайфа» ли я, после чего наставляют, куда мне ходить не надо. Слушайся я их, я в итоге очутился бы в «Игуана-клубе» с гребаными диско-утятами и скучающими богатыми гетерами, которые, наигравшись в теннис, захотели гульнуть. Когда же я говорю, что мне больше по нраву клуб «Вертушка», на меня смотрят в недоумении, а затем, когда я не спрашиваю, как туда проехать, — и с подозрением (хотя чего спрашивать, если по глазами видно, что не знают?). Буквально пару часов назад я спросил у консьержа: «А где здесь у вас проходит джем-сейшн?» Он смотрит, а я про себя гадаю, что он сейчас скажет. И оказываюсь прав. «Сэр, — спрашивает он, — зачем вам смешиваться с таким аморальным элементом?» Надо было, пожалуй, загодя заключить с ним пари на предмет отсосать. Впрочем, тема для рассказа у меня несколько иная.

Я еду на такси в отель, и таксист дорогой спрашивает, играю ли я на скачках. Я на скачки не хожу, но он — да; и знаете, кого он видел пару недель назад на ипподроме? Певца. Тот был там

с двумя ребятами, один из которых — некто Папа Ло. Я навел об этом субъекте некоторые справки. Рэкет, крышевание, пять дел об убийствах (до суда дошло лишь одно, вердикт оправдательный). Заправляет районом трущоб под названием Копенгаген. И вот он, Певец, в компании двоих бандюганов от политической партии, которой он теоретически противостоит, но при этом общается с ними как со старыми школьными приятелями. А еще через несколько дней его видят в компании уже Шотта Шерифа, крестного отца Восьми Проулков — вотчины другой партии, диаметрально противоположной первой. Двое главных заправил разных лагерей, и всё в пределах одной недели. Двое человек, фактически контролирующих две половины враждующего Кингстона. Может, он просто осуществляет функции миротворца? То есть он же *певец*, не более. И тут до меня начинает доходить: на Ямайке внешности всегда обманчивы. Всегда и во всем. Четких линий и личин здесь не бывает. Заваривается какая-то каша, и я уже чую ее по запаху. Я, кстати, не упоминал, что через две недели здесь выборы?

Ну, а если этот запах учуяли сразу два белых парня из Нью-Йорка, то след, наверное, уже по-

достыл? Или жареным запахло еще сильней? В Кингстон со мной одним рейсом летел один козлина, Марк Лэнсинг, весь полет тщательно меня сторонившийся. Ну а как же. Вшивенький кинодел-дилетант, все еще пользующий папину кассу для снятия здесь, на Ямайке, фильма, посвященного концерту за мир. По словам Лэнсинга, его нанял рекорд-лейбл. Может быть. Но когда на Ямайке объявляется мутный мазафакер вроде него, который без надлежащего опыта работы думает отснять материал такого глобального события, мозг у меня начинает прибрасывать: а все ли здесь чисто? И не попахивает ли здесь дерьмом?

Мой таксист просто пытается выиграть достаточно денег для того, чтобы свалить из страны. Он считает, что, если Народная национальная партия снова одержит верх, Ямайка может стать следующим коммунистическим режимом. Этого я не знаю, зато досконально знаю то, что глаза без малого всех сосредоточены на Певце, словно вся страна делает на ставку на то, как он поведет себя дальше. Возможно, бедняга просто хочет выпустить альбом лирических песен и прикрыть лавочку. Вероятно, он тоже чувствует — все это чувствуют, — что Кингстон достиг точки

кипения. Вот уже две ночи подряд консьерж гостиницы ночует на ресепшене, прямо за стойкой. Мне он этого не говорил, но это видно по мешкам под его глазами. Начальству он, должно быть, рапортует, что это из преданности профессии, но лично я держу пари, что он просто до смерти боится идти по темноте домой.

В мае некто Уильям Адлер по местному ТВ сообщил, что здесь под эгидой американского посольства действует одиннадцать агентов ЦРУ. К июню семеро из них покинули страну. Куда как с добром. Тем временем Певец, никогда не жмущий на педаль тормоза, напевает, что раста на ЦРУ не работает. На Ямайке, где и без того дважды два равно пяти, сумма вырастает до семи. И все эти нити стягиваются вокруг Певца петлей. Вы бы видели нынче его дом: охрана, как в Форт-Нокс[52], вход и выход запрещены. Причем охраняет его не полиция, а банда громил, именуемая, как я выяснил, «командой “Эхо”». Все последнее время именуют себя командами — пусть это шайка или взвод охраны. Там еще снаружи топталась какая-то девчонка — говорила, что ждет от него ребенка (врала, наверное). Имеет ли туда вход

[52] Примечания: 52

Форт-Нокс — военная база в шт. Кентукки, место хранения золотого запаса США.

Лэнсинг? Он сказал, что снимает концерт для лейбла, значит, видимо, имеет доступ за кулисы. Гаденыш. Получается, чтобы добыть какую-то информацию, придется проявлять с ним обходительность. Противно, но что поделаешь.

Я стараюсь не выглядеть голодным. Двадцать шесть лет от роду и шесть по окончании колледжа мать все пытает меня, когда я перестану быть неуемным «*розовым*»[53], «*гонщиком*» и найду себе настоящую работу. Я впечатлен ее подкованностью в политике, а вот словечко «гонщик» она подцепила явно от моей младшей сестры. Мать также считает, что мне нужна любовь хорошей женщины, предпочтительно не темнокожей. Быть может, глядя на меня, она чует человека, одержимого целью. Думаю, я пытаюсь внушить себе, что я не из числа тех белых мальчиков, кружащих в поиске, к чему бы примкнуть, дабы хоть что-то собой представлять, потому что после Никсона, Форда и пентагоновской прессы, гребаных

[53] Примечания: 53

«Розовый» — уничижительное прозвище либералов и левых, сочувствующих коммунистам.

«Карпентеров» с Тони Орландо[54] верить больше не во что, уж во всяком случае, не в рок-н-ролл — боже упаси. Забросив в Западный Кингстон, рудбои оставили меня в покое, поняв, что терять мне нечего. Может статься, я просто недоумок, шастающий почем зря по свету. Думаю, у меня есть проблемы, но не те.

В мое первое посещение Ямайки мы прилетели в Монтего-Бэй и двинули в Негрил — я и девушка, отец которой был отставным армейцем. Мне нравилось, что она понятия не имеет, кто такие «Ху», а «Велвет Андерграунд» слушала потому, что росла с немецкими детьми на военной базе. Через несколько дней я не сказать, чтобы чувствовал себя «членом семьи» — это пахло бы слащавостью, — но у меня было чувство или ощущение, а может, просто вера, которая внушала мне: «Теперь ты обрел свое место». Нет, я не захотел жить конкретно здесь. Но помнится, однажды я проснулся рано утром, как раз когда снаружи еще благословенная прохлада, и у меня сам собой оформился вопрос: «Какая у тебя исто-

[54] Примечания: 54

«Карпентерс» (*англ.* Carpenters) — американский вокально-инструментальный поп-дуэт 1970-х гг., состоявший из сестры Карен и брата Ричарда Карпентеров; Тони Орландо (р. 1944) — американский поп-певец.

рия?» Может, я имел в виду страну, а может, себя. Мне кажется, я выражаюсь понятно. Мне имеет смысл задуматься, что такое тикает в этой стране, готовой грохнуть взрывом.

Всеобщие выборы через две недели. Над городом чутко присело ЦРУ, оставляя своей шишковатой задницей потный отпечаток «холодной войны». Журнал, надо сказать, не ждет от меня ничего особенного: какой-нибудь абзац о том, как там записываются «роллинги», плюс какую-нибудь фотку Мика или Кита — полуодетые, студийные наушники, рядом какой-нибудь ямаец для колера. Ну их всех к хренам. Гораздо интересней докопаться, какую игру ведет Марк Лэнсинг? Затеять такую аферу самолично этому спермоглоту не хватило бы ума. Завтра надо будет снова отправиться в дом Певца. У меня, между прочим, назначено. Хотя можно подумать, на Ямайке это что-то значит… И кто этот Уильям Адлер?

Джоси Уэйлс

Ревун — человек с морем разливанным историй. Все они начинаются с анекдотов, потому как Ревун человек, который любит пошутить. И вот так-то он разыгрывает из себя рыбака, потому как шутка — это заготовленный для тебя крючок. И вот как он только тебя подлавливает, то уж тащит через самые черные, самые алые, самые жаркие ямищи ада, какие только можно себе представить. А затем снова смеется, откидывается и наблюдает, как ты силишься оттуда выбраться. Мой совет: никогда не расспрашивайте его об Электрическом Буги. Вот, скажем, я сейчас сижу в баре, смотрю под музыку на танец женщины, как, казалось бы, подобает смотреть на нее мужчине, но о чем же я думаю? А думаю я о Ревуне.

Джунгли никогда еще не порождали такого руди, как Ревун, и, наверное, никогда больше не породят. Он не похож ни на кого из тех, кто жил в Балаклаве до ее падения в шестьдесят шестом году. Мать заставляла Ревуна ходить в школу, и он проходил туда аж до средней ступени. Мало кто знает, что Ревун сдал три предмета на аттестат зрелости — английский, математику и черчение,

а до того как Вавилон упек его в тюрьму, почти уже прочитал толстенную книгу. Читал Ревун так увлеченно, что стал вынужден воровать очки, пока не подобрал себе те, что ему шли. И вот, видя рудбоя в очках, народ стал думать, не прячет ли он что-то за своими глазами. Мать его ребенка получила хорошую работу в свободной зоне потому только, что была единственной за всю историю зоны женщиной, которая послала настоящее письмо о трудоустройстве, которое написал, конечно же, Ревун, а не она.

В каждом из рассказов Ревуна значится только один герой, и это сам Ревун — кроме человека, который все еще шлет ему письма; человек, о котором он любит говорить без умолку, — как он сделал то, сказал сё, научил его тому, сему, и за чуток кокса или какое-нибудь колесико Ревун позволял ему делать то, от чего им обоим было хорошо. Об этом человеке Ревун рассказывает так, будто ему полностью наплевать, что и как о нем подумают, потому что всем известно: Ревун, он такой, что ему запростяк шмальнуть мальчика перед его собственным отцом, а затем еще заставить того отца отсчитывать пять последних мальчиковых вздохов. Главное — не расспрашивать его насчет Электрического Буги. У Ревуна

есть история даже о Певце.

Нельзя угодить вниманием всем, особенно когда ты выходишь на дело, но и здесь Ревун, если ты проявишь к нему невнимательность, может принять это близко к сердцу. В шестьдесят седьмом году Ревун был юнцом из Кроссроудс, там, где центр переходит в окраину. Жил себе, никуда не лез и думал, что со своей математикой, английским и черчением сможет приткнуться где-нибудь в проектировочной конторе. В тот день он не забыл как следует причесаться. Надел серую рубашку и темно-синие штаны, которые мать купила ему, чтобы он носил их в церковь. И вот представьте: идет себе Ревун щеголькомпо Кроссроудс, ботиночками постукивает и смотрится для этой улицы прямо-таки фертом. Идет, расправив плечики, ни на кого не похож хотя бы тем, что ему, в отличие от многих, есть куда идти.

И вот когда Ревун сворачивает налево в сторону Карибского театра, вдруг откуда ни возьмись фараоны — целая прорва. Два полных грузовика. Один хватает его, другой угощает прикладом в голову, и он падает. А на суде ему вменяют владение огнестрелом и что он сопротивлялся при аресте, да еще специально ранил двоих полицейских.

Судья говорит: «Ты обвиняешься в деле по ограблению ювелирной лавки Рэя Чанга на Кроссроудс, а также в умышленном ранении стражей порядка. Признаешь ли ты себя виновным?» Ревун отвечает, что не знает ни о каком ограблении, но полиция говорит, что у них есть свидетель. Ревун говорит: «Ничего у вас нет, вы просто хватаете любого темнокожего, какого только встречаете в спальном районе. Вроде Маркуса Стоуна из Копенгагена, который сидит за убийство, случившееся через двое суток после его ареста». Получалось, что судья по-любому или болван, или куплен, или и то и другое. Судья тогда говорит: «Я даю тебе шанс раскрыть твоих сообщников». Ревун отвечает: «Сообщников тоже никаких нет, потому что не было преступления». Ревун был реально невиновен, но не мог позволить себе адвоката. Судья дал ему пять лет общего режима. А за день до тюрьмы к Ревуну пожаловали фараоны. Парни из Копенгагена, Джунглей, Ремы и Уотерхауса с ними не дружат. Но фараоны просто хотят показать, чего ему ждать от тюрьмы. Даже уже после приговора Ревун все еще держал надежду: ведь у него была жива мать, а за плечами — три сданных экзамена на аттестат, так что в жизни можно чего-то добиться. Ревун

думает, что они на равных: за ними сила, а за ним правда. И стало быть, правота. Он думает, не могут же они принять очкарика за рудбоя. Уповает даже, что вот выручил же Господь Даниила, спася его из ямы со львами. Фараонов шестеро, и один из них говорит Ревуну: «Мы пришли тебе кое-что преподать — от чувства будешь плакать, как девушка». Ревун, который тогда еще звался Уильямом Фостером, никак не мог удержаться от словца — не держалось оно в нем — и говорит: «Вы и сами, я гляжу, такие чувственные». Первый удар дубинки руку ему не сломал, а вот второй — да. Фараон ему орет: «А ну назвал нам, мля, имена своих соочников!» Ревун ревет от боли, но опять не может без острот: «Это сообщников по очку, что ли?» Фараоны говорят: «Ничего, мы знаем, как тебя разговорить». Но сами-то знают, что сказать Ревуну нечего — это ж они его и взяли, потому как голь из гетто не должна, не имеет права гарцевать в приличной одежде, как будто она и на самом деле что-то собою значит; небось стибрил, ворье, одежду у приличных людей. Знай свое место, поганый ниггер.

Кокнули ему левое стеклышко в очках — они теперь с трещинами, а Ревун их спецом так и носит, хотя может и поменять. Тащат его в какую-то

камеру, в которой он еще не был. Сдирают на нем всю одежду, вплоть до трусов, и привязывают к шконке. Фараон спрашивает: «Знаешь, ублюдок, что такое Электрический Буги?»

Один из них подходит с проводом от кофеварки. Из шнура торчат две жилы. «Ты у нас жопником будешь», — говорит один фараон, а другой хватает Ревуна за хер и одну жилу вокруг головки обматывает. Провод суют в розетку — ничего не происходит. Но когда второй жилой начинают касаться губ, десен, кончиков пальцев, сосков, задней дырки — вот тогда… Ревун мне об этом ничего не рассказывал, но я знаю. Ревун для тюрьмы был человек новый — тот, которого ломают до, а не после. Я слышал, первую неделю в тюрьме все старались держаться от него в сторонке: оно и понятно, раненый лев опасней невредимого. Взять его, казалось бы, легче, только ты вместе с ним можешь ненароком отправиться в ад.

Ревун может целый разговор с тобой вести одними глазами. До сих пор; и это одна из причин, отчего с ним лучше всего ходить на дело. Он на одной стороне магазина, я на другой, и в два подмига с одним взглядом мы оба знаем: он берет на себя заднюю дверь, я беру прилавок и стреляем в любого, кто хотя бы сунется поддернуть штаны

или к себе в сумку. На стволе Ревуна пять зарубок слева, а справа ни одной. Каждая, что слева, — фараон. И…

— Йяу! Йяу, Джоси! Вернись, брат, Земля тоскует по тебе!

— Ревун? Ох, ёксель-моксель, когда ты успел объявиться? Я даже и не заметил.

— Минуты не прошло. Ну, с небольшим. Думаешь, это хорошая идея, так воспарять мыслями в этом баре? Ты же отвлекаешься!

— А что?

— М-м? Да ничего, солнце. Бро вроде тебя может и отвлечься, когда за тобой следит еще один.

— Чего ты так припозднился?

— Ты ж меня знаешь, Джоси. У каждой дороги свой шлагбаум. Так из какого мира ты сейчас воротился?

— Из далекого. Не иначе как с Плутона.

— Ясен месяц. Там, где у баб сиська одна, а письки сразу две?

— Не, это больше напоминает «Планету обезьян».

— Вот как? Ну, значит, есть шанс засадить им сразу в обе…

— Только не начинай снова развивать тему траханья с обезьянами.

— И почему же?

— Об этом вовсю елозят по ушам твои братья-атеисты, сторонники эволюции от шимпанзе.

— Успокою тебя: здесь мы с великим Чарли Дарвином расходимся. Нормальные люди, бро, от обезьян не происходят. Исключение разве что Шутник: его мамаше не иначе как мандрил разок качнул.

— Ревун! Ёшь твою медь!

— Что стряслось, солнце?

— Бро, у меня ж пива в стакане было больше половины — готов поклясться!

— Рад за тебя.

— Так это ты, бомбоклат, пивком моим пожи-вился?

— Так оно ж у тебя без дела стояло. А меня еще бабушка учила: если долго стоит, значит, уже общее.

— А она знает, бабушка твоя, что ты только что выпил слабительное?

— Вот тут я попал… Ну, рассказывай, с чем пришел.

Ревун еще разговорчивей, чем обычно. Может, из-за этого бара, где выпивка развязывает языки всем, кроме меня. Он знает, что я терпеть не могу, когда нужно решать вопросы, а он является под

кайфом. Ревун пытается втюхивать, что кокс-де сглаживает остроту углов, но это все херь, которой он наслушался от своего белого дружка, который сел за наркоту, когда на него навалилось посольство, или понабрался из фильмов и лепит бог весть что. В таком состоянии он находит драку там, где ее на самом деле нет. Да еще и подозрительность похлеще, чем у Иуды, когда тот прятался после выдачи Христа.

— Эй, Джоси, а это там не твой «Датсун», снаружи? Там сидит человек. Три часа.

— Что ты такое несешь? И при чем здесь мой «Датсун»?

— Тот человек, с трех часов.

— Сколько раз тебе говорить: не лепи мне эту хрень из детективов.

— Ну ладно, мудила. Человек позади тебя, справа… да не смотри ты. Высокий, темный, симпатичный, губа, как у рыбы на леске. Сидит у стойки, но ни с кем не разговаривает. Уже три раза сюда поглядел.

— Может, он вроде тебя?

Ревун посмотрел на меня жестко. Мелькнула мысль, что он сейчас ляпнет что-нибудь эдакое и заслужит, чтобы я на него ругнулся. Хотя Ревун заслужил право творить все, что ему вздумается,

пускай даже связанное с содомией. Об этом он болтает все время, но как бы окольно, эзоповым языком, загадками и намеками. Все это он складывает «на греческий лад» (его слова, не мои). Что здесь греческого, я ума не приложу. Но это не значит, что он будет терпеть, если кто-то попробует ответить ему тем же. Что-то непременно произойдет, скажи ему кто-то что-нибудь о нем самом, пусть даже общеизвестное.

— Он говорит: «Рыбак рыбака видит издалека». — Я начинаю подрыгивать ногой.

— Этот человек за нами смотрит.

— Это в тебе кокс распоряжается. Конечно, он на нас смотрит. На его месте я бы в баре тоже не спускал с меня глаз. Этим он сейчас реально и занимается. Он, как и все здесь, узнает меня, а теперь и тебя. Сидит и думает: «Кого они сейчас договариваются порешить? И сколько пройдет времени, пока они его укокошат? Мне сейчас расслабиться по максимуму или дать отсюда деру, роняя кал?» Мне даже оборачиваться не надо, я спиной вижу: одна рука у него на стакане, другая тарабанит пальцами по стойке. Гляди: вот я сейчас по счету «три» обернусь, резко, и он отведет глаза. Раз, два… три.

— Ха-ха, он чуть не опрокинул стакан. Брат,

может, это переодетый фараон?

— Может, тебе лучше перестать нащупывать свою пушку? У тебя впереди еще двадцать два дня рождественского отпуска. Успеешь добавить пару зарубок.

Ревун пристально на меня смотрит, а затем начинает хохотать. Никто не хохочет так, как он: начинает сипловато, а потом вдруг набирает силу и взрывается заливисто, на все, язви его, помещение. И кто научил этого черного крепыша так хохотать? Смех разносится по бару, и к нему присоединяются другие, сами не понимая отчего.

— Нынче я чего-то заморочен донельзя.

— Это потому, что ты думаешь, что завтра чем-то отличается от сегодня. А на самом деле все дни одинаковы. Знаешь, Ревун, почему я делаю ставку именно на тебя? Знаешь или нет? Да потому что в людях я больше всего не переношу, когда они говорят мне только то, что собираются сделать. Потому и политиканам не верю — никому из них. Мне они говорят единственно о том, что думают сделать.

— «Никогда не давай политикану оказать тебе услугу. Он потом с тебя не слезет»... Я тебе ни разу не рассказывал, как нежданно встретился с Певцом?

Тысячу и один раз. Только я Ревуну об этом не напоминаю. Есть вещи, которые он повторяет на десять, на сто, на тыщу раз, пока сам в конце концов не притомляется.

— Нет, не рассказывал.

— Да ты что? Короче, на третий год службы…

Годы своей отсидки он всегда называет «службой».

— В общем, на третий или через три выводят нас на пляж Порт-Хендерсона.

— Не понял: они что, водят заключенных купаться? Я бы мигом уплыл.

— Да нет же, *нет*. Нас выводили на работы, дерево таскать на рубку. Ты прав: была б такая возможность, я бы вмиг охранника заточкой чикнул. Ну и вот, бро, вкалываем мы, и вдруг вижу — откуда-то подходит Певец со своим, как видно, другом. Смотрит на меня и говорит: «Мы здесь все будем за тебя бороться, ты понял, брат?» А я стою и смотрю — *он*, и перетирает *со мной*? И говорит мне, что будет сражаться за мои права! *Мои права*! А затем смеется и уходит. После я этого мандюка возненавидел хуже гадюки.

Да, он и вправду ненавидит Певца. Хотя реально та история не имеет к Ревуну никакого отношения. Он-то думал, что разговаривают с

ним, у него сердце и подпрыгнуло. Ревун даже хотел к нему подойти, даром что охранники смотрели. А потом понял, что Певец обращается не к нему, а к тому, что рядом с ним. По какой-то причине даже после плети с гвоздями, дубинок и после того, как ему нассали в рис за пререкания с охраной, это уязвляет Ревуна сильней всего. Кровь у него так и кипит. То, чего на деле не было, он хочет, чтоб было, и именно с таким исходом. Ну, а мне и дела до того нет; главное — это чтобы его тянуло спустить курок, когда мне того надо.

— Ну что, нас все уже ждут у лачуги, — говорю я. — Время ехать.

Все, кроме Бам-Бама. Его нужно будет забрать на машине. Он весь день смотрит за домом.

— В самом деле, брат, в самом деле.

Бам-Бам

Когда ствол приходит в дом жить с тобой, это значит ох как многое. Сперва это замечают люди, что живут с тобой. Женщина, с которой живу я, начинает смотреть на меня по-другому. Все разговаривают с тобой по-другому, когда видят у тебя на штанах то приметное вздутие. Нет, дело даже не в этом. Когда ствол приходит жить к тебе в дом, то это именно ему, стволу, а не человеку, который его держит, принадлежит последнее слово. И оно проходит между мужчиной и женщиной, когда они перетирают — не всерьезную, а даже по мелочам.

Она: «Ужин готов».

Он: «Я не голодный».

«Ну ладно».

«Надо, чтобы он был теплым, когда я проголодаюсь».

«Хорошо-хорошо».

Когда ствол приходит жить в дом, женщина, с которой ты живешь, начинает обходиться с тобой по-иному — не холодно, но она теперь взвешивает свои слова, отмеряет их перед тем, как с тобой заговорить. Но ствол разговаривает и

с хозяином; говорит поначалу, что ты им никогда не завладеешь, потому как снаружи есть тьма людей, у которых оружия нет, но они знают, что оно есть у тебя, и когда-нибудь ночью они прокрадутся, словно Никодемус, и его похитят. Никто по-настоящему стволом не владеет. Ты этого и не знаешь, пока он у тебя не появляется. Если кто-то его тебе дает, то этот кто-то может взять его обратно. Другой, видя его при тебе, может подумать, что он на самом деле принадлежит ему. И он не спит, пока им не завладеет, потому как до этих пор не может заснуть. Голод по оружию, он хуже, чем голод по женщине, потому как женщина, коли на то пошло, может невзначай снова по тебе проголодаться. А ствол… Ночами мне не спится. Я стою в темной тени, гляжу на него, поглаживаю, смотрю и жду.

Через два дня после того, как уезжает Папа Ло, мы слышим, что он был в Англии, где смотрел, как раскатывает с концертами Певец. Ходит слух, что в это же время в Англии находился и Шутник, но никто не может сказать, правда ли это: последнего стукача у нас здесь распнули прямо на Мусорных землях. Человек, что завозит в гетто стволы, говорит, чтобы мы ночью дожидались в контейнере с надписью «Концерт мира». Когда

мы втроем попадаем в док, то там пусто так, будто там недавно побывал и уехал Клинт Иствуд: все брошено, кран не работает, прожекторы не светят, людей нет, только вода поплескивает о причал. Ящик уже ждал на месте, готовый и открытый. На «Датсуне» Джоси Уэйлса подъехал Ревун. Мы с ним и Хеклем втащили ящик на заднее сиденье и машину загрузили настолько под завязку — тут тебе и оружие, и патроны, — что ни я, ни Хекль вместе в машину уже не помещались. Тогда Ревун, перед тем как уехать, оставил нам денег на такси, но в гетто такси не ходят, особенно в комендантский час, и мы на эти деньги набираем себе жрачки в «Кентукки фрайд чикен». Кассир ждет, пока мы уйдем, чтобы уйти самому, но поторопить нас боится.

Тем вечером тот же белый, что балует с «Фраузером», учит меня, как стрелять. Многие сходятся из гетто, и когда он видит одного из них, то улыбается и говорит: «Чего трясешься, Тони?» Но Тони не отвечает. Никто не знает, что когда-то давно они с Тони ходили в нашу маленькую школу в Форт-Беннинге; никто не знает, чтобы этот Тони вообще ходил в школу. Он ставит мишень и говорит, чтобы я стрелял. А потом человек, который завозит в гетто стволы, смотрит на меня и улы-

бается. Ревун говорит белому, что Папа Ло теперь не такой сильный, но белый слова Ревуна понимает плохо. Он только кивает, смеется и говорит «усёк!», а потом смотрит на Джоси Уэйлса, чтобы тот все ему повторил медленней, и все равно смеется, даже над тем, что не смешно. От этого лицо Джоси Уэйлса смурнеет еще больше, потому что все знают, как он гордится, что умеет хорошо говорить. Белый говорит, что мы тут все боремся за свободу от тоталитаризма, терроризма и тирании, но никто не знает, что эти слова означают.

Я смотрю на других ребят — двое младше меня, пятеро старше, включая Демуса и Ревуна. Все мы темнокожие, все терпеть не можем причесываться. Все носим хаки, габардин или штаны из брезентухи с закатанной до колена правой штаниной, а из заднего левого кармана торчит тряпица, потому как от этого стильный вид. Кто-то носит вязаные разноцветные беретки-тэмы, но не все, потому как тэм носят раста, а раста вроде как примыкают к социалистам. Этот самый «сицилизм» — очередной «изм», надоевший так, что даже Певец написал об этом песню. Затем белый говорит о том, как кое-кто свой хорошо подвешенный язык пускает на агитацию людей, и как тоталитаризм всегда происходит от согла-

сия, а мы киваем, будто бы понимаем его. Девять раз он произносит слово «хаос». Он говорит, что страна когда-нибудь поблагодарит нас за это, и мы снова киваем, как от понимания.

Но Джоси Уэйлс хочет чего-то большего, чем эта партийная возня. Мне думается о том, что он всегда пахнет как-то иначе, пусть даже его женщина одевает. Запахом вроде чеснока и серы. И после повторного показа, как нужно стрелять, Джоси Уэйлс говорит, что мы собираемся в Рему, потому что ниггеры там чего-то распоясались. «Надо бы приопустить тех заносчивых черномазиков», — говорит со смехом белый и уезжает на внедорожнике. Опять эта Рема, всегда между ЛПЯ и ННП, между капиталистами и социалистами. Джоси Уэйлс говорит белому, что он сам никакой не «ист», что он поумнее их всех и сделает чего от него хотят, если его потом оставят в покое в Майами. Белый говорит, что не разбирает, о чем там буровит Джоси, но склабится, будто знает какой-то лукавый секрет, известный ему и дьяволу. Прошла молва, что люди из Ремы ропщут оттого, что ЛПЯ вложила деньги, консервы и починила канализацию в Копенгагене, а у них — нет, и что, может, настала им пора реально присоседиться к ННП и превратить Восемь Проулков в Девять. Все

это рассказывает Ревун, когда мы возвращаемся к лачуге возле железной дороги. Все это он говорит, замешивая при том белый порошок с эфиром и нагревая смесь зажигалкой. После чего втягивает смесь ноздрей и дает попробовать сперва мне.

Мы едем в Рему на «Датсуне». Я хватаюсь за дверь, а она как будто мягкая, и воздух проходит мне через волосы, словно двести женских пальцев гладят мне соски, — так, наверное, чувствует женщина, когда ты сосешь ей сиси, голова кружится в хмельном вихре, как будто я разгуливаю без головы, и темная улица становится темней, а желтый свет фонарей желтей, а та девчонка в доме через улицу пробуждает такую похоть, что мне тесно в своих штанах и хочется трах-трах-трах — трах-трах-трах каждую женщину на свете, и я протрахаю насквозь мисс Ямайку, а когда у нее из манды полезет лялька, то я затрахаю и ее, надавлю на спусковой крючок и расстреляю весь белый свет. Но я хочу трахаться, а у меня больше не стоит. Не стоит, не стоит! Это, наверное, из-за смеси. Кокс или герыч. Не знаю. Не знаю ни хера, бомбоклат, и скорей бы уж машина приехала куда надо, а то она тащится как улитка, хочется распахнуть дверь и выскочить, и бежать всю дорогу вперед, а затем обратно,

и снова и снова бежать, так быстро, что я лечу, и хочу трах-трах-трах, но нестояк! Не-сто-як! А радио в голове играет убойный песняк, который по радио никогда не играется, и я сейчас держу ритм, дикий ритм! А другие ребята в машине тоже его ощущают и тоже это знают, а я гляжу на Ревуна, который смотрит на меня и тоже знает, а я могу поцеловать его взасос и застрелить за то, что он жопник, и снова хохотать, хохотать, а машина врезается в холм, и мы как будто на небеса, но нет, хотя да, на небеса, и «Датсун» летит тоже, а голова у меня превращается в шар, и тогда я думаю о Реме и как те, кто там живет, должны получить от нас урок, и я хочу, чтобы они его так реально затвердили, что хватаю и передергиваю затвор у «M16», но на самом деле хочу схватить на улице мальчишку и свернуть ему шею — так вот крутить, крутить, крутить, пока она не отскочит пробкой, и тогда я зачерпну крови, разотру ее по лицу и скажу: «А ну, козлы, кто сейчас себя неприлично ведет?», и буду трах-трах-трах — но у меня нестояк! Не-сто-як! А «Датсун» скрежещет тормозами. И не успевает Ревун что-то сказать, как мы выскакиваем и бежим по улице, а улица мокрая, и улица — это море, хотя нет, улица — это небо, и я лечу сквозь него и могу слышать свои

шаги, как будто они чьи-то чужие и шлепают по тротуару, как выстрелы, и вот я в кинотеатре с Джоси Уэйлсом, потому что показывают «Инфорсера» про Гарри Каллахана и еще какого-то плохого парня, потому что пацан со стволом — мужик, а не пацан, и каждый раз, когда Клинт Иствуд стреляет в пацана, Джоси Уэйлс поет: «Люди, вы готовы?» А мы поем: «Боооу!» И палим по экрану, пока он не становится как решето и ничего не видно из-за дыма. Тут все выбегают из кинотеатра, но понимают, что пускай лучше фильм идет, или мы вломимся в аппаратную и наведем там шороху. И перед тем как стрелять снова, я вспоминаю, что мы в полях Ремы, а не в киношке, и мы стреляем в дом и магазин, который еще открыт, а люди там мечутся и вопят. «*А-а-а, с-суки, бегите-бегите, стрелки приехали на разборку, всех вас на-а-а-а-х!!*» Но попадать во всех не получается, чтобы насмерть, и от этого я просто реально-реально схожу с ума, и все так же хочу трах-трах-трах, и не знаю, почему я так до одури хочу трахаться, но стояка все так и нет, и я загоняю одну из девчонок, хватаю ее и кричу: «Я тебя сейчас порешу!», и хочу это сделать, но Ревун хватает меня и лупит по лицу рукояткой своего ствола и говорит: «Ты чё, ёбу дался?» Это

просто предупреждение, но я хочу убить и его, но он уже дает сигнал к отходу, потому как говнюкам в Реме хоть и слабо́, но у одного или двоих здесь тоже есть стволы, но кому есть дело до этих мудаков из Ремы? Пули отскакивают от меня, как от Супермена. На мне «*С*» с груди Супермена и «*Б*» с пояса Бэтмена. Мы видим пацана и гонимся за ним, но он юркает, как мышь, в норку величиной только для мыши, и я кричу жопошнику выйти и принять смерть реально как мужчина, и я безумно хочу его убить; хочу убивать, убивать, убивать, после чего появляется собака, и я бегу за собакой, мне нужно ее убить, я хочу убить эту собаку, убить собаку! Джоси Уэйлс и другие бегут к машине и ловят пацана, пинают его в спину, в голень, в жопу и говорят: «Это тебе за всех козлов в Реме, которые хотят подстелиться под ННП, понял? Так что запомни, сука: у нас есть стволы и мы знаем, с кем ты», и пинают его снова, и он убегает, а я хочу его застрелить, и Ревун смотрит на меня, а я хочу застрелить и его, хочу реально его застрелить сейчас, прямо сейчас, но Ревун говорит: «А ну, бомбоклат, мухой на заднее сиденье, иначе тебя тут так напичкают пулями, что на ветру свистеть будешь», а я не понимаю, потому что когда я хочу трах, то хочу трах-трах-трах, а

когда убивать, то хочу убивать-убивать-убивать, а теперь понимаю, что я не хочу умирать, и боюсь-боюсь-боюсь, и никогда так не боюсь, как сейчас, и сердце колотится реально-реально-реально быстро. Но я прыгаю на заднее сиденье и думаю о стрельбе, и как оно ощущается лучше хорошего, и как мне сейчас лучше, чем хорошо, и как я только что начал думать, что мне лучше, чем хорошо, а я начал уже не ощущать себя так хорошо. Уезжать из этого рыбного городка, никого не убив, дает ощущение, как если бы кто-то чувствовал, что кто-то умер, и непонятно почему. Особо как-то ничего не чувствуешь, но все-таки. И темнота уже не была такой темной, а езда никогда не была такой длинной, хотя здесь не так уж далеко, и я знал, что Ревун на меня злится, и я подумал, что он может меня убить и убить всех и весь Копенгаген с его серостью, ржавью и грязью, и я это ненавижу и не знаю почему, потому что это все, что я знаю, и все, о чем я думаю, это когда я курю эту штуку, все выглядит так хорошо и каждая дорога красивая, а каждую женщину я хотел бы тут же оттрахать, а когда стрелял из ствола, то мог убить всех, и это было самое клёвое убийство, а теперь его вот нет, и красное уже не такое красное, синее не самое синее, а ритм не самый

сладкий ритм, и от всего этого пробирает грусть, но было также что-то, чего я не могу описать, и я хочу одного: снова чувствовать себя хорошо, и прямо сейчас.

И Папа Ло вызверился, как безумный, с криком: кто, мол, давал Джоси Уэйлсу и Ревуну позволение наводить шорох в Реме? Кто, бля, спрашивается?! Ты кого, говорит, ослушался? И похоже было, что Папа Ло сейчас Джоси Уэйлса ударит, но тут он видит нас, меня и стволы. Не знаю, что он такое думает, но, наверное, что-то тяжелое, потому как уходит. Но сначала говорит всем, каждому и как бы никому, что когда-нибудь у нас полностью израсходуются люди, которые убивают. Джоси Уэйлс шипит и уходит трахать свою женщину или играться со своим отпрыском. Женщина, с которой жил я, смотрит на меня так, будто прежде никогда не видела. Она права. Такого меня она не видела никогда.

Наступает семьдесят шестой год и приносит с собой выборы. Человек, что завозит в гетто стволы, дает ясно понять, что правительству социалистов больше не бывать. Сначала все здесь будет гореть адским пламенем под стон проклятий. Нас посылают на отстрел двух из Восьми Проулков, но потом посылают и дальше. На рын-

ке Коронейшн мы подходим к продавщице и модно одетой женщине, вроде как она из богатого района, и стреляем ту и другую. Назавтра идем на Кроссроудс, прямо там, где центр трется об окраину, врываемся в магазин посуды и устраиваем пальбу. Еще через день останавливаем автобус, идущий из Западного Кингстона в Святую Екатерину. Начинаем грабить и нагонять страху, но тут женщина-полицейский кричит нам «прекратить!» так, будто она Старски или Хатч[55].

Она не успевает вовремя вытащить ствол, и мы выволакиваем ее из автобуса, а автобус уезжает. Под придорожным кустом мы стреляем в нее шесть раз, а мимо едут машины. Когда мы стреляем, ее тело исполняет танец пуль, а до этого Джоси Уэйлс делает то, что заставляет меня сглатывать блевотину, которая просится наружу. Папа Ло такого бы не допустил. А Джоси машет перед нами стволом и обещает, если мы проболтаемся, нас покарать.

Женщина, с которой я живу, смотрит, как я меняюсь, но мне нет ни до чего дела, если я не курну. И скоро Ревун дает мне понять, что между мной и моей затяжкой стоят козлы, которых нужно

---

[55] Примечания: 55

«Старски и Хатч»– комедийный боевик режиссера Т. Филлипса.

умертвить. Мне требуется награда, что-то, чтобы снять депрессуху. Это теперь и случается: ты или куришь, или грезишь насчет обкурки, и грезишь так, будто бы кто-то умер и его не возвратить.

По Ямайке идет молва, что преступность распоясалась, страна катится к чертям, безопасности нет даже в зажиточных районах, а ННП теряет власть над страной. До выборов две недели, и Папа Ло посылает нас в каждый дом, чтобы напомнить людям, как надо голосовать. Один из пацанов говорит, что не собирается слушаться Папы Ло. Джоси Уэйлс мог бы прошипеть и пробурчать что-нибудь двусмысленное, но Джоси Уэйлс никогда не забывает, что Папа Ло стал Папой через то, что был самым жестким и крутым авторитетом в гетто. Папа Ло подходит прямо к пацану и спрашивает, сколько ему лет. «Семнадцать», — говорит пацанчик. «Ну, значит, к восемнадцати заживет», — говорит Папа Ло и стреляет ему в ступню. Тот вопит, подпрыгивает и снова вопит. «Совсем озверели! — кричит еще один, рядом с ним. — Забыли, кто в стране власть!» — «А, так ты забыл кто?» — говорит Папа и наводит на него ствол. Тот весь трясется и головой так отчаянно мотает: «Папа Ло, ты дон, дон из донов». А Папа Ло смеется, когда видит, что

он еще и струю под себя пустил. «Ну-ка подлизывай», — говорит. Мальчишка на секунду обомлел, а Папа Ло стреляет рядом и говорит: «Или ты подлижешь за собой ссаки, или мы подмоем за тобой кровь». И пацан, видя, что он не шутит, встает на коленки и начинает вылакивать свои ссаки, как ошалелый кошак.

И вот мы заходим в улицу, пинаем открытую дверь, вышибаем запертую, и там какой-то старик, всего один и полубезумный, говорит, что ни за кого не голосует, и тогда мы выволакиваем его из дома, снимаем с него рубаху со штанами и сжигаем их, а потом сдираем и трусы и тоже их сжигаем, пинаем его пару раз и говорим, чтоб он хорошенько подумал, голосовать ли ему и за кого, иначе мы начнем жечь вещи в доме, а женщина, с которой я живу, спрашивает, придут ли вот так же за ней, потому как ЛПЯ и ННП одинаковое дерьмо, и я говорю: «Может, и придут», и она тогда больше не говорит мне ни слова. Но когда приходит тот белый, а за ним — человек, что завозит в гетто стволы, они разговаривают с Джоси Уэйлсом, а не с Папой Ло. Папы даже и в гетто толком не бывает, он почти все время ошивается с Певцом.

Ночь. В декабре здесь прохладней. Певец у себя

в доме. Живет, поет и играет. Вся Ямайка и все гетто судачат, как он решил устроить концерт за мир «Улыбнись, Ямайка», хотя все это пропаганда ННП, а его дом ночью и днем стережет «Команда “Эхо”» — плохие парни, которым платит ННП. Полиции никакой, кроме одной машины, которая останавливается, когда стемнеет. Внутрь никто не заходит, и почти никто не выходит наружу. Я смотрю, как проезжает машина, и вижу, как в комнате загорается свет, гаснет и снова загорается. Смотрю, как приходит и уходит менеджер — невысокий, плотный, — и какой-то белый с коричневыми волосами. Певец как-то сказал, что жизнь для него ничего не значит, если он не может помочь большому числу людей, и он им помогает, но он только дает им то, что им нужно, а молодым ничего не нужно, они просто хотят всё. Мы поем другие песни, песни молодежи, которой записывать свои песни не по карману, и мы скачем под реальный рок-ритм, неотесанный и страшный, потому как танцуют только женщины. И мы поем песни, которые приходят нам во сне, что если лететь как молния, то и рушиться будешь как гром. Певец-то думает, что Джонни-рудбой какой был, такой и есть, но Джонни меняется, и этот Джонни за ним еще

когда-нибудь придет. Перед вечером я вижу, как Певец курит травку с Папой Ло, а затем дает конверт человеку, что щемится с Шотта Шерифом, и даже люди крупнее меня недоумевают, что такое замышляет этот сумасброд с дредами. Этот Певец думает, что если он вышел из тех же мест, что и мы, то он понимает, как мы живем. Ничего он не понимает. Все они одним миром мазаны; все так думают, после того как уедут и возвращаются обратно. Что все здесь осталось в том же виде, как когда они уехали. Но мы другие. Мы жестче, чем он, и нам все побоку. Он сбежал отсюда до того, как сделался таким, как мы.

Ну а мы? Мы тут самые крутые плохие парни. Мать Хекля как-то вышла из дома, когда мы караулили угол улицы и играли там в домино, и кто-то сказал: «*Как она, старая, может так себя вести — ведь знает, что мы здесь*?» И он шваркнул ее по лицу и сказал: «Не смей проявлять неуважение к рудбоям, когда они на улице». Она и утерлась. Женщина, с которой я живу, спрашивает, буду ли и я так же с ней обращаться, но я ничего не сказал. На женщин у меня рука не чешется. Чего их бить? Я просто хочу дармового кокса, больше ничего и не надо. Позавчера иду я мимо дома какой-то женщины, смотрю — выходит Ревун, голый, и

подходит к колонке там, сзади. Стягивает с хера гондон, отбрасывает и начинает подмываться. Всем известно: гондоны да таблетки от беременности — это всё козни белых, чтобы извести всех темнокожих, а ему и нет ничего. Я смотрю, как он снимает очки, моет себя во всех местах мочалкой с мылом, будто и колонка и дерево здесь для него одного, хотя этот дом даже не его постоянной женщины. И мне захотелось, нет, не оттрахать, — я жопничество на дух не переношу, — а просто войти в него тайком, как даппи. Двигаться, когда двигается он, дрыгаться и елозить вместе с ним, попердывать тоже вместе, чуток выходить, а потом — бам-м! — с новой силой прямо в нутро, где мягче, жарче и податливей, то быстрей, то медленней. А затем захотел стать еще и женщиной. Чтобы стонать.

Нынче я смотрю за домом Певца один, хотя в другое время нас обычно несколько. Коренастый, с большим ртом, который ему за менеджера, скорее всего, думает, что мы всего лишь шобла из ребят, которые здесь то ли побираются, то ли думают надыбать травки, то ли мечтают, чтобы их заметили и позвали сыграть, но все равно к нам приглядывается. А мы возвращаемся в гетто, и белый, который его вроде как знает, рассказы-

вает нам о каждой комнате в его доме. «*У всех здесь есть своя цена, даже у тех, кто под ним, и в какой-то момент они расходятся на перерывчик — точнее, на большой такой перерывище, может, даже с выездом на гребаную дискотеку с отрывом где-нибудь, мля, в Кингстоне. Усекли?*» Что в доме только один вход и один выход. Что хозяин устраивает себе перерыв где-то в девять — девять с четвертью и идет на кухню один, детей никаких в доме нет, а все кто надо или в студии, или собираются расходиться. Что со ступеней вверх на кухню четкий обзор, но нам надо обдать все как душем, чтоб наверняка. Так что двое за рулем, двое заходят внутрь, а четверо зачищают конуру снаружи. Мы не совсем понимаем, что он такое говорит, и Джоси Уэйлс разъясняет, что он насчет «зачехлить кобуру снаружи» — дурь какая-то. Американос опять краснеет, а тот, что завозит в гетто стволы, разъясняет наконец, что он имеет в виду «окружить дом и прочесать участок». Теперь ясно. Нам показывают фото. Певец на кухне — он сам, затем белый, который управляет лейблом; он же в студии (от крепкой травы шары выпучены — видно, что проперло), а с ним новый гитарист аж из Америки, успел уже трахнуть одну телку, а заодно ее сестру, сидит на колонке

так, будто он сам Певец и уж подустал от самого Певца. Вся Ямайка в ожидании концерта «Улыбнись, Ямайка». Даже кое-кто из гетто собирается: Папа Ло говорит, что хотя оно и пропаганда ННП, но на Певца сходить надо. Ну, а я думаю лишь о том, что осталась всего одна ночь и я перестану голодать. Еще одна ночь, и я сниму у себя с груди «*С*» Супермена, а с пояса — «*Б*» Бэтмена.

Алекс Пирс

«Существует причина, отчего история гетто никогда не сопровождается снимками. Трущобы третьего мира — всегда кошмар, игнорирующий представления и факты, даже те, что смотрят прямиком на тебя. Видение ада — вихрящееся, обращенное на себя и заточенное под свой собственный саундтрек. Обычные правила здесь неприменимы. Остаются воображение, сон, фантазия. Стоит вам оказаться в гетто — особенно в гетто Западного Кингстона, — и оно тотчас отмежевывается от реальности, принимая вид гротеска, нечто от Данте или инфернальной живописи Иеронима Босха. Это ржаво-красное узилище ада, которое нельзя описать, поэтому делать потуги на описание не буду и я. Фотографировать его бессмысленно, поскольку некоторые части Западного Кингстона, такие, как Рема, пропитаны таким гнетущим и кромешным отвращением, что присущая фотографическому процессу внутренняя красота все равно будет сглаживать то, как все это гнусно на самом деле. Охват красоты не имеет границ, но то же можно сказать и о мерзости, а един-

ственный способ четко охватить всю полноту нескончаемого водоворота гнусности, который олицетворяет собой Тренчтаун, это его вообразить. Можно описать его и в красках — красное и мертвое, как застарелая кровь; бурое, как грязь, глина или кал; белое, как мыльная вода, струящаяся вниз по узким улочкам. Блесткое, как новая оцинковка крыши или забора возле старого цинка, сам материал которого — живая история той поры, когда политик последний раз делал что-нибудь для гетто. Цинк в Восьми Проулках сияет, как никель. Цинк в Джунглях продырявлен пулевыми отверстиями и заржавлен в цвет грязи ямайской глубинки. Чтобы понять гетто, сделать его реальным, нужно забыть, что ты его видел. Гетто — это запах. Иногда это что-то сладкое. Детская присыпка, которой женщины припудривают грудь. Дезодорант «Олд спайс», «Английская кожа» и лосьон «Брут». Сырой запах недавно забитой козы, стручковый перец в супе из козьей головы. Едкость химикатов в моющем средстве, кокосовое масло, карболка, лаванда в мыле, разлагающаяся моча с кусками старого кала, сбегающая ручейком по обочине дороги. Снова перец в курице джерк. Кордит от недавно пристрелянного пистолета, сгустки какашек

в выброшенных детских подгузниках, железо в запекшейся крови после уличного убийства, оставшейся после того, как убрали тело. Запах несет память о звуках, которые тоже символика трущоб. Регги гладок и сексуален, но в нем также слышатся брутальность и скудность, как в донельзя обедненном и беспримесном дельта-блюзе. Из всего этого варева огнедышащего перца, крови от стрельбы, водяных струй и сладких ритмов происходит Певец — звучание в воздухе; но оно же и дух живого дышащего страдания, которое всегда там, откуда он родом, неважно где он и что пытается донести своей песней».

Драть твою лети… Так и тянет душком, будто б я пишу для дам, вкушающих ланч на Пятой авеню. «*Нескончаемый водоворот гнусности*»? Бэтмен, я тебя умоляю: ты же скатываешься в сенсуализм! Для кого я, блин, пишу? Ведь можно было проникнуть глубже, докопаться до сокровенной сути Певца, но я это как-то упустил, как и любой борзописец до меня, потому что настоящего Певца, язви его, не существует. Закавыка в том, что сам-то он, мазафакер, вот он, только теперь, окопавшись в верхних строчках хит-парадов, он стал чем-то другим. Став чем-то вроде аллегории, он теперь эфемерен, как какая-нибудь томная

девица, что под окном отеля поет, как ей обрыдли всякие там «измы» и «схизмы». Или уличные музыканты, что поют о сытости, а у самих в животе урчит от голода, но следующую строчку лучше не петь, потому как известно, что гораздо более чревато умалчивать про то, что знают все.

Уличные фонари за окном тянутся цепочкой до самой бухты, и сейчас они как оранжевые спички, мигают и гаснут — первый, второй, третий. Нет, в самом деле: скопления огоньков и огней — желтые в одних местах, белые в других — гаснут квартал за кварталом, район за районом. Опа: я моргаю, а свет у меня в номере тоже моргает и гаснет. Кингстон отрубается уже третий раз за мой нынешний приезд, но сейчас полнолуние, и на какое-то время весь город становится серебристо-синим, а небо — цвета чудесного индиго, словно город в секунду стал деревней. Лунный свет падает на здания сбоку, и из земли вырастают светящиеся белесые стены. Огни исходят только от машин.

Снизу доносится тихое гудение. Я живу здесь то ли на десятом, то ли на одиннадцатом этаже; свет здесь снова оживает, только теперь с жужжанием. Мой отель включает аварийку; то же самое и отель напротив, и тот, что за ним, и

искусственный оранжевый свет убивает живое серебро луны. Но центр города все так же в темноте; выключение, вероятно, продлится всю ночь. В даунтауне я был один раз, когда сопровождал Ли «Скрэтча» Перри[56], и тогда тоже произошло отключение. Об этом наслышан каждый репортер — о ямайском армагеддоне, когда жадно восстает к жизни всякий криминальный элемент в городе; буча беззакония и разборок. Тем не менее тогда было так тихо, словно Кингстон превратился в город-призрак. Впервые, помнится, я расслышал в бухте глухой шелест волн.

Чего я хочу, не знаю. В голове разброд. Спрашивается: кому хочется писать на тему музыки, когда рок-н-ролл мертв? Может, здесь подсуропили панки или же рок загибается, но все еще живет где-нибудь в Лондоне? Может, что-нибудь новое привнесут «Рамоны»[57], или рок-н-роллу следует периодически припадать к живительному источ-

[56] Примечания: 56

Ли «Скрэтч» Перри (р. 1936) — ямайский музыкант и продюсер, одна из ключевых фигур стилей даб и регги.

[57] Примечания: 57

«Рэмоунз» (*англ.* Ramones) — одни из первых исполнителей панк-рока в США.

нику Чака Берри[58] и через это возрождаться? А иначе, Александр Пирс, единственный способ писания на тему рока — это бухтеть, как гребаный рок-критик. Вот, скажем, Уэннер[59] ждет, надеется и всей душою верит, что Мик и Кит вот-вот наконец проснутся, отложат в сторону наркоту, завяжут с проходными мелодиями и выпустят новый «*Let It Bleed*», а не мутную водицу вроде «*Goats Head Soup*» или, боже упаси, регги. Но вместо этого они, похоже, сосредоточились как раз на лепке песенок, от которых у них самих уже оскомина, и все не могут остановиться, ляпают по инерции одноразовые шлягеры. В эту страну я приехал, зная, что непременно что-нибудь добуду. И похоже, я к этому близок, только никак не могу нащупать, о чем именно идет речь.

Свет гаснет и снова загорается, на этот раз уже без гудения. Ей-богу, мне кажется, этого никто не ожидал. Похоже, город снаружи оказался просто застигнут врасплох. *In flagrante delicto*[60].

---

[58] Примечания: 58

Чак Берри (р. 1926) — американский певец, гитарист, автор песен; один из наиболее влиятельных исполнителей раннего рок-н-ролла.

[59] Примечания: 59

Янн Уэннер (р. 1946) — основатель журнала «Роллинг стоун» (1967).

[60] Примечания: 60

На месте преступления (*лат.*).

Чем, интересно, в этой внезапной темноте занимается Марк Лэнсинг? Кого он здесь вообще знает? Парень, что рассказывал мне об укладах гетто, в свое время сам был рудбоем, пока не сел в тюрягу, а вышел оттуда уже другим человеком благодаря книгам. «Автобиография Малкольма Икса»[61] — это бы можно было понять; я сам когда-то с интересом читал Элдриджа Кливера[62]. Но «Проблемы философии» Бертрана Рассела? Будучи бывшим руди «старой школы», мой осведомитель держится несколько особняком и возглавляет молодую группировку, посредничая между бандами. А чего еще ожидать от азиата — с него взятки гладки.

Иногда я завидую ветеранам Вьетнама — у них, по крайней мере, была вера в себя; им есть что терять. Вам никогда не хотелось махнуть куда-нибудь, где так хреново, что когда не знаешь, куда и зачем, то тем более есть основание туда отправиться? В семьдесят первом уехать из Миннесоты быстро у меня не получилось.

---

[61] Примечания: 61

«Автобиография Малкольма Икса» — автобиографическая книга афроамериканского исламского духовного лидера и борца за права человека М. Икса.

[62] Примечания: 62

Элдридж Кливер (1935–1998) — видный лидер американской радикальной группировки «Черная пантера», автор популярных книг.

«Каждый ямаец умеет петь, и каждый ямаец учился петь по одному и тому же песеннику. Имя ему Марти Роббинс с его «Балладами ганфайтера». Схватите за воротник любого, даже самого завзятого руди, скажите ему «Эль-Пасо», и он тут же вполголоса затянет: «Эль-Пасо горо-од, на Рио-Гранде-е...» Это альфа и омега ямайского языка пистолетов, где всё, что вообще нужно знать о войне "оранжевых" и "зеленых" в Кингстоне; всё, что следует знать о рудбое со стволом, происходит не из лирики Боба Марли или Питера Тоша, а из роббинсовского "Большого железа":

Он беглец от закона, что сам по себе,
И тревожный шепот идет,
Что Большое Железо он несет на бедре
И с кем-то он счеты сведет.

Такова история ганфайтеров дикого, необузданного Западного Кингстона. Вестерну нужен герой в белой шляпе и негодяй в черной, хотя, по правде говоря, мудрость гетто близка к тому, что сказал Пол Маккартни о пинкфлойдовском альбоме «Dark Side of the Moon»: «Нет никакой темной стороны Луны. Она вся темная». Каждый ямайский

«саффера»[63] *— бездомный ковбой, а у каждой улицы есть своя битва на пистолетах, вписанная кровью в какую-нибудь песнь. Проведите один день в Западном Кингстоне, и вы убедитесь, что кто-нибудь из головорезов повидней именует себя не иначе как Джоси Уэйлсом*[64]*. И дело здесь даже не в противопоставлении себя закону. Суть в присвоении мифа, в перелагании его на себя, подобно тому, как певец регги накладывает новые слова на существующую старую мелодию. И как вестерну необходима своя Перестрелка у корраля О-Кей, так Перестрелка у корраля О-Кей нуждается в своем Додж-Сити*[65]*. Кингстон, где трупы порой сыплются, как листья с деревьев, вписывается в это мифотворчество от и до. Ходит молва, что в центре здесь царит такое беззаконие, что даже премьер-министр уже несколько лет как не заезжает за черту Кроссроудс, и даже этот перекресток то и дело переходит из рук в руки. Во*

---

[63] Примечания: 63

От *англ.* sufferer — страдалец.

[64] Примечания: 64

«Джоси Уэйлс — человек вне закона» — кинофильм в стиле вестерн, реж. К. Иствуд.

[65] Примечания: 65

Перестрелка у корраля О-Кей — одно из самых известных вооруженных столкновений в истории Дикого Запада; Додж-Сити — город на западе шт. Канзас; является одним из символов эпохи Дикого Запада.

многом потому, что, смею вас заверить, стоит белому гладкоречивому премьеру подпустить в своих речах что-нибудь насчет «демократического социализма», как в считаные дни Ямайку вдруг наводнят крепко сбитые американские мужчины в костюмах, все, как один, с фамилией Смит или вроде того. Даже я могу чувствовать запах «холодной войны», а ведь это даже не Карибский кризис. Местные или улетают из страны, или рискуют заполучить пулю. Впечатление такое, будто вся эта страна — сплошной Додж-Сити, из которого нужно валить».

Вот так, пожалуй, лучше. Старайся не быть Охотником, старайся не быть Охотником. К черту Томпсона и к черту «Битс». Моей истории нужна канва повествования. Ей нужны герой, негодяй и вещая Кассандра. Есть ощущение, что она, история, плавно движется к кульминации, развязке и катастрофе (хотелось бы, чтобы последняя уже без меня). В «Майами и осаде Чикаго» Норман Мейлер[66] ввел в канву повествования самого себя и, назвавшись членом команды секьюрити, через гребаного «Бонзо» Рональда Рейгана проник на банкет республиканцев, куда бы его иначе

[66] Примечания: 66

Норман Кингсли Мейлер (1923–2007) — американский писатель, журналист, драматург, сценарист, кинорежиссер.

и на дух не подпустили. Ну да это так, к слову. Мысли вслух.

На протяжении всего одной недели Певец встречается с несколькими главарями враждующих группировок. По информации от моего стукача с философским уклоном, с пристани исчезает партия оружия, которой в описи поставки не значилось. Через две недели здесь выборы. О Марке Лэнсинге я не хочу даже заикаться. В настоящее время вся Ямайка кажется застывшей в азарте ожидания. Возможно, чего мне действительно не мешало бы знать, так это для чего Уильям Адлер несколько месяцев назад наведывался на Ямайку; что он такое знает и как Певец, народ и, черт возьми, страна просуществуют две оставшихся до выборов недели. Ну, а потом я закончу этот гребаный материал и пошлю его в «Тайм», или «Ньюсуик», или в «Нью-йоркер», потому что «Роллинг стоун» — да ну его нах. Потому что я в курсе, что он знает. Нутром, блин, чую. Он обязательно должен быть в курсе.

Папа Ло

Они думают, что мой ум — корабль, который все уплывает и уплывает. Кое-кого из тех людей я вижу в своей округе. Посматриваю на них краешком глаза. После того как я помог им вырасти, они думают, что теперь я им мешаю, торчу камнем на дороге. Принимают меня уже за старика и думают, что я не подмечаю, как обрывается предложение, конец которого мне уже не предназначен. Не замечаю, что в гетто протягивают «воздушку» для разговоров, но не со мной. Не замечаю, что меня перестают теребить разговорами и просьбами. Перестают спрашивать разрешения.

В гетто человек делает шаг к власти, когда в другую сторону начинает дуть политикан. Похоже, идет слух, что мне больше не нравится вид крови. Два года назад за одну неделю со мной случилось две вещи. Сперва я подстрелил в Джунглях одного паренька-школяра. До меня дошло, что кое-какая пацанва там опять норовит отбиться от рук: торгует без спроса травой, гуляет с кем-то из молодняка от ННП так, будто они чокнулись меж собой за мировую. И вот мы стрельнули там

одного руди, чтобы другим неповадно было, а он даже не был одет в хаки — то есть считал себя круче других, как какой-нибудь отмороженный *бригадиста* с Кубы. Он в это время как раз топал в Арденнскую среднюю школу. Руди упал сначала на колено, затем на бок, завалился на спину, и только тут я разглядел на нем школьный галстук.

Я уж не помню, сколько человек пало от моей руки, да это меня особо и не волнует, но с этим вышло как-то по-другому. Одно дело, когда убиваешь и он просто труп. Другое — когда ты стреляешь вблизи, а он за тебя хватается и ты видишь, как он на тебя смотрит: глаза страшные. Смерть сама по себе самое страшенное чудище; страшнее, чем когда ты представляешь ее в детстве. И ты можешь чувствовать ее, как демона, который медленно тебя заглатывает своим огромным зевом, — сначала ступни, и они холодеют, затем лодыжки, и они занемевают, затем колени, бедра, поясницу; и вот этот паренек хватает меня за рубашку и рыдает: «Нет, нет, не-ет! Вот она идет ко мне, не-ет!» И стискивает, крепко так, крепче, чем он хватался за что-либо до этого, потому что когда человек вкладывает всю свою силу, всю волю в эти свои десять пальцев на живом существе,

то это он как бы хватается за жизнь, чтоб за нее удержаться, не выпустить. И вдыхает так, будто всасывает целый мир, и больше всего боится выдохнуть, потому как если выдохнет, то может так выдохнуть и всю свою оставшуюся жизнь. «Да ты стрельни в него еще», — говорит мне Джоси Уэйлс, но я могу только смотреть. Джоси тогда подошел, приставил ему ко лбу ствол — и *бац*.

От этого новый ропот. Все знают, что Папа Ло строг, особенно если кто украл или изнасиловал, но никто до этого не звал меня злобным. А теперь вот мать того паренька добралась до самого моего дома и давай голосить под окном, какой сын у нее был хороший мальчик, как любил свою мать, ходил в школу, где сдал уже на аттестат по шести предметам и собирался подавать на стипендию в университет. И что, мол, Господь все видит и уж он-то придумает особую кару такому нигге-ру-гитлеру, как я. Вопит и причитает по своему сынку, призывает в помощь Иисуса — тут Джоси Уэйлс подошел, шмяк ей по затылку рукояткой пистолета и оставил лежать у дороги; только юбку ей парусом вздымает, когда задует ветер.

Как-то Певец меня спросил: «Папа, как же ты мог добраться до верха и стать главным, когда вот так обо всем переживаешь?» Я не стал ему

говорить, что быть на самом верху — оно и значит переживать. Когда забираешься на вершину горы, весь мир может взять там тебя на прицел. Я знаю, Певец в курсе, что многим он не по нраву, но могу лишь гадать, знает ли он, какую форму принимает та ненависть. У каждого человека есть что сказать, но только настоящие ненавистники чернее, чем он. Один туз из судейских сказал: «Я-де прочитал все написанное Элдриджем Кливером, подался учиться, и теперь у меня видная, язви ее, степень; но этот-то? Полубелый сурипопик, а гляди-ка, стал нынче голосом черного освобождения. Это он, что ли, и есть первая публичная фигура Ямайки?» Другой туз, только что вернувшийся из Нью-Йорка с Майами, ворчал, какой это громадный общественный урон для страны, просто пощечина. А все из-за непомерного пиара. На таможне его дважды спрашивали, не играет ли он регги и что это у него за запах от чемодана, не травка ли? Еще одна шишка, что владеет отелем на северном побережье, рассказывает, как одна белая сука с бокалом дайкири — соломинка с зонтиком — спросила, как часто он моет волосы и все ли ямайцы растаманы, хотя видит, гадюка, что волосы у него в порядке и что он причесывает их каждый день. А потом оставила у него на

столе полсотни баксов и ключ от своего номера. Как-то раз я сказал Певцу: «Не чувствую на твоей стороне силу духа; уж слишком много против тебя темных сил построилось, да еще с такой силищей, что одному вряд ли и совладать». А он мне: «Нет у дьявола надо мной силы. Приди он хоть сейчас, мы бы с ним поручкались. У дьявола для игры своя роль. Он ведь тоже хороший друг и размазать тебя может лишь тогда, если ты его хорошенько не знаешь». Ну а я ему: «Брат, ты прямо как Робин Гуд». А он: «Только я в своей жизни никого не обобрал». «Так ведь и Робин Гуд тоже», — говорю.

Только злые силы и духи поднимаются в ночи. Певец сметлив: дружит со мной и одновременно с Шотта Шерифом. Перетирает со мной и с Шоттой, не вместе, что было бы безумием, но перетирает и с ним и со мной примерно об одном и том же. «Если вместе живут кошка с собакой, то почему не можем возлюбить друг друга мы? Разве не так угодно Джа?» — «Жить-то живут, — говорю ему я, — но не по своей воле». А потом подумал как следует и рассудил так: «Когда собака убивает кошку или кошка собаку, то радуется этому только гриф. Он этого по жизни только и ждет. Гриф-индейка — с красной головой, белыми

перьями на груди и черными крыльями. Гриф-индейка в парламенте Ямайки. Грифы-индейки в элитном гольф-клубе, что заманивают тебя на свои вечеринки, потому как ты теперь вырос так, что от тебя не отмахнуться, и суют тебе жареную свинину в лицо, и говорят, что они думают устроить что-нибудь в духе регги, как будто это какой-нибудь твист, и спрашивают, а не знаком ли ты еще и с настоящей звездой, вроде Энгельберта Хампердинка?[67]»

И все же злые силы и духи поднимаются в ночи. Особенно такой вот жаркой ночью, слишком душной для декабря, когда кому-то в голову приходят размышления насчет того, кому что причитается или нет. Я на веранде, с погашенным светом. Смотрю из своего дома: дорога пустая, только соул для влюбленных доносится из бара внизу по дороге. И постукивание — раз, и два, и три, и радостные возгласы: кто-то обставил кого-то в домино. Я вижу покой, слышу покой и знаю, что долго ему не продлиться. Ни для меня, ни для него, ни для Кингстона, ни для Ямайки.

Вот уже три месяца в гетто наведываются двое белых вместе с Питером Нэссером. Один говорит

---

[67] Примечания: 67

Энгельберт Хампердинк (*наст.* Арнольд Джордж Дорси, р. 1936) — популярный британский эстрадный певец.

только на английском, другой по большей части на испанском. Они приезжают встречаться с Джоси Уэйлсом, не со мной. Можешь быть хоть дважды главным, но когда политиканы затевают новое знакомство, то именно к нему они и тяготеют. Интересно, что им говорит Джоси на то, чего они хотят от меня; что он собирается для них сделать. Джоси сам по себе, я никогда им не помыкал, ни тогда, ни сейчас, с самого падения Балаклавы. Копенгаген — это дворец с четырьмя или пятью принцами. Королем прежде не хотел быть никто. Но когда эти двое новых белых приезжают в гетто, то они приходят ко мне в дом, чтобы выразить респект, а уходят с Джоси Уэйлсом, и на пятачке, где, я ожидаю, он с ними распрощается, он садится к ним в машину и ничего не говорит о том, когда вернется.

В половине седьмого Джоси идет проведать свою женщину, а из ее дома выходит в новом куртаке и штанах, которые она принесла из свободной зоны. Потом он уходит. Я ему не мать и не сторож, он не обязан отчитываться мне, куда идет. Вот так же он уезжал и в ту ночь, когда с пристани пропал груз оружия. Человек в Америке

поет «*дадим миру шанс*»[68], но он не американец, живущий здесь. Я думаю, я знаю: Джоси наверняка созывает людей, чтобы раз и навсегда покончить с Ремой. Он не знает, что мне известно: это он спалил ту квартиру на Орандж-стрит вместе с людьми, а тех, кто пытался их вытащить, перестрелял, не пощадив и двух пожарников.

Тысяча девятьсот шестьдесят шестой… Никто из тех, кто вошел в тот год, не вышел из него прежним. Падение Балаклавы унесло многих, даже тех, кто его поддерживал. Поддерживал и я, и не словом, а делом. Балаклава была куском дерьма, где богатством считалось уже житье в многоквартирной халупе. Здесь женщины, которым удавалось избежать ножа и пули, ограбления и изнасилования, погибали затем в очереди на колонку. Балаклаву сгребли бульдозерами и закатали катками, чтобы там смог подняться Копенгаген, а когда вслед за бульдозерами пришли со своими обещаниями политики, они первым делом потребовали, чтобы мы выжили отсюда всех, кто за ННП. До шестьдесят шестого года люди из Денхемтауна и Джунглей тоже меж собой особо не ладили, но дрались в основном на

---

[68] Примечания: 68
Речь идет о Джоне Ленноне и его песне «Дайте миру шанс».

футбольном поле или крикетной площадке, а паланва меж собой ежели и схлестывалась, то дело ограничивалось синяками и разбитыми сопатками; войны или даже молвы о ней не было. Но вот за дело взялись политиканы. Мы их встретили приветливо — ну а как же, ведь лучшее должно было настать и для нас.

Шестьдесят шестой… Все это происходит в субботний день. Джоси возвращается к себе во двор из мастерской мистера Миллера, где учится на слесаря. Идет домой по улице, которая никогда еще не делилась по цветам. Он не знает, что в прошлую пятницу здесь прошлись политиканы, дав распоряжение: заткнуть рты и стрелять чужих. В Джоси выстрелили пять раз. На пятый он упал вниз лицом, прямо в лужу с поганой водой. Крики, беготня. А те, кто не кричит и не бежит, смотрят и ждут. Потом подъехал кто-то на велике, поднял его, усадил впереди себя на раму, чтоб не упал, и покатил в медпункт. Из того медпункта через три недели вернулся уже другой человек.

Злые силы и духи поднимаются в ночи. Певец как-то рассказал мне историю. О том, когда регги еще мало кто знал; когда белая звезда рок-н-ролла водила с ним дружбу. «Вы, ребята от регги, такие провинциалы, просто прелесть какие неопыт-

ные… А ганджа у вас есть?» Но когда «модный дред»[69] стал выдавать хиты и все выше подниматься в чартах, отношение к нему у многих стало меняться. Он перестал их устраивать. Им было уютней видеть его бедным родственником, на которого приятно поглядывать сверху вниз. Я ему сказал, что политиканы так же напрягаются по отношению ко мне, когда узнаю́т, что я умею читать. В шестьдесят шестом они разыграли меж собой Кингстон и поделили его, не спросив даже, какой ломтик нужен нам. И потому каждый кусок земли, что прилегает к границе — Рема, Джунгли, Роузтаун, Лизардтаун, — они кидают нам на драку-собаку, чтоб мы рвали его друг у друга зубами. Вот я и угрызал как мог, пока не начал уставать. Я взрастил людей, которые сейчас идут за Джоси Уэйлсом, и вот оказывается, что хуже меня здесь никого нет. Я расширил Копенгаген вдвое против прежнего, искоренял в нем воровство и изнасилования. В этом году у нас выборы, а в городе будто и нет ничего, кроме войны и слухов о ней. Но нынче я смотрю со своей веранды, как ночь вкрадчиво хранит под полой свой секрет. Веранда деревянная, ее давно пора бы покрасить.

---

[69] Примечания: 69

«Natty Dread» — альбом группы «Bob Marley and The Wailers» (1974); позже natty dreadlocks стали называть себя все растафари.

Моя женщина, слышу, храпит, как пнутая ослица, но человеку со временем начинает нравиться то немногое, что никогда не меняется. Завтра сюда съедется кое-кто из молодых, поговорить об их собственном концерте за мир, потому как этот — сплошь пропаганда ННП. Ночь уже почти на исходе, а карательный взвод фараонов что-то все не появляется. И даже не слышно нигде. От этого ночь кажется странной: люди гетто не привычны ко сну, который ночью ничем не прерывается. Но где-то, как-то, с кого-то за все это взыщется. Особенно такой душной ночью, как эта.

Барри Дифлорио

— Пуль, а что ты сегодня ел на обед — опять вампира?

— А как же, милашка.

— Пуль, перестань меня так звать.

— Звать *как*?

— Милашкой. Я же не девчонка.

— Правда? То есть не имеешь девчачьих составных частей?

— Не-а. И значит, милашкой быть не могу.

— Ну так ты же *мой* милашка.

— Не-а. Мальчики не милашечные. Это девчонки такие. Они милашечные. И занудные.

С такой железной логикой спорить трудно. Сейчас я бы, пожалуй, мог написать целую статью о вещах, какие знал в шесть, но разучился знать в свои тридцать шесть.

— Занудные, говоришь? Подожди: когда тебе исполнится шестнадцать, ты захочешь крутить им хвосты чем чаще, тем больше.

— Им, хвосты?.. Ни за что.

— А вот «за что» или нет, это будет уже отдельная тема.

— Не-е-е-е.

— Да-а-а-а.

— Тогда, значит, они захотят играть и с моими лягушками?

— С лягушками не знаю, но насчет остального… все может быть. А теперь все, милый, младшеньким пора спать.

— Ну, пу-уль…

— Ах, извини, я подзабыл, что ты уже маленький мужчинка. И тем не менее не дави на психику. Всё, отсылаешься. Никаких «пуль». И ты, Тимми, тоже.

— Понял, пап. Оно хре… хрюново, конечно.

— Что?

— Да нет, пап, ничего.

— Вот и я подумал, что послышалось. В общем, идите укладываться, ребята. Хотя стоп: никто перед сном не поцелует своего пулю?

— Так мы ж уже большие.

— Я заметил. И не забудьте почистить зубы, оба.

Моя жена отправляется за ними следом.

— А ты куда же?

— Тоже чистить зубы. День был длинный. Хотя в Кингстоне что ни день, то непременно длинный, не так ли?

Подтекст я уловил. Удивительно, как женщи-

ны умеют использовать любую возможность завязать дискуссию, и особенно в моменты вроде этого, когда тебе не хочется дискутировать, но эта твоя неохота может быть истолкована как безучастность, точно так же, как ласковое слово или комплимент могут лечь в основу упрека, что ты проявляешь снисходительность, а это так или иначе распаляет костерок зреющего бытового конфликта.

— Я сейчас тоже подойду…

Начинает трезвонить телефон.

— …через минуту.

Наверх жена уходит, бормоча что-то насчет «от звонков уже и дома нет житья». В самом деле странно, учитывая мой строгий запрет звонить мне на домашний — ни по работе, ни для радости общения.

— Слушаю.

— Ну, как там твоя имитация бурной деятельности? Причем даже не твоей, а этого педрилы Сэла Резника, которого ты заставляешь кропать гадости в «Нью-Йорк таймс»! Много денег освоил?

— Уильям Адлер? Билл, старина! Куда ты запропастился, язви тебя? В какую сторону хрен гнешь?

— Да все больше налево — во всяком случае,

когда последний раз трусы надевал.

— Небось в тех местах, где ты пребываешь, тебе в питье какую-нибудь хрень подмешивают?

— В самом деле? И где же я, по-твоему?

— На какой-нибудь социалистической Утопии. Ну и как там, может свобода потягаться с лучшей в мире пина-коладой?

— Это что, намек на Кубу? Ты думаешь, я в самом деле там? Такая у тебя информация? Если да, Барри, то мое уважение к тебе проседает ниже плинтуса.

— Так где же ты?

— Ты даже не спрашиваешь, как я раздобыл твой телефон?

— Не-а.

— Только не делай вид, что тебя это не волнует.

— Дружок, мне пора рассказывать на ночь сказку моим ребятишкам. Эта наша свиданка ведет к чему-то доброму?

— Какое у тебя любимое место в цирке?

— Знаешь, чего я терпеть не могу, Билл? Людей, что отвечают вопросом на вопрос. Ямайцы, чтоб их, делают это постоянно.

— Тогда отследи мой звонок. Я подожду.

— Не строй из себя Мачу-Пикчу.

— Насчет «мачо» не знаю, а «пикча» у меня вполне адекватная.

— Ты меня изводишь, Билл. Чего ты хочешь? Наскрести какого-нибудь дерьма для Фиделя?

— Может быть. Только зачем мне для этого выходить на тебя? Доступа к стоящей информации у тебя нет со времен Монтевидео.

— Ну да. Ценные сведения нынче только у тебя.

— Вполне возможно. Жаль тех семерых, которых тебе в экстренном порядке пришлось усылать домой. В самом деле, Контора работает так, что то и дело врюхивается ногами в дерьмо. Непростительно.

— Ты подверг опасности людские жизни, сукин ты сын.

— Опасности — да. Десятимиллионный бюджет. Огромные деньги для такой мелкой страны, как Ямайка.

— Как там продажи книжки, растут?

— Не жалуюсь.

— В шорт-лист фантастики еще попала? Я тут посматриваю…

— Правильно, посматривай. Может, ума поднаберешься.

— На том спасибо. Этот наш диалог в стиле

детективных сериалов — оно, конечно, приятно, но я в самом деле устал. Поэтому спрашиваю: чего ты хочешь?

— Несколько пунктиков. Первый: ты или отзови долболобов, которых поставил меня выслеживать, или назначь на их место кого-нибудь потолковей.

— Насколько мне известно, тебя никто не выслеживает. К тому же, если б я этим занимался, думаешь, я бы не знал о твоем местопребывании?

— Короче, отзывай. И не унижай меня такой откровенной халтурой. Кстати, тебе лучше послать подкрепление в Гуантанамо, чтобы забрать их, пока этого не сделали кубинцы. Где они сейчас, дознаться оставляю тебе. Теперь второе. Надеюсь, что вы там раздумаете вкачивать остаток тех десяти миллионов в ЛПЯ с целью избавить нас от коммунизма. Большинство той суммы поступает в виде оружия, остальное…

— Может, ты попутно затребуешь от меня установить мир на Ближнем Востоке?

— Бог ты мой, Барри, торчи уж в своем диапазоне таланта, он у тебя не безразмерный. И третье. Если ты полагаешь, что тем бандюганам, которых Луис учит стрелять, не хватит ума пристрелить и

тебя, то ты наивный человек. А по иной причине Луис Джонсон на Ямайке не всплыл бы. Учти, дружок: отдача может быть охрененной.

— Ты шутишь? Да для них это все равно что обучающие игры для ребятни: «Моя первая пукалка».

— То есть все-таки реально обучаешь? Я точно не знал… Топорненько, Барри, даже для такого беспринципного шустряка, как ты. Обидно. Тем более что учился ты по моей книге.

— Не знаю, о чем ты. Что же до Луиса, то он сам по себе, а потому с него и спрашивай. Что ты завариваешь на этот раз? Удивительно, что тебя не отправили на повышение. Сидел бы сейчас на месте попрестижней, вроде Восточной Германии… Какой тайной операции ты от нас ждешь? В Анголе? Возможно, что-нибудь такое готовится в Никарагуа. А еще я слышал, что в Папуа — Новой Гвинее тоже зреет социалистический переворот, со дня на день.

— Брось. Ты даже не знаешь, что такое социализм. Будучи просто дрессированной обезьянкой, натасканной целиться и стрелять. Кстати, вспомнил: а что здесь поделывает сын Ричарда Лэнсинга? Пытается помочь вам нагадить папику?

— Не понимаю, о ком ты.

— Да брось ты, Барри. Это канал надежный, без прослушки, так что не дрейфь. Премьер-министр, делающий головняк Киссинджеру просто потому, что сидит на хрену у Кастро и готовится к своему переизбранию.

— Ты в этом уверен?

— Так же, как и насчет того, в какую именно школу ходят твои детишки.

— Билл, не занимайся херней…

— Херню, Барри, оставим за скобками. Повторяю еще раз: премьер, малость не догоняющий, что втягивается в «холодную войну», всерьез рассчитывает на переизбрание. Организует концерт, в котором собирается принять участие крупнейшая в мире звезда, по своему несчастью, ямайского происхождения. И вот среди всех на свете, кто прибывает все это снимать, оказывается собственноручный сын Ричарда Лэнсинга. Я не поклонник ни того ни другого, но согласись: как-то очень уж гладко все стыкуется.

— Хорошую ты придумал теорию заговора. А кто же сидел на бугре? Или ты кое о чем забыл?

— О чем же?

— О том, что Лэнсинг вышел в отставку. И что во многом он лишь более образцовая версия тебя самого. У вас обоих случился внезапный приступ

совести, как у либерала-школяра.

— Я думал, что служу своей стране.

— Нет. Ты думал, что служишь идее. Но знать не желал, как на самом деле действует страна, даже при наличии письменных инструкций.

— Пытаешься развить это в классовые дебаты, Барри? Как это социалистически с твоей стороны.

— Ничего развивать я не пытаюсь. Просто хочу лечь спать. А вместо этого вишу на телефоне не то с человеком без страны, не то с человеком без идей.

— Удивляюсь, как ты и тебе подобные могут рассуждать об идеях. Социализм — это тебе не гребаный коммунизм.

— Все равно это «изм», как ни крути. Извечная твоя проблема, Билл, в том, что ты полагаешь, будто тебя наняли думать. Или что кому-то есть дело до того, что ты думаешь.

— Многим ямайцам было не все равно.

— Да я уже был здесь на момент твоего двухнедельного визита в июне, припоминаешь? Политика ЦРУ ямайцам абсолютно побоку; они даже не улавливают разницы между ЦРУ и ФБР. Многие ямайцы посходили с ума из-за белого человека, столкнувшего их друг с другом. Тогда и

появились уличные банды из местных, хотя даже их вины в этом нет: это все махинации коварных бледнолицых. Дай мне, твою мать, вздохнуть спокойно. Ты, кстати, не разговаривал недавно с Нэнси Уэлч?

— О чем это мне с ней разговаривать?

— О чем? Да хоть о своей провинности. Мог бы обмолвиться: Нэнси, как нехорошо было с моей стороны взять и порешить в Греции твоего брата с женой.

— Постой-постой. Ты, блин, что, думаешь, это я стоял за убийством Уэлчей?

— Ты и твой отчетец. Твой дрянной романишко.

— Про него в книге не сказано ни слова, идиотина.

— Если б я его читал.

— Так, значит, ты считаешь, что это я виновен в гибели Уэлча? Я ценил тебя незаслуженно, Барри. Думал, что Контора доверяла тебе больше информации, чем та, которую ты, я вижу, получал. Должно быть, я разговариваю не с тем человеком.

— Неужели? В этом плане ты не единственный, кто судит верно.

— Луис Джонсон сейчас в Западном Кингстоне

обучает юных террористов пользоваться автоматическим оружием. Тем самым, что никогда не прибывало в кингстонский порт, так что его никто и не воровал.

— У тебя есть тому доказательства?

— Единственным человеком, что прибегал к услугам Луиса, был я в Чили. По любой другой причине он бы не появился в стране. Ни он, ни Брайан Харрис, или как там еще кличет себя нынче Оливер Пэттон. Вы, ребята, никогда не предчувствуете отдачи, пока она не шибает вам в морду. Хреновы зазнайки из «Лиги плюща», которые с людьми отродясь не работали. Еще один вопрос: за каким хером вы установили слежку еще и за Певцом? Он-то вам каким боком?

— Спокойной ночи, Билл. Или как там: *hasta macana, luego*[70] и иже с ним.

— Нет, в самом деле, что он может такого…

— Сучара, не перезванивай сюда больше!

— Что это еще за сучара тебе звонила? — спрашивает голос жены.

Я не слышал, как она вошла, и не знаю, как долго она уже здесь. Она усаживается на кушетку, за которой стою я, и сидит, не оглядываясь и ничего

---

[70] Примечания: 70
До завтра, впоследствии (*исп.*).

не говоря, но ожидая ответа. Я выдергиваю из розетки телефонный шнур и подхожу к бару, где меня ждут полбутылки «Смирнофф» и бутылка тоника.

— Выпить хочешь?

— Только что зубы почистила.

— То есть «нет».

— Судя по всему, ты хочешь продолжить со мной драчку.

Она растирает себе шею и снимает кулон. Если б на Ямайке не стояла такая жара, она никогда не подстригала бы волосы выше шеи. Ее шеи я не видел уже бог весть сколько, и меня тянет ее поцеловать. Забавно, что ей ужас как не нравится здесь находиться, и до Ямайки я ужас как боялся, что она сделается женщиной, которую я буду не переносить; такой, которая не чувствует, что ей нужно следить за собой. Не сказать, чтобы она когда-либо была непривлекательна или я когда-либо пожалел, что женился на ней, или обманывал ее как женщину, даже в Бразилии, но не так давно я прикидывал, не расстаться ли нам, просто для того, чтобы увидеть, вынудит ли ее это снова начать пользоваться помадой. Страну эту она поносит каждый день, каждую минуту и уж всяко каждые две, но тем не менее носит

приталенные рубашки, стрижет волосы под пажа, а загар у нее, как у наследницы из Флориды. Может, она с кем-нибудь трахается. Я слышал, что Певец до баб большой охотник.

— Дети спят?

— Во всяком случае, притворяются.

— Ха-ха.

Я сажусь рядом. Вот ведь что примечательно в рыжих, не так ли? Неважно, сколько вы с ними живете, но всегда испытываете удивление, когда они поворачиваются и смотрят на вас в упор.

— Ты подстриглась.

— Жара здесь невыносимая.

— Тебе идет.

— Они отрастают. Я уже стриглась две недели назад.

— Может, мне подняться наверх и укрыть их?

— Барри, на улице под тридцать.

— А и вправду.

— Хотя стоит декабрь.

— Я знаю.

— Тысяча девятьсот семьдесят шестого года, Барри.

— И это мне известно.

— Ты говорил, мы пробудем здесь с год или того меньше.

— Крошка, прошу тебя: я не могу сносить два нападения на протяжении двух минут.

— Я на тебя не нападаю. Даже наоборот, почти ничего не говорю.

— Если мы уедем…

– *Если* уедем? Барри, какого черта: с каких это пор ты стал говорить «если»?

— Извини. Когда мы уедем, ты будешь счастлива где-нибудь, кроме Вермонта? Может, мне придется уйти в отставку, и жить нам тогда на твою зарплату.

— Прикольно. Я на тебя не нападаю. Просто напоминаю, что год — это двенадцать месяцев, а сейчас как раз двенадцатый.

— Дети будут скучать по своим друзьям.

— У них здесь нет друзей. Барри?

— Да, милая.

— Не переоценивай количество вариантов, которые, по-твоему, у тебя есть.

— Ты понятия не имеешь, как мне опостылело это чертово слово.

Она не пытается переспросить, какое слово я имею в виду, предпочитая, чтобы ее фраза подвисла дамокловым мечом. Работа? Брак? Она не конкретизирует, поскольку, если б она это сделала, это смягчило бы угрозу. Что она имеет

в виду, мог бы спросить я, и тогда она (1) станет разъяснять мне как тормозному, размеренно и веско, или (2) использует его как способ навязать дискуссию. Не знаю, как она представляет себе поворот нашей жизни в дальнейшем, но меня уже притомило объяснять ей, будто я какой-нибудь телеведущий, пытающийся втюхать аудитории содержание предыдущих серий. И так из раза в раз. Еженедельно. В предыдущей серии наш прежний герой Барри Дифлорио — отважный, удалой, обаятельный и слегка подвисший — повез свою супругу в бетонные джунгли Ямайки, с миссией солнца, моря, секса и секретов. Барри Дифлорио находился на работе, а его жена…

— Прекрати.

— Прекрати *что*?

— Бубнить то, о чем ты думаешь. Ты даже этого не ловишь.

— А о чем я сейчас думаю?

— Ойййй. Мало было хлопот растить троих детей в Вермонте.

До меня не сразу доходит, что она говорит *троих*.

— Ты такая привлекательная, когда сердишься, — говорю я, предвкушая, как она сверкнет на меня взором. Только она не сверкает. Она не

смотрит на меня вообще, сидящего рядом, пытающегося ухватить ее руку. Я думаю повторить попытку, но не решаюсь.

Нина Берджесс

Мимо проехал 42-й автобус и даже не остановился — настолько, видно, спешил домой, пока не превратился обратно в тыкву. Правда, времени было еще только шесть часов. Комендантский час начинается с семи, но здесь престижный район, и вокруг нет полиции, чтобы блюсти его со всей строгостью. Не представляю, чтобы они остановили «Мерседес»: пассажиром или водителем в нем может оказаться член кабинета министров. Последним из транспорта, идущего в даунтаун, оказался мини-вэн с логотипом отеля («*Айри Айтс*» — синими, красными и золотистыми буквами). Курсировали и автобусы покрупнее, зеленые «йосы» правительства, а еще мелкие маршрутные «жучки», в которые влезаешь согнувшись и всю дорогу стоишь враскоряку. Эти держали путь в основном на Булл-Бэй, Бафф-Бэй или еще какой-нибудь «бэй» — курортные зоны, символ страны. «Айри Айтс» проехал мимо в шесть вечера. Последняя басовая нота донеслась до меня без четверти одиннадцать. Сейчас была четверть двенадцатого.

Автобусы продолжали проезжать, а я — в них

не садиться. Сделали остановку и две машины — оба промышляющие нелегальным извозом частники, и в обеих спереди двое, а сзади четверо, в их числе мужик с баксовой купюрой меж пальцами, крикнувший: «Детка, хошь, подброшу в Испанский квартал?» Мне сначала подумалось, что это одна и та же машина. Оба раза я отходила на несколько шагов и смотрела мимо на дорогу — по времени ровно столько, чтобы машина отъехала, — после чего возвращалась обратно.

Вот оно, свершилось: я тронулась умом. Яркий признак двинутости — ждать за воротами в надежде, что какой-то мужчина вспомнит про то, что у него был с тобой секс и что ты запомнилась ему больше всех женщин, с которыми он занимался сексом (может, даже в эту самую минуту). И что если он запомнил этот секс, то может, задействует свои рычаги, чтобы вывезти мою семью из этой страны, да еще и желательно оплатит этот вывоз. Хотя все это представлялось куда более осмысленным в семь утра, после того как я увидела своего отца, который бодрился, будто он моложе, чем есть на самом деле, во избежание чувства, что старей его нет на свете. Может, мою мать тоже не насиловали, а просто побили или воткнули ей между ног какой-нибудь предмет,

заставив отца на это смотреть. Сказали ей: «Нет, калоша, для траханья ты слишком стара, скоро тебе к святым угодникам — может, кто-нибудь из них на тебя позарится». А может, все это от того, что скоро полночь, а я торчу дура дурой на своих дебильных высоких каблуках, и мои ноги доканывают меня, потому что я весь день приканчивала их. И все, что я могу, это слушать и слышать, как ум у меня становится набекрень. Этот гад хоть бы раз вышел — *вообще* ни разу. А может, я ошибаюсь? Может, я ему запомнилась так неизгладимо, что он, увидев меня из окна, дал указание эту девицу не впускать. Была ли я подстилкой неважнецкой или, наоборот, слишком хорошей, но что-то во мне внушило ему: «Парень, оставайся-ка лучше внутри и не связывайся с этой, как ее, Ниной Берджесс». Может, он даже запомнил меня по имени. А может, нет. Каблуки мои и ступни припорошены пылью.

К третьему часу ночи боль от ступней перешла в голени, затем в колени — ощущение отрадное хотя бы тем, что боль разделяется по частям. На какое-то время теряешь всякое ощущение боли, пока до тебя не доходит — примерно через час, — что это ощущение никуда не девается. Оно просто распространилось, и теперь саднит

все твое тело. Может, я и не безумная, а просто оторва. Наверное, это поняли две женщины, прошедшие мимо с час назад. Я их увидела еще бог знает за сколько — может, за милю — вверх по дороге, когда они были еще лишь светлыми движущимися пятнышками; а вот они уже шли в каких-то двадцати футах от меня, две темнокожих женщины в белых церковных платьях и головных уборах.

— Истинно тебе говорю, Мэвис: нет такого оружия, которое преуспело бы против Господа нашего Иисуса Христа, — говорила та из них, что слева.

Завидев меня, обе они одновременно притихли. Они еще даже не дождались, пока пройдут мимо, когда одна из них стала что-то нашептывать другой. Было десять вечера. И я знала, о чем они шепчутся.

— Я за двадцатку трахаюсь с вашими мужиками, — говорю я. Они ускоряют шаг, спеша настолько, что левая запинается и чуть не падает.

После этого мимо меня никто не проходил. Хоуп-роуд не сказать, чтобы погрузилась в сон. Позади меня апартменты, впереди его дом — везде горят огни. Люди не засыпают, они просто

отсекают себя от дороги. Как будто весь город поворачивается к тебе спиной, вроде тех церковниц. Я представляю, что я шлюха, прыгающая в последний «вольвеныш» или «мерс», который едет вверх по Хоуп-роуд, скажем, в Айриштаун. Бизнесмен или дипломат, что живет в Нью-Кингстоне, сможет меня отделать, потому что это сойдет ему с рук. Если вот так стоять под оранжевым светом фонарей и задрать себе юбку так, чтобы засветилась мохнатка, то кто-нибудь наверняка остановится. Мне хочется есть, а еще по-маленькому. Свет наверху в его комнате только что погас. Тем вечером, когда меня привела туда Кимми и ушла, спать с ним я не планировала. Я хотела видеть его обнаженным, но не так. Я слышала, что по утрам он поднимается в пять, едет в Булл-Бэй и купается в водопаде. В этом было что-то святое и вместе с тем сексуальное. Я представляла, как он выходит из-под струй водопада обнаженный, поскольку час еще ранний. Представляла, что эти струи — самая печальная вещь на свете, потому что рано или поздно им суждено соскользнуть с его тела. А когда увидела, как он, обнаженный, стоит на балконе и ест фрукт, то подумала, что печалится и луна, зная, что он скоро уйдет с балкона в дом. Мысль лишь

распаляет воображение. Я не думала. Мысль удержала бы меня от того, чтобы выйти к нему на балкон. Не дала бы раздеться: вдруг бы он, обнаженный, завидев меня, одетую, смутился. Как будто б у него во всем теле была хоть клеточка застенчивости. Он сказал «*я тебя помню*», что, возможно, было правдой. Женщинам, похоже, льстит, когда их помнят. Или, может, он просто знает, как заставить женщину почувствовать, что по ней будто бы скучали.

После того как музыка прекратилась, кое-кто отправился из дома на выход. Впервые за все время открылись ворота. Выехала пара машин, один джип, но не его пикап. Получается, он по-прежнему находился внутри, а с ним и половина его ансамбля. Хотелось сейчас скинуть туфли, рвануть со всех ног так, чтобы секьюрити не успели меня поймать, пока я не окажусь внутри. Затем меня, конечно, схватят, но увидят, что я «шоколадка», и выпустят, а я выкрикну его имя, и он сойдет вниз. Но я так и осталась по эту сторону дороги, под светом фонарей у остановки. Только что погас свет в комнате справа. Мой отец все продолжает твердить, что никто не прогонит его из его страны. А за несколько месяцев до нападения он, помнится, усадил меня на кухне и

зачитал мне статью из «Глинера». Я тогда зашла попроведать родителей и не думала задерживаться надолго, но отец меня не отпустил. Дать прочесть мне статью самостоятельно он не дал, а хотел, чтобы она исходила как бы от него. Статья называлась «Если он потерпит крах». Он, то есть премьер-министр. «Папа, она же еще январская, — сказала я отцу. — И ты все это время за это старье цепляешься?» Мать тогда сказала, что он перечитывает ее каждую неделю. Получается, до этого дня уже сорок семь раз. Гаснет свет в нижней комнате слева. Вовсю идет комендантский час, и мне здесь находиться не положено. Если рядом остановится полицейская машина, сказать будет нечего. Никаких объяснений, зачем я здесь стою.

Когда он читал мне ту статью, дома была Кимми. Для нее она звучала уже повторно, и сестра не собиралась сидеть и выслушивать всю эту фигню о заговорах ЦРУ. Во всяком случае, если чтение не будет сопровождаться ее цыканьем, зевками и досадливыми стонами, как будто она шестилетка, которой приходится пережидать с предками церковную службу. «Все это чисто тупо пропаганда ЛПЯ, — сказала она, не успел отец дочитать. — Пропаганда правых и полный

отстой. Как мог такое написать председатель ЛПЯ — он что, журналист? Это все обыкновенный политпроп и пустой треп. Кто в это поверит — всеобщее бесплатное образование, включая высшее! Равные права для женщин! А вот это вы видали? А насчет всех этих бокситных компаний, которые по крайней мере положат нам зарплату, прежде чем иметь нас по полной программе?» Мать сверкнула на нее своим характерным взглядом: «Я разве *так* вас воспитывала?»

Лично же я втайне была счастлива, что Кимми не заявилась сюда с Расом Трентом, басистом из «Африкэн хербсмен», больше известным как сын министра туризма. Мать называла его «ухажер», а их с Кимми — «пара, петух да гагара», хотя сам он в глаза именовал Кимми «Принцессой Вавилонской своей расы». Несмотря на то что ухажер был министерским сыном, ему исполнилось тридцать, прежде чем ему наконец дозволили посещать все комнаты в четырех домах его папаши. Но Кимми нуждалась в своем ухажере, который мог в ее глазах крушить идолища, воздвигнутые отцом, а она, в свою очередь, — водружать ухажера на божницу как своего нового папика (как я однажды сказала, «Че Гевара мертв»). Мама, которая никогда не встает в споре ни на чью сто-

рону и уж тем более не озвучивает этого вслух, сказала, что подумывает, а не обзавестись ли нам национальной гвардией? Это ведь сказал сам премьер-министр: учитывая взметнувшийся уровень преступности, бремя обеспечения безопасности народу придется взвалить на свои плечи. Мы трое — отец, сестра и я — никогда ни в чем меж собой не сходимся, но тут мы дружно уставились на мать, как на сумасшедшую (собственно, это и были ее слова: «Что вы все воззрились на меня как на умалишенную?»). Отец вознегодовал, что ни за что не отдаст свою страну под надзор тонтон-макутов.

Он спросил, что думаю я. Кимми глянула на меня так, будто вся наша дружба теперь зависит от того, что сорвется с моих губ. Когда же я сказала, что не думаю ничего, они оба разочаровались. Я предпочитаю помнить, а не думать. Если я думаю, то рано или поздно начинаю задавать себе вопросы вроде тех, зачем я с ним переспала и почему убежала, когда это закончилось, или почему я сейчас здесь и почему простояла тут весь день. И какой вывод можно сделать из того, что я могу весь день проводить за ничегонеделанием. Не значит ли это, что я одна из так называемых «никчемных», то есть тех девушек, которые не

служат никакой гребаной цели?

Суть стояния здесь весь день, самая пугающая ее часть, в том, насколько это легко. Мама у меня напевает: «*Надо жить одним днем, о мой милый Иисус*», и даже папа на это усмехается: «Жить одним днем… Вот это, я понимаю, жизненная стратегия!» И все-таки самый необременительный способ укрываться от жизни — это воспринимать жизнь именно так, одним днем. Именно так я открыла, что можно вообще ничего особо и не делать. Если, скажем, разбивать день на четверти, а четверти на часы, на получасы, затем минуты, то можно любой отрезок времени размельчать до размеров одного жевка. Это все равно что справляться с утратой. Если ты смог продержаться одну минуту, то, значит, можешь проглотить и еще две, а затем пять, и еще пять, и так далее. Если я не хочу думать о своей жизни, то мне не нужно думать о жизни вообще — и просто пробыть так с минуту, затем две, затем пять, затем еще пять, и вот не успеешь опомниться, как прошел уже месяц, а ты того и не замечаешь, потому что считаешь только минуты. Я стою напротив его дома, считая минуты и даже не сознавая, что мимо меня проплыл целехонький день. Вот так взял и удрал. Только что снова за-

жегся свет в крайней левой комнате сверху.

То, что мне следовало сказать — и я *хотела* это сделать, — это что меня волнует не преступность. В смысле, она волнует меня тоже, так же как и всех. Так же как инфляция: я ее не ощущаю физически, но знаю, что она задевает меня. Так и с преступностью: это не сама она заставляет меня хотеть уехать, а возможность того, что она может задеть меня в любой момент, с минуты на минуту, даже в следующую секунду. Может, она меня вообще не затронет, но я все равно буду думать, что она накинется на меня в любую секунду, и так все следующие десять лет. Пусть этого никогда и не произойдет, но я-то все равно буду ее ждать, а ожидание это так же непереносимо, потому что на Ямайке тебе не остается ничего, кроме ожидания чего-то, что с тобой произойдет. Это же можно отнести и ко всему хорошему — в той части, что оно никогда не настает. Тебе его остается только ждать.

Ожидание. Этот гад даже не вышел на свою веранду. Ну а если и вышел бы, прямо сейчас, то что? Не знаю даже, смогла бы я двинуться. А тем более перебежать через улицу и крикнуть ему от ворот. Мои грязные ноги подсказывают, что я жду уже так долго, что теперь только и остается,

что ждать. Единственный раз, когда я не ждала, это когда увидела его на заднем балконе. После этого я тоже не ждала. Думала сказать об этом Кимми. Она бы от меня этого не ожидала. Вот почему мне хотелось сказать ей, что мне удалось приблизиться к Че Геваре так, как вряд ли когда-либо удавалось ей, Принцессе Вавилонской.

Через дорогу, хотя и в полусотне футов от ворот, подъезжает и притормаживает машина. Белый спортивный автомобиль (я даже не заметила, как он подъехал). С моей стороны от какой-то стены отошел человек (я его тоже не замечала) и подошел к машине. Я прижала к себе сумочку, хотя он уже сел в машину. Не знаю, как долго он там находился, стоя у стены в темноте всего в нескольких футах от меня, и наблюдал. Я его не замечала и даже не слышала; он мог там находиться несколько часов и все это время смотреть, в том числе и за мной. Белый автомобиль повернул на дорожку к дому Певца и остановился у ворот. Я досконально уверена, что это «Датсун». Вышел наружу водитель — нельзя сказать, белый или темнокожий — в белом свитере. Он подошел к створке ворот — видимо, затем, чтобы поговорить с секьюрити. Когда он повернулся, чтобы идти обратно к машине, глаза его стеклянно блес-

нули. Очки. Я смотрю, как отъезжает машина.

Нет, все-таки нужно валить — не с Ямайки даже, а с этого места, причем немедленно. Дом на меня не смотрит, но смотрят тени, вверх и вниз по дороге, подвижные, как люди. Может быть, это мужчины. Их облик меняется, когда часы бьют одиннадцать, а где-то поблизости находится беззащитная женщина. Часть меня думает, что это все чушь и что я сама выискиваю источник для боязни. Учительница в старших классах в свое время предупреждала нас не рядиться в шлюх и все время страшиться изнасилования. А мы, помнится, левой рукой грифелем накорябали ей однажды записку и сунули в ящик стола. Записка провалялась там несколько месяцев, пока учительница случайно на нее не наткнулась. «*Как будто слепой тоже бросится кидать свою палчонку*…» — прочла она и осеклась, поняв, что читает вслух.

Бежать — понятие относительное. На высоких каблуках можно просто семенить, едва сгибая колени. Не знаю, как долго уже семеню я, но только слышу, как цокают мои туфли, а в голове клубятся смешливые мысли о том, какая я, наверное, дура и веду себя сейчас точь-в-точь как Крошка Вилли Винки из детских стишков:

Крошка Вилли Винки
Ходит и глядит:
Кто не снял ботинки,
Кто ещё не спит?

Стукнет вдруг в окошко
Или дунет в щель, —
Вилли Винки крошка
Лечь велит в постель.

Где ты, Вилли Винки?
Влезь-ка к нам в окно…[71]

Бли-ин! Надо же. Сломала, чтоб его, каблук. А ведь туфли не дешевка, куплены в приличном магазине. Ж-ж-ж…

— Эт-то хто в такой час на нас бежит? Шоколадненькая даппи?

— Точно, да какая… Я б такой шоколадкой сам полакомился.

— Откуда вы к нам, деушка, вы там случайно преступления не совершили?

— Может, она с собой стволяку притырила?

Полиция. Гребаные фараоны со своими гребаными фараоновскими голосами. Я, оказывается,

---

[71] Примечания: 71
Пер. И. Токмаковой.

добежала аж до пересечения с Ватерлоо-роуд. Слева, как дом с привидениями, маячит Девонхаус. Светофор только что сменился на зеленый, но дорогу перегородили три полицейских машины. На машины лениво облокотились шестеро полисменов — у одних штаны с красным кантом, у других с синим.

— Уау, леди. А вы в курсе, что сейчас комендантский час?

— Я… Мне… Работала допоздна, офицер, счет времени потеряла.

— Вы не только времени счет потеряли. А у вас там чего — одна нога длинней другой или каблучок отлетел?

— Что? Ах, чтоб его… Извините, офицер.

— Ха-ха-ха!

Все ржут. Фараоны, своими погаными фараоновскими голосами.

— А вы там видели хоть один автобус иль такси? Как вы домой-то попасть собирались?

— Я… я…

— Или вы пешком хотели дойти?

— Н-не знаю.

— Мисс, садитесь-ка в машину.

— Да я дойду.

Хочется сказать, чтобы они хоть речевые обо-

роты подучили, но еще сочтут, что им грубят.

— Тах хде ваш дом, в соседнем квартале?

— В Хэйвендейле.

— Ха-ха-ха!

Фараоны, и смех у них фараоновский.

— Так туда до утра ничего не ходит. Вы пешком, что ль, хотели дойти?

— Ну а как еще.

— На одном каблуке?

— А что?

— В комендантский-то час? Вы чё, не знаете, какое в этот час дерьмо на улицу повылазило? Порядочным словом не назовешь. Или назвать?

— Да я просто…

— Короче. Ты просто идиотка или чё? Надо было на работе заночевать, пока автобусы ходить начнут. Садись в машину.

— Да мне надо…

— Марш, говорю, в машину, драть тебя некому. Оформляем правонарушение. Ты или домой попадаешь, или в каталажку.

Я сажусь в машину. Вперед усаживаются двое полисменов, а еще две машины с четырьмя фараонами остаются. На светофоре поворот направо ведет в Хэйвендейл.

Они поворачивают налево.

— Так короче, — говорят фараоны в один голос.

Демус

Это дом у моря. В нем только одна комната, и это даже не дом, но в нем в свое время жили. Человек, который закрывал дорогу, чтобы прошел поезд. По имени я его не знаю; знаю только, что в семьдесят втором году он умер, а вместо него никто не поступил. Поезд перестал ходить, когда Западный Кингстон превратился в Дикий Запад, а каждый человек в нем — в ковбоя. Я хотел стать Джимом Вестом, но у него штаны слишком уж в обтяжку[72].

Телик в посудном магазине черно-белый, но я думаю, что те штаны на нем голубенькие, как у девок. Этот дом с одной комнатой, и человек, который здесь жил, спал на куске поролона, а нужду справлял в ведро, из которого все сливал в море. По имени его никто не помнит. Когда его тело нашли, кожу и мясо ему посмывало водой, но еще не до скелета. У этого дома два окна. Одно смотрит на море, одно — на рельсы. Когда перестал ходить поезд, люди в гетто пробовали растащить

[72] Примечания: 72

«Дикий, дикий Запад»– популярный американский телесериал 1960-х гг., главного героя в котором зовут Джим Вест.

рельсы со шпалами, но не было оснастки, чтобы ворочать тяжести.

Комната в доме имеет цвет. Она раскрашена в пять цветов, все не до конца и налезают друг на дружку. От пола до низа окна красный. От низа окна до потолка зеленый. Вторая стена синяя, но краски до угла не хватило. Там начинается розовый и покрывает третью стену. На четвертой зеленый, что снизу стены, обрывается посередке и как бы зазубрен, как будто человек мучился и пыжился, чтоб растянуть краску на подольше. Нелегко, должно быть, тому человеку было стареть без женщины. Про свой член он, наверное, вспоминал только при ссанье и, отливая, печалился. А может, баловался с ним, как извращенец какой. В комнате есть один стул, красный, с изящными ножками. «Изящный» — слово из стиха, который мы учили в школе.

Череда – изящны стебли,
Золотистые цветы.
Росным бисером одета,
Словно в дреме млеешь ты[73].

[73] Примечания: 73

«Череда» — стихотворение К. Маккея (1890–1948), американского писателя ямайского происхождения.

Вот первая ошибка, которую совершил Бог. Время. Он создал его по глупости. Время — та штука, которая даже у него истекла. А вот я вне времени. Я живу «теперь», оно же «сейчас», а с ним почти ноздря в ноздрю идет «затем». «Затем», оно же «скоро», а с ним почти равняется «если». В дом приходят двое, и семь переходит в девять. Один из Ремы, двое из Тренчтауна, трое из Копенгагена. Такой вот список тех, кто в комнате.

Джоси Уэйлс, также известный как Франклин Алоизий, а еще как Ба-бай, только что привел с собой Бам-Бама, который любит держать ствол, но не знает, куда стрелять.

Ревун — киллер фараонов, который рулит Вавилоном. Когда он говорит как ямаец, голос у него сиплый и злобный. А когда как белый, то будто читает книгу с большими словами. В Ревуне есть нечто, о чем никто, кто хочет жить, не заговаривает.

Хекль — он раньше ходил на пару с Джеклем, пока пуля нацпатриотов не перевела Джекля из «есть» в «был».

Рентон из Тренчтауна.

Матик, он тоже из Тренчтауна.

Цыпа — его колбасит от героиновой ломки, пока его не подлечишь коксом.

Двое из Джунглей — один толстый, другой тощий, я его не знаю. Тощий вроде как и не парень, и даже не реальный пацан: рубаха сверху расстегнута, а волосы на груди не растут.

И я.

И вот из десяти стало девять. Три ночи назад. Матик из Тренчтауна попробовал зажечь кокс, как ему показывал Ревун, но забыл как, а Ревуна здесь не было. Ночь стояла безлунная, а мы без фонарика, чтобы с ним добраться и убраться из дома. Матик думал, что умеет делать фрибейс и что ложка кокса есть ложка кокса и сама собой все сделает. Он думал, что кокс где-нибудь оставил Ревун, и давай искать его по полу, по углам, внутри двух шкафов у окна и в печурке около двери. Шарил как помешанный, ну и другие парни тоже стали шарить: кокс, мол, всегда вызывает зуд, хотя не он его вызывает, а герыч. Матик нашел что-то белое, а когда кто-то придвинулся — мол, поделись, — вытащил ствол: только, мол, сунься. Зажигалкой он стал плавить порошок. Он помнил, что кокс нужно нагреть в воде и добавить соды, которая нашлась в шкафу. Улыбался, как бывалый, а остальные глядели на него голодными тиграми. Но Матик забыл про остальное. Забыл про еще одну жидкость, кото-

рую подмешивает Ревун, — эфир. Также он сдуру решил, что у Ревуна в доме закуркована нычка. Порошок все не горел и не плавился — какой был, такой и есть. Дыма, чтобы курить и нюхать, от него не шло. И тогда он его лизнул, всей пастью. Лизнул раскаленную, как огонь, ложку, да так, что было слышно, как язык зашкворчал. Фрибейс торкает резко на счете «восемь». Семь. Шесть. Пять. Четыре. Три. Два. Один… Ни хрена. И тут Матик грохается плашмя прямо на морду — бам-м! — и изо рта начинает идти пена. Никто к нему не притрагивается, а потом появляется Ревун и ну ржать: вот, мол, умора. Ржет и спрашивает — вы, мол, что, всерьез думали, что в грязной вонючей халупе не водятся крысы?

Так из девяти человек становится восемь. А прошлой ночью Джоси Уэйлс рассказал, что нам надо будет делать. Рентон из Тренчтауна возразил, что заделал крутой песняк и не будет вынимать ствол, как тот парень из «Хептонов», что мается в тюряге после того, как один белый вставил его песню в фильм. Он сказал, что мать его ребенка ходила к Певцу в студию и ей там дали денег и на ребенка, и на нее саму, и на всю ее семью. И что он знает: она одна из сотни с лишним человек, которые получают от Певца помощь, и что будет,

если она прекратится? Джоси Уэйлс сказал, что от той помощи не лучше, а только хуже, потому что Певец, с тех пор как разбогател, только раздает беднякам для еды рыбу, потому как не хочет, чтобы они научились ловить ее сами. Кто-то из нас ловит в этом резон, но только не Рентон из Тренчтауна. Ревун вынимает пистоль, чтобы гада прямо тут же и порешить. Джоси Уэйлс говорит: «Постой, бро, давай лучше дослушаем, что он тут втирает». А потом: «Существует цепь основных элементов». Мы не догоняем, о чем он, а он нам: «Рассмотрим формулу кинетической энергии $E_k =$, где m — масса, а v — скорость. Она представляет собой последовательность. Рыскание. Деформация. Фрагментация. Кровотечение. Олигемический шок. Обескровливание. Гипоксия. Пневмоторакс, отказ сердца и поражение мозга». *Кх-х*! Череп Рентона препятствует пуле, но кровь все равно фонтаном хлыщет Ревуну на грудь, и на пол валится тело. «А вот кому майку “Старски и Хатч”!» — кричит Ревун и стряхивает с себя ошметки мозгов. А Джоси Уэйлс прячет пистоль обратно в кобуру и как ни в чем не бывало продолжает: «Вот как белые учили меня заряжать «M16A1», «M16A2» и «M16A4».

Дуло винтовки смотрит в безопасном направ-

лении.

Затвор открываем при взведенном курке.

Рукоятка заряжания в переднем положении.

Ставим на предохранитель.

Проверяем, пуст ли патронник.

Вставляем магазин, толкая его вверх, пока защелки его не зафиксируют.

Нижнюю часть магазина нажимаем вверх, убедиться, что он сидит плотно.

Нажимаем на верхнюю часть фиксатора затвора, чтобы его высвободить.

Толкаем доводчик затвора, убедиться, что затвор в максимально переднем положении и замкнут.

С предохранителя можно снять: оружие готово к бою».

Вот что ты имеешь, когда с тобой люди из Джунглей. Они рвут душу по коксу и благодаря Ревуну получают фрибейс. Джоси Уэйлс уходит, но предупреждает: тот, кто захочет соскочить и уйти, получит пулю, и мы помним, что он в свое время звался Ба-бай[74]. Когда они с Ревуном закрывают снаружи дверь, слышно, как в ней щелкает замок. Дом становится тесней и душней,

---

[74] Примечания: 74

От *англ.* bye-bye — до свидания.

и я думаю об охраннике, которого собираюсь убить. О фараоне.

Семь человек. Двадцать один ствол. Восемьсот сорок патронов. Я думаю только об одном и том же человеке, и это не Певец. Представляю, как он прижимается к стене и высоким голосом по-девичьи вопит. Вижу, как он, задыхаясь, с мукой в голосе хнычет: «Это не я. Тот, за кем вы пришли, внизу», — потому что он, должно быть, такой вот пидор гнойный. Думаю о человеке, который обманывает и крутит-мутит, но запас удачи у него в конце концов иссякает. Я смотрю на него и говорю: «Вот так выглядит смерть, которая сейчас тебя постигнет».

Сэр Артур Джордж Дженнингс

Вот оно, время исхода, время умирания. Через три недели пойдет на спад уставший год. Изойдет все: пора влажного жаркого лета, тридцать шесть градусов в тени, майские и октябрьские ливни, от которых вздуваются реки; павший скот и растущие очаги заболеваний. Мужчины, жирующие на свинине, и мальчики с животами, разбухшими от гнилостных газов. Четырнадцать человек пропадает на поросших кустарником пустошах, а тела взрываются от пуль — четыре, пять, шесть. Многим, многим уготовано пострадать. Многих и многих ждет смерть. Эти слова я украл у одного живущего, с которым смерть ходит уже бок о бок, постепенно снедая от самых пяток.

Я опускаю взгляд на свои руки и вижу мою историю. Отель на южном побережье; будущность, которую суждено вкусить моей стране. Блуждая во сне, они поведали мне, когда нашли, и таким образом выстроили картину по косвенным знакам моих рук, вытянутых вперед и застылых, как у чудовища Франкенштейна; по моим закрытым глазам и ногам моим, печатающим строевой шаг через стойку перил, — ать-два. Меня нашли

голым, с глазами начеку, но уже слепыми и умолкшими; со скрюченной под углом шеей и расплющенным затылком, а также членом по стойке «смирно» (на него и обратили первым делом внимание служащие отеля). В крови моей скрыто кипела грязь похоти.

Есть в смерти вещи, которые мертвые предпочитают не разглашать: ее вульгарность. У порога кончины она меняет вас, ввергая в узилище, где тело стыдится себя. Смерть заставляет вас муторно, до рвоты кашлять, мочиться и испражняться под себя, смердеть вашими нутряными недужными испарениями. Тело мое изгнивает, но ногти по-прежнему растут, обращаясь в когти, в то время как сам я смотрю, вижу и жду.

Я слышал, как один богач в Америке — человек с деньгами и облеченный властью, заставлявшей сгибаться при виде одной лишь его подписи, — умер, входя в женщину, которая не была ему женой. Огромный и гладкий, как морж, он едва не раздавил ее своей убойной массой — человек, через восемнадцать часов сожженный своей женой, которая не могла перенести запаха другой женщины на его теле.

Я и сам входил тогда к женщине, чье имя не могу припомнить, но она остановила меня за

этим занятием, посетовав на жажду. «Но вот же вино». — «А льда ты можешь принести?» — «Кто же кладет в вино лед?» — «Я. И я же сумею удивить тебя еще кое-чем, если только ты достанешь мне лед». Я выбежал хихикая, голый — все это в пять утра. На цыпочках по коридору, как Крошка Вилли Винки. У мертвых есть свой запах, но он же есть и у убийц. Перед тем как я полетел через перила, в ноздри мне пахнуло лимонником и влажным дерном, и уж затем был оглушительный хряст о полы, чистые, как зеркала.

Я в доме человека, который убил меня. Своего запаха на его руках я нисколько не улавливал — так, просто лежалый душок смерти. Не смрад, а скорее память о нем — железисто-ржавая привонь крови старого убийства; сладковатая гнильца приманки в виде тела, пять дней как мертвого. В мире живых он теперь зрелый человек, не ведающий, что пахнет, как запнувшийся о чей-то чужой кошелек воришка (примерно такой же запах исходит от дорогих костюмов с чужого плеча). Вот только костюма на нем нет. Когда меня нашли, я был гол, а он гол сейчас, когда его застиг я. Живот у него заметно покруглел, а по спине в те моменты, как он ритмично наддает тазом, пробегает жирная рябь, как у секача во

время случки (краску для волос ему не мешало бы подновить). Свою партнершу он наяривает с потным шлепаньем — шлеп, шлеп, шлеп. И утробно рычит над ней, призершей конкурса красоты, которую он взял в жены. На постели, как говорят комментаторы, следы «борьбы по всей площадке». Она напоминает белый водоворот — такая же всклокоченная. Видя, что муж не останавливается, жена-призерша постукивает ему по плечу. Его голова наклонена к подушке, а ее вжата в матрас. Чувствуя, что из-под него не вырваться, жена снова бьет его ладонью, как проигрывающий борец на ковре. Но в ответ лишь сдавленный хрюк. «*Не хватало мне еще забеременеть, скотина!*» — теряя терпение, кричит она и лупит его уже не на шутку, кулаком. Он, колыхаясь телом, сжимает ягодицы в сладком спазме и выдыхает на всю комнату. «Пусть ямайцы знают: у вождей не сгибается!» — победно ревет он, и я впервые за годы слышу его голос. Хотя за годы ли? Я ошеломлен: он ничуть не изменился, этот голос; все с таким же аборигенским акцентом, хотя этот человек, видимо, и работает над собой. Чувствуется, я нагрянул не к месту; возможно, то же самое чувствует и призерша, некстати очутившаяся под своим неутомимым супругом. В

конкурсе «Мисс Ямайка» она заняла лишь второе место, и это был компромисс для обоих: ему не досталась сама Мисс, а ей пришлось удовольствоваться мужем-полукровкой. Ее отец хотел, чтобы она вышла замуж за полностью белого. «Пусть я буду дристать всухую, — запальчиво восклицал он, — но добьюсь, чтобы моя дочь захомутала какого-нибудь сирийца с ливанской галантереей!»

Имя женщины, в которую входил, я не помню. Я ее ни разу не видел, да и где ее искать, не знаю. Быть может, то была любовь — но духам свойственно являться туда, куда их влечет неотвязное стремление, а у меня стремления нет. Получается, то ли не было любви, то ли сам я не дух. Или же мое влечение направлено не к ней. Кто просит льда в вино? Знала ли она, что меня за дверью поджидал он? Кто-то обидно назвал меня «краб-поломыш хер антенной». Нет, не персонал отеля: им такое слово, как «поломыш», незнакомо. Может, кто-нибудь, уже празднующий мой уход? Память о его лице у меня не сохранилась.

Призерша выбирается из-под мужа, сердито шипя: «*Хорошо хоть я про губку не забыла*» — «Ты… чё… не знаешь? — шумно пыхтит он. — Контрацептивы — это заговор, чтобы искоренить людей с темной кожей!» — и хохочет. Затем перека-

тывается с живота на спину и спешит вручную докончить пьесу страсти. Я не прочь скользнуть внутрь него, чтобы слиться и успеть ухватить толику его ощущений, но уже у изножия кровати нюхом чую сотню с лишним мертвецов. Тут где-то в соседней комнате падает, кажется, стакан, отчего супруги чутко вздрагивают. У жены ночнушка задрана над грудями, и она ее одергивает. «Драть бы этого кошака и тебя вместе с ним!» — ворчит муж и встает. Я смотрю, как живот у него постепенно успокаивается, перестают раздуваться щеки (волосы, гляди-ка, даже от секса не взъерошились — пригнаны плотно, как у Железного Дровосека). При виде этого человека во мне возникает смутное томление по жизни, ее шумному суматошному биению.

Мебель для спальни наверняка подобрана женой — шишечки, изгибы, резьба в виде листьев. С потолка свисает противомоскитная сетка. В углу прячется телевизор; открыта дверь в ванную, но в дверном проходе свет не включен. Он всегда считал людей с чувством эстетизма и красоты извращенцами. Я помню, как он, уезжая, сказал это об одном из членов партии. Эту его неприязнь я никогда не разделял; так, я каждый год виделся

с Ноэлом Кауардом[75] и даже звал его дядюшкой. Его и его спутника.

Человек, который убил меня, тянется за пистолетом, готовно лежащим на прикроватном столике. При этом штаны его так и валяются на полу. Жена-призерша указывает на них, но он отшучивается: «Да ну, незачем. Вдруг там свободная мохнатка ждет?» — и идет в соседнюю комнату. Мне хочется задержаться здесь, с женщиной, — любопытно вкусить толику ее умиротворенности после любовной утехи, — но я отправляюсь следом.

В гостиной находится человек, которого я не припоминаю. Гостиная на нюх — просто кладбище, от которого несет мертвечиной. Этим духом отчасти веет и от новоявленного гостя. Он то ли негроид, то ли азиат; толком не разобрать, из-за изменчивой тени одно перемежается другим. Я уже чувствую от него запашок умерщвления. Гость кашляет в стакан и говорит:

— Ой. Я думал, тут вода.

— Ты что, не знаешь, как выглядит бутылка белого рома? Или читать разучился? Не видишь, что написано на этикетке?

---

[75] Примечания: 75

Ноэл Кауард (1899–1973) — английский драматург, актер и режиссер, известный в т. ч. гомосексуальными наклонностями; умер на Ямайке.

— Гм. Обычно я сначала нюхаю. А тут сначала глотнул.

— Я говорю, не глотать, а читать. Чи-тать!

— О, ёпт… И слышу как-то хреновато. Всё, знаешь, из-за этого *пум-пум*: уши как ватой заложены.

— Как такое, бомбоклат, можно спутать с водой?

— Да бог его знает. Если в такой красивой бутылке вода, значит, дом и вправду зажиточный. Богато, брат, у вас тут. Где только люди бабки берут на такую красоту? Даже как-то нескромно.

— Ты ждешь от меня скромности в моем собственном доме? Или видишь что-то такое, чего в жизни своей не видел?

— Вот так все богатенькие и кудахчут.

— А бедненькие пускай в колонке помоются. Ты мне тут что, за классовое сознание пришел втирать? Как ты, бомбоклат, в дом мой проник?

— Молча, через дверь.

— Как ты…

— Заладил: как да как. Не надоело? Зачем столько вопросов?

— Насчет «как» это дай *я* тебе скажу. Почему ты в моем доме… ну-ка… в три часа ночи? Тебе сколько раз говорено, чтобы нас вместе на публи-

ке никто не видел?

— Никогда не догадывался, что твоя спальня на публике. Как там красава? Судя по звуку, совсем недавно она все делала ништяково. *Реально* ништяково.

— Слушай, чего тебе надо?

— Ты не знаешь, какой сегодня день?

— Чё-ё? День?.. Хм. С утра был вроде как декабрь, третье число. То самое, что идет за вторым.

— Вот. И хватит с этими твоими манерами. Ты бы лучше вдумался, с кем разговариваешь.

— Нет, это *ты*, бомбоклат, лучше помни, с кем разговариваешь! Влезает ко мне в дом, как какая-нибудь помоечная крыса… Тебе повезло, что ты нынче в отгуле, иначе твоя шкура была б уже с дырой, понял? От пули.

— Ну так, значит, я молодец.

— Всё. Я иду спать. Уходи так же, как пришел.

— Я вот тут думал…

— Ты, часом, не ударился?

— Чего?

— Думал он.

— Мне тут, гм, деньги нужны.

— Ах, деньги ему нужны!

— Послезавтра.

— Завтра уже сегодня.

— Да нет, можно чуть погодя.

— Я уже сказал: не знаю, что за бред ты несешь. Я не в курсе, никого не уполномочивал, и вообще я знаю тебя мало. Папа Ло единственный оттуда, с кем я контактирую.

— Вот как? Теперь это уже *оттуда? Так* ты это называешь? Арти Дженнингс никогда в таком тоне не разговаривал.

— Стало быть, вы с Артуром соловьями щебетали? Вообще-то, насколько мне известно из достоверных источников, он свое уже отчирикал.

В комнату заглядывает обернутая простыней призерша:

— Питер, что здесь за шум? И что за… О боже!

— О гос-споди, женщина, перестань вопить и иди спать! Не каждый ниггер обязательно вор.

— Ну, как раз здесь твоя жена кое в чем права.

— Питер?

— В койку, я сказал!

— Ого, как хлопнула… Мне кажется, дом содрогнулся. Даже уши малость прочистились: *пум-пума* не слышно.

— Ты небось с женщинами обращаться учился в том же месте, где стрелять? Дверью она хлопнула затем, чтобы мы не думали, что она подслушива-

ет с той стороны. Усвоил или повторить? *Дверью. Она. Хлопнула. Затем. Чтобы мы. Не думали. Что она. Подслушивает. С той. Стороны*. Короче, ушла.

— Ну ты и ёб…

— Рот заткни.

— Взаимозачеты у нас пересматриваются по сегодняшнему числу. Теперь этого уже не изменить, даже если б ты захотел это…

— Я уже сказал: понятия не имею, о чем ты. И, конечно же, не понимаю, о какой такой нужде в деньгах ты ведешь речь, когда этот же Джоси Уэйлс всего две недели назад летал в Майами. Но знаешь, почему я знаю, что в этих сраных деньгах ты не нуждаешься? Потому что ты летаешь всего на один день. Вернулся ты, кажется, семичасовым рейсом?

— Да это я так, по одному мелкому дельцу.

— Мелочей у тебя не бывает. Или еще одна твоя поездочка, на Багамы… Каждый, у кого в той стране есть бизнес, имеет свои секреты.

— Певец заигрывает разом и с Папой Ло, и с Шотта Шерифом.

— Скажи-ка мне что-нибудь, чего я не знаю.

— Папа Ло думает встретиться с Шотта Шерифом и всерьез перетереть без посторонних ушей.

Они, кстати, оба перестали есть свинину.

— Ого! Этого я не знал. Что они там оба затевают? Не, серьезно: о чем они реально могут разговаривать? И что, значит, оба перестали есть свинину? Они что, растаманами становятся? Это все Певцовы дела? Он их раскручивает на разговор?

— Тебе в самом деле нужна помощь в ответе на этот вопрос?

— Не зарывайся давай, черномазик.

— Нашел черномазика… И расценки, учти, поднялись.

— Ты эту хрень отнеси в ЦРУ.

— Раста на ЦРУ не работает.

— А я, Джоси Уэйлс, не работаю на тебя. Так что воспользуйся моим советом, как бы глупо он ни звучал: выходи через дверь. И больше сюда не возвращайся.

— Ром я забираю с собой.

— Прихватывай уж и стаканы — может, хоть манерам чуток подучишься.

— Ха-ха. Ну ты нечто. Дьявол и тот на тебя глянет и махнет рукой. Ты просто нечто.

Тот, который меня убил, уходит, не закрывая за собой двери.

На этих мертвых землях есть и еще один чело-

век, которого я не знаю. Мертвый, который умер по злому року; пожарник, что отошел бы с миром, если б просто погиб на пожаре. Он тоже здесь в комнате, пришел вместе с гостем по имени Джоси Уэйлс. Он ходит рядом с ним и временами проходит сквозь него (Уэйлс эти моменты по ошибке принимает за секундный озноб). Он пытается ударить Уэйлса, но вместо этого лишь проходит насквозь. Я, бывало, пытался делать то же самое с человеком, что убил меня, — ударить, пнуть, шлепнуть, порезать, — но он от этого единственно что вздрагивал. Гнев проходит, в отличие от памяти. Она не зарастает, и ты живешь с нею — несносно горькая ирония.

Знаю я и ту его историю: он ее всякий раз выкрикивает. Вот и сейчас он голосит ее навзрыд, не видя, что в комнате я единственный, кого можно назвать свидетелем. Он примчался на пожар на Орандж-стрит, в составе седьмой пожарной бригады. Пожар бушевал в квартирной двухэтажке, и из окон там бешеными рыжими змеями рвалось пламя; пятеро юношей были уже мертвы, двое застрелены еще до пожара. Он схватил шланг, зная наперед, что напор воды здесь бессилен, но все равно побежал через ворота. Справа ему ожгло щеку, а слева висок разорвался

от пули. Вторая пуля ударила его в грудь. Третья царапнула шею пожарнику, что бежал следом. И вот теперь он ходит за человеком, что послал его обретаться к таким, как я. Джоси Уэйлс уходит через окно. Пожарник следом. День толком еще не народился, но уже мертв.

Часть II
Засада в ночи[76]
3 декабря 1976 года

[76] Примечания: 76

«Засада в ночи» (*англ.* Ambush in the Night) — название известной песни Боба Марли, которую он сочинил после покушения на его жизнь в декабре 1976 г.

Нина Берджесс

Так вот живешь себе и не знаешь, пока не столкнешься? — каково оно, предчувствовать в глубине души, что через несколько минут тебя изнасилуют. «*Предчувствия тень косая*»… Ох уж эта Кассандра из греческой мифологии на школьных уроках истории, которые никто не слушает, которая и сама себя не слышит. К тебе еще не притронулись, но ты уже обвинила себя, глупенькую наивную шлюшку. Сейчас, совсем скоро, тебя будет насиловать мужик в форме, а ты-то думала, что эти добрые и верные дяди придут к тебе на помощь, чтобы снять кошку с дерева, как в детских рассказках про Дика и Дору.

Первым делом до тебя доходит, насколько оно бередящее безумно, это слово *ждать*. И теперь, в ожидании, единственно, о чем ты можешь думать, это как, за каким чертом ты оступилась, упала и очутилась под каким-то мужиком? Тебя еще не изнасиловали, но ты знаешь, что это произойдет. Угроза этого в том, как ты уже третий раз замечаешь на себе в зеркальце неулыбчивый взгляд мужчины, чья рука непроизвольно тянется к мошонке, готовясь к таинству, от которого

кое-кому не до смеха.

Она в обручем сковывающей медлительности, хотя, казалось бы, еще есть время что-то сделать — выскочить, пуститься наутек, закрыть глаза и вообразить Пляж Сокровищ. В твоем распоряжении все время на свете. Потому что, когда такое происходит, это твоя вина. Почему ты не вырвалась? Отчего не ушла? Фараон слышит мой ум и жмет на газ, повышая ставки. Почему ты не вырываешься? Отчего не уходишь? Если открыть дверцу, то можно выпрыгнуть, обхватив себе колени, и катиться, пока не остановишься. Затем просто беги направо, в кустарник, лезь через чей-нибудь забор — да, ты можешь себе что-нибудь сломать, но на адреналине можно унестись далеко, очень далеко, этому меня тоже учили в классе. Можно заработать синяк на плече, можно сломать запястье. Машина проносится через четвертый светофор. «Хочешь нас убить — действуй», — говорит второй фараон и хохочет. Я слышала историю о женщине, которая пришла в полицию заявить об изнасиловании, но ей там не поверили и изнасиловали еще раз. Ты боишься, ты чувствуешь запах своего пота и надеешься, что пот не означает, что они догадываются о твоем страхе. Всего пару дней назад ты подрезала

себе ногти, потому что весь этот гламур в виде модных салонов очень дорог, и вот сейчас, потому что у тебя нет ногтей, чтобы зацарапать этих сукиных сынов, ты надеешься, что они об этом не догадываются.

Но больше всего ты коришь и винишь себя, оправдывая их уже до того, как дело дошло до суда (судьи в котором, вероятно, перед тем как отправиться на работу, дисциплинируют своих жен тумаками), в том, что на тебе нет трусиков. Ты не только шлюха, о чем тебе рассказывала мать, которая посмотрит на тебя с осуждением: мол, «ты сама на это напросилась». «Да неужто?» — думаю я. А кто велел тебе быть женщиной, когда к тебе в дом нагрянули трое вооруженных громил? Значит, ты тоже повинна в своем изнасиловании. Через какое-то время до тебя доходит, что тебя трясет не от страха, а от ярости. Я снимаю правую туфлю, единственную с каблуком, и крепко сжимаю. Как только эти ублюдки откроют дверцу, один из них останется без глаза, неважно который. Он может меня потом испинать, застрелить, оттрахать в задницу, но остаток жизни он будет жить с сознанием, что эта сука взяла с него уплату.

Не могу себе представить ничего хуже, чем

ожидание изнасилования. Если у тебя было время ждать, то, видимо, было и время его остановить. «Если ты не для продажи, то нечего и рекламироваться», — звучат в памяти слова школьной директрисы в эту самую минуту. Ты уже обдумываешь то, что будет после изнасилования, — как ты будешь покупать себе платья длиннее, а чулки короче, чуть выше колена, от которых смотришься старой, а платья с оборками, как в первых кадрах «Домика в гребаных прериях»[77]. Я перестану ухаживать за волосами, брить ноги и подмышки. Прекращу пользоваться косметикой. Вернусь к туфлям без каблуков и выйду замуж за человека из Суоллоуфилдской церкви, который будет ко мне терпелив, — темнокожий, который все простит мне за то, что я рожу ему светлокожих детей (это и будет сутью нашей сделки). Хочется завопить: «Остановите машину! Вот вам мой передок, и давайте с этим закончим», — но выходит очень уж круто, как будто этим ты хочешь нагнать на них страху, и ты знаешь, что из твоего рта таких слов не прозвучит. И не из приличия, штырь тебе в забрало, а просто потому, что тебе не хватит духа. И от этого

[77] Примечания: 77

Речь идет об американском сериале «Маленький домик в прериях», о семье, живущей на ферме в шт. Миннесота в 1870—1980-х гг.

ты ненавидишь этих чертовых фараонов еще сильней — то, как они третируют тебя, словно пташку, пущенную в клетку с их кошкой. Все равно что человек, копающий себе могилу, видит, что осталось уже немного, и растягивает время, уже видя то неизбежное, что должно произойти.

Не знаю, что я такое несу, но я точно употребляю непечатные слова слишком уж часто. Еще немного такой брани, и мне впору будет зваться Ким-Мари Берджесс. Это ей сейчас место в такой вот машине, ей с ее упражнениями в свободной любви. Нет. Что за коварство: желать такое своей сестре. За тем исключением, что я не могу об этом не думать. Такого не заслуживает никто. Хотя она заслуживает этого больше, чем я. Чтобы взять на Хэйвендейл, они должны были повернуть налево. Но они повернули направо, в сторону центра, сказав, что есть более короткий проезд. Сейчас они разговаривают, и один говорит, что еще никогда такого не видел: премьер устраивает выборы, до которых осталось всего две недели.

— Мухлеж какой-то, — говорит он.

— А тебе-то чё? — говорит второй. — Можно подумать, ты у нас без пяти минут социалист.

— Кого ты, мля, сицилистом назвал? Лучше уж назови меня кули или растой.

— Расты расты педерасты… А ты, конфетка шоколадная, любишь социалистов или растафарай?

— Ха-ха-ха, — смеется второй.

— Ой, совсем забыл… Тебе же ндравятся даппи, такие ж, как ты.

Мне хочется сказать: «Извините, я слишком занята размышлениями, как быть женщине в семьдесят шестом году: трахают если не политиканы, то мужики в форме», но вместо этого я говорю:

— Извините?

— Раста, говорю, или социалисты? Мы ждем твоего ответа.

— А как близко тот ваш короткий путь?

— Он тем ближе, чем ты тише будешь сидеть и лучше слушаться. И… э! Харэ уже стряхивать пепел мне на форму! Сколько раз тебе говорил!

— Не ндравится — стряхни.

— Вот, блин, зараза…

— Ну так останови машину. Один хер мотору надо дать отдохнуть.

И вот они останавливают машину. Я уже не достаю их словами, что мне нужно домой. Я знаю, что у них на уме. Любой женщине, что шляется за полночь по Хоуп-роуд в туфле с одним каблуком, вряд ли куда-то нужно. Может быть, эти выборы

назначили слишком быстро. Может, коммунизм не так уж и плох; во всяком случае, я ни разу не слышала ни об одном больном кубинце или кубинце с плохими зубами. И может, это означает, что жизнь у нас в чем-то идет на лад и иногда новости не мешает читать на испанском. Я не знаю. Не знаю ничего, кроме того, что мне уже осточертело ждать, когда эти полицейские оставят меня где-нибудь в канаве. Лучше б уж я боялась. Часть меня знает, что мне полагается бояться, и желает этого; в конце концов, что говорят о женщинах вроде меня, если я на самом деле не такая? Они оба облокотились на автомобиль, загородив мою дверь. Сейчас, прямо сейчас можно выбраться с другой стороны и бежать, но я этого не делаю. Может, они меня все-таки не изнасилуют. Может, сделают что-нибудь не такое уж плохое, а может, даже хорошее; хорошее или плохое, но все равно лучше, чем ничего, которым я прозанималась весь день и вечер. Теперь уже скоро утро. И это все его вина, вина его секьюрити и вина вообще этого чертового концерта за мир. Страны. Бога. Что там за Богом, черт его знает, но скорей бы уж, скорей бы они со всем этим покончили…

— Вчера вечером казали «Старски и Хатч»: писк. Короче, Старски получил укол секретным ядом,

ты понял? И у брата только двадцать четыре часа, чтобы найти, кто уколол, иначе ему крышка, и…

— А я вообще не знаю, который из них Старски, а кто Хатч. И почему они такие чувствительные, прямо как содомиты?

— У тебя, мля, куда ни кинь, везде содомиты и жопники. Если у мужика нет женщины, ты уже считаешь, это потому, что он в попу ахается. Ну прямо цирк… Слушай, я все не могу понять, чего это у машины движок так странно работает, толчками? Особенно на скорости.

— Хочешь, я проверю на скорости?

— А крошку на заднем сиденье не зашибешь?

Слыша, как они упоминают про меня, я спрашиваю:

— Так мы едем в Хэйвендейл, или мне уже выходить и идти пешком?

— Ха. А ты знаешь, где находисся?

— Все одно в Кингстоне.

— Ха-ха! Кто тебе сказал, что ты в Кингстоне? Щёчка-защёчка, а который из нас симпатичней, я или мой брат? А? Кому из нас быть твоим бойфрендом?

— Если вы собираетесь меня изнасиловать, то лучше б уже сделали это и оставили в канаве, куда скидываете женщин. Только не наводите на

меня скуку своей трепотней. Достали уже.

У одного из них сигарета выпадает изо рта. Они смотрят друг на друга, но долгое время ничего не говорят. Так долго, что я мысленно насчитываю несколько минут, может, даже пять. Они не просто молчат, а даже не разговаривают между собой, как будто мои слова отняли у них все, что они намеревались сказать друг другу или мне. Извинений я не приношу — коли на то пошло, что должна думать женщина, когда двое незнакомых мужчин отвозят ее в совершенно незнакомое место, тем более что ехать туда она не просила? Да еще среди ночи, когда ей остается единственно надеяться, что, когда она завопит, темнота не останется глухой.

Они отвозят меня домой. Тот из них, что курил, говорит: «В следующий раз, когда ищешь, с кем перепихнуться, говори заранее, чтобы тебя можно было отвезти и оставить там, где тебя потом можно найти». И они уезжают.

Это было четыре часа назад, а я все еще не сплю. Я в постели, все в той же одежде, что была на мне весь день, и не обращаю внимания на то, что ноги у меня по-прежнему горят, а грязь измарала простыни. Хочется есть, но я не шевелюсь. Хочу почесать ноги, но лежу не шелохнувшись. Я хочу

помочиться, хочу под душ, смыть с себя день, который прошел, но не трогаюсь с места. Со вчерашнего утра я ничего не ела, если только можно назвать едой грейпфрут, разрезанный пополам и сдобренный для сочности сахаром, — именно то, что, по словам матери, приводит к раннему диабету. Мать у меня так боится беды, что беда к ней как будто липнет просто потому, что они неустанно друг в дружке нуждаются. Завтра концерт за мир, и достаточно будет одного выстрела — всего одного, даже предупредительного, — чтобы все взорвалось адищем. Раньше в этом году на стадионе неожиданно начался дождик, и толпа запаниковала. Всего пятнадцать минут оказалось достаточным, чтобы в этой панике насмерть затоптали одиннадцать человек. В него никто стрелять не будет, просто не осмелится, но этого и не нужно. Черт возьми, если б я знала, что ННП затевает такую грандиозную акцию, до которой остается меньше двенадцати часов, я бы тоже прихватила туда пистолет.

Эта страна раскачивается в анархии уже так долго, что любой ход событий обернется неминуемым крахом. Я говорю словно не от себя. Бог ты мой, да я же рассуждаю, как Кимми, а вернее, второй ее бойфренд — не раста, а коммунист.

Громилы ЛПЯ обязательно сойдутся в парке, в укромной его части — возможно, у памятника Маркусу Гарви[78], — и кого-нибудь пристрелят.

Пристрелить понадобится всего одного. Затем они разбегутся, но толпа, уже заведенная, не остановится, пока не спалит пол-Кингстона. Поднимет голову Копенгаген, но толпа к той поре будет уже неодолимо велика, и когда начнется бойня, волны гнева всколыхнутся до самого Хэйвендейла. Они сожгут Копенгаген дотла, кроша всех подряд, а люди самого Копенгагена сожгут Восемь Проулков, круша там всех подряд, и огромный приливный вал, поднявшись от бухты, смоет все тела и всю ту кровь, всю музыку и всю вонь гетто в море, и может быть — я лишь говорю «может быть», — моя мать наконец перестанет заворачиваться, как мумия, в простыню для того лишь, чтобы оберечь от дурных людей свою вагину, и сохранит рассудок и заснет спокойно.

[78] Примечания: 78

Маркус Гарви (1887–1940) — деятель всемирного движения негров за права и освобождение от угнетения; родился на Ямайке.

Папа Ло

Вот что еще скажу, досточтимые. Никогда не поворачивайтесь спиной к белому парняге. После жаркой безлунной ночи думается единственно, что в воздухе веет какой-то изменой — то ли от Бога, то ли от человека, — но никогда не вставайте спиной к белому парeньку. Повернетесь спиной к белому парeньку, который хлебает нашу мужскую огненную воду и багровеет от специй, и он, вернувшись к себе в Америку, напишет, что аборигены угощали его супом из козьей головы и суп тот припахивал кровью. Повернетесь к белому парeньку спиной, когда он говорит, что прибыл в гетто в поисках ритмов, и обратно в Англию он уедет с пачкой ваших сорокапяток, на которых он озолотится, а вы останетесь бедняками. Повернетесь к белому парeньку спиной, и он заявит, что это он «застрелил шерифа», а кто же еще? И опустит вас до вторых ролей, а сам зайдет по-хозяйски на сцену и скажет: «Этим вот цветным, и этим вот ниггерам и арабам, и этим гребаным ямайцам и гребаным тем-то и тем-то здесь не место, они нам тут не нужны». Это Англия, белая страна, и потому он думает, что

черномазый никогда в глаза не видел «Мелоди мейкер»[79]. Певец это просек на свой лад всего несколько недель назад в доме на Хоуп-роуд, когда готовился к концерту за мир.

Это было всего несколько недель назад — может, всего две. Певец со своими музыкантами репетировал с утра до ночи. Джуди отозвала его в сторонку и сказала, что одна строчка, которую он пропевает, — «под гнетом приличий» — напоминает девиз ННП, и если он споет ее на концерте, то многие подумают, что он вяжется с нацпатриотами, что и так уже на слуху. Они еще на раз прогоняют песню, и тут появляется этот белый парняга. Просто возникает как из ниоткуда, по взмаху волшебной палочки: «дзин-нь!» — и он уже здесь.

— Опа. Ты откуда, босс, такой взялся? — спрашивает барабанщик.

— Я? Снаружи.

— Ты с Крисом?

— Да нет.

— Ты — парень из «Роллинг стоун»?

— Нет.

— Из «Мелоди мейкер»?

---

[79] Примечания: 79
Название популярного британского музыкального журнала.

— Не-а.

— «Нью мьюзикал экспресс»?

— Тоже нет.

— С плантации дядюшки Кита?

— В смысле?

— В смысле, тебя Кит Ричардс подослал с травой? Такой, как у него, травки нет даже в Джемдауне.

— Не-а.

Выходит Певец, прояснить, что это за белый парняга, который будто из воздуха объявился, причем сразу в студии — даже не во дворе, где обычно толкутся белые, обычно с длинными волосами, заплетенными как бы в дреды, в темных очках и фирменных майках («Парни, вы тут все такие клевые с вашим регги, такие авангардные… А ганджа у вас тут есть?»).

Но у этого белого вид не приблудный, будто он откуда-то прискочил и ищет непонятно чего. Певец спрашивает, как его звать, но тут музыканты зовут работать, и он уходит обратно на репетицию. От травяного дыма белый парняга отмахивается, как от облака москитов, и даже, кажется, не вдыхает. Под ритм он кивает головой, но делает это как большинство белых, с отставанием. И будто ждет, когда все закончат. Но

музыканты на него ноль внимания, а когда песня заканчивается, его уже нет.

Примерно в это время Певец идет на кухню, как у него заведено, за апельсином или грейпфрутом, и тут на тебе: снова этот белый, будто специально ждет. Он смотрит, но как бы мимо Певца, и спрашивает: «А что значит “Безумная брешь”?[80]» И, не дождавшись ответа, гнусаво затягивает вступление — «они безу-умны, они безу-умны», — как будто пытается въехать в слова не разумом, но чувством. «А ты слышал, что пару месяцев назад сказал про тебя Эрик Клэптон? Вот ведь реально подлянщик: выполз на сцену и говорит: “Британия должна быть для белых! Всех этих цветных, арабов и гребаных ямайцев гнать взашей”, — нет, ты представляешь? Вот прямо так и сказал: “Всех гребаных ямайцев”. Уау! Хотя кто, как не он, сделал на тебя кавер?[81] Вот так и получается, что никогда не знаешь, кто твои друзья».

Певец ему отвечает, что всегда знает наверняка, кто ему друг, а кто недруг, но белый парень

---

[80] Примечания: 80

«Crazy Ballhead» — искаженное название песни Боба Марли «Crazy Baldhead» («Безумная плешь»).

[81] Примечания: 81

Кавер-версия — авторская музыкальная композиция (часто известная) в исполнении другого музыканта; в данном случае имеется в виду кавер Эрика Клэптона на песню Боба Марли «I Shot the Sherrif».

продолжает с таким видом, будто говорит сам с собой. На кухню заходят двое из ансамбля и просто обалдевают: этот ловкач опять здесь? Ну просто фокусник! Один из них говорит: «Йяу, брат. Тебя, наверное, туристический автобус потерял». Но тот не улыбается и даже не хихикает — типа «хе-хе-хе», как делают белые, когда толком не знают, шутят с ними или нет.

— Бог. Бог. Бог, — говорит он. — Знаешь, с чем у Бога проблема? Типа у Иисуса, Аллаха, Иеговы, Яхве, или какими еще перцами их можно назвать… У вас, кстати, его кличут Джа?

— А ну-ка не богохульствуй со святыми именами.

— Короче, у Бога проблема в том, что ему все время нужно прославление, ведь так? Ну, типа, внимание, хвала, признание. Он же сам сказал: «Во всех путях твоих познавай меня»[82]. А если перестать обращать внимание или взывать к нему по имени, он как бы просто перестает существовать.

— Брат…

— А вот дьяволу, ему признания не нужно. Даже скорее наоборот: чем больше шито-крыто,

---

[82] Примечания: 82
Прит. 3:6.

тем лучше.

— Босс, что ты такое несешь…

— Типа, ему не нужна сверка по имени, фамилии, его даже вспоминать не надо. По мне, так дьявол может быть где угодно, вокруг и возле.

— Йяу, последний автобус с туристами вот-вот отходит. Смотри, бро, придется тебе искать такси. Так что лучше отваливай сейчас.

— Ничего, я как-нибудь.

— Но мы же репетируем, и… Постой-постой! Ведь сегодня туравтобусов нет. Откуда ты, язви тебя, взялся?

Все это время Певец молчит. Вопросы вместо него задает группа. Парняга шатается по кухне, смотрит в окно, затем на плиту, берет грейпфрут. Разглядывает его, два раза подкидывает и кладет обратно.

— Так что это за «Безумная плешь»? О чем она?

— «Безумая плешь», брат, — она о безумной плеши. Если человеку приходится разъяснять свою песню, то он должен писать разъяснения, а не песню.

— Браво.

— Что?

— А «конго бонго ай»? «Конго бонго ай», в «Модном дреде». «Я застрелил шерифа» — с этим все

понятно, это метафора, верно? Изм и шизм. А я хочу узнать, что сталось с человеком, который пел сладкие песенки вроде «Замути это». Это потому, что те двое от тебя ушли? Что стало с любовью, которая бередит всем сердца? Или вот «Жгу и граблю» — она чем-то перекликается с «Танцами на улице»?[83] Ну, типа, сердитый ниггеровский музон.

Черных, что живут на Ямайке всю свою жизнь, слово «ниггер» нисколько не выламывает. А вот черных, что из Америки, — совсем другое дело. Кто-то из музыкантов бросает крепкое словцо, но быстро замолкает: белый парняга спесиво вскидывается. Территория абсолютно не его, нет у него ни мышц, ни пистолета, но все равно ведет себя так, будто это место под ним. Типа, никто не смеет его тронуть: он же белый. Уж я знаю. Знаю, что это идет еще от рабства. Ямайцы любят бахвалиться, как они были самыми непокорными неграми на всем белом свете. Но правда-то в том, что когда рабовладелец отправлялся в лес с дюжиной своих рабов, кое-кого из которых он сек накануне, то никто из них даже пикнуть не смел.

---

[83] Примечания: 83
Фразы и названия песен Боба Марли.

— Новый альбом стреляет прямиком в самые верхи чартов. Турне у тебя уже расписано от и до: Швеция, Германия, «Хаммерсмит Одеон», Нью-Йорк. Вы тут вообще американское радио слушаете? В смысле, лично я против черных ничего не имею — Джими Хендрикс там, пятое-десятое… Но вот в чем штука. Джими умер, а рок-н-ролл все равно остается рок-н-роллом — «Дип Перпл», «Бакмэн Тернер овердрайв», «*Оральный секс*»[84]… Им не надо никакого маскарада, притворства, что ты рок-звезда. «Мой мальчик леденчик» — тоже была хорошая песня, битовая, Милли Смолл очень задорно ее пела — пришла, сделала хит и ушла… Упс, у меня от вас сердце идет в отрыв! Ха!

К этому времени белый парняга теснится, отшагивает, потому как видит, что его окружают. Но на вид он не нервничает, а лишь трындит без умолку, и никто его не понимает. Певец хранит молчание.

— Америка? Мы переживаем суровые времена. Просто реально суровые. Нам надо собраться. Не хватало еще, чтобы какой-нибудь смутьян всколыхнул нежелательный элемент. Рок-н-ролл

---

[84] Примечания: 84

«Оральный секс» (*англ. жарг.* Brain Salad Surgery) — альбом английской группы «Эмерсон, Лейк энд Палмер» (1973).

есть рок-н-ролл, и у него есть свои нежеланные фанаты, свои экстремалы… Гляньте, я пытаюсь довести это до вас по-доброму. Но рок… рок, он для настоящих американцев. И вам всем нужно прекратить растить свою зрительскую массу… мейнстримной Америке ваш месседж не нужен, поэтому хорошенько подумайте насчет этих ваших гастролей… Может, вам следует держаться побережий. И не соваться в глубину мейнстримной Америки.

Это он повторяет за разом раз, с одного направления в другое, с новыми словами и теми же словами, пока ему не кажется, что его слова осели. Но, как обычно, белый парняга считает темнокожих за придурков. Хотя поняли его еще тогда, когда он только возник в дверях. А заодно и его месседж: не дуркуйте с белыми.

Для проверки, осели его слова или нет, он ни на кого не смотрит, но как бы высчитывает. Затем говорит что-то насчет всех этих временных виз для гастролеров, что лежат на столе у какого-то клерка в посольстве, который вконец замотался. Певец все помалкивает.

— «*Мой мальчик леденчик*» — вот это песня так песня. Всем песнякам песняк, — буровит он и выходит через кухонную дверь. С минуту в комнате

стоит тишина, а затем кто-то выкрикивает что-то насчет «белого бомбоклата» и кидается следом за ним через дверь, но его уже след простыл. Дзинь, и как не бывало.

Кто-то говорит, что это наведался сам дьявол. Но это декабрь семьдесят шестого, и если на ЦРУ не работают раста, то это делает кто-то еще. Я спрашиваю секьюрити, как они его пропустили, а они просто пожимают плечами, что он просто прошел с таким деловущим видом, будто он персона поважнее, чем они, и дело у него неотложное. Мне это известно, известно и Певцу. Никто с такой кожей, как у нас, не притронется к таким, у кого кожа, как у него. С этой минуты Певец подозревает всех, даже, наверное, меня. Мое имя замешано с ЛПЯ, и все уже думают, что это лейбористы работают на ЦРУ, особенно когда с пристани исчез груз якобы не оружия. Бац, и нету. Но этот белый парняга не грозился и не остерегал его, чтобы Певец отменил концерт за мир, как другие, что звонят и дышат в трубку, или шлют телеграммы, оставляют у охраны записки или стреляют в воздух, когда проносятся мимо дома на скутерах. Певец не боится никого, кто грозится ему в лицо. Но он не высказывает вслух то, чего боюсь высказать я сам. Что мой срок близится.

Я самый плохой человек во всем Копенгагене. Но плохость больше ничего не значит. Плохое не может состязаться с коварным. С кознями, заговорами. Плохое не выстаивает против злого. Я вижу, что чувствую себя быком на открытом пастбище и что на меня смотрят. А политика — это новая игра, и в нее должен играть человек иного склада. Политики приходят поздно ночью разговаривать с Джоси Уэйлсом, а не со мной. Джоси Уэйлса я знаю. Я был здесь в шестьдесят шестом году, когда они вынули из Джоси изрядную часть души, но только ему известно, что туда вложили взамен.

Что до других, то белый парняга из Америки и белый парняга с Ямайки — точнее, араб, а не белый, который трахает английскую блондинку, чтобы их дети были полностью свободны, — они тоже грозятся Певцу. Все потому, что «модный дред» хочет петь свои хитовые песни и высказывать суждения. Даже сейчас никто не знает, откуда пришел этот белый, и никто не видел его снова ни в посольстве, ни в «Мейфэр», ни в «Ямайка-клубе», ни в «Игуана-клубе» или клубе «Поло», или где там еще иностранные белые трутся с местными белыми. Может, он здесь даже не живет, а просто прилетел с единственным за-

данием. С того дня охрану на воротах удвоили, но затем наш секьюрити сменила «Команда «Эхо». Любая команда лучше, чем полиция, но команде от ННП я не доверяю.

Человек, знающий, что у него есть враг, должен постоянно находиться начеку. Человек, знающий, что у него есть враг, должен спать с одним открытым глазом. Но когда у человека врагов слишком много, он вскоре низводит их всех до одного уровня, забывая их отличать, и начинает думать, что каждый враг — это враг один и тот же. Насчет того белого парняги Певец, похоже, не заморачивается, но я думаю о нем все время. Один раз я спросил Певца, как тот белый парень выглядит, так он на это лишь пожал плечами. «Просто, — говорит, — как белый парняга».

Джоси Уэйлс

Даже в такую жаркую ночь (скоро уж утро) и даже при действующем комендантском часе из-за того, что это липовое правительство не в силах справиться с дерьмом, через дорогу от дома Певца видно, как дежурит блядь, промышляющая на Хоуп-роуд. А может, и не блядь. Может, просто еще одна покинутая женщина, которых в Кингстоне пруд пруди; стоит и думает, что в Певце есть что-то, чего она искала всю свою жизнь. Скажу вот что: если контроль над рождаемостью и вправду заговор по изведению темнокожих, то тогда Певец, должно быть, заговор, направленный на их повторный расплод. Даже респектабельные родители из Айриштауна, Огесттауна или еще какого места, где живут зажиточные, подсылают своих дочек якшаться с растой в расчете, что те выносят от него потомство, которое не будет обделено деньгами. Только эта, которую я увидел, когда свернул на Хоуп-роуд забрать Бам-Бама, просто маячила, как чучело. Как будто ничем и не торговала. Может, она призрак? Что-то подмывало меня подъехать к ней и сказать: «Почем берем? Может, скидку дашь на комендантский

час?» Но со мной в машине сидит Бам-Бам — тоже мне, навязался на мою голову. Рассидится, пообвыкнется, так еще и вопросы начнет задавать, типа, знал ли я его отца и куда делись те кларксовские туфли из дома, где он на первых порах жил. К тому же гладко звонить — это по части Ревуна, а не меня.

Ревун тоже со мной. Уже собираясь отъезжать, я сообразил, что надо дать этому ящику, как ее, Пандоры запрыгнуть в мой «Датсун», и я кричу, чтобы он меня подождал. Я все еще даю ему водить машину. Мы катим обратно в Копенгаген, прямо мимо дома Папы Ло, и я вижу, как он сидит там на веранде — эдакий дядюшка Римус[85]. Рано или поздно он захочет со мной обо всем перетереть — обычно в таких случаях говорит он, все о том же и ни о чем. После того как этот человек начал впадать в задумчивость, он уже не тот, что прежде. Сейчас я нахожусь в доме часа два, может, три. Что-то говорит мне, что этой ночью не спит никто. Мне это не нравится. Ревун считает, что всё нормалёк. Мне не нравится работать со щеглами, но Ревун твердит, что всё путем. Хотя и

[85] Примечания: 85

«Сказки дядюшки Римуса» — собирательное название сказок, основанных на негритянском фольклоре («Братец Кролик и Братец Лис», «Смоляное Чучелко» и др.).

Ревун, если разобраться, недалеко от них ушел. На данный момент он под кайфом и шпарит у меня в машине одну деваху из «Розовой леди». Чтобы ее склеить, он заставил меня покружить возле клуба после того, как мы заперли тех парней в хибаре у переезда. По слухам, эта оторва по имени Лерлетт была единственной из Арденнской средней школы, которую туда приняли и исключили в первый же день. Не спрашивайте, откуда я знаю: конечно же, мне разболтал Ревун. Я ему сказал, как отрезал: «Ты ни за что не потащишь эту лярву в дом, где я ращу моих детей». А он мне: «Брат, да нет проблем: мне и машины хватит».

И вот я слушаю, как под окном поскрипывает на рессорах мой «Датсун». Сейчас бы прилечь, заснуть… Если я не лягу, то завтра буду сонный, а плохой не может позволить себе быть сонным, особенно завтра. Между Ревуном, устроившим потрахульки в моей машине, и Питером Нэссером, кобенящимся перед своей страхолюдиной, в голове у меня столько дум и тревог, что даже непонятно, как я смогу заснуть. Надо бы крикнуть из окна, чтобы Ревун наконец кончал со своим ристалищем, но это, чего доброго, выставит меня как его старшего брата, папашу или, еще хуже, мамашу.

И этот мандюк Питер Нэссер. То, чего я больше всего не переношу, это когда человек о себе такого весомого мнения, что у него даже ветры становятся тяжелыми, как стон. Думает, что он все знает уже потому, что к нему прислушивается кое-кто в партии. Только вот я ни в какую партию ни ногой. Он павлином разгуливает по гетто, держа высоко голову с плохими парнями, потому что не держит страха передо мной. У меня нет желания, чтобы политиканы меня боялись, я просто хочу, чтобы они понимали: со мной в игры лучше не играться. Деваха в машине приглушенно вопит, чтобы ей «впендюрили по гланды». *«Нгх, нгх! Ну, при же меня, при, жарь мою мохнашку! Нгх! Рви ее в тряпьё!»* Нет уж, второй раз за одну ночь выслушивать, как где-то рядом порются другие, — это перебор. Я отхожу от окна.

Чтобы нанести человеку урон, прикасаться к нему нет нужды. Все эти белые думают, что какое-то время можно погрешить с дьяволом, а затем, когда придет время, незаметно отскочить. Я помню, как Питер Нэссер впервые прибыл в гетто. Он был в темных очках, чтобы никто не мог разглядеть, что говорят его глаза. Как он базарил почти как ниггер, но все равно звучал так, чтобы было видно: образование он получил аме-

риканское. Нет, как ни крути, а нельзя доверять человеку, который на всех смотрит так, будто их можно заменить, от жены до инфорсера банды. Он уже закидывает удочку Ревуну и Тони Паваротти насчет того, чтобы меня заменить, когда дела разрастутся, или потяжелеют, или же станут слишком мудреными для человека, не ходившего в среднюю школу.

Спору нет, этот избирательный округ плотно под ним — чтобы это доказать, у него есть голоса и женщина из местных. Однако он начинает путать, что представлять людей еще не значит ими владеть, и скоро даже с ним за это поквитаются. Не я, так кто-то другой. Людям вроде меня средняя школа не нужна, мы свою выучку уже получили. Еще до того, как Питер Нэссер начал посещать нас среди ночи на машине, багажник которой доверху набит стволами. До того как он дошел умом, что для него лучше, если Копенгаген и Восемь Проулков продолжат биться, а не мириться. «Надо сделать так, чтобы они спалились в борьбе за мир» — так я говорю. Но к этой поре дом в Майами достраивается, а человек вроде Питера Нэссера начинает прогибаться под своим собственным весом.

Гребаный Ревун. Но он хоть больше не шлет

писем тому чертиле в тюряге. Кому именно, он не говорит, но я все равно дознаюсь. И когда я это сделаю…

Появляется Ревун:

— Вот это был отвал башки! Отпад! Высунув кончину, мчится мужичина. Йяу!

— Тебе дать тряпку обтереться?

— Не надо, брат, все само отпарится, — говорит он, с прищуркой протирая свои треснутые очки.

— Испарится.

— Чего?

— А как та девонька до дома доберется?

— У нее что, ноги отнялись?

— Ну ты ходок, Ревун. Всем донам дон.

— Нет, солнце, это как раз про тебя. Ты у нас такой дон, что тебе впору зваться Писейдон.

— Пóсейдон, чтоб тебя.

— А я как сказал? Слушай, а чего ты не спишь? Я думал, ты десятый сон видишь, а ты тут ворчишь, как бабка.

— Да уж и смысла нет спать. Всё думки в голову лезут, так что не до сна.

— Дурью ты маешься, вот что. Будешь в голову брать — станешь скоро как наш старик, мимо которого мы сейчас проехали, а он нас и не заметил за своим сидением на веранде как сурок.

— Знаешь, почему мне не спится? Что-то во мне реально против этих пацанов.

— Эти пацаны умеют целиться и спускать курок. Хватит тебе жалиться, как мамка.

— Я тебе уже говорил: мне не нравится работать с таким числом людей, которым я не доверяю.

— Ты же их подрядил.

— Нет. Я их подрядил и ждал, чтобы ты сказал свое «да» или «нет». А ты набрал одних щеглов. Я тебе говорю: еще не поздно подогнать «Тек-9»[86], телеграфировать в Нью-Йорк Китаёзу.

— Да ну.

— Позвать Бычару, Тони Паваротти, Джонни…

— Да ну брось! Несешь, блин, бредятину, как идиот. На них же управы нет. Дай им шанс, так половина их в нужный момент разбежится, а другая еще и попытается тебя грохнуть. И это я слышу от главного думальщика Копенгагена? Еще раз говорю: с ними нет сладу. Ты вот не сидел, а как управлять людьми, так и не научился. Нам нужна пацанва, которая, когда я ей укажу идти налево, пойдет налево, а укажу направо — пойдет направо. Пацаны будут это делать, а

---

[86] Примечания: 86

«Тек-9» — самозарядный пистолет шведского производства, популярный в преступном мире, в т. ч. благодаря возможности переделки для ведения автоматического огня.

мужики слишком долго будут мозговать, вот прямо как ты сейчас. Учти, все делается так: берешь щегла, обтесываешь, натаскиваешь, садишь на ноздрю да на иголочку, пока единственное-разъединственное, чего ему от тебя надо, — это чтобы ты говорил ему, что делать.

— Ты этому тоже в тюрьме научился? Думаешь, я не въезжаю, о каких таких щеглах ты говоришь? Да таких можно использовать всего на раз, ты понимаешь? Один раз — и всё, они конченые.

— А кто думает пользовать их дважды? А? Кого ты думаешь пользовать второй раз — Бам-Бама, что ли?

— Пацанву, бомбоклот, я не беру.

— Да пускай они попарятся в хибаре. Пропотеют, чтобы дурь вышла. Чтоб они из углов на четырех костях сползлись, воя, чтоб ты им сыпнул беленького. Вот погоди, сам увидишь, когда мы за ними придем.

— Так тебе стрелок нужен или зомби?

— Пусть посидят. Пусть попреют. Когда мы к ним придем, они будут готовы стрелять хоть в Бога.

— А ну, бля, не богохульствовать в моем доме!

— А иначе чё? Боженька на меня сверзится с громом и молнией?

— Или он, или я сам тебя шмальну!

— О. Ну, брат, это круто. Охолони. Шуток не понимаешь.

— За такие шутки знаешь, что бывает?

— Брат, опусти ствол. Это же я, Ревун. Мне ужас, брат, как не нравится, когда на меня наводят ствол. Даже в шутку.

— Я разве похож на шутника?

— Ну, Джоси…

— Нет, ты скажи. Скажи хоть об одной, бля, шутке, которую ты от меня слышал.

— Да ладно тебе, брат. Всё, хорош: больше за Бога говорить у тебя в доме не буду. Главное — остынь.

— И этих своих макак перестань в мой дом притаскивать.

— Ладно, Джоси, ладно.

— И не думай, что я при нужде не шмальну тебя своей рукой. Понял?

— Да понял, понял.

— А теперь вот сам сядь и расслабься. Я-то, пожалуй, пойду вздремну, а вот мы меж собой знаем, что ты не спишь уже самое малое третий день. Так что угомонись, устройся…

— Это тебе надо угомониться.

— Угомонись, я сказал!

Ревун кидается на тахту и думает залечь на нее с ногами, но тут видит мое лицо. Тогда он снимает обувь, кладет очки на столик и укладывается. Несколько минут лежит не шевелясь. Я потираю в руке ствол. Затем Ревун начинает хихикать, как девчонка. Все сильней и сильней. И наконец срывается в хохот.

— Что тебя, бля, снова на «хи-хи» проперло? Снова шутка?

— А ты не понял? Да ты и есть та гребаная шутка.

Я потираю в руках ствол, держа указательный палец у спускового крючка.

— Ты не обращаешь внимания, какую ересь начинаешь нести, когда тебе моча в голову бьет? Чем сильнее шибает, тем ты становишься несносней. Надо б тебе подточить язык еще острей, чтобы сподручней брить им задницу.

Он ржет так заразительно, что и я невольно начинаю смеяться вместе с ним, хотя мы с Ревуном не так уж много имеем общего и росли на разных улицах. Он поворачивается на тахте и теперь лежит ко мне спиной. Штаны у него слегка сползли, и над ними проглядывают красные трусы. Наверное, всякий раз, когда он трахает баб, безумство ему передается от них. У меня есть

подозрение, что во время отсидки он подцепил какую-то болезнь, от которой у него теперь не все дома. Вскоре он начинает храпеть, громко, как в кинокомедиях. Этот сукин сын, дрыхнущий на моей тахте, назвал меня несущим бредятину идиотом. Сам-то двинутый вконец, однако все, что он мне сейчас сказал, имеет свой смысл — безумный, но смысл. Ох и неопрятная эта работенка: чистка после основного дела… Вместе с тем таких, как Тони Паваротти, к делу привлекать и вправду нельзя. Люди с такими навыками, они штучные, их приходится применять снова и снова. Инструмент многоразового использования. А есть такие, которые пользуешь раз — и всё, нужно уничтожать.

Барри Дифлорио

Семь пятнадцать. Мы застряли за «Фордом Эскорт», что уже десять минут пердит впереди черным дымом. Чувствуется, что у этой машины песенка спета, а мой старшенький Тимми в это время мычит другую песенку, подозрительно похожую на «Лейлу» (ей-богу!). Клэптоновскую лирику он нахмыкивает, сидя на переднем сиденье, где одновременно рулит тотальной мировой войной между Суперменом и Бэтменом (жена разрешила ему играть в игрушки до самых школьных ворот, но, выходя, он должен оставлять их в машине). Господи Иисусе, транспортные пробки третьего мира хуже всего на свете: машин тьма, а дорог как таковых нет. «Папа, цё за цёрт?» — спрашивает с заднего сиденья Айден, мой младшенький, и до меня только сейчас доходит, что я мыслю вслух. «Читай свою книжку, милашка, — говорю я ему и спохватываюсь: — То есть дружище. Или ты хотел услышать “мужчинка”?» Сынишка ставит меня в тупик. Корректно обозначать мужественность в четыре года — штука непростая.

Мы едем по Барбикану — объездной «карусе-

ли», единственное назначение которой, похоже, это направлять транспорт к супермаркету с несуразным названием «Мастерс». Сейчас дороги перегружены богатыми, развозящими своих чад по школам; многие направляются туда же, куда и я, к «Академии Хиллел». Я делаю поворот налево и проезжаю мимо женщин, не по сезону торгующих бананами и манго, а также мужчин, торгующих сахарным тростником. А еще «травкой» — если знать, как попросить. Не то чтобы я ее когда-либо просил. Задача резидента — проникнуться страной настолько, что начинаешь чувствовать ее пульс и внутреннее устройство лучше, чем те, кто в ней живет. Ну а затем можно и уезжать. Перед моим сюда прибытием Контора предложила, чтобы я прочел книгу В.С. Найпола «Средний путь: Карибское путешествие». Меня поразило, как автор мог вот так приземляться в какой-нибудь стране, находиться здесь считаные дни и выдавать на-гора то, что именно здесь обстоит не так. Однажды я отправился на пляж, о котором он писал, — во Французскую бухту, — ожидая увидеть там ленивых белых женщин и мужчин в темных очках и шортах-бермудах, прислуживают которым темненькие мальчики с подносами и в белых рубашках. Но волна

демократического социализма, оказывается, докатилась и сюда, в бухту.

Мы поворачиваем направо. Поток транспорта иссякает, и мы едем наверх, мимо многоквартирных двух– и трехэтажек, из которых многие имеют необитаемый вид — не в том смысле, что все на работе и открыто всего несколько окон, а просто все хозяева взяли и свалили, вероятно, пережидая выборы в безопасном месте. Такой вот финт ушами.

«Хиллел» расположена непосредственно у подножия гор. Рано или поздно жена возобновит допрос, почему мы живем в Нью-Кингстоне, а детей в школу приходится возить в такую даль, в эти горы? В ее словах есть логика, но признавать ее правоту на дню еще слишком рано. Мой старший выскакивает из машины, как только та останавливается на подъезде к воротам. Сначала я думаю: «Конечно, ведь тачка у меня недостаточно крутая», — но тут меня пробивает догадка. А сын уже почти проскальзывает в ворота.

— Тимоти Дифлорио! — кидаю я вслед как выстрел. — Стоямба!

Всё. Он понимает, что попался. Оборачивается с ангельским видом, и на лице невинно-изумленное: «*Это мне, что ли?*»

— Что случилось, пуль?

— Бэтмен. Ему здесь очень одиноко, одному на сиденье. Куда ушел Супермен?

— Выпал, наверное?

— Ну-ка возврати его на место, мой мужчинка. А иначе я тебя в класс отведу сам. И всю дорогу буду держать за руку.

По лицу сына видно, что для него такая участь хуже смерти. Он смотрит на своего младшего братишку, для которого, слава богу, держание отца за руку пока еще лучшее, что можно представить себе на свете. Тимми закидывает Супермена в машину.

— Да и ну его к черту.

— А ну-ка!..

— Извини, пуль.

— В машине, кажется, еще и твоя мама.

— Извини, мам, можно я пойду?

Я даю ему отмашку:

— Удачно справить Рождество, милашка!

Гримаса на лице сына стоит всей этой поездки. Жена на заднем сиденье только хмыкает. Ох, миссис Дифлорио, миссис Дифлорио… Я думал, она к этому времени хоть что-то произнесет, но жена прикована к какой-то статье в «Вог» — какой-нибудь ерунде, которую притащит на свой кружок

вязания, чтобы добавить новый воротничок к своему любимому красному платью. Наверное, я излишне жесток. Она ходит в клуб книголюбов, а не на кружок вязания. Правда, с книгой я ее никогда не вижу. На переднее сиденье жена так и не пересаживается. Вместо этого она говорит:

— Наверное, Санта у них будет в красном бумажном колпаке и с наволочкой, полной дешевых конфет, а говорить будет с местным акцентом.

— Взгляни-ка на маленького фанатика папули.

— Перестань заговаривать зубы, Барри. Черных знакомых у меня больше, чем у тебя.

— Не знаю, как отреагировала бы Нелли Матар, узнав, что ты ее за глаза зовешь «черной».

— Ты не ловишь. Прошлое Рождество должно было быть последним, которое я встретила — *мы* встретили — в чужой стране.

— Бог ты мой. Мне казалось, эту сломанную патефонную пластинку я благополучно спрятал в надежном месте.

— Я обещала маме, что Рождество мы встретим в Вермонте.

— Ничего ты ей не обещала, Клэр, перестань. И ты забываешь, что твоей маме я нравлюсь на порядок больше, чем ты.

— Засранец, ну зачем мне такое говорить?

— Что с вами, женщины? Почему вы все время прикидываетесь? Ты когда-нибудь задумывалась, что эта твоя непрерывная долбежка в одно и то же место — не самый лучший способ добиться своего?

— Ой, извини. Должно быть, ты путаешь меня со Степфорд, твоей, гм, двоюродной женой.

— Мы сейчас как раз едем в ту сторону — может, заглянем?

— Пошел ты знаешь куда?..

В голову мне приходит как минимум с десяток вариантов ответа, в том числе провокационный, что у нас и секс-то был всего один раз, позавчера. Может, это как-то разрядит обстановку, или она оседлает проверенную тему, что я отношусь к ней свысока, или сменит предмет беседы. Хотя предмета, заметьте, по сути, никакого нет. На дворе третье декабря, и у меня голова загружена так, что просто нет никакой возможности уворачиваться от словесных залпов и очередей, которые жена пускает снова и снова. Каждый контраргумент, которым я реагирую, произносился мной до этого десяток раз, поэтому я затыкаюсь. Хотя знаю наперед, куда все это может привести. В молчании мы едем до самого пересечения шоссе Леди Масгрейв и Хоуп-роуд. На светофоре жена выскакивает и

пересаживается на переднее сиденье.

— Чем там занимается Айден?

— Клюет носом в раскрытые страницы «Лоракса»[87].

— Угу.

— Что «угу»?

— Что «что»? Я, дорогая, между прочим, машину веду.

— Знаешь, Барри, мужчины вроде тебя требуют от своих жен очень многого. Очень. И мы на это идем. А знаешь почему? Потому что вы заверяете нас, что это все временно. Мы идем вам навстречу даже тогда, когда «временное» подразумевает, что каждые два года нам приходится искать себе новых друзей, просто чтобы не умереть со скуки. Мы миримся даже с недостатком внимания к детям, выкорчевыванием их без всякой нужды и смысла, причем тогда, когда они наконец-то наладили связи…

— Дети, связи?..

— Позволь мне закончить. Да, связи, которые ты, когда был ребенком, вряд ли приносил в жертву.

— Ты вообще о чем? Папик кантовал нас с места

---

[87] Примечания: 87

«Лоракс» — детская книжка американского писателя Доктора Сьюза.

на место безостановочно.

— В таком случае неудивительно, что ты понятия не имеешь о том, что такое друзья детства. Единственно, за что я благодарна судьбе, так это за то, что я хотя бы в более-менее говорящей на английском стране. Для разнообразия. А то какое-то время я даже не понимала, что говорит мой сын.

Продолжение может быть о чем угодно — о нашем браке, о детях, о работе, об Эквадоре или об этой стране, чтоб ей ни дна ни покрышки; я сижу и помалкиваю. Вот эти словоизлияния моей супруги и доводят меня до бешенства, пока я не начинаю ощущать к ней белокаленую ненависть.

— Потому что в конце ты обещал, — говорит она в набранном темпе, — обещал нам, что по окончании этого нас ждет что-то достойное, даже если это означает больший запас терпения для твоей семьи. Но знаешь, кто ты такой, Барри? Ты лжец. Большой-большой лжец своей жене и детям, и все ради твоей работы, суть которой даже толком не ясна. Вот скажи, чем ты таким занимаешься? Ты, наверное, даже в этом не преуспел, потому что у тебя нет ни нормального стола, ни кабинета. Ты просто гребаный лжец.

— Прошу тебя, хватит.

— Прямо-таки хватит?

— Уймись, Клэр. С меня достаточно.

— Достаточно *чего*, Барри? А иначе *что*? Упечь нас еще на несколько лет, и теперь куда — в какую-нибудь Анголу? На Балканы, в Марокко? Если отправимся в Марокко, то клянусь Богом: загорать там я буду без купальника.

— Хватит, Клэр.

— Хватит, говоришь? А иначе *что*?

— А иначе вот этот самый кулак влетит тебе между глаз так быстро, что вылетит из затылка и прошибет к гребаной матери стекло у тебя за головой!

Она сидит так, будто на меня не смотрит, но и на дорогу тоже. Такое происходит нечасто — напоминание, что ее муж когда-то ради заработка, возможно, убивал, — так что препирания временно прекращаются. Я мог бы ее так и оставить — по крайней мере, жил бы какое-то время в покое. Это тычок ниже пояса — опускание в страх, который каждая агентская жена испытывает перед мужем. Будь я любитель раздавать подзатыльники, быть может, весь остаток жизни она страдала бы молча и все было бы побоку даже ее гребаному папаше. Но тогда она будет не только бояться

меня, но еще и передаст этот страх моим детям. И тогда я стану как другие; как Луис Джонсон, который, я слышал, регулярно поколачивает свою жену… Нет, надо все-таки дать ей возможность выйти из этого клинча.

— Еще не хватало загорать без купальника. Знаешь, кто ты тогда будешь? Белая деваха, создана для траха. Валерьянка для похотливых марокканских котов.

— Прекрасно. Теперь ты еще и выставляешь свою жену за шлюху.

— А что? Твоя новая стрижка очень даже сексуальна, — говорю я.

И опять у нее пошло-поехало. Ничто не заводит ее больше, чем ощущение, что ее игнорируют. Слышно, как ее голос набирает громкость. Меня подмывает сказать: «Кушайте на здоровье», но вместо этого я оборачиваюсь и вижу его, выскочившего словно из ниоткуда. *Его дом*. Всякий раз я проезжаю мимо него, но при этом, кажется, я ни разу в него не вглядывался. Этот дом — один из тех, что располагают историей. Я слышал, что дорога Леди Масгрейв появилась оттого, что эта пожилая аристократка пришла в такой ужас, узнав, что на ее маршруте воздвиг себе особняк темнокожий, что проложила к себе отдельную

дорогу. Расизм в этих местах жгуч и вязок, но при этом настолько неуловим для посторонних, что невольно возникает соблазн проверить на него коренного ямайца — просто посмотреть, ощутит он его или нет. А вот дом Певца так и стоит.

— Ты его что, собираешься куда-то подвозить?

— Что? Кого?

— Ты уже минуту с лишним стоишь у его дома со включенным мотором. Кого мы ждем, Барри?

— Даже не знаю, о чем ты. И откуда ты знаешь, чей это дом?

— Время от времени я все-таки выбираюсь из пещеры, в которую ты меня заточил.

— Не думал, что тебе есть дело до какого-то… необузданного взъерошенного дикаря.

— Барри, ты прямо как моя мать. А мне, между прочим, нравятся необузданные и взъерошенные. Он как Байрон. Байрон — это…

— Клэр, перестань держать меня за неуча.

— Необузданный и дикий. Он подобен черному льву. Вот бы мне немного такой дикости… Но у меня, увы, за плечами университет. Нелли считает, что на нем отменно сидят кожаные штаны. Просто *реально* отменно.

— Напрашиваешься, чтобы я тебя приревновал, милая? Считай, что основания для этого

уже есть.

— Милый, я у тебя ни на что не напрашивалась вот уже четыре года. Ты только вдумайся: Нелли сказала, что сегодня вечером в честь предстоящего концерта у него в доме прием, и она…

— Не смей туда сегодня ходить!

— Что? Это почему же? Мне никто не указывает… а ну-ка постой. Что ты сказал?

— Не ходи туда.

— Нет. Ты сказал: не ходи туда *сегодня*. Ты что-то знаешь, Барри Дифлорио.

— Понятия не имею. О чем ты?

— Вопроса с моей стороны не позвучало. В той же части, где ты изъясняешься полунамеками, чтобы я была тише воды ниже травы, позволь мне сэкономить твои усилия: мне нет до них дела. И, Барри…

— Ну что опять, Клэр? Что опять?

— Ты проехал левый поворот на парикмахерскую.

Жена думает, что домой хочется только ей. А мне, думаете, не хочется? Да я даже вкусовыми рецепторами ощущаю, как хочется! Только разница в том, что я уже заранее знаю: возвращаться нам некуда. Во всяком случае, там нет дома в его прежнем смысле. При этом мы оба забыли, что в

машине вместе с нами едет малыш Айден.

Алекс Пирс

Вот ведь странно: пытаешься заснуть; пытаешься так, что довольно скоро понимаешь, что ты фактически *работаешь* над тем, чтобы уйти в сон, — но в итоге по-настоящему так и не засыпаешь, потому что в таком случае это уже не сон, а работа. От которой довольно скоро нужен перерыв.

Я открываю задвижные ворота, и открывается вход транспорту. Проблема Нью-Кингстона в том, что он очень уж далек от регги. У меня никогда не было этой проблемы, когда я останавливался в центре, где всегда кипела музыка — какой-нибудь там джем-сейшн или концерт. Но, черт возьми, брат, это семьдесят шестой год; уже почти семьдесят седьмой. Люди из посольства, которых я даже не знаю, начали наущать меня после определенного часа не спускаться ниже Перекрестка — люди, что живут здесь уже пять лет, но которые все еще вспотевают до полуденной поры. Нельзя доверять тому, кто говорит тебе, как им понравилась твоя колонка о «Муди блюз». О гребаном «блюзе мудей» я никогда ничего не писал, ни абзаца. И даже если б я это делал, оно никогда бы

не было нацелено на то, чтобы прийтись по душе какому-то козлине.

Сон все не идет, поэтому я натягиваю джинсы с майкой и спускаюсь вниз. Нужно все же выкурить эту самокрутку. Женщина на ресепшене дрыхнет, так что я выскальзываю до того, как она выдает мне дежурное предупреждение для всех белых: уходя, двери за собой запирать на замок. Снаружи веет облипающей со всех сторон духотой. Комендантский час все еще действует, так что ощущение такое, будто можешь нарваться на неприятности, но на самом деле все тихо-мирно. Вот тебе и худосочный островок свободы среди ночи: водитель такси, читающий «Стар» в припаркованной на стоянке машине. Я спрашиваю, может ли он отвезти меня в какое-нибудь место среди города, где все еще идут «скачки». Он смотрит на меня как на какой-то знакомый ему типаж, хотя, наверное, джинсы на мне слишком уж в облипон, волосы чересчур длинные, а ноги чересчур тонкие, так что по виду я не какой-нибудь жирный факер в майке «Отъямай меня Ямайка», прибывший сюда оттянуться и ублажить свой хренок.

— Думаю, па́ртнер, отель «Мейфэр» сейчас на замке, — говорит таксист, и винить его в этом

нельзя.

— Не-не, кореш, я не из тех белых, что ищут, куда сбежать от черных. Ты можешь меня подкинуть куда-нибудь туда, где сейчас идет реальное гульбище с музоном?

Он смотрит на меня пристальней и даже складывает газету. Буду лжецом, если скажу, что это не есть одно из самых сильных ощущений на свете: обычно неподвижный и бесстрастный ямаец вдруг шевельнул для тебя задницей. Он смотрит так, будто перед ним первое живое существо, которое он повстречал за ночь. Это, безусловно, тот момент, который по глупости портят 99,9 % американцев, опрометчиво взволновавшись тем, что приглянулись аборигену Джемдауна (черта с два, если вы вначале не прошли у него тест на «кипеж под регги-ритм»).

— С чего ты взял, что где-то есть открытые места? Комендантский час, брат мой. Так заведено, закон на это строгий.

— Да брось ты. Это в фанкующем-то Кингстоне? Да даже комендантский час не запрет этот город на замок.

— Проблем ищешь на свою голову?

— Да нет же, наоборот, пытаюсь от них удрать.

— Если что, я тебя об этом не спрашивал.

— Ха. Ну так поехали куда-нибудь, где пыль до потолка, неважно, комендантский там час или нет. Ты мне говоришь, что весь этот город заперт на замок? Это в пятничный-то вечер? Не пудри мне мозги, мистер.

— Пятничное утро, — поправляет меня таксист.

Он еще раз оглядывает меня сверху донизу. Я едва сдерживаюсь, чтобы не сказать: «Послушай, кореш, я лишь *смотрюсь* как тупой турист».

— Ну ладно, — вздохнув, делает он взмах рукой. — Прыгай в машину, поглядим, что можно для тебя найти. Только по главной дороге не поедем, чтобы фараоны не остановили.

— Рок-н-ролл.

— А вот это ты скажешь, когда прокатишься по нашим выбоинам, — усмехается он.

Мне хочется сказать: «Кореш, я бывал в “Розовом городе”, но это одно из заблуждений белых — гордиться, что побывали на Ямайке в местах, которые самим ямайцам абсолютно не глянутся». Он повез меня в «Вертушку» на Редхиллз-роуд — как раз одна из тех улиц, насчет которых консьерж в отеле дает четкое предупреждение об ограниченности часов, в течение которых лицо европеоидного происхождения (ей-богу, ее слова,

не мои) может чувствовать там себя в безопасности. По пути мы проехали сквозь строй парней, жарящих курятину на бочках из-под соляры; дым от этих своеобразных жаровен шлейфом стелился через дорогу. В припаркованных у обочин машинах сидели мужчины и женщины, уплетая эту вкуснятину с мягким белым хлебом, блаженно улыбаясь и прикрыв глаза: а вот попробуйте, заполучите такое удовольствие в три часа ночи! Таких слов, как «комендантский час», здесь как будто слыхом не слыхали. Было бы забавно тормознуться в «Вертушке», учитывая, что последний раз я здесь был, когда пас Мика Джаггера. Тот тогда с ума сходил от местного колорита и от вида жопастых танцовщиц, одна смазливей другой и все, как одна, его любимого цвета — темный шоколад. Таксист спрашивает, бывал ли я когда-нибудь в «Вертушке», чем ставит меня в двойственное положение: я не хочу задирать носа, но вместе с тем не хочу и казаться невеждой.

— Да пропархивал пару раз. А кстати, как там поживает «Цилиндр»? А «Зуб за зуб» взял и перебрался вверх по улице — как так получилось? Помню, видел, как там один тип нажрался, смешав ром с коксом, и чуть не отдал концы в

туалете. Хочешь, брат, правду? Только между нами. Мне всегда был ближе «Нептун». «Вертушка», сдается мне, как-то мягчает. К тому же там все заполонило диско, а я его терпеть не могу.

Таксист смотрит на меня в зеркальце так долго, что просто удивительно, как он до сих пор ни во что не врезался.

— А ты изнанку Кингстона, я вижу, знаешь, — говорит он.

Это меня слегка дезориентирует. «Нептун» мне особо никогда не нравился, а насчет «Цилиндра» я брякнул просто так (готов, кстати, поспорить, что раньше он назывался «Тип-топ»). Если отбросить миф о Мике и Ките, то «Вертушка» стала обыкновенным вертепом, над которым кто-то забыл повесить красный фонарь. Клуб набит под завязку публикой, понятие комендантского часа к которой относится чисто условно. Здесь я взял пива, а через минуту-другую меня кто-то легонько постучал по плечу.

— Я буду занимать тебя беседой, пока ты изо всех сил будешь вспоминать мое имя, — сказала она.

— Ты всегда такая умная?

— Нет, просто чтобы облегчить тебе задачу. А то здесь вон сколько темнокожих женщин.

— Мне кажется, ты себя недостаточно ценишь.

— Я себя ценю как надо. Ну а ты со своей стороны? Долго мне от тебя «Хайнекена» ждать?

И далее в таком ключе, пока я не просыпаюсь предрассветной порой, а рядом в постели лежит она — не храпит, а лишь глубоко и ровно вдыхает и выдыхает. Кто знает, может, так во сне дышат все ямайские женщины, просто под гнетом необходимости. Не помню, когда и как она ко мне подлезла, и не делал ли я с нею что-то, чего она мне больше не позволит. В попытке ее разбудить я начинаю ворковать: «Милашка, ну давай же…» Я знаю, как вести себя с ямайками; блин, да и вообще с иностранками. Им нужно давать вести себя за собой. А город этот в самом деле классный. Два года назад один из музыкантов «Крим» угодил в каталажку, когда одна поклонница с Бермуд завопила «насилуют!», хотя он, по его словам, всего лишь предложил ей трахнуться на французский манер. Эту севшую рядом особу я запомнил. Ямаечка, которая рассказывала, что всякий раз, когда хочет вкусить колорита гетто, отправляется в Бруклин. Помнится, я тогда безудержно хохотал. Темная-темная кожа, прямые-прямые волосы и голос, который никоим образом нельзя назвать нежным. Ну никак. Разу-

меется, в ту ночь мы с ней спали, а до этого оба ходили на концерт «суперсоул», где жуткую скуку на всех нагнали «Темптейшнз», и ни ей, ни мне не было прикольно. Сказать по правде, видеть ее в «Вертушке» стало для меня большой радостью. Хотя прошел год.

— Ну что, вспомнил имя? — спросила она, когда мы вышли наружу к такси (я и не знал, что оно меня ждет). Таксист кивнул, хотя непонятно, одобрительно или наоборот. — Я спрашиваю, вспомнил или нет?

— Нет, но ты жутко напоминаешь мне девушку, которую, я знаю, звали Аиша.

— Водитель, в каком отеле он живет?

— В «Скайлайн», мисс.

— А. Ну так, значит, там простыни чистые.

Она спит на моей постели, а я, абсолютно голый, стою и смотрю в зеркало на свой живот. И когда он успел стать таким рыхлым? Вот у Мика Джаггера вообще живота нет. Я включаю радио и тотчас слышу, как премьер-министр бравым голосом объявляет по стране двухнедельную готовность к выборам. Черт, как все неоднозначно… Я прикидываю, что сейчас думает Певец, ангажированный правительством гнать положительную волну в преддверии своего концерта. Ну

а как оно еще могло быть, когда вожди третьего мира упиваются своей значимостью на фоне общего энтузиазма? Все очень к месту. Мне предстоит обед, а точнее кофе, с Марком Лэнсингом. Прошлым вечером я неожиданно столкнулся с ним в вестибюле отеля «Пегас», после очередного обрыва электричества. Спустился за куревом, но магазинчик внизу уже закрылся, и я потопал в «Пегас» — и кого, вы думаете, я там увидел в холле, причем с таким видом, будто он специально ждет с кем-то свидания? Вот-вот, именно его.

— Ну, как дела у нашего Антониони? — спросил я, а он два раза хихикнул, не зная, отвечать всерьез или шуткой.

— Занят донельзя своим собственным проектом, хотя предложения тоже поступают, — сказал Марк Лэнсинг.

Я был не прочь спросить его, что он думает о внезапном объявлении насчет выборов, но его наверняка бы ошеломили мои серьезные вопросы о политике. И в ответ он или сморозил бы какую-нибудь фигню, или стал расспрашивать, зачем мне все это, когда я всего лишь пишу для музыкального еженедельника, который он, по его словам, регулярно читает.

В какой-то момент я проронил, что мне бы

очень хотелось улучить полчасика с Певцом; или же он об этом от кого-то слышал, потому что чувствовал, что мне от него что-то нужно. Я помню, помню в точности его слова: «*Бедолага ты наш. Может, я что-нибудь и смогу для тебя сделать*». Я не послал этого козла на три эротических направления только потому, что, как ни странно, мне в эту секунду было его жаль. Ведь этот лузер годами ждал и грезил, что окажется на высоте положения.

И вот сегодня мне предстоит с ним обедать, с тем чтобы он поведал, как ему крутейше предстоит отснять Певца своей дорогущей камерой (слово *крутейше* звучит у него с нарочитым смаком). О том, что камера дорогущая, он мне сказать не преминул, но марки и модели не назвал, думая, наверное, что я в этом все равно не смыслю. Гребаный кретин так, наверное, и заснул с глупой ухмылкой на губах, говоря про себя: «Глянь сюда, мазафакер: я в кои-то веки круче тебя».

Ну, а мне пока нужно по-быстрому перехватить кофе, после чего я уж задам жару Аише. Она еще спит, но скоро ей точно будет не до сна.

Папа Ло

Люди вроде меня любят вести разговоры, все это знают. Мы ведем беседы с Певцом, потому что он тоже любитель поговорить, и даже когда берет гитару и выщипывает из нее всякие «измы» и «шизмы», беседа все равно не прерывается. И даже когда он рифмует «измы» с «шизмами», то все равно ждет, когда ты ему что-то на это скажешь, ведь у нас беседа. Так-то. Регги — это не более чем разговор человека, его беседа с другими, обсуждение, перетирание туда-сюда, я бы так сказал.

Но вот в чем дело. Кто-то разговаривать не любит. И точно так же, как человек, любящий поговорить, составляет пару с человеком, тоже любящим это дело, так и тот, кто не разговаривает, сцепляется с таким же, как он. Человек, кто склонен тихушничать, вяжется с таким же тихушником. Идешь, бывало, на вечеринку — вечеринку для своих — и видишь, как Джоси Уэйлс притягивается к кому-то или, наоборот, к нему кто-то притягивается, и они оба помалкивают эдак со значением. Тихушничают. А вот нынешняя ночь выдалась особенно жаркой, без луны, и день пока едва народился. Я задремываю всего на

час, а просыпаюсь с беспокойством в душе. Вот уже давно, даже слишком, в моей голове заперто что-то, что должно выйти у меня изо рта. Если б я был писатель, оно излилось бы у меня на бумаге. А если католик, то раскатилось бы по всей исповедальне.

Моя женщина похлябала на кухню вскипятить чаю и сготовить тушеную свинину с бататом. Она знает, что именно я люблю, и посмеивается, когда я ворчу на нее насчет ее ночных всхрапываний и бормотаний. «Когда я издаю ночью другие звуки, ты почему-то не жалуешься», — говорит она и аппетитно виляет задом в сторону кухни. Я успеваю дотянуться и шлепнуть по нему, а она оборачивается и говорит: «Смотри у меня, скажу твоему другу-певцу, что ты втихомолку уминаешь свинину». Секунду я думаю, что она серьезно, но она смеется и уходит, напевая «Свиданьице с любимой». Некоторых мужчин женщины так и не могут отучить от того, чтобы они хватались за других баб. Моя смогла. Но даже она ничего не может поделать с беспокойством в моей душе. Она может сделать еду вкуснее, нежней погладить меня по голове; знает, когда сказать людям: «Сегодня возле дома не ошивайтесь и Папу не тревожьте»; но она знает, что не в ее силах найти

слова, которые успокоят мой дух.

Может, потому, что на дворе декабрь. В конце концов, лишь прочитав Книгу Бытия, можно дойти до Откровения, не так ли? Вход в декабрь заставляет меня размышлять о январе. И не только потому, что ННП развалила страну. Всем известно, что на Ямайку просочились коммуняки. Сюда приезжает все больше и больше кубинцев, но никто не задумывается, что все больше и больше ямайцев уезжает *туда*. А приезжают они к нам с таким умением обращаться с «АК-47», будто с ним в руках и родились. Или взять школу, что строится в Сент-Кэтрин: ни один из строителей толком не говорит на английском. А затем, не успел сам Бог спросить: «А ну-ка, минуточку, что здесь происходит?», как каждого второго врача в больницах уже кличут Эрнесто или Пабло. Но январь отнимает что-то от меня и отдает Джоси Уэйлсу. И на сегодня это знает каждый.

В первых числах декабря, еще не дав мне какой-нибудь работы, денег или еще какого ни на есть подношения к Рождеству, Питер Нэссер отправил мне послание. Он сказал: «Передай своим людям, чтобы к Новому году и далее заготавливали больше бананов, жарили больше ямса, пекли больше картошки и настаивали больше рома, а

вот пирожки во фритюре жарить перестали бы, и вообще забыли о мучном». Я даже не упомню от него добрых слов — да что там, не помню даже, как эта записка пришла к нам и разошлась. Возможно, и вообще не узнал бы, кабы не птичье радио.

Впервые это случилось тридцатого декабря. Второго января еще трижды. Ну а затем, двадцать второго, Господь оставил Сен-Томас. У тринадцати человек, родных и близких, разболелась голова, начались рвота и судороги, кое-кто ослеп. Они не переставая срали и срали, падали в обморок, приходили в себя и снова отключались, трясясь так, будто Бог поразил их молнией. И даже уже мертвые, они продолжали срать и трястись трясом. А умерли все в один и тот же день после одного и того же обеда. Молва разнеслась, как полиомиелит в шестьдесят четвертом; многие от испуга попрятались. «В му́ке, в му́ке, в му́ке!» — звенела тревожная весть. В муке таится смерть, и это отпечаталось на сердцах семнадцати человек. На следующий день министр здравоохранения заявил, что уцененная мука, прибывшая на Ямайку немецким кораблем, отравлена гербицидом под названием «тещин яд». Однако Ямайка с ядом знакома; он был здесь под запретом еще до

того, как на экраны вышли «Одиннадцать друзей Оушена»[88].

Питер Нэссер объявился в январе. Он, как всегда, обнял меня, но вопросы задавал Джоси Уэйлсу, насчет того, как поживает с новым аккумулятором его «Датсун», и меня удивило, что ему до этого есть дело. А со мной он разговаривал тоном иным, чем с Джоси Уэйлсом. Насчет того, что МВФ — это сокращенно от «Мэнли Виноват во Фсём», потому как не может не то что спасти страну или защитить ее, а хотя бы контролировать. Забавно, что с Джоси он говорил об аккумуляторе, его девице и приглашал во вторник повстречаться на стендовой стрельбе, а со мной вел речь о политике. Я рассказывал Джоси Уэйлсу, Китаёзу, Ревуну и еще кое-кому, что некий белый бизнесмен и политик приезжали удостовериться, что премьер-министр способен руководить страной. А когда проверка закончилась, они уже даже не были уверены, что он способен руководить хотя бы Кингстоном.

Никогда не нужно было отдельно убеждаться, что ННП делает хоть что-то для кого-нибудь, кроме как для себя самой. ЛПЯ пришла в гетто

---

[88] Примечания: 88

«Одиннадцать друзей Оушена» — кинофильм 1960 года, поставленный Л. Майлстоуном.

без упрашиваний — в пятидесятых, когда я еще занимался школой, — и превратила тот клоповник в здание вроде того, что кажут по телику в комедийных «Добрых временах». Затем построился Копенгаген, и моя мать впервые в жизни узнала, что такое отдельная ванна. Вокруг шла только болтовня, и ННП пришла в эти места только после того, как построился Копенгаген, и наспех возвела эту хрень под названием Восемь Проулков. И эти самые проулки она заселила только людьми от ННП, чтобы противостоять нам, однако здесь стрелять умеет каждый дурак. Но кто выигрывает Западный Кингстон, тому достается Кингстон, а кто выигрывает Кингстон, тому достается Ямайка. И в семьдесят четвертом году ННП выпускает из Джунглей двух зверей, звать которых, соответственно, Бантин-Бэнтон и Тряпка. Западного Кингстона ННП не видать — это было и остается фактом, — и тогда они создают препятствие: строят целый новый район и называют его Центральным Кингстоном, загрузив его, само собой, своими людьми. Кого они туда сажают? Само собой, Бантин-Бэнтона и Тряпку. До них, этих двоих, война в гетто всегда была войной ножей. Их банда насчитывала три десятка человек, и они рассекали по Кингстону

на черно-красных мотоциклах — ж-ж-ж, ж-ж-ж, как стая шмелей. И когда Бантин-Бэнтон и Тряпка напали на нас прямо на похоронах, мы сразу поняли, что игре теперь заданы новые правила. Сейчас народ толком не углубляется, кто все это начал, и из приличия историю гетто не ворошат. А между тем начали все как раз Бантин-Бэнтон с Тряпкой. И вот когда в семьдесят втором году выборы выиграла ННП, тогда весь этот ад и разверзся.

Сперва они повыгоняли наших с работ, которые были под нами уже четыре года. Затем начали вытеснять нас из города, будто мы какая-то шпана, а они — Уайатт Эрп[89]. Стали даже совершать нападения; один раз даже искрошили активиста, связанного с их собственной партией, потому что он сказал рабочим забастовать. Затем в прошлом году, примерно об эту же пору, к офису ЛПЯ на Ретайрмент-роуд подъехал белый фургон и просто встал. Он загородил собой обзор, и тут они взялись как из ниоткуда, эти пчелы-убийцы; банда Бэнтона и Тряпки прижужжала на своих моциках. Они покрушили мебель, изорвали документы, испинали мужчину, излупцевали

[89] Примечания: 89

Уайатт Эрп (1848–1929) — американский страж закона и картежник времен освоения американского Запада.

женщину, изнасиловали обоих и унеслись. И что примечательно, никто из бандитов не вымолвил при этом ни единого слова.

Но банда эта была из одних трусов. Они никогда не осмеливались явиться в Копенгаген, тронуть кого-то из главных — так, тяпали да кусали за пальцы рук и ступней, пока я не сказал Питер Нэссеру, что настало, наверное, время спящему гиганту пробудиться. И вот тогда, когда мы свели счеты с их Шестым проулком, все бабы там подняли вой на всю округу, потому что никогда им еще не доводилось сгребать мозги обратно в черепа убитых сыновей. А с Седьмым Проулком мы разделались так, что после нашего ухода там из тех, кто шевелится, оставались лишь ящерицы.

Но они там у себя возомнили, что рулят ННП. Партия устроила им поездку на Кубу. Тряпка, кликуха у которого из-за того, что он растафари и растрепанные дреды у него напоминают ветошь, тоже полетел на Кубу и встретился там на банкете с самим Фиделем Кастро. И надо ж было так случиться, что никто из братии не предупредил его, что там у них национальным блюдом является свинина. Тряпка тогда разгневался, прямо как Христос в храме, где иудеи устроили базар. Перевернул даже стол Кастро. Тряпка стал проблемой

даже для своей партии. Вот тогда-то человек, зовущий себя Жрецом, — единственный, кому позволительно ходить по территории и ЛПЯ, и ННП, — этот самый Жрец мне и позвонил. За тем гаденышем я отправился сам, сказав Китаёзу прийти в бар «Стэнтон», по-тихому, и устроиться где-нибудь у места, откуда выбегают девки, поругиваясь и хватаясь за свои попки, титьки и письки. Китаёз умеет снимать людей одним выстрелом, так что когда он подходит сзади и говорит «вот вам, гады», то бьет в затылок наповал так быстро, что женщины рядом поднимают крик только после третьего выстрела, когда в одну и ту же дырку влетают три пули и на всех фонтаном хлещет кровь. После шестого выстрела Китаёз исчезает как сквозь землю.

В марте семьдесят пятого Шотта Шериф оставил записку в церковной Библии, когда в церковь должен был прийти Бантин-Бэнтон. Прямо там, на Дарлинг-стрит, по пути, где Бантин должен был наведаться к своей женщине, всего в трех домах от моря, следом за его машиной причалил Джоси со своими людьми, и они изрешетили машину Бантина так, что сдох даже двигатель. Похороны Бантин-Бэнтона были целым событием; говорят, на них стеклось тысяч двадцать человек. Сколько

именно, говорить не берусь, но точно знаю, что туда приезжали зам премьера и министр труда.

Но это был семьдесят пятый, а сейчас на дворе декабрь семьдесят шестого, и один год впору сравнить с целым столетием. Потому что каждый человек, что сражается с монстрами, в итоге сам становится монстром, а в Кингстоне есть по меньшей мере одна женщина, считающая меня убийцей всего, имя чему «надежда». Люди думают, что я теряю силы оттого, что переживаю из-за убийства по ошибке школьника, но им невдомек, что теряюсь я оттого, что, казалось бы, должен переживать, но не переживаю. А сейчас моя женщина зовет меня: «А ну-ка, большой босс, иди давай за стол, еда готова».

Нина Берджесс

— Алё?

— Ха! Хвала всемогущему Джа: ты наконец-то продрала глаза. А я, между прочим, сестрёна, третий раз тебя набираю.

Моя сестра Кимми. Всего два предложения, а уже корчит из себя жительницу гетто. Встало ли уже солнце? Неизвестно, отчего я проснулась — от звонка или чтобы это узнать.

— Намаялась за день.

— Рассказывай. Тусила небось напропалую… Слышишь меня? Тусила, говорю, напропалую! А не спросишь меня, что тебе за это причитается?

— Я уже знаю.

— Ты уже знаешь, что тебе причитается?

— Нет. Знаю, что ты мне сейчас это скажешь.

— Ха. Ну у тебя нынче, сестрён, шестеренки в голове крутятся дай бог. Шустренько. Я даже не привыкла к такой твоей сообразительности. Должно быть, сказывается утренний воздух.

У Кимми заведено звонить мне как можно реже, с той самой поры, как она знается с Расом Трентом, сказавшим ей сводить контакты с узниками вавилонской шитстемы к минимуму.

Сам он этих контактов избегает, каждые полтора месяца срываясь в Нью-Йорк. Кимми все дожидается визы, чтобы поехать туда к нему. Казалось бы, сын министра иностранных дел мог бы спроворить визу своей королеве. Но он об этом словно специально не догадывается; хоть бы раз предложил. Впрочем, на Ямайке продается решительно все, в том числе и американская виза, так что, может статься, это лишь дело времени. А впрочем, ладно, у меня сегодня дела.

— Чем могу помочь, Кимми?

— Я тут думала на днях… Что ты знаешь о гарвиизме?

— Ты звонишь мне, э-э…

— Без пятнадцати девять. Без пятнадцати, Нин, без пятнадцати. Девять.

— Девять. Вот черт! Мне ж на работу.

— Никакой работы у тебя нет.

— Но в душ-то все равно надо.

— Так что ты знаешь о гарвиизме?

— Это что, радиовикторина? Алё, я в эфире?

— Не хохми давай.

— Тогда что это за хохма — будить меня спозаранку только затем, чтоб преподать урок обществоведения?

— Вот. И я о том. Для тебя это как будто пустой

звук. Потому-то белые вас так и держат под прессингом, хотя при слове *Гарви* уши у тебя должны навостряться, как у собаки.

— Ты говорила сегодня со своей матерью?

— Она в поряде.

— Это *она* тебе так сказала?

— Мамульке нужно затачивать свою жизнь под борьбу. Только тогда она сможет реально выбраться из-под пресса шитстемы, как народ.

От Раса Трента Кимми понахваталась мудреных словес — вербальный инструментарий, которому наущают англичане, — чтобы перед кем-то ими козырять, пулять, как перец в глаза. Растафарианство с негативизмом не имеет ничего общего, и поэтому слово «угнетение» фигурирует у нее как «прессинг», хотя такого слова в языке и нет. «Посвящать» у Кимми звучит как «затачивать» — бог знает, что вся эта абракадабра значит, но звучит так, будто кто-то пытается создать свою собственную троицу, но забывает имя третьего в ней. Что это за фигня, сестрёна, насчет которой ты меня пытаешь? И слишком уж много труда уходит на то, чтобы ее запомнить. Но ничто не вызывает у Кимми такой симпатии, как непомерные усилия, которые на это тратятся. Особенно в то время, как Рас Трент, возможно, ищет себе другую женщину

— не королеву, как Кимми, но такую, которая будет запросто посасывать ему конец и, может, полизывать анус так, чтобы его «о нет, о нет» переходило в сладострастное «о мине-ет» — все это с киской, при которой ему необязательно умничать. Кимми хочет чего-то конкретного, но все никак не спрашивает, предпочитая, вероятно, выудить это в ходе разговора. Что же касается этого утреннего звонка, то кто знает — может, она просто хочет утвердиться, ощущать себя лучше, чем кто-то другой, а мой номер — одна из немногих комбинаций в восемь цифр, которые она в силах запомнить.

— Я бы назвала его национальным героем.

— Ну вот, по крайней мере, это ты знаешь.

— Он хотел, чтобы темнокожие в конечном итоге вернулись обратно в Африку.

— В каком-то смысле. Но хорошо, хорошо.

— Он был вор, который купил корабль, не способный никуда плыть, но, возможно, не единственный национальный герой, который был вором.

— Так, так. Кто тебе сказал, что он вор? Знаешь ли, оттого, что темнокожие никак не могут пойти путем прогресса, они предпочитают называть ворами своих соплеменников.

— Я и не знала, что настоящее имя Маркуса Гарви — Берджесс. Или Берджесс — это наша настоящая фамилия?

— Вот так ты и говоришь. И это в точности то, что, по его словам, говорят люди вроде тебя.

— Люди вроде меня?

— Необязательно вроде *тебя*. В целом люди, блуждающие во тьме. Выйди из тьмы и иди к свету, сестрёна.

Я могла бы ее заткнуть, но Кимми, как и Рас Трент, с тобой, по сути, не разговаривает. Ей нужен лишь свидетель, а не слушатель.

— Ну а почему звонить мне, если ты уверена, что я не единственная, кто блуждает во тьме? Могла бы набрать кого-нибудь из подружек по твоей супер-пупер-школе. Типа того.

— Сестрёна, если революция когда-нибудь произойдет, то она должна вначале произойти у тебя дома, ты вникаешь?

— Да? А дом Раса Трента, по-твоему, уже освобожден?

— На нем свет клином не сошелся. У меня есть и своя собственная жизнь.

— Разумеется. А сошелся он на Маркусе Гарви.

— Куда, по-твоему, движется твоя жизнь? Все вы, темнокожие, мечетесь, как безголовые куры,

и даже не знаете, почему у вас нет направленности. Ты хотя бы читала «Душу на льду»? Или на сколько с тобой поспорить, что ты не читала ни «Брата Соледада», ни «Как Европа подсидела Африку»?

— Какая ты начитанная… Всегда такой была.

— Книги, они для мудрости. А бывает, что и наоборот.

— Проблема с книгой в том, что никогда не знаешь, куда она ведет, пока в ней не заблудишься… Ну ладно, мне пора в душ.

— Да зачем? Тебе все равно идти некуда.

«А шла бы ты, милая, лесом? Понести от Че Гевары мне не удалось — у него на меня не встал, — так что не попробовать ли накрыть революцию своей вагиной?»

Эти слова едва не срываются с моего языка, но тают там, как сахарная пудра. Я твержу себе, что терплю Кимми, потому что, если б я заговорила с ней таким тоном, как она со мной, она бы не пережила этого. Не перевариваю людей, которых приходится оберегать в то самое время, как они стремятся ужалить тебя побольней. В глубине души она все та же девчонка, которая больше всего на свете любит нравиться, а для себя по-детски желает родиться в нищете и бороться, бороться,

чтобы со всей полнотой ощущать ненависть к обитателям Норбрука. Но когда-нибудь она доиграется, оттолкнув меня слишком далеко или, наоборот, недостаточно сильно. Я продолжаю внушать, что у меня на нее нет времени, хотя кто, как не я, ездила с ней на одно из тех собраний двенадцати племен растаманов (не помню, когда конкретно, но, наверное, в ту самую неделю, когда мы отправились на вечеринку в дом Певца).

Всю дорогу туда она, перекрывая тарахтенье «Фольксвагена», громко вещала о том, что мне надо делать, а что не надо, и чтобы я, чего доброго, не заставила ее краснеть своей неотесанностью. Голосом, скачущим и срывающимся на выбоинах, она наущала, что, когда я въеду в состояние, меня поглотят позитивные вибрации и я заточусь под борьбу за освобождение чернокожих, свободу Африки и Его императорского величества[90]. Или же, может, я уже слишком погрязла во зле и порочности, чтобы меня обуяло хоть что-то позитивное, потому как истинный растафари начинает с того, что распаляет в себе огонь, огонь глубоко внутри, который не загасить стаканом воды, и нельзя пассивно ждать, пока он испа-

[90] Примечания: 90
Имеется в виду император Эфиопии Хайле Селассие I.

рится из твоих пор, словно пот, а необходимо прорвать в своем уме брешь, чтобы он неистово вырвался наружу.

— Ты мне что, об изжоге? — пошутила я последний раз за вечер. Кимми на это удостоила меня взгляда, который она или унаследовала, или переняла от матери; что-то вроде «я, признаться, ожидала от тебя большего».

— Хорошо, что ты хотя бы одета как приличная женщина, — сказала она на самый нудный прикид, который я только смогла сыскать: лиловая юбка до лодыжек, шуршащая при ходьбе, и белая рубашка внапуск. Сланцы (сложно представить, чтобы растафарианцы благосклонно воспринимали женщин на высоких каблуках). Даже не припомню, как я согласилась ехать — мне кажется, я отказывалась, но Кимми вела себя так, будто у нее горела квота на число, как у тех церковных мальчиков-зазывал с университетских кампусов, у которых вид такой, будто их высекут, если они не обеспечат в день определенное число неофитов. Забавно, право. Когда мы приехали на этот сбор в доме на Хоуп-роуд (вид у особняка такой, будто перед ним в свое время стегали кнутами рабов, — два этажа, все из дерева, окна от пола до потолка, огромная веранда), Кимми умолкла.

Всю дорогу сюда она тараторила без умолку, а как только мы прибыли, то словно превратилась в монашку с обетом молчания. Рас Трент был уже здесь и разговаривал с женщиной (прошу прощения, с *дщерью*); больше улыбался, чем говорил, поглаживая бороду и накреняя голову то так, то эдак, в то время как его собеседница — белая, но в растаманской шапке — стояла, сцепив перед собой руки, и излагала что-то вроде утяжеленной американской версии «я *та-ак* рада, что я здесь». Ну а я? Я та-ак рада была наблюдать, как образцово держит себя Кимми; как она ерзает, переминается с ноги на ногу, будто не знает, пройти ли ей туда-сюда, или уйти, или дождаться, пока он обратит на нее внимание. И все это время молчит. Все женщины здесь молчали, кроме той белой, что разговаривала с Трентом. Если б не обилие красного, зеленого и золотистого, да еще джинсовых юбок, я бы подумала, что меня окружают мусульманки.

Далеко в углу три женщины, освещенные открытым огнем, готовят на нем итальянскую по виду еду. Я скована, и маяк внимания движется лишь синхронно с моей головой, поводя своим лучом туда и обратно. Ничего не могу с собой поделать: уже поглядываю на парней, а особенно

на девушек из моей школы, открывших в себе истинный свет растафарианства (хотя они здесь, похоже, только для того, чтобы сделать головняк своим состоятельным родителям). Заниматься сексом с мужчиной, не пользующимся дезодорантом, или женщиной, не бреющей ноги и подмышки, можно лишь до известной поры и в известной степени. Может статься, мужским воплощением истинного растафари является мускусный бык, а женским — рыба. Женщин здесь много, и все они в движении. Постепенно я замечаю, что они чем-нибудь услуживают мужчинам — подают еду, придвигают табуреты, подносят воду, спички для раскуривания «травки», снова еду, наливают сок из больших бутылей. Освящение, раскрепощенность? Черта с два. Живи я в викторианском романе, я бы, по крайней мере, нашла себе мужчин, которые знают, что такое приличная стрижка.

Сестра все так и торчала возле меня, по-прежнему ерзая, — полный контраст с той Кимми, которая, казалось, только за тем сюда и ехала, чтобы демонстрировать свое превосходство надо мною. Как сейчас со своим телефонным звонком, семь последних минут которого я толком и не слушала (время показывали часы у меня над

дверью).

— …канализировать эмоциональную энергию в сторону конструктивных расовых интересов. Массовая жертвенность. Через образование в науке, индустрии и выстраивании характера, с акцентом на массовом образовании и… и… Ты там хоть слушаешь, что я тебе говорю?

— А? Что? Извини, я тут муху пытаюсь прибить.

— Муху? Что за дрянь лазает у тебя по постели?

— Я не в постели, Кимми. И вообще, могу ли я теперь тебя так называть? Рас Трент, наверное, уже успел дать тебе какое-то другое, не рабское имя.

— Он… он зовет меня Мариам. Но это всего лишь между мной, им и теми, кто свободен.

— А-а. Ну ясно.

— И ты, сестрёна, в это число не входишь, пока не решишь обрести свободу.

— Так теперь ты вольна возвратиться в Африку?

— Вопросов нет. Эр Тэ тоже мне это сказал. Возвращение в Африку — даже не самый главный аспект философии Гарви.

«Главный аспект» — слышать такие слова от Кимми крайне нетипично. Да и от Раса Трента,

на то пошло, тоже — он и «растафарианство»-то, наверное, пишет как «раст-во», чтобы покороче. Удивительно, как легко она выводит меня из себя, хотя стервозность во мне, вскипая, неизменно останавливается где-то во рту и наружу не выходит.

Чем дольше Кимми танцует вокруг какого-то вопроса, тем сильнее он, чувствуется, ее бередит.

— Ты звонишь мне по какой-то другой теме, нежели обществоведение? Так ведь, Кимми?

— О чем ты вообще? Я тебе говорю: революция первым делом начинается дома.

— То есть не в кровати?

— Это одно и то же.

Хочется ей сказать, что я устала быть единственной, с кем она чувствует себя в своей тарелке, говоря сверху вниз. В самом деле. И тогда она говорит:

— Ты грязная, мелкая лицемерка.

Наконец-то.

— Это в каком смысле?

— В таком, что ты трахаешься с ним.

— Ты это о чем?

— Ты думала, никто тебя там не заметит? Как ты ошиваешься у его дома, как какая-нибудь потаскуха?

— Я так и не понимаю, о чем ты говоришь.

— Шелли Му-Ян сказала мне, что была уверена, когда проезжала мимо, что видела там тебя. Как ты вчера днем ошивалась у его ворот. Как раз когда она ездила за своими детьми.

— Ну конечно, я такая одна: шоколадная девчонка в спальном районе.

— Когда она ехала обратно с детьми, то снова тебя там видела.

— Ты разговаривала со своей матерью?

— Я знаю, что ты с ним трахаешься.

— Трахаюсь с *кем*?

— С *ним*.

— Это не твое…

— Ну и что? И вот теперь ты поджидаешь его на углу, как проститутка.

— Кимми, тебе больше заняться нечем? Расскажи лучше в очередной раз своей матери, что это шитстема изнасиловала ее и избила ее мужа.

— Маму никто не насиловал.

— Это тебе Раста Трент сказал? Или он сказал тебе, что ее изнасиловал Вавилон? Ну давай же, скажи. Скажи мне, что он тебе сказал, потому как своего мнения у тебя ни херасеньки нет.

— Чего-чего? Что? Маму никто не насиловал. Никто не…

— Учитывая, что Рас Трент в тот момент наверняка охаживал тебя во все дыры, откуда у тебя, блин, такая уверенность?

— Он… он… он просто проверял, поняла?

— А меня он не проверял, когда клал на меня глаз?

— Если и клал, то потому, что он все еще не может забыть меня.

— Эх, Кимми, Кимми… Большинство людей забывают тебя в считаные минуты после того, как с тобой встретились.

— Жаль, что мама с папой не знают, что ты такая мерзкая сука.

— Может быть. Но зато они, наверное, знают, что ты больше не моешь себе кошелку, потому что стала растаманкой… Всё, мне на работу.

— Нет у тебя ни хера никакой работы.

— Но она есть у *тебя*, и почему ты на нее не торопишься? Рас Трент, наверное, обосрался, а жопу-то ему подтереть некому.

— Ты грязная, подлая сука. Под-ла-я.

Обычно я позволяю ей костерить меня, пока она не сбивается с дыхания, но чувствуется, что на этот раз я слегка переборщила. Я умолкаю, потому что чувствую, что мне хочется продолжить. Кимми не видит, что от усилия я даже поджала

губы.

— И… и… и единственно, почему он тебя трахал, это чтобы проверить, крепко ли у тебя в родне друг друга любят.

— То есть дальше он возьмется за маму?

— Тэ всё мне про тебя рассказал.

— Вот именно что твой Тэ всё тебе и говорит. А ты сидишь развесив уши, и за два года тебе в голову не пришло ни единой собственной мысли. Ты хоть сама-то себя слышишь? Втюхиваешь мне о бомбоклате Маркусе Гарви, как училка-историчка. Рас Трент вешает тебе лапшу на уши, как какой-нибудь детсадовке, рассказывает тебе всякую хрень, а ты думаешь: «Хм-м, кому бы теперь все это рассказать, чтобы самой при этом возвыситься, а кого-нибудь принизить?» — и, как обычно, набираешь меня. Мне же эти твои уроки истории побоку, и до твоего Гарви мне никакого дела нет. Как и до твоего раста-бойфренда, который, наверное, в Нью-Йорк шныряет затем, чтобы насасывать там чей-нибудь клитор. И если ты, кстати, надеешься, что твой краснокожий козел-друг поможет тебе раздобыть визу, чтобы ты выяснила, чем он там реально занимается в Нью-Йорке, то, значит, ты еще тупее, чем твоя неразлучная майка «*Университет Ганджи*».

Мне хочется продолжать. Есть чем заняться, но меня просто прет. У меня есть родители, что сидят сейчас, как уточки, и тихо ждут, что к ним снова нагрянут; нагрянут те же ублюдки, чтобы забрать то, что не влезло им в багажники с первого раза. И я готова идти; готова настолько, что мне плевать, если я начну жечь мосты еще до того, как через них перейду, даже если речь идет о моей гребаной сестрице. Я хочу отправиться обратно на Хоуп-роуд и просто встать там у ворот; встать и вопить, вопить, вопить, пока он или не откроет все двери, или не вызовет полицию. А если он вызовет полицию, то я проторчу ночь в каталажке, а назавтра вернусь и буду снова вопить и вопить. И он, черт возьми, мне поможет, потому что если б могла помочь себе я, то я бы плевать хотела и на него, и на этих его «Полуночных рейверов». И он даст мне денег; даст их столько, чтобы я заткнулась; столько, чтобы я вошла в посольство Соединенных Штатов с заднего хода и вышла оттуда с тремя визами — тремя, потому что Кимми ее не захочет, ну и хрен на нее. Хрен, хрен, хрен! Во рту у меня кипят по меньшей мере десять лет моего терпения, и я наконец-то освобождаюсь от этого бремени, браня на чем свет стоит всех, кому нет и кому есть до этого дело. Мне хочется

выплюнуть все это ей в лицо; так, чтобы лопнули ко всем, бомбоклат, хренам ушные перепонки. Но она вешает трубку.

Джоси Уэйлс

Сегодня у меня встреча с Доктором Лавом. День только еще начинался, когда в гостиной зазвонил телефон. Я уже не спал, а шатался по дому, как утреннее привидение. Не успевает Лав поздороваться, как я говорю: «Чувство времени у тебя, Доктор, ну просто охрененное». Он спрашивает, откуда я догадался, что это он. А я отвечаю: «Ты единственный, кто идет на риск получить в башку пулю, беспокоя меня до утреннего чая». Он смеется, повторяет договоренность встретиться в обычном месте и вешает трубку. Ревун так и храпит на диване, хотя будильник был выставлен на полную громкость.

Питер Нэссер познакомил меня с Лавом в тот день, когда приехал сам с американцем Луисом Джонсоном. Потом они оба допустили промах, полагая, что могут контролировать всю связь между мной и этим кубинцем. Но, как мне однажды сказал церковный пастор, человек может не знать человека, но дух знает духа. Он это использовал для объяснения, как находят друг друга пидоры. Насчет последнего мне дела нет и быть не может, а вот первое запало в душу накрепко. Я

даже использую это при судействе. Да, говорить мне можно все, сила слова мне вполне известна, но узнает ли дух духа? Так что, когда я впервые повстречался с Доктором Лавом, мы с ним общались в основном не на словах.

В одну из своих редких поездок по гетто средь бела дня Питер Нэссер подъехал на своем «Вольво» — шел, как сейчас помню, ноябрь семьдесят пятого — и сказал, что у него с собой досрочный подарок к Рождеству. Я посмотрел на него и подумал, что за чушь собачью несет этот сирийский кус говна, и посмотрел на кубинца, думая отделаться и от него, но тот повел глазами так, что я понял: он мыслит примерно как я. Питер Нэссер не затыкается никогда, даже когда трахается, так что молчаливый человек рядом с ним сам по себе привлекает внимание.

Вначале я подумал, что раз Лав с Кубы, то по-английски соображает туго, но потом понял, что он говорит только тогда, когда без этого действительно не обойтись. Высокий, тощий, с бородой, которую он то и дело скребет, а черные кудрявые волосы для врача слишком уж длинноваты. И чем-то похож на Че Гевару, который тоже был врачом. С той разницей, что Доктор Лав пытался убить его как минимум четырежды. «Этот ма-

ленький *maricyn*, этот маленький *putito* даже не кубинец»[91], — повторяет Лав, когда я указываю, что ведь они оба были медики и оба сменили свое мирное поприще на оружие. Частично меня к этому человеку влекла любознательность. «Как так, вместо спасения человеческой жизни перейти к ее отнятию?» — допытывался я. Доктор Лав мне на это невозмутимо отвечал: «Врачи тоже отнимают жизни, *hombre*[92]. Еще как отнимают. Каждый, язви его, день». Когда Питер Нэссер привез его ко мне, то сказал: «Этот человек выведет тебя на совершенно новый уровень».

Во как. Луис Джонсон пытался втолковывать мне внешнюю политику с эдакой заунывной протяжностью, с какой говорят белые, когда думают, что ты по тупости своей не догоняешь. Доктора Лава Луис Джонс знал потому, что они оба были в Заливе Свиней — мелкая показушная попытка Кеннеди оттяпать Кубу, которая оплеухой шлепнула по мордасам всему миру. Для Доктора Лава Залив Свиней — это примерно то же, что для меня шестьдесят шестой год. Я смотрю на него и знаю. Спустя какое-то время Джонсон с Нэссером

---

[91] Примечания: 91
Maricyn (*исп.*) — педераст; putito (*исп.*) — потаскун.

[92] Примечания: 92
Зд.: парень (*исп.*).

уходят (Джонсон хочет отведать суп из бычьих херов, после которого, по словам Нэссера, на жену набрасываешься, как раненый, и шпаришь ее, как шестнадцатилетний). А кубинец остается. Протягивает руку и говорит мне:

— Луис Эрнан Родриго де лас Касас. Хотя все меня зовут Доктор Лав.

— Почему?

— Потому что контрреволюция, *hermano*, это акт любви, а не войны. А я здесь для того, чтобы тебя кое-чему подучить.

— Да я уж от Джонсона достаточно подучился. И послушай, какая такая муха жалит вас в жопу, что вы все время думаете: черные настолько тупы, что их нужно чему-то обучать?

— Уау, *muchacho*, я не хотел тебя обидеть. Но ты ведь тоже меня обижаешь.

— Я обижаю?.. Да я даже не знаю, как тебя звать.

— Вот видишь. Не знаешь, а уже валишь меня в одну кучу с *americano*. Я это по твоему лицу вижу.

— Вот как? Значит, сюда вы добирались разными автобусами?

– *Hermano*, это из-за такого человека, как он и подобные ему, мы просрали Залив Свиней. Из-за

него и всех тех тупых факеров-янки, которые присовывали к этому свой нос. Так что не путай меня в них.

— С ними.

— А, ну да.

— Тогда что у тебя ко мне за дело? Чем хочешь козырнуть?

— Ты слышал о таком Карлосе Шакале?

— Нет.

— Забавно. А он о тебе слышал. Он здесь давно уже хоронится, с той самой поры, как говно стало течь по-крупному, как тут у вас говорят, из-за… фиаско с ОПЕК. Даже, я уверен, кое-кого из ваших баб потягивает. И вот я его кое-чему обучил, потому что, по правде сказать, террорист из него как из говна пуля. Что ни школьник-католик, то непременно грезит быть революционером. Меня от этого аж мутит.

— А ты в самом деле доктор?

— Тебе плохо, *hombre*?

— Нет. Ты по разговору не похож на кубинца.

— Свое обучение я проходил в Осло, *muchacho*.

— Ты видишь где-то здесь мальчиков?

— Ха. Моя ошибка. *Pero todo es un error en este*

рань de mierda[93].

— Ошибка эта в пару раз меньше того дерьма, что сейчас творится в стране, из которой пришел ты.

— *ïPor Dios, hablas espacol?*[94]

Я киваю: «Да».

— А *hombre* из ЦРУ, по-твоему, об этом догадывается?

«Нет», — даю понять я.

— Хочешь кое-что услышать? Только сделай вид, будто ты глухой, все понимаешь, но глухой.

— *ïLouis, por quй me has sacado de mi propio jodido рань para hablar mierda con ese hijo de puta?*

— *Luis, Luis, nada mбs ensйcale al negrito de mierda alguna boberна como una carta bomba. O prйstale el libro de cocina del anarquista, quй sй yo. Йl y sus muchachos son unos comemierdas, pero son ъtiles. Por lo menos por ahora*[95]. Он говорит, Джоси, что ты

---

[93] Примечания: 93

Все это ошибка, но в этой стране дерьмо (*исп.*).

[94] Примечания: 94

— Ради бога, ты говоришь на испанском? (*исп.*)

[95] Примечания: 95

— Луис, почему ты решил говорить за свою страну от имени этого ублюдка?

— Луис, Луис. Ну чему еще учить сраных негритосов, кроме как мастрячить бомбы в конвертах? Или делать кухонную книгу анархиста. Они со своими пацанами часто бывают полезны. Пока, во всяком случае. Хотя и засранцы, все до единого.

ему нравишься.

— Не знаю. Особого дружелюбия я в нем что-то не замечаю.

Доктор Лав смеется. Эдак смотрит и улыбается.

— Всегда полезно знать, кто твои друзья, не правда ли? — спрашивает он. — Ты, кажется, спрашивал, чем я хочу перед тобой козырнуть? Изволь. Давай завтра встретимся в бухте Кингстона, и я все тебе покажу, друг мой.

— Со стороны ЦРУ я привык к разным фокусам.

— Меня ЦРУ не посылало, *amigo*. Я прибыл с приветом от Медельина.

Это было как раз перед рождественскими праздниками, после целого года беспредела, который творили по всему Кингстону ублюдки от ННП. На следующее утро мы с ним договорились встретиться в бухте Кингстона, в даунтауне возле доков. Утро выдалось ленивым, народа вокруг почти не было, только машины стояли в ряд вдоль дороги, которая опоясывала бухту. Видимо, народ работал спозаранку — я не припомню, чтобы кто-то оставлял тут свои машины с вечера; да и забавно, если кто-то решил, что оставлять их в этом месте Кингстона надежнее всего. А что еще забавнее, кто-то здесь по-прежнему жил и даже чувствовал себя неплохо. Кубинец все не появ-

лялся, и я уже начал подумывать, что он меня разыграл. Но что гораздо хуже, я находился в даунтауне без поддержки на территории, где до сих пор шлялись бандюганы Бантин-Бэнтона. Внизу, у бухты, почти все строения смотрелись как в сериалах про Нью-Йорк. «Банк Ямайки», «Банк Новой Шотландии», два отеля, явно в надеждах на иную участь Кингстона, пока его не оседлал Мэнли со своей социал-коммунистической хренью. В общем, я и не заметил, как Доктор Лав приблизился сзади и постучал мне легонько по плечу. Когда я в прыжке обернулся, он приложил палец к губам, призывая соблюдать тишину, а сам при этом все улыбался. Волосы у него были завязаны в пучок, на глазах темные очки, а на самом майка с надписью «Привет, Сквоттер».

Он снял с себя рюкзак и трусцой побежал почти к самому концу дороги. Там стал переходить от машины к машине — возле одних приостанавливался, на другие хмурился. Местами даже нагибался, только непонятно зачем: то ли шины проверить, то ли бампер — хотя, спрашивается, за каким хером? Я начал недоумевать, какого черта вообще сюда приперся. От красного «Фольксвагена» он перескочил к белой «Кортине», оттуда — к белому «Эскорту» и черному «Камаро». Все

продолжал кланяться, но с другой стороны машин. Непонятно, чем он там занимался. Если этот кубинец рассчитывал поднять меня в такую рань и выволочь на враждебную территорию для того лишь, чтобы я наблюдал, как он со своим норвежским образованием обчищает машины или вспарывает шины, то, должно быть, он увидел во мне какого-то слишком уж сумасшедшего ямайца. Отбежав от последней машины, он затрусил ко мне, подскакивая, как какая-нибудь егоза-школьница.

– *Amigo,* всего одно слово.

— Чё? Какое еще слово? Какого хера ты…

— Пригнись.

— Чего?

— Пригнись! — уже криком повторил он и пихнул меня вниз.

Крыша красного «Фольксвагена» рванула в воздух, а сама машина отлетела в сторону. Дорога стала содрогаться, как при землетрясении, — асфальтовые волны ходят ходуном, как под морским ветром, — и тут грохнула «Кортина». «Эскорт» взорвался в два хлопка, от которых его подкинуло вверх, а приземлился он на то, что осталось от «Кортины». «Камаро» остался на месте, только с оторванным передком и колесом,

шина от которого полетела летающей тарелкой. Доктор Лав каждый взрыв встречал гоготом, при каждом громовом ударе улюлюкая, как пацан. Не знаю, погиб ли при этом кто-то, — хотя вряд ли. Всюду бьется стекло, вопят люди. Все это время я, распластанный, лежу на дороге, а надо мной как безумный гогочет этот кубинец.

— Ну что, *amigo*, еще не впечатлился?

— Дур-рак! Если кто-то увидит меня, то решат, что за всем этим стою я!

— Ну и пусть решат. Ты хочешь впечатлить Мадельин или нет? Или ты Иоанн Креститель? Дай мне знать, только быстро, чтобы я отправился на поиски Христа.

Луис Эрнан Родриго де лас Касас. Доктор Лав. Пару месяцев назад из аэропорта «Сьюэлл» вылетел самолет авиакомпании «Кубана», взяв курс с Барбадоса на Ямайку. Через двенадцать минут на высоте восемнадцать тысяч футов прогремели два взрыва. В той авиакатастрофе погибли все, включая сборную Кубы по фехтованию и пятерых северокорейцев. Кое-чему Доктор Лав бесспорно подучился от ЦРУ, с той самой поры войдя в Совет объединенных революционных организаций (СОРО) — одну из групп, что якобы ежемесячно собирается для обсуждения вопроса,

как избавиться от Фиделя Кастро. Надо отдать Лаву должное: он был, пожалуй, единственным, кто и бровью не повел, уяснив, что я в курсе всей этой хрени. Что до Луиса Джонсона, то ему до сих пор кажется, что я не умею даже читать, и поэтому он без зазрения совести предъявляет мне вверх ногами магазинные прейскуранты с заверением, что это официальная документация. В общем, Доктор Лав почерпнул от Школ Америк довольно многое, и, в частности как отправлять все и вся в царствие небесное к чертям собачьим. Посредством взрывов. А затем и сам стал этому обучать. По его словам, когда взорвался самолет «Кубаны», он находился даже не на Барбадосе, а здесь. И вот объявился снова, возможно потому, что кому-то в Колумбии понадобились на нынешней Ямайке дополнительные глаза и уши.

Ревуна я оставляю лежать на диване, где он так и дрыхнет в своих красных трусах. Теперь парень лежит на спине, рукой прикрывая муди, что, в общем-то, имеет смысл. Рука моя тянется снять с него очки и надеть на себя — посмотреть и, быть может, увидеть, как видит мир он, но что-то меня останавливает; нет, я даже мысль гоню, что это от страха. Его скомканные штаны я поднимаю с пола, потому как моя женщина

терпеть не может такого безобразия на своем полу, и чувствую в районе заднего кармана вздутие. Оказывается, там книга — без обложки и переплетных страниц. Интересно, не на них ли Ревун писал письма своему мужчине в тюрьме? Переворачиваю несколько страниц, и вот оно, заглавие: «Бертран Рассел, “Вопросы философии”». Я спрашивал Доктора Лава, читал ли он когда-нибудь Бертрана Рассела. Тот ответил: «Да, но по сравнению с Хайдеггером[96] Рассел не более чем василек с Нобелевской премией». Не понимаю, о чем он, но выжидаю момента опрокинуть это на Ревуна, как таз холодной воды. Но я оставил его спящим, что и к лучшему: не хочу, чтобы он увязывался за мной.

Когда доходишь до реальной правды про себя, то понимаешь, что единственный человек, способный с ней совладать, это ты сам. Кому-то такое не под силу, вот почему элитные пляжи всегда полны отдыхающих. Некоторые не могут совладать с осознанием того, на что они способны. Мне думалось, что я это знаю, пока Доктор Лав около года назад не преподал мне урок. Орандж-стрит, двор многоквартирки, полный обездвиженных

[96] Примечания: 96

Мартин Хайдеггер (1889–1976) — немецкий философ-экзистенциалист, оказал значительное влияние на европейскую философию XX в.

говнюков от ННП.

— Ты хочешь впечатлить какую-то более крупную… как там у вас говорится, акулу?

— Не акулу — рыбу.

— Да, рыбу. Более крупную рыбу, чем Питер Нэссер?

— Если ты про голову, то я уже…

— Бери больше, *chico*. Больше, чем всю эту страну. Мы используем пуэрториканцев и багамцев, но и те и другие в большинстве своем засранцы.

— Не понимаю, Луис, о чем ты говоришь.

— Да все ты понимаешь. Ну да ладно, предположим, что я тебе поверил: до тебя не доходит. А между тем я насчет подарка, о котором ты якобы не догадываешься, но который так нужен Америке. Тот подарок из Боготы нуждается в новом… как там у вас говорится? Санта-Клаусе. Потому что в Пуэрто-Рико Санта до неимоверности зажирел, а те Санты, что на Багамах, не годятся в силу своей глуповатости. Кроме того, наши усилия по освобождению Кубы от ее импотентского *hijo de puta*[97] из католической школы имеют больший шанс на успех, если будут исходить именно отсюда. Поскольку Ямайка с Кубой — целующиеся

---

[97] Примечания: 97
Сукина сына (*исп.*).

кузены, разве нет?

Питер Нэссер думает, что ЦРУ прислало Доктора Лава затем, чтобы тот обучал меня, как лучше служить ему. Питер Нэссер из тех людей, что не видят разницы, трахают ли они своих жен как следует или так себе. Цэрэушники выглядят так, будто знают ох как много, но на деле может статься, что им на все наплевать. В человеке мне нравится, когда ему все равно, что делает враг его врага, пока он остается врагом этого врага. Взять того же Доктора Лава: он прибыл на Ямайку по авиабилету ЦРУ, но с указанием от Медельина. Той ночью на Орандж-стрит он впервые показал мне, как пользоваться С-4[98].

– *Hola, mi amigo*[99].

— Джозеф! Друг мой, сколько лет, сколько зим!

Насчет «зим» — это все же лишнее: в прошлый раз мы с ним виделись всего пару месяцев назад. До бухты Полумесяца ехать отсюда недалеко, но ее еще надо отыскать. Старый причал, который использовали еще испанцы, затем британцы в дни рабства, а одно время даже пираты. Это одно из тех мест, куда прибывают и откуда убывают

---

[98] Примечания: 98
Пластиковая взрывчатка.

[99] Примечания: 99
Приветствую, мой друг (*исп.*).

грузы, до которых никому не должно быть дела. Издали я различаю его на верхотуре. К тому времени как я спускаюсь к берегу, Доктор Лав подбегает ко мне и чмокает в щеку. Ох уж эта привычка латиносов целовать всех подряд!.. Я на это смотрю сквозь пальцы, хотя если б меня чмокнул кое-кто другой, с попой и сисями, это было бы другое дело. В отдалении на пустыре мыкается Луис Джонсон, пытаясь с грехом пополам скрыть от глаз свой «Форд Кортину». Или от ушей, потому как мотор у него не заглушен. Хорошо, что он не вылезает из машины наружу. А то как бы Лав не сболтнул при нем лишку. Я уже смекнул, что этот *hermano* грешен слабостью поболтать.

— Вот что скажу, *mi amigo*, — озабоченно говорит он. — Дела у нас жарче и туже, чем анус у толстухи.

— Что, на Барбадосе все серьезно?

— Серьезнее только *Madre de Dios*[100]. Хотя технически это были уже нейтральные воды. Как видишь, *chico*, борьба за освобождение не может обходиться без жертв.

— Задача была впечатлить Медельин?

— Одна бомба — впечатлить Медельин, другая

---

[100] Примечания: 100
Матерь Божья (*исп.*).

— впечатлить себя. Хотя что я могу знать? Я ведь в это время, ха-ха, находился в Венесуэле.

— Сила волшебства.

— И теперь то же самое должен осуществить ты, *hermano*.

— Взорвать самолет, что ли?

— Я тебе сказал, повторяю еще раз: ни о каких взрывах самолетов я слыхом не слыхивал.

— Так что мне нужно делать?

— Ты должен сделать это так, чтобы не ты их позвал, а они тебя. Не давай мне повода в тебе усомниться, Джозеф.

— После нынешнего вечера никто во мне не усомнится.

— Впечатли их, *hermano*.

— Братуха, да я хоть весь мир готов впечатлить. Ты сюда к нам надолго?

— До той самой поры, Джозеф, пока существует и ширится угроза коммунизма.

— А у нас говорят, он социал-демократ.

— Социализм — это теория, а коммунизм — практика. Тебе нужно сделать кое-какие «бабахи». Короче, громыхнуть от души. Большие люди смотрят.

— Что ж мне, всю Хоуп-роуд снести с помощью…

— Знать ничего не желаю. У меня, кстати, в машине кое-какие подарки: три или четыре Си-4. Как с ними действовать, я тебе уже показывал.

— Ну их к бомбоклату, эти бомбы. Ей-богу, Луис. Сколько раз тебе это говорить?

— Джозеф, я просто выкладываю перед тобой все карты. А ты…

— А он знает, что у него в машине взрывалки?

— Этот кретин не знает даже, откуда ссать, а откуда срать: из хера или из жопы.

— И все-таки я предпочитаю работать один на один. А то ведь этот мандюк, стоит мне при нем зашевелиться, догадается, откуда дует ветер.

— Да чего нам тихушничать… В общем, я остаюсь здесь, а ты берешься за дело. Верши то, чего от тебя ждут, брат мой. Завтра я тебе позвоню. Будем с тобой пить мохито и плевать на портрет импотентского школяра-католика.

— Звони лучше послезавтра. А то завтра дел невпроворот.

Барри Дифлорио

Я понятия не имел, что хренов Кубинец находится на Ямайке. После того, что он сотворил два месяца назад на Барбадосе, я вынужден признать, что крепости нутра этого ублюдка можно позавидовать. Держу пари, что это была затея Луиса Джонсона. С той самой поры, как он покинул Чили, чтобы примкнуть ко мне в Эквадоре, Джонсон как-то деликатно забывает, что работает на меня.

От дома Певца до парикмахерской в Моне всего двадцать минут езды, но благодаря моей благоверной они показались мне парой часов. Сейчас я сижу в своем кабинете при посольстве и жду, когда произойдут события 3 декабря 1976 года. Как раз сегодня, в этот самый день, мы аннулируем визу Певцу, поскольку он подозревается в контрабандном провозе наркотиков в Соединенные Штаты Америки. Доказать это совсем несложно — достаточно сунуть руку ему в задний карман. Из этого нужно раздуть большую шумиху, доподлинное шоу в знак того, что мы, как истинные друзья Ямайки, не намерены сидеть сложа руки и мириться с тем, чтобы в нашей

верной стране-союзнице воцарялось беззаконие. Пресс-релиз я уже написал, начальство его завизировало. Есть у нас и доказательство того, что он состоял в сговоре с известными наркодилерами из Майами и Нью-Йорка, а также водил шашни с людьми сомнительной репутации на Ямайке и за ее пределами, включая как минимум двоих террористов из местных. Это уже задокументировано. Один из них, по кличке Шотта Шериф, дважды судим за убийство и еще теснее связан с нынешней властной верхушкой.

Документы в порядке, директивы даны, по большей части мной самим, особенно после того, как этот сукин сын Адлер соскочил с корабля и принялся петь нашим-вашим своим двуликим анусом. Но я не об этом, а о крутости нрава этого гада. В самом деле. Ведь это фактически дезавуирует то, что мы успели в свое время сделать, и выставляет нас ушастыми олухами, что подписались на нечто, оказавшееся нам не по плечу. Только не надо корчить мину, будто добрая половина того, о чем тебе приходится со стыдом вспоминать, не вызвана самим тобой. Слава богу, что я хоть не перенял его гребаную методу прослушки. Возможно, он все еще пошучивает в каких-нибудь странах, что дают ему у

себя приткнуться, над той своей непрухой в Эквадоре, когда горничные отеля «Вилла Хильда», войдя в номер, застукали его за попыткой подслушать Мануэля Арайю[101]. Или над эпизодом, когда он пытался убедить индийцев-охранников в чехословацком посольстве, что да, *hombres*, ремонтники в самом деле являются на работу в пять утра, даже в Латинской Америке. Шутки шутками, но из-за его кидалова и экстренного вывода из игры десяти полевых агентов пришлось в экстренном порядке вводить семь новых. У нас не было даже времени для полной апробации, иначе я ни за что не одобрил бы кандидатуру Луиса Джонсона — во всяком случае, поступления с ним еще и Кубинца как части пакетной сделки. Этот остров так и кишит гребаными кубинцами, о коммуняках уж и говорить нечего.

Да, я могу себе представить, зачем он здесь, даже по собственному почину. Чего я не могу уяснить, так это того, зачем он делает из этого такое публичное представление — публичное во всяком случае для нас, в отличие от Карлоса Шакала, который хотя тоже торчит здесь, но лежит на дне, почесывая пузо, пока бляди у него отсасывают. У

[101] Примечания: 101

Мануэль Арайя — личный помощник и водитель чилийского поэта и политического деятеля Пабло Неруды.

этих двоих есть история. Мне платят за то, чтобы я был насчет нее в курсе. Ходит слух, что Эрнан Родриго де лас Касас научил Карлоса применять С-4. Динамит тоже, но Касас всегда испытывал слабость именно к этим зарядным устройствам. В этом году на Ямайку он приезжает уже не в первый раз. И в обоих случаях, как только он сюда приезжал, здесь начинались подрывы.

У моего кабинета четыре стены и одно окно с видом на площадку через дорогу, где толкутся ямайцы, с шести утра занимающие очередь за визой. Мэнли сказал им, что в Майами летает шесть рейсов в неделю; кто хочет улететь — скатертью дорога. После того как «Пан Американ» объявляет о приостановке сообщения между Кингстоном и материком, очередь начинает растягиваться на целый квартал. Жест слабый, примерно из той же оперы, что зарок ямайских женщин не предоставлять сексуальные услуги до тех пор, пока правительство не начнет проведение конкретных реформ. Но приходится учить людей хотя бы маленьким жестам — в надежде, что из них вызреют большие.

Досье Луиса Эрнана Родриго де лас Касаса, что лежит передо мной, достаточно короткое. Короткое, понятное дело, в фигуральном смысле. Для

того чтобы иметь о Касасе реальное представление, нужно ознакомиться с пятью папками, а не с одной. Одну из них я беру со стола (запросил ее у Сэлли, как только увидел его гуляющим в паре с Луисом Джонсоном). Эта папка синего цвета. Я раскрываю ее и узнаю в ней множество имен. Фредди Луго, Эрнан Рикардо Лозано из «Альфа-66»; Орландо Бош, верткий венесуэльский змей немелкого пошиба; двое, известных исключительно как Гаэль и Фредди (по всей видимости, из «Омега-7»), и де лас Касас. Все из «Объединенных революционных бригад», все агенты «Амблад», и все, как один, ветераны Залива Свиней. Год у них выдался хлопотный, начиная со сходки в Доминиканской Республике для создания их пресловутого Совета — совещательного органа, о котором Контора, можно подумать, не имеет понятия.

В июле на бетонке Кингстонского аэропорта, перед вылетом на Кубу рейса Вест-Индской авиакомпании, взорвался красный чемодан. Офисы этой авиакомпании на Барбадосе, «Эйр Панамы» в Колумбии, «Иберии» и «Нанако лайн» в Коста-Рике (все так или иначе связаны с «Кубаной») подверглись атакам бомбистов. Был убит кубинский дипломат в Мексике и еще двое в Аргентине.

Затем в сентябре в округе Колумбия был застрелен Орландо Летельер[102] — дело рук, скорее всего, пиночетовской ДИНА, но есть и еще имена, те же гребаные имена, что высвечиваются всякий раз, когда всплывает тема Латинской Америки. Затем был еще пожар в Гайане, в котором погибло лишь кубинское рыболовецкое оборудование. В июне этого года — если конкретно, то четырнадцатого числа — у себя в гостиной от ножевых ранений скончался перуанский посол Фернандо Родригес, после чего правительство Ямайки ввело в стране чрезвычайное положение.

Преступность здесь чувствует себя на редкость вольготно, и особенно в этом году; при этом особенность ямайской преступности в том, что она по большей части структурирована и носит направленный характер. Всякий раз, когда она продвигается в спальные районы, возникает ощущение, что кто-то активизирует ее намеренно. Я встречал здесь людей с обеих враждующих сторон — десятки и десятки быков, сорвавшихся с привязи в посудной лавке. Но даже по их меркам, по меркам гангстеров, — да что там, даже по меркам тайной полиции Чили, — смерть Родригеса

---

[102] Примечания: 102
Маркос Орландо Летельер — чилийский экономист и дипломат.

была слишком уж скрупулезно спланирована и подогнана, чтоб хотя бы казаться случайной. Взрывные устройства — это почерк Кубинца, всем это известно, но что-то в этой смерти попахивает им, вот прямо смердит, и всё тут. Конечно же, правительство США, по нашей информации, не усматривало в гибели посла никакой предварительной подоплеки, и остается лишь надеяться, что тот, кто совершил это гнусное злодеяние, а также те из власть имущих, что поддерживали и обеспечивали его осуществление, рано или поздно предстанут перед судом.

Бог ты мой, с каждым днем я все больше напоминаю своей риторикой Генри Киссинджера…

— Сэлли?

— Да, сэр.

— Ты можешь навести справки, куда пошел Луис Джонсон?

— Сей момент, сэр.

Я отпускаю кнопку громкой связи и оглядываю мой стол. Жена у меня ни разу не пересекала порог этого кабинета, а вот Киссинджер — да, ты слышала, дорогая? Поцелуй меня в бедро! В январе, первые дни по приезде сюда, моей первейшей работой было нянчиться с Генрихом (как его все называют за глаза), недельное пребывание

которого на Ямайке как-то не складывалось. А сегодня по дороге к парикмахеру, после очередной мирной драчки, моя жена повела себя поистине странно. Она на меня посмотрела. Во всяком случае, мне так подумалось. Я все время пялился перед собой на дорогу, направляясь вверх по Хоуп-роуд в Мону, но на сегодня я научился четко улавливать, когда на меня смотрят. Так вот она, судя по всему, посмотрела на меня и сказала:

— Знаешь, какое слово, как я выяснила, меня прикалывает? Вот прямо-таки нравится, пусть и не в прямом смысле, но заставляет хихикать, когда я его слышу. А, Барри?

— Нет, дорогая.

– *Непристойный*. Не-при-стой-ный. Одно из тех словечек, которое используют некоторые люди вроде тебя. Я раньше даже не обращала внимания, в какой я, можно сказать, интимной близости сосуществую с этим словцом: *не-при-стой-ный*. Не проходит и дня, чтобы я не сталкивалась или хотя бы не раздражалась чем-нибудь непристойным.

— Уау. У нас уже формируется свой словарь. Дань благодарной памяти Йельскому университету.

— У всех свои причуды. Но знаешь, Барри, меня всегда пробивает на «хи-хи», когда кто-нибудь из

таких, как ты, произносит это слово, особенно во время интервью.

— Во как. Что, по телику опять давали Киссинджера?

— Нет, на этот раз все банальней. Посол, к которому у меня сильнейшая антипатия. И в прошлый вторник он на деловом собрании сказал, кажется, мужу Нелли Матар: «Голословные заявления о дестабилизации ложны и непристойны».

— Понятия не имел, что леди твоего круга говорят за ланчем о политике.

— А о чем нам еще говорить? Ни у кого из вас нет члена таких размеров, чтобы он был предметом разговора.

— То есть?

— Ага, ты все-таки меня *слышишь*. Ха. Ну, а если серьезно, то что за ерундистикой ты здесь занимаешься? Будь хоть раз серьезен, Барри. Понятно, я бы лучше расспросила жену Луиса Джонсона, но бедняжка нынче опять запнулась и стукнулась лицом о перила. Вот и…

— Мы следуем туда, куда нас посылает правительство Соединенных Штатов.

— Ой! Дорогой мой, я же не сказала «мы». Я сказала «ты». Про меня говорить нечего: я здесь транжирю время и тешусь чем могу. А вот ты, *ты*

что здесь делаешь? Чем занимался весь истекший месяц? Честное слово, лучше б уж ты имел любовницу. Я была бы, пожалуй, за.

— Я тоже.

— Не льсти себе, Барри. Те дни для тебя пролетели.

«Летела б и ты на хер, вслед за ними».

— Так что ты все-таки здесь делаешь? Выкладывай, удар за ударом.

— Хм, хорошо сказано: удар за ударом.

— Ну а что? На дороге пусто, а ты за несколько недель не сказал мне ничего интересного.

— Ты хочешь от меня разглашения конфиденциальной информации?

— Барри, лучше скажи. Или готовься ближайшие три года спать с открытым глазом, так как, поверь мне, я ведь все равно докопаюсь. Ты же знаешь, какая я становлюсь, стоит мне на что-то настроиться.

— Тебе что, пересказать на память служебную инструкцию?

— Я немногая из немногих, кто понимает между слов, ты не забыл? У меня есть теория: мужчина не всегда получает ту жену, в которой нуждался или хотел бы, — но он всегда получает ту, которую заслуживает. Я не уверена, что женщина об этом

того же мнения. Но в некоем извращенном смысле это одна из черт, которые мне в ней исконно импонируют. «Извращенном» — это потому, что любой нормальный мужик, даже пассивный, на этом месте отвесил бы своей глупышке оплеуху.

— Чем, по-твоему, мы занимались в Эквадоре?

— Бог ты мой, Барри. Я знаю, что ЦРУ…

— Контора.

— Чш-ш-ш. Ясное дело, Контора. Так вот я знаю, что Контора — это не какой-нибудь фонд помощи иностранным государствам от Белого дома. И если вы находитесь в стране, то ей, вероятно, не светит ничего хорошего.

— Извини?

— Извиняйся сам. Ты не пакуешь в спешке детей при каждом переезде.

— Дети. В Эквадоре Айдена у нас еще не было.

— А в Аргентине уже был. Чем же ты там таким занимался и как это связано с той хренью, которую твой шеф втусовывал мужу Нелли Матар?

— Он мне не шеф.

— Да? Я такого от него не слышала.

— Ты в самом деле хочешь знать?

— Да, Барри. Я в самом деле хочу знать.

— Директива задач ЦРУ по Эквадору.

— Ага.

— Приоритет «А».

— Бог мой, ты сейчас в самом деле начнешь пересказывать мне инструкцию?

— Гм. Приоритет «А»: собирать и докладывать разведданные по силам и намерениям коммунистов и иных враждебных политических организаций, включая международную поддержку и влияние в правительстве Эквадора. Приоритет «Б»: собирать и докладывать разведданные о правительстве, силах и намерениях диссидентских политических группировок. Поддерживать высокий уровень агентуры в правительстве, органах безопасности, правящих и оппозиционных политических партиях и особенно среди оппозиционно настроенного военного руководства.

— Я услышала достаточно, Барри. В самом деле.

— Приоритет «В». Пропагандистская и психологическая война: распространять информацию для противодействия антиамериканской пропаганде, нейтрализовывать коммунистическое влияние в общественных организациях, создавать альтернативные структуры. Поддерживать демократических лидеров.

— Я вышла замуж за автомат. Какое отношение, хоть каким-то боком, это имеет к Ямайке?

— Устав у Конторы всего один, дорогуша. Безразмерный, но один на всех. Может, тебе следует внимательней поглядеть вокруг.

— Я гляжу. Поэтому тебе и не верю.

— Что ты имеешь в виду?

— Ничего из этой белиберды не объясняет того, что здесь происходит.

— Двенадцатого января «Уолл-стрит джорнал» назвал Народно-национальную партию Ямайки во главе с Майклом Мэнли самым бездарным из всех прозападных правительств. Февраль — «Майами геральд»: «Ямайка копает себе обрыв». Март — и Сэл Резник из «Нью-Йорк таймс» пишет, что ямайское руководство дает Кубе муштровать свой полицейский контингент и заигрывает с элементами из «Власти Черных». Июль — «Ю Эс ньюс энд уорлд репорт» сообщает, что премьер-министр Ямайки Майкл Мэнли держит курс на коммунистическую Кубу, а «Ньюсуик» заявляет, что на Ямайке находится свыше трех тысяч кубинцев. Резник…

— Боже правый, да хватит об этой болонке Сэле Резнике. Что до кубинцев, то я их здесь не вижу. Мексиканцев и венесуэльцев — да, определенно, но не кубинцев.

— Мерзавец попросил товарный кредит на сто

миллионов, а затем решил, что может срать нам на голову, чокаясь в десны с коммуняками? Тогда не проси кредита, штырь тебе в сраку! Ничего, блин, не проси. И хлебало закрой насчет социализма.

— Социализм-то у него шведский.

— Шведский-фуетский… Что-то ты слишком много знаешь, дорогая.

— А ты сквернословишь как сапожник, дорогой.

— Все «измы» ведут к коммунизму.

— Это кричалка, которой тебя научили в Йеле? «*Смерть коммикам*»? Я давно за тобой замужем, Барри. Очень давно. И знаю тебя насквозь. Когда ты не попадаешь прямым выстрелом — то есть почти всегда, — ты норовишь обдать оппонента поносом.

— Не понял?

— Да чего тут понимать. Кое-что из этого… из того, что ты говоришь… вроде как имеет смысл. Мне кажется. Но это… нет. Нет. Или ты мне что-то недоговариваешь, или же что-то недоговаривают тебе… Боже, какая же ты штафирка. Второразрядный клерк.

— Что ты имеешь в виду под *что-то*?

— Нечто большее. Завязано все на экономике,

это верно, и растет как снежный ком. Но мы-то здесь всего десять месяцев, Барри, а все эти твои мелкие игралки составляют от силы года три; шесть, если считать все то время в Южной Америке. Нет, здесь что-то другое. Буквально вьется в воздухе. Натуральная мистика.

— Что это, мать твою, означает?

— Даже объяснять тебе нет смысла… Стой, приехали.

Папа Ло

Солнце всходит и присаживается в небе на корточки, как будто ему некуда податься. Хотя всего десять утра, жара уже вползает в дом. Сначала через кухню, которая ближе всего к выходу, затем в гостиную — с востока на запад, от кресла к креслу, так что когда я приседаю на тахту возле окна, то чуть не вскакиваю. Покоя так и нет. Священник на исповеди говорил, что человек вроде меня мира не знает и не узнает никогда, и я это принимаю. Но что-то насчет сегодня точит сердце по-особенному и имеет какое-то отношение к Джоси Уэйлсу. Через две недели выборы, и Джоси встречается с Питером Нэссером и Кубинцем, которого я не видел с января. Понятное дело: ЛПЯ нужна победа над страной, и ради нее они пойдут на все.

Кажется, я знаю, что это значит. Джоси затевает что-то такое, на что, им кажется, у меня не хватит сумасбродства. По-своему они правы. За семьдесят шестой год случилось многое. Да, когда тот школяр наскочил на мою пулю, что-то произошло, но, сказать по правде, я просто уже давно устал от вкуса крови. Да он мне никогда

и не нравился. Прошу не путать: человека мне убить раз плюнуть, и еще больше наплевать, что его нет на свете. В некоторых частях города ребенка оставляют без надзора на улице, где он играет в клоачной жиже. А когда заболевание превращает его из младенца в сплошной вопящий, готовый лопнуть от раздутости живот, то ты не сразу, без особой спешки тащишь его в клинику, в которой все равно яблоку негде упасть, и ребенок умирает, пока ты ждешь в очереди, или же ты из жалости прикрываешь его с ночи подушкой и сидишь ждешь — получается все едино, потому как смерть самое лучшее, что ты мог для него сделать.

До выборов всего две недели, и стрельба в городе гремит каждый день. Мы с Шотта Шерифом оба заявляем, что хотим мира, но достаточно бывает всего одного выстрела, будь то «Инфорсеры» в Испанском квартале или банда «Уэнг-Гэнг», которая, по ее словам, никакого хренова договора не подписывала. Достаточно всего одного выстрела. И даже если мира хотим мы, то человеку вроде Питера Нэссера нужно, чтобы его партия победила, неважно как. Мне тоже неважно. Но откуда такой большой шум вокруг каких-то там мелких выборов в небольшой стране? Почему

вдруг мы так резко взнадобились Америке? Дело тут наверняка не в территории и не в заявлении себя. Я думаю о Джоси, обо всех этих американцах, о Питере Нэссере; думаю о Копенгагене, о Восьми Проулках, о Кингстоне, обо всей Ямайке и о мире; размышляю и прикидываю, это что ж за заявление такое должно быть, которое аукается на весь свет? Что собирается делать Джоси, я знаю. Меня встряхивает до костей, отчего грейпфрутовый сок выплескивается на руку и капает на пол. Стакан тоже падает, но задевает об ногу и не разбивается. А сок вытекает и расплывается по полу медленно, как кровь.

— Господи Иисусе, Папа, ты думаешь, мне на дню без этого хлопот мало?

Она нагибается с ведром и тряпкой, а я еще даже понять не успел, что такое произошло. «Иди-ка лучше наружу да чем-нибудь займись», — говорит она. Я выхожу и радуюсь, что на мне только майка-сеточка. Джоси. Если пожар в доме на Орандж-стрит был заявлением недостаточно большим, то какое заявление они сейчас, возможно, готовят без меня — такое, что аж Господь Бог опрокинул на меня грейпфрутовый сок? Нечто такое, в чем мне не место. Что может быть таким большим; таким большим и таким темным, что

даже Папе Ло туда путь заказан? Что делать, я не знаю, но ноги сами начинают идти к дому Джоси Уэйлса. Что-то при виде этого кубинца со слегка ебанутым именем — Доктор Лав — нагоняет в голову тревожные мысли. Последний раз он был здесь в январе; тогда они с Джоси Уэйлсом отправились в даунтаун рядом с территорией ННП и взорвали возле бухты четыре машины, одну за другой. Кубинец сделал это просто из фанфаронства, и убит никто не был, но это «что-то» посеяло в Джоси Уэйлсе какие-то семена, и семена эти все вызревают. Ноги у меня волочатся вперед, а голову влечет назад. Обратно к прошлому декабрю-январю и каждому месяцу, вплоть до нынешнего. Порой смотришь на некоторые вещи, и они всего лишь некоторые вещи. А посмотришь на них под другим углом, и некоторые вещи складываются в одну большую, одну ужасную вещь, ужасную тем более, что прежде ты эту совокупность никогда не складывал.

Январь — месяц нашей последней встречи с Питером Нэссером. Теперь он заезжает и встречается уже с Джоси Уэйлсом. Ко мне заходит лишь сказать, что готовится встреча с МВФ. Дескать, МВФ — это такая кодла больших людей из богатых стран по всему миру, которые решают, давать

ли Ямайке денег, чтобы она вытащила себя за шкирку из ямы для «пук-пуков». Именно так он, Питер Нэссер, и говорит — «пук-пуки», — потому как по-прежнему думает, что замысловатые вещи для аборигенов из гетто надо упрощать, чтобы они въехали своими тупыми мозгами. Я был вот на столько от того, чтобы послать его подальше; уж кто-кто, а я знаю даже разницу между словами «чванливый» и «говорливый», из которых каждое не описывает Нэссера даже наполовину, хоть речь ему из них составь. Питер Нэссер тоже говорит, что если Майкл Мэнли убедит МВФ дать его стране денег, то он пустит их на то, чтобы страна ввергласъ во мрак коммунизма.

Доктор Лав появился с тем, чтобы поведать всем о коммунизме. Как Фидель Кастро сверг великого вождя Батисту и запросто въехал в его дом, поубивав всех, кто за старый мир. О том, как Кастро разрушил все, что было при капитализме — все школы, магазины, — а стриптиз-клуб «Тропикана» оставил, хотя, по слухам, команданте все никак не может найти замену своему убитому сержантишке. Рассказывал Кубинец и про то, что скоро всех там возьмут под замок, совсем как ННП при введенном чрезвычайном положении. Как он сам сидел в тюрьме, а вместе с ним си-

дели совсем невинные люди — врачи, учителя, инженеры, которые, получается, были против коммунизма. Сажали там даже женщин и детей. Однажды его лучший друг попробовал сбежать через брешь в боковой стене, думая, что до дороги там сверху всего десять футов, но это оказался пятидесятифутовый обрыв, а он все равно прыгнул, полагая, что промахнет мимо земли и упадет в море. В море он не приземлился. Вот люди, что Майкл Мэнли думает насадить на Ямайке, а МВФ дает ему на это деньги. «МВФ — это сокращенно Мэнли Виноват во Фсём», — сказал Питер Нэссер.

Едва народился январь, как мы взялись за работу. Американец приехал с багажником, полным всякой всячины, пользоваться которой нас должен научить Кубинец. «Нам бы такое, *muchachos*, тогда, в Заливе Свиней», — все приговаривал он. Когда я его повстречал, он уже знал Джоси, но у меня все не было времени об этом заикнуться. Оружие было совсем не как стволы, ввезенные сюда с шестьдесят шестого по семьдесят второй. Те надо было упирать в плечо, заряжать на один выстрел и стрелять. Наш лучший ствол мог завалить человека разве что прямым попаданием в сердце. А из базуки можно запросто обрушить стену. Я все-таки держусь за свою самозарядную

«M1». Джоси держится за свой старый обрез, но не говорит американцу, что у него давно припасен «АК-47», хотя Кубинец наверняка об этом догадывается. Кубинца мы отвозим подальше на запад, в Мусорные земли, чтобы он там обучал молодежь. Пятого января я веду бригаду на Джонстаун, а Джоси отправляется в Тренчтаун, где в свое время обитал Певец. В Тренчтауне полагают, что это дает им неприкосновенность, но это не так.

Усвойте это, милые и приличные люди. Год выборов знаменуется первыми уличными боями. Гетто всегда начеку, но Джонстаун спит, как будто не знает, что на дворе семьдесят шестой год и всем нужно дремать с одним открытым глазом. Именно за эту их беспечность мне так и хочется их перестрелять.

Мы на пяти машинах; оно и к лучшему, так как ни у кого в Джонстауне нет такой машины, чтобы угнаться за мной. Времени на раздумья у нас нет, и мы просто врываемся, поливая все вокруг градом пуль, и пропарываем место навылет. Назади грузовика у нас человек с базукой. Он целит в бар, но грузовик подскакивает на выбоине, и он в момент выстрела промахивается, попадая вместо бара в домишко с цинковой крышей. Дорога сотрясается. Я кричу, чтобы грузовик остановили

и чтобы целиться с места, но слишком уж много времени уходит на перезарядку. Джонстаун приходит в себя и начинает отвечать огнем, но стреляют по нам из простых шестизарядников и, судя по звуку, из одного «калаша». У нас оружие новей — такое, которое может само находить и уничтожать цель; оружие для таких, как Тони Паваротти, который неторопливо прицеливается и бьет, никогда не тратя патронов понапрасну. Я веду свою машину, а на коленях у меня моя «М1». Я даю по тормозам и делаю выстрел по сгустку убегающей от меня темноты. Сгусток темноты падает, но с правой стороны частят пули и, кажется, цепляют одного-двух наших; точно не знаю. Я кричу всем приготовиться к высадке, но сначала пусть бахнет базука. Наш дурень снова промахивается и попадает в автобусную остановку — стекло и цинк взрываются снопом брызг и разлетаются, шараша по всему осколками, прямо как торнадо по телевизору. Мы выскакиваем наружу.

Джоси Уэйлс отправляется в Тренчтаун вместе с Доктором Лавом и еще одним человеком. Их всего трое. Я кричу, что это безумие, отправляться таким малым числом, но нынче времена у нас такие, что, даже когда я кричу, Джоси Уэйлс

меня не слышит. Они отправляются на его белом «Датсуне». Через день Джоси попадает в рубрику новостей. Его стараниями в Тренчтауне взрываются два двора многоквартирок, семь домов, бар и магазин — все они от пожара сгорают дотла. Мне звонит Питер Нэссер и зачитывает по телефону заметку из «Нью-Йорк таймс»; в конце он отругивает меня за то, что я не хохочу так же громко, как он. Нэссер вешает трубку, а я знаю, кому он позвонит следующему; не упомню только, как и когда Джоси Уэйлсу поставили телефон.

Шестое января. Полиция отвязывается на «Уэнг-Гэнг», потому что та орудует в Уэнг-Сэнге — гетто тоже под ЛПЯ, но мы его не контролируем. Там у охнарей свои планы и графики. И взрывчатка. Двое из них знакомы с Кубинцем, но знают его только под именем Доктор Лав, и они там бахвалятся, что получают оружие напрямую из Америки. Мы на эти поползновения лишь качаем головами, поскольку их не контролируем и есть опасение, что они могут вырасти и стать для нас проблемой покрупнее, чем Шотта Шериф. Что до последнего, то мне представляется, что он, как и я, не спит ночами, изо всех сил вглядываясь в происходящее.

Седьмого января шестеро юнцов из наших об-

стреливают стройплощадку на проезде Маркуса Гарви и убивают двоих полицейских. Я узнаю об этом только потому, что слышу, как громко они пересмеиваются, когда на обратном пути проезжают мимо меня. Тут уж я теряю терпение.

— Это кто, бомбоклат, послал вас устраивать стрельбу на стройке? — спрашиваю я, а старший из юнцов начинает надо мной смеяться. Не успевает он досмеяться, как моя пуля прошивает ему правый глаз и вылетает из затылка.

— Кто, спрашиваю, вас туда посылал? — повторяю я и навожу ствол на еще одного парнишку. И тут происходит такое, чего пером не описать (позже я даже сделал камешком зарубку у себя на стволе). Вся остальная пацанва уставила свои пушки в меня. Я глазам своим не поверил. Стою и смотрю, а они смотрят на меня, всё это молча. И тут один из пацанов, что на меня таращится, падает наотмашь с пробитым черепом, из которого хлещет кровь. Остальные тут же кидают свои пушчонки и начинают реветь в голос, словно вдруг вспоминают, что им всем нет еще и семнадцати. Я оборачиваюсь и вижу Тони Паваротти, смотрящего в прицел винтовки, а рядом с ним — Джоси Уэйлса. Они без слов поворачиваются и уходят. В тот же день на ту же стройплощад-

ку нападает «Уэнг-Гэнг» и убивает еще двоих полицейских. А назавтра наше идиотское правительство издает новый закон: все, при ком найдут ствол, получают пожизненный срок.

Питер Нэссер говорит, что надо посильней надавить на районы ННП, и мы надавливаем. Надавливаем сильнее, чем есть сил у Шотта Шерифа без поддержки Бантин-Бэнтона и Тряпки. Тогда премьер-министр выступает с идеей, чтобы люди для охраны своих домов и улиц нанимали частную охрану. На это в телевизоре появляются люди вроде Питера Нэссера и говорят: «Ямайцы, для описания таких мер у нас есть всего два слова: *тонтон-макуты*. Вы это понимаете?» Нэссер звонит мне затем, чтобы зачитать какую-то статейку из американской газеты, название которой «Уолл-стрит джорнал».

— «*Ямайка не становится коммунистической. Она лишь становится банановой*». Ха-ха-ха! Ну, а ты чего не смеешься, старый крот? Смешно же! Ей-богу, бомбоклат, смешно!

Затем наступает двадцать четвертое января. Семнадцать человек гибнет от отравленной муки.

Десятое февраля. На дело выходят Джоси, Доктор Лав и Тони Паваротти. В Джонстауне и

Тренчтауне один за другим гремят взрывы. В этом же месяце «Уэнг-Гэнг» учиняет стрельбу на дискотеке в Дахани-парк и убивает пятерых, ранено восемь.

Март. Конкретный день не помню. Полиция замечает белый «Датсун» Джоси Уэйлса и следует за ним до самого Копенгагена. Здесь она требует, чтобы водитель вышел, потому что автомобиль конфисковывается. На выручку Джоси вышел весь Копенгаген — кто с камнем, кто с палкой, кто с бутылкой, кто еще с чем, — и полицейские чуть не приняли смерть, как та блудница из Библии. Я помню две вещи. Чтобы спасти полицейских, приехал сам глава партии. А второе: Джоси в этот день стал вроде как народным героем.

Милые приличные люди, и все-таки я от вас кое-что утаиваю. Вы небось думаете, что кровь мне обрыдла после того, как я убил того старшеклассника? Возможно, да, но только отчасти. И то, что я перестал пользовать свой ствол, еще не означает, что я возражаю против того, чтобы свой стал чаще использовать Джоси или даже Тони Паваротти, который пуль на ветер не пускает никогда. Но этот Кубинец, этот проклятый Доктор Лав…

Девятнадцатое мая. Этой даты мне не забыть.

Они с Джоси Уэйлсом отправляются к многоквартирке на Орандж-лейн и все там вынюхивают, как крысы. Но на этот раз берут с собой и меня. Может, для того, чтобы я кое-что увидел, причем не только и не столько взрыв. Из снаряги у Кубинца с собой лишь кусок какой-то белой замазки и моток провода. Во дворе он отыскивает газовый баллон и прилепляет ту замазку к нему. Замазка похожа на жвачку, и у меня мелькает мысль, что это еще за детские шалости и почему Джоси Уэйлс радуется так, что подпрыгивает, как девчонка со скакалкой, но тут Кубинец говорит ему: «Ты взрываешь, а мы в укрытие». Затем он крепит к замазке две жилы провода, а остальной моток разматывает аж за забор.

Со взрывом у дома целиком рушится стена, а то, что не рушится, факелом загорается от газа. У Джоси наготове ствол, чтобы любой, кто попытается спастись, получил пулю, а равно и пожарники, если попытаются спасать погорельцев. Грохнуло так, что я невольно сорвался, бежал. Опасаюсь, как бы после этого некоторые не стали коситься на меня как на труса.

За май, июнь и июль городу пришлось вынести много треволнений. Много перестрадали и братья, и сестры. Война в нашем Вавилоне

перекинулась на Испанский квартал. Полиция прознала секрет, хранимый так, что даже я сейчас говорю о нем впервые. У нас в Копенгагене была своя больница. Была на протяжении нескольких лет. ННП о ней не знала. Не знал и Шотта Шериф; он просто думал, что народ в Копенгагене крепок до неодолимости. Сказать по правде, больница наша снабжалась лучше, чем клиника у богачей в Моне. Не знаю, кто ее сдал, нашу больницу, но фараоны выяснили насчет нее в июне. Они и не знали, что раны там лечат лучше, чем любой доктор на Ямайке. Я до сих пор так и не знаю, кто выдал этот секрет, но этому гаду лучше уповать, что я сыщу его раньше, чем Джоси Уэйлс. Я хотя бы дам ему шесть часов форы на то, чтобы бежать. На своих двоих. Но вот чего я не знал до той поры, пока мне задним числом не сообщила газета.

В июне впервые за долгое время к нам как из ниоткуда нагрянула полиция и поволокла всех нас в тюрягу. К двери на стук подошла моя женщина, но дверь уже распахнули пинком, а женщину саданули дубинкой по лицу. Я собирался сказать: «Кто это сделал, до завтра не доживет», но это только дало бы им повод открыть огонь: они по нему за годы изголодались. Я только слышал, как дверь слетела с петель, а моя женщина

завопила. Я выскочил из ванной и тут увидел, что на меня уставлено полтора десятка автоматных дул. «*Каждый ствол здесь голодает по ганмену. Дай нам только повод, говноед*», — сказал один из непрошеных гостей. И тут я увидел, что это солдаты, а не полиция.

Солдаты в пятнистом камуфляже и черных блестящих сапожках. Солдаты, они ведут себя не так, будто мы — преступники, а они — блюстители закона. Они ведут себя так, будто идет война, а мы в ней — враги. Они проходят по всем домам и дворам, заходят даже в клуб. Причина одна, точнее две: примерно в то же время, как они находят в Копенгагене больницу, в Реме они находят еще и две камеры, которые используют как тюрьму. Ганмены из Ремы, что держат передо мной отчет, похищают из Восьми Проулков двоих олухов и держат их там девять часов, попутно поколачивая. И вот солдаты налетают на нас, выволакивают из домов — кто-то из наших еще в одних трусах, другие вообще обмотаны только полотенцем. Лично я против камеры в Реме не возражаю: есть где поучить уму-разуму мудаков от ННП. Опять же, прошу понять меня правильно: в этой стране Джа мне не нужно никаких «шизмов» и «измов», особенно если речь

идет о коммунизме. Не хочу я ни социализма, ни коммунизма, ни трибализма — не хочу ничего, где восседает ННП. Но беда в том, что мы о планах полиции призвать на подмогу армейцев ничегошеньки не знали. И вот фараоны отволокивают нас в тюрьму и запирают на трое суток — время достаточное, чтобы завонять, зассать и засрать всю камеру выше крыши. В помещении всего одно оконце, я сижу возле него и не говорю ни слова. Ни Джоси, ни Ревуну, никому. А пока мы сидим в тюрьме, в Садах Элизиума взрываются две бомбы.

Доктор Лав, кто же еще.

То есть это, что ли, и *есть* суть? Насчет того, что Певец может быть причастен к афере со скачками в «Кайманас-парке»? Было у них такое событие сколько-то месячной давности. У ямайцев есть поговорка насчет того, что если говно не плывет в определенную сторону, то правду следует искать где-нибудь поблизости. *«Если это не так, значит, это примерно так».* Я на дух не верю, что Певец мог принимать участие в какой-либо афере — любой; это просто безумие. Но при этом я уверен, что кто-то осмотрительно собирает дерьмо и подбрасывает ему за ограду, чтобы воняло. Мой источник рассказал, что однажды среди дня, недели две назад, Певец возвратился из Форт-Кларенс-Бич, что уже само по себе не вяжется со смыслом, потому как даже я, белый и знаток Вавилона, знаю, что по утрам он как часы наведывается на Бафф-Бэй. И похоже, мало кто был в курсе насчет той его поездки в Форт-Кларенс, что тоже любопытно. Туда он отправился с людьми, которые приехали за ним; местные признали из них всего одного. А часа через три он возвратился такой разъяренный, что до скончания дня у него

с лица не сходила густая краснота.

Аиша ушла с час назад. Я у себя в номере все еще валяюсь в постели, занимаясь созерцанием своего живота. Вся эта гребаная поездка — сплошное мудозвонство. Даже не знаю, что я здесь делаю. В смысле, знаю, но… Напоминаю себе папарацци из «Нэшнл инкуайер», чья газетенка стремится сорвать куш на скандальном интервью очередного Дэниела Эллсберга[103].

Только я, пожалуй, еще хуже: мелкий подонок, титрующий фото какого-то уебища всего с одной хитовой песней, которую он все отдрачивает в студии. Вся эта работенка — голимая липа. Все-таки, наверное, не мешало бы перестать пялиться на свой живот и сосредоточиться. Кроме того, чувствовать к себе жалость — это настолько пахнет семьдесят пятым годом… Что-то такое назревает, я это чувствую. Простыни на постели пахнут парфюмом Аиши. Я смотрю на бьющие в окно снопы солнечного света, когда неожиданно звонит телефон.

— Не отвлек от чего-нибудь или кого-нибудь? — спрашивает бойкий голос.

— Здрасте жопожалуйте. Небось все утро эту

[103] Примечания: 103

Дэниел Эллсберг — бывший американский военный аналитик, в 1971 г. передавший прессе секретный сборник «Документы Пентагона».

фразу сочинял?

— Ха-ха. И тебя, Пирс, тем же концом по тому же месту.

Марк Лэнсинг. Надо будет при случае узнать, как эта шахна выщепила мои координаты.

— Хороший денек, правда? Хороший же?

— Отвечу так: из моего гостиничного окна он здорово похож на все остальные.

— Придержи свое гребаное эго. Ты все еще валяешься? Хотя после такой жаркой трудяги-девки немудрено. Тебе, чел, не мешало бы смотреть на жизнь шире.

Что до меня, то я даже не знаю, то ли это оттого, что я здесь единственный из известных ему американцев, то ли он по большому заблуждению думает, что мы с ним кореша.

— Ты что такое несешь, Лэнсинг?

— Да вот думал нынче утром о тебе.

— Чем обязан такому акту благотворительности?

— Да здесь многое. Ты, конечно, чувак пафосный, но ведь я твой друг, так что считаю нужным тебе это сказать.

Хочется сказать, что он мне не друг и что я не подружился бы с ним даже из страха быть отделанным насухую в задницу Сатаной и десятью его

многочленными демонами, но Лэнсинг сейчас в таком настрое, который делает его интересным. Когда ему от тебя чего-то нужно, но спесь мешает озвучить это в открытую.

— В общем, вчера вечером я находился с Певцом в одной комнате.

— Какой такой комнате? Что за бредятину ты несешь, Лэнсинг?

— Я говорил бы с гораздо большей охотой, если б ты меня не перебивал на каждом слове. Тебе мама что, не читала книжек Эмили Пост[104], когда ты рос?

— Я рос с волками, Лэнсинг, они меня и вскормили. Как Маугли.

Я чувствую в себе соблазн не сходить с этой глумливой темы и даже ее усугубить, потому что знаю: ничто его так не злит, как когда я не слушаю, что он там буровит.

— Я вот только недавно размышлял, как это делала моя мать: сама ловила и убивала четырехногое мясо. Не, серьезно, если рассуждать об Эмили Пост, то моя бывшая подр…

— Ну какого хера, Пирс. Твоя гребаная мамаша мне по барабану, да и твоя бывшая подруга

---

[104] Примечания: 104

Эмили Пост (1872–1960) — американская писательница, автор «Энциклопедии этикета».

вместе с нею.

— Жаль. Она была очень даже ничего. Правда, не в твоем вкусе.

Серьезно, я в таком духе могу продолжать хоть весь день. Эх, сейчас бы видеть, как багровеет его рожа.

— Пирс, ну реально — какого хера, *hombre*?

Hombre? Это что-то новое. Не хватало еще дать ему повод подумать, что он только что положил начало какому-то новому жаргону. «Придержи свое эго» — это нас никуда не приведет.

— Ты заикался о сегодняшнем утре. Твои мысли по какой-то причине уткнулись в меня?

— Что? А, ты об этом… Как ни странно, да. Про это утро. В общем, я там был с одним парнем из «Ньюсуик». А еще была какая-то девчонка из «Биллборд» и еще одна, кажется, из «Мелоди мейкер». Ну да. Они все пытали Певца вопросами насчет этого концерта за мир, хотя говорил в основном его менеджер. Да, это была конференция у него на дому.

Врет как срет. Не могло быть никакой пресс-конференции, чтобы я о ней заранее не знал. И почему Лэнсинг ни с того ни с сего вдруг заговорил на кокни?

— Да, все пошло как-то быстро, так что у них,

возможно, просто не было времени связаться с тобой. Но ты не беспокойся, чел. Там от «Роллинг стоун» был какой-то парень; во всяком случае, он сказал, что от «Роллинг стоун», я даже подивился. А ты что, на тех ребят разве больше не работаешь?

— Тот парень из «Роллинг стоун» — как, он сказал, его звать?

— Да бог его ведает; не помню. В ту же секунду, как он сказал «Роллинг стоун», я сразу же подумал о своем добром приятеле Алексе Пирсе.

— Приятеле… Как мило с твоей стороны.

Я напряженно думаю, как бы мне по-вежливому отшить этого жопника и позвонить моему боссу убедиться, правда это или нет. От такого дерьма, как Лэнсинг, всего можно ожидать; подстава вполне в его духе. Как типичный одиночка без друзей, он не умеет объективно оценивать, какая шутка заходит слишком далеко, а какая и вовсе таковой не является. Но если он сказал правду, то это лишь опускает мой драгоценный журнал ниже плинтуса, клянусь Богом. Дерьмо. Гребаное, вонючее дерьмо. Получается, они препоручают журналистику… кому? Кому, блин? Роберту Палмеру? ДеКёртису? А меня тем временем отряжают писать о том, как Бианка Джаггер,

эта гребаная фря с ногтями, точит пилкой свои когти, пока ее супруг записывает какую-то хрень в стиле регги… Нет, в самом деле, если это все, чего от меня хотят, то почему не послать туда просто-напросто гребаного фотографа, с которым, кстати, я еще только должен встретиться?.. Ну их всех на хер. Нет, правда: поголовно и повально.

— И тут я подумал: какой это, наверное, удар для моего кореша Алекса, который все никак не может совершить прорыв…

— Лэнсинг, чего ты хочешь?

— Ну, во-первых, чтобы меня называли Марком.

— А если по правде, то чего тебе надо?

— Я больше думал над тем, что нужно *тебе*, Пирс.

Спустя полчаса я сижу под зонтиком у бассейна отеля «Пегас». Белые мужчины в плавках здесь нажористей, а их жены загорелей — и то и другое означает «богаче», особенно учитывая, насколько эти женщины моложе своих мужчин. Я не знаю, кто они — Кингстон на самом деле не считается раем для туристов, и если люди сюда приезжают, то в основном по бизнесу. Лэнсинг был так убежден, что у него есть нечто, нужное мне, что он каким-то образом убедил и меня. И вот я сейчас

внутренне лавирую между «*что за хрень, Алекс*» и «*может, у него действительно есть что-то, нужное мне*». Мне по-всякому любопытно.

Я жду возле бассейна этого отеля, посматривая на мужчину, не уделяющего никакого внимания двум своим толстожопым детям, сигающим плашмя в воду. Старший только что грянулся пузом так, что эхо от шлепка разнеслось на весь бассейн. Я смотрю, как он, прихрамывая, выбирается на бортик и у него от желания разреветься трясутся губы. Он плаксиво шмыгает носом, но тут оглядывается и видит меня. Плакать при постороннем, само собой, недостойно, но еще позорней реветь перед своим младшим братишкой. На такие повадки маленького толстяка я хочу рассмеяться, но отворачиваюсь, давая бедолаге совладать с собой. Третье декабря тысяча девятьсот семьдесят пятого года, одиннадцать утра. Ровно полчаса с того момента, как меня уволили из «Роллинг стоун». Во всяком случае, так полагаю я. Дело было так. Разговор с шефом у меня все же состоялся.

— Алло?

— Что за хренью, Пирс, ты там занимаешься?

— Привет, босс. Как оно, твое ничего? Как жена, дети?

— Ты, мне кажется, слишком уж переоцениваешь близость наших отношений, Пирс.

— Извини, босс. Чем могу служить?

— А еще ты по наивности думаешь, что я без конца готов выслушивать твою трепотню. Где от тебя, язви его, репортаж?

— В работе.

— Два абзаца насчет того, прилетел ли Мик сраный Джаггер на Ямайку с Бианкой или без? И ты все еще не соизволил мне их прислать? Что, это так уж сложно физически?

— Ищу угол сцепления, босс.

— Он, видите ли, ищет угол… А ну-ка подтверди, что я не ослышался: ты ищешь угол? Я посылал тебя туда не разговоры разговаривать на пресс-сухах, Пирс. А составить всего-навсего хренов фотоотчет, который должен вот уже несколько дней как лежать у меня на столе.

— Босс, прошу, выслушай меня, пожалуйста. Как раз сейчас я оседлал крутую тему. *Реально* крутую. Просто отвал башки.

— Хватит вилять, Пирс. Возомнил о себе невесть что. Напомню: ты из Миннесоты.

— А вот это ранит, серьезно. Однако суть вот в чем. Вокруг Певца затевается какая-то серьезная возня…

— Ты вообще читаешь журнал, для которого пишешь? Об этом у нас уже было в марте. Почитай сам.

— При всем уважении, босс, тот материал — цельнолитой кусок говна. А парень, что его писал, попросту тащился сам от себя и от своей значимости. В том пасквиле нет ничего ни о Певце, ни о том, что реально здесь происходит. А у меня, между прочим, через полчаса встреча с сыном начальника ЦРУ. Да-да: я сказал, ЦРУ. Босс, здесь вот-вот готова рвануть бомба «холодной войны», и…

— Минуточку. Ты, видимо, не расслышал ни одного моего слова. Повторяю, никакой гельветики — *всё*, кроме гельветики, — и ради бога, хоть какой-нибудь снимок Карли Саймон[105] в таком ракурсе, будто она собирается сделать минет Стивену Тайлеру[106]. Алекс, ты слышишь?

— Я здесь, босс.

— Я сказал: о нем материал мы уже делали, о Ямайке тоже. Если же ты хочешь продолжать маяться дурью и не хочешь выполнять то, за

---

[105] Примечания: 105

Карли Саймон — американская поп-исполнительница 1970-х, певица и автор песен.

[106] Примечания: 106

Стивен Тайлер — рок-певец, лидер группы «Аэросмит».

чем я тебя туда послал, то, может, тебе следует позвонить в «Крим»[107].

— А, ну ладно. Может, я в самом деле так и поступлю.

— Не играй со мной в глухой телефон, Пирс. Джексон говорит, что ты до сих пор с ним так и не связался.

— Что за Джексон?

— Фотограф, чума на оба ваши дома.

— А больше сюда ты никого не посылал?

— Тебе там голову напекло? Что ты несешь?

— Ты меня слышал. Здесь от «Роллинг стоун» есть еще кто-то.

— Я в свою вахту таких команд не отдавал.

— Нет, в самом деле. Ты не стал бы посылать сюда какого-нибудь реального журналиста, если б учуял какую-нибудь жареную тему?

— Ямайка, драть ее, не тема. Если кто-то хочет что-то написать от себя самого и при этом не находится у меня на балансе, то флаг ему в руки. Тебе же я, совсем наоборот, плачу. Пока.

— Ага. То есть это не тот случай, что, мол, для Пирса эта тема тяжеловата, он слишком зелен, пошлю-ка я туда настоящих профи?

---

[107] Примечания: 107

«Крим» (Creem) — американский ежемесячный рок-журнал, впервые опубликованный в марте 1969 г.

— «Зеленый» — не тот цвет, Пирс, который ассоциируется у меня с тобой.

— В самом деле? А какой тогда цвет?

— Гм. Через два дня у меня на столе должно лежать фото с Джаггером, хватающим за сиськи какую-нибудь телку. Иначе считай себя уволенным.

— А знаешь что? Знаешь что? Я, пожалуй, сливаюсь с этой темы.

— Не тогда, когда я оплачиваю твою гребаную поездку, Пирс. Но не беспокойся: как только ты притащишь свою отожравшуюся на бананах жопу в Нью-Йорк, я доставлю себе удовольствие лично по ней пнуть, чтобы ты вылетел с работы.

На этом он повесил трубку. Так что технически я уволен, или, во всяком случае, мне это светит. Собственные ощущения по этому поводу мне до конца еще не ясны. Привез ли Джаггер сюда свою жену? Или блондинку, с которой щемится последнее время? И как это скажется на его охоте за черными шлюхами? В эту непростую минуту рядом с собой я увидел Марка Лэнсинга. Смотрелся он в точности как белый человек на обложке разговорника «Говорим по-ямайски». Оливково-зеленые парусиновые штаны закатаны до середины икр; черные кроссовки, майка-алко-

голичка в красно-зелено-золотистую полосу не доходит до пупа. Ну а из заднего кармана небось торчит еще и платок. А на голове-то, бог ты мой, растаманская пидорка с торчащими из-под нее светлыми прядями! Ну просто ветеран движения «Гомы против Вавилона», не иначе. Эх, если бы это занимало меня больше, чем проблема потери работы…

— Мир Алексу Пирсу.

Как-то незаметно он успел сесть на соседний шезлонг, снять штаны, обнажив под ними лиловые «бикини», и заказать себе «Май-тай»[108] — а я всего этого как-то и не заметил.

— Джимбо, и еще пачку сигарет, — скомандовал Лэнсинг официанту. — «Мальборо», а не какой-нибудь там дрючный «Кэмел».

— Сию же минуту, мистер Брандо.

Официант засеменил прочь. Неохотно я подумал, что оправдывается мое подозрение насчет того, что каждый мужик на Ямайке из сферы туризма посасывает конец.

— Алекс, парнище.

— Лэнсинг?

— Должно быть, та мохнажка прошлой ночью

---

[108] Примечания: 108

«Май-тай» — алкогольный коктейль на основе рома.

обаяла тебя не на шутку, раз ты все еще о ней грезишь. Я ведь тебя трижды окликнул. Криком.

— Отвлекся.

— По тебе видно.

Возвратился с сигаретами официант.

— Эй, Джимбо, я просил «Мальборо». А ты мне что принес — «Бенсон и Хеджес»? Я, по-твоему, что, британский гомосек?

— Никак нет, сэр. Тысяча извинений, сэр, но «Мальборо» у нас нет.

— Блин. Тогда за это дерьмо я платить не буду.

— Как скажете, сэр, мистер Брандо.

— Вот так. И замени мне это пойло, пока ты здесь. Вкус как у воды с добавлением «Май-тая».

— Сию же минуту. Приношу извинения, мистер Брандо.

Официант подхватил коктейль и заспешил к бару. Лэнсинг повернулся и выразительно мне улыбнулся: мол, «наконец-то мы одни».

— Ну так что, Лэнсинг?

— Для друзей я Марк.

— Марк… А что это еще за Брандо?

— Кто?

— Брандо. Он же так тебя три раза назвал.

— Правда? Я и не заметил.

— Ты не заметил, что человек трижды назвал

тебя не тем именем?

— Да кто понимает хотя бы половину из того, что они лопочут?

— И вправду…

Учитывая, кто он такой, использование подложного имени должно было активировать во мне инстинкт теории заговора до максимума. Но это же Марк Лэнсинг. О Джеймсе Бонде он, должно быть, слышит впервые.

— Так что там насчет пресс-конференции?

— Это был скорее пресс-брифинг. Я в самом деле думал, что увижу там тебя.

— Видно, не такого я высокого полета птица.

— Ты туда попадешь.

«Пошел ты, синьор Козлини в лиловом бикини».

— Что за крендель был там от «Роллинг стоун»?

— Не знаю. Но он задавал много вопросов о бандах и о всяком таком. Как будто всем не терпится услышать насчет этого именно от Певца.

— О бандах?

— Да, о бандах. О какой-то там перестрелке в Кингстоне и всякое такое. В самом деле. А затем он спросил, как близко Певец сошелся с премьер-министром.

— Во как.

— Ага. А я все это время изводил себя мыслями: где же мой дружок Алекс?

— Как мило с твоей стороны.

— Да, я такой. Милый. И могу включить тебя в работу. Эту неделю я находился с Певцом, в сущности, каждый день. Душа моя парит так высоко, что даже воздушный змей шипит от зависти. Познакомился я с Певцом месяц назад, когда босс его лейбла нанял меня сколотить для этого концерта съемочную группу. Я даже презентовал ему ковбойские сапоги из Фрая — большие, блестящие, кирпично-красные. Ты, наверное, в курсе, что у ямайцев в большом фаворе их собственные ковбойские фильмы. Такие сапожки, скажу тебе, тянут на целое состояние.

— Ты их, что ли, покупал?

— Да ну. С какого еще перепугу.

— А кто?

— Так мы заполучили на съемку концерта эксклюзивные права.

— То есть тебя наняли снимать концерт? Я и не знал, что ты киношник.

— О-о… Ты обо мне вообще многого не знаешь.

— Понятное дело.

— Хочешь «Май-тай»? Он здесь дерьмовый, зато

бесплатный.

— Да не надо, мне и так хорошо. Так какую ты мне хочешь оказать услугу? И чего за это хочешь?

— Ты всегда такой беспардонный? Эй, а где мой коктейль?.. Глянь, дружище, я хочу всего лишь тебя выручить. Вот в чем дело. Ты хочешь подлезть поближе к Певцу? Оказаться с ним наедине?

— Ну да.

— Так вот, я могу сделать тебя частью нашей группы. Ты будешь репортером или еще кем-нибудь.

— Я и так репортер.

— Вот видишь? Значит, и будешь великолепным образом играть сам себя. Брат, у меня к Певцу совершенно неограниченный доступ. Ни у кого такого не было и никогда не будет, и в частности у съемочной группы. Нас нанял сам босс лейбла, и наша задача все снимать. Вплоть до, черт возьми, его сидения на унитазе или траханья ливийской принцессы, которую он хочет научить сексу мандинго. Я отсниму какое-нибудь твое интервью для фильма, но ты сможешь его использовать для всего, чего захочешь.

— Уау. Звучит круто, Марк. Но что я должен сделать взамен?

— Ты путешествуешь налегке?

— Всегда. Так легче бегать.

— А у меня есть дополнительный багаж, который кому-то нужно переправить обратно в Нью-Йорк.

— Почему бы просто за него не доплатить?

— Нужно, чтобы он прибыл раньше, чем я.

— Как так?

— А вот послушай. Я ввожу тебя в свою съемочную группу. Когда ты полетишь обратно в Нью-Йорк, то прихватишь для меня одну из моих сумок. Все просто.

— С тем исключением, что просто ничего не бывает. Что в той сумке?

— Да всякое барахло к фильму.

— А взамен за багажный ярлык ты даешь мне Певца.

— Точно.

— Имей в виду, Лэнсинг, внешность обманчива. Я лишь смотрюсь как идиот. Кокаин или героин?

— Ни то ни другое.

— Тогда «травка»? Только не придуряйся.

— Чего? Алекс, ну что за херь ты несешь. Ту сумку в аэропорту Кеннеди у тебя сразу перехватят.

— Ты что, шпион, вернувшийся с холода?

— Раста на ЦРУ не работает.

— О-ой.

— Мы с тобой, я вижу, насмотрелись лишку Джеймса Бонда. В сумке будет отснятый материал.

— Материал чего?

— Как понять «чего»? Документалки, само собой. Это же экстренный заказ, кореш. Босс Певца хочет, чтобы материал пошел в эфир буквально назавтра после съемки. И как только мы его отснимем, то сразу отправим.

— Понятно.

— Надеюсь. Я не доверяю чужакам, а обалдуи на таможне могут засветить к хренам всю пленку, если только кто-нибудь белый не объяснит им все доходчиво. Ну что, хочешь сегодня вечером попасть на Хоуп-роуд, пятьдесят шесть?

— Драть твою лети! А то нет.

— Я могу или за тобой заехать, или давай встретимся у ворот.

— Лучше заедь. Во сколько?

— В семь.

— Супер. Спасибо, Марк. Правда.

— Ньет пробльем. Когда ты должен улетать?

— В конце недели. Хотя планировал остаться подольше.

— Не делай этого. Улетай.

— А?
— У-ле-тай.

Нина Берджесс

Времени половина четвертого (я сверилась с часами). Непосредственно перед тем, как я собиралась отправиться к дому на Хоуп-роуд, позвонила мать и сказала срочно приехать в дом. Так вот прямо и сказала: «*Срочно приезжай в дом*». Мне отчего-то подумалось о Дэнни. Дэнни, что сейчас у себя в США, при жене или по крайней мере при подруге, которая знает, что он за птица, и которая не сделала ни минутной паузы, когда он впервые пробросил насчет орального секса. Хотя, скорее всего, он женат. Что это такое, мне незнакомо: мужчина, который от тебя ушел. Как-то раз я делала в родительском доме уборку — они отправились в поездку, а я хотела их приятно удивить. И вот когда я в чуланчике расставляла папины удочки, там с полки случайно упала коробка со снастями. А в ней оказалось письмо, написанное красными чернилами на желтой линованной бумаге. «*Чтобы написать это письмо, у меня ушло тридцать лет*», — начиналось оно. И я поняла, что оно от женщины, которая ушла. А потом задумалась: у каждого ли есть такой человек, память о котором не дает

покоя; человек, который от тебя ушел.

В полдень по радио сообщили, что Женский кризисный центр угрожает устроить еще один марш мира, на котором все будут в черном и понесут гроб. Нашим женщинам из верхушки среднего класса нравится ощущать себя источником драмы, только для нее им еще надо выискать повод поговнистей. Даже не знаю, что именно заставляет меня обо всем этом думать, а искать для увязки какие-то взаимосвязи в большом космосе Карлоса Кастанеды пока вроде рановато. Лично я еще не могу отойти от той перебранки с моей сестрой. В душ я так и не сходила, и даже не помню, приняла ли его с прошлой ночи (точнее, утра).

К дому родителей я отправилась на такси, по дороге размышляя, что мне сказало посольство, когда месяц назад отказало в визе. У меня не было достаточно связей, на банковском счете был ноль, отсутствовали иждивенцы и доходная работа (да-да, мне так и заявили — «доходная»); короче, не было ничего для убеждения американского правительства, что я не исчезну с концами, едва лишь приземлюсь на просторах Соединенных Штатов. Когда я выходила из посольства, ко мне, словно прочитав выражение лица, подошел

толстячок в желтой рубашке с коричневым галстуком. Не успела я представить себе бессчетное множество заплаканных женщин, покидающих это же посольство со столь же плачевным результатом, как он спросил, не нужна ли мне виза. Обычно я такие посулы даже не слушаю, но тут он открыл свой паспорт, где я увидела не только визу, но и штампы аэропортов Майами и Форт-Лодердейла. Оказалось, что он знает человека, который знает еще одного человека, который знает в посольстве американца, готового сделать мне визу за пять тысяч долларов. Моя зарплата за полгода. Деньги только после того, как я сама увижу визу, а с меня всего-навсего фото на паспорт, которое все равно уже лежит у меня в сумочке. Не знаю, почему я ему поверила, но я поверила.

До дома родителей я добралась не раньше чем к часу дня. Дверь открыла Кимми — в платье. Не из джинсы, как обычно, и не в макси-юбках с пропыленным подолом. На ней пурпурное платье без рукавов типа «я у мамы девочка», известное также как «ножны», как будто она собирается на кастинг для конкурса красоты. Нет и модных туфель. Да еще и ведет себя как младшенькая. Мне она не говорит ни слова; ну и я ей, соответственно, ничего говорить не собираюсь, хотя и

приходится прикусить губу от соблазна спросить: «А Раст Трент что, разве не с тобой?» Дверь она открыла, глядя куда-то мимо, как будто лишь затем, чтобы впустить сквознячок. «Да и ну ее в задницу», — думаю я. Об этом, кстати, думается все легче и легче. Будем надеяться, что меня вызвала всего лишь мама, послать со своим рецептом к аптекарю, чтобы приумножил рацион ее таблеток. Кимми она на такие ответственные дела не посылает никогда.

Когда я прихожу, мама обычно занята или вязанием кроше, или готовкой. Но сегодня она восседает в красном плюшевом кресле, где обычно за просмотром «Папашиной армии»[109] сидит отец. От меня она отворачивается, даже когда я дважды здороваюсь.

— Мама, ты сказала мне сюда приехать. В чем срочность?

Она на меня так и не смотрит, а лишь притискивает к губам костяшки пальцев. Кимми у окна расхаживает туда-сюда и тоже смотрит мимо. Я удивлена, что она не набрасывается на меня с возгласом, что, типа, мамуля ни от чего такого серьезного меня не отвлекает. На журнальном

---

[109] Примечания: 109
«Папашина армия» — комедийный телесериал.

столике лежит новый образчик кроше, который мама, вероятно, вязала всю ночь. Тона розовые, хотя мама розовое терпеть не может. К тому же она обычно вывязывает каких-нибудь там зверушек, а здесь просто непонятный орнамент. Вяжет она в основном тогда, когда нервничает, и я тайком прикидываю, не случилось ли чего. Может, она увидела кого-то из тех, кто на нее нападал? Или узнала в нем соседского садовника? А может, родители почувствовали, что за их домом кто-то наблюдает? Может, грабители возвратились и что-нибудь похитили, пригрозив, чтобы родители не вздумали звонить в полицию. Не знаю, но ее нервозность передается мне, а тут еще Кимми расхаживает так, будто ей не сиделось до самого моего прихода. И от этого только хуже. Я оглядываюсь посмотреть, все ли в доме на месте (не то чтобы я знаю, так оно или нет). А Кимми все ходит и ходит.

— Кимми, перестань скакать, как обезьяна, — говорит наконец мать.

— Да, мамуля, — отвечает та кротко.

«*Как шкодливая шестиклашка*, — хочу добавить я. — *Да, мамуля*». Ага, можно подумать. То, как Кимми скачет козой все эти десять лет, через губу позволяя родителям о себе печься, дает ей

право зваться скорее пацаном, чем пацанкой.

— И это моя родная дочь. Боже! Бож-же!

— Мама, в чем дело?

— Составь разговор со своим отцом.

— О чем?

— Я сказала, составь разговор со своим отцом.

— С папой? О чем? — спрашиваю я, но при этом смотрю на Кимми, которая сейчас делает вид, что на меня не смотрит.

— Даже азиаты приличней, чем… О боже… Как это гнусно. Я буквально чую от тебя этот запах.

— Мама, о чем ты таком говоришь?

— Не смей повышать на меня голос! Не смей повышать свой голос в этом доме! Все эти годы купаний я так и не сумела вымыть из тебя потаскуху! Может, тебя надо было сильнее шлепать по одному месту… Тогда, глядишь, у меня получилось бы это из тебя выбить, — говорит она мертвым голосом.

Теперь обмираю уже я.

— Я все-таки не понимаю, о чем ты.

Она на меня так и не смотрит. Кимми наконец оборачивается и пытается глянуть на меня вскользь, но не выдерживает и отводит глаза.

— Так ты теперь шлюха или просто *его* шлюха?

— Я не шлюха. Какого черта…

— Не сквернословить в моем, язви его, доме! Я все слышала. О том, как ты развратничаешь с тем певцом в его вертепе. Сколько он тебе платит? Все эти месяцы у тебя нет приличной работы. А я-то сижу переживаю: как там наша Нина без стабильного заработка? Ведь денег у нас она не просит, а знакомых у нее нет…

— Знакомых у меня куча.

— Не перебивай меня в моем чертовом доме. Мы оплачиваем его своими честными деньгами, моими и мистера Берджесса.

— Да, мама.

— Платим наличными без всякой, чтоб ей пусто было, ипотеки, поэтому не думай, что тебе можно пререкаться с матерью в ее собственном доме.

Пальцы у меня дрожат, будто я три часа провела в морозилке. Кимми берет курс на дверь.

— Ким-Мари Берджесс, а ну-ка стой. Расскажи своей сестре, что у нас там нынче за новости и как твоя сестра пресмыкается перед тем… тем растой.

— Пресмыкаюсь? Ах, я, значит, пресмыкаюсь… А у самой Кимми бойфренд как будто и не раста. Да у него даже имя такое!

— Ты сравниваешь его с тем, кому жертвуешь

зазря самое святое — свою женственность? Да он, по крайней мере, из хорошей семьи. И у него сейчас в жизни такая пора.

— Ах, пора? На пару с Кимми?

— Клянусь, что каждый раз, когда я думаю о тебе и о том певце, как вы там возлежите на каком-то нечистом ложе, раскуриваете наркотики, а потом ты отдаешься ему, совершая с ним акты зачатия, меня мутит. Прямо-таки хочется рвать. Ты меня слышишь? Мне хочется *рвать*! Ты просто низменная гулёна, которая приносит в мой дом всякую грязь!

— Мама…

— Не мамкай. Все эти годы обучения, на что они пошли? На то, чтобы стать одной из его гетер? *Этому* нынче учит школа с десятью классами образования?

Теперь она звучит, как отец (кстати, где он?). Кимми. Это она все подстроила. Мать трясет так, что когда она пытается встать, то валится обратно в кресло. Ей на помощь, как примерная дочь, кидается Кимми. Это она им рассказала. Сказала что-то такое. И при этом она знает меня. Знает, что я не расскажу им о ней, потому что одна плохая дочь введет мать в депрессию, а вот две плохих ее прикончат. Она рассчитывает на то,

что я окажусь хорошей дочерью, которая примет все на себя, а ее выгородит. Что ж, сука, меня это даже впечатляет.

— Я могу думать единственно о том, как ты приносишь сюда, в мой дом, запахи ганджи и похотливых мужских рук. Я их на тебе чувствую. Отвратительно. Мерзко.

— Правда? А на другой своей дочери ты их не чувствуешь?

— Не смей вмешивать сюда бедную Кимми!

— Бедная Кимми? Ох уж бедняжка… То есть ей, получается, спать с растой можно?

— А ну не смей здесь нахальничать! Этот дом богопристоен.

— Может, Бог заодно и ответит, есть ли здесь что-то, кроме ханжества? Кимми во все тяжкие шпарится с растой…

— Он не раста!

— А вот ты ему об этом скажи. Или лучше скажи об этом своей дочурке и посмотри, удержится она после этого с ним или нет.

— Еще с той поры, как ты была девчонкой, ты всегда тянулась за своей сестрой. Она впереди, а ты позади. И теперь у тебя из-за этого к ней зависть и злоба? Мы всегда держались с вами на равных, давали вам поровну. И все-таки в тебе

был этот пакостный штришок. Мне надо было его из тебя вытравить, вот что. Вот так вот взять и вытряхнуть.

— Ну да. А когда тот налетчик вытряхивал из тебя твои брошки и сбережения, ты тоже так поступала?

— Не говори так с моей матерью, — подает голос Кимми.

— А ты вообще заткни пасть, сучка. Вся из себя хорошая-послушная…

— Не смей так разговаривать со своей сестрой!

— Ты всегда на ее стороне.

— Мне нужна хотя бы одна дочь, которая не шлюха. Азиаты и те ведут себя пристойней.

— Твоя чертова дочь *тоже* трахается с растой!

— Моррис! Моррис, спустись сюда и разберись со своей дочерью! А ты убирайся из моего дома! Моррис! Моррис!

— Давай, давай, зови папу. Зови, чтобы я рассказала ему о твоей любимице доченьке прямо здесь.

— Закрой рот, Нина. Ты уже и так вносишь в эту семью достаточно раздора.

— Я эту чертову семейку, наоборот, *спасаю*.

— Не помню, чтобы я просила кого-то из моих детей что-либо спасать. Мне не нужно обиталище

на каком-то развратном растаманском подворье, где женщин меняют вкруговую, а ребятня курит ганджу… Моррис!

Мне хочется что-нибудь схватить и запустить в Кимми, которая так ни разу на меня и не взглянула. «Может, ты уже носишь одного из его детей?» — говорит моя мать плачущим голосом, хотя никаких слез в ее глазах не видно. Кимми массирует ей спину. А мать благодарит свою дочь, что та облегчает своей несчастной матери страдание. С меня хватит. Говорить больше не о чем. Ничего не остается, кроме как ждать, что мать опять ожгёт меня каким-нибудь словом. У меня был порыв подойти и схватить Кимми за шею, но я смотрю, как она растирает мать, и мне их обеих становится жаль. Но вот Кимми говорит:

— Мамуль, скажи ей насчет ожидания у его ворот.

— Что?.. Ах да. О боже! И вот теперь она карауллит его у дома, как истинная путана. И теперь даже он понимает, что она дрянь. О господи, взгляни, к чему идет наша семья!

— Сука ты гребаная, — говорю я Кимми, которая смотрит мимо меня.

— Повторяю: в моем доме не выражаться. Если ты не можешь не быть блудницей, то будь

добра хотя бы не использовать в моем доме ее лексикон.

Меня так и тянет сказать: «А как насчет блудницы, что сейчас натирает тебе спину?» Как насчет того, что, какую бы гнусность ни брякнула Кимми, у родителей всегда имеются для нее оправдания, как будто они у них заскладированы еще с ее рождения и достаются по счету «раз». Я хочу сказать это вслух, но не говорю. Кимми знает, что я смолчу. Знает, что я хорошая дочь, которая останется таковой, даже если это хуже для меня. Я поистине впечатлена тем, как сильно я ее недооценивала. Тем, как далеко она зашла, а если надо будет, то и на этом не остановится. Я хочу сказать, что мужики меня по крайней мере ни разу не лупасили и не бросали, как вещь, чтобы я потом утиралась от оплеухи и думала: раз бьет, значит, любит. Но я молчу. Вместо этого сердце гулко стучит в виски, и мне думается единственно о том, чтобы схватить нож — вон тот, кухонный, тупой — и двинуться с ним на сестрицу, но не для того, чтобы пырнуть или полоснуть, а просто чтобы она видела, как я на нее надвигаюсь, а ей и деваться некуда. Но вот я торчу в этом обрыдлом доме, где торчала и вчера, как пугало, по непонятной мне причине, точнее, понятной,

но я больше не хочу быть с этим связанной. Ну а Кимми-то, конечно, довольна. В самом деле, как не радоваться: опустила эту добродетельницу Нину ниже плинтуса.

— У тебя там, внизу под бельем, не чешется ли от всех этих вошек? Не кусают ли они тебя? Как ты можешь вообще стоять передо мною здесь? Господи боже, иметь гулящую дочь!.. За что, за что, Господи? Меня тянет рвать. Слышишь, Кимми? Меня мутит.

— Да ладно, ладно, мамуль. Нет у нее вошек.

— Откуда ты знаешь? Эти растаманы — такая гнусь… И мне все равно, какие там у него, по его мнению, деньжищи. Все они так же грязны и неправедны. От них несет нечестивостью на двадцать футов.

— Вошек на нем действительно нет. Он пах нежнее детской присыпки, — говорю я и, не успев договорить, тут же жалею об этом. Я хочу схватить Кимми и тряхнуть — как капризного младенца, который никак не уймется.

— Моррис! Моррис! Мне не нужны незаконнорожденные отпрыски от расты, ты меня слышишь? Не хватало мне еще в этом доме выродков-бастардов!

Я смотрю на Кимми: неужели она хотела *это-*

го? Сознавала ли, что все к этому придет? На моих родителей было совершено нападение, а ей, собственно, по́ фигу — не потому, что Кимми невыносима мысль о насилии над ними, а просто ей претит любая ситуация, где эпицентром не является она, будь то даже трагедия. Что ж, молодец. *Ее* взяла. Она знает, что я не обмолвлюсь про то, что с Певцом трахалась и она. Знает, что я буду пытаться сохранить рассудок, даже если она твердо вознамерилась, чтобы его лишилась мать. Сучество этой твари вызывает у меня невольное восхищение. Я хочу, чтобы она поглядела на меня и улыбнулась — просто показать, что ей известно то, что про ее мысли знаю я. Мать все продолжает кричать «Моррис, Моррис!», как заклинание вроде «елочка, зажгись».

Тут спину мне ожигает удар ремня; кончик скорпионом жалит шею. Я давлюсь воплем, а ремень снова хлещет мне по спине, а затем дважды по ноге. Я падаю. Меня за лодыжку хватает отец и поддергивает к себе, отчего юбка на мне задирается и из-под нее проглядывают трусы. Он хватает меня левой рукой, а ремнем хлещет с правой. Я воплю, вопит мать, вопит Кимми. А он нахлестывает меня, как десятилетнюю. Я кричу: «Папа, не надо!», а он в ответ лишь пых-

тит: «Ах ты, шалава, сейчас я научу тебя порядку в этом, бомбоклат, доме». Я снова «не надо!», а он «научу, научу дисциплине», и лупит, все лупит по заднице, снова и снова; я извиваюсь, а ремень вспарывает мне правое бедро. Отцу все мои крики нипочем: вот он расшиб мне костяшки пальцев, когда я пыталась ухватиться за его клепаный ремень (широкий, ковбойский — он такие любит). Я чувствую, как на мне взбухают рубцы, и ору «папа, папа!», а мать орет «Моррис, Моррис!», а Кимми орет просто так, а ремень все лупит. Я изворачиваюсь, и удар приходится мне прямо по манде; я воплю, а отец все придыхает «приучу, приучу», пинает и меня — да, да, я чувствую пинок — и замахивается, а я пытаюсь вырвать у него из руки свою ступню: «Отпусти, отпусти ногу!» И тут я с размаха бью его правой ступней в грудь (чувствую на ощупь, что она хилая, стариковская), отчего он опрокидывается на спину и заходится кашлем, но это только воздух, а не звук, а я все воплю — уже без слов, а просто «аааа! аааа!» — и хватаю ремень, и лупцую ему по ногам, и еще, и еще — «ааааа! ааааа!». А мать снова вопит: «Ты мне насмерть убьешь мужа! Не убивай моего мужа!» А он корчится и все кашляет, и тут я вижу, что луплю его не ремнем, а

бляхой, и, обернувшись с ремнем в сбитых окровавленных пальцах, смотрю на Кимми.

Барри Дифлорио

Моя секретарша возвратилась со словами, что секретарша Луиса Джонсона понятия не имеет, куда он ушел (то есть, в переводе с ее кода, та не желает этого разглашать). Мне пришлось подняться с увлажненного стула и проделать путь по коридору к столу той женщины, где я задал вопрос: нравится ли ей здесь работать и планирует ли она заниматься этой работой в будущем. Если да, то ей не мешает вспомнить, что она работает на федеральное правительство Соединенных Штатов Америки, а не на Луиса Джонсона. Было заметно, как ее глаза в широкой оправе очков «бэтгёрл» расширились, а лоб наморщился, несмотря на то, что его жестко фиксировал лакированный пони-тейл. В посольстве на то, чтобы научиться скрывать свой испуг, уходят годы, и она в этом искусстве почти преуспела, однако сейчас терялась в догадках, по какой шкале оценивать уровень угрозы, высказанной пассивно-агрессивной ремаркой начальника. Чувствовалось, что она не может уяснить, играюсь я с ней или нет. Итак, бульвар Натсфорд, «Игуана-клуб».

Там я, безусловно, уже бывал. Мне он чем-то напоминал «Родео-клуб джентльменов» в Буэнос-Айресе, а также определенные клубы Эквадора, Барбадоса и Южной Африки. В «Игуана-клубе», во всяком случае, сидел определенный контингент из темнокожих и арабов, притворяющихся белыми (игра, возраст которой не поддается исчислению).

И вот я покидаю офис и еду прямиком на Оксфорд-роуд, где на солнцепеке стоит нескончаемая очередь из желающих получить визы. Отсюда направляюсь на запад. На пересечении Оксфорд-роуд и бульвара Натсфорд поворачиваю направо и беру курс на север. Охранник у ворот при виде белого человека в машине вопросов не задает. Знакомая зеленая «Кортина» стоит на краю парковки. Я паркуюсь на другом конце, хотя Луис, скорее всего, не знает, на каком автомобиле я езжу. Обеденный зал внутри заполнен белыми в деловых костюмах, пришедшими сюда на обеденный перерыв, а также шоколадными красавицами в теннисках, попивающими ром с колой. Тех, кого ищу, я услышал раньше, чем увидел. Луис, откинув голову, на моих глазах радушно хлопнул де лас Касаса по плечу. Конечно, это он. Первую минуту мне хотелось без обиня-

ков подойти и резко спросить Луиса, что вся эта хрень означает, причем сделать это непосредственно перед де лас Касасом. Видит Бог, этого типа я ненавижу. Есть в нем нечто, что можно наблюдать разве что в королевах красоты и политиках: на лбу у них начертано что-то вроде «из всех маменькиных сынков я больше всех обожаю себя». Себя он считает революционером, хотя на самом деле он не более чем оппортунист. Луис и Луис — ну чем не рабочее название комедии, сюжет которой разворачивается у тебя на глазах.

Я устраиваюсь в дальнем конце бара, стараясь не смотреться так, будто я кого-то высматриваю. Не исключено, что в эту самую минуту кто-то где-то пишет пародию на шпионский детектив, где я — кретин в баре, разыгрывающий из себя Джеймса Бонда. Что ж, если оно так, то, может, заказать себе мартини? В эту секунду те двое неожиданно поднимаются, а до меня доходит, что на пути к выходу они запросто могут пройти в двух шагах от меня. Но Джонсон направляется к открытому арочному проходу в нескольких футах от своего столика, а Кубинец шагает следом. Зеленая «Кортина» выезжает со стоянки. Я вылетаю из бара в считаные секунды и стартую за ними, так что от их машины меня отделяют ка-

ких-нибудь двести футов. Слава богу, что час пик существует во всех концах мира. Выслеживать авто мне не приходилось со времен Эквадора, когда я работал в команде Адлера. Для адреналина я, понятное дело, староват, но все равно какое-то ощущение есть. И мне оно нравится, ну просто *реально* нравится. Эх, вот так бы взять, направить этот выплеск энергии в свое причинное место и кому-нибудь засадить, даже не принципиально кому…

С Трафальгар-роуд Луис делает поворот налево, в очередное скопление транспорта, затем делает еще один левый поворот. Сотню ярдов мы проезжаем по незнакомому мне отрезку дороги, вслед за чем Луис поворачивает на юг, срезает по Хафуэй-Три-роуд и на скорости вмахивает в гетто. Во всяком случае, дома вокруг становятся мельче, дорога — у́же, а крыши все больше представляют собой оцинковку, придавленную сверху кирпичами. Цементную облицовку стен тоже подменяет цинк в росписях граффити типа «*ННП говно*», «*Расты педерасты*», а также слоганы типа «*Власть черным*». Если фокусироваться на них и на зеленой «Кортине», то в голову хотя бы нейдут мысли о собственной долбанутости: белый человек по своей воле въезжает в самое

чернушное гетто Кингстона. Хафуэй-Три тоже не подарок, но такого я еще не видел. Мелькает опасливая мысль, что здесь можно и заблудиться, но я от нее отмахиваюсь. «Кортина» летит на скорости, и меня тоже тянет дать по газам, но на дорогу здесь в любую минуту может выскочить какая-нибудь девчушка-малолетка.

Луис, чувствуется, дороги здесь знает: видно, что бывал в этих местах не раз. И не просто не раз, а много-много раз. Я только сейчас обнаруживаю, что непроизвольно давлю на газ, но свой «Вольво» я чувствую хорошо; ощущаю, как трясом трясутся руки на руле, а машину на виражах мотает то влево, то вправо (один раз пришлось даже перемахнуть через открытый канализационный люк). Колеса со стуком скачут по выбоинам, поминутно скрежещут тормоза. Зеленая «Кортина» то появляется, то исчезает из виду, уныривает за углы, возникая вновь, когда из-за них с интервалом в три-четыре машины выныриваю я. Не пытается ли он, чего доброго, скинуть меня с хвоста? Разок-другой я уже чуть было в сердцах не брякнул «Ну и черт с тобой», но сдержался.

Сейчас мы едем по какому-то шоссе — еще один отрезок, которого я раньше в глаза не видел. Жи-

лища здесь еще мельче, оцинкованней, убоже, а люди снаружи направляются примерно в ту сторону, куда едет зеленая «Кортина». Местность напоминает холмы по обе стороны дороги. Что это за холмы, я начинаю различать лишь на приближении. Они представляют собой горы мусора — точнее, не горы, а дюны и барханы, как если б Сахара вдруг взяла и сменила свой песок на дымящийся мусор. Дым здесь густ и кисловато-горек, с привонью жареного, как будто здесь горят еще и останки животных. По всем этим барханам, даже тлеющим, лазают люди, роют все эти отбросы и запихивают что-то в черные пластиковые мешки. О зеленой «Кортине» я почти забываю. Одна за другой идут минуты. Барханы из мусора тянутся без конца и края, а цепочки людей на них все набивают и набивают свои мешки. «Кортины» уже не видно, она исчезла. Я в нерешительности останавливаю машину: куда дальше ехать, что делать? Непосредственно передо мной дорогу перебегают двое мальчишек, и рука у меня тянется к приборной доске. Может, мне следует вынуть «Глок» и по крайней мере сунуть его за пазуху? Сердце колотится предательски часто. Какого хрена я вообще здесь делаю? Мимо проходят еще двое пацанов, затем женщина, следом стая муж-

чин и женщин, мальчишек и девчонок — спереди и сзади автомобиля; взрослые идут шаркая, а ребятня прискоком и вприпрыжку, и каждый несет с собой черный пакет, а то и два. Кто-то задевает машину, и я на сиденье подпрыгиваю, тычком открывая бардачок, чтобы тот был открыт и я мог в любой момент выхватить «Глок». Одному Богу известно, сколько еще проходит времени, прежде чем я наконец снова давлю на газ. На дороге по-прежнему ни единой машины, хотя это шоссе; с одной стороны здесь скалы, а с другой море. Мимо проезжает лишь белый «Датсун», водитель которого — негритос с азиатски раскосыми глазами — высовывает из окна голову и оглядывает меня. Кажется, он угрюмо хмурится, что вообще-то странно: мы с ним отродясь не знакомы. Едва я успеваю приблизиться к повороту налево, как оттуда стремглав, словно из ниоткуда, выносится зеленая «Кортина» и лупит меня в бок. Я жестко бьюсь головой об руль, а затем отлетаю шеей на подголовник. Первым из «Кортины» выскакивает Кубинец (во всяком случае, мне кажется, что это он). К машине он подбегает с пистолетом наготове и упирает мне под челюсть ствол.

— Погоди-ка, — спустя секунду говорит он, — я его, похоже, знаю. Это один из ваших. Разве нет?

— Что? Ёксель-моксель, что за херь… Дифлорио? Это что еще за гонки с преследованием?

Они оба громогласно настаивают на том, чтобы отвезти меня к врачу, хотя со мной ничего такого не произошло. В районной больнице Кингстона доктор накладывает мне на лоб швы, а я пытаюсь не обращать внимания на толковищу в коридорах, а также на следы крови и еще чего-то на полу. Врач за процедурой даже не озаботился снять с себя хирургическую маску. Я хочу одного — уехать отсюда, да вот беда: я утратил память, как сюда попал. Не могу толком вспомнить даже после того, как вижу в коридоре Луиса Джонсона, невозмутимо читающего газету напротив какой-то толстухи негритянки.

— Где моя машина?

— Милок, тебя подлатали? Ляле полегчало?

— Моя машина, Джонсон, — где она?

— Откуда ж я знаю… Где-то в гетто. Сейчас ее, наверное, уже полностью разобрали на винтики.

— Смешно, Джонсон. Очень смешно.

— За мной ехал Лас Касас, он и отогнал ее к посольству. Все прекрасно. Правда, тебе теперь не избежать объяснений с женой, но отремонтировать твою тачку все же можно.

— Джонсон, какого хера?

— А что я могу сказать, милок… У меня кто-то подвисает на хвосте, и я решаю, что надо бы от него избавиться. В следующий раз, если решишь действовать в том же духе, то хоть делай это осмотрительней. Учти, не так уж много «вольвят» рассекают по гетто. Ты хоть знаешь, куда заехал?..

Ладно, идем. Гребем обратно к посольству, по не известным даже мне тропам. Во всяком случае, мне кажется, что мы едем в ту сторону. Эх, жаль, при мне нет ствола.

— Это ты сказал какому-то негритосу, чтобы меня контролировал? Понятно.

— Нет, не я. Но возможно, Луис. Белый «Датсун»?

— Ага.

— Значит, точно он.

— Кто это был?

— Знаешь, Дифлорио, я с уважением отношусь к твоим делам. И в них не лезу.

— Ну да. Особенно нынче.

— Та хрень, которую вы с Адлером городили в Эквадоре, была очень даже четкая. Работали вы, правда, медленно, как срущие улитки, но тем не менее аккуратно.

— Тебе на дух не известно то, чем я занимался

в Эквадоре.

— Мне известно не только то, что вы там вытворяли в Кито, но и то, что здесь тебе не Кито.

— В каком смысле?

— Твоя дурацкая кампания по бумагомаранию — ноль без палочки в стране, где даже не знают, как пишется слово «коммунист».

Под «бумагомаранием» он имеет в виду письма-предупреждения о коммунистической угрозе в Эквадоре, которыми я потчевал прессу. А также рассылку от якобы компартии в поддержку ректора Центрального университета Кито, чтобы опорочить его на выборах, что в конечном итоге и произошло. Имеет он в виду и листовки, которые я печатал для Молодежного фронта освобождения, — псевдокоммунистической организации, сооруженной мною всего лишь из рекламного «подвала» в газете и двоих моложавого вида испаноязычных агентов, выдававших себя за беглых леваков из Боливии, на случай если кто-нибудь захочет с ними очной встречи. В конечном итоге через подкуп военной полиции, имевший место при каждой такой стыковке, мы успешно разложили Студенческое коммунистическое движение. Под «бумагомаранием» он подразумевает и созданный мной Антиком-

мунистический фронт, и триста сорок человек, что прошли у себя дома спецподготовку по выявлению и обезвреживанию коммунистической угрозы, потому что свой опыт я привез из Венгрии, где царит прожженный коммунистический режим. «Бумагомарание» в его понимании — это и то, чего нам стоило назначение Аросемены[110], а затем его свержение после того, как он стал неизбежной обузой, какой становятся латиноамериканцы, стоит им нюхнуть фимиама власти. А еще нельзя было допустить просачивания дерьма в «Нью-Йорк таймс», пока такие типусы, как Джонсон и Карлуччи, окучивали Конго. На это, между прочим, требовалось железное нутро.

— Ты только не подумай, Дифлорио, что это из неуважения к твоей мягкотелой тактике или к тебе, если на то пошло. Но здесь не Эквадор. Эквадор здесь и рядом не стоял.

— Мягкотелая тактика? Хм… Лучше бы вы придерживались такой тактики в Конго — больше было б толку.

— В Конго все пучком.

— В Конго полный раздрай и развал. А Ямайка даже не Конго.

---

[110] Примечания: 110

Отто Аросемена Гомес — президент Эквадора (1966–1968).

— Коммунистам к власти здесь путь заказан.

— Это само собой.

— Дифлорио, ты патриот?

— Что за неуместный вопрос? Конечно, да.

— Вот. Оно и видно. А я тут просто работу работаю.

— Это та часть, где ты хочешь сказать, что работаешь за интерес? Прямо-таки за бесплатно?

— Ну почему же. Платят мне тоже неплохо. А ты мне о каком-то паршивом патриотизме. Проблема у тебя в том, что наше родное правительство елозит тебе по ушам, а ты веришь.

— Ну, а ты не иначе как считаешь, что я известен тебе от и до? Не учитывая того, что каждое письмо, что приходит на Ямайку с Кубы, из Китая или Советского Союза, проходит вначале через мой стол. У меня есть люди в каждой левацкой организации по этой стране, которых не вычислил даже обосранный наш орел Билл Адлер. Ну, а ты не отличаешься ни от одного из тех двенадцати олухов, которых он слил.

— Это как же?

— Да так. Только и делаешь, что влипаешь в ситуёвины. Если б ребята вроде тебя не лепили промахов, — такие, как я, по умолчанию были бы не нужны. Как раз сейчас я по заданию сверху

составляю Список наблюдения за контролем подрывной деятельности, которым крайне заинтересовался Буш. Знаешь, на каком ты в нем месте, Джонсон? Оценка «отлично» у тебя единственно по якшанию с террористами. Здесь ты свое дело знаешь назубок.

— Ха-ха. Доктор Лав мне о тебе рассказывал.

— Это он так себя нынче кличет? Он и его дурилки-кубинчики из числа богатеньких сынков, думающих по наивности, что контрреволюцию они вершат потому, что папики купили им ружьишки… Если б Кубу предоставили таким, как я, а не таким, как он, в Гаване сейчас работал бы «Макдоналдс».

— Браво. За исключением одной вещи, Дифлорио. Ты живешь под впечатлением, что способен делать всю работу один. Ты и тебе подобные гребаные стратеги-тактики. Мазафакеры вроде тебя представления не имеют, что происходит на уровне земли. И это, наверное, даже к лучшему. Мой тебе совет: перестань льстить себе мыслью, что тебе не нужны такие, как я.

— Замечательно.

— А какой у тебя последний крупный проект, Дифлорио? Напомню: книжка-раскраска. Дожили, блин. Гребаная раскраска насчет…

— Воспитание идет с младых ногтей, козлина.

— Страница шестая: «Мой папа говорит, что мы живем в демократическом, а не в тоталитарном государстве. Теперь закрась буквы СССР».

— Да пошел ты!

— Лично я считаю, что антикоммунистические книжки-раскраски — это полный отстой. Самое то для страны, где грамотных раз, два и обчелся.

— Ну вот, светофор проехали.

— Испугался?

— Просто устал. А тут еще ты меня достаешь… Ты вообще куда едешь?

— Я думал, ты хотел домой.

— Какой дом… Езжай в офис.

Он смотрит на меня и ржет.

— Может, все-таки домой? Не, не понимаю я вас, ребята. Решительно не понимаю. Ты, Дифлорио, прямо как Карлуччи. Близнецы-братья: ты, он, вообще все птенцы Киссинджера.

— Только не говори, чем мне заниматься. Правда, Джонсон, ты не тот человек.

— Это та часть, где ты хочешь сказать, что я — кот в мешке? Непредсказуемый тип?

— Нет. Это та часть, где я говорю тебе смотреть за дорогой, а не за мной.

— Да что ты вообще знаешь, Дифлорио?

— Больше, чем ты думаешь, Джонсон.

— Ты в курсе, что некие культурные элементы в этой стране пытаются сколотить свою собственную партию? Не леваки, не ямариканцы, не церковники, не коммуняки. Совершенно иная группа. К концу года эта страна погрузится в полный хаос, если только кто-то что-то не сделает. Хаос, кстати, по определению твоего босса Киссинджера.

— Киссинджер мне не босс.

— А Христос в таком случае не свет, не путь и не истина. Ты бухгалтер, Дифлорио. Счетовод. Сидишь себе в угловой каморке и прекрасно себя чувствуешь. Оно и к лучшему: надо ж кому-то мастрячить книжки, всякие там аляповатые раскраски… Но внизу, на местах, все обстоит иначе. Конкретная работа имеет другой механизм запуска. Ты в курсе, что буквально пару дней назад он фактически был у нас в руках? Почти, без двух минут? Этот гад был у нас считай что в перекрестье прицела. Этот коммунячий ублюдок.

— Ну и что же вам помешало с ним разделаться?

— Не прикидывайся, будто знаешь, о ком я.

— Хорошо. О ком ты?

— Блин. Ты действительно не знаешь ни хера.

Я о премьер-министре.

— Перестань таскать меня на херах, козлина.

— Премьер-министр Майкл Джошуа, язви его, Мэнли. Мы едва его не сделали. В среду, около четырех пополудни, ННП устроила в Старой Бухте митинг — ты знаешь, где это, верно? Очередное их сборище насчет проблем с насилием; видно, этим факерам просто нравится митинговать. Кстати, мы все еще ждем расшифровку, но, по косвенной информации, Мэнли всю ту неделю был на связи со Стокли Кармайклом и Элдриджем Кливером[111]. И вот по какой-то причине между митингующей верхушкой возникает спор, и какой-то армейский чин — надо будет выяснить, как его зовут, — валит ударом с ног партийного чинушу, прямо кулаком в пятак. После этого премьер нехотя вмешивается и пробует допросить офицера, а тот, судя по жестам, посылает его на все шесть направлений. Мэнли уступать не желает, но не успевает опомниться, как оказывается окружен солдатами, каждый из которых наводит на него заряженное оружие. Представить только:

---

[111] Примечания: 111

Стокли Кармайкл (1941–1998) — американский леворадикал, один из руководителей движения «Власть черным»; Элдридж Кливер (1935–1998) — афроамериканский общественный деятель и популярный в 1960-х писатель.

Старая Бухта, и солдатня наводит стволы прямо на премьер-министра этой гребаной страны! Хотя потом они, понятное дело, отошли и стрелять никто не стал.

— Уау. История поистине удивительная. Ей бы еще любовную канву, и сюжет можно смело слать в Голливуд: «Оскар» обеспечен. Только объясни мне, зачем нам, американцам, нужна жизнь этого политикана? Директив об устранении премьер-министра, равно как и какого-либо другого политика в этой стране, нам не поступало. Это не Чили, Джонсон. Я, может, и счетовод-учетчик, но ты в таком случае просто заурядный убийца. Твоя тактика извечно сводится к нагромождению кучи дерьма, которое людям вроде меня приходится потом разгребать.

— Чтобы сработало…

— Послушай, у тебя нет никаких указаний кого-либо устранять, ты меня понял?

— Я никого и не устраняю, Дифлорио. Контора никогда не подстрекала, не подстрекает и не будет ни подстрекать, ни тем более потворствовать терактам, совершенным отдельным лицом или группой лиц. Об этом не может быть и речи. Кроме того, как ты сказал, это не Чили.

Я хочу выразить одобрение, что он мыслит в

верном ключе и что все эти вопросы на редкость деликатны, так что решать их нужно со всей аккуратностью, чтобы по возможности оставлять как можно меньше следов и сопутствующих потерь. Но тут Джонсон говорит:

— Ты прав, это не Чили. Через несколько дней это будет напоминать скорее Гватемалу, помяни мое слово.

— Что? Что ты такое сказал?

— Ты слышал.

— Боюсь, что ослышался.

— Не ослышался. А я боюсь, что этот уровень повыше тебя и Конторы. Так что не хрен меня грузить своими, блин, установками.

— Да ты…

— Да я.

— Бог ты мой. Да ты забываешь, что меня в свое время посылали в Гватемалу на несколько месяцев, следить за выборами. И как раз в это время их доморощенные психопаты с нашей экипировкой начали крошить все и вся прямо посередке. Как давно ты их обучаешь?

— Обучение не на мне. Но, по неподтвержденным данным, примерно с год.

— Значит, Кубинец. Он…

— А у тебя зажигание не такое позднее, как

рассказывают.

— Сколько их?

— Да перестань, Дифлорио.

– *Сколько*, сукин ты сын?

— Я не из разведки, Дифлорио. Ну, а если все же прикинуть, то наберется более десятка, но меньше пары сотен — устраивает тебя такой разброс? Есть еще одна команда патриотов в Вирджинии. Дональда Кассерли припоминаешь?

— Как же, как же. Лига свободы Ямайки. Пробовал как-то поставить нас на деньги, для своей мелкой организации. А мы платить отказались, потому что он гребаный наркодилер. Так что там затевается? Второй Залив Свиней? И это когда до выборов меньше двух недель?

— Да уж, Дифлорио смотрит орлиным взором… Только не совсем в ту сторону. Это не Гватемала, потому что народ здесь поумней, и не Бразилия, потому что у людей нет желания править всей этой помойкой целиком.

— Тогда в чем цель, драть тебя в задницу?

— Не понимаю, о чем ты, Дифлорио. Если кучка людей пожелает, скажем, омочить ноги, допустим, сегодня, то это не мое дело — вмешиваться во внутренние дела.

— Срань святая. То есть, по-твоему, все намече-

но на сегодня?

— В такие тонкости, Барри, я не посвящен, но если б я был…

— Отзови их, Джонсон. Сейчас же, ради всего святого.

— Да я даже не знаю, кому звонить. Мой интеллектуальный уровень подсказывает, что дергаться уже по-любому поздно. Кроме того, это ведь политика федерального правительства США, направленная на…

— Засунь язык себе в жопу, Джонсон.

— Лучше я отвезу тебя домой к твоей красавице жене.

— Луис, послушай меня. Я не знаю, от АНБ ты, от «Моссада» или от кого еще, но заклинаю: сделай шаг назад и дай включиться в работу дипломатии.

— Кстати, в Эквадоре работа была сделана первоклассно.

— Заткни к херам рот и слушай меня. Мы уже, черт возьми, *вложились*. Нынешняя администрация это знает. Это знает директор ЦРУ. Я серьезно: с кем ты тут занимаешься трепотней? За год до этих выборов мы инвестировали свыше ста миллионов долларов. Сэл в «Нью-Йорк таймс», ЛПЯ, бог ты мой, Организация частного сектора

Ямайки…

— Зачем ты меня всему этому поучаешь, Барри? Мы две стороны одной и той же монеты.

— Я — полный контраст тебе.

— Даже если эти две стороны никогда друг друга не видят.

— Мы так, блин, близки, сукин ты сын…

— Я не тот сукин сын, Дифлорио, перед которым тебе следует распинаться; для этого у тебя есть твой дружок Джорджи Буш. Кроме того, повторяю: уже слишком поздно. Иди домой, а то пропустишь сериал. А вечерком глянь новости. Думаю, будет интересно.

Алекс Пирс

«Полет шмеля» по Хоуп-роуд в компании Марка Лансинга отчего-то вызывает во мне нервозность. Видно, что мазафакеру жить насрать, во всяком случае здесь, на Ямайке. Из Нового Кингстона до Хоуп-роуд мы мчимся прямо по центру улицы, потому что левее Лэнсинга просто не сдвинуть. И при этом ему хватает то ли мозгов, то ли мудей медной обезьяны покрикивать на клаксонящих ямайцев, чтобы те шли в то или иное гендерное место. Я попросту вжимаюсь в сиденье, отчасти потому, что не хочу быть замеченным в обществе Марка Лэнсинга (хотя кто меня здесь узнает), а отчасти в надежде, что если кто-нибудь в нас шмальнет, то первая пуля достанется ему. На часах семь вечера. Рабочий день в Кингстоне подошел к концу, и дорога упакована бампер к бамперу, а клаксоны гудят так, будто весь город перед тем, как сесть в машины, переругался между собой. Где-то сзади неожиданно вырастает прерывистый вой сирены, и все на дороге раздаются в стороны, кроме, само собой, Лэнсинга.

— Марк, посторонись.

— Да пошли они нах, пусть сами сторонятся.

— Марк, не вдаваясь в нюансы истории, скажу: кому-то из ямайцев доставит редкостное удовольствие начистить рыло белому.

— Пусть только попробуют…

— Шевели жопой, Лэнсинг!

— Ч-ш-ш… Ладно, ладно. Не напрягайся, брат.

Впечатление такое, будто я еду в одной машине с Грегом Брэди[112], штырь ему в забрало. Возможно, что он для Марка ролевая модель. Нашел, блин, кому подражать. Что бы этот парень ни вытворял, шумиха от него, как в чудильнике.

Мимо проносится «Скорая», и тут — в долю секунды, никак не больше, — Марк бросает машину вбок и рвет за ней следом. Мне нравится фиксировать хронометраж, когда я по-настоящему теряю дар речи, и это не для красного словца. Но при этом Лэнсинг еще и лыбится, как кретин, охваченный какой-то обворожительной идеей. Вдохновленные его примером, сзади на скорости пристраиваются еще четыре машины. Тем временем мы приближаемся к огромным воротам Певца. То есть я их пока не вижу, но знаю, что его дом отсюда всего в одном квартале. Лэнсинг делает с трассы такой резкий вираж вправо, что

---

[112] Примечания: 112

Грег Брэди — персонаж кинокомедии «Семейка Брэди».

сквозь скрежет шин из проносящейся мимо машины доносится:

— Ипать тебя некому!

— Тебя есть кому, братан.

Мы находимся у ворот Певца. Уже стемнело, но впереди различается дерево, почти блокируя переднюю дверь. Верхний этаж отсюда смотрится так, словно покоится на его кроне. Лэнсинг два раза клаксонит и собирается сделать это в третий раз, но я кладу поверх клаксона руку. Лэнсинг с насупленным видом вылезает из машины и подходит к створке ворот, чтобы привлечь к себе внимание охранника. Тот со двора даже не выходит. Я даже не уверен, что он с Лэнсингом разговаривает, пока не слышу, как тот яростно наезжает, что, дескать, должен запарковаться внутри: «То есть как это, твою мать, снаружи? Ты вообще знаешь, с кем разговариваешь? Да я тут главный по сегодняшним съемкам! Да ты жопой своей заплатишь, если я не запаркуюсь внутри!» Охранник говорит на порядок тише — ощущение такое, что вообще помалкивает.

— Коз-злы, блин, — возвращаясь, презрительно бросает Лэнсинг. — Не пускают, видите ли, машины, если ты не родня или не музыкант группы. Мазафакеры.

Он подъезжает к многоэтажке напротив дома Певца и ставит машину на чье-то явно чужое, пронумерованное место. Вылезая вместе с ним из машины, я на это даже не указываю. Камеру он с собой не берет. Забавно наблюдать, как Лэнсинг топает к дому с раздутыми ноздрями, будто собираясь устроить с кем-то разборку. Ямайцы народ такой невозмутимый, что могут в этом соперничать даже с выходцами из Миннесоты. На всем пути Лэнсинга к воротам они, должно быть, только посмеиваются.

— Ну что, морда, доволен? — кидает он охраннику. Лично я охранника не узнаю, для меня они все на одно лицо. Он оглядывает визитера с головы до ног, после чего открывает створку ворот.

— Тебе нельзя, вход только для одного, — говорит он мне, и я отступаю.

— Подожди здесь, Пирс. Я там наведу порядок у большого парня.

— Спасибо, Марк. Мероприятие — просто блеск.

— Да ладно тебе. Подожди с минуту.

Он направляется к передней двери, после чего поворачивает налево и исчезает. Куда делся, непонятно. Охранник смотрит на меня, я на него. Я прикуриваю «ротмансину» и протягиваю пачку

ему. Он вынимает одну и возвращает пачку мне. За умащивание ни один из нас это не воспринимает. Но, по крайней мере, он не возражает, когда я прислоняюсь к воротам. Слышно, как после перерыва вступает группа, в особенности гитара. Черт бы меня побрал за стереотипы, но я бы вначале ввел ритм-секцию. Я слышал, что новые музыканты группы подталкивают Певца ближе к року. Вообще-то для него это отход от корней, но кто я такой, чтобы судить? Белый, имеющий основание указывать черным на их истоки? Я вас умоляю…

От ворот ничего толком не видать. Под навесом видавший виды пикап Певца. Деревья, взлохмаченная трава, западная оконечность дома и охранники (во всяком случае, так думаю я), примерно десяток, с ленцой ходят по подворью. Впервые я обращаю внимание на соседние с домом строения. Там, где припарковался Лэнсинг, располагается квартирный комплекс, а по обе стороны от ворот тянутся таунхаусы. Вверх-вниз по Хоуп-роуд курсируют автомобили. Я даже не подумал, с какого вопроса начать разговор с Певцом. «Что ты думаешь о предсказании насчет столкновения двух семерок в цифре 1977?» «Как

тебе новый альбом Банни Уэйлера?[113]»

Означает ли этот концерт, что он поддерживает ННП? Если на ЦРУ работает не сам раста, то тогда кто? Из рюкзака я вынимаю блокнот и смотрю на пустую страницу. Казалось бы, надо было написать миллион вопросов, когда Лэнсинг пробросил о возможности предстоящего интервью. И вот я у ворот, а в голове шаром покати. Я знаю, что есть история, знаю и хочу это знать, но теперь вот стою и раздумываю, нужна ли она мне в таком виде. Я не могу определиться, начинать ли мне с этих банальных пустяковин, или же я осознаю, что хотя Певец и в эпицентре истории, но, в сущности, она не о том. Как будто б существует иная версия, которая не про него, но о людях вокруг, тех, что приходят и уходят, но фактически могут подать более охватную картину, чем я своими расспросами, зачем он курит ганжу. Тоже мне, еще один Гэй Тализ выискался[114].

Машины на дороге ускоряются. Я смотрю на них так долго, что уже и не помню, когда охранник отлучился со своего поста. Но зато знаю по

---

[113] Примечания: 113

Банни Уэйлер — участник первоначального состава группы Боба Марли «Зе Уэйлерз».

[114] Примечания: 114

Гэй Тализ — писатель, мэтр литературной журналистики 1960-х гг.

стрелкам часов, что Лэнсинг отсутствует уже четверть часа. Подхожу к воротам и приникаю лицом к чугунным прутьям:

— Алё. Есть там кто-нибудь?

Куда ушел охранник, я не знаю. На гребаных воротах всего-навсего щеколда. Надо ее только отодвинуть, и я во дворе. Если спросят, можно сказать: случайно забрел. Пшел нах, Хантер Томпсон, перед тобой Китти Келли[115].

Я уже почти отодвигаю щеколду, когда появляется еще один охранник — другой, не тот, что отошел; более светлокожий, со шрамом на правой щеке (должно быть, получил по зубам, когда трепался по телефону). Что же это за люди? Хотя можно и не гадать. Сразу видно, что они не из полиции и даже не из приличного агентства секьюрити, хотя и вооружены автоматами. Наверное, Певец просто нанял парней из гетто. Эх, надо было подумать, прежде чем доверяться Лэнсингу… Сейчас он небось поглядывает изнутри одного из окон, как там снаружи топчется на жаре дружочек Александр Пирс. Может, даже и

[115] Примечания: 115

Хантер Томпсон — американский писатель и журналист, основатель гонзо-журналистики; Китти Келли — американская журналистка и автор популярных неавторизованных биографий знаменитостей и политиков.

Певец стоит рядом с ним и посмеивается. Впрочем, вряд ли: не станет человек такого калибра тратить время на поца вроде Лэнсинга, неважно, чем тот занимается. И тем не менее…

Ворота открываются ровно настолько, чтобы между створок проехал «БМВ» Певца. Сердце у меня лупит в ребра, прямо как у взволнованной девочки-подростка. Но это не Певец. На водительском кресле кто-то другой — тощий раста с женщиной, должно быть, из подпевки, и еще кто-то сидит сзади. Вид у водителя чем-то недовольный. Он оглядывается сначала назад, затем на свою спутницу, затем смотрит на меня и наконец дает по газам. Только когда он отъезжает, я спохватываюсь, что вокруг-то, оказывается, довольно глухие потемки.

По улице клиньями пролегает белесый свет фар. Я и забыл, что времени половина девятого. На втором этаже дома включили свет. Ворота закрываются. Оказывается, я торчу возле них уже сорок пять минут — часы не врут, — хотя счет времени у меня улетучился. «Кто-нибудь подскажет, где мой друг?» — спрашиваю я у темени. Новый охранник тоже покинул свой пост, и у меня снова закрадывается мысль пробраться внутрь. Это же так просто — казалось бы. Стоит

мне войти, как на меня без вопросов набросится десяток охранников.

Визг тормозов: с трассы на подъездную аллею к дому сворачивает красный грузовик; я вынужден отпрыгнуть в сторону. В кабине двое — оба темнокожие и в темных очках, несмотря на темноту. Водитель смотрит на меня, и я изо всех сил пытаюсь не отвести под его взглядом глаз. Второй парень, выпростав наружу руку, постукивает по дверце машины. Мотор работает на холостом ходу. В этот момент створки ворот приоткрываются буквально на три фута и к машине трусцой выбегают семеро — кто в джинсах, кто в хаки, кто в клешах от бедра, и все, как один, с разномастными стволами, подбегают и грузятся. Замыкающий — коротыш в дредах и красно-зелено-золотой майке — секунду-другую смотрит на меня, но не останавливается. Грузовик вслепую, на ходу разгоняясь, сдает задом на проезжую часть и поворачивает налево. Ворота открываются шире, и я буквально отскакиваю перед прянувшим по аллее синим «Форд Эскортом», в котором теснятся не то четверо, не то пятеро, высунув из окон стволы. Ого… Их точное число я в сумятице прыжка даже не сосчитал. «Форд» выскакивает на Хоуп-роуд, распугивая транспортный поток, и тоже

берет курс налево. Придя в себя, я смотрю туда, где дежурит охрана. Но там никого нет — видимо, все снялись с якоря. Хотя ворота открыты.

На подворье Певца я впервые. Это в самом деле его дом? Я и не знаю. Внутри дорога идет вкруговую, а посередине видно купу деревьев, откуда открывается вход с четырьмя колоннами и двойной полуоткрытой дверью. Все окна в обоих этажах открыты. Группа играет как ни в чем не бывало, а снаружи никого нет. Я иду налево, к его пошарпанному пикапу. У моего отца когда-то был такой же — не по модели, а по ветхости и обшарпанности, и его он любил больше, чем своих детей. Причина такой любви была, наверное, в том, что пикап, в его понимании, был единственной вещью, которая пусть и старится, но не умирает. Пока это в самом деле не произошло. Странно до ужаса, но музыка явственно исходит изнутри, а снаружи тем не менее все спокойно. Не то чтобы бесшумно — тут тебе периодически и клавишные, и ударные, и шум транспорта, — но в целом ощущение покоя и безвременья, что лично меня начинает постепенно доставать. Чем именно это объяснить, я не знаю. Поверить не могу, что этот сукин сын Лэнсинг взял и оставил меня здесь. Значит, он в самом деле меня кинул?

Или это у меня от сгущающейся вокруг темени? Кто-нибудь внутри догадывается, что охранники все, как один, уехали, оставив ворота распахнутыми настежь? Это что, смена караула? Новые парни меняют ямайский распорядок?

Впрочем, знаете что? Ну вас всех на хер. И в первую очередь его. Надо было сразу обо всем догадаться. Может, так он отомстил мне за разговоры у него за спиной? Я и впрямь чувствую себя лохом. Только дело в том, что о Марке Лэнсинге я никогда не заговаривал ни в глаза, ни за глаза, — ни ругательно, ни вообще никак. И с кем мне насчет него, собственно, разговаривать? Ну его нах, этого сучьего потроха, и знаете что? Нах вообще все это место. Может, я сам себя вожу за нос. В очередной раз. Может, мне лучше сфокусироваться на визите Мика Джаггера, чтобы сохранить свою долбаную работу, или по крайней мере на рандеву с тем самым фотографом, которого я пока так и не видел? Хотя, честно признаться, я даже не уверен, что он еще на Ямайке.

Я поворачиваюсь и иду к воротам. Движение на Хоуп-роуд довольно плотное. Моих вещей в машине Лэнсинга нет, так что иду налегке. Мимо снуют машины, и вот я вижу белый «Эскорт», похожий на такси. Водитель едет с высунутой

из окна рукой, что, как правило, означает: все деньги идут в карман ему. Я ему машу, и он останавливается. Открывая дверцу, я оглядываюсь и вижу, как выше по дороге на подъездную аллею сворачивает синее авто.

Нина Берджесс

Меня врасплох застигает вечер. Я уже около часа иду пешком. Да, автобусы меня нагоняют, обгоняют, а некоторые даже останавливаются, но я все равно иду и иду. Иду от самого Дахани-парка, где живут мои родители, — то есть к северо-западу от его дома, если его дом считать центром. Кимми подумала, что я рванусь за ней, и поэтому драпанула. Думала, что я рвусь к ней, специально держа ремень пряжкой на отлете, чтобы вышибить ей к херам глаз из глазницы. И она бежала, как та сучка в «Черном Рождестве»[116], которая по сценарию гибнет первая. Она даже запнулась о пылесос, который мать забыла убрать из-за смятения насчет своей старшей дочери, которая — гляньте, люди! — стала вонючей путаной, растовской подстилкой.

Но я за Кимми не гналась. Как и желание быть той визжащей девчонкой в фильме ужасов, это у нее все от жажды быть в центре внимания. Бьюсь об заклад: она даже не думала о том, что эффект будет обратный — отец закашливается на полу,

---

[116] Примечания: 116
«Черное Рождество» — фильм ужасов (1974).

мать вопит «прочь с глаз моих, блудница», и всё в итоге шиворот-навыворот. Суть в том, что она отчаянно, хотя и безуспешно, пыталась обыграть эту сцену так, чтобы смотреться в ней главной героиней. Эх, надо было все же ее нагнать и оставить пусть всего пару, но хороших рубцов на спиняке. Но когда мать благим матом орет, что ты демон из пасти геенны огненной, — «а все потому, что надо, надо было блюсти Великий пост, потому что иначе дьявол залезет в тебя и подменит твоего ребеночка на бесовку, так оно и вышло», — то остается лишь посоветовать не смотреть на ночь плохих сериалов или же просто уйти. Что я и сделала. Кимми при этом, не переставая вопить, кинулась от меня наверх в свою спальню — пардон, свою *бывшую* спальню — и заперла дверь изнутри.

Ремень я отбросила и вышла на улицу. Как только закат касается меня своими лучами, я пускаюсь бежать: уже шесть часов, начало седьмого. Когда позвонила мама, это все напоминало вызов «Скорой», и я быстро натянула зеленые кроссовки, которых не надевала со времен Дэнни (это он их и купил, из любви ко всяким глупостям). Пробежками я не занималась со времен школы, а потому на что они мне? В какой-то момент с бега

я перехожу на шаг — может, после того, как выбежала на дорогу и из первой же затормозившей машины меня спросили, не чокнутая ли я. Или, может, когда я бежала посередине дороги и другая машина дала по тормозам, а шофер покрутил у виска пальцем. Или же когда я запрыгнула в автобус, который отвез меня в Кроссроудс, хотя я туда совсем и не хотела, а просто не помню, как я в нем оказалась.

Виза — это билет. И всё на этом. Не знаю, почему я единственная, кто это понимает. Виза — это билет из преисподней, куда гребаная ННП думает упечь страну. Чтобы это понять, надо следить за новостями. И не нужно ждать, пока объявится один из маминых всадников Апокалипсиса или еще кто. Вы бы видели, с какой любовью она ходит в церковь за разными там предзнаменованиями и чудесами о том, что мы здесь, на этом свете, доживаем свои последние дни. Несчастные, жалкие старик со старушкой; неужели они не видят, что это… что это… черт, *что* это? Я не знаю, где я и почему в Кроссроудсе, когда мне надо было на Хоуп-роуд. Не болтать и не думать в голову, а смотреть в оба. Надо добыть визы и авиабилеты, которые брякнуть перед родителями так, чтобы у них не оставалось времени на аханья и на то,

чтобы Кимми их разубедила — оставайтесь, мол, старики, и дождитесь, пока шитстема сама собой не исправится. С автобуса я соскакиваю.

Я ушла до того, как отец успел отдышаться. Ничего, пусть будет ему уроком. Всем пусть будет. А то меня слегка уже достало, что каждый мужик, включая моего собственного отца, при виде меня чувствует себя вправе вести себя из рук вон. Блин, я сейчас рассуждаю, как собственная мать; поцелуйте меня в попень, если она для меня пример для подражания. Папаша отхлестал меня, как пацанку. Как будто я какая-то срань. И во всем этом виновата Кимми. Хотя нет. Она просто дуреха, терпящая от мужиков то, чего сама заслуживает, в том числе от собственного папочки. А вина во всем Певца. Если б он меня не трахал, то, глядишь, я бы с ним и не вязалась. И посольство не несло бы мне ахинею насчет визы, так ее и разэтак; всякое там дерьмо насчет того, что, видите ли, у меня, блин, нет связей, как будто б мне позарез надо скрыться в этой гребаной стране Дяди Сэма, где людей стреляют в голову, верзилы насилуют мальчиков, а белые по-прежнему зовут темнокожих ниггерами и, как в Бостоне, пытаются проткнуть их древком от флага, и по барабану, что это снимают на камеру.

Ох, они допрыгаются!..

Господи, блин, Иисусе, как мне не нравится, когда я сквернословлю!.. До меня доходит, что часть своей небольшой тирады я бормочу вслух, и одна любопытная школьница, которая оказалась рядом, пристраивается ко мне и семенит сзади, а затем перебегает через улицу. «Да чтоб тебя мухобойкой прихлопнуло!» — хочу я крикнуть вслед, но сдерживаюсь. Вместо этого иду к востоку от Кроссроудс — от всех его автобусов, многолюдства, школьниц в зеленых юбчонках, школьников в штанишках хаки, — и направляюсь к Мареско-роуд. В автобусе сердце у меня снова начинает биться учащенно, еще чаще, чем когда я давала сдачи отцу. Стучит как заводное. Я на автобусе, набитом чемоданами, сумками и сумочками, рюкзаками, начищенными импортными туфлями и скромными башмачками. Все едут по домам — кто с работы, кто из школы. А у меня и работы нет. И ступни чешутся из-за этих чертовых кроссовок. Какая-то женщина слева, на четвертом сиденье, украдкой посматривает на меня, и я начинаю тревожиться, все ли в порядке с моей внешностью. Волосы вроде не растрепаны, майка заправлена, по виду я явно не «заяц» и не попрошайка. Я дожидаюсь, когда она снова на

меня уставится поверх газеты, и тогда смотрю на нее так, что она моментально отворачивается. Ну вот. Из-за нее, блин, я пропустила остановку. Я схожу на следующей и тут понимаю, что лоханулась. Из-за этой бабы я пропустила не одну остановку, а по меньшей мере пять или шесть. И вот я отправляюсь пешком. Какое это будет расстояние, я как-то не подумала. А между тем Леди Масгрейв — это одна длиннющая дорога.

Зачем я топаю пехом, у меня, должно быть, знают ноги, потому как голова не имеет понятия. Возможно, мне просто больше нечем заняться и остается только это. Наверное, функцию заполнения пустоты должна выполнять работа; пустоты, которую сейчас ощущаю в себе, я и заполняю ее… чем? Тьфу, хрень какая. Сама не соображаю, что несу. Родители мои быть мне родителями больше не хотят. Может, просто встать и стоять у него под забором, пока на меня что-нибудь не снизойдет? Возможно, вопрос переезда для родителей не стоит, и мне нужно единственно добыть эти чертовы визы, и пусть они делают с ними что хотят. Я пыталась, да, пыталась, эта их дьяволица-дочь. Давалка расты. Надо было спросить, что их больше уязвляет: трахалка с ним или то, что он раста.

На пересечении я останавливаюсь. Хочется

прилечь в траву у обочины и одновременно бежать, нестись без оглядки. Я открываю сумочку и достаю косметичку. Готова поклясться, что не помню, когда я вообще таскала с собой сумочки. Для некоторых женщин, я знаю, они вроде одиннадцатого пальца, и они о них даже не думают, хотя человеку свойственно день ото дня меняться. Кстати, то, что при мне сумочка, я вспоминаю только сейчас. Кто опрометью бегает с сумочкой? Обалдеть. Наверное, я трогаюсь умом. И держу путь к дому Певца, выбить денег на нужды людей, которые от меня ничего не хотят, но я все равно иду. Почему? Да потому. Тут до меня доходит, что на себя сегодня я, пожалуй, даже не глядела. Ого. Получается, насчет волос я себе лгала: всклокочена, как ведьма. *Безумная* ведьма. Вид такой, будто я сдернула с себя папильотки, но укладки никакой не сделала. Одна кудря серпом торчит с левой части, а другая ятаганом дыбится над правой бровью. Помаду будто малевал слепой ребенок. Блин. Впору самой от себя броситься наутек.

В горле вот такущий комок, от которого перехватывает дыхание. Черт, не хватало сейчас еще расплакаться… Нина Берджесс, не смей реветь, ты меня слышишь? А травка такая манящая, хочется просто брякнуться на нее и завыть, зарыдать в го-

лос, чтобы люди знали: эту сумасшедшую лучше обходить стороной. Какая же я никуда не годная, никому не нужная, — правильно говорила мама. Может, это помрачение у меня от ходьбы? Кто вообще в это время гуляет, тем более вдоль трассы? Прошлой ночью мне взбрело на ум пройтись пешком до самого Хэйвендейла. Идиотка. Какой женщине в моем возрасте, выпускнице из моей школы, дастся в голову такое? Почему у меня нет мужчины? На что я рассчитывала, собираясь уехать в Америку с Дэнни? Да ему здесь просто нужна была местная манда, и на этом миссия выполнена. В пределах трех лет месседж самоудаляется. Нет, все-таки надо было выбить дерьмо из Кимми. Или хотя бы дать разок пинка.

И вот между ходьбой и остановкой в меня прокрался вечер.

— Извините, сэр, время не скажете?

— Какое же время вам нужно?

Я смотрю: гладкий, упитанный сукин кот, явно держит путь домой, хотя при галстуке и хитро помалкивает. Я просто стою и смотрю.

— Половина девятого, — говорит он.

— Спасибо.

— Между прочим, вечера, — говорит он и щерится.

Я вкладываю в свой взгляд все скверные слова и гадкие мысли, какие только могу вложить, и ожигаю его этим самым взглядом. Он торопливо, бочком уходит. Я стою и гляжу ему вслед (на ходу он, кстати, дважды оборачивается). Знаете, что скажу? Все мужики — пиздюки. Да, это известно каждой женщине, просто мы об этом каждый день забываем. Но предоставьте это провидению, и на протяжении дня они рано или поздно вам об этом напомнят. Мое сердце снова колотится. Сильно, часто. Может, оттого, что я наконец вижу Хоуп-роуд. По ней, застя вид, с запада на восток и с востока на запад снуют машины — туда-сюда, сюда-туда. Я снова бегу, хотя шоссе мне не обогнать. Не знаю почему, но бежать мне сейчас просто необходимо. Может, из ворот сейчас выедет его автомобиль; может, он направляется в Бафф-Бэй; может, кто-то к нему приехал и займет его время, или он только что закончил репетировать «Полуночных рейверов» и наконец-то, наконец-то вспомнил, как я выгляжу. Мне туда *надо*, надо во что бы то ни стало. Год увлечений пробежками для меня прошел, и сейчас кажется, что легкие у меня горят огнем и скоро лопнут, но не сердце, которое работает как мотор. Остановиться я не могу и буквально влетаю на Хоуп-роуд, делаю

резкий поворот вправо и останавливаюсь. «Отец с матерью этого не одобрят», — говорит мне другая часть меня, и от этого я слегка замедляюсь, но тут же парирую: «Да и хер бы с ними. А ты заткнись».

От его ворот меня отделяет всего полквартала. Шоссе освещено светом фонарей, а движение по нему плотное, но не быстрое и не медленное, а гладкое, как течение. Через перекресток прорываются две белые машины и мчатся в проулок. Первая подлетает к воротам на такой скорости, что слышно, как визжат тормоза. За ней сразу вторая. Ноги перестают бежать, и я перехожу на шаг. Я надеюсь, что эти люди не отнимут у меня того единственного шанса, который у меня есть, не отнимут у меня *его*. Да, это он, тот самый шанс, и я им воспользуюсь — у меня получится, все остальное не имеет смысла. Странно: еще не Рождество, а только декабрь, но кто-то уже запускает фейерверки с трещотками. Я снова срываюсь на бег и бегу, бегу, затем скачу, затем иду, и от ворот меня отделяет всего какой-то десяток футов.

Демус

Вот так просыпаются лихие люди. Сначала, какую-то голодную секунду, трясешься трясом; на третью весь чешешься, а стояк такой, будто снизу у тебя, кажется, горит и вот-вот лопнет. Так оно и идет: сначала долбит зусман, от которого крупно трясется голова, и ты чешешься, пока черная кожа на тебе не становится красной, потом идешь в самый темный угол лачуги и расстегиваешь ширинку. Другие пробуют хохмить: «Э, чё с тобой, бомбоклат, стряслось?», но ты их и не слушаешь, а отлить для тебя — первостатейное блаженство. Но отходняк все длится и не оставляет до самого прихода Ревуна. Лачуга с утра кажется крупнее, даже с шестерыми, что пытаются в ней заснуть сном лихих людей.

Вот так лихие люди и просыпаются, так и не заснув. Я не спал, когда Цыпа с героиновой ломкой взялся ходить во сне, бормоча одно и то же: «Левиты, левиты». Не уснул и тогда, когда Хекль подскочил к окну и попытался протиснуться наружу. Бам-Бам спит, но сидя на полу и прислонясь к стене, и всю ночь не двигается с места. Я грежу наяву и вижу в мыслях братву, что оставила меня

без гроша на ипподроме «Кайманас-парк». Во мне поднимается жар, как от лихорадки, потом сходит, потом снова поднимается. И так может длиться всю ночь. Перед уходом Джоси отвел меня в сторонку и сказал, что те го́вна позавчера вернулись из Эфиопии. И жажда поквитаться тоже не дает тебе уснуть.

Вот так проверяется, который из тех, кто в комнате, — желторотый щегол. Не проходит и часа, как они начинают ворочаться и стонать во сне, тот «толстяк» из Джунглей трижды зовет по имени какую-то женщину — то ли Доркас ее звать, то ли Дора, я не разобрал. Только у молодых бывают сны про траханье. Хекль в углу занимается рукоблудством, сунув себе руку в штаны. Только молодые могут спать даже со всем этим бременем на плечах, как будто Бог устал его нести и перекинул на людишек: давайте-ка, мол, теперь вы потаскайте.

Я не сплю. Даже сонливости нет. В лачуге и ночью мухота. Часов ни у кого нет, и поэтому время сказать нельзя, но где-то, по ощущению, среди ночи доходяга из Джунглей пытается выскрестись из двери. Никто не просыпается, но я-то не сплю. Слышно, как он несет всякую ересь, что вот-де большие «шишки» заперли его в хлеву, и мне хо-

чется ему сказать: «Расслабься, а то Джоси Уэйлс из тех, кто любит поучать за провинности», но я остаюсь в своем углу, лежа на спине, и закрываю глаза, как только кто-нибудь начинает смотреть в мою сторону.

Но это было, наверное, несколько часов назад. Теперь все в лачуге начинают сходить с ума и чудить. Бам-Бам кричит криком. Те двое из Джунглей вышагивают туда-сюда по комнате, а как только натыкаются друг на дружку, то сцепляются драться. Хекль обшаривает каждый угол, каждую щель, каждую пачку из-под сока и бутылку из-под колы, верх и низ всей лачуги, в поисках кокаина. Я знаю, что он ищет именно его, хотя все предыдущие поиски открыли только крысиный яд. Цыпа терпеть больше не может, поэтому идет в угол, где мы ссым, садится и начинает через рубаху чесать себе грудь — хруп, хруп, хруп.

— Вот же херь, слышь? — спрашивает Хекль. — Может, кто-то пособит мне высадить эту гребаную дверь?

— За нами должен прийти Джоси Уэйлс, — напоминает кто-то, но тихо, как будто Джоси — это какой-нибудь всадник из Книги Откровений. Бам-Бам уже вопит, как какая-нибудь девка, которой вставляют. Я говорю ему «заткнись, козел»,

но он орет, словно от кошмара. Я его пинаю, как гром, и он вскакивает, как молния. Тычок хотя бы заставил его ощутить себя мужчиной, а шлепок заставляет его ощутить себя девкой. Снаружи за окном серый свет сменился на желтый, вышло солнце и поселилось на полу. Не оставалось ничего, кроме как смотреть, как оно отодвигается от стены, по полу, вбок через половицы, а потом уходит в окне, как пришло. Солнечные лучи внутрь не попадали, но в лачуге сделалось жарко, как в печи. Наверное, близился полдень.

Теперь по лачуге ошиваются пятеро, и от них расходится потная вонь. Теперь вопит уже Цыпа. Бам-Бам таращится на стену, а Хекль — в окно, как будто думает, что сумеет из него выбраться. Наверное, он прикидывает, что если в лачуге хватит места для разбега, то можно кинуться вперед с выставленными руками, как Супермен, и так вылететь наружу. А может, это я так думаю, потому что зной тут влажный, липкий и мутнозвонкий, и всюду вокруг я чувствую потную вонь. Только те двое из Джунглей ведут себя так, будто у них еще осталось соображение. Натыкаться друг на дружку они перестали и начали расхаживать вместе. Но вот один проходит мимо Хекля, задевает его за ногу, и тот говорит: «А чё это вы

тут меня пнули, а?», подпрыгивает и толкает их. Те двое из Джунглей на него напускаются: один хватает его за правую руку, другой — за левую, и разом лупят его о стенку так, что лачуга вздрагивает. Они думают это повторить, но тут встревает Цыпа: «Э! Слышите машину?»

Мимо пролетает автомобиль — «ввррржжжжж», — но без остановки. Цыпа заводит песню: «*Когда настанет нужный час, убийства бал придет для нас*». Бам-Бам вскакивает и подпрыгивает на одном месте со словами «я тут как солдат», «я тут как солдат», чего я от него никак не ожидал. Четыре стены жмут, и я только один, кто это видит. Я могу чуять всех пятерых, как они воняют, какие они жаркие, и во всех них сидит страх, добавляющий в вонь как бы кислоты. Воняет также ссаками. И серой. А еще — нафталином, мокрой крысятиной и старым деревом, погрызенным термитами. Комната жмет, а все стволы перед уходом забрали Джоси Уэйлс с Ревуном, чтобы мы не могли понаделать в стенах дырок.

В комнате становится прохладней, и сначала мне думается, что это наконец до нас дошел морской бриз, но нет, просто это солнце ушло. Нас заперли с ночи до ночи. Но должна же быть какая-то палка, балясина, труба, молоток, швабра,

столб, лампа, нож, бутылка из-под колы, гаечный ключ, камень большой или мелкий — что-нибудь, чем можно ударить, когда те двое за нами явятся. Чтобы можно было ударить быстро и поубивать их. Убить хоть кого-то. Должно же быть в этой лачуге хоть что-то, чтобы убить того, кто войдет в дверь, неважно кто, потому что мне уже все равно, я хочу всего лишь отсюда выбраться. Хекль в углу сует руку себе в штаны. Оглядывается вокруг, смотрим ли мы, вынимает конец и начинает в открытую его наяривать, а потом кричит, как девка, и пинает по стене. Бам-Бам во сне видит, наверное, Шутника, и хнычущим голосом повторяет ему: «Не трожь моих “кларксов”».

Вопящего можно пресечь двумя путями. Дать ему зуботычину, если ты хочешь, чтобы он почувствовал себя мужчиной, или дать оплеуху, если хочешь, чтобы он почувствовал себя девкой. Джоси Уэйлс поднимает Бам-Бама с пола левой рукой и шлепает по мордасам правой. Хлестать надо с востока на запад, затем с запада на восток и снова с востока на запад, как мужчина хлещет свою женщину. Я чешу себе голову, потому как не знаю, каково это, чувствовать лицом хлесткую оплеуху, и не могу вспомнить, когда успели появиться Джоси Уэйлс с Ревуном. Еще пару мгно-

вений назад их тут не было, а тут моргнул — и оба они здесь, как по волшебству. Как две Обеи[117].

Джоси по-прежнему лупит Бам-Бама, веля ему перестать вопить, как сука, пока он не огорчил его так, что ему действительно будет отчего расплакаться. Двое из Джунглей говорят «да ну вас нах» и думают наброситься, на что Джоси, как жонглер, выхватывает два пистоля и говорит им «*а ну, поуспокоились, братишки*».

Затем он открывает большой ящик, в котором оказывается уйма стволов, в основном «M16». Ревун открывает коробку помельче, а в ней полно белого порошка. Мы с Цыпой первыми кидаемся за стол, а Бам-Бам хнычет «и мне, и мне». Ревун разделяет горку на десяток тонких белых дорожек. Достается ему, затем Цыпе, затем мне, затем снова Ревуну, а Джоси Уэйлс кричит на него, что тот обещал, что не будет пачкаться этой дрянью. Ревун его успокаивает: «Всё зашибись, всё зашибись». Один из парней из Джунглей вынюхивает носом дорожку, но другой говорит «нет». Ревун подставляет ему к лицу пистоль и говорит: «Не думай, что я не могу тебя пристрелить, а затем все равно распорядиться твоим трупом». Он на-

---

[117] Примечания: 117
Обея — магическое существо в культе вуду.

водит на парня ствол, но тот не ежится. Тогда Ревун со смехом отводит ствол. Я смотрю, как Джоси Уэйлс на все это смотрит. К дорожкам он не притрагивается.

Где-то на третьей дорожке кокса я ухожу дальше, чем меня уводит мысль. В транзисторе играет Диллинджер (я и не знал, что в этой халупе есть радио, но Диллинджер как ни в чем не бывало воркует: «*Во Дворце Букингемском попиваю вино, и за мистером Уоллесом я шпионю давно*»). В лачуге духота, воняет ссаньем и кислой вонью. Я вынюхал три дорожки, но Ревун все продолжает их стелить — такие тонкие, что уходят с одного понюха. Те двое из Джунглей громко хохочут, кричат и пытаются подпевать, помахивая стволами. Ревун снова предлагает мне нюхнуть, и я нюхаю. В носу сладко жжет, как от ароматного перца, а тени начинают соскакивать со стен и танцевать. Хекль с Цыпой от вынюханного поглупели, а я нет. Я вне глупого и мудрого. Долгий час может заполняться мелочами. Когда Джоси Уэйлс говорит мне «хватит, Джо», я ему говорю, что меня зовут иначе, но как именно, не помню, поэтому принимаю имя «Джо» и говорю звать меня просто «Джо», и это имя для меня слаще сладкого.

Проходит десять минут, пятнадцать, час, день, пять лет, но мне поровну, сколько его проходит, а Ревун выстилает мне еще одну дорожку, но говорит, что я ее не получу, пока не покажу ему, как обращаться с оружием. Я ему говорю, что даже тупой шибзденыш, что вылезает из манды наружу, умеет стрелять из ствола, и он отвешивает мне оплеуху, но я ничего не чувствую. Да, такие вот дела. Не чувствую ни оплеухи, ни боли, ни пули. Джоси Уэйлсу я не говорю. А когда начинают танцевать тени, они мне говорят, что его надо убить — его дружка-ворюгу и его самого, потому что они с тем вором побратимы. А значит, и он, получается, тоже как бы вор. Не знаю, сколько прошло времени, но радио у меня в голове звучит сладко, как траханье. Он спрашивает, готов ли я, а я спрашиваю: «Что ты имеешь в виду?» Никто теперь ко мне не смеет притронуться, а глаза у меня видят так далеко и так глубоко, что я захожу в мозг Джоси Уэйлса и обратно, а он даже и не понял. Я уже сейчас знаю, как они будут рассказывать эту историю. Знаю, какая часть остается, а какая теряется.

Вот так оно ощущается, когда знаешь, что тебе по силам убить Бога и оттрахать дьявола. Джоси Уэйлс говорит, что скоро выезжаем, но я ощущаю,

что лучше это сделать прямо сейчас, и хватаю ствол и думаю, что хочу *бац-бац-бац* этого козла, и никто его не порешит, кроме меня, — вот прямо так *бац-бац-бац*, и ощущение такое хорошее, такое прия-я-я-тное, и каждый раз, когда я произношу «*бац-бац-бац*», я чувствую, что эхо в комнате тоже сладкое, приятное. Джоси Уэйлс говорит «пора». Снаружи два белых «Датсуна». Джоси Уэйлс прямо перед отъездом говорит нам, как играть на обе стороны, но при этом мы все равно шестерки ННП. И что если хочешь нарезать хит, где говорится про «тяжелые манеры», то это все лозунг ННП. И что нас никак не изменить, но после этого все изменится по-крупному.

Нам на три раза повторяют, что нам, восьмерым, делать. На три. Первый раз мы забываем и последний тоже, потому как кайф сейчас какой-то другой, не такой. И не потому, что я так уж плотно сижу на коксе, а просто кайф какой-то другой. Чумовой. Цыпа чего-то совсем уж поглупел. Мне холодно, но не потому, что солнце зашло и уже стемнело и сгустился сумрак. Джоси смотрит на часы и ругается, что мы запаздываем. Снаружи два белых «Датсуна». Джоси, Ревун, Бам-Бам и я залезаем в первый. Остальные во второй. Едем на окраину. Окраина всегда говорит мне одно и

то же, когда я туда попадаю. Зеленый свет. Мы летим, летим, летим, как гром и молния. Сейчас бы еще одну дорожку, всего одну, и тогда я точно взлечу. Перед нами синяя машина, и кажется, она едет туда, куда и мы. «Пайпер», то есть «трубач», а мы, стало быть, крысы[118]. Мы едем по шоссе прямиком к Хоуп-роуд, 56. Красный свет говорит «стоп», но зеленый говорит «езжайте».

[118] Примечания: 118

(*Зд*). Гамельнский крысолов — персонаж средневековой немецкой легенды. Согласно ей, трубач, обманутый магистратом г. Гамельна, отказавшимся выплатить вознаграждение за избавление города от крыс, с помощью колдовства увел за собой городских детей.

Бам-Бам

Джоси Уэйлс, ни слова больше, предстоят дела,
Мы в машине, где бас звучит толще,
Стереобаза, ниггер, игра,
Нам не надо музыки по радио, ниггер,
Короткий обрубок-урод, он же менеджер,
На дороге виляет хвастливо, как «Челлен-джер»,
Дорожный киллер, срывающий куш,
На том, что обманет восемь душ,
Восемь парней, два белых «Датсуна»,
Как даппи, прыгают при свете со стула,
Ревун первым приметил его,
Мы смеемся,
Не повлияет на нас ничего,
«Трубач-крысолов», говорит Ревун,
Не знаю, о чем он, в доску свой лгун,
Никто не сказал, но все смеются,
А мне вот по нраву, когда «ебуцца».
Всех оттрахаем посреди окраины,
Ствол со мной, чернее окалины,
Из Вавилона рвемся на окраину,
Машина на машине, гонит погоняет,
Кингстонский кокс, он угарно вставляет.

Я убью того козла,
Ревун, смотри, но не мне в глаза,
Он может видеть — никто не движется,
Мы с боссом близки так, что он колышется,
Надо пихнуть его, чокнуть слегка,
Чтоб, как выйдет время, почувствовалась наша рука,
Два белых «Датсуна»,
И парень за парнем
Едут за тобой силой ударной,
Я тру свой ствол, но это глупо,
Пушка есть пушка, и это есть круто,
Хочу я трахаться, трахаться, трахаться,
Пятнадцать не возраст, но чё уж тут прятаться,
Лихие, они трахаются с десяти,
Целку ищи, иди гляди.
Как-то я видел, папаша
Трахал мою мамашу,
Белый «Датсун» и двое сзади,
Красная машина прет не глядя,
Две машины по бокам,
Синяя «Кортина», но не «Форд»-седан,
Розовый «Фольксваген»
С жопником в засаде,
И никто не движется,
Будто все застыли,

Я это сделаю на «раз-два-три-четыре»,
Хочу вскинуть ствол и начать шмалять,
Пусть все застынут, драть вашу мать,
Ревун глядит: опусти, мол, ствол,
А я ему в ответ: на хер пошел,
Он мне что-то твердит о коксе,
А я говорю: пошел ты, ексель-моксель,
С кокса спросу нет, хочу я сказать,
Мне все круто, мне все поебать,
Полет что надо, круто вполне,
В «Фольксвагене» пидоры, как на волне,
Четверо едут в белом «Датсуне»,
Ну погодите, мы всем вам засунем,
Наведу я ствол тебе в белую харю,
И погоди, так заскипидарю,
Ритм в башке обезумел совсем,
Стиль Бам-Бама, бомбоклат всем!
Все путем, начальник в отрыв,
Квохчет, как петух, на куриц стальных,
Дзинь-ля-ля, он уходит в отвал,
Мы идем в то же место, Ревун нам сказал,
Демус все молчит, он мне не по нраву,
Смотрит, как будто мешает отраву,
Вот и Хоуп-роуд, и менеджер там,
Становимся и ждем, жди, Бам-Бам,
Смотреть и ждать, «Эхо» не караулит,

«Эхо» — ННП, плати, оно дрюлит,
Темень находит как невзначай,
Красное красным и рыжим качай,
Черное черным, черным-черно,
Хочу шмалять, чтобы всех в говно,
Шмалять хочу, потому что здесь Ты,
И вот мы пришли за тобой, где здесь Ты?
Врываемся дружно в ворота,
Сейчас закипит работа,
Все из-за тебя, Ты стоишь на пути,
Первая машина, в двери лети,
Вторая машина, закрой проход,
Четверо, выскочив, рвутся вперед,
Кто на одной, кто на всех четырех,
Ревун впереди, грозный, как бог,
Главная дверь ведет во владения,
Здесь рабов стегали во все поколения,
Бац, бац, бац, Ты сверху на кухне,
Нюхом чую я Твои ступни,
Пахнет травой и пахнет тобой,
И тут мне Джоси влепляет рукой,
Он вел машину, но заскочил первый,
Бежит Его Жена, но я с ней как со стервой,
Она и выродок мне по барабану,
Я с ними церемониться не стану,
Леплю ей подряд две пули в башку,

Она распласталась и лежит ни гу-гу,
Подбегаю к ней, чтобы сделать контрольный,
Но она уж лежит, и кровь хлещет вольно,
Я бегу там, где Ты, чтоб Тебя срезать,
Но Джоси меня успевает подрезать,
Бам-Бам шмяк Жену и братьев и сестер
И всех, кто с гитарами, подлый вор,
Я слышу, как сверху шмаляют и падают,
Бам-Бам, погляди, кровь на тебя капает,
Бомбоклат гребаный, мне нужен Ты,
Чтоб пулю всадить в Твои черты,
Бегу наверх, меня всего прет,
Затвор передернут, вся кухня орет,
Про меня еще песню напишут, вот,
Ритм взрывается, в мозг меня бьет,
Все громче и громче, отец мой поет,
«Раз-два-три-четыре», кто-то упал
И носом пол на кухне вспахал,
Бам-бам-бам, но Джоси бежит первый,
Своей «M16» он мне давит на нервы,
А вот их менеджер, прямо навстречу,
Но знаешь, мне по херу все твои речи,
Бегу я быстро, но всё как замедленно,
Последняя ступенька поддается медленно,
Чем резче вскидываю, тем медленней ствол,
А передо мной Джоси маячит, осел,

Стоит между нами живой преградой,
Коротышка-менеджер летит, как торнадо,
Что-то бухтит, непонятно о чем,
Бам-бам-бам, мне все нипочем,
Джоси шмаляет в бедро и спину,
Тот орет, и я ору: «Сейчас тебе двину!»
А Ты говоришь: «Селассие Джа Растафарай»,
Все падают вокруг, хоть метелкой убирай,
Роняют самокрутки, банки с бухлом,
И от пуль только пыль столбом,
Окно вдребезги, Джоси в голову не целится,
Хоть Кубинец говорил: надо в голову прицелиться,
Чтоб лопнула, как горшок, тогда сразу капут,
А Ты смотришь на меня и роняешь грейпфрут,
Смотришь, хоть мне впору вопить и орать,
А тебе лишь вздрочнуть да в штаны насрать,
Но Ты просто смотришь не моргая,
И я, Бам-Бам, чую что залаю,
Джа Растафари, в сердце дыра,
А Ты взываешь к Селассие, не поняв ни хера,
Я Джоси говорю, что Жену Его шмальнул,
Двумя пулями в голову ей саданул,
Так что сука на землю упала плашмя,
И убраться ей не удалось от меня.
Кто ты, сучка, такая, Келли или Сабрина?

Тоже мне королева, трахать тебя в спину,
Ты достал Его, нет? Ты достал Его, да?
Братья шарят по дому, туда и сюда,
Мимо девки, что спряталась в страхе за дверь,
Бежит Демус, орет и воет, как зверь,
Садит обойму прямо в орга́н,
Вот вам фа, вот вам ре, вот вам ми по ушам,
Люди внутри кричат и возятся,
Девка затихла, все как водится,
Ты роняешь грейпфрут и смотришь на меня
Совсем как Иисус на Иуду тогда.
Я твой Пилат, я твой римский солдат
Ты не знаешь, что Иуда и был твой брат
Демус стервенеет, тоже ищет Иуду,
Хочет его больше, чем Тебя, паскуду,
Ты стоишь прямо на пути,
Братан, Ты как кокс, мимо тебя не пройти,
Хекль мимо Демуса бежит такой прыткий,
Кого-то очередью прошивает, как ниткой,
С каждым выстрелом новый всплеск крови,
Мы хлещем очередями без любови,
Я хочу убедиться, что Ты мертвяк,
Чтоб не встал уже с пола, да будет так.
Джоси Уэйлса мы, бомбоклат, ненавидим,
По кухне мечемся, но Тебя не видим,
Хотим убить Тебя поскорее,

Если Ты мертвый, то будь еще мертвее,
Выскочил Цыпа, чуть не шмальнул меня,
Ты Жену убил? Да, убил ее я,
Все лежат на полу, в доме стало тихо,
И вдруг сигналят фараоны лихо,
Звери Вавилона, мы бежим на выход,
И вдруг заходит девка тихо,
Ангел не знает, что она ступает в ад,
Темная кофта, симпотный зад,
Заходит сюда без всякого страха,
Смотрю, ничего себе деваха,
Пришла к Нему, это понятно,
Темная кожа, прическа неопрятна,
Я хочу трахаться, трахаться, трахаться,
А она стоит и не думает шарахаться,
Никуда не уходит, а просто стоит,
Глаза с краснинкой, типа, плакала навзрыд,
Стоит и не движется, а сирены близятся,
Я берусь за ствол, чтоб не смела приблизиться,
Но тут налетает Джоси молодцом,
Смотрит он ей прямо в лицо,
Смотрит в лицо, не зная, что крякать,
А она вздрагивает и начинает плакать,
Взрослая девка, а плачет, как маленькая,
Я и подумал: иди сюда, удаленькая,
Но Джоси и тут нам помешал,

Встает между нами, чтоб я перестал,
А ну, щегол, марш в машину!
Первый «Датсун» уже двор покинул,
Демус, Ревун, Джоси, Хекль и я,
Ревун по газам и рвет со двора.
Та девка стоит, как Лотова жена[119],
Будто превратилась в соляный столб,
Тут три выстрела по окошку щелк,
Я хочу бац бац и трах трах,
Но вместо этого кричу лишь ах,
Мы срываемся вниз и виляем влево,
Встречная машина убить нас приспела,
Визжат тормоза, и вопят клаксоны,
Полиция влетает во двор с разгону,
Мы летим под безумные клики сирен,
Вавилон мелькает, мы даем резкий крен,
Машины лупятся на Хоуп-роуд,
Фараоны дают за нами ход.
Прочь с дороги, бомбоклат! Бам,
На свертке с дороги мы даем по газам,
Шины визжат, и скрипят тормоза,
От фараонов деваться нельзя,
Пухнет голова, и лупит сердце,
Смотрю, машина навстречу полезла,

---

[119] Примечания: 119

Жена Лота — та, что, согласно Библии, «оглянулась назад и стала соляным столбом».

Хватит вопить, как опездол, козел!
Голос Ревуна донельзя зол,
Он давит на тормоз, я бьюсь о стекло,
Он крутит руль, жмет газ и… и… и…

Демус

«Датсун» летит по другой дороге, которую я даже не знаю, а затем еще по одной, затем делает крюк влево еще на одну, где перед капотом отскакивает какой-то пацан, но все равно слышен удар, и все гомонят, а Ревун приговаривает «*заткнулись, гондоны, заткнулись, гондоны*», и мы опять поворачиваем, поворачиваем и тычемся в проулок, такой узкий, что скребем придорожные дома, от которых чиркают искры, а кто-то орет то ли внутри, то ли снаружи; кажется, мы ныряем в колдобину, за нею еще в одну, и еще в одну, и машина ныряет то вверх, то вниз, а потом мы притормаживаем у бара по правую руку, где играет *его* песня; бар с вывеской «Пепси» и стариком со «Швеппсом», а Хекль говорит: «Надо выкинуть ствол, ствол» — и выкидывает, а Ревун обзывает его «гребаным долболобом», но продолжает езду, и мы поворачиваем направо по узкой дороге без фонарей, где сбиваем собаку, после чего делаем поворот налево, затем направо, и никто не знает, где мы теперь; я знаю, что я не знаю, а у самого голова уже клонится от какой-то опустошенности, на душе все грустнее и грустнее, ко рту подступа-

ет блевотина, я ее сдерживаю, мы сворачиваем в какой-то пустой проулок, и еще проулок, и оказываемся на широкой дороге, что пересекает низину между Мусорными землями, и тут я замечаю, что фараоны за нами уже не гонятся, а я парень и хочу женщину, ту женщину, что ушла от меня этим утром, зная, что мы, возможно, не вернемся, но я об этом не думаю, а хочу женщину, но никто в машине не произносит ни звука, пока Хекль не начинает бормотать, что гореть нам в аду, что нас всех отымеют в зад и дадут «пожизненку», и что же мы такое, бомбоклат, делаем, а Джоси хочет что-то сказать, но тут Ревун останавливает машину и выходит наружу, а Джоси спрашивает: «Чего ты, бомбоклат, затеял?», а Ревун вытаскивает пистоль, открывает заднюю левую дверцу и говорит Хеклю: «А ну вылезай, жопошник», но Хекль говорит, что никуда не пойдет, на что Ревун делает выстрел в воздух, а я думаю: «Ну вот, блин, теперь точно кто-нибудь придет», а Ревун приставляет пистоль Хеклю к голове и говорит мне: «Брат, лучше-ка подвинься, а то мозгами весь обрызгаешься», а Хекль поднимает вой: «Я сейчас выйду, сейчас выйду» — и выбирается наружу, а Ревун выхватывает у него «M16», бросает на мусорную кучу, указывает стволом и говорит: «Беги

давай, я с тобой дел больше не имею», и когда тот поворачивается бежать, Ревун дает ему для ускорения пинка под зад и садится обратно в машину со словами: «Все, кто хочет к нему примкнуть, лучше пусть вылезают здесь», но никто вылезать не желает, а я бы лучше ушел в какую-нибудь пещеру на берегу или забился в какую-нибудь ущелину, а вообще я просто хочу нюхнуть еще одну дорожку, пока живой, потому что кумекаю, что меня убьют, потому как должны, ведь я один из тех, кто убил его, а это все равно что убить Христа, и я желаю, чтобы женщина могла мне спеть, и вообще лучше б я помер от какой-нибудь болезни гетто вроде полиомиелита, цинги или водянки, или от чего там еще мрут бедняки, но Ревун заводит мотор, и мы едем через Мусорные земли, которым, кажется, нет конца и края, едем без заезда в Копенгаген, и в отвале за Тренчтауном Ревун останавливается, выходит и убегает бегом, оставляя нас троих, бежит и исчезает на пустыре, который его как будто проглатывает, а я все жду, что меня вырвет, а Джоси Уэйлс на переднем сиденье смотрит на Бам-Бама, и Бам-Бам выбегает и исчезает где-то на западе, а Джоси Уэйлс смотрит на меня и говорит: «Дурачина, им едва не стал ты, если б только унюхал говно

Ревуна», и я спрашиваю: «Что ты такое несешь?», но он сам уносится куда-то на восток пустыря и исчезает, а я все жду, что сейчас заблюю, и от этого меня неожиданно тянет расхохотаться, хотя смеяться особо не о чем, особенно сейчас, и, во всяком случае, когда никто не смотрит, меня тянет разораться, что я хочу свою женщину, хочу кокаиновую дорожку, потому что ломку я ненавижу, ненавижу еще больше, чем думать о том, что меня пристрелят и что не прошло еще и месяца, как я уже начинаю хлюпать носом, превращаясь в уличного сумасшедшего с кокаиновым голодом, и схожу с ума, и мозг у меня куда-то делся, делся безвозвратно; ничего не возвращается обратно, и в эту самую секунду что-то чиркает по кусту на верхней кромке отвала, и куст вспыхивает светом, как зажженный волос, как горящий куст Исхода[120]; свет означает, что сюда едет машина, чтобы использовать отвал как срез дороги, и это полиция, всяко полиция; я чувствую, что это фараоны едут сюда по каменистому пустырю, шиплю «бомбоклат» и пытаюсь бежать, но левая нога подо мной прогибается, как у убийцы в «Грязном Гарри», за которым гонится Гарри, хотя

---

[120] Примечания: 120
Имеется в виду неопалимая купина.

нет-нет, вон там есть заросли травы, такие высокие, что могут укрыть меня, как мелкий стульчик укрывает крупного кролика, куда он ушел, куда он подевался, но я не кролик, я скорее «Фоггорн Леггорн»[121] и думаю спрятаться, и внушаю сам себе, что сейчас спрячусь вон в той траве, что это все как бы шутка… я говорю, что это шутка, хи-хи, ха-ха, машина проезжает мимо, но я не могу остановиться и продолжаю хихикать, что они меня, хи-хи, поймают и, ха-ха, убьют, хи-хи, не знаю, почему смех все так же меня распирает, затыкаюсь, зажимаю себе рот, пережидаю, когда мимо протарахтит машина, и тогда я качусь, шлепаю по поганой воде отвала и бужу крыс, которых такая прорва, что хочется завопить «ааааа», вокруг все равно никто не услышит, «ааааааа», как девчонка, особенно теперь, когда я без ствола, и непонятно, крысы ли его утащили, и срежут ли они с меня кожу, сгрызут ли пальцы ног, ведь мусора по отвалу пруд пруди: ящики из-под сыра, ящики из-под корнфлекса, моющих средств, яичного порошка, пакетов из-под муки; мертвые крысы запутались в порожних мусорных пакетах, живые копошатся в пакетах из-под

[121] Примечания: 121

Фоггорн Леггорн — петушок, главный персонаж мультсериала «Фоггорн Леггорн и его приятели».

молока и печенья, бегут по бутылкам из-под напитков, растительного масла, «Палмолива»; крысы кишмя кишат везде, надо бежать, бежать, забыть о стволе, забыть то, что тебя хотят убить, я не хочу умирать, нужно молить Иисуса, молить Папу Ло, молить Копенгаген, хотя посылал нас сюда не Папа Ло, а Джоси Уэйлс, но Джоси ничего не может без Папиного одобрения или запрета, и я пытаюсь удержать свои мысли на прямой линии, но для меня «линия» теперь означает белые дорожки кокса, и мне надо бежать, потому что я расстрелял *его* дом, и теперь я об этом безотлучно не думаю, просто это приходит и уходит у меня из головы, и когда думаешь о полученных указаниях, то понимаешь, что Джоси Уэйлс должен был получить за эту вылазку кучу денег, а иначе он не стал бы делать вид, что политика для него что-то значит; и как он заранее знал, что на воротах не будет ни полиции, ни охраны, так что, похоже, кое-кто ведал, что мы должны нагрянуть, но Джоси обещал, что мне достанется от силы один фараон, которого можно будет уделать, а охраны на воротах не будет, мы просто вбежим, хотя можно было идти и шагом, — все, что я там расстрелял, это пианино; надо вернуться в Копенгаген, потому что все это похоже на вотчину

ННП, вот почему Ревун оставил нас там, когда мы просто перестреляли большинство самых известных поборников ННП, а кто меня найдет, то убьет до смерти; я не знаю, куда это место ведет, а дорога идет на излом, и крысы крысы крысы крысы, и я убегаю, но, должно быть, уже поздно, потому что первая улица здесь пуста и я не знаю, что это за место — два бара с табличками «Закрыто», две спящих собаки, одна приблудная кошка и выгоревший остов автомобиля, как раз у дорожных знаков «*Розтаун: тише едешь — дальше будешь*» и «*Осторожно, школа*», оба в старых пулевых отверстиях, и каждая дырка будто «вжж», «бах» или «пум»; как там у Гарри Каллахана: «*Он выстрелил все шесть раз или еще только пять?*», а ствол у меня пропал, то ли в мусорных полях, то ли на дюнах; «*от волнения сказать тебе правду я малость запутался, но прошу иметь в виду: это «магнум» сорок четвертого калибра, самый мощный пистолет в мире, который снесет тебе голову начисто, так что ты должен задать себе вопрос: сопутствует ли нынче мне, дурачине, удача?*», и Гарри палит с двух рук, вот только у меня они не переставая трясутся, перестали б хоть дрожать, перестаньте же; меня никто не любит, башка моя не варит,

должно быть, от отходняка, отчего-то при этом идешь как-то книзу, все ниже и ниже плинтуса, а кайф — всего-навсего пик, с которого ты сходишь и скатываешься без остановки, и скоро я скачусь до самого низа, об дорогу и под асфальт, где ниже только ад, и никто меня не увидит, как я бегу сквозь ночь, все быстрее и быстрее, а мир движется медленней, но всё в нем движется быстрее, чем я и дорога; скачу через колдобины, но из-за цинкового забора вижу только дома, бегу бегу бегу прямо на людей, которых раньше не услышал, и тут мельком замечаю из-за кустьев, что они играют в домино — кто-то из них, наверное, увидел меня, или кто-то идет сзади — хотя нет, они все просто под светом уличного фонаря: четверо за столом, трое смотрят и две женщины, мужчина во главе прислонился спиной к забору и лупит в оттяг доминошкой, затем другой игрок, затем третий, стол трясется, женщины потешно вскрикивают и смеются, а радио лепечет «*люблю любить, но милый любит танцевать, он любит танцевать и хочет танцев*», а вокруг никого, и я их ненавижу, потому что люди гетто, никто из них, не должны быть счастливы, никто из них не должен смеяться, а все должны быть в нищете и отчаянии; вот я, например, никогда не смеюсь,

смеялся, может, раза два за всю свою жизнь и чувствую себя стариком, хотя мне не исполнилось еще и двадцати, а есть у меня только женщина, хорошая, и я бегу к ней, но обратно к ней не бегу, а хочу лишь убраться, уползти — колено левое, за ним колено правое, снова левое, снова правое, левое, правое; боже правый, я уже весь вымазался в этой паскудной грязи, остается только надеяться, что здесь во дворах нет собак; это, наверное, район ННП, вон все стены оранжевые, а народ безбашенно-веселый, эх, мне бы сейчас пистоль на этих людишек, которые и не знают, каково это — взять и убить гребаную рок-икону; ползу по грязи — оxx ты, бомбоклат, кажется, та женщина меня услышала, которая смотрит и не играет, где же мой ствол, мой пистоль, но она снова смеется и говорит «*ой, гляньте, вон там пес шальной*», а я ползу, ползу, пока уже не слышу домино, и уже тогда бегу бегу бегу, пока не выбегаю на главную дорогу, и там визжит тормозами машина, а я шарахаюсь через дорогу на откос и не знаю, Бог ли так управил или Сатана, но теперь я на шпалах железной дороги, и она меня ведет и толкает, ведет и толкает обратно к лачуге, и кто-то поет «*выведи меня на колею джек*», но это радио просто у меня в голове, и ведет меня прямиком

туда, откуда начиналась вся возня, а люди небось подумают, что здесь какая-то политика, но здесь столько политики, сколько белым забот до того дня скачек; я помню, как тот белый и Кубинец говорили «*знай разницу между тем, как навести ствол и как из него выстрелить*», и вот я на колее, но вокруг темень и непонятно, правда ли это «железка», но шпала идет за шпалой, так что в это время поезда не ходят, так что спозаранку, когда кукарекает петух, я, может быть, завалюсь прямо здесь дрыхнуть на шпалах, а проснусь в аду; но это говорю не я, а сошедший с небес Иисус — кажется, в лачугу вернулся Ревун со своими белыми дорожками, но лачуги нет, а просто «железка» тянется во все стороны, и я по ней могу забрести за город или даже в район ННП, но по крайней мере я чую запах моря; *его*, возможно, отвезли в больницу, и теперь над растой потешается больница, но *ты* теперь в отделении «Скорой», где вокруг суетится тьма белых докторов, а медсестра говорит «доктор, он потерял много крови», и доктор говорит «*мне бла-бла-ба для бла-бла-ба на бла-бла-бла-стате*» и берет в руки те самые электроутюги, говорит «*ну-с, приступим*» и пробует запустить сердце; откуда-то возникает музыка, приятная такая, но от которой у меня вспотевает

шея, и сперва медсестра отворачивается, а затем доктор говорит «мы его потеряли», и тогда все сереют, о, если бы в моей голове перестало плыть, а плыли б лучше ноги, потому что они бредут как в никуда, а от луны в небе только половинка, и она оранжевого цвета, а небо черное с красным, а лодыжка у меня, язви ее, вспорота битым стеклом, или это крыса цапнула или другое какое говно; отец рассказывал, что в поезде унитаз льет дерьмо прямо на рельсы, а может, чего и похуже, битое стекло или там сухие какашки, не знаю, но вот уже видна лачуга, и я смогу скатать полотенце и заснуть, но это не тот домишко, а мой дом, и он сейчас ближе и ближе, и тот, кто смотрит, наблюдает и готовит ловушку, тоже все ближе и ближе; дверь не должна открываться так легко; я не знаю и говорю «*ничего не знаю, мне просто нужна дорожка, нужен Ревун; пусть этот гребаный мандюк даст мне дозняк*»; лачуга, кажется, еще никогда не была такой маленькой, оконце смотрит незряче, а внутри там еще темней, чем снаружи, темнее черного, и я прихожу в себя, как утопающий, когда касаюсь дерева. Чувствую по едкому запаху, что здесь со мной находится человек, но видеть никого не вижу.

— Э, сюда нельзя. Ты меня слышишь, чудило?

Йоу. Йоу, я сказал!

— Хаффи ждет Ревуна. Хаффи ждет Джоси Уэйлса.

— Это что, Клинт Иствуд заявился? А за ним кто, говорящий мул Фрэнсис?

— Первый. Я сюда первый заявился.

— Не, братан, я тебя с той ночи видел. Ты не первый, ты и не последний.

— Когда ты… Ты был во втором «Датсуне» или первом? Бам-Бам? Я, бля, так устал, что…

«Клик».

— Э, чудило, ты слышал? Знаешь разницу между «кликом» и «тиком»?

— Второй «Датсун» или первый?

— То, что слышал секунду назад. «Клик» или «тик»?

— Это не секунду назад. Ревун? Скажи Бам-Баму, чтобы перестал корчить передо мной крутого.

— Козел, «клик» уже почти истек. Или ты пошутковать со мной решил?

— Я никакого «клика» не слышал. Хекль — ты, что ли?

— После «тика» идет «ток». А после «клика» — меркуешь, что?

— Да не слышал я никакого «клика».

— Не слышал «клика»? Так вот, после «клика»

идет «пум-пум». Хочешь сказать, что не врубился?

— «А» и «Бэ» курили на трубе.

— Ба, так ты обсаженный? На коксе?

— Пытаюсь сделать доллар из пятнадцати центов.

— Тебе вонь-траву дали курнуть? «Хвост ящерки», или как?

— До сих пор вьется-извивается.

— Или сколько ты там дорожек вынюхал?

— Ты знаешь Джоси Уэйлса? А Ревуна знаешь? Что, если он придет?

— Ты точно на коксе, чудило. Лучше б уж ты жопник был.

— Я не на коксе, но дорожка всяко нужна. Хоть всего одна. Ревун, как придет, мне ее насыплет.

— Коксовик, бля.

— Скажи Ревуну…

— Никаких ревунов тут не ходит.

— Вот он придет и тогда скажет тебе, кому здесь можно ходить, а кому нет. Это его дом. Вот увидишь. Да как бы поздно не было…

— Дом? Ты здесь где-то видишь дом?

Пустырь. Ни дерева, ни половиц, ни окон, просто пустырь. На земле, под тамариндом с висящими летучими мышами. Тамаринд в сухой

грязи. Тамаринды в траве, от одного к другому, тамаринд от тамаринда до тамаринда до битой чашки до головы куклы до травы до кустов до цинкового забора. Двор, чей-то двор. Кто-то поднимает крик, стоит ему увидеть меня, а я вижу, что лежу на траве в чьем-то дворе. Эта «кто-то» вопит и вопит, и я вижу, кто это.

— Тебе нельзя сюда возвращаться!

— То есть как? Ведь я уже вернулся.

Я осматриваюсь в поисках дерева, камня, гвоздей и запекшейся крови, но это не лачуга, это даже не внутри помещения, а женщина — это женщина, с которой я живу и чье имя не приходит мне на память. Я называю по имени себя.

— Сумасшедший, уходи с моего двора!

Но я не сумасшедший. Я мужчина, который живет с тобой, как будто ты мама, а я папа. И только тут до меня доходит, что я не помню, как она выглядит, и не представляю ее лица, но знаю, что нахожусь в ее доме. Моем доме. Красный дом на Смитерстон-лейн, четвертый от перекрестка; дом с внутренней кухней, которой у большинства соседей нет, и им приходится готовить еду во дворе.

— Но я живу здесь так же, как ты, чел.

— Чел? Нет у меня никакого чела. Мой чел умер.

Для меня. Проваливай давай.

Разговор окончен. Она поднимает с земли камень. Первый мимо, второй тоже, зато третий лупит прямо промеж лопаток.

— Ты чё, бомбоклат?

— Вали с моего долбаного двора! Люди, люди! Насилуют, меня насилуют! Насилуют прямо на дому! Ай, манду всю топчут! На-си-лу-ют!

Чего Папа Ло не выносит, так это насильников. Лучше убей десять женщин, чем изнасилуй хоть одну. Женщина, с которой я живу, швыряется в меня камнями, и я мечусь вправо-влево как геккон. Она снова кричит, а солнце бьет сверху, как прожектор: «Вот он, вот он!» Светило насылает на меня демонов, как на Иуду Искариота.

«Катись прочь!» — кричит она, и я, оборачиваясь, вижу, как она поднимает руку с еще одним камнем. Я смотрю на нее прямиком, не моргая. Она роняет камень и убегает в спаленку, которую мы с ней увлажняли мокротами так, что она потом вывешивала матрас сушиться. Что там, с другой стороны забора, мне не видать и не слыхать, но я знаю, что они идут. Я смотрю с забора и вижу Джоси Уэйлса с тремя людьми, которых я прежде не видел. Вернее, один Тони Паваротти, но остальных двоих я не знаю. Я хочу крикнуть,

что это все какая-то херь, что братья такими делами, тем более у себя дома, не занимаются. Но не успеваю я и слова сказать, как на расстоянии слышится «пам-пам», а потом «бум-бум» по забору, ну и, наконец, «вжик» возле самого моего правого уха. Не знаю почему, но, когда я смотрю на Джоси Уэйлса, он понимает, что я — это я, а не какой-нибудь там насильник, но, глядя на меня прямиком, на бегу снова стреляет. Забор пропарывают еще четыре пули, и еще два «вжика» вблизи меня. Я пробегаю за дом и прыгаю там с забора, но почему-то не приземляюсь, как рассчитывал. Там не дорога, а обрыв — глубокий, как путь в преисподнюю. Я срываюсь и лечу в какую-то бездну. Пытаюсь катиться, как «Старски и Хатч», но правым коленом втыкаюсь в землю. Нет времени даже заорать. Побежать налево — значит углубиться в Копенгаген, направо — попасть в даунтаун.

В даунтауне на улицах автобусы ждать тебя не станут. Солнце так высоко, что задевает только верхушку строения. Мимо меня пробегают шкеты помельче со стопками газет на головах. «*Певец! Покушение со стрельбой! Менеджер в критическом состоянии! Рита получила медпомощь и отправлена домой!*»

Джа жив.
О нет...

Бам-Бам

«Не прячься на виду, долболоб, не прячься там, где тебя видно». Это из какого-то кино, и ганмены видят только то, что перед ними. В толпе тоже не прячься, потому как для того, чтобы толпа превратилась в сход убийц, достаточно одного лишь вскрика: «*Гляньте, вот же он! Разве не он?*», и толпа тут же раскалывается на *них* и *тебя*. Но он был с ними, а из них все теперь против меня. Я хочу, чтобы вернулся мой папаша, а мать не была блядью, а Джоси Уэйлс не пробовал меня найти. Прошлая ночь, всё прошлая ночь. Первым выскочил Ревун, за ним Джоси Уэйлс и я, не знаю, как-то просто выпрыгнул. Демуса я ждать не стал. Спасибо, солнце. Но не успел я отбежать, как за мной стали гнаться пули — пум, пум, пум. Я бегу и думаю: это фараоны. Сворачиваю влево — и пули тоже влево; я сворачиваю вправо — и пули за мной вправо. Я уж добегаю обратно до Мусорных земель, а пули все гонятся. Я ныряю в кучищу отбросов, где воняет говном, ссаньем и тухлятиной, и она мокрая. Мокрая, вонючая, и мокрота с вонью измазывают мне волосы и губы. Но я не шевелюсь. Мусорная вонь меня

сберегает, прячет, когда они проходят мимо. Но это не фараоны.

Джоси Уэйлс с Ревуном идут, держа перед собой стволы.

— Ну как, ты его ляпнул? — спрашивает Ревун.

— Ну, а ты как думаешь? Я разве похож на того, кто промахивается?

Ревун смеется и чего-то ждет. Подруливает красная тачка и забирает их. Теперь мне домой нельзя. Я остаюсь на куче, пока мокрая вонь на мне не обсыхает. Я не ухожу, пока весь даунтаун Кингстона не засыпает; этот час я знаю. Выбегаю из Мусорных земель и бегу через пустую рыночную площадь. Здесь невдалеке живет Шотта Шериф. Я углядываю лавчонку, которая то ли не закрывается, то ли, наоборот, открывается с комендантским часом. Все, что слышно по транзистору, это что кто-то там подлечен и отправлен домой; только вопрос, будет ли он выступать? И я понимаю, что Джоси промахнулся. Грязный вонючий опездол промазал, и надо бы мне, наверное, вернуться и прикончить его самому. Вернуться и сделать это самому, чтобы уж точняк. Тот долбаный козел выпустил восемь пуль и все равно промахнулся. И теперь он гонится за мной.

Мне нужен кокс, пусть хотя бы с полдорожки, даже треть. В прошлую ночь, где-то посередке, кто-то чем-то плеснул мне в лицо, и я не могу дышать. Не водой — вода сбегает и сохнет быстро, — а это остается на лице и затем медленно стекает прямо в нос и рот, да так, что не просморкаться. Как слюна. Как будто боженька на тебе заснул и обспускал тебе всю морду. Я просыпаюсь от того, что нечем дышать, а он все дышит на меня жаркой вонью прямо в нос — хотя нет, это собака. Собака лижет мне лицо. Я вскакиваю, ору и отпинываю ее; она тявкает, скулит и убегает на трех лапах.

Сейчас я на скамейке в Парке национальных героев. «*Он приходит*» — написано на большущем постере, с которого Певец указывает в небо. «*Улыбнись, Ямайка*» — публичный концерт в воскресенье, 5 декабря в 5 вечера. Он побеждает смерть, как Лазарь, как Христос. Люди в парке разговаривают, уже начинают сходиться и проходят прямо мимо меня, умалишенного на скамейке, и говорят меж собой, что хорошо бы, если б полиция мной занялась, потому как не пристало приличным людям терпеть вонючего помешанного. Они сходятся с утра пораньше — те, кто его ждет. Я смаргиваю и вижу, как они

вбегают, но ни с кем не соседятся, потому что идут за мной. Похожи они на младенцев, только у одного из них три глаза, у другого зубы такие длинные, что торчат изо рта, а у третьего оба глаза на месте, но нет рта, а из-за спины крылья, как у летучей мыши. Прошлой ночью, после того как я ушел от Джоси Уэйлса, кто-то снова начал меня преследовать. Они преследовали меня всю дорогу по Дюк-стрит до парка. Хотя нет, прошлой ночью я вроде как задремал на шпалах «железки». Впрочем, нет, не там, а в Мусорных землях, потому как в меня стрелял Джоси Уэйлс, а проснулся я только от того, что кто-то поджег мою мусорную кучу, — не знаю, через одну или две ночи после того, как я его застрелил. Но и двух дней не прошло, как газеты заголосили на весь свет, что в Певца стреляли, а он вот жив. Даже, мол, ганменам его не заглушить. Все это через день… нет, через два. Помню, отправлялись мы за ним третьего числа. Но люди сходятся в парк по двое да по четверо, значит, это должно быть пятое декабря.

Джоси Уэйлс стреляет мне в голову, а я, помнится, от него убегаю и, помнится, повторяю про себя «*не реви не реви не реви, обапол*», но все равно плачу, потому как не пойму, почему он в меня

стрелял, и тогда я в первый раз задумываюсь о других, как там они и что с ними. Или же Джоси Уэйлс их всех перестрелял и остался только я? Не знаю, видят ли в этом смысл большие люди, но я его не вижу. Даже когда я оторвался от Джоси, то бежать все равно не перестал. Не останавливался от самых Мусорных земель, бежал и бежал и бежал до самого даунтауна, где Тауэр-стрит идет с востока на запад мимо галантереи, сирийского магазина и ливанского супермаркета, которые все закрыты до окончания выборов. Тауэр-стрит пересекает Принсесс-стрит с ее попрошайками, Орандж-стрит с ее лоточниками, Кинг-стрит с ее торгашами и Дюк-стрит с ее скопищем адвокатских контор. Вверху на Дюк-стрит я поворачиваю и бегу в темноту. И вдруг понимаю, что гонится за мной не Джоси Уэйлс и не Папа Ло или Шотта Шериф, а это идет *он*. Он победил смерть и теперь идет за мной. И даже не идет, а сидит где-нибудь на каком-нибудь холме и подстраивает ловушку, зная, что обаполы вроде меня рождаются дундуками и угодят в нее с лету. Парк национальных героев. Сегодня этот парк *его, ему* в нем принадлежит каждый, кто только ступит сюда ногой. Весь Кингстон. Вся Ямайка.

У меня на лице, в глазах и носу густой сок вроде

слюны. Я просыпаюсь, откашливаясь, на скамейке, на плече у меня птичья пачкотня. Не знаю, заснул ли я тогда снова, или же когда я просыпался в прошлый раз, то мне это пригрезилось. В парке уже люди, чтобы ждать и смотреть. Я смотрю и жду. Жду их, фараонов, ганменов ЛПЯ, ганменов ННП, *тебя*. К четырем народу здесь уже на тыщу больше, и все ждут, но что-то здесь *иначе*. Не так, как обычно. Эти люди не от ЛПЯ, не от ННП или другой какой «П», они просто мужчины и женщины, братья и сестры, родные и двоюродные, матери и дядья, страдальцы и бог весть кто еще, и я их таких не знаю. Я встаю и бреду мимо них, через них, вокруг них, как даппи. Никто меня не трогает и не отступает с дороги, они меня просто в упор не видят. Мне неизвестны люди, которые не держатся ни чьей стороны. Я не знаю, как они выглядят, что происходит у них в головах, пока они чего-то не скажут; люди, что не носят ни зеленого цвета лейбористов, ни оранжевого националов. И этих людей сейчас все больше и больше, их толпища растет, и скоро уже лопнет пояс вокруг парка и толпища пойдет растекаться вширь, но они ждут *его* и распевают *его* песни, пока *он* к ним не вышел.

Толпа — единое целое. Но они узнают, что я не

один из них, рано или поздно. Рано или поздно один из этих ягнят скажет: «*Гляньте, так вот же он! Узрите волка!*» Не знаю, как они это прознают, но они прознают. Только им до меня нет дела. Я жучонок, муха или вошь, а то и мельче. На сцене «Третий Мир»[122] в окружении всех полицейских Ямайки, а редкостная красавица там разговаривает так, будто она Иоанн Креститель, ну а Певец — сам Иисус, и она заставляет толпу подхватывать «уууу» и «аааа» и «ээйй», а платье на ней красное с оранжевым и стелется по полу, будто она Моисей, поджигающий куст. Но она разговаривает не с ними, а со мной, и говорит: «*Эй, дристунок, да кто ты такой, чтобы тягаться с Могучим Гонгом?*»[123]

Толпа приливает и отливает, колышется с востока на запад и с запада на восток, а я стараюсь не смотреть и стараюсь не привлекать к себе взглядов, а мимо проходят двое ребят, один смотрит на меня как-то долго, а второй роняет газету. Вокруг темно, но свет от фонарей падает на людей, и иногда проглядывает земля. Ямайская

---

[122] Примечания: 122

«Третий Мир» — ямайский регги-коллектив (основан в 1973 г.), играющий музыку с элементами соул, фанка и диско.

[123] Примечания: 123

«Могучий Гонг» («Tuff Gong») — сборник хитов Боба Марли.

«Дейли ньюс». «*В Певца стреляли!*». «*В ночном налете гангстеров пострадал менеджер "Уэйлерс" Дон Тэйлор*». «*Я бро…*» На газету кто-то наступает, потом еще, потом еще кто-то, толпа ее всасывает, утягивает, и газеты больше нет.

Я поднимаю глаза, и он…

Нет, не «он». *Ты.*

Ты смотришь прямо на меня.

Ты на сцене в полусотне… в сотне даже не футов, а ярдов, и ты смотришь на меня. Видишь меня задолго до того, как тебя вижу я. Но на меня ты не смотришь. Единственный свет сейчас — это тот, что на сцене, а я затерян в темноте.

На тебе черная рубаха в обтяжку, будто ты явился из ада, а штанов я разглядеть не могу — не знаю, джинсы на тебе или кожа, от вида которой женщина, с которой я живу, начинает дышать учащенно. Ты крутишься, и от луча света волосы на тебе будто вспыхивают. Синие джинсы. На сцене так людно, что ты даже не можешь приплясывать, как обычно. Та красавица, твой Креститель Иоанн, сложила руки, но она чувствует музыку. Тут слева я замечаю даппи. Шарахаюсь, но утыкаюсь в чью-то грудь. Извиняюсь, но тот человек меня даже не замечает, а только чувствует благостную вибрацию. Я оглядываюсь

на сцену и вижу, что даппи — это не даппи, а твоя женщина, вся в белом. Дуют рожки, но ты стоишь неподвижно. Тебя я не слышу, но слышу людей, а они слышат тебя. Я могу тебя видеть, но меня отгораживает, будто я глухой, и я прикидываю, как же ты нынче будешь играть для глухих и получится ли у тебя на самом деле с революцией, если люди к тебе не примкнут.

Ты.

Ты говоришь, что всегда знал; знал всегда о своей уверенности в полной победе добра над злом. Обо мне ты не говоришь. Я знаю, сейчас ты начнешь насчет меня излагать пророчество. Ты кретин. Ты забываешь, что ты лев, а я охотник. Снова вспыхивают огнем твои дреды. Я как-то забываю, что хотя ты и лев, а я охотник, но нахожусь я сейчас в твоих джунглях. Бетонных джунглях. Я поворачиваюсь, хочу исчезнуть, но никто не движется, все стоят как вкопанные. Толпа стоит, а затем толкается вперед. А затем она начинает скакать, а я при этом стою на месте. Чья-то нога с хрястом лупит сверху меня по ступне, и еще одна, и еще, и, если я не начну скакать, они все подомнут меня прыжками под себя и растопчут.

Это всё *ты*.

Ты велишь им сомкнуться и затоптать Вавилон.

Теперь я скачу под твое пение им обо мне. Ты лев, а теперь ты еще и ковбой, что думает прогнать из города Безумные Плеши. Я смотрю в землю, и басы вдалбливают меня в нее, чтобы можно было меня затоптать. А гитара пронзает толпу, как копье, прямиком в мое сердце. Я думал, что прошел всего день после того, как мы тебя застрелили, но, на миг остановившись, понимаю, что прошло два, и непонятно, спал ли я в Мусорных землях, на Дюк-стрит или в парке, не замечая, как вечер переходит в утро, а утро — снова в вечер, и так два дня подряд. А где я был, где прошатался целый день, не помню. Но сейчас думать я толком не могу, потому как ты нападаешь на меня, и всюду, куда ни глянь, путь мне загораживают люди — может, потому, что где-то здесь должен быть Джоси Уэйлс, а с ним и Папа Ло, и я теперь вижу, что ты это все так и задумывал.

Я смотрю вверх и вижу, что люди сидят и на деревьях, и у одного из них непременно должен быть ствол, нацеленный мне в голову. «*Теперь ты понял, на что нарываешься? Или еще нет?* — спрашиваешь ты, обращаясь ко мне, и только ко мне, и только я один понимаю, что ты на самом деле имеешь в виду. — *Ты думаешь, ублюдок, что ты такой лихой и крутой? Что можешь*

вот так, бомбоклат, прийти и все сделать? Ты возомнил расправиться с Могучим Гонгом? А может, ты решил смести еще и Его Императорское Величество? Джа здесь, опездол, и он вырвет твое гнусное сердце. Джа направит свой перст, словно молнию, и спалит тебя, обратив тебя в горстку пепла, годного только на то, чтобы к нему подошла облезлая дворняга, задрала лапу и поссала, чтобы все это вместе с вонью утекло в канаву. Ты понял, на что напрашиваешься, или хочешь чего-то большего?»

Нет. Большего я не хочу, потому как замечаю их: младенца с крыльями летучей мыши, безротого младенца с глазами и еще одного, со ртом и трехглазого; их окружает синее пламя, и они неспешно плывут через толпу, а я хочу выкрикнуть: «*Люди, вы что, их не видите?! Не видите этих демонов?!*» Но люди смотрят на *тебя*, только на *тебя*. Что-то украдкой скользит мне по ногам, трется чешуей о лодыжки. Я ору, но одновременно со мной взревывает гитара и гасит мой вопль. Может, если не бежать, а попытаться идти по-тихому, то удастся уйти. И вот я делаю ноги, пробираясь через толпу, но все скачут, размахивают руками, тащатся, поют, а слева отсюда окраина, слева отсюда мальчуковая школа

Уолмера, где меня никто не углядит, поэтому я подаюсь влево, а люд все поет и шевелится, поет и скачет так, что не видать дороги, но я все иду и иду и все время думаю, и когда наконец подхожу к краю парка, то еще один голос говорит: «*Никуда тебе не деться, мандюк*», а *ты* начинаешь петь «*Так сказал Джа*», типа как заглавную песню.

Я думаю двинуть на восток.

«Так сказал Джа».

Никаким, бомбоклат, даппи меня не словить.

«Так сказал Джа».

Нет, они меня все же поймают.

«Так сказал Джа».

Джоси Уэйлс отыщет меня и убьет, и должен он это сделать по-быстрому, потому как я много знаю. Или, может, Папа Ло найдет меня и убьет медленно, чтобы всем лихим пацанам была наука.

Да.

«Так сказал Джа».

Никому не убить Могучего Гонга.

«Так сказал Джа».

Я ускоряю шаг. Я иду, ноги подо мной все быстрее, но ты все громче, громче, громче, и я останавливаюсь, смотрю и вижу, что ты стал как бы ближе, чем раньше. Отмотай подлиньше

леску, чтоб обмануть рыбу. И вот ты смотришь на меня, и я не могу двинуться. А младенцы с мышиными крыльями и синим пламенем все ближе; я их не вижу, но чувствую и не могу от них убежать, потому как на меня смотришь ты. Остановись, умоляю. Ты меня слышишь? Остановись! Не я задумывал тебя убивать; мне даже все равно, жив ты или мертв. Оставь, оставь меня в покое, гребаный вшивый двинутый раста! Я же знаю, ты смотришь на меня, «*так сказал Джа*». На сцене так много народу, что ты даже не можешь шевелиться; там и полицейский начальник в хаки, и белый чувак с камерой, и премьер-министр стоит сверху «Фольксвагена», а черных так много, и они такие черные, что похожи на тени в одежде — поют, танцуют, кривляются в темноте. И ты поешь, и твоя призрак-жена, и все поют, и толпа поет, и твой голос во всем этом теряется.

Я смотрю на *тебя* и вижу, как твои губы шевелятся — поют одно, но говоришь ты что-то другое. *«Взгляни сюда, мальчик Вавилона. Подумай, на что ты осмелился: пойти против чествования Его Императорского Величества Хайле Селассие? Основа его залегает в святых горах. Врата Сиона Джа любит больше, чем все жилища Иакова. Преславные вещи говорились о тебе, град*

Божий. Упомяну я им Рахаб и Вавилон, которые знают меня. Филистимия с Тиром и Эфиопией да восславят имя его, рожденного там, который, возвысившись, освятил собой ту землю, о Джа Растафарай! Так взгляни же сюда, мальчик».

Я смотрю. Но ты на меня не смотришь. Тебе не нужно смотреть на меня по той же причине, по какой Бог не смотрит на человека. Потому как одного Его взгляда достаточно, чтобы выжечь человечьи глаза из глазниц, выжечь в ничто, даже не в точку, а вообще без следа. Но говорю это не я, а *ты*. Я больше не я, мой голос уже не звучит, как мой, а из всех людей здесь только мы с тобой, и нет никаких звуков из колонок, только глубокое буцканье ритма. А ты держишь в воздухе микрофон, как факел, и снова прикрываешь глаза, но все видишь. Они думают, что *ты* приплясываешь, но на самом деле *ты* передаешь смыслы (*твои* слова, не мои). Пот с меня льется холодный и никак не прекращается, сбегает по спине, все равно ледяной палец чертит вниз туда, где зад раздваивается на булки.

И вот *ты* движешь рукой, высвечиваешь свои дреды и наводишь на меня свой взгляд. Сквозь меня, внутрь меня, за меня — *ты* достигаешь самого моего сердца и хватаешь его. *Ты* говоришь:

«*Смотри работу Растафарай. Смотри, как он из льва превращается в охотника, а охотник — в добычу*». Ты знаешь, что я потерял свой ствол — тот, который едва не взял тебя. Ты знаешь, что, если б даже ствол у меня был, я бы все равно не мог выстрелить. Ты знаешь, что я ничто, живой мертвец. Знаешь, что биение моего сердца — это змея вкруг моих ног; знаешь, что по твоему велению толпа собьет меня и поглотит. Ты в джунглях, на кустистых пустырях, и вот ты выходишь на поляну для аудиенции с Его Императорским Величеством. Сейчас ты делаешь шаг вперед и закатываешь рукав. Вавилон пытался прокусить тебе руку, но не смог. Ты расстегиваешь на рубашке одну пуговицу, затем другую, затем третью и выпячиваешь грудь, как Супермен. Указываешь на рану на руке и рану на груди. Ты совершаешь победный танец и заново проживаешь ту сцену охоты, и все это видят, но только я знаю. Мой пот холоден, как лед. На свою руку ты указываешь, как Иисус указывал бы на свой бок, показывая отметины от копья. Людей на сцене прибавилось, а та красавица снова берет микрофон, но не раньше чем задувает порыв ветра и кукарекает петух, а ты картинно выдергиваешь из кобуры два пистолета, все рав-

но что Малыш Сиско[124]. Или Марти Роббинс. Или «Человек без имени»[125]. Ты откидываешь голову и хохочешь так долго, что этому смеху даже не нужен микрофон. Ты смеешься надо мной, а затем быстро, свирепо умолкаешь и смотришь прямиком на меня глазами, как два огня. Я как могу зажмуриваюсь, пока не чувствую, что ты на меня больше не смотришь, а когда открываю их, тебя уже нет. А я знаю, что я уже мертв, и, когда вижу, что ты ушел, могу только бежать.

Но за мной припускает младенец с крыльями летучей мыши. Люди толкаются, наддают локтями, и вот кто-то или что-то бьет меня прямо по лицу. Затем еще один удар, прямо в живот; мне кажется, что я разблююсь, но вместо этого я обоссываюсь. Я не плачу и не буду плакать. Я не в силах остановить ничего, что со мной сейчас происходит, даже собственного обоссывания. Ссаки сбегают по ноге, а люди лупцуют меня, отвешивают оплеухи и затрещины, толкают, проходят и бегут, бегут и проходят. Я выбираюсь

---

[124] Примечания: 124

«Малыш Сиско» — телесериал 1950-х гг., главными героями которого являются персонажи, заимствованные из новеллы О. Генри.

[125] Примечания: 125

«Человек без имени» (1966) — обозначение персонажа Клинта Иствуда из культовой «долларовой» кинотрилогии спагетти-вестернов С. Леоне.

из парка, пока люди не поняли, что ты ушел и больше не вернешься, а на улице темно и пусто, и я не узнаю ни одного из зданий через улицу. Я даже не замечаю подручного Джоси Тони Паваротти, пока тот не оказывается прямо передо мной и не упирает ствол прямо мне в лицо.

Демус

Я убегаю в ночь длиною в день. А две ночи назад я убегал в глубь сна.

Канава, воняющая отбросами так мерзко, что даже крысы там особо не скапливаются. Я бегу с Дюк-стрит вверх до Саут-пэрейд и запрыгиваю в первый же отходящий автобус (пять центов за проезд, кажется, не отдаю). Пассажиров в автобусе всего четверо, и еще один у меня за спиной. Меня начинает беспокоить голова — болит не так чтобы сильно, но ноет, как если б в ухо влетел какой-нибудь надоедливый комар и теперь зудел где-то по центру черепа. И от этого зудения возникает чувство, будто на тебя сзади смотрят, прямо тебе в спину. Я оборачиваюсь и вижу: стоит школьник. Снять с него форму, так он будет, пожалуй, одного со мной возраста. Но на меня он не смотрит. А если и смотрит, то это когда я стою к нему спиной. Я снова поворачиваюсь. Хочется подойти и поставить ему на щеке отметину пружинным ножом, который всегда при мне. Или проломить башку за то, что он чистенький такой и ходит в школу: мне-то в хорошую школу хаживать не доводилось, да еще в такой красивенькой

форме цвета хаки. Но что с него взять, он всего лишь пацан. Я опять отворачиваюсь и тут слышу стук копыт. Он все громче и громче — трртум, трртум, трртум, — и я понимаю, что это так работает старый автобусный движок, но все равно это копыта. Тогда я спрыгиваю с автобуса где-то в Барбикане и с небольшого мостика слезаю в канаву, где и остаюсь.

А просыпаюсь оттого, что кто-то держит меня за муди — сгреб в горсть штаны и держит, да крепко так. Я аж подпрыгнул. А видно только руку, торчащую из кучи мусора; какой-то монстр свалки из газет, тряпья, пластиковых пакетов, пищевых отходов и гнили. Я с воплем пинаю монстра; он отваливается и тоже вопит. Часть газет отпадает, и тогда я вижу: бабья голова торчит. Черная как смоль, волосья от грязи колтуном, но зато с двумя розовыми заколками. А когда она снова вопит, пасть у нее открывается, и я вижу в ней всего три зуба — один такой желтый и длинный, что кажется, будто она вампирша, прикрытая газетами. Она все вопит без умолку, а я шарю рукой и нахожу каменюку, которым замахиваюсь, — мол, сейчас брошу. Тогда она вскакивает — я и забываю, какими шустрыми и пружинистыми бывают помешанные, — и резко бросается по

канаве наутек, пока не превращается в дерганую точку; еще секунда, и ее уже нет.

Когда я последний раз ел, невозможно даже вспомнить. Или последний раз мылся. Я надеялся, что если мне какое-то время не приходили думки о дорожках кокса, то я их и не захочу, но теперь я снова о них думаю и изо всех сил стараюсь эти думки в себе пресечь. Но вот я снова слышу топот копыт. Сердце начинает колотиться как бешеное — бум бум бум, а копыта тррум тррум тррум, — а руки-ноги при этом холодеют и холодеют. Голова взывает «беги, дурак, беги», а канава сотрясается. Но это, оказывается, грузовик протарахтел по мосту. Надо оставаться голодным. Если оставаться голодным, то думаешь о еде. А если голод твой о дорожке, то о ней и думается. И еще: если думаешь о своем голоде, то не приходится думать о Джоси Уэйлсе («*дурень хренов, ты ведь был почти собой; собой, пока не нанюхался Ревунова дерьма*»). Мне не надо бы думать об этом мосте, и как я на самом деле хотел всего лишь показать — братьям, а не Певцу, — что с Демусом шутки не шутят. Как мне тошно, как я вконец устал от того, что меня пользуют, — сначала братья, затем Джоси Уэйлс («*дурень хренов, ты ведь был почти собой; собой, пока не нанюхался Ревунова дерьма*»), а до этого

каждый в гребаном гетто, кто думает только о том, чего он хочет и как ему использовать меня, чтобы это добыть.

Должно быть, что-то написано у меня на лбу — типа «используйте его, потому как он дуралей, и это факт». Под обрывом даже непонятно, как смрад способен сводить человека с ума. Как он начинает думать всякую ахинею — злую, поганую, типа как убить человека, отдрючить ребенка или насрать в церкви, потому как этот смрад проникает в тебя, как вода сквозь сито, и ты теперь тоже считай что провонял. Нет. Сейчас я должен свои мысли выправить, думать как существо мыслящее. Мне нужно убраться из Кингстона. Смотаться. Отправиться куда-нибудь туда, где люди ни о чем не ведают, — в место вроде Ганновера[126]; кто знает, что там вообще, на хрен, деется? Ганновер настолько далек от остальной Ямайки, что можно побиться об заклад: ни в каких выборах люд там не участвует. Податься в Ганновер и взять там себе фамилию вроде Эвертона, Кортни или Фицгарольда — последняя звучит так, будто меня пестовали оба родителя: отец и мать. Снова слышен стук копыт,

---

[126] Примечания: 126
Ганновер (Хановер) — один из 14 округов Ямайки.

и я вскакиваю и бегу. Бегу в том же направлении, куда умчалась та умалишенная, — я, получается, тоже от нее недалеко ушел, оттого что, заслышав конский топот, бегу, как какой-нибудь голый беглый раб от своего наседающего на пятки хозяина, убегаю в земли маронов[127]. Точно так: может, мне следует бежать к маронам, хотя кто скрывается у маронов в одна тыща девятьсот семьдесят шестом году? Однако кто там будет меня искать? Звучит резонно. Прямо-таки резонно. Как будто у меня все еще осталось здравомыслие. По крайней мере, не вздор голимый. На бегу по канаве я едва не смеюсь, глядя, как с каждым моим пробегом под мостом вокруг небо становится все темнее, все меньше света. Я бегу, бегу и бегу, пока воздух не становится солоноват, указывая на близость моря. Я бегу и бегу, пока солнце не касается края горизонта, после чего жара идет на убыль, и вот уже светило, снижаясь, обдает напоследок небо темно-огненным отблеском и скрывается окончательно, будто его никогда и не было. А я не останавливаюсь, даже когда вижу, что на мне нет обувки, а хлюпающая под ногами вода становится чище.

---

[127] Примечания: 127

Мароны — потомки беглых рабов, нашедших убежище в Вест-Индии или Гайане в XVII–XVIII вв.

Я подбегаю к сгоревшему остову машины и чуть не останавливаюсь, чтобы в ней спрятаться, укрыться до тех пор, пока от меня не останется разве что скелет, но все равно продолжаю бежать. Ничего меня не мучит, пока я не начинаю над ним задумываться; так, стоит мне подумать о еде, как голод начинает меня терзать так сильно, что я готов упасть и катиться кубарем. Так что думать о еде я перестаю.

От бега стали приходить мысли, что скоро комендантский час, так что из канавы можно будет вылезти и отправиться куда-нибудь туда, где можно украсть еды и попить воды, но я тут же себя ругаю, потому как от мысли про еду желудок сразу стонет и его схватывает, как от боли. Что правда, то правда: когда убегаешь от чего-то, то по отношению к нему начинаешь чувствовать себя легче. Я миную еще один остов машины, а когда через какое-то время на пути попадается скелет лодки, то до меня доходит, что я больше не в канаве. Но и не на море, хотя ноздри чуют соль и волны. Ступни утопают в грязи и песке, а вокруг густо растут деревца — сухие и желтые, как пластмассовые, с перевитыми гладкими ветвями, свисающими до земли и извилистыми, как змеи. Песок местами то холодный и влажный,

то, наоборот, сухой и нагретый. Когда я прохожу через один такой пятачок, то там открывается мелкая норка и из нее суетно выбирается множество крабов. Я нагибаюсь и рассматриваю их. Свет совсем уже ушел, а море рокочет все шумней. Я поднимаю глаза и тут вижу впереди себя самолет. Он как будто бы упал и пытается снова взлететь, но путается в каких-то тенетах. Он упорствует, но кустарник все же одерживает верх. Самолет дыбится, как крест, брюхо у него не утратило серебристого блеска. Половина левого крыла куда-то делась, а хвост увяз в песке. Из кабины и окон у него прорастают стебли, свисают гирлянды водорослей, как будто они и есть на нем настоящие пассажиры. Вокруг вовсю суетятся крабы. Часть меня хочет распахнуть дверцу и посмотреть, а нет ли там внутри настоящего скелета, и часть меня хочет сесть на сиденье и дождаться, когда самолет вырвется из плена и улетит. Кусты хрустят, а ветви трещат под ногами диких свиней, шарящихся по своим тропам. Я оборачиваюсь и тут вижу, что меня окружают пять, шесть… восемь растаманов, все в белом.

— Э, бомбокл…

Бам-Бам

Я кричу что есть сил: «*Боооже! Аааа! Нееееее-ет*!» Кричу, но не слышу крика, потому как рот у меня зажат кляпом и языком его не вытолкнуть; к горлу подкатывает блевотина, а я не могу ее обратно сглотнуть, кашляю и давлюсь. Джоси Уэйлс сдергивает с меня пленку, которой мне залепили глаза, и я вижу единственно свет фонарика и тень на дереве — будто кто-то огромный протягивается из земли, но все это как-то размыто. Темно; я пытаюсь бежать, но ноги у меня связаны и руки тоже. Поделать я ничего не могу и просто мелко подскакиваю, и Джоси Уэйлс смеется. Его я тоже не вижу, а только слышу смех. Но вот он с кивком выходит из-за дерева, и тогда я вижу, что он человек, а не тень. Ревун с Тони Паваротти хватают меня, приподнимают, а я ничего не могу сделать — ни пихнуть, ни пнуть, ни пырнуть, а могу лишь свирепо на них таращиться. О Господи Иисусе, козлина ты эдакий, ну хоть раз дай же мне сверхсилу, о которой я молю тебя чуть ли не с двенадцати лет! Сделай же так, Господи, чтобы от жара моего взгляда их располосовало надвое! Боже! Они хватают меня, приподнимают,

раскачивают на «раз-два-три» и отпускают, так что я лечу прямо в могильную яму, приземляюсь в ней на живот, лицом прямо в грязь. Грязь запекается в правом глазу, больно жжет, и я не могу проморгаться. Я переворачиваюсь, а они смотрят на меня сверху; Джоси Уэйлс склабится, а у меня во рту вкус блевотины, камня и «нееееееет! нееееееет! нееееет!». Рука горит, но кожа с нее не сходит. Кожа не сходит! Не сходит кожа, а значит, кровь не смочит и не ослабит веревку и мне не высвободить руку. Ревун, ну пристрели же ты меня, прошу тебя, пристрели, гондон ты, бомбоклат гребаный! Пристрели, ну! Джоси подходит к краю и мочится на меня. Руки у меня за спиной, и я чую, как там копошатся земляные черви и муравьи, как они будут меня кусать и есть поедом, а Паваротти меж тем начинает засыпать яму — «нееееет! нееееет! нееееет!» — и грязь катится градом с высоты пять, нет, шесть футов; я корчусь, дрыгаюсь, а сверху все валится грязь и пыль вперемешку с камнями, из которых один ломает мне нос, а другой вышибает глаз, я уже не чувствую одну ступню, а только судорожно, исступленно мотаю головой — «нееееееет!» — пытаюсь, но никак не могу сорвать кляп, Иисус Супермен Человек-Паук Капитан Америка, где

же вы все со своей суперсилой, мне бы ее хоть на то, чтобы растянуть веревку, и я тру ее мизинцем — тру, тру, тру ее, как могу, кончиком мизинца, и вот она наконец слетает! Я на свободе! Но грязь продолжает лететь и скапливаться, а я не могу глянуть наверх, только слышу, как они копают и швыряют с пыхтением землю и камни, которые лупят меня по лбу, и не могу таращиться на них, как Супермен — «бам вжик пум зум пам» — для них это все шутки, а я отпинываю грязь обеими ногами одновременно, как все равно что пинаю футбольный мяч, а футболист я никакой, лихой плохой усталый, никак не могу помешать падать грязи, а она мокрая, тяжелая, меня тут как будто прижимает сам Господь — «нееееет, нееееет» — грязь в левом глазу, я не могу его закрыть и моргать тоже не могу, а Ревун хохочет, а я снова извиваюсь, извиваюсь, извиваюсь подо всем этим градом.

Камни! Камни сыплются один к другому, перемешиваются с грязью опять и опять, я переворачиваюсь и сжимаюсь калачиком, как младенец, чтобы был воздух я бы трахнул женщину с которой живу нет не ее а другую этажом ниже другую белую с розовой писькой из «Ангелов Чарли» которую я видал в припрятанной книжке

у папы под койкой он ее вынимал когда думал что я сплю и сам себя ласкал и пристанывал при этом «боооже» и трахал пол трах трах трах хочу письку не не хочу письку трах трах трах загнуть ее и тереть ее в писю приподнять за булочки и всунуть так чтобы писе в писе было тесно как у папы когда он вставлял моей бляди матери рачком ей все равно кто спит а кто просыпается она вся возбуждается и насаживается ему как на кол возбуждается возбуждается и только скулит как сучка а он ей вдувает по самые яйца я ни разу не видел своего отца голым никогда не видел как он трахает мою мать может это был Шутник хотя он жопник гом раз заставил мужчину у себя отсосать а затем пристрелил насмерть я же ни разу не был на Кубе ни на Барбадосе и не снимал «С» с груди у Супермена и не могу плакать через левый глаз он так набит грязью и дышу я коротко потому как совсем мало воздуха и валится сверху новая грязь я только слышу что темно мокро и тяжело, грязь такая тяжелая и нельзя больше нет нет нет стоп стоп перестань дышать стой дыши коротко чтобы сберечь что? Копай копай копай бух бух бух мертвый ты умрешь умрешь быстрее сделайте меня мертвым не живым ни мертвым ты умрешь еще раз вдохни не пользуй воздух

мокрый жесткий и плотный кто-то давит мне на нос как будто на нем рука ааааааах Иисус. Иисус один вдох еще третий четвертый пятый шшшшшестой сссссседьмой ввввв ннннн де-вя-тый! Девятый дееееевяяяатый деее папа нет не желтую пожарку а красную желтая не как настоящая папа нет купи лучше леденец кругленький мелок лиловый розовый нет розовые они как у девчонок хубба-бубба хорошая жвачка она не липнет даже когда надуешь совсем совсем большой пузырь он лопает как бы со звоном как букетик но все это обман обман мы…

Сэр Артур Джордж Дженнингс

Небеса от земли Бог так далеко отделяет потому, что не может терпеть смрад изгнившей плоти. Смерть — не ловец душ и не дух; она — ветер без тепла, ползучий недуг. Спастись не пытается никто. Я буду на месте, когда погребенный заживо паренек перейдет сюда, все еще думая, что он не мертв, и я отправлюсь за ним следом, когда он пойдет к дому Певца регги. Буду я и тогда, когда они придут за последним в старом городе. Буду тогда, когда в огне и дыме вознесется богадельня «Эвентид». Когда трое предстанут перед не вполне праведным судом. Когда возвращенный из небытия Певец падет в Пенсильвании и его дреды сиротливо распадутся.

Те, кому уготовано умереть, способны видеть мертвых. Вот что я говорю тебе сейчас, но ты меня не слышишь. Ты можешь видеть, как я следую за тобой, видишь и недоумеваешь: если я иду, то почему я при этом как бы не касаюсь земли, хотя я держусь позади тебя, позади них? Они следовали за тобой всю дорогу до того места, где болото встречается с морем, до самого того еще сохранившего блеск самолета с мертвецом

в окружении мешков белого порошка. Их было семеро, и ты принял их за всадников Апокалипсиса, но они были всего лишь людьми с саблями, которые учуяли тебя по твоему страху; людьми, которые тебя вовсе не преследовали, а просто ждали, пока ты встроишься прямо на место. Я могу видеть, что ты видишь меня. Для тебя это не к добру.

Ты проснулся, а он на тебе — плевок демона, сгустившийся на твоем лице так, будто кто-то взял тебя за ноги и окунул головой в желатин. Кое-что ты с себя сколупнул и решил, что все это было во сне, но на самом деле он уже в тебе, ты вдохнул его, как рыба. Ты и погребенный заживо парнишка, и те остальные, что никогда не заметят того, что они теперь спят на спине.

«*Что за странный белый человек — вообще не к месту*», — думаешь ты. А я ступаю следом безотлучно, словно вдова на похоронной процессии. Штаны твои зацепились за вросший в землю камень, при этом на них продрался левый карман. Эти люди выуживают тебя, как рыбу, и с каждым новым их потягом петля на твоих запястьях затягивается все туже. Тебя тащат долгие мили, ты извиваешься и переворачиваешься, а при последней твоей конвульсии и повороте на живот

камни скребут сильнее, оставляя на животе красные борозды; об один из них треснула твоя правая коленная чашечка. Тебя тащат по заповедным дорогам, забытым проулкам, поросшим травами тропам, вдоль укромных рек; протаскивают через пещеру, о существовании которой известно лишь мертвым рабам; ведет она глубоко в Кингстон. Волочёт тебя всего лишь один из них, и при этом без особого усилия и подергиваний; он тянет тебя так, будто ты не более чем подушка с начинкой из перьев, губок и воздуха. Ты совсем не тяжел: те, кому нет двадцати, тяжелыми не бывают. Шествуя, я пробую величаво склонять голову, но при каждом таком кивке она сваливается, а шея надламывается. Ты снова ворочаешься, и влажная трава сечет тебе лицо. На протяжении миль ты вопишь, но вопль глушится затычкой, хотя я и здесь, чтобы слушать.

Мстители растафари, все в белом, пахнут дымом ганджи и окровавленным железом. Семеро, которым нечего сказать; семеро мужчин, один из которых тянет тебя на веревке через кустарник, вверх по этому холму, вниз по этому долу, затем снова на холм, а с неба на все это бесстрастно взирает кровавая луна. Меня удивляет, как им среди всего этого заросшего пустыря удается сохранять

такую белизну одежд. У троих из семерых головы обернуты белым, как у женщин в некоторых африканских племенах. Ты можешь меня видеть. Надеешься, что я считываю глаза. Я и в самом деле это могу: «*Им все равно, что я качусь, а лицо мое, нос и рот забиты грязью, а трава тут горькая, горькая, горькая… блин, куда это мы идем? Куда они меня тащат, у меня же все лицо исцарапано, голова уже похожа на ту кровавую луну, она вон тоже кровоточит, а трава при каждом шаге режет кожу, а они все движутся через пустырь, как будто с ними никого и нет, бредут сами по себе, скользят через пустырь по воздуху, а земля здесь будто усеянная лезвиями*». Хотя ты не тот, кого я ищу. Я только вначале подумал было, что это ты, потому что уловил на тебе его запах — слабый, но он был, и я чуть было не подумал, что это он, пока не увидел, что это ты. Еще многим, многим предстоит пострадать. Многим предстоит умереть.

Волоча тебя через кустистый пустырь, песен эти люди не поют. Кожа моя бела, как их одежда, но на мне нет одежды. Ты не в силах сдерживать своих попыток завопить. Ты все гадаешь, с ними я или нет, могут они меня видеть или нет, и если я не реален, то, значит, и все это не реально, и даже процессия по направлению к смерти — всего

лишь метафора для описания чего-то еще. Хотя слова «метафора» ты никогда не слышал.

Но в тебе оно есть — нечто, чего не было у меня. Понимание взявших тебя людей. Может, после стольких миль, которые тебя проволокли волоком, ты отделил свое подсознание от супер-эго; свой ум, который знал, что ты к этому идешь, и лишь твое сердце никак этого не принимало. Иррациональная часть человека, схватившегося за соломинку, который перепробовал все, чтобы остаться в живых, вплоть до хватания при падении с балкона за куски воздуха с криками Богу дать прихватку. У меня нет понимания человека, что убил меня. Ты смотришь на меня, и даже в темноте мне видно, как свирепо моргают твои красные глаза.

«Вон он, прямо там. Смотрит на меня и на них. Идет позади, вправо влево вправо влево, за много шагов от них, и смотрит на них и на меня и на небо, как будто кричит или плачет, и не заговаривает с ними. Помоги мне помоги мне — полиция, убийство; да стой, не иди ты так, будто не замечаешь крови и не являешься свидетелем. Не знаю, есть ли какой-то смысл в том, чтобы он, этот белый, белый как мука, что-то такое сказал, а? Вопи, убеги, вернись со стволом; вопи,

убеги не возвращайся; нет, я не смотрю на тебя, когда они тащат меня через пустырь; я упираюсь, переворачиваюсь то на бок, то на спину, но меня все так же волокут по этим кочкам, руки у меня обвязаны веревкой, она жжет руки, я переворачиваюсь со спины на живот, нет на спину, нет на бок, нет на живот, и вижу, что двое из них, нет трое, нет четверо, и мы уже на холме, может, потому как веревка тянет все жестче и от нее мне больно, а белый человек смотрит, но вот у него исчезает голова, хотя мне толком не видно, потому что на пустыре кусты, о как впиваются, бомбоклат, трава и терни, и белый исчезает, но вот я снова его вижу, и кажется, опять без головы, но нет, она просто раскачивается, как будто у него нет шеи, а затем он ее как-то рукой, что ли, приспосабливает или что? Он, оказывается, нахлобучивает и прикручивает себе голову — о Господь Вседержитель, он это делает! Бомбоклат, это же не человек, а какое-то умертвие, но похожее на человека, только глаза у него неживые, и я проволакиваюсь через пустырь, застреваю, останавливаюсь, застреваю, останавливаюсь, и вот меня перестают волочить, и двое подходят ко мне, но не для того, чтобы пинать, и еще один ставит мне ногу на бок, но тоже не для

пинка, и толкает, чтобы я покатился, и двое из них — раста с локонами живыми как змеи, хотя не змеи, а больше похоже на дым, а они все в белом, и у обоих в левой руке мачете, нет в правой, я хочу сказать «не рубите меня, пожалуйста не рубите меня», а там, где мои большие пальцы ног, сейчас холодно, слева, нет справа, моя женщина плачет, она плачет как раз сейчас, и она нашла другого мужчину, который будет о ней заботиться, вот ведь шалава, но нет, она плачет и пошла к Джоси Уэйлсу спросить, где там мой мужчина? Что ты с ним такое сделал? Джоси Уэйлс берет и ее и трахает, трахает, превращает ее в дуру или дает ей деньги, ты слышал? Моя женщина — тоже Иуда, слишком белый человек, я тоже, а раста в белом дает мне пинок, и я выкатываюсь с пустыря, а луна теперь белая, уже больше не кровоточит, запястье все блин горит, они тащат меня через камень посередке, я проезжаю по нему спиной, и с меня сдергиваются штаны, они стаскиваются, стоп, стоп, раздираются, а меня затаскивают вверх по холму, и прощай мои штаны за сырой травой белый человек куда-то пропал меня тащат я стукаюсь головой я бьюсь об асфальт меня тащат через дорогу со скрежетом стоп стоп стоп гравий въедается в задницу

гравий въедается в спину зад уже весь мокрый, мокрый зад и кровь я знаю железный такой запах от крови белый человек скажи это кровь ну говори же козел где ты там? Они тащат меня через дорогу снова на пустырь вверх по холму Джоси Уэйлс я собираюсь убить Джоси Уэйлса о Господи Иисусе Боже Всемилостивый Иисус Христос я не хочу умирать папочка наш Иисус я же не хочу умирать белый человек вернись ко мне ради Бога нет почему ты ничего не говоришь посмотри видишь кровь стекает по моему лицу…»

Я слишком много говорю. Между тем я человек, которого никто не слушает. Вот и ты к ним скоро примкнешь. Тебя втаскивают на самый крутой склон; о твое тело с треском ломаются ветки, рвутся и сминаются листья, и даже я удивляюсь, почему луна не возьмет чью-то сторону. Тебя тащат на тропу, что идет вдоль говорливой темной речки; об этом месте у меня есть какая-то смутная глухая память, но я не знаю, моя ли она. Тебя еще волокут несколько минут, после чего перестают. Я смотрю вперед, ты тоже пытаешься извернуться и сделать то же самое. Когда ты видишь то, что вижу я, твой рот издает восклицание столь громкое, что чуть не выпадает кляп.

Рубеж, ворота, крепостная стена из растаманов

— по большей части в белом, хотя у некоторых цвета скрадываются лунным сиянием; все в строю, плечом к плечу, с саблями и ножами в руках, автоматами за плечами, покуда хватает глаз. Локоть к локтю, один к одному, строй отсюда тянется вправо и отсюда же влево, так далеко, что исчезает за изгибом холма и вдалеке обрисовывается снова. Люди полностью, сплошным кольцом обступают гору, и я об этом знаю, но не помню. Я не переставая смотрю на них. О тебе я забываю. Мне хочется обежать вокруг холма и посмотреть, есть ли где-то в этом строю зазоры, хотя я знаю, что их нет. Вершину они закрыли от остальной местности. Но выпустили семерых для того, чтобы те приволокли сюда тебя. Все хранят молчание, кроме твоего невнятного, взахлеб, бормотания. Тебя тянут по тропе еще полсотни футов, после чего закладывают вираж, одновременно, как стая быстрокрылых птиц. Кусты здесь доходят до пояса, и никакой тропинки не видно, но, похоже, они знают, куда им двигаться. Дерево я замечаю прежде тебя.

Они останавливаются. Человек, что тебя волок, отпускает веревку, а еще двое, взяв под руки, ставят тебя вертикально. Ты стоишь, но, завидев раскинувшееся над тобой дерево, валишься с ног.

Тебя вовремя подхватывают. Ты ждешь, когда тебя приотпустят, и зайчиком скачешь прочь. За тобой не гонятся и даже не поднимают тревоги, а просто ждут, когда ты упадешь. Тогда тот крупный, что всю дорогу тебя сюда тащил, хватает тебя за ремень и поднимает с земли. Он несет тебя, как куклу. Лишь один человек на этом холме слегка заждался. Он ставит тебя на нужное место. Петля готова заранее. Она уже ждет. Он пытается надеть ее тебе на шею, но ты пытаешься унырнуть туда-сюда, вперед-назад, что-то вопишь в кляп. Ты извиваешься, трясешься, оборачиваешься и смотришь на меня. Даже в темноте я вижу, как ты моргаешь. Ты вопил на протяжении нескольких минут, но только мне известно, что вопил ты мне. Одной своей дланью рослый растаман держит тебя за шею, другой прилаживает петлю. Затягивает. Я думал, они поставят тебя на барабан, вышибут его из-под тебя, и дело с концом. Однако твоя шея в петле, веревка от которой тянется вверх к крепкому суку и спускается с его обратной стороны, где стоят двое растаманов, обмотав ее вокруг рук, и принимаются тянуть. Мне кажется, что их молчаливость ты сочтешь для себя унизительной, как будто они занимаются какой-то нудной, рутинной работой. Любопытно,

надеешься ли ты, что Певец каким-то образом услышит, как ты молишь о пощаде.

Впрочем, тебе следует знать: живые, они никогда не слушают.

Часть III
Танец тени[128]
15 февраля 1979 года

[128] Примечания: 128

«Танец тени» (*англ.* Shadow Dancing) — название диско-альбома и песни, написанной в 1978 г. Энди Гиббом, одним из солистов группы «Би джиз».

Ким Кларк

Каждый раз, когда я влезаю в автобус, меня в какой-то момент пронизывает уверенность, что сейчас вот-вот рванет. Причем непременно сзади, поэтому я усаживаюсь впереди. Как будто это что-то изменит. Возможно, это все из-за того взрыва бомбы в лондонском ресторане, в феврале. Я тогда уже несколько месяцев не смотрела телик, а тут включила и как раз нарвалась на эту хрень. Чак говорит, *«ты слишком впечатлительна, пупсик, лучше уж вообще не езди на автобусах»*. О, как я ненавижу всех этих «*пупсиков*», терпеть не могу всеми фибрами, вот так бы вынула пистолет и застрелила, а его это лишь раззадоривает называть так меня чаще. Он говорит, это из-за того, что у меня от этого бровки становятся домиком, а я даже заметить этого не успеваю. Чак говорит: «Пупсик, да не езди ты на автобусах, если тебе не нравится мариноваться там, как сардинка». Я уж не говорю ему, что ненавистно мне даже не это, а другое.

Это ощущение возникает на подходе к дому, даже спина как-то странно выпрямляется. Почему-то именно при подходе к дому. Вообще, как

на меня смотрят, когда я к нему подхожу, мне нравится, но не нравится само то, что на меня смотрят. Как меня они меня не видят, а видят лишь как женщину, что подходит к дому возле береговой полосы; дому, у которого такой вид, будто его вырезали из «Отдела 5–0»[129]. У дома такой вид, будто посторонним здесь нечего делать, и люди недоумевают, почему эта темнокожая сюда ходит, да еще с гордо поднятой головой, будто она здесь хозяйка. Прежде всего они смотрят на меня именно как на *женщину*, которая сюда приходит, а поутру ей нужно отваливать с тем, что она за ночь успела заработать по своим расценкам. Затем они видят меня как женщину из *тех*, что ходят сюда косяками и, наверное, вовсю ублажают того белого парня, хотя и втихую. Потом, возможно, видят меня как *его* женщину, которая приходит-уходит в любой час. Затем видят, как я ухожу и прихожу с магазинными пакетами, и думают: «Может, она в этом доме действительно при каких-то делах — скажем, горничная». Ну а затем видят, что я ухожу непринаряженная и возвращаюсь или выхожу на пробежку, как нынче принято у белых в Америке, и только тогда начи-

[129] Примечания: 129
«Отдел 5–0» — телесериал в жанре «полицейской драмы».

нают подумывать, что, может, я здесь и в самом деле живу. Она с тем белым человеком. Хотя нет, белый человек и она при нем. Жена-официантка. Вечер для вас, сэр, «подкачу-ка я тележку, пошпионю вперемешку; чего изволите, хозяин?». На той неделе вот на этой дороге каблук сломала — не дорога, а одно название, козья тропа какая-то, вверх-вниз по холму, к скале рядом с берегом, где жить может взбрести в голову только таким, как Чак. Или Эррол Флинн[130].

Чак. «*Сколько чаков начакают нунчаки*?» — спросила я, когда он подошел ко мне в баре «Мантана», куда ходят все экспаты[131] и работники «Алькорп боксит», так как это единственное место, где у гамбургеров вкус иной, чем считают ямайцы, полагающие, что они должны быть исключительно с ветчиной. Он еще и приподнял шляпу, как ковбой в кино, и спросил: «Как оно, ваше ничего? Я Чак». Как все равно что Чип, Пэт, Бак или Джек. Мне так нравятся эти однозарядные американские имена, при их звуке сразу

---

[130] Примечания: 130

Эррол Флинн — голливудская кинозвезда австралийского происхождения, секс-символ 1930—1940-х гг.; прославился в амплуа отважных героев и благородных разбойников.

[131] Примечания: 131

То есть экспатрианты.

представляются яблочный пирог, дармовые баксы, а произносятся они на раз, вот так, «р-раз» — и готово, безо всяких усилий. Вот слышишь от них эдакое «йоу», «чё как», «как у милашки тормашки?», и появляется вдруг потребность сказать, что нет, «я не из тех местных дам, которые для вашего удобства не носят под платьем трусиков, хотя спасибо за джин, который я вообще-то не пью». Не знаю, что я переживаю в памяти с бóльшим удовольствием: то, как часы убывают до минут, когда я жду *его* в «Мантане», или как Чак тогда спросил «как оно», а я подумала, что у нас все получится.

Дом. Если прислушаться, мисс Ким, то ты называешь это место даже не так, как называет его Чак. Сейчас я войду в гостиную, думая о взрывах в автобусах, а он скажет: «*Йоу, как оно? Как там у милашки тормашки?*», и я почувствую себя, как крольчонок в безопасной норке. Хотя нет. Это какая-то дурь несусветная из дурацких книжек, перестань, ради бога, о ней думать, Ким Кларк. Времени уже под вечер, обычно он к этой поре дома. Я уж обычно и ужин успеваю сготовить — делаю я это походя, иногда под его подначку («*Уау, малыш, я и не знал, что у ямайцев рис со специями*», — сказал он прошлым вечером). Тьфу,

ты глянь, до чего тебя довела твоя задумчивость: опять под окно налетели чайки. Теперь вот я женщина, живущая в соседстве с чайками. Чаек я на дух не переношу. Эти блядёшки что ни день машут своими бесстыжими хвостиками и гадят, как незваные гости, да еще и обсиживают мою террасу — дескать, пошла вон, стерва, теперь это наша терраса, мы здесь живем. Не знаю, с чего они взяли привычку прилетать: еды снаружи нет, а уж я сама на говно изойду, а корма им не дам. К тому же они такие неуемные и галдящие, а улетают, только завидев Чака. На меня им ронять с высокой колокольни. Я знаю, что они там кумекают. Думают, дескать, мы здесь вообще были первые, задолго до того, как ты начала щемиться с мужиком, да и до него мы тоже здесь были. Галдят так, будто рассказывают что-то про меня. А ну убирайтесь от моего окна, или мой американец Чак вынет свое американское ружье и пим-пам всем вам по соплям, свинец в башку, всем вам ку-ку… Бог ты мой, с какой такой поры я стала изъясняться, как в дешевых комиксах и мультиках?

Сегодня я буду любить его волосы. Буду думать о его волосах, какие они каштановые, с легкой рыжинкой, когда доходят до щек, и как ему нра-

вится носить их по-солдатски коротко, но теперь он их отращивает, потому что я сказала «милый, из тебя получился бы симпатичный пират» — сказала как бы невзначай, думая, что фраза уйдет в никуда, но он заронил ее в себя, так что теперь он мой сексуальный пират. Сексуальным я его никогда не называла. Наверное, потому, что называла «милым».

Сексуальный. Секси.

Сексуальный — это Джон, как там его по фамилии. Ну этот, генерал Ли из «Придурков Хаззарда»[132] — не тот, который с каштановыми волосами, он слишком мужиковатый, а тот, который Джон; поспорить готова, что его звать Джон. Секси. Люк Дьюк пересаживается из кузова в кабину пикапа, а сам ногой приминает свое достоинство — интересно, другие женщины тоже это замечают или только я? Ким Кларк, ну ты, блин, и извращенка. Этот Джон, он как будто никогда не носит трусов. На этой неделе «Придурков Хаззарда» будут показывать по спутниковой тарелке. Я знаю только одну такую крупную тарелку: на здании телевидения Ямайки в Кинг-

[132] Примечания: 132

«Придурки из Хаззарда» — телесериал о приключениях двух братьев, Бо и Люка Дьюков, проживающих в вымышленном графстве Хаззард, шт. Джорджия.

стоне, но Чак поставил такую себе на крышу.

Да, сегодня я буду думать, как люблю то, что он собирается учудить со своими волосами. Вчера я любила, как он всегда на входе в дверь снимает головной убор: «*йоу, мэм*». Перед любой дверью. А позавчера я любила, как он называет меня «мисс Ким» всякий раз, когда я при трахании насаживаюсь сверху — не то чтобы мне это нравится, оно мне даже совсем не нравится (я имею в виду «мисс Ким», а не процесс), но я люблю, что это так нравится *ему*. А чего б оно не нравилось — жахаться с черной сучкой, которая по окончовке доводит его до безумия (насчет знойных ямайских девчонок он, должно быть, слышал уже за два года перед тем, как приземлиться здесь со своим кульманом и стояком). «Стояки» американцы называют «жесткачами». Мне кажется, несуразно. Никакой он, Чак, не жесткий. Он милый. Мой мужчина мил, он обходительный и добрый, а уж как он поднимает меня на руки! Как будто я из картонки, но при этом руки у него такие мягкие и нежные, и он поднимает меня и ставит на кухонный прилавок, улыбается и говорит: «*Ну, чё как, пупсик обо мне скучал?*» А я задумывалась об этом не раз и считаю, что да, я по тебе скучала, потому что когда тебя здесь

нет, то я остаюсь наедине со своими мыслями, а я ненавижу думать, так ненавижу, что шло бы оно к чертям. Думает пусть лучше Чак. В том числе о переезде. И решает, что прихватить с собой, а что оставить за ненадобностью. Первую часть этой мысли я люблю ох как больше, чем вторую. Хотя стоп, это все глушняк. Выстрел в голову.

Бог мой, Ким Кларк… А ну-ка вдох, выдох, выдох, вдох. Вот уже третий раз я называю себя Ким Кларк, не подумав перед этим, что мне нужно называть себя Ким Кларк, или хотя б после того, как сказать: «Глянь-ка, я назвала себя Ким Кларк». Даже это размышление насчет Ким Кларк, оно насчет того, что я достигла точки, где мне даже не нужно думать ни об этом, ни о каком другом имени. Ну ее нах, эту персону. Понятно? Я говорю «*нах*», как американцы; как Чак, который все еще говорит по-старому: «*черт*» — прикольно. Чак и его «*йёптыть*». Он когда по понедельникам смотрит вечерами свой футбол, то у него постоянно «*йёптыть то*», «*йёптыть это*» или «*и это, йёптыть, зовется растянутая оборона*». Никто в этой игре не использует ног, но все равно это зовется футболом. Меня прикалывает, как американцы утверждают, что что-то зовется так-то или эдак, хотя на самом деле оно совсем так не

зовется. Вроде футбола, где никто не использует ног и у которой нет скончания. Прошлый раз я была вынуждена просидеть с Чаком всю ту хренову игру и сказала: «Милый, так долго не кончаться должен только секс», а он на это назвал меня своей «*секси-шлюшкой*». Это мне тоже не понравилось; одна из двухсот ошибок, которые мужчины каждый день совершают в отношении женщин, с которыми живут, и это заставило меня задуматься, со сколькими же женщинами он на самом деле занимался сексом. В принципе, он не урод. Нет, он смазливый. В смысле, симпатичный. На сегодня, знаете ли, три тысячи ямайских женщин возненавидели бы меня за то, что я с ним. Я имею то, чего вы, пиздёвки, только желаете. Я, Ким Кларк. Давайте-ка, заполучите это, если хватит борзости.

Да нет. Вру, конечно. Я знаю фактически, что ямайские женщины вовсе не ищут днем с огнем белых мужиков из иностранцев. Большинство их даже не имеет представления, как они выглядят нагишом. Они думают, белые мужики состоят из одних мудей без хренов, что лишь доказывает, что эти женщины никогда не видели порнухи. Возвращаюсь я домой по солнцу, в три часа дня. Монтего-Бэй смотрится как Майами, где ты, Ким

Кларк, ни разу не была. Но все равно иду и надеюсь, что Чака дома нет. Рискованно. «Чего это ты так, незваной гостьей?» — могу я услышать от него и последнее время слышу нередко, отчего мне начинает думаться, что каждое исходящее из меня слово чем-то таким запятнано. Но это не то, над чем я хочу задумываться, я просто хочу провести сколько-то времени одна. Опять я несу чушь, как какая-нибудь щебетунья-янки, и уже так долго, что даже не могу вытряхнуть из головы всю эту американосовскую дребедень. Прошу вас мыслить конкретно! На отсутствие Чака я надеюсь потому, что хочу спокойно сесть на тахту, слушать свое дыхание и смотреть по ящику «Готовим на воке с Яном»[133], а мозг у меня пускай отдыхает, потому как все это — эта жизнь, эта ходьба, эта трепотня, это сидение в пространстве, которое все-таки не мое, — все это чертовски трудная работа. Само существование — трудная работа. Просто жесть. Хотя нет. Жесть — это, бомбоклат, сама жизнь. Иногда вот даже приходится сквернословить.

Интересно, а эти чайки слышат, о чем я думаю? Может, этим они снаружи и занимаются? Слуша-

---

[133] Примечания: 133

«Готовим на воке с Яном» — популярное в США и Канаде кулинарное телешоу.

ют мои мысли и посмеиваются… Может, на птиц так действуют яды-пшикалки от мух и тараканов? Дай им волю, так они бы, глядишь, порвали мне кожу и всю меня поклевали. Ненавижу этих гребаных птиц. А еще не знаю, как мне последнее время быть со всеми этими чаковскими словечками. Я их называю «чакизмы». Наступает какой-то момент, когда мужик въедается тебе в поры и как бы давит сверху. Живет поверх тебя.

Чака дома нет. Тахта такая милая, приятная на ощупь. Я на ней засыпаю все время, в отличие от кровати. Там я ночами в основном просто лежу головой на косматой груди Чака и слушаю его сердце: перестанет оно стучать или нет.

Надо бы, несмотря на то что уезжаем, в этом доме прибраться. Ну и что, что переезд в конце следующего месяца. Я бы что угодно отдала, чтобы смотаться отсюда в декабре. Хочу белое Рождество. Просто мечтаю о белом Рождестве. И даже не обязательно белом, главное — далеком. Чем быстрее я уберусь из этой богом проклятой страны, тем лучше. Когда Чак рассказал мне, что родом он из Арканзаса, я, кажется, спросила его: «Это рядом с Аляской?» А он в ответ спросил, люблю ли я белых медведей и лесорубов. Не понимаю, что он имел в виду. Я потерла ему живот

и сказала, что у меня уже есть большой медведь, которого я люблю, но это его как-то не рассмешило. Странные они, мужики-американцы. Тонких шуток не воспринимают, а над всякой фигней готовы хохотать до упаду… Ну вот, опять я рассуждаю на американосовский дерьмовый манер, рассуждаю, как он. Буду-ка я сегодня любить его волосы. Завалюсь на мягкую тахту, прикрою глаза и стану думать о его волосах. И как что паковать.

Они вкусили сполна, сыты по горло этой опереткой под названием «правительство». Забавно: дом стоит так далеко от дороги, прямо у моря, которое неуемно рокочет под безумный галдеж этих пернатых бестий за моим окном, а шум транспорта все равно как-то сюда проникает. Вот сейчас чертов гудок клаксона перебил мои мысли. «Пора давать деру отсюда», — сказал его начальник. Довольно терпеть это правительство и этого Майкла Мэнли, сосущего деньги из бокситных компаний, как будто они и без того не помогают его стране. *«“Алькорп”, язви его, преобразил этот гребаный захолустный остров, но железную дорогу они, понятное дело, так и не построили, хотя деньги, безусловно, использовали с выгодой для себя. А взять другие вещи — школы, современное жилье, водопровод, канализацию?*

Это же пощечина, просто пощечина — вымогать налоги поверх того, что мы уже делаем для этой страны. И эта пощечина — первый выстрел, раскатившийся по миру: теперь Ямайка все верней скатывается к коммунизму, помяни мои слова. Национализация — это всегда лишь первый шаг. И как только этот долбаный народец может желать продолжения власти ННП? Для меня это, йёптыть, просто загадка, пупсик». Эту свою короткую тираду Чак выдает так часто, что я могу пересказать ее чуть ли не дословно, со всеми пикантными прилагательными. «А как, ребята, быть с тем сделанным вашими стараниями битумным озером, годным только для того, чтобы ганмены скидывали туда трупы, которые исчезают там без остатка?» — спрашиваю я. Иногда мне приходится напоминать ему, что даже у этой вагины в трех футах к северу есть мозг. Но даже американскому мужчине не по нутру, когда женщина слишком умна, особенно женщина из третьего мира, которую он считает за правило поучать и образовывать. Тахта эта мягче, чем я припомню.

Два года со времени выборов. Ямайка никогда не становится хуже или лучше, она просто изыскивает способы оставаться прежней. Страну

не изменить, но, быть может, есть возможность измениться самой. Не знаю, кто так думает. Я с думаньем завязала, откровенно вам говорю. Каждый раз, когда я думаю, то концовкой непременно или взрыв автобуса, или я смотрю в дуло пистолета. Блин, так это же я трясусь, а не тахта. То есть, гм, *софа*. Черт возьми, этот человек меня меняет. Мне нравится своим видом показывать, что мне это не нравится. Хотя вряд ли я обвожу его вокруг пальца. Всякий раз, когда Чак куда-нибудь со мной выходит, он смотрит на это как на личную победу, потому что, сказать по правде, я его этим не балую. Звучит, конечно, резковато. Надеюсь, что не чересчур. Я даже не упомню, как мы с ним от «привет-пока» доросли до совместных вылазок, причем по его, а не по моему настоянию.

Высчитывание и рассчитывание — опасная вещь. Оно заставляет оглядываться назад, а это тоже опасно. Если будешь этим заниматься, то, не ровен час, мысленно с ней сблизишься — той мыслью, которая изначально толкала тебя вперед от себя. Не знаю; я поклялась, что улягусь на эту чертову тахту с целью, чтоб перестать думать. Скорей бы он пришел… Вот дуреха: ты же только что хотела, чтобы его здесь не было? Буквально пять минут назад — я ж здесь рядом была, все

слышала. Такое вообще с людьми бывает? Чтобы они хотели быть с кем-то постоянно — ну, скажем, бóльшую часть времени — и одновременно быть наедине с собой? Не через стеночку-перегородочку, а именно одновременно, все время? Я вот хочу быть одна, но нуждаюсь в том, чтобы одной не быть. Жаль, что Чак не из тех, кому это можно доходчиво объяснить. Обычно я просто включаю радио и даю ему заполонить дом — в нем шум, люди, музыка, компания, на которую я не обязана реагировать, но знаю, что она есть. Вот так бы и с настоящими людьми. И чтобы они так со мной. Где такой мужчина, с которым я могу быть, но которому от меня не нужно, чтобы я в нем нуждалась? По-моему, я не соображаю, о чем говорю. Нужда — единственная причина, по которой я здесь, вот прямо здесь и сейчас в этой комнате. Ой, ну не сука ли, а? Я ж сегодня готовлюсь любить его волосы…

Сегодня я буду любить все звуки, которые он издает во сне. Всхрапы, причмокивания, присвисты заложенной ноздрей. Мямленье, скомканные фразы, стоны. Американские пуки. Отдельную часть ночи — в третьем, четвертом часу — я могу задавать вопросы, и он будет на них отвечать; из этих его ответов я знаю, что он не уверен, как

меня встретит его родня, хотя мама у него золотая, прямо-таки золотенькая. Все его звуки я знаю потому, что никогда не сплю. Бодрствую всю ночь, потом сплю весь день — есть такая порода женщин, не помню, как называется. Женщины вроде меня не засыпают никогда. Мы знаем, что ночь нам недруг. Ночь творит какие-то дела, приводит каких-то людей, поглощает тебя. Ночь никогда не повергает тебя в забытье; она входит в твои сны, чтобы заставить о чем-то вспомнить. Ночь — игра, в которой я выжидаю, отсчитываю, пока в окне не начинает различаться розоватая полоска, и тогда я выхожу наружу, смотреть, как солнце поднимается над морем. И поздравляю себя за то, что сдюжила, потому как каждую ночь я занимаюсь божбой. Еженощно.

Прошлой ночью я поняла, что могу убить кого угодно, даже ребенка. Во всяком случае, мальчика; насчет девочки не знаю. То, что не спишь, не означает, что ты не видишь снов; мать мне об этом как-то не рассказывала. Прошлой ночью я могла бы убить ребенка. Там были такие ворота — никакущие, ржавые, — но я понимала, что обязана в них пройти. «Единственный путь вперед — это насквозь». Кто такое сказал? В общем, мне надо было через них пройти, а иначе гибель:

меня выпотрошат, постругают на ломти от шеи до срамных губ, и все это время я буду истошно вопить, так что через гребаные ворота пройти просто необходимо. А в воротах стоит такой вот ребеныш, как из фильмов, где непонятно, мальчик это или девочка. Кажется, белый, но не как кожа, а как белье. И одновременно с тем я вижу, что на белом будильнике без пяти два, и четыре стены вокруг меня, и два окна, и даже небо снаружи, но вижу и те ворота, и слышу, как храпит Чак, но также вижу и ребенка, а когда смотрю вниз, то замечаю, что там, где у меня ноги, иссеченная кожа. На месте, где должны быть ступни. Я захотела в те ворота войти, но тот ребенок их перегородил и смотрит на меня не угрожающе, а эдак уверенно, с дерзким нахальством — Чак сказал бы «залупасто». Со мною нож. И вот я его вытаскиваю, хватаю ребенка за волосы, а поскольку кровь голубая, то мне не холодно и не жарко, и я вонзаю нож снова и снова, и он с каждым разом проходит в кожу, как в натянутый барабан, но не туда, куда я целюсь, а ребенок вопит и смеется, вопит и смеется, и мне остается единственно отпилить ему голову и выбросить. Я бегу к воротам, а сама кричу, кричу криком. А затем просыпаюсь. Хотя я не спала.

Может, мне бы надо искупаться или чего еще. Чак, уходя на работу, спросил, какие у меня на сегодня планы. Зря я ему сказала, что никаких, потому что уходила. Может, надо бы снять эту одежду или хотя бы эти туфли. Даже мужчина, которому нравится говорить «*пупсик, мне вся эта мода побоку*», понимает, что выходная одежда у меня отличается от той, в которой я хожу за хлебом. И если он видит свою женщину в хорошей одежде, то явно смекает, что она ее надела с целью произвести впечатление на мужчину, и, возможно, ей это удалось, причем этот мужчина — не он сам. Надо было, в самом деле, хотя бы снять эту блузку. Или прилечь, пока не разлетятся чайки. Если он спросит, можно сказать, что оделась я так для него, надеясь, что мы куда-то с ним пойдем. «*Но, пупсик, безопасных мест снаружи нет нигде*, — ответит он, — *даже в Монтего*». Я скажу, что у ямайцев принято произносить Монтего-Бэй сокращенно — «Мобэй», а не «Монтего». Скажу, что хочу выйти в люди, потанцевать, а он скажет «*но я танцую лучше тебя*», а я притворюсь, что он меня этим уязвил. Правда в том, что идти на танцы я не хочу. Каждый раз, якобы просясь, я надеюсь, что он мне откажет. Просто хочу, чтобы он поверил, что мне интересно все делать вместе

с ним, сообща. Может, он снова приведет в дом друзей и у меня будет причина не менять эту одежду. Последний раз он приводил четверых — все четверо удлиненные и укороченные вариации его самого, все с такой же облупленной на солнце белой кожей. Коротыш-блондин (ей-богу, его звали Бак, во всяком случае, что-то близкое к Чаку) сказал мне: «*Ну а что, ты самая красивая из всех скво, каких мне доводилось видеть*». Вот так. А я еще испытываю неловкость, когда ямайские мужчины называют меня со спины «телкой». Сегодня ночью я буду любить, как он спит. Положу ему на волосатую грудь голову, лизну волосы и прижмусь к нему, чтобы он никуда без меня не ушел. У меня сохранилась память о том, как я дожидалась, когда заснет моя сестра, а затем наматывала уголок ее ночнушки себе на палец, чтобы, когда даппи придет схватить меня во сне, то вслед за мной поволочится и она, и мы обе проснемся. Правда, сестры у меня отродясь не было.

Блин. Вот же черт, аки… Как вы сюда забрались, да еще в таком количестве? Видно, я старею или скудею умом: захожу в дом с магазинным пакетом, полным аки, а сама не помню, чтобы их покупала. Старая и безумная. А может, безумная

и старая. Вообще-то Чак любит аки. То и дело просит купить ему *тех штучек, ну ты знаешь, растут на деревьях, да еще и сладкие до не могу*. Я прикупила пару дюжин у одной бабехи, которая успевала слушать по транзистору американского проповедника с ковбойским акцентом, все твердившего, что грядет конец света. «*Ты знаешь, что мы доживаем последние дни?*» — спросила меня торговка. «Нет. Знаю только, что на дворе семьдесят девятый год», — ответила я ей, представив себе того проповедника — стоит, наверное, красный, как ошпаренный боров, промокает лоб платком, паричок сбился набок. Ответ, видимо, торговку не устроил, и она наказала меня, накинув к цене пятьдесят центов. Я подумала, кажется, вслух: «Знаешь что, любовь моя земная? На, не жалко. Возьми, через пару-тройку недель ямайские деньги все равно будут годны разве что на жопную подтирку». Хорошо так сказала, по-ямайски. Хотя все-таки не вслух. «Любовью земной» я никого б не назвала.

Что-то тихо, черт возьми, а с радио мне невмоготу. Не хочу слышать никаких новостей. С той поры как я перестала слушать новости, читать газеты и смотреть телик, жизнь для меня настолько облегчилась, просто счастье. «Счастье» — звучит

как предмет торга и мены. Нет, я просто не хочу знать никаких новостей и не хочу, чтобы кто-то мне что-то сообщал. Все мои новости я получаю от Чака, и они мне тоже не сказать чтобы по душе. Но у него новости другие. Все больше о том, что кто-то уехал или уезжает. Он уезжает. Мы уезжаем. Купил ли он билеты? Понадобятся ли они нам? Или за нами, как на войне, просто прилетит вертолет и унесет отсюда? Вот так приземлится снаружи, и Чак скажет: «*Пупсик, брать что-либо с собой у нас нет возможности, летим так, как есть*», и вид у него будет такой грустный, потому как он не знает, что мне только того и надо — ничего с собой не брать, даже полотенца; ничего, что будет напоминать мне о том, с чем я рассталась и что оставила, потому что ну их всех нах, трижды нах; я хочу улететь в Америку чистой, как грифельная доска, без всяких воспоминаний о том, что со мною было. Я хочу научиться писать на своей коже что-то новое, говорить «привет» незнакомым мне людям. И вертолет не приземлится, пока мы не очутимся где-нибудь далеко, типа Баффало, Нью-Йорка или Аляски; в краях, где я больше ничего уже не услышу о былом. Никогда.

Вообще, на этом чертовом радио есть и кое-что

хорошее, на FM: там музыки больше, а трепотни меньше. Ну где же Чак? Танцует он, кстати, лучше, чем я: позор черной расе. Когда белый умеет танцевать — это нечто. На наш юбилей (как-никак уже шесть месяцев) он водил меня в клуб. Хотел отпраздновать наши совместные полгода. А говорят еще, что женщины более сентиментальный пол. И вот нате вам. На шесть месяцев — дансинг. На пять — серьги. На четыре он сам приготовил цыпленка, хотя и не справился (моя мать сказала бы: «Это хорошо, дорогуша, значит, он не гомосек»). Не знаю, но иногда Чака как-то слишком уж много. Мне он все больше нравится, когда на работе. Хотя нет, это не так. Прямо сейчас, сию минуту, я люблю его волосы, а ночью буду любить, как он спит.

Тогда в «Мантане», когда мы только познакомились, я была у той черты, где внутренний голос вещает что-то типа «о господи, ну пусть это произойдет сейчас». Мне на тот момент так все обрыдло от того, что все обрыдло. Я была готова идти куда угодно и с кем угодно. Ну, а вы бы как себя повели, когда шеф положил вам на колено руку второй раз за один день? И даже третий, когда спросил, нравится ли мне у него работать. Как будто работать там — это предел людских

мечтаний, последний рубеж перед раем. Продажа дешевой, как дерьмо, бижутерии в бесстыдно расфуфыренном китаёзном магазинишке с названием не иначе как «Тадж Махал». Кто кому чем махал? Можно подумать, это было лучшее, на что я могла рассчитывать. Ну а что, Ким Кларк, разве нет? Да ты за эту работу буквально зубами вцепилась, иначе они, ни секунды не мешкая, взяли бы кого-то другого. Монтего-Бэй — это был пан или пропал. Потому как в Кингстон возврата не было.

О Кингстоне я не думаю. А хочу думать об Энди Гиббе. Почти такой же смазливый, как Джон из «Придурков Хаззарда». Энди Гибб — волосы, грудь, волосы на груди, цепи, зубы, снова волосы. Джон Дьюк — улыбка, волосы, джинсы, волосы, как у девушки, «*Я всего лишь хочу быть твоим всем*». А у Люка Дьюка такой, блин, офигенный белый дрюк свисает под левой штаниной, что мама не горюй… О господи, девушка, ты, должно быть, единственная во всем Монтего-Бэй с таким извращенным умом. Но по радио передают не «*Я всего лишь хочу быть твоим всем*», а «*Сделай это легко, проведи меня сквозь ночь танцем тени*». Я знаю, чего я хочу. Одной ночи, когда Чак на мне и входит в меня, а я при этом не думаю о Люке

Дьюке. Ой, я этого сейчас не подумала. Врешь, подумала… Аки заняться, что ли? Он их любит на завтрак. Да и на ужин не возражает. Вот и правильно: буду-ка я лучше думать, как мне любы его волосы.

Рано или поздно он узнает. Ким Кларк, ты считаешь его шибко уж сообразительным. Этот человек неизбежно все прояснит, если *уже* не прояснил. Хотя этим утром я взяла всего десять долларов — самое большое за один раз. В прошлую пятницу — пять. А за четыре дня до того — шесть; нет, пять; нет, пятерку и две однодолларовых бумажки. К американским баксам я даже не притрагиваюсь. Да брось ты, его это, наоборот, прикалывает. Какая жена не пасется у своего мужа в бумажнике? Но я ему не жена. А только думаю ей быть. Но так вы ж живете вместе. В наш современный век люди только так и поступают: на дворе семьдесят девятый год, между прочим… Ой, в самом деле пора за готовку. Я уверена, что он не знает. В смысле, какой мужик считает, сколько у него денег в кошельке?

Как какой? Американский.

Они все проходят через «Мантану». В смысле, белые. Если мужик француз, то он думает, что может запросто обложить нас «шлюхами»

и это сойдет ему с рук, потому как произносить это слово он будет изящно, в нос, а мы, суки из джунглей, от этого должны затащиться. Увидев тебя, он сразу бросит тебе к ногам ключи от машины и скомандует: «А ну, припаркуй мое авто, *maintenant! Dйpкchetoi!*[134]» Пожалуйста. Ты берешь ключи, говоришь «да, хозяин», заходишь с ними в женский туалет и топишь их в самом сраном унитазе. Баш на баш. Если он англичанин и ему нет тридцати, то он еще не утратил своего обаяния и будет тебя упорно охмурять, но когда вы подниметесь к нему наверх, он уже так напьется, что и способность что-либо делать утратит. Здесь тоже получается баш на баш, если только он тебя не облюет, хотя после этого оставит на столике несколько фунтов из-за того, что вышел, понимаете ли, такой конфуз, такой конфуз… Если он англичанин, но уже *за* тридцать, то тебе разгребать не разгрести целую кучу стереотипов («*ты чернуууууушка, поэтому я специаааааально говорю с тобой меееееедленно*», а у самого зубы поганые-препоганые, из-за этой их привычки пить перед сном какао). Если он немец, то худющий и знает, как трахаться, но на свой

[134] Примечания: 134
Сейчас же! Поторопись! (*фр.*)

немецкий манер — как поршень в движке, — и кончает быстро, так что сексуальными немцев назвать сложно. Итальянцы, те тоже знают толк в траханьи, но не всегда перед этим моются, да еще могут в знак сердечности отвесить тебе оплеуху и оставят денег, даже если ты им скажешь, что ты не проститутка. Если он австралиец, то просто раскинется и предоставит тебе делать с ним все подряд, потому как «у нас парни даже в Сиднее наслышаны насчет вас, ямайских девок». Если он ирландец, то заставит тебя смеяться, и даже похабные сальности будут у него звучать сексуально. Но чем дольше он остается, тем больше напивается, а чем больше напивается, тем вернее шанс, что все семь дней перед тобой будут представать семь разных по виду чудищ.

Но американцы… Большинство их тратит очень много времени или *ужасно* много времени на попытку убедить тебя, что они ну нисколечко не отличаются от других («*я просто Роки из Милуоки*»). Даже Чак представился мне «обыкновенным парнем из Литл-Рок». Когда я спросила, зачем им всем хочется казаться просто обыкновенными парнями, он не нашелся, что ответить. Вместе с тем есть что-то в человеке, который наперед говорит «*что видишь, то и получаешь*» —

ничего меньше, но уж безусловно ничего больше. Может, мои стандарты занижены. Может, мне просто польстило, что хотя бы один мужчина сказал все это начистоту. Не думаю, что он и меня счел такой уж смазливой. Хотя почему бы нет: он подошел и спросил «ну чё как», и момент выбрал самый подходящий: сразу после того, как француза вышвырнули за крики «*где ключи от моего авто, шльюха*?!», а итальянец отправился танцевать с какой-то тупой американкой, что прилетела сюда одна-одинешенька, а до этого два года с хвостиком копила на поездку, и теперь-то уж эта жирная рослая сука намеревалась оттянуться по передку по полной. Итальянец, в принципе, не был черным херастым качком-мандинго[135], о котором она читала в «Хозяйке Фалконхерста»[136], но кожа у него была смугловата, а значит, уже есть за что зацепиться.

Разумеется, я просиживала там каждый вечер. В Монтего-Бэй я переехала в январе, прямиком в однокомнатку с общей кухней, которую до меня пожилая чета сдавала студентам. Но жила я фактически в «Мантане». С первого же дня на ра-

---

[135] Примечания: 135
Мандинго — группа народностей в Западной Африке.

[136] Примечания: 136
«Хозяйка Фалконхерста» — роман Ланса Хорнера.

боте я заслышала про этот клуб и навострилась. Фактически подслушала: никто из тех китаёзных стерв в магазине с черными работниками не разговаривал, ограничиваясь только напоминаниями, что у них есть связи в полиции и что если исчезнет хоть один кулон, то вас, мол, все выходные будут нещадно насиловать в участке. В общем, я услышала, что «Мантана» «*уж такое место, такое место, там весь цвет и бомонд, а впускают туда только с правильной внешностью — то есть, слава богу, не черных*». Очень мило. Кто тогда знал, что черные как раз и окажутся «правильной внешностью»? Через две недели после переезда, в одной лишь белой майке, джинсах «Фиоруччи» и на высоких каблуках, меня впустили. Внутрь я прошла как раз мимо длинноволосой китаёзки с приплюснутым носом, которая при виде меня чуть не поперхнулась и поняла, что теперь ей сидеть здесь будет не так вольготно. Я была в шаге от того, чтобы сказать ей: «Что, кули, съела? Иногда им нужен шоколад, а не карри».

Но как только я туда попала, то на поверку все, начиная с музыки, оказалось совсем не таким. Диджей там все наигрывал «*Лети, малиновка,*

лети»[137], а белые танцевали, как белые. Ну а небелые, почти все из них женщины, смотрели друг на друга исподлобья, потому как только насупленность могла замаскировать тот факт, что все мы смотримся на одно, черт возьми, лицо. «*О белый мужчина, прошу, подойди сюда и спаси меня, потому что мне некуда больше идти на поиски*». Лично у меня было ощущение, будто я всползла на самую верхушку страны и отсюда мне только два пути: сорваться или взлететь. В смысле улететь. Ну а кем я стану в Америке? Самантой из «Моя жена меня приворожила»? Той воющей бабой из «Живи сегодняшним днем»?[138] Я хочу бежать, нестись во весь дух на самую главную площадь города, подкидывая в воздух шляпу, как Мэри Тайлер Мур[139], и тогда у меня в конце концов что-нибудь получится. Господи боже, я готова идти.

Я так готова идти!

Я почти забыла. Уже трижды я проводила себе

---

[137] Примечания: 137

Популярный хит середины 1970-х гг. немецкого диско-проекта «Силвер конвеншн».

[138] Примечания: 138

Названия популярных американских сериалов.

[139] Примечания: 139

Мэри Тайлер Мур (р. 1936) — американская комедийная актриса, певица и продюсер.

по пальцам, глядя на отпечатки от штемпельной подушки. Осязание дает ощущение достоверности. Оно само по себе надежное, и все-таки я их еще и понюхала. Глазам, бывает, не веришь. На ощупь оно надежней, но с запахом еще надежнее. Мои пальцы пахнут американской бумагой — какими-то химикатами, которые вот-вот растворятся. Я почти забыла. Ким, постарайся забыть все, что с этим было связано. И перестань так улыбаться, а то щеки топорщатся и болят. Но если не улыбаться, то можно расплакаться.

От тебя запах. Надо от него отмыться. Смыть чертовы чернила с пальца. Как я могла забыть? Через несколько часов он будет дома, а я еще не смыла с себя запах. Девушка, иди смой… хватит. Вот что я сделаю. Вот что сработает. Я выкупаюсь. Сготовлю своему мужчине его аки. Он поднимет меня наверх и оттрахает. Вернее, мы оттрахаем друг друга. И проснемся вместе, а он… нет, мы не уедем по меньшей мере три недели. Я упакуюсь. Иди, девочка, смывай запах.

Каждый день он прихватывает что-нибудь из офиса. Частично по этому можно проследить характер американцев. Они все падки до собирания всякой ерунды. Так, в «Мантану» однажды зашел Тони Кёртис или Тони Орландо, и они все давай

выпрашивать у него автограф, то есть роспись на салфетке. И цепляются за нее так, будто живого Тони Кёртиса не увидят больше никогда. А Чак тащит эти ерундовины домой и собирает, как будто печется об их сохранности. Не знаю, от чего он хочет уберечь, например, кофейную чашку с эмблемой. Или пять коробок с бухгалтерскими резинками, фото Фэрры Фосетт[140], портрет президента Картера, а еще целый ящик ликера, как будто во всей Америке ликера нет. Или статуэтку растамана, держащего на весу свой стоячий пенис, головка которого крупнее, чем его голова. Возможно, Чак считает себя Ноем, спасающим статуэтку расты с его громадным членом для своего ковчега, — для расплода, что ли? Если он спасает эту гребаную статуэтку и не планирует спасти меня, то, клянусь Богом, я его прибью.

Пойду вымоюсь, а затем приготовлю аки и жареную треску. Хотя нет, аки и свинину, а не треску. И томаты. Ким Кларк, иди смой с себя запах. Не раздумывай, а просто оставь все это на кухне и иди помойся. И почисти зубы. И прополощи хорошенько рот эликсиром. Он же один и для мужчин, и для женщин. Ведь так? Может

---

[140] Примечания: 140
Фэрра Фосетт (1947–2009) — американская актриса.

быть, не знаю. Я его до сих пор в себе чувствую. Или не чувствую. Что ты вообще за женщина, Ким Кларк? Каждый раз, когда ты лижешь себе губы, ты ощущаешь их на запах или на вкус. Ну ладно, выплесни, по крайней мере, эликсир изо рта, дрянная девчонка. Я могу представить, как Чак меня после всего выпинывает. Похоже на сцену в кино, где все лопочут на итальянском. Он выволакивает меня из дома — *его* дома, — а я на полу воплю, ползаю и взываю: «Чак, ну молю, ну не пинай меня, ну пожалуйста, умоляю, ну! Я буду ползать перед тобой на четвереньках, готовить тебе еду, пестовать твоего отпрыска и насасывать тебе писю, даже когда ты ее перед этим не помоешь. Ну же, ну, ну!» А он смотрит на меня и спрашивает: «Ты, блин, вообще о чем? Что значит “ну”? Что значит это невежеское дикарское “ну” — то же самое, что “пожалуйста”? Хотя насчет писи ты все представляешь правильно», — скажет он, потому что это звучит грубо, как будто у него не было времени все обдумать, так что он может быть разгневан, но все равно в рассудке, пока я на полу хнычу «ну, ну, ну» и прикидываю, держаться ли мне, как в сериале «Даллас», и повторять, что «все обстоит не так, как кажется, мой милый».

Надо вымыться, почистить зубы, отдраить все

мылом. Но тогда не буду ли я слишком чистая? Если слишком, то это покажется подозрительным. Мы сейчас в той фазе, когда мне уже не обязательно причесываться или мазаться косметикой, брызгаться парфюмом; и уже ничего страшного, если он подловит меня за чесанием задницы, а затем я той же рукой буду помешивать в кастрюле. Он тоже хорош: пердит, когда пожелает, что мне совсем не нравится. Американские пуки более вонькие — наверное, потому, что американосы жрут много мясного. Будь бдительней насчет своих ожиданий, когда мужчина возле тебя начинает наконец чувствовать себя вольготно. Начинаешь понимать, что вся эта хрень с обходительностью и ухаживанием была так, напоказ. Точнее, не показ, а перформанс. Сколько времени он уже разыгрывает этот спектакль, а если тот затянулся для него сверх меры, то не пустит ли он меня пинком под откос, переключившись на другую девку из местных, что сидят, уставясь в коктейли? Слава богу, что на черной коже не видать следов. Черные женщины могут прятать их на себе. Может, поэтому мужики считают, что лупцевать черных баб сподручней. Отношения между мужчиной и белой женщиной сразу видны на ее коже. Дуреха, да ты просто заставь его

себя нынче не хотеть. Скажи, что у тебя головная боль или менстра (это словечко — «менстра» — он особенно ненавидит; говорит, что звучит как «пёздная краснуха»).

Остались ли у меня паспортные фотки?

А в Америке, кстати, есть горячая вода?

Тупая ты сука, конечно есть. И там не сидят часами в ожидании, пока нагреется калорифер. Может, добавить в воду хвойного шампуня? Боже ты мой, Ким Кларк, на тебе ж всего лишь пот, а не гной. «Послушайте, босс, это все деньги, что у меня есть. Я вам уже отдала свои часы и даже цепочку, которую он мне подарил на той неделе. Теперь мне придется лгать, что она у меня упала в слив или типа того. Ну дайте же мне этот чертов паспорт. Что значит “у меня есть еще одна ценная вещь”? Ой, вот вы о чем… Да говорю же я вам, все мужчины одинаковы, будь вы хоть с Южного полюса, хоть из-под Сент-Кэтрин. *Не пререкайся с мужчиной, Ким. Просто делай, и все тут*. Как, прямо здесь? В вашем кабинете? Так ведь там снаружи люди. *Ну а как же. А ты как думала. Он хочет, чтобы все снаружи слышали и знали.* А как мне быть уверенной, что вы мне его потом отдадите? *Не усугубляй ситуацию, пиздоголовая курица; ты два года этого ждала — почти два*

года, но все равно долго, — а он может порвать документ прямо перед тобой (остались ли у меня еще паспортные фото? Я вообще не люблю, когда меня фоткают, ведь негативы остаются не у меня). Вон у него картинки по всей стене — голые белые женщины, две черные, сжимают себе титьки, чтоб торчали в объектив. Ой, только давайте я не буду снимать платье? Да подождите же, трусики я как-нибудь сниму сама, спасибо. *Ким, перестань пялиться на календари, не забывай делать вид, будто ты тащишься, когда он тебе запихивает. Он…* Аааа, ааа, о боже… вы не говорили, что у вас такой большой… *Большой, как гнилой банан, не правда ли, Мисс Декабрь? Он выпрастывает его перед всякой женщиной, что заходит в эту дверь с какой-нибудь насущной, но не совсем законной просьбой. У меня останется после этого время купить аки, а еще от него отмыться? Может, получится забежать в отель через улицу, проскользнуть там в санузел и стереть с себя этого сукиного сына. Влажной салфеткой. Тихо, Ким Кларк. Закрой глаза и думай об Арканзасе.* Ааа, ааа, ааа, аааа. *На его двери значится "Нотариус", а с внутренней стороны "Мировой судья". Когда мужик стоит сзади, невозможно сказать, что у него на уме. Черт, я даже*

не заметила, что пальцы у меня сейчас на штемпельной подушке. Поздравляю: кончики пальцев у тебя в лиловых чернилах, а этот тебя сзади знай наяривает, только и слышно, как кожа о кожу "чмок-чмок". Может, мне этот штемпель умыкнуть? На всякий случай: вдруг понадобится еще один паспорт… Ты кончать вообще думаешь, урод? Один год пять месяцев семнадцать дней тридцать минут и вот это: такой, получается, финальный аккорд. Вот через что приходится пройти, чтобы наконец добыть все это: паспорт, визу, билет из гребаного Вавилона (о господи, да хоть бы он наконец уже кончил). Закрой глаза, Ким Кларк, и представь себе перекати-поле, как оно катится себе, катится и прикатывается в Арканзас — хотя нет, не в Арканзас; Арканзас я люблю. Мы поселимся там в хижине на вершине холма, а к нам навстречу по простору побегут Лора Ингаллс, Мэри Ингаллс[141] *и еще тот маленький, что постоянно падает в траву, потому как теперь у нас трое детей, и все девочки — ну ладно, пускай один мальчик, но только один. Черт, хорошо, что я на таблетках, а то как бы*

[141] Примечания: 141

Лора Ингаллс — американская писательница, автор серии книг для детей «Маленький домик в прериях» о жизни семьи первопроходцев. Мэри Ингаллс — ее старшая сестра.

не подхватить от этого типа гонорею. Я слышу, как люди у него в офисе застыли и слушают. В самом деле, за семь минут ни один даже пальцем не стукнул по клавишам машинки. Я отсчитываю секунды по настенным часам. Привет вам, Мисс Апрель, Мисс Май, Мисс Сентябрь и Мисс Август, которая титьки не сжимает, а наоборот, раздвигает (может, если подмахивать, как в порнофильмах, он кончит быстрее). Интересно, а Чак знает, что я знаю, что в потайном ящике его письменного стола в кабинете — там, сзади, — хранится целая подборка "Хастлера"? А в ящике, где у него галстуки, лежит "Пентхаус" — специально на виду, небось для того, чтобы я подучила кое-какие трюки из "Счастливого Хукера"? Когда хочешь, чтоб оно быстрее кончилось, оно всегда длится дольше. Забавно, что именно секс заставляет меня снова мыслить на ямайском. Нет, Ким Кларк, ты не будешь думать, в кого ты превратилась».

Этот урод дрючил меня еще семь с лишним минут. Снаружи никто не напечатал ни единой буквы. Затем он подал мне паспорт, я открыла его еще раз и посмотрела на себя с визой, проштампованной прямо у меня на голове. B1B2. Я хотела поднять шум, что заплатила за «грин кард», но

одумалась: наверное, лучше все-таки взять то, что есть, а остальное пускай доделывает Чак (кто знает, что этот гад заставит меня проделывать за «зеленую карту»).

Ким Кларк, ты лжешь.

Лжешь сейчас напропалую. Многое из этого действительно имело место. Но тому типу ты ничего не сказала, даже не хмыкнула. А просто подняла юбку, приспустила трусы и мысленно взмолилась, чтобы у него не было сифилиса. А он явно нервничал, нервничал так, что ты уже тогда поняла, что ты, наверное, первая женщина, что поддалась на его шантаж, а он не мог поверить своей удаче. И никаких секунд ты не отсчитывала, а все постукивала ему задом по лобку, чтобы он не терял ритма и не думал с опаской о жене, а когда он наконец кончил, ты почувствовала к нему жалость, потому как знала, что обратно тебе идти через двери мимо его персонала. И с той поры ты на паспорт даже не взглянула, потому что, если ты это сделаешь, твое же сраное фото заставит тебя спросить у себя: стоило ли оно того? Стоило ли оно того, Ким Кларк? Да, да, да! Стоило, черт возьми! И нечего меня снова пытать расспросами. Я снова бы ему и дала, и отсосала. Даже анус бы вылизала. На дворе семьдесят восьмой

год. Тысяча девятьсот гребано восьмой, и женщина должна знать, что иногда единственный путь вперед — это путь сквозь. Приземляясь в Монтего-Бэй, я уже знала: мытьем ли, катаньем, на самолете или в контейнере, но из этого места я все равно свалю. Ты уж, Ямайка, наверное, решила, что я твоя навеки? Почти уже решила, что заполучила меня… Ну так поцелуй же меня, бомбоклат, в задницу. Вот, блин, лиловые отпечатки по всему холодильнику — сколько теперь мытья предстоит, чтобы все это оттереть…

Снова жду воду. Стою под душем и слушаю, как горловина слива хрипит, будто удавленник. Гр-ребаная страна. Вода каждый день подается по часам, от сих до сих. Ну почему за домом нет реки — я бы ходила туда и мылась, как баба из сельской глубинки… Ах, какое фантастическое желание — среди дня принять душ. Смыть с себя чужого мужика перед тем, как домой придет свой. Почему я такая? Почему не чувствую больше, почему не чувствую глубже? Сердце у меня бьется сильнее, если я экспериментирую с новым блюдом. Может, если биться достаточно усердно или долго, то кровь заполнит то место, где должна обретаться совесть. Неужели вы не понимаете: я в самом деле *хочу* что-нибудь чувствовать. Хочу,

чтобы мое сердце отчаянно билось из-за вины, которая оседлала его и не слезает. Вина, она бы что-нибудь да значила. Сколько еще натирать, чтобы добиться чистоты? О, сколько бы я отдала, чтобы вода пошла сейчас, сию же минуту… Ну пожалуйста, пока он не пришел домой. Нет? Тогда ну вас на хер, понятно? Когда он придет, я встречу его приготовленным ужином, а затем буду играться с его волосами, даже о том не думая, и ему это понравится. Может, спою ему «Танцующую королеву» — он знает, как я люблю эту песню, — или что-нибудь из Энди Гибба. Может, по радио снова передадут «Танец тени», и я потяну его из кресла со словами «ну станцуй со мной, милый», а он удивится: «Ким Кларк, пупсик, что с тобой такое?» А я возьму и покажу ему визу.

Нет. Идея никуда не годится. Во-первых, ты, дура, уже сказала ему, что виза у тебя есть, хотя он и не спрашивал. Показать ему ее сейчас, и он увидит, что штамп проставлен буквально на прошлой неделе. К тому же он еще не сказал однозначно, что забирает тебя с собой. Хотя зачем ему такое говорить? Вы же с ним вместе жили, так что он не может так просто взять и уйти. Или он вырабатывает тактику, как сделать прощание менее болезненным? Чтобы я его ненароком не

прибила? Может, он это репетирует перед зеркалом? Ким Кларк, если б у тебя была хотя бы доля сметки, ты бы успела от него забеременеть. Если с сегодняшнего дня перестать принимать таблетки, то, может, к отъезду я это успею? Сегодня я буду любить его волосы, а еще спрошу, когда приступать к паковке.

Ким Кларк, ты делаешь неправильный шаг. Заткнись, Ким Кларк, и марш из этого душа. Надо сделать фиксаж прически. Интересно, лучше сделать это здесь или уже в Америке? И так со всем подряд: лучше это сделать здесь или когда я уже приеду в Америку? Боже мой, чем я займусь на следующий день после того, как мне наскучат тринадцать телеканалов? Когда мне наскучит корнфлекс, вернее, «Фростед флейкс». Когда мне станет скучно при виде скребущих небо небоскребов в окружении облаков. Когда наскучит выкидывать хлеб, что пролежал четыре дня, и я захочу купить новую булку. Когда мне наскучат всякие там «Твинкис», «Халстон», «Липсмэкерс», «Леггс» и прочая дребедень от «Ревлон». День, когда мне надоест дрыхнуть с ночи до утра и просыпаться под запах кофе, гомон птиц и вопросы Чака: «Как спалось, пупсик?» А я ему: «Да нормально, милашка», вместо того чтобы

буравить всю ночь взглядом темноту и слушать тиканье чертовых часов, потому что, как только я засыпаю, мне начинает мерещиться всякое. Я-то думала, Ким Кларк, мы прекратим всю эту морось насчет мыслей. Нет, серьезно: мысль — коварная сучара. Потому что любые мысли уводят тебя назад к той одной мысли, но ты никогда до нее не дойдешь, ты меня слышишь? Никогда к ней не вернешься. Только самые тупые женщины ходят вперед спиной в обратную сторону.

— Я люблю эту страну. Вы, народ, так славно устроены, что даже сами этого не понимаете. Но у вашего драгоценного премьер-министра в голове дерьмо. И как только вы, народ, умудрились снова за него проголосовать?

— Что за фраза такая «*вы, народ*»? Ты перестанешь ее употреблять?

— Извини, пупсик, ты знаешь, о чем я.

— Представь себе, не знаю. Я за него не голосовала.

— Но…

— Перестань мне тыкать насчет народа, как будто я тут представитель всего населения Ямайки.

— Чшшшш, это просто для выразительности.

— Ну так выражай себя приличней.

— Черт, чего это ты с утра будто не с той ноги в трусы вделась?

— Ты знаешь, у нас, народа, каждый день месяца — день тяжелый.

— Ладно, хватит. Мне на работу.

Эй ты, девушка в зеркале! Девушка Ким Кларк, согласись: сделать это оказалось проще, когда ты разыграла из себя рассерженную. Но что ты такое учинила, тупая сука? Ты никогда по-настоящему не выходишь из себя, не яришься, не даешь ему повода даже подумать о том, чтобы уйти от тебя и бросить. Ты никогда не становишься *трудной* сукой, это территория исключительно белых женщин.

— Надеюсь, к моему возвращению ты будешь в более светлом настроении.

— Надеюсь, к своему возвращению ты перестанешь пороть чушь.

Иногда мне кажется, я нравлюсь ему сварливой. Не знаю. Вообще-то женщине следует знать, когда заткнуться и намекнуть мужчине, что победа якобы за ним. Зачем это, понять сложно. В свое время я считала, что знаю, чего хотят американские мужчины. Когда он ведет тебя в «Кей Эф Си», это «свидание». А если он всплывает как бог на душу положит, и то лишь для секса, то это

вы «встречаетесь». Или что я с ним «сплю». Дурь несусветная: если он приходит только для секса, то последнее, чего я от него хочу, это чтобы он со мной *спал*. Можно ли заставить мужчину любить тебя сильней?

На «свидании» недельной давности Чак сказал, что после тридцати лет на Ямайке фирма сворачивается. «Алькорп» наконец набил себе бокситами брюхо и теперь собирает чемоданы. Чак говорит, это все из-за налога на добычу бокситов: первый шаг на пути к национализации, которая сама по себе первый шаг в сторону коммунизма. Я ему сказала:

— Вы, янки, боитесь коммунизма, как деревенские старухи — сглаза.

— Чего-чего? — переспросил он.

— Как лешего, чего.

Он рассмеялся деревянным смехом.

— Надо сматывать удочки, пока это место не стало кубинской столицей.

Теперь рассмеялась уже я, еще громче.

— Возможно, Ким, я знаю кое-что из того, чего ты не знаешь.

— Да нет. Ты, наверное, просто слышал кое-что из того, чего не слышала я. А это не одно и то же.

— Черт, ну и роток же у тебя…

— Когда ты кое-что в него вставляешь, то не жалуешься.

— Пупсик, в плане секса ты просто бестия, ты в курсе? Такая заводная…

Интересно, а у мужчин заводятся планы жениться на своих секси-бестиях? Нужно, чтобы он сводил меня куда-нибудь туда, где меня понадобится кому-нибудь представить, чтобы я услышала, как он меня называет, увидела, какое место я занимаю. Хм, можно подумать, тебе в самом деле хочется это знать. Твоя жизнь, Ким Кларк, не более чем подборка планов «Б». Радуйся уже тому, что у тебя есть мужик, который трет тебе ноги. Крупный, высокий, мужик-гора. Под два метра, не меньше. Серые глаза, а губы такие тонкие, будто их прорезали резцом. Волосы вьющиеся — это становится заметно, когда они отрастают. Грудь широкая, руки большие — он в свое время руками работал и только потом стал работать и есть за письменным столом. Волосы на голове каштановые, а над пенисом рыжие, и на яйцах, где они торчат пучками. Иногда я невольно замираю и смотрю на них.

— Что ты такое делаешь?

— Я? Вообще ничего.

— Если будешь так пялиться, у меня опустится

на полшестого.

— Я просто жду, когда они вспыхнут огнем.

— А у черных мужчин что, волос на лобке нет?

— Откуда мне знать?

— Ну как. Ты же вообще-то современная женщина?

— Современная — это в смысле шлюха?

— Нет, современная женщина — это в смысле, что месяцами не вылезала из «Мантаны». И там зажигала.

— Откуда ты знаешь, что и как я там зажигала?

— Я там, в «Мантане», местность прочесывал еще задолго до того, как ты на меня посмотрела, Ким. Нет, серьезно: ты никогда не спала с черным мужчиной? И даже с ямайцем?

Имей в виду: засеки, в каких ситуациях этот человек называет тебя пупсиком, а в каких зовет тебя Ким. Это важно, Ким Кларк. На своих пупсиках мужчины женятся. Да, да, именно. Возможно, стоит порадоваться, что он последнее время не называет меня секси-бестией. Когда он это делал последний раз? Не помню. А ты вдумайся. Нет, все равно не помню. Мне нужно, чтобы он перешел от «я люблю тебя», за которым обычно следует прощание со слезой, на «я люблю тебя

так, что давай прямо здесь и сейчас поженимся», чтобы обратно в Арканзас ты полетела уже как миссис Чак. Арканзас — это не одно ли из тех мест, где не любят черных? Если я добьюсь, чтобы он на мне женился, то, может, добьюсь и того, чтобы он переехал в Нью-Йорк или Бостон? Не в Майами: я хочу увидеть снег. Вчера я сунула руку в морозильник и держала ее там долго, как могла, — минуты, наверное, четыре, — чтобы ощутить, какова она, зима, и чуть даже не сунула туда голову. Наскребла там комок инея и сжала, пока холод не начал жечь и это жжение не передалось к самой голове. Тогда я сжала снег в комок и кинула в окно. Комок секунду продержался, а потом упал и растаял, а я заплакала.

«Милашка, никогда ничего не пускай на самотек».

Интересный подход. Он, оказывается, не хотел рисковать: вдруг я уйду и больше в «Мантану» никогда не вернусь, хотя я там торчала из вечера в вечер. Выжидая, высматривая. А может, это значит, что он уже купил авиабилеты, или же фирма выдала ему билеты обратно в Америку? Ага, можно подумать. Они оплатили ему только один на приезд сюда; с какой стати они будут выдавать ему два на выезд? «*Чарльз, мы не можем*

снабжать дополнительными билетами каждого из работников, что завел шашни с местной фауной. У нас, по-твоему, что, юг Полинезии?» Да перестань же ты думать, Ким Кларк; поверь, этим ты сведешь себя с ума. В кружке церковной молодежи нам говорили, что беспокойство — это греховная медитация, потому что ты выбираешь не доверять Богу. Ну, а я думала, что в случае чего хотя бы попаду в рай, в отличие от тех гадких девок, что дают парням себя щупать, потому что, по их словам, титьки у них отрастают быстро, а парни говорят «мы вам не верим». Понадобилось переезжать аж в Монтего-Бэй, чтобы повторно не столкнуться ни с одной из тех сук (ой, не ври — можно подумать, хотя какая теперь разница). По крайней мере, я не обзавелась лялькой, которая оттянет мне все сиськи до самых колен; о боже, как я ненавидела тех сук…

Может, начать паковаться? Начинай. Да, Ким. Да, Ким Кларк. Приступай, дерзай. Пакуй свой чемодан — тот самый, лиловый, с которым ты прибыла в Монтего-Бэй. Приступай прямо сейчас. Хотя для Америки надо бы купить новый чемодан. Интересно, захочет ли он взять эти полотенца? Я их купила буквально на той неделе… Ну их на хрен, оставим все здесь и не будем оглядываться.

Не превращайся в жену Лота, Ким Кларк.

«*Делай это легко, сквозь всю ночь*». У этого диджея Энди Гибб определенно в фаворе. Эх, послушать бы сейчас «Тебе нужно танцевать». Вот чего бы хотелось услышать. «Милый, давай сходим потанцуем», — скажу я ему, как только он войдет в дверь. И мы с ним пойдем — не в «Мантану», а, допустим, в «Клуб 8», — а когда он подопьет, я скажу: «Милый, я знаю, ты меня еще не просил, но я уже начала паковаться, чтобы потом меньше оставалось хлопот. Как у вас, американцев, это называется — инициативность? Ну так я ее проявила, потому что вы, мужчины, всегда ждете до последнего, пока и сделать уже почти ничего нельзя, включая предложение». Нет, насчет «предложения» я умолчу. Все мужики как огня боятся, чтобы их обманом не женили. А когда он начнет вилять и возражать, я выну его хер и продемонстрирую все, что подсмотрела в порнухе «Открытие туманного Бетховена».

— Не знаю. Я не ожидал, что вы, ямайские женщины, окажетесь так похожи на темнокожих американок.

— Ты не ожидал, что мы тоже темнокожие?

— Да нет же, глупыш. Я не ожидал, что вы тоже так консервативны в сексе. Клянусь, тот, кто

вырос в Арканзасе, имеет о вас ошибочное представление.

— Почему ты, когда речь заходит обо мне, всегда говоришь во множественном числе?

— Может, я настолько падок до темнокожих женщин.

— Ага. То есть я от них как бы единая делегатка?

— Я слышал, у Мика Джаггера тоже такая наклонность.

— Ты слышал, чтобы так о тебе говорила я?

— Но ведь у меня в голове все дыбом, пупсик.

— О чем ты, например, сейчас?

Если вдуматься, то единственный другой мужчина, приникавший губами к моей щелке, был белым. И тоже американцем. И… нет, думать об этом я не могу. Кстати, что-то вспугнуло чаек — как давно они улетели? До меня только сейчас дошло, что я разговаривала вслух. Они бы не улетели, если б… Пойду-ка проверю в гостиной.

— О! Привет, милашка.

— Ой! Чак, ты?

Он кивает с широкой улыбкой.

— Я и не знала, что ты здесь. Даже не слышала, как ты зашел.

— Неужели? А мне показалось, у тебя здесь

компания. Разувался, хотел зайти и присоединиться…

— Я одна.

— Правда? Говоришь сама с собой, как безумная чудачка?

— Так, мысли вслух.

— А-а-а. Обо мне?

— Поверить не могу, что ты зашел в дом, а я тебя не услышала.

— Это мой дом, милашка, и обставлять свой приход шумной сценой мне нет необходимости. Ну, зашел и зашел.

Ничего, Ким Кларк, не смертельно. Встряхнись.

— Я собиралась сготовить ужин.

— Прикольно, как говорят ямайцы: *сготовить* ужин вместо того, чтобы *сделать* ужин.

— В чем разница?

— Ну, скажем, можно просто сварить макароны, натереть сыр, и всё: ужин *сделан*.

— Ты хочешь макароны с сыром?

— А? Да нет. Что сготовишь, то и хорошо. Что ты там думаешь сварганить?

— Просто не верится, что ты вот так зашел.

— Тебя это беспокоит?.. Расслабься, крошка, нападать на тебя все равно никто не собирался.

Так что там на ужин?

— Аки.

— О боги!

— На этот раз с солониной.

— Это что значит?

— Такие толстые куски бекона.

— Бекон — это хорошо, это я ням-ням. Ну, иди занимайся, а я тут еще почитаю «Стар». Я его и читал. Ей-богу, он куда живей, чем этот «Дейли мейл», от которого мухи дохнут.

Надеюсь, он не станет пересказывать мне, что там написано в этой газете. С каждым днем мне все труднее уклоняться от его пересказа новостей. Это, конечно, мило с его стороны держать меня в курсе событий, но еще милей, когда он начинает читать мне с газеты все подряд. В прошлый вторник он вот так зашел ко мне на кухню и сказал: «Я уже прочел». Я-то думала, он это просто упомянул как факт, а он как давай сообщать — не уймешь. В самом деле, новости я терпеть не могу. В сущности, я даже не знаю, какой сегодня день недели. Клянусь, как только я о чем-то слышу или собираюсь услышать, сердце у меня начинает биться так отчаянно, что хочется одного: убежать к себе в спальню, закрыть лицо подушкой и завопить. Даже на рынке, стоит мне

услышать от лоточника: «А вы не слышали про мисс такую-то?», как я тут же прохожу мимо без остановки, ничего не покупая. Слышать ничего не желаю. Не нужны мне никакие долбаные новости. Неведение — манна небесная. Я знаю Чака — сейчас он войдет в дверь, а я тут же на сковороду бжик растительного масла и лука — пшшшш!! — и то, что он скажет, утонет в этом шуме. «*Что*, милый?!» — переспрошу я. Он повторит, а я ему снова — «что?!» — и брызну в масло водицы, так, чтобы от вспышки и шума он испугался и по возможности забыл, что хотел сказать. Хорошо бы, если б здесь до сих пор кружили чайки; он бы тогда помчался наружу, отгонять их, а я б могла задать один из тех тупых вопросов вроде: «А в Америке чайки есть?» Один из серии тех, на которые белые любят коротко кивать и отвечать с благодушной улыбкой. «А велосипеды у вас в стране есть? И они прямо так ездят по хайвэям? Вы там в Америке смотрите “Семейку монстров”? А “Чудо-Женщину”? А статуя Свободы, она сильно высокая? А у вас там шоссе с разделительными полосами или без?»

А ну-ка, ну-ка, Ким Кларк. Глубокий вдох. Чувствуй, как вливается прохлада. Ты счастлива.

— Забавная сегодня публикация в «Стар», — за-

ходя, сообщает он с порога.

— Милый, ты точно не хочешь переодеться в домашнее?

— Ты мне уже мама? — спрашивает он с улыбкой.

— А как там с чайками, ты их отогнал?

— Они опять тебя допекали?

— Не больше обычного. А у вас в Арканзасе какие чайки водятся?

— Такие же, о каких я тебе говорил три дня назад.

— Ой! У меня мозг как сито. Как только в него поступает информация, я ее тут же просеиваю.

— Напоминает больше прямую кишку, чем сито.

— Какая бездна эрудиции… Тебе чем-нибудь ответить?

— Обожаю, когда ты костеришь меня на ямайском.

— Ха-ха. Учти, если это масло вдруг брызнет тебе на костюм, я не виновата: предупреждение ты от меня получил. Бомбоклат.

— Не то слово.

— Передай сюда лук и продукты.

— Где они?

— Та корзинка на шкафу, у двери возле тебя…

осторожно, смотри под ноги, я пол только что помыла, скользко.

— Ничего, я шустрый малый.

— Ага, с детства.

— Ух ты, ну и скорость у тебя, как ты все насекаешь… Это все ямайские женщины так здорово готовят?

— Да. Все, которые путные. Так что ответ «нет»: в Монтего-Бэй ни одна из ямайских женщин готовить не умеет.

— Ты пытаешься склонить меня к тому, чтобы я перестал ходить в «Мантану»?

— Ха.

— Пупсик, вот послушай…

— Милый, я не смогу усвоить ничего из того, что написано в твоей газете. Даже силы не трать. Этот твой «Стар» — голимая стыдоба, скандал на скандале, а на третьей странице там белая девица кажет сиськи. Что ты сегодня утащил с работы?

— Ничего я не тащил. Кувшин, всего лишь кувшин, но зеленый, как изумруд.

— Ты бы лучше *мне* изумруд подарил.

— Ким…

— Я, понятное дело, родилась в ноябре и мне по знаку положен топаз, но раз уж ты сам начал насчет изумруда и…

— Ким, ну о чем ты вообще.

— Я знать ничего не желаю, Чак, что там пишут в твоей сраной «Стар».

— Что? Да я не о «Стар» совсем. Я об «Алькорп».

— Что об «Алькорп»?

— Нам сегодня пришло предписание. Компания сворачивает деятельность в более быстром режиме, чем предусматривалось изначально. В смысле, проектировалось.

— Ты хочешь зачитать мне предписание?

— Мы вылетаем на следующей неделе.

— О блин! Уау! Так это же здорово.

— Все так, блин, неожиданно…

— Да почему ж? Все хорошо: у нас уже и гараж почти что убран. А сколько еще нужно сделать! Хотя «глаза боятся, жопа делает» — ты так, кажется, говоришь? Что не упакуется, то просто оставляется, верно?

— Под словом «мы» я имею в виду компанию, Ким.

— Настоящих аки в Америке, понятное дело, не сыскать, так что наедайся впрок, пока я тут заканчиваю.

— «Мы» — это значит персонал и экипаж.

— Посыплю-ка я сюда побольше специй, так как это у нас считай что последняя вечеря — прости,

Господи, за то, что поминаю всуе!

— Мне нужно паковаться.

— Ну а как же? Ты сочтешь это забавным, но я как раз недавно посмотрела вон на ту никакущую лиловую «лягуху» в углу.

— Мое барахло, вся эта дрянь из офиса… Прямо не знаю, хватит ли подо все места.

— А я вот думаю упаковать джинсы. Вот прямо-таки сегодня подумала, не упаковать ли мне их. Брать полотенца и всякое там тряпье, понятное дело — это плебейство в стиле гетто. Но джинсы? Ты же знаешь, как я люблю свой «Халстон», или даже как ты любишь, как он сидит на мне.

— Столько придется оставить… Ужас.

— Да брось ты. Не хватало еще прихватывать с собой полотенца — просто верх жлобства. Мы же не в Мочо[142] летим. Это ж все равно что брать с собой зубную щетку. А я хочу в Америке чистить зубы свежей. Жлобство, одно слово.

— О, бог ты мой, Ким!..

— А зубная паста? У вас же там в Америке она гелевая, в больших тюбиках на всю семью, со спецкрышечками…

— Я не думал, что все сложится вот так.

---

[142] Примечания: 142

Мочо — населенный пункт на территории Ямайки, в районе Сент-Джеймс.

— У меня будет время сделать укладку волос? Под Рахтида, диджея, который все играет и играет Энди Гибба? Кажется, та песня поднялась в чартах до первого номера. Может, ты туда позвонишь и оставишь запрос?

— Ким!

— Ладно, ладно, могу и без укладки, но только в том, что у меня на самолете будет безумный вид, виноват будешь ты. Так что лучше замолви за меня словечко.

— Ладно, Ким, ладно.

— Пока меня не стопорнула таможня.

— Ким!

— Боже правый, ну ты игрок: обрушивать такое на женщину как снег на голову. Ладно хоть, никто не скажет, что мы сбежали, как любовники.

— Что мы…

— Простыни берем или оставляем?

— А?

— Толку от них никакого, честное слово.

— Они не…

— Ладно. Все белые, кроме египетского хлопка, оставляем. А вон ту берем, ты меня слышишь? И знаешь, давай-ка лучше твои причиндалы соберу я: вы, мужики, паковаться все равно не умеете.

— Это все ваш Мэнли виноват. Это он играется

со всем, мля, этим… этим…

— Тебе бы надо взять все твои габардиновые штаны, а вот карибское тряпье не надо. Не хватало еще, чтобы твои в Америке подумали, что их сын превратился в социалиста.

— И теперь…

— И вон ту голубую рубашку, когда мы будем ходить на танцы. Там, в Арканзасе, есть «Студия 54»?[143]

— Арканзас — нет. В Арканзас я не возвращаюсь.

— Уау. Ну ладно. Тогда хоть куда. Ха, я чуть было не сказала: «Главное, чтобы при этом я была с тобой» — и тут вспомнила, что ту же чертову реплику я слышала на той неделе в кино. А может, в «Далласе»… Ты не помнишь, может, в самом деле в «Далласе»? Памела Барнс вполне могла такое сморозить, с нее станется.

— Гребаный блин. Это все равно что экстренный вывод войск. Я сказал Джекмену: «Послушай, это же Монтего-Бэй, а не Сайгон. Мазафакер».

— Мне в мой ювелирный магазин сообщить? В смысле, я там еще не уволилась, а просто пере-

---

[143] Примечания: 143

«Студия 54» — культовый ночной клуб и всемирно известная дискотека, прославившаяся легендарными вечеринками; располагается в Нью-Йорке.

стала приходить.

— Они, видишь ли, заказали чартер.

— Да ну их на хер. Вот прямо ну их, и всё, если ты так скажешь. Я даже не бросила, а просто перестала, ты помнишь? Ты подумал, это будет так забавно…

— Заказали чартер, как для эвакуации по воздуху.

— Ну и ладно, чё мне к ним переться? Ну потолкаюсь я на борту со всеми другими женами, так и хэ бы с ними, правда? Мне нравится, как ты смягчаешь брань и говоришь «хэ бы с ними», хотя можно и резче.

— Ким…

— Столько сейчас дел предстоит. Просто не верится, как ты на меня все это обрушил. А они — на тебя.

— Ким…

— Ну и ладно, глаза боятся, а жо… Когда, кстати…

— КИМ!

— ЧТО?

— Милашка моя. То, чем мы тут с тобой занимались, было просто круто, но…

— Так.

— Я тебе вышлю кое-какие деньги, сколько тебе

нужно. Всё, что тебе нужно.

— Так.

— Можешь жить здесь сколько захочешь. Жилье все равно проплачено до конца года.

— Так.

— Я тут подумал… То есть в самом деле. Это правда было классно, в самом деле, но ты же реально не думала, что…

— Так.

— Ты ведь знала. В смысле, ты ведь знаешь, что я не могу… Милашка…

— В смысле, чтобы ты эвакуировался один? Да не вопрос. Просто оставь билет, чтобы я въехала в Америку с заднего входа, меня это не напрягает. Особо.

— Милашка, я не…

— Перестань «милашкать» и скажи все связно, черт тебя дери.

— Я говорил это все пять минут.

— Говорил *что*? О *чем*, Чак? Ну?

— Что ты не… Ты… Короче, ты со мной не едешь.

— С тобой я не еду.

— Да, не едешь. Ты, должно быть, об этом уже знала.

— Должно быть. Знала. Хорошо, я, должно быть,

знала. Хотя нет, скажу, как ты: «Я должно быть знаааааалааа…»

— Бог ты мой, Ким, — плита!

— Я, должно быть, знала.

— Ким!

Мужик проталкивается мимо и выключает плиту. Везде дым. Я вижу, как Чак стоит ко мне спиной, а дым клубится на запад и на восток. Кажется, что он идет у него и из ушей, как в мультике про Кролика Багза.

— Что тут смешного? Что тут такого смешного?

Ким, Ким, Ким, ты должна была это знать!..

— Перестань, блин, надо мной смеяться. Бог ты мой, Ким, я ведь даже не снимал кольца. Не понимаю даже, как ты могла подумать, с чего ты взяла, что… В смысле, ты же зависала в «Мантане», так? А всем известно, что это за место — «Мантана». Всем. И я ведь даже ни разу кольца не снял… Тьфу ты, блин, ты только посмотри, весь ужин теперь загублен.

— Ужин загублен.

— Да и ладно.

— Ужин загублен?

— Да и ладно.

Кольцо, кольцо. Гребаное колечко, как бесплат-

ная игрушка в пачке «Крекер Джека»[144].

— Милашка, ты ведь знаешь, как я к тебе прекрасно отношусь.

— Как ее звать, твою белую жену?

— А?

— Белую жену — женщину, которую ты обманываешь, заведя «трах-трах» на стороне.

— Она не белая.

— Мне нужна сигарета.

— Ты ж не куришь.

— Я хочу сигарету.

— Пупсик…

— Повторяю: мне нужна гребаная сигарета, так что дай мне, бомбоклат, сигарету!

— Ладно, ладно, пупсик…

— Не смей меня, бомбоклат, так называть. Никогда не зови меня этим пиздёвочным именем.

— Извини, вот твоя сиг…

— Мне ее что, трением об жопу зажигать?

— Вот зажигалка. Отцова, между прочим.

— Я похожа на ту, что пиздит зажигалки?

— Ким, извини, я так виноват…

— Все виноваты. Все до одного, блин, ах как виноваты. Знаешь что? Я устала от того, что все

---

[144] Примечания: 144

«Крекер Джек» — товарный знак попкорна в карамели.

виноваты. И лучше б ты себя виноватым не чувствовал. Лучше б сказал, что виноватым себя не чувствуешь, а я идиотка. Что мы играли в кукольный домик, потому что это мило, а теперь тебе пора обратно к твоей белой американской жене.

— Она не белая.

— Мне нужно лечь.

— Конечно, милая, конечно, не торопись, не спеши, не…

— Перестань со мной ворковать, как сраный врач. Бедный Чак, он не думал, что все так закончится, да? Сколько раз ты все это репетировал — два, три? По дороге сюда? Я заслуживаю по крайней мере четырех репетиций.

— Ким…

— Перестань меня звать этим именем. Лучше сейчас просто поручкаться и сказать «приятно было поработать».

— Послушай, нет такого…

— Ты предпочитаешь выписать чек и оставить его на тумбочке?

— Проституткой я не назвал тебя ни разу.

— Конечно, ты ведь так хорошо ко мне относился. Белая, бомбоклат, срань.

— Дело не в белом и не в черном. А моя жена…

— Так тебя полюбила. Мы тебя оба так полюби-

ли, наш дорогой, так полюбили…

— Она черней тебя.

— Так что это было, соревнование черных пёзд?

— Ким…

— Заткнись! Не надо мне тут рассказывать, что, да как, да почему.

— Что? Я тебя перестаю понимать.

— Просто отвези меня в загранку.

— Что?

— Отвези меня в загранку.

— Что ты такое говоришь?

— В загранку, говорю, отвези, и ну их в жопу! И оставь на ближайшей остановке.

— Ким, эти слова лишены смысла.

— Мне просто надо уехать. Свалить к херам, и все тут. Я *так* готова уехать. Ну пожалуйста, Чак! Я всё за это сделаю. Я так готова уехать… Так, блин, готова, *так* готова…

— Уехать куда? Я не понимаю, что ты говоришь, Ким. И отпусти мою рубашку, какого черта? Что на тебя такое нашло? Ким, Ким, отпустись. Ким. От-пус-тись. Да бли-ин!

— Ыыы…

— Ой, извини. Извини. Я… видишь, на что ты меня вынудила. Ким, это твоя…

— Заткнись, пожалуйста. Просто заткнись.

— Но у тебя может пойти кровь. Позволь я…

— Не смей ко мне, чтоб тебя, прикасаться. Лучше дай мне ту чертову газету.

— Но ведь ты никогда не читаешь «Стар», ненавидишь новости…

— Перестань говорить так, будто меня знаешь. Ты меня не знаешь, понял? Не знаешь. А мне хочется блевать. Посмотрите на этого полупапика, полубойфренда, полуёбаря. И вот от этого меня тянет разблеваться прямо на твой гребаный пол. Никакие аки не нужны. Дай мне ту газету, или я закричу.

— Милашка…

— Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, заткнись. Просто заткнись. А я пойду искать свою голову.

Я беру его газету, иду в спальню и хлопаю дверью. Кольцо у него, видите ли, на пальце. А то я того кольца никогда не видела. Видела-перевидела. Хотя нет, не видела. Не хотела видеть. Подлый сукин сын.

— Ты подлый сукин сын!

Успокойся, Ким Кларк. Остынь. Ты даже не смогла выкрикнуть это вслух, потому что у тебя нет на то причины. Вспомни, как и зачем

Бог привел тебя в этот дом. Вспомни, зачем Бог привел тебя в эту комнату и вывел обратно, и ты любила его волосы. Скажи ему, что ты не напрашиваешься быть его женой, а можешь быть просто женщиной, которая нравится. Он хочет дистанции? Ты ямайская женщина и знаешь, как дать ему дистанцию. Пойди к нему и скажи: «Да, милый, я понимаю. У тебя здесь свой мир и там свой мир, но эти два мира не могут смешиваться, так уж получается. Но посмотри на нас, взгляни на нас — мы делаем так, чтобы оба эти мира исправно вращались, и мы даже не живем в стране, сравнимой по размеру с твоей. Мистер Крутняк имеет жену на холмах и женщину в клубах. Жена никогда не спустится вниз, а женщина никогда не взойдет наверх, поэтому мужчина сохраняет равновесие. Я могу тебе показать. И мне не нужно прилетать ни на каком самолете “Алькорпа”. Не нужно жить в Арканзасе. Я понимаю, что не должна ставить там дом. Мы не должны…» Послушай, заткнись-ка ты, женщина. Насчет того, что ты можешь приспособиться. Это не делает тебя женщиной, это делает тебя бактерией. Мужчина будет тебя только презирать. Вор у вора украл, Бога насмешил. Можно подумать, что ты не хотела поставить кукольный домик в Арканзасе.

Ты просто ищешь пути. Нуждаешься в свете. Тебе нужны закорки, на которые можно взобраться и спрыгнуть, и все в этом помещении это теперь знают. Иди туда и люби его волосы. У тебя уже есть паспорт и виза. Но с ним я бы имела… Что? Девонька, тебе нужно отпить по максимуму из этого кипящего чайника, пока еще есть время. Ты думаешь, что ты в безопасности, но глянь себе под платье, и ты увидишь круги, как на мишени, которые все ведут к одному «яблочку». Ты думаешь, у тебя и на лбу той печати уже не стоит? Думаешь, на тебя все еще не поглядывают? Как бы не так. А вот я пойду и буду любить его волосы. Сегодня ночь, когда я должна была любить его волосы. Но ты сгубила аки. Знаешь ведь, как он их обожает, а сама взяла и испортила. Может, тебе нужно отправиться в дансинг, сказать ему, что это напоследок перед его отъездом… Мы идем. Ты собиралась приземлиться на возлюбленной Богом земле с этим мужчиной, набраться американского сока и цвета.

Знаешь что?

Заткнись.

Просто заткнись, и всё.

Ты похожа на двух черных американских придурков в комедийном телешоу: «Заткнись — сам

заткнись».

Черт, я ведь даже не курю.

— Ким, ты там в порядке?

— Не входи сюда.

— Ты налепила на щеку пластырь?

— Не входи сюда.

Надо было знать, что он за птица, ведь каждая женщина в «Мантане» отрабатывает все сцены до автоматизма, как только посетители заносят ногу через порог. Каждая, кроме меня. Я не могу припомнить в том клубе никакого другого мужчины. То есть их самих вспомнить могу, а вот их пальцы — нет. Бедная Ким Кларк, к той поре, как ты добралась до «Мантаны», ты была уже ослеплена своей целью. Бедняга Ким Кларк, наставить тебя папы с мамой уже не было: когда мужчина и женщина подходят к перекрестку, где у них разнонаправленные цели, и ты даешь мужчине свободу действий, то он обвивает тебя всю как есть словно коконом. Бедняжка Ким Кларк. Ты же знала, что «Алькорп» закрывает лавочку и намеревается отваливать, еще до встречи с Чаком. «Алькорп» собирался отваливать, а ты зачем-то наметила курс. На кого-то. Хоть кого. Как заставить мужчину любить тебя сильнее? Неужели у каждого мужика в «Мантане» обручальное коль-

цо или ободок от него на безымянном пальце? Возьми мысли в руки, Ким. Или думай ногами.

— Ким.

— Я в порядке. Просто не входи сюда.

— Ну ладно.

Замри. Замри и умиротворись. Клянусь, вот сейчас воскресная школа сможет принести кое-какую пользу. Нет, о Боге ты сейчас рассуждать не будешь. Может, почитать наконец-то «Стар»? Как-никак «народная газета». Не знаю, зачем Чак читает ее каждый день — лишний раз напомнить себе, как тупы ямайцы? И все-таки я в курсе о том, что произошло в Литл-Рок. Эта тупая девчонка все-таки слушала на уроках истории, когда речь шла о гражданских правах и Мартине Лютере Кинге.

Нелегкий третий путь: любовный треугольник телохранителей, домашней охраны и нацгвардии. По данным «Стар»… Близнецы на титул Мисс Ямайки… Наша (стр. 3) миловидная Памела… эта соблазнительная полногрудая красотка готовится стать стюардессой и чтит длинную руку закона… Дефицит муки на прилавках Ганновера. По данным «Стар», владельцы лавок основательно «повязаны» с инсектицидом «Бэйгон» и настаивают, чтобы с каждыми двумя фунтами

муки покупатель брал в нагрузку один баллончик этого спрея… На кладбище «Мэй Пен» работница была атакована мумией. Юлали Легистер занималась своими делами, когда… Коммунистическая угроза возвращается через Сент-Мэри? Кому что по заслугам: выбывания и награждение конкурсанток «Мисс Ямайка-79». Шелли Самуда — Мисс Марзука, Арлин Сангинетти — Мисс Рысь, Жаклин Парчмент — Мисс Безопасность, Бриджит Палмер — Мисс Супермаркет, Ким-Мари Берджесс — Мисс Аммарс, Стэйси Барракат — Мисс УДР[145]»… Конкурс красоты — полный отстой. «Домашнее насилие вылилось в преднамеренное ранение. Правосудие: сегодня Патрик Шилдс вынес судебное решение… Перестрелка в Джонстауне — четверо убитых… 20 апреля, Гороскоп ко дню вашего рождения: вы Овен, но уже на пороге Тельца, и вас будут вести ваши чувства…» И это ты игнорировала считай что два года? Перелистываем страницу.

«ОТ КОНЦЕРТА ДО КОММУНАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА — ГОД СПУСТЯ»

«…назад из четырнадцатимесячной ссылки после покушения на его жизнь 3 декабря 1976 г.

---

[145] Примечания: 145
Управление дорожных работ.

Концерт открыл Его королевское высочество кронпринц Эфиопии Асафа Уозен… «Это были плоды двух лет кропотливого труда», — заявил политический активист ЛПЯ Рэймонд “Папа Ло” Кларк. «Слишком много войны и насилия на улицах, время объединиться. Поступления от концерта пойдут на всевозможные проекты бытового обустройства, прежде всего на достойное оборудование канализации и новое помещение клиники Западного Кингстона», — сказал старший активист от ННП Роланд “Шотта Шериф” Палмер. В центре усилий была суперзвезда регги, прилетевшая домой на остров после почти двухгодичного отсутствия».

Хватит, Ким Кларк. Отложи эту дрянь.

«С начала этого года произошло три сотни убийств, которые, по негласным сведениям, можно назвать политически ангажированными».

Ким Кларк, перестань читать.

«Фото на развороте: рукопожатие политических активистов над средствами, собранными от концерта».

Не смотри, Ким Кларк. Лучше отвернись.

«Слева направо: министр молодежи и спорта Ямайки, политактивист ЛПЯ Рэймонд “Папа Ло” Кларк, политактивист ННП Роланд “Шотта

Шериф" Палмер».

Ким Кларк, прекрати смотреть, прекрати читать, прекрати рыскать.

Не смотри: вот Папа Ло — белый верх, черный низ; грудные мышцы выпирают, как бабьи титьки. Отвернись: Шотта Шериф в штанах хаки, как у студента или солдата. Снимок черно-белый, но ты знаешь, что это хаки. Не рыскай глазами с лица на лицо, на лица, что смотрят в объектив, и те, что отворачиваются, и те, что смотрят вдаль. Чертово фото. Рядом с Папой Ло стоит женщина. За женщиной — еще один мужчина в темных очках. Личность знакомая, не так ли? Он от тебя не прячется, это ты прячешься от него. Да закрой же газету, Ким Кларк. Вот он сзади — без улыбки, не смотрит и не соглашается ни на какое, бомбоклат, замирение. Ему нужно не замирение, ему нужна ты. Два года в бегах, а он в поисках тебя. И отыщет. Ты дура. Он тебя найдет.

— Ким, что там происходит?

Ким?

Ким?

Два года бега по прямой, которая в итоге превращается в круг. Ты подходишь к воротам. Теперь тебя ничто не остановит. Никто тебя не подталкивает, но ты все равно подходишь к воротам,

потому как что еще остается, кроме как двигаться вперед? Подходишь и гладишь себе живот, как беременная. Не обращая внимания на треск хлопушек, хотя до Рождества еще шагать да шагать, а значит, и до хлопушек тоже. Видишь, как навстречу тебе выскакивает какой-то темнокожий — девятый час, за окнами уже темень, — замираешь как вкопанная и не можешь пошевелиться. Он пялится на тебя, раздевает и прощупывает взглядом. Сзади какие-то вопли, возня, а откуда-то по шоссе близится вой полицейских сирен, а в лицо тебе уставлен ствол пистолета.

Ударившись бежать, ты уже не останавливалась. Собрала лиловый чемодан и бежала от 3 декабря 1976 года — Бог да проклянет тот созданный им день и все, что в нем было ужасного. Ты думала, что сбежишь в Америку, но мужик твой уже все просчитал сверху донизу, до последнего чека по съему жилья, и скоро он сделает от тебя ноги. А вот *этот* человек, человек на фото, — нет. Он подошел, приблизился к тебе с угла этой вот газеты. У него есть имя — не читай его.

Глупая женщина. Никуда ты не сбежала. Никуда не скрылась от 3 декабря 1976 года, а, наоборот, ворвалась в самую его бучу. Так и не узнав, что завтра было 4 декабря, а сегодня 20 апреля; ты

знаешь только 3 декабря. Этот день никогда не прервется, пока прервать его не явится *он*. «День 3 декабря для тебя близится, — говорит это фото. — У нас еще остались неоконченные дела». Монтего-Бэй остановить этого не смог, не сможет и Америка. «*Я иду к тебе, Нин*». Не смей звать ее этим именем, не смей *никогда*! Это мертвое имя мертвой женщины из мертвого города. Беги, беги, потому что она умерла. А теперь зажги сигарету его зажигалкой, которую он ждет обратно, но не отдавай, пока он не попросит. Прикури сигарету и затянись. Вот так, а теперь еще раз. Затягивайся глубоко, пока сердце не умерит свой стук так, что можно будет не торопясь считать в груди его удары. Вот так. А теперь возьми сигарету и прожги ему голову. Ткни так, чтоб прожгло до задней страницы; жги, пока не вспыхнет яркий, бойкий язычок огня, и тогда брось эту газету на кровать.

— Ким! Что там, черт возьми, происходит?

Прожги себе путь сквозь стук того белого за дверью, через его крики, вопли, баханье и наконец вышибание неподатливой двери. А сама не трогайся с места. Вон как весело потрескивают подушки, пошипывают шелковые простыни, посмеиваются полиэстеровые шторы; смотри, как буйно, словно из-под вздувшейся юбки, вы-

рывается пламя и обнажается визжащее окно…

Прожги себе благополучный путь к исходу. Единственный путь вперед — это насквозь.

Барри Дифлорио

Только что в Иране состоялся взрыв дерьма. Рвануло вообще-то еще в январе, но последствия доходят до нас только сейчас. Дерьмо подрывается по всему миру. «Хаос и разброд, разброд и хаос», — повторяю я из раза в раз, как будто они друг с другом чем-то связаны: Содом и Гоморра, Гоморра и Содом. Все эти семейные снимки путешествуют в моем саквояже — не в кейсе; из кейса эту папку нужно вынимать и отдавать Сэлли на уничтожение, но можно сначала сделать несколько снимков? Бог ты мой — мне кажется, я подцепил что-то вроде лихорадки Никсона. С таким жаром внушаю людям, что жизнь, язви ее, не бондиана, что временами упускаю из виду: как бы не так. Именно бондиана, да еще какая. Чего мне временами реально хочется, так это сесть в кресло, снять туфли и носки и пораскинуть, где дерьмо рванет в следующий раз. Тем временем оно, но только совсем иного рода, рвануло, на хрен, в Югославии. А парня из НАТО оно застигло врасплох. Глава, блин, ЦРУ, а вот не знал. Даже не догадывался.

Линдон Вольфсбрикер. Имя, над которым би-

тый час ломает голову поколение родителей: что это за фигура такая и что ей на посту предшествовало? Вольфсбрикер. В самом деле, звучит как стереотип, который тянет озаглавить фетишистом наци. А между тем Вольфсбрикер — это посол США в Югославии. Не спрашивайте меня, как он заполучил этот пост, но посольская должность как таковая всегда некоторым образом проходит по линии Конторы. Как бы изнутри. Согласно директиве особого отдела, разосланной резидентам по всему миру, все крупные операции держатся в секрете от любых послов. Первой моей мыслью было: нате вам. В смысле, это действительно разумно. Ведь кое-кто из послов получает назначение только из-за того, что ему благоволит президент, а хорошее назначение на хорошее место, где ты можешь сделать себе имя — скажем, Кипр, — со временем может поднять тебя и до сенатора, губернатора или даже вице-президента. Кто-то, наоборот, получает назначение потому, что президент этого гада ненавидит всеми фибрами, а потому что может быть благоразумней, чем убрать негодяя с дороги и упечь его, скажем, в Советский Союз или вообще на край света, в какую-нибудь Папуа — Новую Гвинею? По-любому, амбициозный остолоп, озабоченный

собственным возвеличиванием и карьерным ростом, не должен быть осведомлен вообще ни о чем, потому что более всего и прежде он — это заноза в заднице, и довольно крупная. Вот вам готовый портрет Вольфсбрикера — говнюка, погрязшего в телефонных разборках с адмиралом Танни насчет того, что от него-де удерживают информацию, в нарушение, между прочим, президентского указа семнадцатилетней давности. И вот Вольфсбрикер шлет адмиралу послание, что ЦРУ в Югославии объявляется не у дел вплоть до отмены этой директивы. И заявляет он это со всей серьезностью: никто не занимает ответственных должностей и не руководит никаким бизнесом ни в Белграде, ни вообще по Югославии. Господин посол, вы там, часом, не охренели?

Еще хуже то, что он распекал директора за вещи, в которых сам ни уха ни рыла. Я слышал, адмирал так рассвирепел, что расплескал себе по штанам горячий чай с лимоном. Пошли звонки по всему свету с дознаниями, кто что знает о директиве и от кого она вообще исходит. Разумеется, когда позвонили мне, я сказал, что в Конторе налицо передел сфер влияния между мистером Бушем и адмиралом Танни, а я просто выполняю приказы. Чьи? Нет, не Особого отдела,

если вас интересует именно это. Я не творю политику, я обеспечиваю ее проведение. Забавно: в тот момент я был уверен, что продвижения по служебной лестнице мне не видать, а сама служба будет складываться так, что жена на нее будет лютовать куда больше, чем я сам. Но надо же, к семьдесят девятому году Ямайка отрадно изменилась, и теперь она уже не отхожее место, которым была. Во всяком случае, на сегодня. На следующей неделе мы летим в Аргентину, и Клэр впервые за годы выглядит счастливой. «Ну что, нам теперь налегать на испанский?» — говорит мой малыш, и только тут я вспоминаю, что мы три года не были в испаноязычной стране. Судя по числу звонков, которые она сделала в этом месяце исключительно на испанском языке, она, похоже, рассылает предупреждение всем своим стервозам-подругам, что орел скоро приземлится. Забавно, в какой растерянности пребывают те, кто злопыхал, перешептываясь о неприязни Клэр к этой стране и желании вновь оказаться в Вермонте: теперь ей насчет Вермонта как будто память отрезало. Интересно, понадобится ли моему преемнику это пресс-папье. Бог его знает, оно мне как бы и не нужно, но… почему бы и не взять. Я сегодня такой рассеянный. Черт возьми, о

чем я таком думал?.. А, Вольфсбрикер. Югославия. Адмирал в приступе гнева. А что, Контора ведь действительно действовала в обход закона.

А вот эта точилка сгодилась бы моему сыну. От одной точилки гребаный офис не обеднеет, а если и да, то кому какое дело? Можно подумать, кто-то на Ямайке ведет учетные ведомости. Самое пофигистское на свете место, в котором я… Нет, неправда: Эквадор был гораздо, гораздо хуже. Меня определенно разбирает злость, хотя не могу взять в толк почему. Может, потому, что мы возвращаемся в эту долбаную Аргентину. Не скажу, что она мне настолько уж поперек души; напротив, даже приятно будет посидеть в уличном кафе, поглядывая для разнообразия на знойных аргентинок. Да, такая вот страна. Блин. Я не собираюсь быть десятитысячным белым, запавшим на эту страну. Я на нее ни в коем случае не западаю. Или если я хочу это сделать, то мне нужно по меньшей мере забить на все и курить «траву» на Трежер-Бич вместе со всеми конченными хиппи. На Ямайке сейчас безмятежный вечер — на данный момент единственное место в мире, где относительно спокойно. Потому что Иран… Боже правый, подумать только: нас когда-то направляли туда. Или взять этого президента, что курам на

смех[146]. Луис рассказывал, что уже вскоре после того, как он въехал на своей ковбойской заднице в офис, то учинил Конторе форменный разгром, а нас назвал национальным позором, что, впрочем, не помешало ему завалить нас кучей разнарядок еще большей, чем при Форде, и почти такой же, как при Никсоне. Сам он, разумеется, смотрел на это по-иному. Перманентный приступ совести, не иначе. Кто его знает? Этот парень печется о каких-то там чернокожих за границей, в то время как в своей собственной стране он для родных ниггеров ночлежек построить не может. Или давайте подорвем апартеид — не иначе как ради красных башмаков с чечеточными каблуками. А с какими, позвольте, целями вы думаете его подрывать? Вот уже годы как АНК[147] спонсируется Советами, потому как при прочих равных и при всей своей говнистости в социальном плане коммунизм по прогрессивности превосходит нас. Он хочет сделать апартеиду летальную инъекцию и избавить Родезию от этого нацистского выродка

[146] Примечания: 146

Речь идет о президенте США Дж. Картере.

[147] Примечания: 147

АНК — Африканский национальный конгресс, старейшая политическая организация чернокожего населения ЮАР.

Яна Смита[148].

Я знаю двоих из тех парней, что были внедрены в БГБ[149], и их обоих ухватила за задницы тайная полиция Родезии. Надо иметь ну просто какой-то иной, новый уровень некомпетентности, чтобы попасться в неуклюжие лапы африканских спецслужб. Короче, трое из наших попали к тем долболобам, а четвертого слило само БГБ. Представляю, как гордились собой те африканеры — небось ходили, индюками вздуваясь от спеси. Нам вообще не надо было соваться в ту гребаную Африку: пускай бы она оставалась гребаным англичанам, вшивым бельгийцам и чертовым португалам, все еще помешанным на колониализме, как и триста лет назад… Бог ты мой, Барри, если б кто-нибудь сейчас тебя слышал, то решил бы, что ты становишься либерастом. Спасибо Луису как минимум за то, что заставил меня очнуться и увидеть, что на самом деле творится вокруг. Или, может, то был Уильям Адлер…

Сэлли подумывает, может, ее тоже перераспре-

---

[148] Примечания: 148

Ян Смит — премьер-министр британского доминиона Южная Родезия с апреля 1964 г. по ноябрь 1965 г., затем — премьер независимой Родезии.

[149] Примечания: 149

БГБ — Бюро государственной безопасности ЮАР.

делят. Моя секретарша, как бы это сказать, слегка на меня запала. Это очень приятно сознавать. Жена обучает испанскому Айдена. Что до Тимоти, то он уже не помнит из него ни единого слова. Узнав, что мы уезжаем, он прямо-таки рассвирепел. «Эдиоцкие какие-то дела!» — вякнул он и брякнул о стол вилку. К тревожным симптомам можно причислить то, что он отказывается есть американскую еду, а требует только крабов, бататы, отварную свинину и плоды хлебного дерева. Пришлось напомнить мелкому ублюдку, кто в доме старший. Бедняга, он думает, что я не знаю о его маленькой ямайской подружке. Черт возьми, да я смекнул об этом сразу, как только он сказал Айдену, что его Бэтмен с Суперменом — «эдиоцкие шняги»; заметьте, это они-то, его любимые игрушки, с которыми он не расставался! Чертов соплезвон полагает, что ему известна суть любви. А между тем любовь — это переход на оседлый образ жизни, только и всего. Постепенное выпадение в осадок.

Луиса Джонсона, моего младшего *compadre*[150] по семьдесят шестому году, командировали обратно в Центральную Америку — видимо, «Школе

---

[150] Примечания: 150
Приятель (*исп.*).

Америк» на этот год понадобилась рука помощи. Кому-то ведь нужно строить армию, способную давать отпор социализму, коммунизму и прочим «измам», норовящим прибиться к нашим берегам. Забавно: мы никогда не питали друг к другу симпатии; более того, я не переваривaю этого подонка, который нещадно лупит свою жену, а теперь вот все время мне названивает. Вшивая сентиментальность насчет того, что ему нужно хоть иногда слышать несколько фраз на английском. Я мог бы ему сказать: «Вот не дубасил бы свою жену, как грушу, так было б с кем разговаривать», но это, согласитесь, как-то по́шло. Говорим мы и об особом отделе, в который он входит, а я — нет, и где теперь все реально шиворот-навыворот. Луис считает, что дело здесь в адмирале Танни — человеке, который и в лучшие-то времена имел довольно поверхностное представление о том, как устроена Контора. «Танни — канцелярская крыса», — говорил я ему. Просто просиживающий штаны и время бумагомарака. Опять же, кто испытывает доверие к человеку, предпочитающему водичку с лаймом виски или хотя бы кофе? Каков может быть его следующий шаг — пи́сать сидя? Нет уж. Это все Никсон, именно он виновен в развале ЦРУ. Начать с того, что Конторе он

никогда не доверял. Вместе с тем остается лишь восхищаться простоте его мировоззрения: мир населен людьми, которые или с ним, или против него. Черт возьми, я этого парня даже ни разу не встречал.

Между тем проблема у этого мутного типа в следующем. Согласитесь, как-то нелогично — доведя дело до конца и выстроив систему гребаной слежки, жаловаться затем на утечки. Это означает, что слежкой занято столько народа, что уже не поддается учету, кто следит за кем. А что еще хуже, ответственные участки этой работы поручаются олухам, просравшим Залив Свиней, — уж их-то уровень компетентности нам известен. Взять того же Луиса: он многое знает и принципиально отказывается держать что-либо в секрете. Так, секретарь оборонного ведомства стучит на Киссинджера; во всяком случае, я про это слышал. Сложно поверить, что Киссинджер об этом не в курсе. Прослушиваются Белый дом и Кэмп-Дэвид[151]. Сам Киссинджер наушничает за своими помощниками, а люди вроде меня, казалось бы, должны эти утечки пресекать, но те происходят снова и снова. Проблема в том, что в цепочку

[151] Примечания: 151

Кэмп-Дэвид — загородная резиденция президента США, находится в 100 километрах к северо-западу от Вашингтона.

понатыканы люди, которых мы с Луисом знаем слишком уж хорошо. Об этом мне по телефону, поминутно фыркая от смеха, говорил сам Луис. Взять, скажем, Чипа Ханта. «*Дерьмо лошадиное, Дифлорио, вот наглядный пример бестолочи, в сравнении с которой даже недотепа смотрится гением. Такая вот бестолковщина. Бог ты мой, и как он только этого добивается? Один человек единолично валит весь Уругвай. Ты как думаешь, Хитрец Дики*[152] *ангажирует его оттого, что он почитывает шпионские романчики Чипа?*» Но это, пожалуй, все, что он написал; к тому же это события восьмилетней давности, когда посеянные Никсоном всходы дали ему самому такой пинок под зад, что он не удержался у руля, а слетая, прихватил с собой без малого всех.

Забавно: когда мне в семьдесят шестом году позвонил Билл Адлер, я обвинил его в смерти Ричарда Уэлча, которого убили в Греции. Попёр на него, что он, дескать, выдал имена людей из Конторы и тем самым подверг их жизни опасности, но все это была чушь собачья. Он знал это, и я это знал, но просто должен был так сказать. Хотя на самом деле в смерти Ричарда Уэлча виноват

---

[152] Примечания: 152

Хитрец Дики — ироничное прозвище президента США Р. Никсона.

Никсон, велев нам разжечь костерок в Греции, из-за которого полыхнула война между греками и турками за Кипр. А дальше еще хуже: все это дерьмо растеклось. Ну, а затем, как всем известно, Ричард Уэлч погиб вместе со своей беднягой женой. Одни трупы. Боже ты мой, вот так лишиться резидентуры… Но сволочуга Никсон не успокоился и на этом: стоило откинуться Гуверу, как он взялся разваливать еще и ФБР. Впрочем, кому до этого есть дело сейчас, в семьдесят девятом году? Я это подумал или сказал вслух? Сейчас здесь нет никого, а вокруг безмятежный кингстонский вечер. Пора бы подаваться к дому. Клэр то суетится насчет переезда, то названивает своим знакомцам в Буэнос-Айрес (как будто они ей на самом деле друзья) и спрашивает, как там американская школа — не загнулась еще к чертям собачьим? Тем временем я прибрасываю, кого все еще знаю в Аргентине и с кем действительно хотел бы пообщаться. Эх, если б еще можно было вернуться в те времена попроще, когда встречаешь тех, кто туда внедрен, убеждаешься, что у президента не замараны руки, раздаешь инструкции, суешь кому надо наличность и обещаешь этим ублюдкам с липкими пальцами, что я, разумеется, отслежу закупку кое-каких новых игрушек. Ну, а для тех,

кто особо отличится, мы даже сумеем организовать веселые посиделки в Форт-Брэгге[153].

Вспоминать о тех днях, когда дела действительно делались, это, скажу я вам, большое испытание для чувств. Помню тот день в Аргентине, когда я услышал от агента из Ла-Паса, что мы наконец схватили Че. Даже не знаю, почему мне вдруг подумалось о Че Геваре. Я ведь думал об Аргентине и о том, как сильно все изменилось с шестьдесят седьмого года. То, как общается по телефону Клэр, наводит на мысль, что она просто соскальзывает обратно в то местечко, которое для нее во время ее отсутствия согревали друзья. Такова моя жена — извечно полагает, что все осталось в том же виде, как на момент ее отъезда. Я думаю, она счастлива, что убирается с Ямайки прочь. Когда она сказала мне, что у них с Нелли Матар вышла размолвка, то здорово вскинулась, когда я сказал «ну наконец-то». Все эти сирийцы на Ямайке — конченые лицемеры, да еще такие вульгарные. В смысле, я знаю, что они лавочники, но китайцы хотя бы не такие.

— Я просто спросила, является ли магазин ме-

[153] Примечания: 153

Речь идет о крупном гарнизоне сухопутных войск США в Форт-Брэгге, шт. Северная Каролина, на территории которой находятся основные органы Управления войск специального назначения США.

лочовки в даунтауне их семейным детищем. А она отчего-то на меня так ополчилась, так окрысилась…

— С чего бы? Ума не приложу.

— Ой, прошу тебя, Барри. Человек, он или лавочник, или сноб. Быть одновременно и тем и другим невозможно. Кроме того, если б мне пришлось повторять, что шляпка, которую она носит, годна только для выхода на скачки, я бы вместо слов просто сорвала ту корзинку у нее с головы.

Узнаю́ свою женушку: всегда думает о других. Я при ней лишь учетчик, нацеленный на увеличение КПД. Поэтому-то некоторые чудаки полагают, что могут сливать на меня дерьмо. Никому из тех, кто охотится за ключевой информацией, не придет в голову спросить Барри Дифлорио. И вот еще чего моя благоверная, похоже, не знает. Что Аргентина по-прежнему находится в зоне турбулентности этого самого дерьма.

У древних египтян смутьянов и подстрекателей раздевали догола, ставили на четвереньки и поливали сучьей течкой, а затем спускали на них кобелей, которые принимали их за сук и трахали без удержу в зад. Ну, а с иранским шахом вышло еще хуже. И в четвертый день февраля говно угодило в вентилятор. Мне позвонил

Роджер Теру. Билл Адлер был в лучшем случае посредственным агентишкой, а вот Роджер был истинным асом, может быть, лучшим из того, что имелось у Америки. Один мой знакомый в Вашингтоне, знавший Роджера и меня, спросил, желаю ли я посмотреть его доклад об Иране. Теру сообщил нечто в корне отличное от того, что Контора докладывала президенту Картеру. Он был непосредственно там, в самой гуще событий, и сказал, что все это напоминало Кубу пятьдесят девятого года, только хуже, потому что все было завязано на религии. Мне понятно, почему такой доклад показался Картеру, да и не только ему, полной бессмыслицей. Религия? Да помилуйте, о чем вы. Революция — это воинствующие либералы, хиппи, коммунисты, всякая лабуда типа Баадера-Майнхофа[154], а вы о религии в качестве движущего фактора? Да побойтесь Бога, на дворе семьдесят девятый, язви его, год. Половина тех саудовских и иранских ребятишек жила и училась в Париже, носила джинсы в обтяжку и трахалась в задницу покруче среднестатистического гома из США — как тут могла поднять голову религия?

[154] Примечания: 154

Феномен Баадера-Майнхофа — искажение мышления, состоящее в том, что человек по получении некой новой информации делает ложный вывод о том, что она начинает проявляться повсюду.

И тут Роджер Теру оказался похищен. Обошлись с ним, прямо скажем, сурово. С ходу обвинили в принадлежности к ЦРУ, устроили рамочный процесс, осудили и приговорили к смертной казни недели через три. Хвала, видимо, Богу или Аллаху, что Роджер знал назубок Коран. Когда мне в конце концов удалось с ним поговорить, он рассказал: «Барри, я затребовал встречи с их гребаным муллой. Когда тот мазафакер наконец явился — а сделал он это, поверь, не сразу, — я сказал: послушай, можешь прочитать свою священную книгу справа налево и слева направо и сделать это повторно, но нет в ней нигде ни слова о правомерности таких деяний. А поступая таким образом, ты тем самым идешь против воли Аллаха и его пророка». И Роджера отпустили. Но и при всем при этом два дня назад Вашингтон изумленно возвел брови. Оно и было от чего: как нечто может быть столь неожиданным и неизбежным одновременно?

Не думаю, что Клэр что-нибудь читала насчет Аргентины. Наверное, лучше всего эту тему пока оставить, тем более что есть уверенность: ее друзей происходящие события особо не затронули. Будет ли она хотя бы скучать по нашему здешнему дому? Безусловно, Клэр многое в него вложила,

но такой уж у нее характер. Даже останавливаясь на пару дней в отеле, она что-нибудь в нем переделывает, обустраивает под себя. Я пытаюсь определить, о чем же, кроме цыпленка джерк, буду скучать я. Драть твою лети, Барри Дифлорио, прошло каких-нибудь три года, а ты уже звучишь так лирично, будто посещал этот заповедный остров не иначе как на «Лодке любви»[155]. Может, мне ей сказать? Что ни один из поэтов, которых она в свое время приглашала на ужин начиная с 1977 года, не на слуху. То же самое и танцовщица или тот белокурый гомосексуалист Умберто, которого она считала очаровательным комми. Перед моим внутренним взором он так и остается весь в белом, каким был до самого конца.

Когда в семьдесят восьмом году в многоэтажке Буэнос-Айреса шарахнула та бомба, я на секунду подумал, что это де лас Касас. Но он снова здесь, на Ямайке, вероятно с тем, чтобы довершить начатое в 1976-м (уж бог его знает, что это может быть). Мне известно, что трогать его нельзя. Хуже того, это знает и он. А меня никто не сменяет, хотя кто-то определенно сменяет Луиса. По мо-

[155] Примечания: 155

«Лодка любви» — длительный (1977–1986) американский телесериал о круизном лайнере, где в каждой серии с пассажирами происходят новые приключения.

им сведениям, несколько дней назад он даже должен был здесь приземлиться. Имя его мне неизвестно (не знаю, то ли это умысел Особого отдела, то ли недоработка агентства). Во всяком случае, кто-то полагает, что закрывать книгу под названием «Ямайка» пока преждевременно. С этой страной и этим народом наперед ничего не известно. Порой впечатление такое, будто речь идет о Филиппинах.

Я по-прежнему желаю знать, кто писал тот чертов доклад и кто его визировал или насколько мягкотел этот президент, если он безропотно сглатывает всю эту муть. *Не в революционной и даже не в предреволюционной ситуации…* Боже ты мой! И вот три дня назад повстанцы наконец смяли войска шаха, а все вылупились и молча смотрят. Все, кроме Роджера Теру. Я оглядываю офис, в который больше уже не вернусь, и подумываю, какую толику информации мне все-таки можно раскрыть жене. Умберто резанет ее по душе сильнее всего: она пытается прозвониться к нему уже не первую неделю, в уверенности, что они там съехали или же она неверно записала номер телефона. В какой-то момент она даже спросила, а не специально ли ей надиктовали неверный номер, и я не нашелся, что ответить.

Довольно странно то, что, когда она спрашивает о нем остальных своих знакомых, они дружно отмалчиваются. Как будто им в самом деле нечего сказать. Ни единому. Даже Фигейросы, которые живут всего тремя этажами ниже. Они если и не знают, что конкретно с ним стряслось, то, во всяком случае, должны быть в курсе, что что-то случилось.

Политику формируют политики. Об этом я раздумываю всю неделю. Об этом и о Билле Адлере. Два дня назад он снова мне звонил — по забавному стечению, он и Луис. Адлера, в частности, бередило негодование из-за того, что его наконец выпнули из Соединенного Королевства.

— Да брось ты, Билл, не дуйся. Каким бы мелким ни был хер у Америки, эти англичане даже через Атлантику дотянутся его пососать.

— Метко сказано. Я знал, что время против меня, но все-таки как-то надеялся, что ли…

— Плохая форма, даже для экс-агента.

— Не «экс», а уволенного.

— Что «томат», что «формат». Как там Сантьяго?

— Я слышал, летом там солнечно. В самом деле, Дифлорио. Бжезинский не счел бы этот разговор даже вполовину таким интересным, как Кис-

синджер.

— Может, и нет, но ты ведь слышал? Мы урезаем расходы везде, где только можно. Все, кто ждет, что с их телефонов снимут прослушку, в глухой заднице. Кстати, говоря об урезании расходов, как…

— Как та сломанная пластинка, которую ты все не можешь починить?

— Нервная на ощупь.

— Оно понятно: февраль, блин, на дворе. Если ты еще не обратил внимания. Все нервные.

— Чего ты хочешь, Адлер?

— Откуда у тебя мысли, что я чего-то хочу?

— Или ты, милый, позвонил потому, что тебе одиноко?

— Никогда не встречал в нашей профессии человека, который бы чувствовал себя иначе. Хотя, опять же, Дифлорио, ты ведь…

— Счетовод. Но знаешь, если мы хотим стать друзьями, то тебе в самом деле надо перестать звать меня…

— Счетоводом?

— Нет. Дифлорио.

— Не подольщайся, Дифлорио, тебе это не идет.

— Если б ты знал, что мне идет, ты бы звал меня Баром, или Барри, или Бернардом, как моя теща.

Ну, так еще раз: что я могу для тебя сделать?

— Ты слышал всю ту ерундистику насчет Ирана?

— Что, дискотека накрылась?

— Да нет, просто тянет поболтать.

— Как скромно ты выражаешься — «поболтать»… Вон Джон Бэррон, я слышал, продолжение пишет к своему роману о КГБ.

— Все может быть. Видит бог, мы должны вынюхивать всех их спящих кротов.

— И изменников, что им пособничают.

— Кто бы это мог быть? Билл в твоей книге? Про себя я читал, что я крепко пьющий волочила, постоянно без гроша в кармане.

— То есть ты читал?

— Ну а как же! Удивляюсь, что ты воспринимаешь этого проштрафившегося агента так серьезно.

— Его история как минимум такая же занимательная, как твоя.

— Да пошел ты! Тут у нас история поинтересней будет.

— Ну да, ну да. У тебя есть еще по меньшей мере тысяча жизней для их дальнейшего коверканья. Кстати, а как там твой дружок Чепоров?

— Кто?

— Ловкач. Мастер в своем деле. Черт тебя дери, Адлер, даже «Дейли мейл» знает, что ты общаешься с Чепоровым.

— Не знаю, кто…

— Чепоров Эдгар Анатольевич, агентство «Новости» в Лондоне. Он ведь из КГБ? Только не корчи на том конце удивленную мину. Имей в виду, дело это непростое, если твоего лица не видит собеседник.

— Чепоров к КГБ отношения не имеет.

— Угу. А я ношу плавки, а не трусы. Ты с ним в контакте как минимум с семьдесят четвертого года.

— В «Новостях» я никого не знаю.

— Дорогой мой Билл, ты бы хоть врал поскладней. Сначала ты говоришь, что его не знаешь, а затем, что он не из КГБ. Может, сделаем паузу, чтобы ты собрался с мыслями? Если ты не знал, что Чепоров гэбист, то ты или очень глуп, или крайне легковерен. А может, просто нуждаешься в деньгах. Сколько тебе подкинула кубинская разведка? Миллион?

— Миллион… Хм, ты не знаешь Кубу.

— Один ты у нас все знаешь… Так чего тебе нужно, факер?

— Информацию.

— Информацию? Кладезь с разведданными? Сколько и почем? Не с такими ли словами ты обратился к гэбистам, когда пытался им продаться?

— Я не *прошу* информации, херило, я ее *даю*. Кое-что из нее может касаться даже тебя, гребаного выпускника Йеля.

— Эгей, не стреляй в меня, потому как сам плывешь из флоридской Такомы. И что бы ты мне ни втюхивал, я это ни за что не куплю. А разговор наш, между прочим, записывается.

— Мы это уже установили.

— Не беспокойся, все это потом будет использовано как улика.

— Когда я надумаю сдаться?

— Когда мы сами тебя поймаем.

— Ха. Вам, счетоводам, даже пука не поймать.

— О! Слова руководителя операции, схваченного за попыткой поставить в посольстве прослушку в пять утра.

— Ты, кстати, в курсе, что значишься в «Книге ужасов»?

— Какой еще «Книге ужасов»?

— Не ручаюсь, что у нее именно такое название, если оно есть вообще. Клянусь, мое величайшее огорчение в жизни — это что я издал свою книгу до того, как всплыло все это дерьмо.

— Не знаю, о чем ты. И когда-нибудь мы твою утечку нейтрализуем.

— Когда-нибудь однажды?

— Раньше, чем ты думаешь… Что-то разговор у нас получается слишком затяжной. Ты уверен, что потянешь его по деньгам? Мне пора закругляться, Билл.

— Ах да, тебе ж еще предстоит паковка, прощание… Чудесно. Бедный президент Форд! Он ведь входил в Комиссию Уоррена[156], да так и не узнал, что мы ему кое о чем не договорили.

— Это ты о чем?

— Да все о «Книге ужасов». Кто ей дал это название? Ты удивишься.

— Нисколько. Иногда, Адлер, я просто диву даюсь: ведь ты со мной вовсе ни о чем и не разговариваешь. Мы с тобой как две девчонки, и ты говоришь с таким расчетом, чтобы парень тебя обязательно подслушал. Ты уже вон сколько лет в Конторе не состоишь, а ведешь себя, как те чудики, вбившие себе в башку, что их-де похитили инопланетяне, с тем чтобы впендюрить в жопу свой зеленый фаллос. Ей-богу.

— Может, это и не совсем книга. А скорее до-

---

[156] Примечания: 156

Комиссия Уоррена — комиссия по расследованию убийства президента Дж. Кеннеди.

сье.

— Досье? Это в ЦРУ-то? В ЦРУ досье есть, и не одно, да еще и под грифом «Совершенно секретно». Как ты вообще умудрился туда устроиться?

— Не оскорбляй мой разум, Дифлорио.

— Оскорблять-то, в сущности, нечего.

— Я имею в виду досье, составленное Шлезингером для Киссинджера; тот самый доклад, что он предоставил Форду на Рождество семьдесят четвертого года.

— И он говорит мне о семьдесят четвертом годе! Кореш, извини, что перебиваю, но президент у нас давно уже сменился, но и он долго не продержится, если сегодня все будет складываться так же худо. Иран взрывает всю мировую прессу, а бедняга Уильям Адлер, видите ли, только сейчас передает дерьмо о том, как все обделались в далеком семьдесят четвертом…

— Киссинджер представил приукрашенную версию реально сочного материала. Оригинальное досье Шлезингера все еще плавает где-то там в кулуарах, и я слышал, оно содержит уникальные факты.

— Ты уже слышал мое мнение о всех твоих мнениях, Адлер. Творческий кризис, или как? Дефицит писательского материала?

— Ты — мусорщик, Дифлорио. И единственная причина твоей незаинтересованности в том, что до заинтересованности ты так и не дорос. В небольшой служебной записке Шлезингера есть всё; всё, что рядовой американец счел бы за стряпню детективщика-шпиономана. Подрыв последних акций Тома Хайдена[157]. Кого и как трахает Билл Косби[158]. Контроль ума посредством ЛСД. Повсеместные убийства — взять того же Лумумбу в Конго. Море компромата на твоего дружка Мобуту…

— Поправка: Мобуту — дружок не мой, а Фрэнка.

— Да вы с ним и Ларри Девлином все на одно лицо, латино-американо-африкосы. А еще число покушений на Кастро, инициированных самим Бобби Кеннеди…

— Ты в курсе, что Хавиланда выталкивают на пенсию?

— Кого?

— Хавиланда. Того самого, что натаскивал тебя и меня. Хотя извини, ты себя натаскивал сам.

---

[157] Примечания: 157

Том Хайден — социальный активист и политический деятель.

[158] Примечания: 158

Билл Косби — актер, режиссер, продюсер, сценарист, музыкант и политический активист.

— Ты соображаешь, что если эти материалы дойдут до американской общественности или хотя бы до Картера, то Конторе конец? Твоя хваленая работа рухнет в дыму и пламени.

— Клянусь, временами я не могу разобрать: ты действительно долбаный кретин или только прикидываешься, как в телевизоре? В каком мире ты обитаешь, Адлер? Ты тот самый агент-уникум, который не вполне понимает, что происходит на этой гребаной планете. Ты думаешь, твои дружки из КГБ представляют какую-то гуманитарную миссию? Так, что ли?

— Я *экс*-агент, помни это. А что я думаю, того тебе не знать.

— Да знаю я, причем от и до. Оригинальность — не то, что можно поставить тебе в заслугу.

— Я так и знал, что на «Книгу ужасов» тебе в принципе наплевать. Знаешь, ты худший из всей вашей своры. Одно дело, если б ты хотя бы одобрял, что делает твое правительство, но тебе и это по барабану. Главное — определите лимит времени и обналичьте чек.

— Мне нравится, как ты тешишь себя иллюзией, будто раскусил меня. Это один из твоих худших недостатков, Адлер: думать, что ты умеешь читать умы, хотя ни хрена ты не умеешь.

— В самом деле?

— Да, в самом деле. А знаешь почему? Потому что во всей твоей болтовне насчет этой «Книги ужасов», в твоем втюхивании мне, бедолаге, что мое правительство занимается всякой ерундой, во всей твоей тщетности разжечь во мне хоть какой-то интерес тебе ни разу не пришла в голову мысль, что причиной моей незаинтересованности может быть то, что всю эту хрень написал я.

— Как? Что ты сказал? Ты меня, мля, что, разыгрываешь?

— Я хоть отдаленно похож на того, кто тебя разыгрывает? Да, факер, все эти материалы написал скромный счетовод. Ты что, всерьез полагаешь, что секретарь оборонного ведомства стал бы заморачиваться написанием этого пасквиля? Знаешь, поначалу меня как-то задевало, что я не появился в твоей книжке ни разу. А затем я понял, что ты на самом деле понятия не имеешь, чем я занимаюсь, ведь так? Представления не имеешь. Потому что если б ты его имел, то не тратил бы впустую мое время на протяжении этих шести с половиной минут. Ты же вместо этого соизволил выпасть из своей подвесной койки и, пока сидишь на полу, благодари своего коммунистического бога, что не меня, мля, за

тобой послали охотиться. Кстати, холодильник у тебя барахлит, а вид из окон твоей новой халупы говенный. Скажи Фиделю, что тебе нужна квартира с видом на океан.

Конечно же, подлец брякнул трубку и перезванивать не стал. Подозреваю, что больше он мне не позвонит никогда.

Пошел на хер этот стол. Пошел на хер этот офис. Пошла на хер эта страна, а с ней и этот начавшийся год. Пойду-ка я домой.

Папа Ло

«Похитить Мика Джаггера и сделать на этом два миллиона». Мы с Тони Паваротти едем в машине, вверх-вниз по дороге, что вьется и делает повороты, как река, подходя чуть ли не вплотную к волнистому ветреному морю. Джоси Уэйлс не пришел. Мчимся вдоль пунктира обочины на «Форд Кортине». Виляем влево, затем вправо, и волна при ударе о камень брызжет пеной прямо на лобовое стекло. Вот как близко дорога подходит к морю, как от моря близки мы, а Паваротти знай себе рулит, хладнокровней, чем мать хладнокровия.

Тони Паваротти с его носом, как у Паваротти. Я не помню ни отца его, ни мать; ни то как он рос, ни его сопутствующих росту мальчишеских закидонов, ни свар и драк, которые затевают меж собой пацаны. Он как тот закадычный кореш из кино — плохой такой *hombre,* возникший невесть откуда примерно посередке и дальше уже идущий как ни в чем не бывало бок о бок и говорящий о том о сем, как будто его здесь все время только и ждали. Тони Паваротти просто есть, и прежде, чем его позвать, нужно хорошенько подумать,

что тебе от него надо, а также надо ли тебе это. И он ляжет и будет выжидать в каком-нибудь старом полуразрушенном строении, или на дереве наверху холма всю ночь, или в залежах мусора в Мусорных землях, или за какой-нибудь дверью, пока не станет абсолютной тенью и поквитается с твоим врагом, сняв его выстрелом на расстоянии в триста футов. Он делает работу для Джоси Уэйлса, но даже Джоси не может удерживать его при себе постоянно, хотя многие нынче кучкуются при Джоси на постоянной основе. Разговоров мы не ведем. Когда я дома, я нахожусь в доме, а когда ухожу, то за пределы страны. На порог к нему я не ступаю ни ногой. Но Тони Паваротти из тех, кто служит всем и никому, и сегодня весь день он подряжается у меня — лавирует на водительском сиденье по тонкой дороге, слишком близкой от такого сердитого моря.

Знайте: тюрьма для человека из гетто — университет. Тюряга трется о тюрягу. Вавилон пришел по мою душу два года назад — два с той поры исполнилось или нет? Я стараюсь удерживать в памяти, как он посягал на меня. В фургоне по дороге в тюрьму один полицейский плюнул мне в лицо (из новых, что с него взять), а когда я сказал «придурок, у тебя харчок жвачкой пахнет»,

то он двинул мне прикладом по голове так, что я очнулся уже только в тюрьме, и то когда меня окатили водой. Оба полицейских до следующего года не дожили, всё благодаря сидящему сейчас рядом со мной человеку, который отследил их сразу после того, как я вышел на свободу. Знайте, все милые и приличные люди: Мама Ло не взрастила еще ни одного сына, который ходил бы с расправленными плечами и вдруг получил бы плевок, как паскудная дворняга. Папа Ло таких вещей и людей не забывает. Мы их не только не забываем; мы собираем их вместе и отвозим в конец Копенгагена, где обитает только голь да полощется в море дерьмо богатых. И эти несчастные начинают причитать, что у них, мол, жена не работает и трое голодных ртов детей, на что я замечаю, что тем хуже для них: вместо папика получат дохлого обапола. Если его отыщут.

Однако возвращаясь к тому, как меня отвезли в тюрьму. Человек может быть гибким и гуттаперчевым, проскальзывать сквозь систему, но он не может проскользнуть сквозь железо. Железо есть железо, оно сильнее льва, а сталь неподатлива. Прутья решетки внушают: «Выхода нет, так что просто уймись, сядь, а если задумал попутешествовать, то постучи себе изнутри по

голове и скажи ей начинать путешествие». Вот, видимо, почему человек здесь заканчивает тем, что приступает к чтению книги, которую иначе читать бы не стал, а то и к ее написанию. Прутья решетки, вероятно, внушают и другое: «Никто не может войти и прервать учение, так что, может статься, оно — это некая кара у тебя в голове, а тюрьма заставляет тебя застыть духом, чтобы ты изготовился ее выслушать», ибо, джентльмены, никто — я повторяю, *никто* — не может чего-либо постичь, если он вначале не изготовился слушать.

Машина налетает на кочку, но Тони Паваротти этого как будто не замечает. Я же некрасиво подскакиваю, как человек, который не умеет ездить на машине. Он — единственный из известных мне людей, кто рулит в перчатках с дырками для пальцев и тыльной стороны ладони. Коричневая кожа. Солнце уходит быстрее, чем мы добираемся до бухты. Светилу не нужно быть свидетелем того, чем занимается человек с наступлением темноты. Все видней становится луна — хороший спутник, особенно когда она полная, круглая и глубокая, будто поднялась из крови. Вы когда-нибудь видели восход луны? Я хочу спросить у Тони Паваротти, но не думаю, что он мне отве-

тит. Людям вроде него такие вопросы задавать бессмысленно.

Из кармана я вынимаю две сигареты и даю ему одну. Он зажимает ее губами, а я даю ему прикурить. Под мельканье палисадов мы мчимся мимо аэропорта, как раз по отрезку Порт-Ройял, где в «Докторе Ноу»[159] вез человека по дороге Джеймс Бонд. Мы едем, пока не доезжаем до форта, возведенного еще до того, как сюда на кораблях работорговцев прибыли люди вроде меня. В землетрясение тысяча девятьсот седьмого года половина форта ушла в песок, но если ехать быстро, впечатление создается такое, будто он сейчас собирается из него восстать. Заметно, как из песка выглядывает пушка, и ненароком задумываешься, какими же, наверное, высокими и гордыми были стены этого укрепления, когда по ним, прихрамывая, расхаживал адмирал Нельсон. Нельсона мы проходили в школе, а вместе с ним адмирала Родни[160], спасшего Ямайку от французов.

---

[159] Примечания: 159

«Доктор Ноу» — первый фильм в киносериале о Джеймсе Бонде.

[160] Примечания: 160

Джордж Родни (1719–1795) — британский адмирал, участник войны за независимость США; разгромил французский флот в Доминикском сражении, крупнейшем морском сражении XVIII в.

Кто же спасет ее теперь?

Ниже по дороге располагаются всем известные Порт-Ройял и Форт-Чарльз. Лишь немногие знают, что в прибрежных зарослях сокрыты еще два форта, один из которых — этот. Я высовываю из окна голову и смотрю, как на земле последние полосы от солнца становятся сначала оранжевыми, затем розовыми, и вот уже их нет — погасли, — и становится слышно, как раскачивается море, перекрывая своим шумом даже гудение мотора. Мы с Тони Паваротти держим путь к форту, затерянному между утопающим солнцем, восходящей луной и исчезающей тенью. Резкий поворот влево через колючий кустарник, с жестким перескоком через кочку. Я держусь за дверь, как неопытный пассажир. Взъезжаем на горб, похожий на верхушку горы, потому как сверху идет крутой спуск прямо вниз на берег. Ухаб на ухабе, вираж влево, затем вправо, я успеваю задернуть руку обратно в машину, пока колючие кусты не начали полосовать стекло (у меня рука сейчас была бы вся в крови). Вниз, вниз, вниз. Снова влево, затем вправо, затем прыг-скок — сейчас мы по необходимости снова катим вправо (я удивляюсь, как этот, бомбоклат, человек сохраняет такое спокойствие и ничего не говорит, а только крутит

руль, как заправский гонщик). Машина скачет вниз как без тормозов, меня подмывает крикнуть «эгей!», и тут мы даем по тормозам. Тони Паваротти замедляет ход до ползания, и мы по узкой береговой полосе подъезжаем ко входу в форт. Ворот здесь нет, поэтому мы въезжаем беспрепятственно. Отсюда Кингстон смотрится лишь мутным пятном через водное пространство.

Машина останавливается. Тони опускает стекло и одним махом стильно выскакивает наружу. Он справа, я слева, мы оба одновременно подходим к багажнику. Он вставляет ключ и резко поднимает крышку. Если б первый паренек мог вопить, он бы возопил от слабого света — самого яркого из того, что они видели последние три часа. На то, чтобы усунуть в багажник двоих, у меня ушла вся ярость. Я бы со всем пылом и страстью проделал это с ними задолго — года эдак за два — до этого, но сейчас во мне все это как-то уже выдохлось, перегорело, поэтому первого из них я просто вынул за руки. Когда я ухватил его за рубаху, он был легкий, как перышко. Наручники за спиной липкие от крови, а запястья белы там, где коже положено быть черной. Пах он калом и железом. Что-то такое мямлил сквозь слезы, щеки и глаза раскраснелись, из носа безудержно текли

сопли. То же самое и у того парнишки, которого выволок Тони Паваротти, — оба воняют, да еще мокры от своего собственного пи-пи.

По дороге сюда меня подмывало учинить им допрос: «Ну что, дырки от задницы, вы помните ту сцену на берегу? Помните, как вы наводили стволы на Певца, потому что кто-то натянул вас в вашем гребаном бизнесе, а вы решили стребовать деньги с него? А? Вы тогда не дотумкали, что он вас запомнил? Вы не поняли, что уже покойники с той самой минуты, как навели пушки на этого человека? С таким же успехом, опездолы, вы могли целить в Господа Бога!» Все это меня тянуло сказать в лицо этим двоим, но сейчас, в этом форте, где за годы и годы полегло столько испанцев, британцев и ямайцев, я вдруг подумал, что когда-нибудь тоже умру и день этот не так уж далек, и охота говорить сошла на нет. А из Тони Паваротти и подавно слова не вытянешь.

Зато эти двое не умолкали. Даже через кляп можно было расслышать слово, фразу или даже предложение. Свирепо моргая красными глазами, они выдавливали из себя слезы. «Умоляю, Папа Ло, я тут не при делах, посмотри, я все такой же нищий. Умоляю, Папа, пощади, Певец ведь меня уже помиловал. Умоляю, Папа, я знаю толь-

ко о тех несчастных скачках, а о ночной засаде вообще впервые слышу. Папа Ло, умоляю, дай мне плюхнуться в море, и я русалкой уплыву на Кубу, а обратно в Вавилон больше ни ногой». Но меня это не пронимало. Ночью Певцу устроила засаду какая-то банда. И еще одна банда — может, та же самая — уставила в него на пляже стволы, потому что втянула его в аферу со скачками, к которой он не относился никаким боком. Сам ветер в воздухе подсказывал, что это одни и те же люди. А другой нашептывал, что банды эти разные. Но даже выговорить это у меня нету сил. Мне уже все равно. Они прорубают брешь между мной и Певцом; рубец, который заживает, но остается шрам. Эти люди должны быть наказаны за то, что обнажили стволы, а также за то, что из них стреляли. Дьявол, что ждет у врат ада, разберется, кто из них кто. Это и есть все, что я хочу сказать этим двоим, но не говорю. Я стал как Тони Паваротти. А он уже тащит первого из них через кустья на пляж из черного песка.

Весь финт, весь фокус, вся причина состояла в том, чтобы затянуть его обратно, — не навсегда, но просто чтоб сшибить первую доминошку. Затащить его для того концерта, хотя общий масштаб дел здесь его уже перерос. И по охвату, и по сути.

Насчет сути толком сказать не могу — Ямайка, ты готова для этого? В голове моей надежда и вместе с тем тяжесть; на душе так нелегко, что единственное, что как-то успокаивает, это память, что на сердце у бедного Папы Ло легко никогда и не было. То, что имеет смысл в Англии, не имеет смысла здесь. Англия — это Англия, Лондон — это Лондон, а когда находишься в таком большом городе, то и мыслить начинаешь по-крупному, и рассуждать, и говорить по-крупному, и предсказываешь большие приливы и наплывы, а когда возвращаешься к себе в Джемдаун, то удивляешься, не разбухла ли у тебя чуть лишку голова.

Уйма людей даже посередь своего страдания добровольно предпочитает известное им плохое над неизвестным хорошим, о котором они могут только мечтать, потому что кто и мечтает-то, кроме безумцев и глупцов? Войны порой прекращаются потому, что люди забывают, зачем воюют; иногда к ним во сне возвращаются те, кто погиб, и ты не помнишь их имен, а иногда начинаешь видеть, что тот, с кем ты сражаешься, тебе вовсе и не враг. Стоит взглянуть хотя бы на Шотта Шерифа.

Пляж — сплошной песок, но только до подхода к морю. Там он меняется на камушки, которые,

перекатываясь с наплывом волн, потрескивают, как дамская попа: ««*Шшшшуууу. Пек-пек-пек-пек*». Тони Паваротти подволакивает своего страдальца прямо туда, где на песок накатывают волны, и пинает его сзади под колени, чтобы он упал в эдакой молитвенной позе. Тот так и делает. Все быстро и резко, как будто, не промолвив одного слова, он уже перескакивает к следующему. «*Шшшшуууу… Пек-пек-пек-пек*». Парень в светлых штаниках — спереди подтек желтый, сзади коричневый. Тони Паваротти в солдатской рубахе цвета морской волны, с погончиками и множеством карманов, и в габардиновых брюках, закатанных над солдатскими сапожками до середины голени. Обеими руками удерживает парню голову — неторопливо, даже нежно, как будто ласкает. Тот, видно, решает, что помилован, и начинает бурно рыдать, тряся головой. Тони снова успокаивает ему голову. «*Шшшшууууу… Пек-пек-пек-пек*». А затем — «*пум*».

Мой пленник вопит в кляп и при этом лишается сил, а потому волочь его на берег мне приходится волоком. Вода его штанов еще не коснулась, так что свежая влага на них означает лишь то, что он опять обоссался. Мотор Тони глушить не стал, и мне кажется, что я слышу в кабине радио, а

может, это все те камушки шуршат. «*Шшшшууу. Пек-пек-пек-пек*». Я волоку этого парня к бездыханному телу и толкаю, чтобы он встал на колени. Из одежды я оставил на нем зеленые шорты. Я придерживаю ему голову, но он все равно ею крутит, даже когда я нажимаю на спусковой крючок. «*Пум*». Получается чуть сбоку виска, отчего вспучивается один глаз. «*Шшшшууу. Пек-пек-пек-пек*». Парень дергается и обмякает. Тони Паваротти указывает на море, а я жестом отвечаю: нет, оставим их так. Поза узников показывает, что они теперь братья не по пролитой крови, а по страданию. А когда вы, как братья, страдаете вместе, вы вместе получаете и новую мудрость. Скажем, я получаю новую мудрость в то же время, что и Шотта Шериф, а когда мы останавливаемся и понимаем, что мы в самом деле одного с ним ума, то берем это рассуждение в Англию и понимаем, что Певец там тоже имеет одну с нами мудрость. Должен признать, что он стал мудрее с тех пор, как заправлял с той мудростью своим собственным домом, где долгое время враги встречались друг с другом как друзья, даже когда мы дрались, как звери, со всем, что вокруг. Люди думают, что причина примирения — концерт, или дело тут в том, что белый от ННП пожал руку белому от ЛПЯ

(все равно как если бы рак лечить микстуркой). При этом даже я знал, что концерт — это так, видимость; при этом я единственный, кто лично вытащил на сцену Сеагу[161].

Шотта Шериф стоял на сцене, но потом спрыгнул и стал отираться вокруг Мика Джаггера, который расхаживал взад-вперед, рассуждал с народом и накачивал ритм, словно не чуя, что все это место кишит лихими людьми. Поминутно он склабился своими большими сияющими зубами. «*Давайте слямзим Мика Джаггера и подержим у себя, пока не выручим за него два миллиона*», — повторял Шотта Шериф как бы в шутку, но потом, видя, как «роллингстоун» заныривает и выныривает из толпы, стал рассматривать это как реальность. Насчет отвязного белого парня, что лыбится, как дитятко богатого политикана, и разглагольствует о своей поездке на *Майхаами*. Шотта все посмеивался — хи-хи да ха-ха, — пока Певец не заслышал и не полоснул его взглядом, которому позавидовал бы сам Моисей в своих Десяти заповедях. Ну да ладно, пускай думают,

[161] Примечания: 161

В 1978 г. Боб Марли вернулся на Ямайку, чтобы дать еще один политический концерт, призванный предотвратить гражданскую войну. В конце этого выступления по просьбе певца на сцену поднялись предводители противостоящих групп — социалист М. Мэнли (НПП) и консерватор Э. Сеага (ЛПА) — и пожали друг другу руки.

что он вернулся лишь затем, чтобы спеть песни о любви для своего очередного приятного альбома. Пускай себе спит сном младенца, пока мы, как оборотни, принимаем вид Никодемуса. Перестав обсуждать подготовку концерта, мы с Шотта Шерифом разговаривать меж собой не перестали и общаемся до сих пор.

Солнце прячется за горизонт. Тони Паваротти рулит, а по радио играет «*Делай это легко, сквозь всю ночь, танец тени*». Эту песню я знаю. Ее любит моя женщина и говорит, что поет ее какой-то Гибб. Я спросил, откуда она знает, а она мне тут же в ответ: «*Я, по-твоему, совсем уж пустыха*?» Я рассмеялся: уж кто, а я танцевал с тенями и ночью, и на рассвете, и на закате. Бывало, что и средь бела дня нам приходилось выискивать очаги мрака. Четыре дня ушло, чтобы обложить всех причастных к той афере со скачками, которые нацелили стволы на Певца. И одна ночь, чтобы запереть их в надежном месте, про которое я, дон из донов, не знал, наверное, один во всем Копенгагене. Джоси Уэйлсу еще придется на этот счет со мной объясниться.

Рано утром мы забираем оттуда первых двоих — только потому, что они выплясывают впереди всех и громче всех шумят. Один насчет того,

что голый даппи с синим пламенем на коже и акульими зубьями всю ночь терзает ему плоть и зажимает рот, чтобы он не вопил. И не только он, а и все, потому как даппи нещадно хлещут всем по щекам и молотят по лицу. При этом глаза у него влажны от правды. Он тычет себе в грудь, что этот даппи еще и грызет ему сердце, хотя на груди у него ни царапины. Второй не перестает выть, что голову ему проела змея и вылезла через левую глазницу — «вот дыра, видишь?» — и указывает на невредимый, истово выпученный глаз. Все бурболят о слюне дьявола на лице, когда они просыпаются. Те двое по-настоящему несносны, и мы затыкаем им рты коленкором и бросаем в багажник машины. Они там лежат и даже не сопротивляются. Отвозим мы их на ту часть Хеллшир-Бич, которая нынче закрыта и снабжена табличкой «Проход запрещен». Идут они покорно, своими ногами, что меня настораживает. Мне не нравится, когда люди вот так готовно смиряются со своей участью; я даже толкаю того из них, который со змеей в голове, и он спотыкается. Но ничего не говорит, просто встает и продолжает идти. Тони Паваротти кладет одному из них руку на плечо, чтобы поставить в позу, но тот охотно делает это сам; они оба опускаются на колени,

закрывают глаза и нашептывают что-то вроде молитвы. Затем тот, что со змеей, открывает влажные глаза и кивает — мол, делай это прямо сейчас, не мешкай, мне уже невмоготу. Тони Паваротти заходит сзади и по-быстрому кончает обоих. Даже самый безбашенный ганмен, расставаясь с жизнью, оплакивает ее, как ребенок, а эти двое изъявили такую готовность умереть… Даппи, облаченный в синее пламя… бред какой-то. Что, интересно, поднимет посреди ночи *меня*?

Когда наступает вечер, мы вывозим еще двоих. Время близится, проходит и убегает, и я знаю, что оно в итоге оставляет меня позади, ну да черт с ним. Хотя Джоси Уэйлс такого бы с собой не допустил. Он наверняка забежит вперед и скажет: «Смотри, козел, я тебя обошел и теперь разделаюсь с тобой, как ты разделался со мной в шестьдесят шестом». Всю эту возню с концертом он оставил мне, потому что до Певца ему никогда не было дела. Сейчас Джоси встречается с Кубинцем, который снова сюда вернулся, даром что в семьдесят шестом весь его динамит и взрывы так и не обеспечили победу ЛПЯ.

Многим предстоит пострадать. Многие еще погибнут. Когда Вавилон нагрянул ко мне и убрал с дороги, чтобы Певца можно было застрелить

без моей попытки вмешаться, то он явился и за Шотта Шерифом. Люди с обеих сторон начинают думать, что мы, доны из донов, уже без пользы. Усаживая в один угол кошку с собакой, не забудьте принести ведро для крови. Они подумали, что если нас всех — людей из Копенгагена и людей из Восьми Проулков — запереть в одну тюрягу и выбросить ключ, то мы тут неизбежно друг друга перегрызем. Да, такое бывало, и в тюрьме кто-то реально умирал.

С первого дня мы кружили друг вокруг друга, как лев и тигр, застрявшие в одних джунглях. Моя камера была к востоку, а рядом наготове — преданные люди: тюрьма всегда полнится людьми из гетто. Шотта Шериф сидел в камере к западу, и его тоже окружали преданные люди. Оба мы получали весточки о нахождении и обстановке друг у друга, и никто из нас не засыпал без наличия хотя бы двух бодрствующих глаз. Вынянчить план много времени не ушло. Один человек с моей стороны, действуя самочином, попытался срезать одного из людей Шотты. Тот киданул мне послание, что в отместку срежет кого-нибудь из моих. Я ответил ему, что не думал на него нападать, зачем же ему нападать на меня? На это он передал, что один из моих людей заточкой высек

на лице у его человека отметину во время дневной прогулки. Тогда я отправил послание Шотта Шерифу, чтобы он этого моего человека назвал.

«Макуха» — так значилось в возвратном послании. В следующий раз, когда нас вывели на прогулку, я сам подхожу к Макухе и говорю:

— Юноша, давненько я не проверял, годишься ты к повышению или нет. Ну-ка дай я взгляну на твое перышко.

— Папа, я никому его не даю, — отвечает он.

— А мне дай.

Он дал.

— Мне нужно, чтобы ты доказал свою годность тем, что ляпнул козла от ННП, — говорю я, держа его перо и проверяя, хорошо ли заточено.

— Папа, — говорит он, — эту шнягу я уже проходил. Во вторник я щекотнул одного гада от Восьми Проулков. Хочешь, я лучше займусь Шотта Шерифом и ляпну его?

— Что тебя так на это тянет? — говорю ему я. — Нет, юноша, не надо этого делать. А для себя учти вот что. — И вонзаю перо ему в шею, вспарывая вверх через горло. Затем еще тыкаю три раза сбоку, а мои люди стоят вокруг нас стенкой. После этого мы расходимся, оставляя того шибзденыша, из которого кровь хлещет, как из безголового

цыпленка. Он лежит и дергается.

Позже Шотта Шериф отправляет мне послание, что настало время реально поговорить. Когда кошка с собакой убивают друг друга, единственный, кто в выигрыше, это Вавилон. От этого резона я отталкиваюсь и развиваю его дальше. Вавилон — это страна, Вавилон — это шитстема, Вавилон — главный угнетатель, и Вавилон держится на фараонах. Вавилон устал ждать и поэтому упек в тюрягу первую кошку и первую собаку гетто, чтобы они по-быстрому друг друга прикончили, но тут в тюряге поднялась другая вибрация. Позитивная.

После этого мы с Шотта Шерифом всю дорогу режемся в домино, в то время как Вавилон маячит снаружи, держа для присмотра за нами полицию. Я слышу его резоны, он слышит мои, и вместе мы рождаем новые. Первым из тюрьмы выхожу я, затем в январе — Шотта Шериф. Первым делом он находит меня. Той ночью, 9 января 1978 года, мои люди и его люди опустили свои пушки, зажгли свечи и спели: «Уроки войны нам больше не нужны»[162]. Той же ночью разродился

[162] Примечания: 162
Строчка из знаменитого спиричуэла «Спускаясь берегом реки».

своей новой песней Джейкоб Миллер[163] — называлась она «Особый мирный договор», стала затем хитом и добралась до первого места в чартах. Позитивная вибрация. Только учтите, милые приличные люди: в любую ситуацию человек вступает с целебным снадобьем или со стволом. Есть вещи, которые лечатся, а есть такие, которые улаживаются только с помощью пули.

Вот вам на погляд, милые мои приличные люди, последние телодвижения Вавилона. Пятого января, за четыре дня до нашего пения со свечами. Я чувствую в себе приподнятость, потому что еще только начало года: слишком рано для ощущения нисходящей тяжести. Однако банду «Уэнг-Гэнг» наступивший год застал без оружия. Все эти уэнг-гэнговцы глупы как пробки. Детище Питера Нэссера, управлять которым за пределами Копенгагена он так и не научился. Да, они все еще шевелились и все так же не подчинялись таким, как я, или даже Джоси Уэйлс. Но к концу семьдесят седьмого года «Уэнг-Гэнг» стволов уже лишился, потому как даже Питер Нэссер понял, что не следует вооружать людей, которых ты не можешь контролировать. Кто-то, в обмен на

[163] Примечания: 163
Джейкоб Миллер (1952–1980) — ямайский регги-музыкант.

обещание «Уэнг-Гэнг» почикать людей ННП в Восьми Проулках и ослабить их центр, посулил, что в «Уэнг-Гэнг» сохранится приток оружия, которое кто-то загадочным образом должен будет поставить в старую гавань Сент-Кэтрин.

Этот кто-то должен будет всего лишь оставить машину с багажником, набитым доверху стволами, которые останется только забрать, устроить на территории ННП заваруху, а оружие затем оставить у себя. Как всегда, «Уэнг-Гэнг» ни у кого совета спрашивать не стали. Эти молодцы стали вдруг мыслить с размахом, так как у их информатора, по всей видимости, имелись связи в оборонном ведомстве. Им даже пообещали реальную работу в доке, в основном связанную с охраной, где можно пускать в ход их стволы. В Джемдауне без предоплаты ничего не делается, но эта банда соглашается даже на такое, и вот рано поутру в земли «Уэнг-Гэнг» приезжают два армейских санитарных фургона и забирают полтора десятка ребят.

От Западного Кингстона фургоны едут на восток, мимо порта Гендерсона, через мост, минуя четыре пляжа Портмора и вверх по склону холма. На подъезде к Грин-Бэй шофера говорят им выйти из фургона и дожидаться прямо здесь.

Что, мол, скоро сюда должен прибыть еще один грузовик, который с оружием, — эта братва даже не помнит, что раньше речь шла о легковушке, а не о грузовике. И вот ребятки смотрят и ждут. Тут подходит какой-то армеец и заводит разговор со старшим из ребят. Вдвоем они отходят в кустарник, и тут остальные слышат выстрел, словно к началу состязаний. И разверзся ад…

Из кустов появляется тот армеец и открывает огонь с расстояния. Еще один солдат бежит на ребят с автоматом и стреляет на ходу. А кто-то третий, укрытый в кустарнике, вообще начинает тарахтеть из пулемета — «тататататата», — прямо как на войне. Один паренек срывается бежать, но натыкается на очередного солдата, который выстрелом сносит ему полчерепа; другой парень ломится напропалую сквозь заросли, по дороге к морю оставляя на шипах лоскутья кожи. Пятеро убиты, несколько ранены, двое ныряют в море и там их спасают рыбаки. Остальные рассеиваются. Потом тот армеец появляется в телевизоре и говорит, что те ребята случайно приблизились к военным на огневую дистанцию во время учебных стрельб. А министр в своем телеобращении сказал: «Среди убитых в Грин-Бэй святых не было». За три дня до концерта мы выходим с

протестом насчет того, что люди в гетто до сих пор едят и срут в одном и том же месте. Фараоны из Вавилона учиняют разгром и убивают по ходу троих, в том числе одну женщину. И опять слова того же министра: «Если в этом году погибнет хоть один полицейский, тех, кто посмел его убить, будут отлавливать, как собак».

Многим предстоит пострадать. Многие еще погибнут. Первую неделю в тюрьме Вавилона меня не переставая били. Никаких сведений они не выжимали, не пытались и сделать меня своим осведомителем. А просто по очереди метелили, демонстрируя, кто здесь истинный начальник. В одиночку они ко мне никогда не приходили — после первого раза, когда ко мне заявился один храбрец и я двинул его по яйцам так, что те у него впечатались в мозг. После этого они уже являлись двойками, тройками, а один раз даже вчетвером. Как будто состязались меж собой: от кого я взвою первый, тот и выиграл. Имена первых троих я узнал — Уотсон, Грант и Невис. Пришли они крадучись, поздно ночью, но я-то услышал, как звякнула дверная решетка. И с ходу принялись охаживать меня дубинками. «Это тебе за Родерика, — сказал один. — И за его вдову». «Тогда запомните: если вы меня убьете,

кто-нибудь вас за меня уделает», — сказал я им и выплюнул коренной зуб (он у меня все равно был с гнильцой; вот и к дантисту ходить не надо). После этого фараоны окучивали меня почти еженощно на протяжении недели, и приводил их непременно кто-нибудь из той тройки, на манер экскурсовода.

В последнюю ночь пришли четверо, двое придавливали мне лицо к полу с запахом моих собственных ссак. В свернутое полотенце они положили брусок мыла и по очереди лупасили меня с приговоркой: «Раз картошка, два картошка, три картошка, четыре…» Меня это постепенно стало утомлять, и я сказал: «Грант и Невис, а ну-ка отъебитесь, пока я не взбушевался». Они вначале оцепенели от изумления, что я их знаю по именам, а потом залютовали еще пуще. Через пару дней оба отпросились у своего начальства в краткосрочный отпуск — жена Гранта считай что напрочь лишилась левого глаза, а у сына Невиса оказались сломаны рука и нога. Невис пришел ко мне в камеру со словами, что лично меня убьет. А я ему сказал, что его сына мне жаль, но тревожиться как отцу ему следует даже не о нем, а о тринадцатилетней дочке — если конкретно, то о ее девственной плеве, которая может быть

порвана не тем, кем надо. Вы никогда не видели, как черный человек обращается в белого? Забавное зрелище. Когда меня наконец выпустили в общую зону, где меня уже ждали мои люди, они всем скопом сумрачно молчали. Я подумал было, что это из-за новостей о сыне Невиса — дескать, это уж слишком, — а потом понял, что это из-за подлинного уважения ко мне. Завидев у одного из них газету, я ее выхватил, раскрыл и тут на передней странице увидел Певца.

Вечер. Мы с Паваротти запаздываем. Часов у меня нет, но я могу отсчитывать ход времени — умел делать это сызмальства. Да еще дед научил меня, как указывать время подобно колону. Хотя стоп, какой же он мне дед? Дедов в гетто нет ни у кого. Он просто старик, которому не свезло в одиночку дожить до старости. Помнится, он тянул все время одну и ту же песню: «*Раз два три четыре едет дед Колон. Раз два три четыре вот Колон пришел. Раз два три четыре цепка на часах, раз два три четыре часики звонят. Спросишь время — он на солнце глянет, и цепочка златом заиграет*».

Паваротти невозмутимо смотрит на меня — я и не понял, что пою вслух. В общем, уже вечер, примерно полвосьмого, и мы едем около моря,

так что заход солнца ничто не застит. Тони Паваротти едет неторопливо, а я его не подгоняю, и пространство кабины заполняет диско-музыка, а иначе нам приходилось бы заполнять тишину своими голосами. Поначалу музыка кажется мне «голубоватой», но слова постепенно проникают. Действительно, танец тени. Как только гаснет свет, мы начинаем свою пляску с тенями. Тому, что содеяно в темноте, обратно на свет вернуться не суждено.

Сейчас мы мирно едем вблизи моря, а я раздумываю о втором Концерте за мир, что затеялся в Англии. Потому как в семьдесят седьмом была только война. Концерт призывал к единой любви, и мы брали по два доллара за «сектор Сплоченности», по пять за «сектор Любви» и по восемь за «сектор Мира» — на случай, если концерт вздумают посетить обгоревшие на солнце белые мужчины и женщины, которым хватит смелости, хотя было понятно: скорее застынет ад, чем такое произойдет. Обгорелым белым мир не нужен; им нужно, чтобы Ямайка стала пятьдесят первым штатом США, а еще лучше — просто колонией.

Концерт мы проводим потому, что «зеленый» ты или «оранжевый», но у нас до сих пор есть места, где даже негде справить нужду, а детвора

у нас выживает под палками, камнями и пулями для того лишь, чтобы затем умереть через глоток зараженной воды. Концерт у нас потому, что у каждого из троих здесь нет работы, и не только в гетто. Концерт у нас потому, что от Вавилона совсем уже нет житья. Певец возвратился, но в нем видна перемена. Если раньше он кидался обниматься, еще даже толком на тебя не взглянув, то теперь он секунду-другую пережидает или молча улыбается, ухватив себя снизу подбородок. Раньше он доканчивал начатую тобою фразу, а теперь ждет, пока ее закончишь ты, и, ничего не говоря, смотрит прямо сквозь тебя. Пойми же ты, я никаким боком не причастен к 3 декабря 1976 года. Но я знаю, что он теперь спит с одним приоткрытым глазом, и порой этот глаз уставлен в меня.

Мы с Тони Паваротти отдаляемся от моря и поворачиваем к Каналу Макгрегора.

Концерт. В семьдесят шестом году я на Концерт мира не попал. Зато войну после него прожил и прочувствовал сполна. А вот концерт 22 апреля я посетил. Более того, стоял на сцене. Смотрел, как Сеага и Мэнли образуют над головой Певца купол. Людям испокон свойственно выискивать знаки и чудеса, хотя знаки не означают ничего, а

в чудесах нет ничего чудесного. Однако человек, которого я не забуду никогда, это Тош[164].

Поначалу мне казалось, что он хезать хотел на этот наш концерт. У человека был просто дар пудрить мозги, пока я его наконец не раскусил. Но даже когда раскусил и решил, что между нами наладилось понимание, он все равно вел себя как малость помешанный — может, потому, что, в отличие от остальных двоих участников группы, больше факался с Вавилоном, и в особенности с вавилонской полицией. Всего за месяц до того, как вернулся Певец, Тоша в аэропорту задержал таможенник и долго его мурыжил. И знаете, что он прошептал ему на ухо? «*Я ищу повод пришить тебе расстрельную статью*». Я даже не хотел, чтобы Тош участвовал в мероприятии, потому как такой человек не бывает чувствителен к позитивным вибрациям. Это Певец хотел его участия и убедил его приехать. Ну, а я в дела семейные не суюсь. Прошел уже почти месяц, а я Тоша вспоминаю до сих пор. Он был человеком, благодаря которому то событие навсегда останется в

[164] Примечания: 164

Питер Тош (1944–1987) — ямайский певец, гитарист, композитор; наряду с Бобом Марли, один из самых влиятельных исполнителей регги в 1960—1970-е гг. Входил в первый состав группы Марли «Зе Уэйлерс». Гуру растафарианства.

людской памяти. Непосредственно перед выступлением он сказал, что отыгрывать этот концерт, бомбоклат, не будет, «*потому что каждый, кто в этом концерте задействован, все равно до его конца не доживет*». Еще не остывшим вечером на сцену он вышел одетый в черное с головы до пят, как какой-нибудь официальный деятель; связанный с ЦРУ раста. И первое, что сделал, это сказал оператору выключить, бомбоклат, камеру. «*Обладает ли слово “звук” силой, способной сломать барьеры угнетения, попрать беззаконие и утвердить равенство? Что вы имеете сейчас? Систему или шитстему, что складывалась и повелевала этой страной долгие века и эпохи. Вот уже четыре сотни лет вы живете по господской указке. Черные чувствуют свою неполноценность, а белые и некоторые цветные — свое превосходство и правят этой маленькой черной страной, как им заблагорассудится, вот уже бог весть сколько. Но вот пришел я с громом, молнией и землетрясением, с тем чтобы сломать эти барьеры угнетения, попрать беззаконие и утвердить равенство между покорными черными людьми!*» Я стою, как мальчишка, оглушенный этой речью. Даже с распирающей мне голову растаманской вибрацией я никогда не задумывался о черноко-

жих, даже когда проезжал мимо еще уцелевших плантаций. Последнее, что сказал Тош, это «*если вы хотите податься на небеса — дело ваше, а я задержусь здесь на миллиард лет*». А потом по сцене пьяным козлом загарцевал Мик Джаггер, корча надменные рожи…

Мы с Тони Паваротти едем вниз по дороге. На сколько минут у нас уже задержка? Я чувствую себя так, будто провалился в дрему, а когда очнулся, самолет все еще в воздухе. Тони Паваротти по-прежнему помалкивает.

— Мы уже повернули к Каналу Макгрегора?

Он, насколько я помню, кивнул утвердительно. Возможно, я просто устал. Восстанавливать справедливость — тяжкий труд. Труднее, чем совершать преступление. От Канала Макгрегора всегда несет дерьмом из-за фабричных отходов, которых в нем пруд пруди. Тем не менее здесь живут люди, которым я за два дня выслал оповещение, что к нашему приезду им лучше съехать. А потом, когда мы уедем, они смогут вернуться.

Полиция никого из тех обаполов искать не пыталась, но я вот — да. Два года я смотрел и ждал. Смотрел, как они прячутся, словно шибзденыши, и ждал, когда вернется Певец, чтобы заняться ими по-серьезному. Один из них укрылся в Джун-

глях, и в этом вина его матери. Черт бы побрал их и ту материнскую любовь. Сколько убийц женщин перед смертью поминают День матери. Так что мамаша больше года прятала своего сына в шкафу, пока сама не утомилась. Звали его Зверюга Легго, и он сидел там скорчившись больше года, среди хлебных крошек, тараканов и мышей. Вылезал сугубо ночами, будто настоящее его имя Граф Дракула. Шибзденыш так и не понял, что если хочешь спрятаться на виду, то не будь дурнем и скажи матери купить тебе кокаина. На него меня навел Джоси.

Без четверти восемь утра. Вавилон еще спит — как всегда, когда доходит до справедливости. Я посылаю весточку, что тем маленьким обаполом пора заняться. Долбаный идиот. Я посылаю двоих, чтобы его вытащили из шкафа и доставили ко мне вместе с матерью. Слышу, как мать вопит «там никого нет», хотя ее никто ни о чем не спрашивает. Господи боже, как глупы бывают бабы. Когда его с матерью приводят ко мне, я не хочу осквернять свой двор их присутствием и сам выхожу к дороге. Мать вопит: «Не троньте моего мальчика, не троньте моего мальчика!» Но слов для ее успокоения у меня нет. А для него и подавно. Я хочу получше разглядеть этого обапо-

ла, понять, чего он заслужил и как заплатит. Он щурится от непривычно яркого для него света. Год, проведенный в шкафу, затормозил ему рост и выбелил кожу. Он худ, как скелет, и смотрит на меня увертливым взглядом, как ящерка, а потом прячет взгляд в землю. И этого обапола кличут Зверюга Легго? Я смотрю на его оборванную майку и джинсовые шорты, вижу коросту на его правом плече. Зверюга Легго снова смотрит на меня, и я вбираю его всего, а затем сжимаю кулак и резко бью по мордасам его мать. Она отшатывается, он вопит. Я ухватываю ее спереди за платье, чтобы она не отшатывалась слишком далеко, а потом снова делаю быстрые тычки: раз, два, три, четыре. Губа у нее лопается, как томат, ноги подкашиваются, и я даю ей опуститься на дорогу. Я складываю пальцы в горсть и хлещу ей по правой щеке, затем по левой, снова по правой, снова по левой. Зверюга Легго вопит насчет матери, и тогда я указываю пальцем, а мой человек рукояткой ствола бьет ему по мудям. Сходятся зеваки. Пускай смотрят. Пусть смотрят, как Папа Ло наводит дисциплину. Баба вопит: «Папа, прояви милосердие», и тогда я эту суку выпускаю, подхожу к моему человеку и беру у него ствол. А потом снова подхожу к бабе, подставляю ей

ствол ко лбу и говорю: «Милосердия тебе? Что ж, бомбоклат, покажу я тебе милосердие». Покажу милосердие ценой наказания. Баба от меня в страхе отодвигается. Я подхожу к ней и пинаю два раза. А затем хватаю за руку и волоку на спине до самого ее двора, а толпа идет за нами. Тот обапол орет, причитает по матери. Она не шевелится, и я велю какой-то женщине принести ведро воды. Та убегает и быстро приносит. Я выливаю воду бабе на голову, она закашливается и продолжает выть. Я хватаю ее за волосы и поднимаю ей голову, чтобы она видела мое лицо.

— У тебя есть полчаса, чтобы отсюда уйти, поняла? И чтобы я никогда тебя больше не ощущал — ни глазами, ни нюхом, ни слыхом, ясно? Увижу — убью тебя, и брата твоего, и отца, и весь твой остальной выводок, ясно тебе? Полчаса — и прочь с моей территории, или я заставлю тебя смотреть, как гибнет этот твой выблядок.

Затем я поворачиваюсь к зевакам:

— А вы слышьте. Если кто-нибудь из вас ей хоть чем-то поможет, хотя бы заговорит с этой сукой, то увидите, как быстро я пошлю вас с вещами следом.

Того обапола я сажу в камеру вместе с другими, кто покушался на Певца. Один из них уже сошел

с ума и разговаривает сам с собой, валит под себя и говорит, что у него в голове включено радио и оно не верит, что он умер. Говорит день и ночь, а утром рассказывает, как голый даппи в одежде из голубого пламени и с акульими зубьями пожирал ему всю ночь плоть и закрывал ему рот, чтобы он не мог кричать. А когда закончил жрать, то открыл рот и обсосал ему лицо своей слюной, густой, как желе. Я ему говорю: «Козлина, ты хоть понимаешь, почему твоя жизнь обрывается до срока?» А он в ответ только одно: «Джа жив, Джа жив, Джа жив». В три часа дня я говорю людям забрать из материного дома все барахло и сжечь его посреди улицы. Зверюга Легго в камере молит, плачет и воет, рассказывает, что его нанял Джоси Уэйлс, а белый, который их натаскивал, был от ЦРУ. Тот цэрэушник носит коричневые штаны и темные очки, даже ночью, и отводит людей натаскивать на взгорье в Сент-Мэри — «*наверное, это Сент-Мэри, потому что мы идем на восток и вверх на холмы, а он показывает нам, как заряжать и наводить Эм-шестнадцать и Эм-девять. Дуло винтовки смотрит в безопасном направлении. Курок открываем при взведенном затворе… ой, затвор открываем при взведенном курке. Ручка заряжания в переднем положении.*

Ставим на предохранитель. Проверяем, пуст ли патронник. Вставляем магазин, толкая его вверх, пока защелки его не зафиксируют. Нижнюю часть магазина нажимаем вверх, убедиться, что он сидит плотно. Нажимаем на верхнюю часть фиксатора затвора, чтобы его высвободить. Толкаем доводчик затвора, убедиться, что затвор в максимально переднем положении и замкнут. Человек с голосом Шустрого Гонзалеса[165] показывал нам, как обращаться с Си-4. Ей-богу, не вру. Мнешь ее, как кусок шпаклевки, вот так. Затем втыкаешь в нее провод, капсюль, соединяешь, закладываешь, отматываешь длинный провод, щелкаешь взрывалкой — и бу-ум, hombre. А так как мне дают кокс и героин, я от него хочу убивать людей и трахать всех подряд — женщин, мужчин, собак, но только от герыча у тебя нестояк, даже если хочешь факаться до не могу. В какую-то ночь нас запирают в тесной комнате, и мы там употеваем, потому как вы, долбаные ямайцы, не имеете ни воли, ни души и даже в сравнение не идете с боливийцами или гребаными парагвайцами, которые за две долбаных недели усваивают куда больше, чем вы,

[165] Примечания: 165

Шустрый Гонзалес — мультперсонаж из сериала «Самая быстрая мышь во всей Мексике». Говорит с мексиканским акцентом.

черножопые сраки, усвоите за два года. А ямаец, что прилетел на третьей неделе из Уилмингтона с двумя большими камуфляжными сумками, трогает его за плечо и говорит: «Ты, бро, давай полегче, мы тут как-никак революцию делаем», а с Джоси и Шустрым Гонзалесом, когда мы хотим узнать, горит ли у него еще душа за Свиной Залив, он говорит только на английском, Джоси с ним говорит и на испанском. Ей-богу, он реально может говорить на испанском, я рядом стоял. Не верьте, если он говорит, что не умеет, мы все его слышали. И вот мы тренируемся месяц, днем и ночью, в солдатской форме, и как-то ночью Джоси заходит в комнату и просто шмаляет парня в голову, потому что тот чё-то не так ему сказал. Джоси с Шустрым Гонзалесом уходят и вдвоем что-то долго меж собой перетирают. После этого мы за полночь уходим увозить из дока телегу, полную нового оружия, в том числе и того, Папа, что сейчас при тебе. У тебя стволы тоже из той партии. А тот белый нам сказал: «Вы, ребята, все, как один, спасаете Ямайку от хаоса, так что делаете Божье дело. Спасаете порядок от хаоса. Спасаете Порядок от Хаоса.

Спасаете Порядок от Хаоса.

Спасаете Порядок от Хаоса.

Спасаете Порядок от Хаоса.
Спасаете Порядок от Хаоса.
Спасаете Порядок от Хаоса».

Тут Тони Паваротти дает ему рукояткой ствола.

«После первого раза, что мне дали кокс, я превратился в того, кто без него уже не может. Джа знает: за еще одну дорожку я бы вот так дырку от задницы открыл и подставил тому белому. Видит Джа».

— Это скажешь на суде, — говорю я ему, чтобы оборвать всю эту грязь о содомии, но при этом чувствую, что он меня озадачил. Половина из того, что он говорит, это как бы и не его слова, а то, как он их произносит, вроде и не из Копенгагена.

Затея ЦРУ — глупость несусветная. Тем более учитывая, что все знакомые мне белые, прибывающие сюда с Питером Нэссером, как по лекалу говорят о своей связи с ЦРУ. Но эта ложь как будто подсказывает, что у них нет умственного опыта придумать ее самим. Все равно как если б малолетний мальчуган взялся что-то рассказывать, а по содержанию это оказалась бы телепередача. Это заставляет меня вдуматься глубже, особенно после всего того, что напел Певец, утверждая, что раста на ЦРУ не работает. Все, что мне известно

про ЦРУ, это что оно из Америки и хотело бы, чтобы к власти вместо ННП пришла ЛПЯ, потому как коммунизм на Кубе так плох, что там матери уже убивают из-за него своих детей.

Но с чего вдруг ЦРУ воспринимает Певца так серьезно, что пытается его убить? Он ведь, на то пошло, не политикан и с правительством не связан. И отчего б тогда не подослать для этого Джеймса Бонда или другого какого спецагента, чем этих трех опездолов из гетто? Я спрашиваю Джоси, что это за разговоры, а он отвечает, неужели я отупел настолько, что не понимаю — эти щеглы хватаются за любую соломинку, лишь бы я проявил снисхождение; ну а он над этим детским лепетом слишком высоко стоит и мало что в нем понимает. Я решаю не ставить ему на вид, что он только что назвал меня «тупым» — как будто б это не я своими руками вытащил его из пекла шестьдесят шестого года. И какую он порой проявляет кичливость, а с некоторых пор и вовсе разговаривает свысока, как будто я побоюсь подкорнать ту борзость, что выпрастывается из его неотесанной сущности наружу. Я смотрю на него и думаю все это высказать, но сдерживаюсь. А лишь спрашиваю, где гарантия, что он на самом деле не связан с тем покушением, ведь так много

людей на это указывают, на что он отвечает: «Брат, если б я хотел Певца убить, он уже давно был бы мертвым».

Верить ему или нет, я не знаю. Многие из темнокожих тоже недолюбливают Певца, но это в основном те, кто носит сорочки с галстуками и работает на Дьюк-стрит. Мне не нравится что-то новое в его взгляде и шипение в голосе, которым он как бы дает понять, что ему все равно, верю я ему или нет. Я чешу голову, пытаясь уяснить год, месяц, день и час, когда этот человек начал меня подсиживать и думать, что превосходит меня по крутизне и лихости. И когда это стали замечать рудбои из гетто. Я последний, кто узнал, что «руди», оказывается, рудбоями себя больше не кличут. Они теперь, оказывается, «шотта». И у них теперь не банды, а «бандгруппы». И они даже общаются по телефону с Америкой. В один из вечеров я отправил с Тони Паваротти послание Певцу и его менеджеру. «Встретимся на Канале Макрегора, — сообщил я, — и раз и навсегда восстановим справедливость». Мы уже углубились в Макгрегор настолько, что даже вонь переменилась. Зверюга Легго и еще двое связаны по рукам, а с ними тот сумасшедший с кляпом: я уже не могу выносить его лопотания. Каждого из них

Тони Паваротти пинает сзади под колени, и они падают наземь. С Паваротти стоят еще двое. По другую сторону находятся трое женщин и трое мужчин, которые держат ответ передо мной. Приговор за ними, но судья здесь я. Вот слышится гудение двух моторов, и, подъехав к месту, останавливаются две машины и гасят фары. Вначале из машины выходят двое моих людей. Следом за ними появляются Певец и менеджер.

В миру говорится: «У людей должна быть справедливость», поэтому мы эту справедливость им дадим, хотя в мире существует единственно правосудие Вавилона, мордующее нас, как животных. Канал Макгрегора — это дырища, анальный проход под гетто, через который должна проходить дождевая вода, чтобы не случилось паводка, но так как Вавилон не направляет в гетто мусоровозы, все выбрасывают мусор в канал, и потому, когда выпадают дожди, те же люди из гетто получают с водой и паводки, загаженные всякой дрянью, отбросами и дерьмом. Из такого количества отходов образуется вал из мусора. Поначалу мне думалось, что суд вынесет вердикт по-быстрому, во избежание крыс и дерьма, но эти мужчины и женщины прочно расселись на камнях и лежачем древесном стволе, и лица их

суровы. Я изучаю их лица, а они изучают меня. На Певца и его менеджера они даже не глядят. Как только Зверюга Легго видит Певца, то начинает выть, вопить и биться, как в родимчике, и я указываю Тони Паваротти снова утихомирить его ударом приклада.

— Эти трое пришли на Хоуп-роуд и совершили покушение на убийство, — говорю я.

— Папа, это не я! Я не…

— Молчи, парень, набери в рот говна. Их там видели люди, у нас есть тому свидетель. Но я человек милостивый. Сам я правосудие не вершу. Суд Вавилона — полная подъёбка, поэтому мы устраиваем свой собственный суд. Вы, люди, и есть суд. Вы су́дите, и таким образом людьми вершится правосудие для людей, и никто не может сказать, что Папа Ло просто накликáет кару, как ветхозаветный бог. Мы всё проделываем как надо. У Вавилона, леди и джентельмены, справедливости нет. У него другие цели, и потому он не изловил никого из налетчиков. Но услышьте меня, услышьте сейчас. Прямо сейчас выслушайте свидетеля и выслушайте обвиняемых, потому как даже у них есть права сказать за себя слово; в конце концов, на основе этого мы доказываем виновность, а не там, где человек обосновы-

вает свою невиновность. Это больше, чем они заслуживают, и это больше, чем они могли бы получить от вавилонской шитстемы под названием Уголовный суд. Даже если представить, что дело бы дошло туда. Полиция перестреляла бы их задолго до того, как они оказались на скамье подсудимых. Ведь всем нам досконально известно, что на самом деле за всем в Вавилоне виднеется дуло ствола. Господин Менеджер, расскажи нам, что произошло в тот вечер.

— Гм. Ну что. Должен сказать, что вижу сейчас перед собой непосредственно одного из тех нападавших. Но кое-кого из ключевых фигур я не вижу. Их здесь вообще нет.

— Кого ты не видишь?

— Его здесь нет.

— Кого же именно?

— А вот этот там был. И этот. И… подведите-ка его к свету. И он тоже.

— Есть ли что сказать Певцу?

— За Певца и за себя говорю я, поскольку на кухне были только мы с ним.

— Понятно.

— Интересно отметить то, о чем только что говорил молодой человек.

— Что он такое сказал? Продолжай.

— Вероятно, вы не знаете, но я был солдатом армии США. Служил с шестьдесят шестого по шестьдесят седьмой год. Как раз в разгар Вьетнамского кризиса.

— У Джимми Клиффа есть такая песня, «Вьетнам».

— Да? Очень может быть. Так вот, как я говорил, мне очень многое известно о том, как работает ЦРУ. А потому если вы видите какого-нибудь атташе, консультанта, посольского работника, вообще любого белого в костюме, чересчур отдалившегося от Нового Кингстона, то, значит, перед вами почти наверняка тайный агент. И на вашем месте я бы не доверял ни одному белому, встреченному за пределами Негрила или Очо-Риоса[166]. Теперь же насчет того, что касается дня под вопросом…

— Ко дню ни у кого вопросов нет.

— Это такое выражение. Это… ну да ладно. Я уже давно и заслуженно хотел расслабиться в кругу ямайского истеблишмента, но тут по звонку вынужден был вылететь в Майами по одному срочному делу. Назавтра я возвратился… Какой это, кстати, был день? Кажется, третье декаб-

---

[166] Примечания: 166

Негрил, Очо-Риос — курортные поселения на Ямайке.

ря… Да, точно. Ну так вот. Сначала я отправился решать насущные вопросы, многое надо было проверить. После этого я наведался в «Дом Ченя», отведать козленка в соусе карри…

— Какое отношение это имеет к…

— Я к этому подхожу, джентльмены. И леди. Так вот, я отправился в «Дом Ченя» на бульваре Наксфорд, где подают отменного козленка в соусе карри. Всем рекомендую. Оттуда я поехал в «Шератон», забрать главу лейбла, но его там не оказалось. Тогда я вернулся в машину — я взял ее в аренду — и сам поехал на Хоуп-роуд, пятьдесят шесть. Свою машину я всегда паркую под алькóвом, так я поступил и на этот раз. Слышно было, как в доме репетируют музыканты, и я, конечно, к ним заглянул, но его там не оказалось, он был на кухне. Тогда я, разумеется, прошел на кухню и застал его там: он ел грейпфрут. У нас к обсуждению были кое-какие вопросы, ну и грейпфрут я ел бог знает когда. Я и сказал, что не отказался бы от ломтика грейпфрута, а он махнул рукой: мол, подходи. Как только я потянулся за ломтиком, мы оба заслышали какой-то звук, вроде трещотки или хлопушки. Разумеется, джентльмены и леди. Как-никак это была рождественская пора, а потому на тот звук я особого внимания не обратил:

ну, хлопушка и хлопушка. Кажется, он сказал: «Это кто там, бомбоклат, фейерверки пускает у меня на дворе?» Что-то вроде этого. Но не успел он договорить, как снова «тратататата». И тут меня словно ожгло. Затем еще раз и еще — да так быстро, как швейной машинкой прошило. Я даже не понял, что это выстрелы и в меня попали. Ты этого обычно не чувствуешь, а ощущаешь, как тебе ожигает ноги и они под тобой подкашиваются, а у тебя еще остается время тому изумиться. Я только помню, что упал на него, а он из-под меня произнес: «Селассие Джа Растафарай». Все это было так быстро… Ну просто нереально быстро.

— Если в тебя стреляют со спины, откуда ты знаешь, кто именно в тебя стрелял? — спрашивает одна из женщин.

— Кажется, я потерял сознание. А когда пришел в себя, то понял, что по-прежнему нахожусь на кухне. В меня стреляли. Вокруг раздавались людские голоса, и, судя по всему, меня сочли за мертвого. Ну, а раз я мертвый, то и внимания к себе больше не привлекал; растафари, насколько известно, к мертвецам не прикасаются. Все сочли, что я убит. Именно поэтому полиция кинула меня в зад фургона: чего церемониться с трупом. Медсестра в больнице взглянула на меня

всего раз и сказала: «Это покойник». Меня уже погрузили на каталку и покатили в морг, хотя я все это время слышал разговоры обо мне. Однако поделать ничего не мог. Представьте себе. Слава богу, в госпитале были багамцы. Мимо проходил багамский врач, приостановился и сказал: «Дайте-ка я гляну». Он и сообщил, что я еще жив. Четыре выстрела, господа. Один у основания спины — это просто чудо, что я сегодня могу ходить на своих ногах, спасибо докторам в Майами. Это просто чудо, что меня не отправили туда, куда указали ямайские врачи и медсестры.

— Имеет ли что-либо сказать Певец?

— За Певца говорю я.

— Он знает, кто пытался его убить?

— Разумеется, да. Некоторых из них он видел лично.

— Который из них сделал выстрел?

— Смею поправить: выстрелы.

— Выстрелы. Он видел, который из этих в него стрелял?

— Трое из них — однозначно. Но где остальные?

— Остальные мертвы.

— Мертвы?

— Да, мертвы.

— Как же так? Как минимум двоих из них я видел на концерте. Один даже отирался вблизи сцены.

— Мы не знаем, о чем ты говоришь. Здесь у нас трое, и все они сознались.

— Даже этот, с кляпом во рту?

— Двое других говорят, что он тоже участвовал.

— Они меня заставили, шеф! — встревает Зверюга Легго. — Они, Джоси Уэйлс и тот цэрэушник, применили порошок, чтобы меня заморочить! Убить меня грозились.

— Могу я слышать того, что с кляпом? — спрашивает менеджер.

— Не очень хорошая идея.

— Боюсь, я вынужден настаивать.

— Настаивать? Это что значит?

— То, что если мы не услышим его слов, то уйдем. Оба.

— Тони, вынь ему изо рта ту штуковину.

Тони вытаскивает кляп. Тот парень просто пускает слюни и пялится в вечерний свет, как слепой.

— Молодой человек, что вы можете сказать за себя? Вы, конкретно вы. Вы не видите, что мы даем вам шанс?

Дурак дураком смотрит на менеджера и бабачит:

— И могу видеть прямо сквозь себя. Вижу насквозь, насквозь вижу. Левит, Числа и Второзаконие.

— Из этого рта ты не услышишь ничего путного, — говорю я и машу Тони Паваротти, чтобы тот вставил кляп на место. — Ну а кого-нибудь из этих ты видел сам?

— Мы видели вот этого, который сзади, — отвечает менеджер. — А сейчас он чего-то молчит…

— Этого? Его год прятала мать. Прямо у нас под носом.

— Нас надуло ЦРУ, — мямлит обапол, — мы даже ничего не помним. Это только когда мать мне сказала, что я стрелял… Я только тогда и узнал, а сам так и не помню. Джа клянусь.

— А ну-ка, ну-ка… Постойте. Да я же с ним знаком! Его кличут Зверюга Легго. Он из Джунглей. Недалеко от тех мест, где мы все выросли. Он всю дорогу там ошивался; так часто, что даже я стал его узнавать, хотя наведывался туда довольно редко.

— Это все тот цэрэушник. Цэрэушник и Джоси Уэйлс, и еще один, что говорит по-ямайски и по-американосовски. Вроде тебя. Почему мне никто

не верит?

— Тони, заткни этого козла. Легго, так ты видел его возле дома?

— Раз или два. Внутри — нет, а только за воротами или в воротах. Раз мы даже подходили перетереть с ним и его братьями.

— Мы?

— Ну да, мы. Те, кого ты тут видишь. Подошли потолковать с ним и его другом, но они сказали, что из Джунглей и у них дела с другом, а не с Певцом.

— Вот как?

— Я же говорю, что никогда не давал никому беспокоить Певца. Даже подходить к его дому без моего разрешения. А уж тем более что-то у него клянчить.

— Ой ли?

— Да я же говорю! Мы никогда его не доставали, Певца! Я сам только за его другом ходил. Мы с Демусом.

— Тони, я тебе ни разу не говорил заткнуть этому парню рот кляпом? Что за Демус?

— Один из нас. А еще Ревун. И Джекль. Но не Хекль. А еще Джоси.

— Заткни его.

— Джоси? — переспрашивает менеджер.

— Хватит, разговор окончен, — говорю я. — Настало время допросить еще одного свидетеля. Мисс Тиббс?

Одна из женщин резко встает.

— О, так у вас дама за присяжную и за свидетельницу? — спрашивает менеджер с хохотком. Болтун, однако. А еще зубоскал — любит посмеяться там, где смеяться не положено.

— Мисс Тиббс, — повторяю я, и она стоя озирается, но на Певца при этом не смотрит.

— Шел десятый… вернее, одиннадцатый час. Я только что завершила обряд, воздала хвалу королю, выглянула из окна и тут увидала, как там резко заскрипел тормозами белый «Датсун». Смотрю — вылезают трое, в том числе тот, который вон там сзади. Да, вижу все это из окна хозяйским глазом. Они вылезают из белого «Датсуна» и порскают во все стороны, как тараканы, если внезапно включишь свет. Кто-то спрашивает вон того — не его, который петый, а который за Зверюгой Легго: «Где у тебя пушка?» А тот говорит: «Не знаю, обронил, должно, пока съезжали с Хоуп-роуд». Насчет Хоуп-роуд я слышала своими ушами. А назавтра его подруга куда-то из дома делась, и я ее больше не видала.

Следующий встает, не дожидаясь, пока я его

выкликну. Поднимается и говорит:

— Вы все знаете, я человек, которому разрешается ходить и по Копенгагену, и по Восьми Проулкам. Это я пошел к Шотта Шерифу и сказал: «Здесь есть люди, которые стреляли в Певца, за них в Копенгагене никто не в ответе. Папа Ло ни за что не допустил бы у себя такую херь…»

— Следи за языком.

— Я в смысле, они себя обрекли. И я сказал: «Шотта, ты знаешь, они больше не на территории ЛПЯ. Так что прочеши свою территорию с окрестностями и вынюхай их». Так они поймали вот этого петого, он там все время прятался в кустах возле Сент-Томаса. В трусах у него нашли ствол. Я спросил у людей Шотты, как они его разыскали, а они говорят, где его искать, знали фараоны, потому как он запрыгнул в маршрутку, идущую за город.

— А как насчет того, кто стрелял персонально? Тот же громила, что выстрелил в меня?

— Его нет в живых, говорю я тебе.

— Того, который четырежды выстрелил в меня?

— Он мертв.

— Ой сомневаюсь. Он ведь потом был на кон…

Певец трогает менеджера за плечо:

— Ладно, я понял. Может, оно и к лучшему. Давай дальше.

Менеджер затыкается. Я все-таки рассчитывал, что Певец заговорит. Прямо-таки надеялся на это. Хотя для меня он сказал уже достаточно. Он знает, кто в него стрелял. И я тоже это знаю.

Джоси Уэйлс.

Все остальные в двух машинах были просто наполнителем, частями тела, ни головой, ни сердцем. Мы ничего не произносим вслух, но говорим очень многое. Я смотрю на него и чувствую, что снова его разочаровываю. Но он, конечно же, должен знать, что даже мир, и небо, и планеты не крупнее обычного человека из гетто, который пытается исправить неправое.

Джоси Уэйлс.

Мне хочется ему сказать: «Неправые шесть футов выше правых». Хочется сказать: «Не можешь схватить Гарри, так схвати хотя бы его рубашку и держись за нее». «Я старик, а когда старишься, все твои выстрелы становятся холостыми», — хочется мне сказать ему. Он смотрит на меня и видит человека, который целился ему в сердце. Джоси Уэйлс. Я-то надеялся, что стрелявший находится среди этих троих, хотя и знал, что так не будет. Конечно же, человек опознает того, кто пытался

его убить, опознает хотя бы в душе. В менеджера стреляли со спины, но Певец-то получил пулю в грудь. Но и это меня озадачивает. Зачем кому-то понадобилось убивать Певца? Даже эти обаполы, облапошенные аферой со скачками, имели зуб не на самого Певца, а только на его друга. Он смотрит на меня, я смотрю на него, и мы оба знаем, что есть человек, на которого не сможет кивнуть ни он, ни я. Я хочу убить Зверюгу Легго, вернуть его к жизни и убить снова. И проделать это раз семь, пока Певец не удовлетворится. Но это не удовлетворит никого. А этот суд уже становится похож на анекдот. И я хочу уйти отсюда раньше, чем захочется ему.

— Я в него не стрелял, — упрямо бубнит Зверюга Легго. — Я стрелял в его жену.

После этого притихает даже менеджер. Затихает вся округа: все мы впиваемся глазами в Легго. Он говорит ту фразу так, будто она — последняя соломинка, за которую можно уцепиться. Мне вспоминаются слова, сказанные кем-то из убитых мною: «Папа, я не убивал ту женщину, я ее всего лишь изнасиловал». Обапол, что рядом со мной, начинает смеяться.

— Да ты чё, — говорит он. — Ее Бам-Бам пристрелил, а не ты.

— Нет, я, — упрямится Зверюга Легго.

— Куда ж ты ей стрелял? — задаю я вопрос.

— Ну это. В голову. Да, бомбоклат, туда.

Второй, который не петый, тоже прыскает со смеху. Где-то в глубине, далеко от сердца, меня тоже тянет рассмеяться.

— То есть ты пальнул ей в голову, но так и не убил? ЦРУ натаскивало тебя почти два месяца, а ты не сумел убить даже одну женщину? Что же деется со всем тем, что нам кажут в кино? Что это за подъёбка должна быть с тренировкой, когда восемь-девять лбов с автоматами не могут грохнуть одного, и то безоружного? Их же там в студии завалить ничего не стоило!

И тогда моя женщина говорит: «Но, Папа, ты же думающий человек».

Я смотрю и думаю, что она стоит наверху, над кромкой каньона, но это оказывается только видимость — там нет даже дерева. Холодный ветер задувает вдоль русла. Готов поклясться: мне показалось, что я на секунду буквально видел его секундное зависание, после чего он нырнул вниз, хотя у ветра нет цвета. Это песня выпрыгнула из радио и тоже нырнула в русло канала. «*Делай это легко, сквозь всю ночь. Танец тени*». Мы с Тони Паваротти едем в машине. Хотя нет, Тони

Паваротти ушел. Да нет, вот же он, рядом. Точнее, за силуэтами троих присяжных. Мы у Канала Макгрегора, и он там же. Смотрит в сумрак, и ни в какой мы не в машине. Здесь же и Певец, вместе со своим менеджером. Говори, менеджер, бахвалься чем-нибудь, и я, в свою очередь, узнаю, что ты все еще здесь. Зверюга Легго по-прежнему бухтит, что стрелял не в Певца, а в жену. Я чувствую себя так, будто находился снаружи и только что вернулся обратно в обсуждение, которое, пока меня не было, сильно отклонилось. Но я ведь никуда не отлучался. Я вот он, здесь, а вверх и вниз призрачно задувает ветер, и я вижу его и не вижу, и недоумеваю, единственный ли я из тех, кто его видит и не видит, — ветер, взвивающийся над каналом подобно готовящемуся взлететь призраку.

— Ну, хватит тут хиромантию разводить. Кем вы их признаете? Виновными или невиновными?

«Виновными!» — разносится над всем каналом. Я смотрю и пересчитываю с первого до последнего. Один… три… пять… семь… восемь… девять. Разве девять? Я смотрю снова и вижу восемь. Моргаю и в миг между морганием и открытыми глазами с уверенностью вижу — девять, и девятый похож на Христа. Нет, на Супермена. А

не на цэрэушника? Моргни, Папа, сморгни еще раз. Проморгайся как следует и объяви судебное решение.

— Этот суд считает…

— Да какой это, бомбоклат, суд!

— Этот суд считает вас виновными.

— Не суд это, а подстава. И ты, и ты, и все вы. Силком вынуждаете людей делать, что вам угодно…

— Вы все приговариваетесь к смерти. Этот суд истинно народный.

— Ага, народный… Все, кто наверху, остаются незамаранные, а бедняки страдают.

— Сейчас все страдают от вас.

— Вот он не страдает. Как лев в Сионе[167].

— Тони, тяни этого бомбоклата сюда.

Тони запихивает кляп Зверюге обратно в рот и тащит его ко мне. Он даже не заботится, чтобы тот шел своими ногами, а просто хватает за рубашку и волочит, словно Легго уже труп, а тот лишь загребает по дороге ногами. Подволакивает его, стало быть, ко мне, а я киваю в сторону Певца. Насчет женщин я думал, что они уйдут, но они остаются и смотрят. Я впервые за все время

---

[167] Примечания: 167

Аллюзия на название песни Боба Марли «Железный лев в Сионе» (*англ.* Iron Lion Zion).

подхожу к Певцу. О том, что я собираюсь сделать, он знает. Буквально кивком он может сказать «да» или «нет», но ему нужно высказать это мне. Человек, поправший справедливость, должен сам решить, как ее восстановить. Менеджер отходит с дороги, потому что это дело сугубо наше с Певцом. Он смотрит на меня, я смотрю на него и в какое-то мгновение вижу вспышку и слышу «пум-м» и шипение. Я на дороге с тремя людьми, но не с Паваротти. Певец рябит, как сквозь помехи на экране, а глаза у него посверкивают огоньками. Я встряхиваю головой. Ветер куда-то делся. Прохладный бриз с моря, который мне так люб. Я встряхиваюсь. Смотрю на него, а он смотрит на меня. За спиной у меня, в заднем кармане, пистолет, я достаю его и, держа за ствол, протягиваю Певцу. Жду, когда он возьмет оружие в руку. Оглядываю Зверюгу Легго и Певца. Рука у того даже не вздрагивает. Он даже не качает головой, что, мол, «нет». А просто поворачивается и уходит, а вслед за ним семенит менеджер. Я не хочу, чтобы он удалился прежде, чем узнает, что Папа Ло свершил правосудие. Когда я спускаю курок, он на секунду останавливается. У диджеев на тусовках принято говорить: «*Люди, вы гото-о-овы?*» Певец не оборачивается, когда тело Зверюги Легго

плашмя падает наземь, а я сую пистолет обратно в карман. Легго лежит бездыханный, из дырки в затылке у него с журчанием изливается кровь, густенькая, как детская рвота. Ветер вокруг вьется веретеном, словно американский торнадо.

Мы у берега, и я ощущаю запах морской соли. Хотя Канал Макгрегора не рядом с морем. Певец с менеджером удалились. Когда они успели уехать? Казалось, я моргнул, а их уже нет. Я снова встряхиваю головой. Смотрю и вижу его на постели в стране белых людей, посреди комнаты в доме с длинной белой дорогой, петляющей в горы, — место как будто из книги сказок. Я снова смаргиваю и вижу, как в мою сторону идет еще один человек, но уже не Певец. Кожа да кости и черен, как головня. Подходит ко мне так близко, что я слышу от него привонь еды и травки, и спрашивает меня: «*Где кольцо? Где кольцо Его Императорского Величества? Я знаю, ты его видел. Я знаю, ты видел, как он его носил. Так где оно, бомбоклат? Мне оно срочно надобно, оно не может отправиться с ним в землю, ты меня слышишь? Мне нужно это, бомбоклат, кольцо. У меня есть на него право, право на воскрешение Его Императорского Величества царя Менелика, сына Соломонова, что правит Израилем и ниспослал живительный*

огонь во чрево царицы Савской»[168]. Вот так он мне говорит и подходит вплотную, а я смотрю мимо него, а ветер все холодней, все громче, все злее, уже как буря, но только не буря, а море, и я весь трясусь, в самом деле трясусь, но тут все проходит и рядом опять Канал Макгрегора, и все вокруг спокойно. Спину трет ствол пистолета, он еще теплый от выстрела, рукоятка прямо под ремнем, а двое бывших присяжных набросили на тех двоих лассо и утаскивают их, как скот на ранчо, а женщины по-прежнему остаются и смотрят. Я смотрю, как они смотрят. Хотелось бы знать, что заставляет женщину смотреть на зло, которое творит мужчина. Может, если б женщина не свидетельствовала на суде, то и сам суд не состоялся бы.

«Но, Папа, ты же думающий человек», — говорит моя женщина.

Я слышу ее, но не вижу. Тех двоих волокут на пустырь с клочками кустарника. Без барабанного боя, без музыки, без церемоний. Концы веревок судьи перебрасывают через два сука одного и того же дерева. Почему там сейчас белый человек? Почему он там за ними, зачем на них смотрит и

[168] Примечания: 168

Менелик — «Царь царей» из Эфиопии; потомок библейского царя Соломона и царицы Савской.

почему оборачивается на меня? Когда он смотрит на меня, бриз становится холодным, льдистым. Те двое стоят на высоких табуретах, при этом оба трясутся и причитают. Трясутся так, что табуретки начинают пошатываться, а они от этого лишь пугливо вскрикивают, хотя сами виноваты. Тот, который не петый, думает, что ему нужно просто напрячь шею, напрячь в ней каждый мускул, и тогда с вышибанием табуретки он не умрет. Не знаю, отчего мне известны его мысли, но они мне известны в точности, и я все знаю как будто изнутри. А белый человек оглядывает их, смотрит вверх-вниз на веревку, смотрит и на меня, отчего мне хочется подпрыгнуть и вскричать: «Кто ты, белый человек? Кто ты такой? Это ты шел следом за Певцом? Как ты здесь оказался?» Но выговорить я не могу ни слова, потому что тот белый человек вдруг приближается к ним, как будто думая с ними слиться. Никто его не видит. Не знаю почему, но он смотрит на них и пристально взирает на меня. Тони Паваротти не ждет. Женщины всё смотрят. Может, это даппи?

Тони Паваротти отпинывает первую табуретку, отчего у приговоренного срывается то ли одна, то ли сразу обе ступни. Вякнув горлом, он дергается и раскачивается так резко и необузданно, что

сшибает с табурета своего товарища, обрекая его таким образом на смерть секундой раньше. Они оба дергаются и раскачиваются, скрипят веревки, а я смотрю на них и смотрю меж ними на белого человека, при этом у меня самого шея начинает гореть, резаться и кровоточить, а череп накачивается тяжелой пульсацией крови, словно шар — водой. Эти двое все дергаются. Всему виной ковбойские фильмы. Люди думают, что повешение происходит, как только заканчивается музыка. Не зная при этом, что если не обламывается шея, то процесс может затянуться, и надолго. Сейчас так и происходит, а потому женщины начинают расходиться спинами назад в темноту. Головы у тех двоих разбухают от жуткого прилива крови. От кислородного голодания не выдерживают легкие, и болтаться эти двое несчастных перестают. Но они еще не умерли. Я знаю. Не знаю, как и почему, но *знаю*. Знаю из чувства, что внутри и снаружи них, и просто глядя на их шеи.

Тот белый человек-даппи все еще там. Я смаргиваю, и он уже со мной в машине. Я и двое других, которых я знаю, но не могу вспомнить, и мы на дороге — на мосту через море, — только за рулем не Паваротти, а кто-то другой. Мы с ним знакомы, потому что он шутит о дурацкой лошади,

которую я купил год назад, а она до сих пор не выиграла ни одного заезда. Что вообще-то не вяжется со смыслом, так как лошадь я себе купил всего неделю назад. Но когда я говорю, меня никто не слышит, потому что в машине я тоже разговариваю и вижу там сам себя за разговором, слышу даже собственные слова насчет лошади и то, как я говорю сам себе, что лошадь-то купил всего неделю назад.

Тела теперь качаются на ветру, хотя по-прежнему не в такт. Все разошлись: ушли женщины, ушли мужчины, ушла ночь, посерело небо, и подняли свой гвалт чайки. А белого человека я не вижу. Мы в машине. Сейчас мы в машине, только она давно остановилась. Мы держим путь к Каналу Макгрегора. Вернее, нет: мы едем с футбольного матча, только я думаю о скачках, потому что в машине Ллойд, а это он тренирует лошадь. Нет, сейчас 22 апреля 1978 года. Мне никогда не забыть тот день повешения. Хотя нет, сегодня 5 февраля 1979-го, в памяти у меня прочно засел день того идиотского футбольного матча, потому что я тогда разговаривал с Ллойдом о том, как он тренирует мою лошадь.

Хотя постой. Отмотай пленку. Что-то голова у меня плоховато сидит на плечах.

Тучи нависли сизые, тяжелые. Вот-вот пойдет дождь.

«Тревор, почему ты всегда гонишь по-сумасшедшему, когда мы доезжаем до этой треклятой дамбы? Ты что, так убегаешь от дневного света?»

«Ты ж его знаешь, босс. Не может дождаться, когда мы оставим Портмор позади».

«Дождаться не может? А как там ее звать, Клодетта или Доркас?»

«Ха-ха, да разве там, в Портморе, девки, босс? Чисто вампирши».

«Ну так перестань подставлять их зубам свою шею, позаботься хоть для разнообразия о своем отпрыске. Как насчет того?»

«Хорошо, босс. Хорошо сказано!»

«Вся эта болтовня о женщинах, почему она всегда завязывается между мужчинами в машинах? Ох-х».

«Можно повернуть обратно, босс, и проведать двоих других, уже не Клодетту и не Доркас».

«Ну уж нет, не надо мне того, что осталось после Тревора. Он их всех небось всмятку оттоптал. Пользы теперь от них никакой».

«Уау, босс, из тебя сегодня юмор так и прет».

«Папа, а как в этот раз насчет Лерлен и Миллисент вместо Клодетты и Доркас?»

«Между прочим, Клодин и Дорсент».

«Лерлент и Миллисен».

«Ха-ха-ха».

«Вы все сегодня как с ума посходили. Ллойд, вразуми хоть ты меня чем-нибудь дельным».

«Бомбоклат! Босс. Папа».

«Братья, чего тормозим?»

«Босс… глянь».

«Эт-то что еще за хрень?»

«Четверо, босс. Вавилон. Три мотоцикла дежурят и четверо фараонов. Краснолампасники, не хуки-хуяки. Остановиться?»

«Постой. Вы не обратили внимания на припаркованную машину, когда мы проезжали мимо? Кто-то, должно быть, пас нас сзади».

«Я машины не помню».

«Тогда что это там за нами? Вот же черт… Ллойд, как далеко мы от цинкового завода?»

«Примерно в сотне ярдов, босс».

«Только приткнуться нигде нельзя».

«Машина за нами остановилась, босс».

«Сколько там фараонов? Понятно, что не только эти трое. Сколько их выходит из машины?»

«Никто не выходит. Так мы останавливаемся?»

«Подтормаживай, плавно. Черт бы их подрал».

«Если не остановиться, то они нашу машину

изрешетят».

«Их там всего четверо, на трех моциках».

«Четверо, но с “калашами”, Папа».

«Давай задний ход и разворот».

«Все равно нагонят, босс, без труда».

«За что? Мы чистые, в машине у нас ничего нет».

«Все равно, если надо, что-нибудь приплетут. Вон у одного мегафон».

«А ну-ка, ну-ка… Я его, кажись, знаю».

«Машину на прикол и выходим с поднятыми руками!»

«Тревор, останавливай машину. Только мотор не глуши».

«Выборочная проверка на дорогах! Выходим по одному, с поднятыми руками!»

«Папа, из машины не выходи. Не выходи из машины».

«Выборочная проверка на дорогах! Выходим по одному, с поднятыми, мля, руками!»

«Папа, солнце мое, мне это не нравится. Не выходи».

«Алё! Четвертый раз повторять не будем, выходим, бомбоклат, из машины! Папа Ло!»

«В чем вообще дело, офицер?»

«Папа, они что, знают, что ты здесь?»

«Офицер, в чем дело?»

«Я похож на того, хто будет вести с тобой разговоры? Ты и твои кадры должны эвакуироваться из машины».

«Братья, разворачиваемся, мигом».

«Прямо в машину, что за нами? Ты, часом, не спятил? Папа, что ты задумал?»

«У кого здесь есть пушка? У меня тридцать восьмой “магнум”».

«А у меня ничего».

«У меня тоже».

«А я вообще лошадками занимаюсь».

«Ч-черт».

«Папа, тебе не понравится, если мне придется повторить, чтобы ты вышел».

«Папа?»

«Выходим. Мы идем, офицер. Видишь, мы…»

«С такими, как ты, разговор короток. Выходите наружу и становитесь вон там, рядом с пустырем. Вон там через дорогу, кретин».

«Полегче, партнер».

«Я тебе не партнер, козлина. Думаешь, я тебя боюсь?»

«Тебе нужно боя…»

«Тревор, закрой рот. Куда встать, офицер?»

«Ты, бомбоклат, глухой или что? Хочешь, что-

бы я по слогам тебе произнес? Отойдите все от машины, чтобы мы могли ее обыскать. Двигаться налево и идти, пока не встанете овозля пустыря сбоку от дороги».

«Папа, Папа, ты думаешь, они…»

«Заткнись, Ллойд. Лучше расслабься».

«Ну что, мистер Папа Ло, желаешь узнать, зачем мы тебя нынче остановили?

«У меня никаких дел с Вавилоном нет».

«Нам безусловно придется подучить тебя кое-каким манерам до наступления ночи».

«Вполне в вашем стиле, офицер».

«Сержант, ты не поверишь, что у них тут».

«В тачке?»

«В шмачке. У них тут магнитола».

«Магнитола? В геттовской колымаге? И работет?.. А ну включи. А ну-ка сделай погромче… Значит, ты, капрал, знаешь, как под диско отжигать? «Жарь это легко, жарь это сквозь всю ночь, танец тени…» *Ах, вещь знатная».*

«Гы-гы, слова вообще-то слегка другие, сержант».

«Это ты мне насчет слов говоришь? А не мы с тобой прошлый вечер были в “Вертушке”?»

«Прошлый вечер? Вообще да, но только в оцеплении».

«Заткни хайло. И давай-ка пока, инспектор, обыщи этих четверых. Быстро все проделай, писю-попу общупай, а то эти ребята из гетто думают, что мы по дуростии это не учтем. Сначала обшарь Папу Ло. Да-а… «Жги это легко, жги сквозь всю ночь, танец тени». *Ла-ла-ла…* «Жги это легко, жги сквозь всю ночь еще легче, танец тееееени». *Ла-ла-ла-ла… Да, когда вот так по-грамотному делаешь диско-«па», все телки в дискотеке на тебя западают. Ну, что, инспектор, кто-нибудь из них там делает танец тени?»*

«Нет, сержант, но если подмигнешь, можно их пошевелить».

«Капрал, в машине что-нибудь еще есть?»

«Ничего, сержант. Все чисто. Только этот вот "магнум". Кто-то из них пытался его, видно, спрятать под пассажирским сиденьем».

«Ого. Прямо-таки, бомбоклат, тридцать восьмого калибра? На полу? Не твой, Папа? Везет тебе, сучий сын… Или чей это ствол, твоей матушки? Инспектор, осмотреть оружие, пока мы тут с констеблем покараулим эту четверку».

«Что, реально "магнум" тридцать восьмой?»

«Реальный, как пузо моей беременной бабы, сержант».

«Тридцать восьмой. Надо же… Поцелуйте меня

в фалду. Меня теперь вот какое раздумье гложет, джентльмены. Вот у нас на руках "магнум" тридцать восьмого калибра. А не та ли это самая тридцатьвосьмерочка, из которой Папа Ло со своими корешами стрелял в полицию?»

«Сложно сказать, инспектор».

«А ты что, не помнишь? Тот инциндент, когда Папа Ло со своими тремя подручными открыл огонь по полиции, остановившей их всего-навсего для выборочной проверки? А ну вы, четверо, подняли руки».

«Что-то я не припомню».

«А ты вот вдумайся и напряги память. Инспектор, я гляжу, ты уже ловишь, о чем я. Ты не помнишь, как Папа Ло открыл огонь по полиции? Из этой вот самой пушки. Тридцать восьмого калибра. И бедной полиции не оставалось ничего иного, кроме как открыть встречный огонь».

«Это когда же?»

«Да вот сейчас. Огонь!»

И стреляет в меня из моего же «магнума», и пуля пробивает мне губу и вышибает начисто два зуба, ожигает язык и делает дыру в затылке, куда снаружи тут же влетает воздух, а наружу устремляется кровь; но мы всего лишь вешали

двоих; да, мы вешали двоих, а пророк Гад[169] допытывался у меня, куда девалось кольцо, будто бы я что-то знаю о руках Певца; пули из «калашей» прошивают мне грудь, «*вжик-вжик*», как замок-молния — одна две три четыре пять шесть семь восемь, — а у себя в доме Питер Тош на коленях после того, как одна пуля влетает в рот женщине и вышибает два зуба, а Леппо приставляет Тошу ко лбу ствол и «*пум*», и еще раз «*пум*», и еще две пули человеку с радио, одна следующему, что сзади, где она остается навсегда, но это стреляют в меня, и я образую реку крови и мочи у себя между ногами, и Карлтон… Карлтон, я вижу тебя, Карлтон на ритме, а твоя жена, что сзади, обжимает мохнаткой того, кто собирается тебя убить, Карлтон! А у Певца больше нет волос; Певец разметался на кровати и получает укол от белого с гитлеровской свастикой, горящей во лбу; пуля отшибает мне палец и ставит на мне печать, как у Христа, на левой ладони; боли нет, просто мгновенный ожог тела, и таких огненных очажков во мне уже две дюжины, но воздух с присвистом мчится сквозь меня, вон как все тело свистит сквозняком; Тревор и Ллойд танцуют под

[169] Примечания: 169

Гад — библейский пророк, друг царя Давида, за свою искреннюю приверженность к нему был прозван «ясновидцем Давидовым».

пулями, они взбрыкивают, дрыгаются, дергаются, как от родимчика, пули заставляют их подскакивать, подскакиваю и я, а выстрелы трещат, как хлопушки, откуда-то издали, шея у меня разговаривает кровью, а рот не может открыться, на нем сидит ангел смерти; нет, он на плече у Певца, ангел — это белый человек, я его уже вижу и знаю, что он стоит на сцене, как Сеага и Мэнли, что обещают беднякам коврижки, а затем моя шея трещит и я вижу, как сам кружусь в танце пуль, как будто смотрю на себя в театре из верхнего ряда, который все выше, выше, и вот он уже над дамбой и морем, и высоко над семью машинами, что сейчас слетаются сюда суетливым мушиным роем; из них всех вылезают полицейские, сходятся сюда и стреляют, я уже сбитый на земле, утопаю в асфальте, а один из них стреляет и раз, и два, и три, и еще один стреляет дважды, тоже неплохо, а потом еще один — «*пум пум пум*» — стреляет по нам всем, козел, тоже мне фараоны и ганмены, а кто-то по рации передает о срочной операции по задержанию, и полицейских появляется еще больше, все отдают каую-то дань, а один целит мне в шею и «*пум*», другой целит в колено и «*пум*», третий мне в яйца и «*пум*», почему за все это время не проехала ни одна нормальная ма-

шина, а только полицейские, они заблокировали дорогу еще издали, потому как знали, что еду я, видно, у них в гетто есть осведомитель, и он им сказал, что я еду, у Тревора не осталось лица, у Ллойда вскрыты живот и грудь, у меня расколота голова, а сердце все еще стучит, и тут ко мне склоняется еще один полицейский, и говорит «это тебе за Сиберта», и стреляет мне прямо в сердце, и оно лопается и мертвеет, тогда он встает и идет обратно к своей машине, а другие полицейские расходятся по своим, а я поднимаюсь все выше, выше, но я все еще на дороге и могу видеть их всех в строю полицейских машин, они покидают меня и уезжают под вой сирен, так что люди перед ними расступаются под вой единственного зверя по имени «сирена», который змеится всю дорогу до квартала, где располагается офис министра безопасности, который они опоясывают и едут круг за кругом, громко и развязно смеясь, а я вижу и все, что сверху, и все, что снизу, и все, что происходило десяток лет назад — Питер Нэссер с первым стволом в 1966 году, и мы берем к себе Джоси Уэйлса, и как я по ошибке убиваю того школьника, и что происходит в сером месте, как будто я могу что-нибудь сделать и все это изменить, если только крикну достаточно громко:

«Рвите и мечите, не слушайте, бомбоклат, идиота расту, который просто сосет вам кровь через трубку с “травкой”, рвите-мечите и не давайте нацистам к себе прикасаться!»; но вот белый человек стоит через дорогу — белый, которого я знаю и не знаю, и он смотрит через пустырь рядом с дорогой, там мелкое болотце, а в нем плавает шофер, крови от выстрела нет, хорошо, значит, крокодил на него не набросится, а он плавает, плавает и плавает, и вот его замечает рыбацкая лодка и проворно подъезжает подобрать, и он залезает в нее и трясется и завывает, что он всего-то водил такси, и рыбак отплывает, а я уже не на канале и не вершу суд, я там вовсе и не был, это закончилось с год назад, и все закончилось больше года назад, и все, что имело место между выстрелом мне в голову и выстрелом мне в сердце во мгновение ока; все то последнее, что я сделал в своей жизни, разворачивается и прокручивается разом и тогда, и сейчас, одно за другим и все враз, но вон он Тревор, все еще исходящий кровью, и Ллойд с бурлящей в горле смертью, и я, почтенные джентльмены. Вон он я.

Алекс Пирс

Делай это легко, делай это сквозь ночь. И эта хрень сработает… Так. Сейчас же отбрось эту долбаную мелодийку, пидор. Будешь держать ее в башке, и тогда ты пошевелишься, дернешься или… не знаю; правда, блин, не знаю… он об этом догадается, и тогда все это кончится какой-нибудь кошмарной сценой убийства: удавкой из шнурка, кури балдей, а все оттого, что ты проснулся с этой долбаной песенкой, что трясла своей потной лавсановой задницей у тебя в голове. Рано или поздно дуралей поплатится за то, что решил пошевелиться. Правая часть мозга меня безжалостно корит: вот тебе, не хрен было заявляться в «Диско Дак». Спал бы себе да спал. А что? Ну-ка проверим, явь это или сон. Четыре спонтанно выброшенных на подушку пальца означают, что это сон, пять — что явь. Раз, два, три, четыре… пять. Мазафакер.

Ну а что, если мне просто снится, будто это наяву? Или что это во сне? Помнится, я где-то читал: такие вещи происходят, когда ты умираешь. Ё-моё, что за ересь… А ну-ка дыши размеренно. Нет, вообще не дыши. Ладно, дыши, но медленно.

А теперь перестань. Я знаю, что это. В смысле, скорее всего, ты просто выходишь из глюков. И сейчас ты просто выполз из одного особенно ломового. Вот что бывает, если коксом разживаться где-нибудь помимо Сорок Второй или Восьмой улицы. А ведь именно туда тебя направляли наводчики и с Сорок Первой, и с Пятой. Хотя постой, какой же это глюк. Я не глючу. Даже на Ямайке. Никогда. Она сама по себе сплошной глюк, и… Бог ты мой, перестань так ломать себе голову. Будешь так напрягаться и начнешь мыслить вслух — ой, я что-то сейчас сказал? Бог ты мой, бог ты мой, боог тыы моооой — прекрати это, Алекс Пирс, пре-кра-ти. Остынь сию же минуту. Остынь, я сказал. Закрой глаза и попытайся ухватиться за сон, который от тебя ускользнул; давай прямо с ходу, а когда проснешься, этого человека, сидящего на краю твоей кровати, уже не будет. А может, и еще лучше: не будет того, кто открыл твою дверь, вошел как раз в момент твоего пробуждения, потому что ты по-настоящему никогда не засыпаешь, да и спать по-настоящему не можешь на этом пыточном ложе. Так что никто сюда не входил, не подходил к окну и не задергивал шторы, не лез к себе под рубашку — не смотри, твою мать, не смо-три — и не сел на твою кровать.

Никаких тебе скрипов, щелчков, тиков и таков. Закрой глаза. Да, вот так просто. И это сработает. *Это сра-бо-та-ет.*

Я в отеле «Скайлайн». Заехал сюда два дня назад, хотя в Кингстоне уже пять месяцев, а на Ямайке все восемь. Восемь месяцев с той поры, как Линн поставила мне ультиматум: она или Ямайка. Стервоза, иначе не назовешь. Я вообще-то и не ожидал, что она будет ценить мою работу, но надеялся хотя бы на какое-то уважение к тому, что я делаю. Не сказать, чтобы оно совсем уж ей не нравилось. С такой штукой, как ненависть, я бы, черт возьми, как-нибудь совладал. Ненависть — это по крайней мере что-то. Но она проявляла столь редкостное равнодушие, что это меня попросту бесило, а что еще хуже — выдвинула ультиматум насчет того, что было ей, в сущности, по барабану. Ну и я, понятно, ищу способ воздать ей той же монетой. Хотя, честно говоря, я все-таки полагаю, что этот свой слоган — «книга или я» — она выдвинула с целью рекогносцировки: как я на это прореагирую.

И вот ведь в чем прикол: в качестве ответа вполне годились оба варианта. Так что же теперь? Да, я ее, типа, ненавижу за то, что она не испытывает ко мне ненависти. Ненавижу за то,

как она вошла в мой кабинет там, в Бруклине, совмещенный у меня со спальней, оседлала, как коня, мой письменный стол и сказала: «Поздравляю, милый: сегодня у тебя судьбоносный день. Ты должен выбрать: или твоя ямайская книжка, которая никуда не приведет, или наши отношения, которые тоже ни к чему не приведут, потому что одно или другое должно увенчаться какой-то развязкой». Я ей ответил: «Ты, блин, что, обслушалась “Прибытия медленного поезда”?[170] Если да, то заделываться фанаткой Дилана сейчас самое, блин, неподходящее время». На это она назвала меня «задротом, которому нужно не пальцы гнуть, а отвечать на поставленный вопрос». Я сказал, что последнее время много чего прочел на тему психологии, где подобная постановка вопроса именуется не иначе как «эмоциональный шантаж», поэтому на такой вопрос я отвечать отказываюсь. Она посмотрела-посмотрела и сказала: «Что ж, это и есть твой ответ». И вышла из моей — нашей — спальни. О, я бы сейчас многое отдал за пощечину, которую мне, пожалуй, следовало ей тогда влепить…

Не знаю, с чего это вдруг я об этом раздумался.

---

[170] Примечания: 170

«Прибытие медленного поезда» — название альбома Боба Дилана (1979).

Предположим, что я бы, гм, усилием воли составил ей счастье и мы бы протянули еще года два, пока наконец не сошлись на том, что обрыдли друг другу вконец. Но, может, этого я и заслуживал — участи скучливого, довольного своим уделом домохозяина с круглеющим пузцом; во всяком случае, тогда я не застал бы по пробуждении какого-то субъекта, сидящего сбоку на моей кровати и занятого созерцанием пола. Скучать в Бруклине — это по меньшей мере забавно. «Дорогая редакция, посоветуйте, как быть. Я обзавелся проблемой еще до того, как у меня появился к ней повод».

По правде говоря, в Нью-Йорк я возвратился, чувствуя в себе некую дыру размером с третий мир, которую, я знал, Линн собою не заслонить, но все равно постарался, чтобы она это сделала. Возможно, мне досаждало то, что она не пыталась устроить мне драму со слезами, что ей-де не по силам быть при мне супергероиней; злило и то, что она не уплыла затем по реке из слез, написав обо мне какую-нибудь слащавую балладу в духе Карли Саймон. Вместо этого я заполучил девушку, которая, в сущности, относилась ко мне так же, как Ямайка (другая моя зазноба): то, что у нас есть, возможно, и неплохо, но учти — ты

льстишь себе, если думаешь, что после какого-то момента мне будет до тебя дело. Возможно, к ней я проникся по той же причине, по которой из раза в раз проникаюсь к Ямайке. Я с самого начала знаю, что у нас ничего не получится, но это все равно не удерживает меня от того, чтобы за ней поволочиться. Казалось бы, зачем? Да хрен его знает. Вел бы я себя так же, если б знал ответ на этот вопрос? Черт возьми, не исключено.

Между тем сбоку, на левой стороне моей кровати, сидит мужчина, уставясь в пол. Я чувствую, что он на него смотрит. Лишь раз я приподнял голову и тут же мысленно себя обругал: он наверняка это почувствовал. А может, и нет. Сидящий на моей кровати так легок, что вдавленность на ней я едва чувствую. При этом он сидит на моих простынях: они сейчас натянуты и путами стягивают мне правую ногу у него за спиной. Бог знает, где сейчас моя левая, ладно, главное — не шевели ею. Не ше-ве-ли. И все обойдется. Дружок, ты, кажется, собирался откочевать обратно в сон; вспомни, таков был твой изначальный план. Прекрасно. Просто закрой глаза, прикинься спящим, и когда ты проснешься, этого визитера не будет. Перестань думать, что это не сработает; придурок, ты еще не пробовал. Закрой глаза, и

всё. Зажмурь их так, чтоб выдавились слезы. Зажмурь и отсчитывай секунды. Раздватричетырепять… Нет, язви тебя, это чересчур быстро. Надо медленней — раз… два… три… четыре… пять… — медленней, еще медленней, и когда ты откроешь глаза, он исчезнет. Уйдет, растворится… Нет, все сидит, зараза.

Он по-прежнему здесь. Глянь на него с закрытыми глазами. Он что, включил свет? Этот факер включил свет? Кто, черт возьми, включает свет в это время? Нет, не гляди. Штаны черные, не синие. Точно? Разве не цвета морской волны, с голубой рубашкой? А голова какая, лысая? И он ее держит руками? Он белый? Чернявый? Кто же носит штаны и рубаху в тон? Не надо, не смотри. А если захрапеть, то он уйдет? Черт. Надо бы перевернуться. Все во сне ворочаются; если я не буду этого делать, он подумает, что я не сплю. А если я повернусь, то могу ненароком его вспугнуть, и вдруг он что-нибудь выкинет? Мои джинсы все так же на стуле у письменного стола, за которым я совсем не работаю. Бумажник вон выпростался из кармана, того и гляди упадет. Проездной, презерватив, тридцать баксов — или пятьдесят? Чего это я разглядываю свой гребаный кошелек? Пустая коробка из «Кентукки фрайд чикен» — в

Джемдауне это культовая жрачка. Блин, а сумка моя где? У него в ногах, что ли? Он что, занят тем, что ее обшаривает? Алекс Пирс, гребаный ты трус, а ну-ка встал и сказал: «Братан, какого хера ты, собственно, тут расселся? Это что, твой номер, язви тебя?»

«Чё? Ой, бро, я-то думал, это и вправду мой номер».

«Что, очень похож?»

«Братан, а мы чё, в отеле, что ли?»

«Ну вот, блин, наступает прояснение».

«Да ты знаешь, с вечера так нахуярился, бро, не помню даже, как поднялся наверх. Ты, между прочим, сам виноват: дверь не закрыл, вот пьяный хер вроде меня сюда и забрел… Хорошо еще, что ты не симпатяшка, а то б проснулся с моим хером в жопе аж по самое воскресенье».

«Хорошо, что я не симпатяшка».

«Против правды не попрешь».

«Сейчас ты отсюда делаешь ноги…» — Ёшкин крот, с кем это я разговариваю? Я это сказал или подумал? Он не пошевелился. И не шевелится. Все так же не шевелится.

Ну так соберись, чувак. Собери свое говно воедино. Дыши медленно, мед-лен-но. Может, его слегка пихнуть? Отель-то, в принципе, без-

опасный. Возможно, он из четыреста двадцать третьего номера, а сюда попал просто по ошибке, или же я оставил дверь открытой. Или, может, отель мухлюет и дает от всех дверей одинаковые ключи, думая, что сверять их никому не придет в голову (во всяком случае, белые прожигатели жизни, которым в стране третьего мира не докучают вопросами, не должны по пьяни проявлять такую беспечность: это уже их личная ответственность). Бог ты мой, да что за мысли у тебя. Спи давай; засыпай по-настоящему, а когда реально проснешься, его здесь не будет. Это все равно что… все равно что… все равно что что? Ну, как оставить открытым окно и потом увидеть в комнате ящерку. Закрой уже глаза, пожалуйста. Рядом с коробкой полковника Сандерса[171] стоит видавшая виды печатная машинка, немалого, кстати, веса. Может, пробормотать якобы сквозь сон, сколько она стоит, чтобы он ее прихватил и свалил? Типичное убеждение писателя, что ворам на книги класть три кучи. Ёкарный бабай.

[171] Примечания: 171

Полковник Сандерс — основатель сети фастфудов «Кентукки фрайд чикен».

Мэнникс[172] сейчас схватил бы вон ту лампу и шарахнул этого гада по затылку. Темп жизни — не двадцать четыре кадра в секунду. Барнаби Джонс[173] давно бы уже что-нибудь предпринял. «Женщины в полиции»[174], которые все замахиваются, да не бьют, и то бы что-нибудь выкинули. Какой-нибудь финт ушами.

Слева от меня стол, справа санузел, а между ними этот тип. До санузла пять футов. Может, шесть. Ну, максимум восемь. Дверь открыта. Если там есть ключ (он же должен там быть, у каждой ванной должен быть ключ — или нет?), я просто прыгну с этой кровати, выдерну ногу почти из-под него и, наверное, рвану к двери — в ванной я окажусь раньше, чем он опомнится и на меня напрыгнет. Или придется в два прыжка, раз-два. На полу ковровое покрытие, так что не поскользнусь. Вон она, гребаная дверь, надо только подбежать к ней и захлопнуть за собой, утопить ручку, если нет ключа, — ну как не мо-

---

[172] Примечания: 172

Джо Мэнникс — частный детектив из одноименного телесериала (1967–1975).

[173] Примечания: 173

«Барнаби Джонс» — детективный телесериал (1973–1980).

[174] Примечания: 174

«Женщины в полиции» — полицейский телесериал (1974–1978).

жет быть ключа? Он просто обязан быть! Иначе, бля, я… Что *ты*, язви тебя? Что *иначе*? Ага. Как раз когда я дернусь бежать, он задом пришпилит мне ногу и у него как раз хватит времени, чтобы чиркнуть мне по горлу своим катлассом[175] — он же ямаец, этот тип, значит, должен иметь при себе катласс. Мазафакер. Или пырнет меня в бедро, чтобы лишить подвижности, и чиркнет по артерии — как она там называется, — от которой истекаешь кровью в считаные минуты, да так, что никто не спасет… Прошу тебя, сукин ты сын, ну не откидывайся ты на мою ступню. Может, надо бы подскочить, как будто я очнулся от кошмара, резко пнуть его в спину — точнее, в бок, а пока он пытается сделать то, что там принято у гангстеров — нашарить ствол или типа того, — я дам деру к двери; она ведь должна быть открыта. Ну и что, что за полночь: выскочу как есть в труселях и заору на весь коридор «убивают насилуют полиция», потому как задача сейчас одна: избавиться от этого, который здесь сидит. Ну не место ему здесь, согласитесь.

«Брат, ты меня слышишь? Сдается мне, настало время обзавестись штукенцией».

---

[175] Примечания: 175
Катласс — абордажная сабля; намек на пиратское прошлое Ямайки.

«Какой такой штукенцией?»

«Той самой. Думается мне, “беретта” тебе подойдет».

«За каким таким хером? Нет, Жрец, никакой долбаный ствол мне не нужен. Ты ведь знаешь, что случается со стволами? Люди гибнут, вот что».

«Не за то сейчас речь, брат».

«Причем люди не те».

«Ну это смотря кто с той стороны курка, а кто с этой».

«А что мне с ним делать-то, со стволом? Черт, и зачем он мне вообще?»

«Спроси лучше, как быстро мне удастся его раздобыть и как легко его будет заполучить».

«Ну хорошо, как быстро я могу его заполучить?»

«Прямо сейчас».

«Блин, ты…»

«На, держи».

«Что? Нет. Ей-богу, нет».

«Брат, бери штукенцию».

«Жрец…»

«Бери штукенцию, говорю я тебе».

«Ну, Жрец…»

«Бери, владей и береги».

«Нет, Жрец. Не хочу я никакого, язви его, пистолета. Правда».

«Разве речь идет о том, хочешь или не хочешь?»

Ямайцы и это их изъяснение загадками. Когда-нибудь я хочу ему просто сказать: «Послушай, Жрец, вся эта туманная околесица не прибавляет тебе ума ни на грош». Но тогда я рискую лишиться самого полезного информатора во всем Кингстоне.

«Сколько лет мы уже с тобой знаемся?»

«Не знаю. Года два, три?»

«Я хоть когда-нибудь говорил тебе что-то лишенное смысла?»

«Нет».

«Тогда бери ствол. Или нож. Хоть что-нибудь, брат».

«Но зачем?»

«Затем, что за вторником следует среда. А то, чем ты занимаешься во вторник, меняет тип среды, что для тебя последует».

«Бог ты мой, Жрец, ты хоть раз можешь сказать мне прямую фразу?»

«А то ты в мои фразы не въезжаешь. Кто, как не я, говорит тебе обо всем, что происходит? Или ты запамятовал? Я знаю все, что происходит, и

обо всех. Даже о тебе».

Пожалуйста, не утопай в кровать глубже, не скатывайся, не касайся меня; он там что, скрестил ноги? Никто не скрещивает своих ног; так делают только британские гомосеки. Сейчас он смотрит на меня, я это чувствую — шею сзади начинает покалывать, потому что ты знаешь: кто-то на тебя смотрит. А сейчас она начинает без удержу подергиваться. Вот блин. С каким, интересно, выражением он на меня смотрит? Креня шею, как собачонка, от моего потешного вида? Или как ямайская ребятня, что оторопело пялится, когда меня видит, и недоумевает: а Христос при втором своем пришествии в самом деле будет носить джинсы в обтяжку? Как сейчас поступит этот тип — схватит меня за яйца? Видит ли он меня сквозь простыни?

«Брат, знаешь, как ты лоханулся? Как сильно ты облажался? Я сейчас даже разговаривать с тобой не желаю».

«Ну, так что ж теперь? Поднимайся наверх, брат, дождь идет. Я позвоню на фронтдеск, чтобы к тебе не приставали».

«Я люблю, когда Джа устраивает мне водные процедуры».

«Не мели ерунды, Жрец. Времени половина де-

сятого вечера. Тебя даже плохо слышно из-за грома».

«В прошлый понедельник ты пришел со мной поговорить и сказал: “Жрец, я лишь хочу задать человеку один вопрос”. Я сказал тебе: “Ты можешь задать, но только один, и отвечать на него он тебе не обязан. А может ответить и так, что ответ тебе не понравится”. Ты это запомнил?»

«Конечно, запомнил, ведь ты сказал это мне. Сказал: “Смотри, о чем спрашиваешь Папу Ло”».

«Да я не о Папе Ло. Он не единственный, кого ты спрашивал за минувший день».

«А, ты о Шотта Шерифе? Ты мне стрелку с ним не устраивал, я сам ее набил».

«Брат, я тебе о человеке из ЛПЯ. Ты говорил с Джоси Уэйлсом».

«Ну. И что с того? Он там был. Я спросил, могу ли чуток с ним побазарить, и он сказал “да”. Вот я и порасспрашивал».

«Я также сказал, что рот мне скоро придется зашить на замок, потому что они начинают унюхивать во мне стукача. А я, брат, всего лишь говорю правду. Я ведь даже не стучу».

«Да, ты не стукач, я это понимаю. Заходи, брат».

«А еще я тебе сказал: не думай, что в Джемда-

уне все становятся идиотами, как только видят белого человека. Не ходи в гетто без паспорта гетто».

«Жрец…»

«“Не ходи в гетто без своего гетто-паспорта”, — говорил я тебе».

«Жрец, мне кажется, это все фигня».

«Я говорил: “Не заходи на ту или иную территорию, пока не сойдешься с определенными людьми”. Я говорил тебе: “Не заходи на ту или иную территорию, если тебя не веду я”».

Гребаный Жрец. Мне понадобилось некоторое время уяснить, что он совсем не тот, за кого себя выдает. Хотя, опять же, единственный способ получать информацию сверху — это быть тем, кто занимает низкое положение придонной рыбы. Всюду, куда бы ты ни сунулся, стукачи-осведомители всегда кормятся на самом низу. В каждой стране, где доводится быть, они необязательно одного сорта, но примерно на одно лицо — на треть плут, на треть подонок, на треть просто зарвавшийся лузер, знающий, что важности в нем ровно столько, насколько громко он себя захвалит. Особенно этот анус информационного сброса — вид такой, будто он собственноручно написал Пятикнижие. «Уличный паспорт»… ага,

а палец в жопу не хошь? Парни из Восьми Проулков, с которыми я напоследок общнулся, считали его самым анекдотичным бомбоклатом гетто.

«Это Жрец, что ли, балаболит, что он в Восьми Проулках может пальцы веером топырить? И что тебе зайти сюда нельзя, если только не он тебя послал или привел? Знаешь, почему мы его Жрецом кличем?»

«Он сказал мне, это потому, что он единственный, кто ходит и по Копенгагену, и по Восьми Проулкам».

«А говна к носу он тебе не предлагал? Йоу, браты, вы слышали, что ему наплел Жрец?»

«Что, это не так?»

«Да почему, частично так. Только этот бомбоклат, видно, возомнил себя Христом, раз втюхивает тебе пять хлебов и две рыбы».

«А?»

«Да он потому по гетто везде шляется, что его не только ни одна собака, но и ни одна кошка не боится. Почему, ты думаешь, его кличут Жрецом?»

«Ну-у, э-э…»

«Давай без “ну”, белый паренек. Жрец хочет смотреться большим шоттой. С давних уже пор. И каждый день клянчит у дона: “Дон, дай мне

ствол, а? Ну да-ай, пожалуйста. Ты ведь видишь, я рожден быть руди?" И вот Шотта Шериф устал от его слез и соплей и сказал выдать ему ствол. И знаешь, что случилось? Мой пацан сунул тот ствол себе в штаны, и тут вдруг "бум-м"! Хренок ему и отстрелило. Ума не приложу, как тот опездол жив остался. Я как-то спросил Шотту, не спецом ли он снял тот пистоль с предохранителя, но тот ответил молчанием. Чудо вообще, как он на себя потом руки не наложил. Это ж бабу никогда не трахнуть — для чего вообще жить-то? Вот и выходит, что Жрец: они ж все евнухи».

«Ну как. Хрена нет, но язык-то у него остался».

«Как ты сказал?»

Восемь Проулков. Это правда, Жрец ничего не сделал, чтобы меня с ними свести. От себя я спросил одну нервного вида даму из Ямайского совета церквей, не могу ли я поговорить с кем-то из людей, стоящих за договором о мире. Она куда-то позвонила, и неожиданно для себя я услышал, что могу пойти на встречу хоть завтра. У ямайцев все строится на указательных местоимениях. У них всегда что-то или «типа там», или «типа тут». В Копенгагене, надо сказать, это особенно к месту. Ты закладываешь виражи по улочкам,

шаришь по рынку, и если голова у тебя не идет кругом уже от всего *этого* — деревянных прилавков с бананами, манго и аки, грейпфрутами и плодами хлебного дерева, местными орнаментами и отрезами габардина, газетными лотками и перекатами вездесущего регги (на радио его здесь не услышать), — то ты здесь запросто можешь промахнуть мимо Первого Проулка из так называемых восьми.

Но у каждого проулка есть угол, и на каждом таком углу стоит по пять-шесть ребят, готовых заняться делом, то есть мордобоем. Меня они как-то пропустили, и я сделал вывод, что к нынешней поре, благодаря Певцу, местные как-то свыклись, что на их территорию могут забрести белые люди. Или, пожалуй, более уместный ответ: без слова дона здесь никто не дергается. И пятерка голодных парней, ждущих на кого-нибудь наброситься, удерживается невидимым поводком. Жрец с таким жаром втирал мне насчет опасностей Копенгагена, что даже не сообразил, что вот я возьму и наведаюсь в Восемь Проулков. О них он сказал всего за день до того, как я туда направился. К тому же он думает, что я тикаю по его часам. А еще, что я просто глупый американос, который все еще жив исключительно благодаря

ему. Хотя, видит бог, приехать сюда уже само по себе было глупостью. Подумать только, я делал изначально ставку на тех факеров с северного побережья в майках «*Отъямай меня Ямайка*». А вот теперь давайте посмотрим, кто и сколько раз может сказать: «Брат, я знаю Ямайку такой, какая она есть. Потому что был там и видел». То есть *реальную* Ямайку. Я был там с «роллингами», когда они на «Дайнэмик саунд» записывали «*Goats Head Soup*» (не имею, кстати, никакого отношения к тому, что тот альбом получился полновесным куском дерьма). А начиная с семьдесят шестого года меня в студийном помещении регулярно наблюдал Питер Тош и, что примечательно, не гнал. А видели б вы, как я сказал Певцу, что его обработка битловской «И я люблю ее», по мнению Пола Маккартни, самая лучшая на все времена, то вы бы точно утерлись. И утритесь.

Так что нет, углубляться в дебри Кингстона я не опасаюсь. Дело лишь в том, *что* это за глубина. Взять, например, эту. Такого вы никогда не видели, хотя, может, и бывали здесь десятки раз. Раньше я пробовал проводить параллели, но когда ты здесь, это просто теряет смысл. Когда проходишь ребят на углу, тебе никогда не приходит в голову поднять глаза и обвести, вобрать

в себя всю живописную панораму этого места. Вот ты двигаешь мимо ребят и мужчин, занятых игрой в домино. Тот, который напротив меня, только что сделал широченный замах, чтобы сплеча грохнуть доминошкой по столешнице и закончить, видимо, выигрышную для себя партию (на лице игрока видна торжествующая ухмылка), но тут он замечает тебя, и его рука замедляется, а доминошку он кладет нежно-пренежно, буквально шепотом, будто игра была такой неважнецкой, что ему стыдно собственного азарта перед белым человеком.

Ты идешь дальше и недоумеваешь, а не стал ли сам подобием шоу. В принципе, не исключено, что на тебя здесь будут смотреть и даже пялиться, но ты никак не ожидаешь, что это будет настолько как в кино. Когда всё начинает тормозить и стопориться до темпа замедленной съемки, а затем и вовсе стоп-кадра; когда уши сами собой ловят тишину: вроде бы только что все было на полной громкости, и вдруг музыка обрывается оттого, что где-то разбился стакан, или две женщины ахнули, или же тишина стояла на протяжении всего этого времени. Ты проходишь первый дом (домом это назвать сложно; наверняка чье-то жилище, но точно не дом) и стараешься

не заглядывать за троих ребятишек в дверном проеме. Но все равно это делаешь и изумляешься: а почему проход так хорошо освещен? Там между домами коридор или просто отсутствует крыша? Но стена там темно-синяя, ровная, и ты поневоле задумываешься, кто это решил проявить такую заботу об этом месте.

Мальчуган в длинной, до колен, желтой майке «Старски и Хатч» улыбается, но две девочки (обе постарше) уже обучены этого не делать. Та из них, что на нижней ступеньке, поднимает подол платья, показывая из-под него джинсовые шортики. Дверь за ними такая ветхая, что напоминает лес-пла́вник, но я стараюсь на это не смотреть: в двух-трех футах от них на ступеньках сидит женщина, причесывая волосы девочке постарше, что уместилась у нее в ногах. А между теми тремя ребятишками и женщиной (матерью?) кирпичная стенка с таким множеством вынутых кирпичей, что напоминает шахматную доску. Кто-то пытался побелить стенку, но сдался. Это, признаться, сбивает с толку. Ведь здесь территория ННП, то есть выигравшей на выборах партии, и, казалось бы, ее родные трущобы должны смотреться как-то лучше, добротнее; но смотрятся они еще хуже, чем квартал ЛПЯ. Впрочем,

«хуже» — понятие для Кингстона традиционно относительное и меняется день ото дня… Тьфу ты, да что это я, в самом деле! У меня тут сбоку на кровати расселся какой-то гребаный чувак, а я размышляю о каком-то там гетто, что в десяти милях отсюда!

Ну же, мужик, сядь прямо, не заваливайся. Эта сцена длится уже сколько, минут десять? Ты спишь? Я это уже делал: клал лоб на руки, локтями уткнувшись в колени, хотя обычно я не сплю, а странствую. Блин, не знаю. Сейчас возьму и перевернусь. Что такого может произойти? Он слегка всполошится, а потом поймет, что я по-прежнему сплю. Это же так естественно, повернуться во сне; он, наоборот, счел бы странным, если б я не ворочался. Ведь так? Я хочу разглядеть его лицо. Он потирает себе затылок — лысый, я теперь это вижу, — а руки у него красновато-коричневые. Может, это приток крови? Повернусь-ка я и лягну его в спину. Да, именно так и поступлю.

Нет. Ну уж нет. Я хочу встать в своем, разъязви его, гостиничном номере и заказать, чтоб его, чашку кофе, хренового, потому что отель этот — дешевка, полагающая, что американцы, в силу своей тупости, не знают, какой должен быть вкус у настоящего кофе, что, в общем-то, правда, если

ты вечно выхлебываешь эту бурду до последней капли, но пить я его все равно буду, потому что надо чем-то занять рот, пока идет эта гребаная перезапись пленки со вчерашнего дня, на которой ничего аппетитного, может, и нет.

А затем я схвачу свой рюкзак, натяну джинсы, прыгну в автобус и оглянусь на людей, которые дружно подумают: «Ух ты, белый чувак с нами едет». Только они подумают несколько иными словами, а у меня свои дела, так что я соскочу на остановке перед «Глинером» и составлю разговор с Биллом Билсоном, хотя он и штафирка ЛПЯ и американского правительства; штафирка, которая вечно шпигует того парня из «Нью-Йорк таймс» конским дерьмом. Хотя, в сущности, он славный малый, всегда горазд на парочку непроверенных цитат; я же хочу лишь спросить его, не припоминает ли Джоси Уэйлс, что это был за день, когда стреляли в Певца (хотя, понятно, такая трагедия), и как так он может мне рассказывать, что в него выстрелили как раз в тот момент, когда он собирался передать своему менеджеру ломтик грейпфрута, — ведь этот фактик не был известен никому, кроме самого Певца, его менеджера и меня, поскольку я единственный, с кем они об этом говорили. В смысле, это не ах какой секрет

или что-то в этом роде, но это деталь, вылезающая лишь по итогам длительной кропотливой работы, когда наконец удается расположить к себе и разговорить собеседника.

Разумеется, про грейпфрут я заикаться не буду, скажу лишь, что у этого дона, похоже, имеется реально эксклюзивное знание всех интимных подробностей того покушения, которое, кстати, «покушением» мне называть запрещено. Последний раз, когда я спрашивал Певца, кто все-таки пытался его убить, он посмотрел на меня с улыбкой и сказал, что это «великий секрет». Не упомянул я этого и Джоси Уэйлсу, потому как, сами понимаете, когда я перед этим гляделся в зеркало, надписи «ПИДОР СУИЦИДНЫЙ» у меня на лбу выколото не было.

Черт, не могу удерживать прямоту мысли. Произошло-то не это. В смысле, этого еще не произошло. Я по-прежнему на краю Восьми Проулков и выискиваю Шотта Шерифа, а не Джоси Уэйлса. За каким хером мне думается о Джоси Уэйлсе? Он даже не из тех, чье имя просится на ум, — что, готов поспорить, его более чем устраивает. Джоси Уэйлс — это Копенгаген. Но это было потом, Алекс Пирс. То, что ты узнал в Восьми Проулках, послало тебя в Копенгаген, просто чтобы

до конца все прояснить. Но сначала я побывал в Восьми Проулках. Ну, а если я был там, то для того, чтобы встретиться с Шотта Шерифом. Хотел узнать, действует ли по-прежнему мирный договор после тех вспышек убийств на Орандж-стрит и Печон-стрит на прошлой неделе, где юноша от ЛПЯ из-за подруги зарезал юношу от ННП. И после того последнего шоу с полицией, где ребята в черно-красном наложили лапу на тайник с оружием и боеприпасами, да такой, каким не могла бы похвастаться даже Национальная гвардия США.

Само собой, задать такой вопрос в открытую я не мог. После дружественного визита в Восемь Проулков, где мне дали инфу на Жреца, я нежданно обнаружил его под уличным фонарем. Он сидел там и ждал меня. Во всяком случае, так он сказал: «Брат, я давненько уж тебя тут караулю». Устройство связи гетто более старое и более передовое, чем телефон. Посиживал он на стальной барной сидушке из настоящего бара, в тридцати футах от угла; когда я появился, он покуривал сигарету, потягивал «Хайнекен» и послеживал за партией доминошников. Вид у него был, как у человека, к которому подходишь и эдак запросто спрашиваешь: «Эй, а где тут такой Шотта Шериф?»

— Знаешь, это никак не то место, где ожидаешь увидеть блестящий барный стул.

— Или второе присутствие Иисуса. С магнитофоном.

— Я с ним пересекаюсь то и дело.

— Пересекаешься с кем?

— Да неважно.

Он тоже в курсе, что я пришел разузнать о мирном договоре. Оказывается, их с Папой Ло в одно и то же время замели в тюрягу — как раз когда горе-стрелки нагрянули в дом к Певцу, — и как всякая группа рассудительных людей, оказавшихся в одной куче, они взялись меж собою толковать. Ну а дальше, как известно, возник мирный договор, про который даже написал песню певец Джейкоб Миллер (не супер, но сойдет), а потом возвратился и Певец, чтобы благословить то соглашение еще одним концертом. Я хотел узнать, что же на самом деле привело договор на грань срыва и поставлен ли на его будущем крест. Я спросил Жреца о ночи перед тем, как армейцы постреляли тех ребят в Грин-Бэй; то, что вбило в мирный договор первый клин. Слышал ли он о некоем Ду́шке? Сложно поверить в существование ганмена с таким имечком, более свойственным певцу стиля ду-уоп, но если

таковой действительно существует, то Шотта Шериф, вероятно, о нем слышал. Он ведь тоже, в некотором смысле, причастен к рождению того мирного договора.

— Нет, солнце, не слышал я про такого… Как там его? А он разве не от ЛПЯ?

— Да говорят, что этот Душка был как раз от ННП.

— Ганмен?

— Мутнявая личность.

— Какая-какая?

— Да ладно. В общем, он не отсюда?

— Здесь с таким именем никого нет, Иисусик.

Больше, наверное, мне не сказал бы и Шотта Шериф. Не успел я спросить, можно ли здесь поговорить еще с кем-нибудь, как Жрец ухватил меня, воровато огляделся, не смотрит ли кто, и сказал: «Этот договор должен действовать. Иначе просто быть не может». Голос его звучал едва ли не просительно. Я еще позадавал его соплеменникам какие-то глупые вопросы, типа, знают ли они, что исполнительница «*More More More*» была порнозвездой, и ушел.

На днях Жрец подыскал мне кое-кого пополезней. Он повел меня в какой-то неимоверно загаженный проулок, расположенный в квартале

Кингстона, где верховодит ЛПЯ, и там свел меня с одним из тех, кто удрал из Грин-Бэй; так я впервые встретил человека из реальной «Уэнг-Гэнг». Тот отвел меня в бар, футах в двадцати от места встречи, и запросто заговорил. Оказывается, тот Душка вроде как нашел способ проскользнуть в Саутсайд — территорию ЛПЯ, — где закорефанился с «Уэнг-Гэнг». Он же пробросил, что у армии не хватает людей на охрану стройки в Грин-Бэй. Затем он связал их ганменов с некоей Матой Хари из кингстонского отеля, которая сказала, что ребята, мол, скоро получат стволы плюс по триста американских долларов на брата, а в закрепление сделки еще и дала троим или четверым. Жрец рассказал мне про Душку, ну а выживший поведал мне о Сэлли Кью (кликуха явно не ямайская). Парнишке на вид не было и семнадцати, но для Джемдауна, если ты в этом возрасте шахну пробуешь впервые, ты все равно староват.

«И вот этот Душка всплывает, э-э, четырнадцатого января, — вспоминает он (вернее, вспомнил после того, как я отдал ему свою пачку “Мальборо”, семьдесят баксов и кассету Джерри Раффер-

ти[176], которая неведомо как оказалась в моем рюкзаке). — “Он подъехал с двумя “Скорыми”, и мне это *показалось подозрительным*”, — сказал паренек. Хотя рассказывать юному *шотте,* что в условленном месте тебя ждут стволы, которые нужно всего лишь пойти и взять, это все равно что говорить нарику: “Там в мусорке, в конце проулка, целый пакет с герычем, без всякого адресата”. Парнишка тогда выложил весьма интересную инфу, только вот не помню какую. Надо проверить по записям. “*Мы ж, понимаешь, были в основном растафари, не лейбориты*”. — Может и так. — “*В политику-шмалитику не лезли. В карман никому не заглядывали, а значит, и работали на кого хотим, ты понял*?” Был, однако, январь, сразу после Рождества, и все знали, что в гетто ни у кого нет денег; хуже того, “Уэнг-Гэнг” тогда разосралась и пожгла все мосты с другими бандами Кингстона.

Ну вот, стало быть, там затевалась стройка, а к ней нужна была охрана, но только чтобы со своими стволами. Стало быть, надо искать. Может, оно и не совсем правильно, но когда на севере мамаша говорит мужику, что малявке

[176] Примечания: 176

Джерри Рафферти — британский автор-исполнитель ирландско-шотландского происхождения.

нужно детское питание, а мамаша на юге говорит, что отпрыску нужна школьная форма, думается как-то о другом. А тот чувак насчет стволов связался с армейцами. Ну, связался и связался — солдат, он же не ковбой-убийца, ты понимаешь. Если б то были фараоны, я бы не только, бомбоклат, не повелся, а еще и тому Душке накостылял. Ну а солдат нам чего тревожиться: мы с ними друг другу дорожку не переходили. Я ж говорил, в политику мы никогда не лезем. Но я-то тогда ничего не знал, а солдат нам говорит: «Становитесь вон туда, к мишени». И тут я резко падаю, как будто в обмороке, пока они даже еще не открыли стрельбу. Ползу через кусты, а ведь я еще и босой. Остерегаюсь даже дышать, пока ползу с того стрельбища на участок с тростником. Они выслали вертолет, нас искать. Удивительно, что не нашли: у меня все ноги о траву изрезаны так, что след кровавый стелется аж до самого тростника, где безопасно. Хорошо, что я знал Грин-Бэй. Спас четверых: увел их с пустыря в тростник, слава богу, он там высокий, спрятал нас от вертолета и тянулся до самого даунтауна, до школы Сестер Бенедектина. А один из нас сумел выбраться другим путем к морю, и там его двое рыбаков из воды выудили.

Мы сразу вызвали полицию. В другое время они бы нас поубивали за милую душу, но тут другое: у них кровь вскипает, когда им дорогу переходят армейцы. Единственно, кого фараоны ненавидят пуще ганменов, это армейских. Веришь, брат? К нам на защиту пришли фараоны! К нам — поли-ци-я!»

Чем больше я беру ему выпить, тем оживленней он говорит, и чем ясней становится картина, тем больше в ней возникает нестыковок. Силы обороны Ямайки насчет того происшествия особо не скрытничали. Я даже встречал одного армейского начальника — вполне себе милого человека, хотя и слегка неотесанного. По его словам, все те люди были членами «Уэнг-Гэнг» или их сообщниками, в настоящем или прошлом, которые просочились на военное стрельбище в Грин-Бэй, где открыли огонь по нескольким солдатам, проходившим в то утро огневую подготовку. Может, они спланировали возмездие за то, что армейцы бесцеремонно патрулируют их территорию. Или прослышали, что здесь есть плохо охраняемый склад с оружием, которое можно взять. По-любому они получили по заслугам, явившись средь бела дня как, язви их, ковбои. Только вряд ли можно явиться размахивая ство-

лами, если стволов у вас нет, а вы лишь только рассчитываете ими разжиться.

Позднее, в офисе Билла Билсона, когда я поведал ему, что натолкнулся на одного из беглецов Грин-Бэй, он вдруг жутко заинтересовался, кто бы это мог быть. «Да так, просто парень, — сказал я. — Ты же знаешь, как оно: спустя какое-то время все они на одно лицо». Понятное дело, чушь несусветная, но поскольку все ямайцы полагают, что каждый белый в глубине души расист, то я счел это удобным способом сбить Билла со следа. Ну, а он (в отместку, не иначе) показал мне снимки, которые, по его словам, какой-то чувак просто скинул ему в почтовый ящик. *Чувак*, да еще *какой-то*? «Так кто из нас темнит?» — хотел сказать я, но сдержался. А вместо этого вгляделся в пять мертвых тел, распростертых на песке. На одном снимке двое, на одном еще двое, а на третьем все пятеро, с пролегающими рядом тенями солдат (самих армейцев ни на одном из снимков нет). Из пятерых мертвецов обувь только на одном. Крови немного — наверное, вся ушла в песок. Вообще, трупы на Ямайке мне доводилось наблюдать не раз.

— Ну и что, Билл, ты собираешься с этим делать? А оборонное ведомство Ямайки, кстати, в

курсе, что эти снимки у тебя есть?

— Теперь, наверное, в курсе. Не берусь утверждать, что это не они сами организовали утечку.

— Да неужто? А какой вообще был ход у этого дела?

— А у твоего какой?

— А? Не, брат, сначала ты. Безусловно, было официальное заявление. Уже примерно с год назад.

— Заявление? Солдаты заявлений не делают. А вот твой друг майор…

— Он мне не друг, кореш.

— Это ты скажи кому-нибудь из ганменов. В общем, тот майор никаких заявлений не делал, но сказал, что некая бандгруппа пыталась напасть на контингент офицеров, отрабатывавших практику на стрельбище в Грин-Бэй. Не исключено, что ганмены посчитали: поскольку речь идет о стрельбище, то где-то там есть стволы.

— А кто говорит, что это вообще были ганмены?

— Все они были из Западного Кингстона.

— Это его реплика или твоя?

— Ха-ха. Ты, я вижу, ушлый… В общем, он сказал, что они заявились на режимный объект средь бела дня как, язви их, ковбои. Армейцам не

оставалось ничего иного, как ответить на огонь.

— Для ответного огня необходимо, чтобы в тебя обязательно стреляли?

— В смысле?

— Да это я так, стреляю по воробушкам… Значит, эти ребята атаковали в полдень, так? Он сказал, в полдень?

— И?..

— Ха. Но…

Не догоняю я таких уловок. Вся эта хрень расстелена передо мной напоказ, как толстая стриптизерша. Может, Билл считает меня за недоумка или ведет себя на манер ямайских политиканов, уличенных с поличным: ничего не вижу, ничего не слышу. Майор в своем заявлении утверждает, что банда напала на солдат в полдень и те открыли ответный огонь. Но вот я смотрю на снимок — вернее, пролегающие на нем тени — и вижу, что каждая из них сильно вытянута. А длинных теней, как известно, в полдень не бывает. Так что вся эта хрень произошла утром — любой полуслепой, полутупой, тормозной старый хрыч скажет то же самое. А я все смотрю, смотрю на снимки долго и пытливо. Билл уже явно обратил на это внимание; заметил он и то, что я оборвал свой вопрос на половине. У

ямайцев есть свойство удерживать на тебе взгляд после того, как им становится ясно: этот белый паренек врубается быстро. И глаз они при этом не отводят: проверяют, с какого момента ты все уже понял, а они, получается, болтают тебе лишнего. То, чем ямайцы до сих пор обоснованно гордятся, так это своим талантом сохранять бдительность, ни о чем не проговариваясь. Не выдавать ровным счетом ничего, пусть им даже не терпится надуть тебя прямо сейчас, сию же минуту.

Ладно. Только как в мои мысли вкралась Аиша? Может, потому что я в постели… Причем не один. На краю сбоку все сидит тот хер. Жаль, что я перед сном снял часы. Братан, ты можешь уже что-нибудь слямзить и свалить? Какой дурак посреди ограбления устраивает себе передышку? Бог ты мой, ну прошу тебя, не сиди, ну пожалуйста. Но он все равно сидит, причем у меня на ноге. Костлявая задница этого перца прямо у меня на ступне. Блин, он поворачивается. Теперь темно. Темно-красная пелена перед глазами: я сожмурил веки. Открывай, медленно… а ну стой, идиот гребаный. Ты хочешь видеть, как он тебя по-быстрому пристрелит? Может, будет лучше, если он меня продырявит прямо посреди фразы. Если умереть, так лучше, наверное, с какой-ни-

будь умной мыслью. Это та часть, где мне надо задуматься о небесах и о всякой такой хрени? Моя мама-лютеранка была бы довольна. Интересно, он думает, я сплю? А где вторая подушка? Он собирается укрыть ею мою голову и шмальнуть? О, какой же я трус. Какой поганый, мерзкий трус. Черт возьми. Да открой же ты, драть тебя, глаза. Он смотрит, но не на тебя. А все так же на пол. Говнюк долбаный, мазафакер, на что ты там пялишься? Какое-нибудь пятно на ковре в форме Иисуса? Я думал, такие пятна бывают только на потолках. Или на ковре пятна спущёнки от гнусных ёбарей, спавших в этом номере до меня? Остается надеяться, что простыни здесь предварительно простирнули. Насчет отеля в стороне от Хафуэй-Три-роуд гарантировать ничего нельзя. Если пройти два квартала вниз, повернуть налево к Челси и подойти к самому повороту, то там будет отель «Челси», а в его окне объявление, что двоим взрослым номера категорически не сдаются. Ну а если ты педофил, то, получается, милости просим? Хорош городишко, ничего не скажешь. Не знаю, почему я об этом думаю; не знаю, отчего мне вдруг мучительно захотелось, чтобы простыни здесь оказались хорошо выстираны. Тщательно простираны в прачечной. Да,

именно *простираны* — вот оно, нужное слово. Да уходи ты уже, гребаный мазафакер. По крайней мере, я не буду вспоминать, каким трусом себя выказал, лежа здесь на кровати в надежде, что не наделаю в трусы и что моя левая ступня перестанет дрожать. А может, я ее просто отлежал (как мне теперь, в случае чего, рвануться в ванную?). Ох и нога у мене… («*У мене*», — получается, я теперь тревожусь на ямайском). Брат, а может, ты обыкновенный извращенец? Ну так подержись за мои яйца и уматывай.

В общем, расстрел семьдесят восьмого в Грин-Бэй приводит к рождению мирного договора. Но не проходит и года, как стрельба полиции в даунтауне уже заставляет народ судачить, как бы она не стала его концом. Обычно, когда ганмены занимают нейтральную позицию, на авансцену с оружием мгновенно выскакивают полиция с армией и заваруха подчас начинается в собственном стане ганменов. Такое произошло сколько-то лет назад с парой громил от ННП (по словам Жреца) и могло случиться с тем парнем, о котором я пытался расспросить Папу Ло. Эту встречу устроил Жрец, хотя одному Богу известно, что там обо мне подумали, ведь из-за своего знакомства со Жрецом я, видимо, смотрелся лу-

зером. Я даже не мог прояснить подоплеку того убийства, так как Жрец мне рассказал: одним из условий мирного договора было то, что никто никого не сдает полиции.

Когда же я поднял эту тему перед министром, тот, черт возьми, рассмеялся. А когда хотел поставить магнитофон на запись, он сказал: «Не для протокола» (наверное, подслушал на той неделе у какого-нибудь козла в кино), а затем повторил то, что уже говорил для прессы — что эти люди будут отлавливаться, как собаки. Обычно ловят, а не ловятся, как раз те самые собаки, но уж у кого какие аналогии. Кто что найдет. Ему хватило сметки разглядеть, что мне палец в рот не клади, а потому это все, что я записал в том интервью. Министр в целом оказался куском дерьма с пушисто-ворсистой шевелюрой, зачесанной назад так, что распрямилась.

Изъясняюсь я, должно быть, путано. Важной частью того мирного договора, по словам Жреца, было: никто больше не выдает имен таким людям, как этот министр. Но вот образовался труп ганмена — извините, политического активиста, — и по запаху криминальной слежки стало ясно, что своими силами обнаружить такого человека Вавилон не смог бы. Ямайская полиция,

пожалуй, не нашла бы даже билборда в человеческий рост, на котором голая телка, расставив ноги, расшеперивает себе пальцами манду, а под мандой надпись: «*Вавилон, ищи здесь*». Даже если б этот билборд стоял на центральной площади. Вернее, нашла бы только после того, как ей конкретно указали, куда смотреть. Как и Жрец, этот человек проскользнул на территорию и ЛПЯ, и ННП. Но в отличие от Жреца он имел реальное влияние, будучи у Папы Ло вторым или третьим по значимости. А это кое-что, не правда ли? То, что Кингстон дошел до точки, где столь высокопоставленный персонаж может выпивать с людьми, чьих друзей он же и порешил. Когда общаешься с Биллом Билсоном, Джоном Хирном, да и вообще с любым журналистом или светлокожим интеллектуалом, живущим выше Кроссроудс, то все они пытаются изыскать новые способы расспросить, как долго тот договор проживет, пусть даже из праздного любопытства. Этот громкий вздох и кивок головы выказывают мое раздражение, хотя на самом деле это свидетельство, что нам даже это по барабану. Почему я так озабочен этим гребаным мирным договором? Он ведь, по сути, и документом-то не является. При всем при том, что обсуждать его Папа Ло и

Шотта Шериф летали в Лондон и встречались там с Певцом. Все это не из разряда громких новостей, но то, как на протяжении всего одного года нечто обнадеживающее становится безнадежным, ввергает в растерянность.

В сущности, я это знаю. Папа Ло знает, но не говорит. Знает и Шотта Шериф, но вам ведь известны случаи, когда кто-то перестает рассказывать анекдот, потому как вычислил, что вы уже знаете его конец? Разница в том, что я его реально не знаю. На краю моей кровати сидит человек в рубашке цвета морской волны. С Папой Ло я прежде уже встречался. Крупный мужчина, становящийся еще крупнее, когда раскрыляет руки и обнимает всех подряд. Я сам не хлюпик, но даже я опешил от медвежьей хватки этого громилы. «Здесь все в безопасности! Мир и любовь — единственные вибрации, которые мы испускаем!» — сказал бы он, а затем спросил, что там поделывает Мик Джаггер — не заперся ли на небольшой «трах-трах» с чернокожей красоткой. Мне было достаточно двух минут, чтобы срисовать одного из его адъютантов, бдящего у двери потайной комнатки «Студии 54».

— Ты не слышал «Некоторых девушек»?[177] Для них это подлинное возвращение к форме.

— Каких девушек я только не слышал…

Вот и все, что я написал на этот счет. А затем — скачок вперед к событиям нескольких минувших дней. Я еще никогда не видел, чтобы этот крупный мужчина выглядел таким маленьким. У него не было даже энергии сказать Жрецу, чтобы тот снова привел к нему того белого, бомбоклат, парня. Он не хотел рассказывать о полицейском снимке того парня. Не хотел разговаривать о полиции. Он выглядел так, как выглядят пожилые люди, которые знают слишком много или же наконец вошли в тот возраст, когда весь мир для них уже не загадка. Им уже известно дерьмо между людьми, и почему мы все такие подлые, грязные и мерзкие, и какие мы на самом деле гнусные твари — такая вот умудренность, что с определенным возрастом приходит к людям. Причем для этого необязательно быть стариком — Папа Ло не так уж и стар, в гетто вообще не доживают до старости. Причиной всему возраст постижения — как оно подступает, я не знаю, но что-то большое, с сединой, и тебе просто ста-

[177] Примечания: 177

«Некоторые девушки» (*англ.* Some Girls) — альбом «Роллинг стоунз» (1978).

новится ясно, что кажилиться бессмысленно. Эти внешние изменения проступили в нем на протяжении всего одного года, отчего вид у него стал изможденный. Вернее, умаянный.

— Почему полиция убила твоего зама?

— Почему розы красные, а фиалки фиолетовые?

— Не догоняю.

— «Y» — кривая буква с длинным хвостом. Обрезать ей хвост, и получится «V». «B» значит «вагант». Вот ты и есть вагант, то есть бродяга[178].

— Как им удалось его угрохать?

— Я слышал, из двух-трех стволов. По-твоему, этого недостаточно?

— Ты думаешь, вашего парня сдала ННП?

— Что?

— Нацпаты. Это не они слили твоего парня? И почему договор не уважила полиция?

— Белый парень, ты хохмач. Кто сказал, что под тем договором подписывались фараоны?

— Пожалуй, ты прав.

— Ха-ха. Ну, белый, спасибо на добром слове.

Он действительно был прав. Шотта Шериф

---

[178] Примечания: 178

Ваганты (от *лат.* vagantes — странствующие) в Средние века (XI–XIV вв.) бродячие поэты.

тоже на меня поглядел, когда я пробросил насчет смерти того зама. И взгляд у него был такой же, как у Папы Ло.

— Плохие времена для кого-то времена хорошие, мой мальчик. Для кого-то плохо, а для кого-то хорошо.

— Кто же слил того парня полиции?

— Гм. Ты видел в свой приезд Джоси Уэйлса?

— Всего один раз.

— Он живет на другом конце. Поспрашивай лучше его.

— Об этом? Джоси Уэйлса?

— Об улице я больше ничего не знаю. Миру конец.

— Миру между кем? Ты можешь сказать четко? Можно я задам еще несколько вопросов? А, Папа?

Видимо, нет. Джоси Уэйлса мне искать не пришлось, он нашел меня сам. Не успел я выйти от Папы Ло и сделать ноги (несложно догадаться, почему я поступил именно так), как уткнулся в двоих дюжих молодцов. Один, бритый налысо, на меня даже не взглянул, а лишь ухватил за руку и молча повел вдоль улицы. Второй — крупнее и толще, с детскими кудряшками, — лаконично сказал: «Дон хочет с тобой говорить». «А Папа Ло

разве не дон?» — хотел спросить я, но не стал. Лысый в синем, курчавый в красном деловито зашагали по бокам. Кино, да и только. Точнее, не кино, а мультфильм. Люди на улице отводили взгляды. Те, кто попадался навстречу, просто отворачивались, почти все. Лишь две женщины и один мужчина не отвели глаз, а смотрели куда-то сквозь, меня словно и не видя. Как будто я призрак или чужак, которого выдворяют из города. Каждая ямайская деревня — захолустный городок в миниатюре. Меня доставили к жилищу Джоси Уэйлса, завели в переднюю дверь, но никто не сказал, где можно сесть. К крайнему из трех больших окон гостиной здесь прилеплен календарь «Эссо» (единственные окна в округе без трещин и пробоин от камней). На окнах красно-желтые занавески в цветочек; чувствуется рука женщины.

— Занавески какие милые. Хозяйка повесила?

— Вопросов ты, белый малый, задаешь тьму. Не подустал?

— Гм, я вообще-то не…

— Шныряешь тут со своей черной книжечкой. Ты прямо все-превсе в нее записываешь?

Я слышал, что Джоси Уэйлс высокого мнения о своем английском.

— Где ты так говорить выучился?

— Ну, а ты где научился срать?

— А?..

— Хуй на. Самые умные вопросы на конец приберегаешь?

— Извини, я… я… я…

— Ты… ты… ты…

Все это время я не вижу ничего, кроме обернутой полотенцем головы человека, который сидит на диване и смотрит совсем в другую сторону. Дон у себя дома, где в недрах мышкой затихла сожительница. Откуда, блин, исходит этот голос?

— Дай губам отдых, устал небось. Присаживайся, белый малый.

Я присаживаюсь на стул у передней двери.

— У вас в стране что, в домах под дверями сидят? А гостиные на что?

Я перехожу в гостиную, если можно таковой назвать небольшую зону размером с приемную врача. Серый диван здесь по-прежнему обтянут фабричной полиэтиленовой пленкой. Хозяин дома сидит один, без хозяйки — взгляд вначале выхватывает майку-сеточку, затем крупные руки, стягивающие с головы полотенце. Рассеянным движением он протирает им голову и отбрасывает (видимо, здесь заведено, чтобы за ним подбирала женщина). Джоси Уэйлс. Круп-

ный мужик, но менее плотного сложения, чем Папа Ло, а глаза неожиданно узкие, как у азиата. Живот под майкой-сеточкой начинает выпирать. «Сеточка» — почти что молодежная униформа гетто, хотя, видимо, он носит ее только дома. Когда ямайский криминальный авторитет поднимается, это прежде всего становится видно по его гардеробу. Выходя из дома, он непременно надевает сорочку, как будто в любую минуту может угодить в суд.

— Ручка при тебе всегда наготове?

— Да.

— Я знаю, кое у кого так же обстоит со стволами. Двое из них как раз сейчас стоят под окнами.

— А у тебя разве не так?

— У ствола изо рта не вылетает ничего хорошего. Ты-то у себя эту способность развивать думаешь?

— Какую?

— Подвижность. Гибкость рефлексов, способность вовремя пригибаться.

— Не понимаю, о чем речь.

— Ну как. Я ж сейчас только сказал, что у ствола изо рта ничего хорошего не вылетает.

— Я это услышал, мистер Уэйлс.

— Мистером Уэйлсом меня зовет только судья.

Лучше Джоси.

— Хорошо.

— Как я уже сказал, у ствола изо рта не вылетает ничего хорошего…

— Я уже слышал.

— Тебе что-то в жопу впилось, что ты меня перебиваешь? Как я уже говорил, и повторяю еще раз, у ствола изо рта не вылетает ничего хорошего. А тебя, задрота эдакого, я насквозь вижу. Вон как зенками блёкаешь — видно, не ожидал таких слов из уст дона.

— Я не…

— Да нет, бро. Без всяких «не». Длилось это всего секунду, так что почти никто и не усвоил. Но ни одно из трех моих имен не для этого большинства. Ты-то и сам, наверное, не ухватил.

— Наверное, нет. Сноровка не та.

— То-то. Люди вроде тебя ничего особо не видят. Всегда, чуть что, сразу выхватывают свою черную книжечку и ну чирикать в ней строчки. Не успел еще из самолета выйти, а уж пишет рассказик. Теперь вот ты ищешь, какую еще можно приплести хрень, чтобы сказать: «Смотри, Америка, вот как идут дела на Ямайке».

— Скажу, что не все журналисты такие.

— Ты-то сам откуда? Из «Мелоди мейкер»?

— Из «Роллинг стоун».

— Так что ты здесь делаешь почти уже год? Чего ищешь? Черную манду послаще?

— Что?.. Нет, нет. Я над историей работаю.

— Тебе что, целый год нужен, чтобы написать историю о Медяке?

— Каком таком медяке?

— Ого! Ты даже не знаешь имени того, о ком на все лады расспрашиваешь… Медяк — человек, что не так прочел договор.

— Значит, тот документ все же существует?

— Я гляжу, «Роллинг стоун» отряжает сюда не самых умных.

— Но я и не глуп.

— Да? Слушай, а зачем вообще «Роллинг стоун» командировать сюда человека почти на год? Что это за рассказ такой неимоверный?

— Да меня вообще-то не командировали.

— А вот это верно. Ни на какой «Роллинг стоун» ты не работаешь. И на «Мелоди мейкер» тоже, и ни на какую другую хрень. «Нью-Йорк таймс» та — да, та может отрядить сюда своего репортера на год, но никак не журнал, что любит печатать у себя на обложках жопников. Я думаю, ты здесь все-таки ради черной манды. Как тебе, кстати, эта Аиша? Хорошо ублажает? Мохнага до конца

еще не растрахана?

— Да что…

— Похоже, белый малый, я знаю о тебе больше, чем ты обо мне.

— Аиша, она… она мне не подруга.

— Да уж куда ей. Малые вроде тебя черных баб для этой цели не держат. Они вам не для дружбы, а больше для дрючбы.

— Для этой цели у меня женщин нет вообще.

Джоси Уэйлс смеется сипом, словно цедя его сквозь зубы. Не как Папа Ло: тот откидывает голову и выталкивает смех нутром, из глубины объемистого живота.

— Ай, хорошо сказал! Спиши слова.

— Я здесь всю неделю.

— Не, сегодня же проваливаешь.

— Да я пошутил насчет всей недели. Просто я говорю что-нибудь смешное, ты смеешься, а я говорю, что всю неделю буду сюда приходить с новыми шутками. Это из одной интермедии… Ладно, проехали.

— Зачем ты ходишь и выспрашиваешь насчет Медяка?

— Ну, я…

— Пытаешь даже того идиота-коротышку Шотта Шерифа.

— Со мной он разговорчивостью не отличался.

— А чего он такого мог сказать? Он ведь его толком и не знал.

— Вы с ним дружили?

— Джоси Уэйлс любит всех.

— Я имею в виду Медяка, не Шотта Шерифа. Он ведь был реально задействован в центровом совете по миру?

— Да что ты реально можешь знать об этом совете? Ты как пить дать не въезжаешь, что это все была шутка. Мир… В гетто мир бывает только один. Реально простой; такой простой, что даже тормоз знает, чем он пахнет. Белый и тот допирает. Ровно в ту секунду, как ты говоришь «мир» или «давай помиримся», ганмены складывают стволы. Но вот какое дело, белый малый. Как только стволы складываете вы, свои стволы тут же вынимают фараоны. Так что опасная она штука, этот мир. Мир отупляет. Заключая его, ты забываешь, что под ним подписались не все. Хорошие времена для одного — это плохие времена для кого-то другого.

— Хм. Готов поклясться, что слышал… То есть ты говоришь, мирный договор — плохая идея?

— Нет. Это ты так сейчас сказал.

— Ну, а ты что говоришь?

— Медяк пришел с Уарейка-Хиллз, это почти что сельская глубинка. Уклад Кингстона он не понимал. И отправился в Копенгаген к своему закадычному другу Папе Ло, а потом пошел дуть ром со своим еще одним хорошим другом, Шотта Шерифом. И все б мило да складно, если бы речь шла только о территории ЛПЯ или ННП.

— Но вот в мае прошлого года он отправляется в «Кайманас-парк», который считается…

— …нейтральной территорией.

— И, что еще хуже, отправляется один.

— Веяния мира превратили его в наивного глупца. В этом и проблема. Мир делает тебя беспечным.

— Как полиция узнала, что он там?

— Ты думаешь, ганмена найти так уж сложно?

— Но там их оказалась целая куча, а не парочка каких-нибудь вшивых копов, делающих на бегах ставки.

— Засада. Ты любишь фильмы про ковбоев?

— Честно говоря, терпеть не могу. Я ведь частично сиу.

— Сяо?

— Да нет же. Сиу. Ну, типа чероки. Или апачей.

— Индеец, что ли?

— Отчасти.

— А. Оно и видно.

— Ты знаешь, кто его подставил? В смысле, Медяка.

— Должно быть, сам подставился.

— Но кое-кто из людей здесь говорит, что он после Папы Ло шел вторым, а со временем мог и вовсе стать первым.

— Человек, который даже не жил в Копенгагене из-за боязни пули? Кто тебе такое сказал?

— Люди. А с его уходом…

— Если вдуматься, то та же гребаная пуля, от которой он прятался. Ну и что, ты говоришь, с его уходом? В гетто незаменимых нет. Заменить можно кого угодно. Даже меня.

— Понятно. А как, по-твоему, на все это отреагирует Певец?

— Я похож на чтеца его мыслей? Или караульщика?

— Да нет, я не в том смысле… То есть между вами любови не водилось?

— Не знаю, что ты имеешь в виду, но этот человек прошел через многое. Кое-кому, видно, понадобилось, чтобы он откинулся. Прилег, отдохнул.

— Однако делу он, похоже, предан, раз приехал обратно с еще одним концертом. Особенно после

того, что случилось в прошлый раз.

— Ха-ха. Теперь-то уж на Певца никто не дернется.

— Готов поспорить, что никто не допускал такой мысли и в прошлый раз.

— В прошлый раз друг дал другу провернуть у себя на дому аферу со скачками. Теперь же он такого не допустит. И на этот раз никто не будет стрелять ему в грудь, потому как некому всадить ему нож в спину.

— Погоди. Ты думаешь, они там высматривали друга Певца? Тут дело в той афере?

— О Певце мне сказать нечего.

— Но ты ведь говорил о его друге, а не о самом Певце.

— Есть такие деревья, что давно уже спилены.

— Ты сейчас звучишь прямо как Папа Ло.

— Вот что происходит с уходом людей. Они продолжают жить в твоей памяти.

— Я иногда звучу, как мой отец.

— А я наказываю, как мой папаша.

— В самом деле?

— Представь себе. Кое-кто в гетто в самом деле знает своих отцов. Из которых некоторые даже женаты на их матерях.

— Я не хотел задеть чьих-либо чувств.

— Все важное, что ты пока сказал, исходит не от тебя.

— О.

— Папа Ло — вот причина, по которой мы в гетто живем припеваючи. Это Папина заслуга в том, что когда я смываю унитаз, то могу помахать своему говну ручкой. Ты-то небось, белый малый, воспринимаешь это как должное? Что когда дергаешь грушу, то прощаешься со своим говном навеки. Да, благодаря Папе Ло народ тут в гетто поживает на славу. Папа Ло и Певец — одно и то же. А потому то же произойдет и с Певцом.

— Извиняюсь?

— Извиняйся перед собой.

— Я вижу, ты не его фанат.

— Меня больше Деннис Браун[179] прикалывает.

— Он, кажется, верил в это примирение.

— Тебя, белый малый, когда-нибудь сажали в тюрягу?

— Нет.

— Вот и хорошо. Потому что, когда ты в ней оказываешься, фараоны выбивают из тебя всё. И речь не просто об ударе дубинкой по харе, пинке

---

[179] Примечания: 179

Деннис Браун (1957–1999) — певец-исполнитель регги, за годы своей карьеры записал более 75 дисков и множество хитов.

по почкам или вышибании двух здоровых зубов так, что ты не можешь нормально есть, а язык у тебя разрезан повдоль. И бог бы с ним, когда они берут провод, одну его жилу обматывают тебе вокруг мудей, другую — вокруг головки и втыкают другой конец в розетку. Это еще только первый день, да и не самое худшее, что может случиться в тюрьме. Худшее в ней — это когда расщепляют твое время, день и ночь, даже твой собственный день рождения. Это ад, когда ты не можешь даже сказать, вторник сегодня или четверг. Ты теряешь все чувства, ориентиры. Напрочь утрачиваешь сцепление с внешним миром. Не знаешь, что там, снаружи, происходит. А знаешь, что происходит, когда ты уже не знаешь, чем ночь отличается от дня?

— Скажи, буду знать.

— Черное превращается в белое. Верх переходит в низ. Собака с кошкой превращаются в друзей. Ты спрашиваешь: что там за мирный договор? Он был между двумя районами или просто двоими давними сидельцами?

— Что ты думаешь насчет…

— Я здесь не затем, чтоб думать.

— Да нет, я насчет Певца.

— Ты все почему-то думаешь, что я должен

думать о Певце.

— Да нет, я о втором, прошлогоднем, концерте за мир. Может, он считает, что на него в этом мирном процессе возложена большая миссия?

— За мир был первый концерт. А второй — так, для унитаза.

— Разве?

— Ты работаешь в журнале, а сам ничего-шеньки не знаешь? Наверное, ты работаешь на ямайскую газету.

— И все-таки: вернуться сюда через два года, после того как в него стреляли…

— Стрелял *кто*?

— Ну… не знаю. Наемные киллеры.

— Как в кино с Брюсом Ли.

— Убийцы.

— Как в кино с Клинтом Иствудом.

— Я… ну не знаю я, кто они были.

— Ха. А вот Папа Ло, похоже, знает. У меня к тебе вопрос насчет Певца. Может, *именно* к тебе: ты ведь иностранец, да к тому же образованный?

— Есть маленько.

— Тогда слушай. Вот когда Певец схлопотал в грудь пулю, которая, в сущности, предназначалась для сердца, ты как думаешь — он воспринял ее просто как пулю в грудь, как от любого другого

выстрела, или же она для него означала нечто большее? Литературный такой прием.

— Прием. В смысле, символизм?

— Типа того.

— То есть подумал ли он, что ему выстрелили, но не попали в сердце не случайно, а со смыслом?

— Все, что направлено в сердце, наделено смыслом.

— А откуда ты знаешь, что ему чуть не попали в сердце?

— Да вот слышал.

— От кого?

— От естественной мистики, что витает в воздухе.

Когда я сказал Жрецу, что разговаривал с Джоси Уэйлсом, тот стоял под дождем и отказывался войти. Вам известно, что даже в темноте можно угадать, как человек на тебя смотрит?

С краю на моей кровати сидит человек в синем. Два дня назад умер Сид Вишес[180]. Никто ни черта не знает, но, по слухам, мамаша дала этому подонку героин сразу после выхода из клиники для наркоманов. Рок в Нью-Йорке реально болен

---

[180] Примечания: 180

Сид Вишес — басист британской панк-рок-группы «Секс пистолс».

и при смерти. Вишеса застали голым в постели, кажется, с какой-то актрисой, тоже голой. Двадцать один год. Да ну его на хер, этот панк. Единственно, насчет чего можно согласиться, это что «две семерки схлестнулись». Моя маман гордилась бы, хотя бог знает, удачная ли это была затея — заделаться филофонистом, когда группой дня считался «Хоквинд»[181]. Но умер Сид Вишес два дня назад. Спустя месяцы после того, как убил свою подругу. Мертвяки, все они мертвяки. Только четверо знают о том, что пуля чуть не попала Певцу в сердце. Певец, его менеджер, хирург и я, потому что подловил Певца в удачный день, когда он не отпнул меня после целого дня моего шастания за ним по всему Лондону. Только троим известно, что Певец ел четвертинку грейпфрута, отрезав от нее половину, чтобы подать менеджеру. И лишь двое знают, что он произнес «*Селассие Джа Растафарай*» — сам Певец и я, а все лишь потому, что подловил его в Лондоне в удачный день.

А тот хер в синем все сидит на хе́ровом краю моей хе́ровой кровати. И я уже начинаю себя ощущать убитым персонажем в игре «Лайв», где

[181] Примечания: 181

«Хоквинд» — британская рок-группа (обр. в 1969 г.), исполнявшая психоделический рок с элементами хеви-метал и арт-рока.

сейчас выкрикну убийце выхватить свое гребаное оружие и пустить его в ход. Ну давай уже, язви тебя, действуй!

Левую ногу я отлежал окончательно. Я вижу уже нескольких темнокожих; их число растет, и все они сливаются в одного темнокожего, а затем исчезает и он. С краю на моей кровати сидит тот лысоголовый в синем и потирает себе голову, свою потно-глянцевитую коричневатую голову. Рубашка у него цвета морской волны. Моя левая нога затекла за его вдавленной в постель задницей. Гляди в потолок, Алекс Пирс. Считай бороздки на штукатурке, ищи облик Христа. Ага, вот он. А теперь ищи крест. Ищи сапог Италии, ищи женское лицо. Человек у меня на кровати — ёшь твою медь, у него же ствол, у этого гребаного садюги долбаный ствол, и он им машет, помахивает у своего виска, чтоб я видел, у самого виска, думает разыграть тут из себя Хемингуэя[182] и грохнуть себя прямо у меня в номере, но не рассчитывай, мазафакер, я не буду твоим зрителем, и не смей спускать тут курок, чтобы мозги забрызгали все мои чистые простыни, точнее не чистые, а в спекшихся разводах спущёнки,

[182] Примечания: 182

2 июля 1961 г. американский писатель Эрнест Хемингуэй застрелился в своем доме из своего любимого ружья.

засаленные лобковыми волосами нестираные простыни, но все равно они мои, и я не хочу, чтобы ты их все загадил своей кровью и мозгами, да нет же, он думает стрелять не себя, он думает стрелять тебя, прямо в сердце, перестань биться, дурища, он ведь тебя услышит, да никто не слышит, как бьется сердце, а вот он расслышит, он услышит тебя, о черт, черт, черт, он уже им помахивает, поверчивает, как ковбой из кино своим шестизарядником, ну что ж, я хотя бы помру как истинный ямаец, но это не смешно, это совсем не смешно, я не умру сегодня, я не готов умереть сегодня, перестань крутить ствол, как гребаный пращевик, как будто у тебя только что появилась попиленная пластинка «Баллад ганфайтера», которая на Ямайке в каждой гребаной халупе, я не умру сегодня, у меня мать не собирается стоять на приемке цинкового гроба в аэропорту Миннеаполиса или, еще хуже, лепить по всему Кингстону плакаты с надписью: «РАЗЫСКИВАЕТСЯ. ВЫ ВИДЕЛИ ЭТОГО ЧЕЛОВЕКА?» А потом она заявится на шоу Дика Каветта[183] говорить о своем бедном сыне и об ужасах бюрократии на Ямайке, которая не оказала ей никакого содействия, и вообще все

[183] Примечания: 183

Дик Каветт — ведущий популярного телешоу, на котором за долгие годы существования побывали многие мировые знаменитости.

это на самом деле сговор, или, во всяком случае, попытка замять дело, или же просто ужасающая некомпетентность, отнявшая у нее сына, а ведь она знала, что что-то такое затевается, кто-то что-то вытворил, и теперь она горы свернет, чтобы докопаться до правды, пусть даже полиция, министр и посол пальцем не пошевельнут, и я стану героем рассказа, а она — одной из тех изможденных старух, брошенных остальными детьми (она была одной из самых замечательных мам на свете, пока в нее не вселился этот бес), которой не осталось ничего, кроме сигарет и ее миссии, миссии раскопать правду. Она станет участницей и «60 минут», и опять шоу Каветта, пока всем не надоест, и тогда все ее забудут, а она… не знаю, что с ней станется.

Господи боже, ну заставь его уйти. Сделай так, чтобы я закрыл глаза, закрыл насколько захочу, а когда раскрыл, его бы уже не было. Хочешь, я взмолюсь? Я это сделаю, клянусь Богом. Клянусь тебе. Ладно, к черту. Не буду думать о том, как выглядят небеса. Кто и за каким хреном так делает? Я этого делать не буду. А просто скажу ему, что если он меня убьет, вот прямо сейчас, то я вопьюсь взглядом ему в глаза и останусь пятном в его голове, покуда он жив. «Клянусь, что буду

тебя преследовать, как мазафакера, да так, что экзорцист на тебя поглядит и скажет: “Черт возьми, сын мой, тебе уже ничем реально не помочь”. А я приведу ту кусательницу крестов Линду Блэр[184] и ее сестру из “Амитивилля”[185], что трахается с серийным убийцей, и тогда я вырежу тебе кусок мозга, чтобы мы втроем могли там поселиться, и мы будет поедом снедать тебя изнутри, как раковая опухоль. Ох, как я буду тебя преследовать, мазафакер. Буду заставлять тебя вопить в церкви, что в тебя вселился дьявол, чтобы на тебя нашло помрачение и ты оттрахал свою сестру, и заставлю, чтобы ты везде говорил сам с собой, потому как только мы с тобой будем знать, что на самом деле ты говоришь со мной. И я подстрою так, чтобы ты сорвался с дамбы в море, но все равно не сдох, потому как сдохнуть тебе я не дам, а заставлю жить и мучиться сотню лет — нет, целую вечность; буду писать свое имя на зеркале всякий раз, как ты будешь принимать душ, и когда-нибудь ты прочтешь «*готовься сосать концы в аду*» прямо на потолке, и кровать твоя

[184] Примечания: 184

Линда Блэр — американская актриса, наиболее известная по роли одержимой девочки в фильме «Изгоняющий дьявола».

[185] Примечания: 185

«Ужас Амитивилля» (1979) — фильм ужасов, снятый С. Розенбергом.

затрясется трясом, а локти зачешутся так, что все решат, что это от героина, и приведут собак, но ни одна из них к тебе не приблизится, потому что они чуют, когда в человеке на халяву квартирует бес, — так что тебе лучше повернуться, встать и выйти из этого помещения прямо сейчас, иначе, клянусь богом, я это сделаю. Сделаю. Сделаю».

Звонит телефон.

Он подскакивает.

Я вскакиваю.

Ствол крутится и падает.

Он смотрит на меня, я на него.

Нагибается за стволом: пни его, пни!

Пнул его в спину и один раз в затылок.

Теперь крутанись, выберись из постели. Он хватает меня за ступню.

Отвали прочь, прочь! Но он налезает.

Тычок — он ухватывает меня за руку и не выпускает.

Стаскивает с кровати и рукой обвивает мне шею.

Сжал, сдавил. Я весь красный, малиновый, рдею, как жирный гусь; как только глаза не лопаются. Кашель, надсадный кашель, чужая рука стискивает мне шею, норовит раздавить адамово яблоко; ему все равно, я не могу его ударить, не

могу пнуть, только царапаю, царапаю, а он даже не пробует меня остановить, и я царапаю ему щеку, лицо, а он шлепает меня, как сучку, долбаную сучку, я кашляю, он взгромождается мне на грудь, я не могу дышать, не могу дышать, горло как в тисках, о Господи Боже, Господи Боже, он ухватывает меня за правую руку, как сучонку, глупую-глупую сучонку; не могу двинуться, голова пришпилена, горит, она горит, разрывается, полна мутной легкости, темнота, нет, мне надо ей сказать, сказать ей, что она уйдет, в тот самый день, когда мы только еще встретились; проклятая жизнь, мелькнула и нет, в любой момент; лучше расслабиться, сначала ноги, расслабить сначала ноги, чтоб, когда найдут, я хотя бы выглядел умиротворенно; какого черта, телефон звонит, я подпрыгиваю, и он подпрыгивает, но не на шею, слишком медленно, отводит рукой мою руку и шлепает по ней, шлепает рукой по моему лицу, тычок костяшками, я шлепаю, получается по-девчачьи, ну и ладно, он все равно ничего не говорит, пальцы у меня скользкие, его рука на моей шее, не душит, а пришпиливает, он ищет, ах, он ищет оружие, драть твою лети, он ведь ищет ствол, ствол, смотрит; я смотрю на лампу, гребаную тяжелую лампу, там еще гидеоновская

Библия[186], листы бумаги с логотипом отеля, вскрыватель конвертов, он снова поворачивается ко мне, отводит руку, а в ней ствол…

Как, разве нет ствола? Ствола не вижу, не помню, когда я его хватал, острый конец, темный конец, почему он ничего так и не говорит, он норовит стиснуть мне шею; я сжимаю открыватель писем, держу его вполсилы и взмахиваю прямо над его шеей, моя костяшка приходится ему прямо под подбородок, чувствуется что-то вроде тычка, палец, черт возьми, соскальзывает, но вошло, черт возьми, глубоко. Он смотрит на меня, вскинув брови и распахнув глаза, открыватель у него в шее так и торчит, кровь вначале сбегает, затем уже брызжет, как из крантика, глаза у него выпучены, они выражают дикое изумление, он как будто не верит, что это с ним происходит, не верит, что остальное тело ему не повинуется. Ничего не говоря, он часто и мелко дергается, скатывается с меня, вот он на кровати, вот скатывается с нее, подбирается к двери, правая нога под ним подгибается, какое-то время он стоит, но вскоре падает на подкосившихся ногах.

---

[186] Примечания: 186

Библия изд-ва «Гидеон» (США), предназначенная для бесплатного распространения, в т. ч. через отели.

Джоси Уэйлс

Я уже знаю: есть три вещи, к которым возврата нет и не должно быть. Первая — это сказанное слово. Вторую я позабыл в шестьдесят шестом году. Третья — это секрет. Но если б меня попросили добавить четвертую, то я бы добавил *его*. Сколько пуль должны миновать сердце и угнездиться в руке, прежде чем ты смекнешь, что дом тебе больше не дом? Пуля в руке, которую не удалит ни один доктор, потому как знает: если к ней прикоснуться, то ты уже никогда не сможешь играть на гитаре. Сейчас я сижу в уютном кресле, которое моя женщина только что выблестила, но тут звонит телефон. Так сколько пуль? Может быть, пятьдесят семь? Говорят, он назвал такую цифру, но никто мне не может сказать, когда или в кого. Сказали, что в доме было выпущено всего пятьдесят шесть пуль, а значит, предполагаемый преступник тоже погибнет от пятидесяти шести. Но такому пророчеству нужен иной, обновленный резон. Пятьдесят шесть каждому или пятьдесят шесть, помноженное на восемь? Или, наоборот, поделенное на те же восемь? Деление — процесс непростой, да и времени у меня нет на

такое трудоемкое в умственном плане занятие.

А может, он думает, что пятьдесят шесть причитаются человеку, стоящему за этой затеей — высокопоставленному дону из верхов? Спросите, как мне уже тошно от всей этой хрени, замешенной на знахарстве и ворожбе. Человек, сегодня назвавший себя растой, уже к следующей неделе начинает выдавать пророчества. И говорить шарадами. Ума на это, кстати, особого не надо, достаточно разучить пару библейских псалмов об адских муках. Или сказать, что они исходят от Левита, тем более что этот самый Левит все равно никто не читал. Это чтобы вы знали. Никто, дочитавший Левит до конца, не будет воспринимать эту книгу по-прежнему всерьез. Даже книжища, полная эдакой словесной трескотни, безумна, как тот сивый мерин. Не лгите мужчине, как женщине — ну, это безусловно с резоном стыкуется. Но вот что касается запрета есть крабов — даже с нежным, сладким жареным ямсом… А? И зачем убивать за это человека? И уж поверьте мне на слово, последнее, чего от меня получит любой мужчина, поимевший мою дочь, так это женитьбу на ней. Как, каким образом он сможет сочетаться браком в тот момент, когда я буду кромсать его кусок за куском, намеренно

по ходу процесса оставляя мерзавца в живых — чтобы он видел, как я скармливаю куски его тела бродячим собакам?

Помнится прошлый год, когда по Западному Кингстону вшами расползались вечера дружбы в честь того мирного договора. Раста тогда пытался мне втирать, кто несет на себе Число Зверя. Ничто не распаляет расту больше, чем трезвон об «Армагеддоне». И вот он мне, стало быть, втирает:

— Йоу, брат, я не покупаю ничего, что может оказаться несвежим. Сейчас ведь все, что в пачках или пакетах, помечено Числом Зверя. Эти вот самые полоски с цифрами на белых бумажках.

Я в это время наблюдаю, как вокруг моей женщины, зазывно стоящей под уличным фонарем среди танцующих пар, увивается мужик — какой-то хлыщ из Восьми Проулков, не придающий значения кольцу на безымянном пальце женщины. Беспокоиться, собственно, не о чем — она отшивает этих опездолов так, что впору позавидовать. А раста между тем продолжает втирать. Даже когда известно, что все это лажа из конца в конец, в ней все равно есть за что зацепиться.

— Штрих-код, что ли? — спрашиваю я. — Так в нем целая куча разных цифр, и лично я еще ни разу не видел сочетания «666».

— То есть ты следишь?

— Нет, но…

— Это все, брат, для тупых. Ты вникни. Ни у кого на Ямайке нет силы Зверя. Силы и власти. Они просто хавают то, что им скармливает Зверь. Ты не замечаешь, что любое число там начинается с ноликов? Ноль ноль ноль, и дальше цифры. Так вот это какая-то десятичная наука. Целое число, натуральное число и двойное число. А все те числа в коде по всему миру складываются в 666.

Я отхожу от него с наихудшим из ощущений: мне начинает казаться, что эта лабуда имеет какой-то смысл. Хотя в тех праздниках за мир бессмысленным было всё, чего ни коснись. Будь то «Двенадцать Племен»[187] растафари, чья кожа с каждым месяцем становится все светлей, или говорильня ННП с ЛПЯ, или состязания в домино между Копенгагеном и Восемью Проулками, или все эти целовашки-обнимашки типа «не журись, это не я три года назад шлепнул твоего брата и отца с дедом». Что такое мир? Мир — это когда я дую на лобик своей дочурке, когда та, вспотевшая, разметалась во сне. А это не мир, это скорее пат. Словцо «пат» я подслушал от Доктора Лава.

---

[187] Примечания: 187

«Двенадцать Племен Израиля» — секта растафарианцев, основанная в Кингстоне в 1968 г.

Он недавно улетел в Майами со словами, что ему нужно выбрать президента. Туда я недавно послал и Ревуна. Кто знает, что эти оба-двое меж собой затеяли, когда поняли, что книжки влекут их больше, чем женщины. Доктор Лав мне сказал: «*Hermano*, те мазафаки из Медельина снова собираются тебя опробовать — да-да, еще на раз, а ты чего ожидал, *muchacho*? На той неделе они похитили из морга мертвого младенца, выпотрошили его, как рыбу, а нутро этого засранчика набили кокаином. Трупик дали одной девахе, чтобы та доставила его самолетом в Форт-Лодердейл, — и это буквально назавтра после ее *quinceacera*[188]. Жестко, как порно, тебе не кажется?»

Меня все эти проверки начинают слегка доставать. Им и мне известно, что и третье декабря тоже было не более чем глупой проверкой. Я отправил им на согласовку сообщение, но они сказали, что им нужен труп. Ну, труп так труп, мне-то что. Однако мне не все равно, когда какой-то, бомбоклат, испаноязычный гондон полагает, что перед ним пацан вроде подмастерья, которого можно постоянно проверять и перепроверять. Тыкать мордой.

---

[188] Примечания: 188
Пятнадцатилетие (*исп.*).

В декабре семьдесят шестого Певец дает свой концерт в парке, а я почем зря гроблю время на международный звонок только для того, чтобы, видите ли, услышать, как Доктор Лав и еще какой-то кретин бранятся на испанском, — но не на кубинском испанском, поэтому я основняк не понимаю; знаю только, что он взбешен. Выслушиваю все это и думаю: что этот козел о себе мнит, смея разговаривать со мной таким тоном? Как будто я не знаю, что значит *hijo de puta*. Он что, думает, что я сейчас разрыдаюсь и скажу: «О босс, мне нет прощения! Клянусь в следующий раз исправиться!» Так, что ли? Вроде шлюхи, которую поучает уму-разуму ее сутенер? Я хотел было ответить этому *maricфn* в том же духе, но тут Доктор Лав мне говорит: «Ладно, доделывай работу, *muchacho*, и дело с концом». Выходит, ямайский сириец, кубинец и колумбиец, требуя труп, так и не поняли, что я дал им нечто повидней бездыханного тела. На той же неделе мне звонит Питер Нэссер и с ходу кидается распекать:

— Вы там что, гребаные аборигены из гетто, себе позволяете?

— Ты уже не первый раз тычешь мне словом «абориген».

— Не «ты», а «вы». И не «абориген», а «гребаные

аборигены из гетто». Что там у вас за хрень творится? Вас же там девять?

— Восемь.

— Ну вот, целых восемь. Восемь лбов врываются в дом с… четырнадцатью, кажется, стволами? И ни один человек не умеет прямо стрелять? Вас там что, перекосоёбило?

— Почему? Человек умеет стрелять.

— Где? Как так получается, что ты первый человек в истории, который стрелял в голову и при этом не застрелил? Отвечай, самбо[189]. Ты ж у нас мастер.

— Не знаю, что ты имеешь в виду под «ты». Или ты такой двинутый на всю голову, что полагаешь, будто на линии нет прослушки?

— Чего? Это, по-твоему, шпионский детектив? Кому, на хер, приспичило тебя прослушивать?

— И все равно я не знаю, что это за «ты», но уверен, что он, кем бы ни был, в голову никому не целился.

— Он, кем бы ни был, целился исключительно в стены, небо и в «молоко», такое создается впечатление… Нет, кореш, такая хилость и горе-представление могут быть только в комедиях.

---

[189] Примечания: 189

Самбо — потомки от смешанных браков индейцев и негров.

Сотни пуль высадили и хоть бы одного срезали! Из автоматов что, ужас как сложно человека застрелить? Я-то думал, Луис вас, сволочей, надрочил, как управляться с этими штуковинами.

— Не знаю, что за Луис, и безусловно не знаю, что это за «сволочи».

— Не цепляйся к словам, Джоси Уэйлс. Я, знаешь, сказал ему: не пытайся чего-то добиться от ниггеров из гетто. Если для этого понадобится хоть чуточка разума, они всё неизбежно обосрут. Моя слепая бабушка и то стреляла метче, чем вы. Все ввосьмером. И зачем я, дурак, вообще тебе звоню?

— Я тоже не знаю. Тем более что никто из тех, о ком ты говоришь, здесь не проживает.

— Зачем мне вообще тратиться на телефонный разговор, а? Деньги расходовать? Ты скажи.

— Вопрос не ко мне, паболдырь.

— Паболдырь? Да ты с кем тут вообще распиздился? С кем, бомбоклат, базаришь, ты, мелкий…

— Мелкий? Спусти-ка трусы и у себя сличи.

Я кладу трубку. Все равно что серпом по яйцам — узнавать, что, хоть ты и не ходил в престижную школу и иностранный колледж, тем не менее ты единственный в этой комнате, кто наделен рассудительностью. Мне в самом деле хотелось

проучить этого заносчивого самодура-сирийца. Поставить его на место. Хватит уже того, что тьма народа держит Певца за пророка, но стоит его убить, как он поднимется до мученика. Таким образом весь мир узнает, что пророк-то, оказывается, всего лишь человек, такой же, как и все, и, как любого другого, его можно подстрелить, и, как любой в этой стране, даже он ни от чего не застрахован. Своими выстрелами я сверг этого человека с пьедестала, и он вновь ужался до человеческих размеров. Питеру Нэссеру я про это ничего не сказал. Нужно вглядываться мимо лица, вглубь под кожу до реальной кожи, и тогда становится ясно, что, несмотря на всю свою светлость (такой тип даже на пляже не появляется из опасения, что загар может сделать его черным), Питер Нэссер такой же мужлан и невежа, как ниггер в гетто. Я, что называется, дожил: последнее время он кличет меня «самбо». Надо спросить мою женщину, когда именно я успел превратиться в светлокожего, пьющего коктейли в отеле «Мейфэр». Ненавижу, бомбоклат, когда меня доводят настолько, что я начинаю чертыхаться. Чертыхаются только невежи.

Доктору Лаву, который позвонил мне тем же вечером, я сказал, что с переэкзаменовкой завя-

зал еще в 1966 году, а если в Медельине считают, что создали тут подготовишку для бесконечных испытаний, то пусть используют жопошников с Багам, им не привыкать. Но затем, выражаясь словами расты, меня осенили иные резоны. Если б Певец действительно обратился в мученика, это, конечно, стало бы большой проблемой, но это была бы их проблема, а не моя. Питер Нэссер был бы так одержим попытками порешить легенду, что донимать меня своим мозгоёбством у него не оставалось бы времени. По правде говоря, нам обоим известно, что я давно уже прошел те времена, когда политикан говорил «прыгай», а я спрашивал, на какую высоту. Теперь, когда политикан говорит «прыгай», моя женщина отвечает: «Он не может подойти к телефону, оставьте сообщение». И еще о дураках: как вы думаете, *что* скорее всего произойдет, если вы дадите человеку с головой ружье — он вам его вернет или оставит при себе? Даже Папа Ло не был таким наивным глупцом.

И вот я решаю дать своему уму поработать над этим новым резоном. Восьмого декабря семьдесят шестого года приходит новость, что Певец и все его приближенные выжили. В больнице не протолкнуться от фараонов, а я к той поре

нанимаю Тони Паваротти, потому что Ревун для таких тонких дел не имеет должного опыта. А в операционной Певца уже обрабатывают и отсылают домой. В больнице остается только менеджер, которого кончать уже нет толку. И вот мы с Паваротти едем на Хоуп-роуд, 56, ожидая застать там полицейский наряд. Да хоть два наряда: все они без пользы, когда нужен всего один выстрел. Кроме того, я делаю звонок, после которого они должны за минуту сняться с якоря. Но проулок, вопреки ожиданиям, представляет собой город-призрак. В том числе и дом № 56. Подъездная дорожка пуста, все окна погашены. Ни души, и даже ни одного фараона. Я смеюсь, и Паваротти смотрит на меня так, будто хочет что-то спросить. Тем временем Питер Нэссер допускает такие ляпы, что это уже больше похоже на телешоу о том, какие промахи способен делать один человек. Поганый кусок собачьего дерьма оставляет сообщение, которое записывает моя женщина: «*Если тот ферт дает свой концерт то я вас задрот всех пускаю в расход*». Всего несколько раз в своей жизни я видел, как Тони Паваротти смеется, в том числе и в этот раз, когда я прочел ему то сообщение. Моя женщина ровным счетом ничего не понимает и уходит, оставляя нас двоих

в гостиной. Сидя с Паваротти на диване, я прикидываю, не было ли с моей стороны ошибкой послать Ревуна в качестве чистильщика. Вместо того чтобы сделать это самолично, он передоверил это каким-то растафари, вроде боязливой лицеистки. Хуже того: сделал это с моего телефона. И вот я ему звоню:

— Куда упорхнула птица?

— За каким звонишь, бро?

— Повторять вопросы не люблю.

— Он ушел. Их менеджер в больнице, а его увезли на холм белых людей.

— Фараоны?

— Один в машине с ними, еще несколько остались в доме. По холму всю ночь дежурят «Двенадцать Племен». Да еще белый парень…

— Что за белый парень?

— Есть тут один, с камерой. Никто не знает откуда, а сам он говорит, что со съемочной группой. Ну вот, короче, и всё.

— Нет, не всё, Мегрэ ты хренов.

— Эту песню я уже отпел.

— Да? А мне думается, стукачок, что ты еще лишь горлышко прочищаешь.

— Нынче на тот холм даже Господа Бога не пустят.

— Что там с концертом?

— Полный полицейский эскорт туда и обратно.

— А назавтра?

— Не знаю.

— Говори, козлота.

— Назавтра он должен улететь. У них для него частный самолет.

— На когда?

— Полшестого, шесть.

— Утра или вечера?

— А ты как считаешь?

— Куда?

— Никто не знает.

— Стартует целый самолет, а никто не знает, куда он летит? Ты человека из гетто опять за идиота считаешь?

— Босс, я реально говорю: никто не знает. Даже люди в аэропорту. Они даже не в курсе, что Певец думает вылетать.

— Это что, типа, топ сикрет?

— Еще секретней, чем цвет трусов у королевы. Нам и то известно только потому, что наш человек в машине с ними притворился, будто задремал, и подслушал их разговор. Белый менеджер сказал им там на холме, что, как только

концерт закончится…

— То есть официально. Сам концерт будет или нет?

— Да ничего тут официального. Просто выстраивают, как да что, на всякий случай. Короче, менеджер говорит: как только концерт заканчивается, ему в порт подается борт. Только спозаранку, пока аэропорт еще не открылся.

— В аэропорт Нормана Мэнли или «Тинсон Пен»?

— Мэнли.

— Международный, значит.

— Ты можешь настроиться на волну полиции, они там по рациям базарят.

— Да, но только зачем мне…

— Ты все-таки настройся. Прямо сейчас.

Шесть утра; аэропорт смотрится, как первые кадры из ковбойского фильма. Не хватает лишь свиста ветра и сиротливого перекати-поля. Небо цвета текилы, с розовинкой. Мы с Тони Паваротти ждем на лестнице в зал вылетов. Там, типа, смотровая площадка. Кто-то додумался сделать здесь стену на манер шахматной доски, как раз под ствол винтовки в пустом квадрате. Да еще и тень хорошая, в которой нас не видно. Паваротти поначалу переходил от места к месту, примери-

вался, пристраивался. Угол наводки был ему не очень по душе. Сам самолет уже ждал на взлетной полосе. Паваротти затих — правая рука на спусковом крючке, левый глаз приник к прицелу.

На дистанции у конца взлетки дежурят два джипа МО Ямайки с четырьмя или пятью солдатами, двое из них с биноклями. Солдаты расположились за машинами. Я их заметил сразу, как только вышел на площадку обозрения. При виде солдат в карауле я представил, как Певец сейчас держит путь с холма белых людей. Выражение его лица, когда он просыпается и не видит вокруг себя полиции. Наверное, он выслал вперед двоих-троих своих братьев-растаманов посмотреть, безопасна ли дорога, из чего следует, что он со своей «правой рукой» спускается с холма без сопровождения. Без солдат, смотрящих в бинокли. Насчет фараонов всегда можно предположить один из двух раскладов: (1) ты кидаешь им бабки на банковский счет или суешь в задний карман, и проблема снята; и (2) они всегда покупаются по сходной цене. А вот насчет солдат этот вопрос неясен. Они стоят вроде как на наблюдательном посту, хотя, может статься, просто ожидают. Может, пилот подзовет их к себе?

— Обязательно сними его до того, как солдаты

подъедут.

Паваротти кивает.

Шесть ноль две. Все, кроме солнца, ждут Певца. На секунду возникает чувство, будто я жду процессию; кортеж из машин вроде той зернистой кинохроники насчет Кеннеди в Далласе[190], которую каждый ноябрь крутят по телику. Певца ждут все. Не только я, не только солдаты, не только Тони Паваротти или самолет, но и Питер Нэссер, и Доктор Лав, и тот телефонный номер Медельинского картеля, по которому я сам ни разу не звонил. Но затем плавно возникает мысль: а чего именно все, собственно, ждут, его следующего шага или моего? Кто в этом кадре реальная танцующая обезьяна? Чье предстоящее движение вызывает у всех ажиотаж? И если люди командуют тебе «прыгай» и ты подскакиваешь на нужную высоту, скажут ли они «хватит, с тебя достаточно», или же навсегда перестанут тебя уважать, сочтя, что ты поступил не по-мужски, и скажут: «Пошел ты на хер, гнусная тварь, не скачи больше ни для кого». Проблема в доказывании себя состоит в том, что вместо того, чтобы оставить тебя в покое, люди так и не перестанут

[190] Примечания: 190

Документальные кинокадры убийства президента США Дж. Кеннеди в Далласе (ноябрь 1963 г.).

подкидывать тебе все новые, все более сложные вызовы для преодоления, для доказывания себя. Всякую хрень, пока все это не начнет напоминать комедийный сериал. Или вообще анекдот.

Тони Паваротти трогает меня за плечо. *Он* здесь. Он и еще один раста идут к самолету. Все вокруг будто застыло — движется лишь пыль, которую они взбивают. Аэропорт по-прежнему пуст и до семи утра не проснется. Идут они неторопливо, при ходьбе озираются; постояли — пошли дальше. Певец смотрит то на самолет, то по сторонам, а раста за ним идет как бы спиной вперед — проверяет, нет ли чего сзади. Завидев армейский джип, оба останавливаются. Ни один не шевелится. Тони Паваротти ведет их на мушке, намечая цель. Палец обвивается вокруг спускового крючка. Певец смотрит на солдат и что-то говорит расте. Они возобновляют движение, но идут еще медленней, останавливаясь прямо перед самолетом. Может, ждут, что кто-то из него выйдет. Я помню, что Тони Паваротти мои указания не нужны. Слышу металлический щелчок.

— Стой.

Паваротти смотрит на меня, смотрит на тех двоих, что сейчас бегут к самолету.

— Не парься.

Они взбегают в самолет и вынуждены сами закрыть за собой дверь.

Когда назавтра у меня раздается два звонка, я отсекаю их одной короткой фразой: «*Он так нужен вам мертвым — вот вы и убивайте*».

Сейчас я сижу у себя в гостиной в ожидании, когда зазвонит телефон. Лучше, если б он зазвонил поскорей — тогда я смогу сразу перестать думать. Время действия — не время для раздумья. За чей счет будет звонок? До моего отхода ко сну телефон должен позвонить трижды. Без звонка не настанет даже завтра. Я сижу, жду звонка, и тут мне в голову приходят мысли о Певце; я едва сдерживаюсь, чтобы не чертыхнуться. Этот человек так никогда и не узнает, что два раза был на волоске от того, чтобы я его прикончил. Как я его отпустил, потому что знал: как только он сядет на тот самолет, то обратно уже не вернется. И все же в семьдесят восьмом году он вновь сошел по трапу и даже, кажется, вызвал переполох на таможне. Через два года Питер Нэссер как следует подумал, прежде чем прийти ко мне брешущим псом с человечьим голосом. Примечательно, что он стал все время звать меня «самбо»; я даже проверил, не стало ли карболовое мыло отбеливать мне кожу. Последнее время я перестал

им пользоваться, что сильно обрадовало мою женщину, а то она чувствовала себя так, будто спит в больничной палате. Не знаю, что удивило Нэссера больше: возвращение Певца с еще одним концертом или то, что я был в курсе насчет его приезда раньше, чем этот опездол.

— Вся эта хрень в виде мирного договора, ты к ней как-то причастен?

Мы сидим в стрип-клубе «Розовая леди», который ему нравится как-то даже чрезмерно. Ни одна из шлюх, с которыми имел дело Ревун, здесь больше, похоже, не ошивается. То ли они потеряли интерес к бутылкам пепси на сцене, то ли он потерял интерес к ним. Однако новое пополнение включает светлокожую деваху, а значит, в заведении полно народа. Мадам усаживает нас в комнате наверху и спрашивает, не желаем ли мы пошлифовать писю или почистить попу. Я отвечаю «сегодня нет», зато уж Питер Нэссер никогда не упускает случая заполучить «вакуумный массаж гетто», как он это называет, а я остерегаюсь, как бы эта фраза не пристала ко мне. Он, похоже, готов говорить о делах, даже когда у него отсасывает сука. Я ему говорю: «Бро, два высунутых хера в одной комнате — все-таки перебор, ты не находишь?» Последнее, чего он

хочет, это прослыть жопником, поэтому не успевает что-то ответить, как я сам ему говорю, что выйду пройтись. Говорю, минут на пятнадцать, но, когда возвращаюсь через восемь, шлюха от него уже выходит, плюется и ругается, что «белый, бомбоклат, набрызгал ей полный рот».

— Знаешь, что меня донельзя утомило? Вся эта ересь насчет мирного договора. А теперь еще и Джейкоб Миллер написал об этом песню — ты еще не слышал? Хочешь, напою?

— Нет.

— Замирение гребаное, чтоб его…

— В следующий раз скажи солдатам не стрелять.

— Солдатам? Ты, что ли, про Грин-Бэй? Все это, по-твоему, из-за Грин-Бэй? Ты разве не слышал в новостях, что святых среди застреленных там не оказалось?

— Забавно, да? Разве они все не из твоего избирательного округа? Один из них мне даже рассказал, как в твои земли пришел некто Душка и сказал, что они могут на халяву разжиться оружием.

— Знать не знаю ни про какого Душку.

— Правда? Но почему-то все считают, что знаю я. Я спрашивал: «У кого в гетто может быть такое

имечко? Больше похоже на какого-нибудь певца с “Мотаун”»[191].

— А что ты, кстати, знаешь насчет приезда… Впрочем, ладно.

— Может, оно просто витало в воздухе.

— Натуральная мистика?

— Ты знал, что он приезжает? Возвращается первым из всех, из-за всей этой лабуды с замирением.

— Да он уж побывал здесь со своим чертовым концертом за мир. Что, мало показалось? Или он теперь не лондонец? Жил бы себе там да жил. Или он хочет своими руками поставить все те унитазы в гетто?

— Если б *ты* их там поставил, у него, глядишь, не было бы повода сюда возвращаться.

— Конечно, Джоси Уэйлс. Моя партия у власти, с меня вроде как и спрос. Ты, похоже… Эй, самбо, что ты в этом находишь смешного?

Снизу доносится бониэмовская «Ма Бейкер». Ее слышно даже через крики и свист, ругань и улюлюканье толпы — все они адресуются женщине, что сейчас машет телесами на подиуме.

---

[191] Примечания: 191

«Мотаун рекордз» — американская звукозаписывающая компания, основанная в 1959 г.; создала целое направление ритм-энд-блюза, называемое «мотаун саунд».

Я умалчиваю, отчего «Ма Бейкер» вызывает у меня смех.

— Ладно, самбо. Ты в самом деле думаешь, что Певец возвращается ради тех сраных унитазов?

— Ну, не совсем чтобы из-за них. А возможно, из-за фурнитуры и фитингов, или как там называется то, о чем сейчас вопит народец из гетто. Может вопить сколько угодно: нечего было голосовать за тех, бомбоклат, социалистов. Два раза кряду. Само собой напрашивается: как глубоко нужно засадить человеку хер в задницу, чтоб до него дошло, что его ебут?

— Певец эти чертовы унитазы ставить не собирается.

— Тогда, значит, он возвращается ради этого чертова замирения. Надеюсь, ты в курсе, что кое-кого наверху это приводит в большое беспокойство. *Очень* большое. Знаешь, сколько за прошлую неделю прилетело на Ямайку кубинцев? И теперь этот обалдуй посол Эрик Эстрада гарцует с гордым видом, будто он здесь хозяин бала.

— У Певца была встреча одновременно с Папой Ло и Шотта Шерифом.

— Да кто об этом не знает? Все крутится-вертится вокруг Хоуп-роуд, пятьдесят шесть, даже

твой гребаный премьер-министр ездит туда, как на работу.

— Как раз перед концертом все трое встречались в Англии.

— И что? У нас тут с год назад уже был концерт за мир; прошел и ушел. Ну и что с того?

— Ты думаешь, эти три главных шишки Кингстона съехались на стрелку лишь для того, чтобы перетереть насчет концерта?

— Им вообще многое по плечу.

— Концерт за мир — это так, всего лишь бонус.

— Я принимаю как данность, что ты знаешь, в чем здесь суть.

— Реально. Так же как я принимаю за данность, что твой финансовый чародей босс знает, что на деле раздувает инфляцию.

Питер Нэссер медлительно отводит маслянистые глаза. Ох уж эти сирийцы, во всем они такие.

— Так *что* эта дворняжка с дредами намечает — создать третью колонну? Что такого серьезного?

— Минуту назад ты к этому интереса что-то не изъявлял.

— Самбо, лучше не томи. Выкладывай, ей-богу.

— Главная программа у него после концерта. План. Назовем его повесткой.

— Что за повестка?

— Ты готов к такого рода новостям? Правительство из растаманов.

— Ч-чего? Ты что такое, блин, несешь?

— А то. Чтоб ты знал, когда здесь внезапно приземлится целая артель растафари из Англии. Кто-то уже здесь. Да не пучь ты так глаза, давление скакнет. Ты небось не в курсе, что растой заделался даже Папа Ло? Он даже свинину перестал трескать несколько месяцев назад. А на собраниях «Двенадцати Племен» он теперь частый гость.

— Поверю в эту только тогда, когда он перестанет причесываться.

— А кто тебе сказал, что все расты ходят с дредами? Бог ты мой…

Ох и вид у него: глупый-преглупый. Даже как-то неловко.

— То есть как это…

— Так ты хочешь услышать, что там расты с почетными растами перетирали в Лондоне, или нет?

— Я весь внимание, самбо.

— Кто-то, не помню кто, сказал: идея в том, чтобы внедрить растаманов в общество, политику и массы.

— Прямо такие слова?

— Я тебе что, попугай?

— Опа-а… То есть они встречаются на концерте за мир и продолжают разговор о правительстве. Как каждый нищеброд на каждой веранде каждого дома в Ямайке. Это и есть твоя новость?

— Нет, бро. Сначала они перетирают насчет нового правительства, а уже затем говорят за концерт.

— Что?

— Что слышал. Ты, я вижу, и не знаешь, какие часы звонят. А часы те на Биг-Бене. Так вот тебе их план: создать и укрепить оппозицию с обеих сторон гетто. Частично это в самом деле для народного блага: именем Джа Растафарай избавить его от таких, как ты.

— Джемдаунское мау-мау[192], что ли?

— Чего?

— Всей расте место в Эфиопии, они сами этим бредят. Ну так дать им краски; пускай вымажут красным, черным и зеленым какую-нибудь лодчонку и уёбывают себе подобру-поздорову.

---

[192] Примечания: 192

Мау-мау — восстание народов Кении против английской практики отъема земель у африканцев (1950-е гг.).

Назвать ее «Черная Звезда Два»[193] или еще как-нибудь в этом роде.

— Ты думаешь, лондонские растаманы хоть вот столечко знают об Эфиопии? Лондонские дредлоки знают о Джа Растафарай только через регги, бро. Где живет регги, там реально обитают и растаманы. А тут вдруг растаманы в Англии начинают ходить в бизнес-школы, избираться в лондонский парламент и посылать своих отпрысков, в том числе и девчонок, получать всяческое образование… А для чего оно, спрашивается? Англии эти умники не нужны. Так куда они, по-твоему, попрут?

— Вот же блин.

— Даунтаун разделяется, босс. Тебе надо знать, ведь это ты его разделяешь.

— Я никогда ничего не разделял.

— Ах вон оно что… Откалываешься, стало быть, от своей партии? Вы двое и разделяете. Ну а я, спросишь ты? Я всего лишь инфорсер. Так что… Так вот *что*, по-твоему, будет после концерта? Что происходит, когда люди сходятся вместе?

---

[193] Примечания: 193

«Черная звезда» — название судоходной компании, организованной М. Гарви с тем, чтобы переправить всех чернокожих из Нового Света обратно в Африку — по Гарви, единственное место, где они могли бы жить по-настоящему свободно. Компания быстро обанкротилась, и великий исход под лозунгом «назад в Африку» так и не состоялся.

— Уходит разделение.

— Это только первая фаза, босс. Если народ сходится миром, значит, скоро он сойдется и в политике. Народ *уже* выбирает, который из донов и от какого района окажется во власти. А это означает и то, что власть таких, как ты, скоро закончится.

— И все это происходило на той встрече в Лондоне?

— Реально.

— Но, самбо, та встреча была год назад.

— И что?

— Ты ждал год, чтобы мне это сказать?

— Я не знал, что тебе это интересно.

— Он не знал, что мне это интересно… Джоси Уэйлс, я тебя когда-нибудь нанимал для того, чтобы думать, а? Я похож на того, кто, для того чтобы думать, зовет к себе ниггера? Ну-ка ответь.

— Имей в виду: ответ, что прозвучит, тебе не понравится, — говорю я и вижу, как он опять с маслянистой медлительностью отводит глаза.

— Бомбо гребаный клат. Сучара из сопливой манды. Ты хочешь сказать, что какая-то ебучая раста-секта всем своим долбаным скопом эмигрирует обратно, в то время как столько народа валит отсюда, лишь бы свалить? Ты знаешь, сколько их

может кучковаться здесь на сегодня? Вот прямо сейчас, сию минуту? Ты об этом подумал?

— Нет, бро, когда нужно думать, думание я оставляю за тобой.

— Черт, черт, долбаный чертила… Выборы уже в следующем году. В сле-ду-ю-щем, раздолбай его, году. Оооо, сучий бомбоклат… Ты хоть понимаешь, сколько людей мне теперь надо обзвонить? Год он ждал, чтобы мне это сказать; просто в голове не умещается… Ну, я этого тебе не забуду, Джоси чтоб тебя Уэйлс.

— Ну хорошо. Ты-то сам всегда любишь забывать, когда это тебе выгодно. Забывая первым делом, почему здесь рулит Папа Ло. Но это, понятно, между вами двоими.

— Конечно. Ведь ты сейчас ох как занят своими отлучками в Майами. Думаешь, у министерства нету глаз? Так вот, пока ты еще не забурел окончательно, помни, что положение твое все еще шатко.

— Это как?

— Ты же весь из себя думающий? Вот и соображай.

Но я-то сообразил. Сообразил еще задолго до того, как он мне это брякнул. Сообразил начиная с восьмого декабря семьдесят шестого года.

Сообразил еще до того, как Певец сел на тот самолет, — в частности то, что если он вернется, то уже с новым резоном и новой силой за плечами. А этот невежа сириец с карликовым хренчиком не понимает, что некий пес унюхал нового хозяина, но и тот хозяин уже делает ошибку, считая того пса своим слугой.

Я смотрю на этого крючконосого идиота и по новой постигаю слова из Библии, услышанные мной когда-то давно в воскресной школе. Этот человек свою награду получил уже сполна. Дальше идти ему некуда, даже вниз. Он думает, что смеет повышать голос, потому как некоторые все еще считают, что белая кожа дает ему полномочия разговаривать таким тоном, не зная при этом, что полномочия и авторитет — не одно и то же. Ну да ладно, пусть тешится, пока я чувствую в себе зуд доброго самаритянства. С год назад Доктор Лав сказал мне избитую фразу: «Держи своих друзей вблизи, а врагов — еще ближе». Фраза, понятное дело, банальна, как собачье дерьмо, но с каждым шагом наверх ее смысл обновляется, становится свежее. Коли на то пошло, охотник не стреляет низколетящую дичь.

Теперь Питер Нэссер приплачивает в аэропорту троим, чтобы те высматривали любого говоря-

щего на кокни растафари, который приземлится в аэропорту Нормана Мэнли, особенно ночным рейсом. Почему-то он не подумал, что революция расты может прийти и через Монтего-Бэй. Он даже заставляет их там бегать в одну и ту же телефонную будку и каждые два часа названивать ему. Затем он захотел, чтобы я или кто-нибудь от меня отправился в Лондон, нашел там Певца и что-нибудь сделал, неважно, в турне он или на записи. Я схохмил, что, дескать, если ему все это видится фильмом про Джеймса Бонда, то, может, мне следует прихватить с собой его королеву красоты, потому как рисковать в таком деле настоящей красавицей стыд и срам. Посмеяться в трубку для меня было компенсацией за время, потраченное на разговор с этим занудой. К тому же для Певца там и без того как в могиле. Обреки человека почти на смерть, и ты его не просто почти убьешь. Ты подсечешь ему корни, оторвешь от дома, и он уже никогда и нигде не сможет зажить в мире. Для Певца единственный способ навсегда вернуться — это вернуться в гробу. Но то был семьдесят восьмой год, а я с тем годом завязал. Когда в январе старый американец умотал в Аргентину, на его место приехал новый. Новая, стало быть, песня на старые слова. Себя он

называет мистером Кларком. «*Просто мистер Кларк, без “е” на конце*»[194].

Он думает, это настолько смешно, что при встрече повторяет из раза в раз: «Кларк, без “е” на конце». С Доктором Лавом он уже знаком, но, похоже, каждый американос, что разгуливает по Кингстону в потной сорочке и со сбившимся набок галстуком, знает, кто таков Луис Эрнан де лас Касас. Апрель семьдесят восьмого; мы сидим в «Морганс Харбор», отеле для белых в Порт-Ройял. Сидим и из почти пустого ресторана смотрим на Кингстон. Точнее, смотрят они. А я наблюдаю. Я с двумя иностранцами, уже пронизанными пиратским духом с головы до хера. Есть на что посмотреть — я имею в виду то чувство, что обуревает каждого белого всякий раз, когда ты отвозишь его в Порт-Ройял. Не тот ли это самый дух, что захлестывает их, как только они соскакивают на любой каменистый берег? Готов поспорить, это в них еще со времен Колумба и работорговли. Что-то связанное с морской высадкой, от чего у белых развязывается язык и бьет в голову моча.

— А скажи-ка, дорогуша, не в этих ли местах грабил и бесчинствовал Черная Борода?

---

[194] Примечания: 194
Имеется в виду английское написание Clarke.

— Я знаю только о Генри Моргане, сэр. А на Ямайке «дорогуша» — это женщина, которую содержит мужчина, но она ему при этом не жена.

— Упс. Пардон.

Я уже давно вот так, спецом, не коверкал язык; пару раз даже заставил Доктора Лава мне перевести. Будто не догоняю. Этот американос был по крайней мере не как Луис Джонсон, что держал лист вверх ногами и гнал белым, что ниггер не умеет читать (та сцена до сих пор стоит в памяти). И тут он говорит:

— Вы бедный, драгоценный народ, который даже не знает, что находится на самой грани анархии.

— Моя не понимай. Если мы драгоценные, почему мы такие бедные? Алмаз, он драгоценный.

— Такие вот вы, парняга, неотшлифованные алмазы. Весь остров такой неотшлифованный. Так грубо вырезан и так красив. И такой непрочный. Под «непрочным» я имею в виду, что вы ходите по краю. То есть…

— Шаткий?

— Да. Exactamente[195]. Exactamente, верно я говорю, Луис? Нам с Луисом есть что вспомнить.

---

[195] Примечания: 195
Точно (*исп.*).

Мы с ним так давно знакомы, что начала уж и не углядеть. До этого было еще несколько *estados latinos*[196], верно?

— Вы тоже часть той нескладухи в Заливе Свиней?

— А, что?.. Нет, нет. То было задолго до меня. Очень задолго.

— Ну так, может, вы когда-нибудь найдете яду, чтоб подействовал на Кастро.

— Хе-хе-хе, а ты смышленый малый… Я бы сказал даже, хитрый, а? Это Луис тебя подкармливает новостями?

— Нет. Новостями меня подкармливают новости.

А ну-ка прижмись, Джоси Уэйлс. Ничто так не отталкивает американцев, как когда до них доходит, что они в тебе заблуждались. Не забудь хотя бы раз до его отъезда поддакнуть, сказать «нет проблем, сеньор», да еще эдак в нос: «Сеньёёоооррр». Чтобы он уехал с ощущением, что нашел того, кого надо. В первый раз я жалею, что у меня нет дредов и я не умею по-комариному невесомо сикотить на месте, подобно растаманам, хотя танцевального ритма и нет. Из-за того, что я все

---

[196] Примечания: 196
Латинские страны (*исп.*).

время наблюдал за киванием Доктора Лава всем словам американца, я почти пропустил то, что он по ходу внушает мне. А внушал он мне, что Ямайка находится в состоянии войны. Только об этом, считай, и говорил. И войны куда более крупной, чем была здесь в семьдесят шестом (первый раз он киданул цифру 1976). «Холодной войны», — уточнил он.

— Ты знаешь, что означает «холодная война»?

— У войн температуры не бывает.

— Что?.. Да нет же, друг мой. «Холодная война» — это термин, фигура… Просто название того, что здесь происходит. Знаешь что? У меня тут кое-что с собой есть… Глянь-ка вот на это.

Белый вынимает книжку-раскраску. Когда ломаешь дурака с американцами, то привыкаешь ждать всего, но такое ошарашивает даже меня.

— Это чё?

Я беру раскраску кверх ногами: зачем ее вертеть, если на обложке аршинными буквами значится: *«США — это Демократия!»* Американец смотрит, как я неправильно держу книжку, и я в точности знаю, что он сейчас думает. «*Послушай, Луис,* compadre*, я знаю, что ты знаешь, о чем идет речь, но ты уверен, что мы взяли правильного парня?*»

— Это как бы схематика, типа того. Луис, он знает, что… В смысле… погоди. Можно я ее возьму, на секунду? Благодарю. Давай-ка, давай-ка, давай-ка глянем… Ага! Страницы шесть и семь. Видишь, шестая страница? Это мир при демократии. Вот, видишь? Люди в парке. Дети пробегают мимо тележки мороженщика, кто-то хватает «твинки»[197]. Вот глянь — видишь, парень читает газету? А вот идет девчонка, фигуристая, правда? В мини-юбке. Не знаю, что эти пацаны учат, но они идут в школу. А все взрослые на этой картинке? Они могут голосовать. Они решают, кому нужно уйти… в смысле, повести страну. Ах да, глянь еще на эти высокие здания. Это все из-за прогресса, рыночной экономики, свободы. Свободная рыночная система, друг мой. А если кому-то на картинке что-нибудь в происходящем не нравится, он или они могут сказать «нет». Выразить свой протест.

— Ты хочешь, босс, чтобы я эту картинку раскрасил?

— Что? Нет-нет, не надо. Лучше, скажем, я дам тебе пару дюжин таких книжек, а ты отнесешь их в школу, где учился. Нам надо просвещать

---

[197] Примечания: 197

«Твинки» — марка золотистого бисквита с кремовым наполнителем.

молодежь, наставлять ее на верный путь, пока им не запудрили мозги все эти леваки и коммуняки. Все эти комми — просто шизики; ты знаешь, почему многие из них педерасты? Потому что нормальные люди вроде нас с тобой размножаются. А комми, они как гомы, ходят и пудрят людям мозги.

«Вроде американосовских церковников, что всё тут заполонили», — думаю я, но вслух не говорю. А вместо этого киваю:

— Верно сказано, босс, верно.

— Вот и хорошо. Вижу я, мистер Уэйлс, что ты хороший человек. И чую, что с тобой можно делиться сокровенным. Вот что я тебе скажу: все, что ты сейчас услышишь, проходит под грифом «Секретно». Этой информации пока нет даже на столе у Киссинджера. Даже Луис сейчас услышит ее впервые. А ну-ка, Луис, ты в курсе, какой сейчас промысел процветает в Восточном Берлине? Спорим, не знаешь? Что ж, скажу вам обоим: поздние аборты. Да-да, ты не ослышался. Какой-нибудь мясник вытаскивает младенца из девчонки на пятом, на седьмом, иногда даже на девятом месяце беременности и, как только из манды показывается головенка, рассекает горло. Ты представляешь, какое дерьмо? Дела там так

плохи, что женщины решают лучше убить своих детей, чем дать им появиться на свет в Восточной Германии. Народ так называемой ГДР за всем стоит в очередях — прямо как в этой книжке, мистер Уэйлс. Люди маются в очередях за тривиальным мылом! Знаешь, что они с ним делают? Продают или выменивают на еду. Бедные засранцы не могут даже позволить себе приличной чашки кофе: сволочье из их правительства смешивает это дерьмо с цикорием, рожью и свеклой и называет всю эту хрень «бетткаффе». «Бетт» — звучит как «бэд», то есть «скверный», правда? Мне казалось, я прошел уже через все и все знаю. Но от этого, скажу я вам, просто волосы дыбом. Аж мозги набекрень. Вот ты, мистер Уэйлс, пьешь кофе?

— Да я больше по чаю, сэр.

— Похвально, друг мой, похвально. Но эта вот маленькая драгоценная страна… Через два неполных года она станет еще одной Кубой — или, того хуже, Восточной Германией, — если процесс прямо сейчас не обратить вспять. Я видел, как такое едва не произошло в Чили. Видел, как оно чуть не случилось в Парагвае. И одному лишь Богу известно, что может случиться в Доминиканской Республике.

Кое-что из этого в самом деле имеет место быть.

Но эти люди из ЦРУ от этого словно прутся. Стоит им подумать, что ты им поверил, как оно обращается в какой-то наркотик. Точней, не в наркотик, а в спорт. «А ну-ка, поглядим, как далеко я смогу завести этого невежду-ниггера». Краем глаза я наблюдаю, как он наблюдает за мной, думая, что я тот самый человек, которого он рассчитывал встретить. Луис Джонсон к своему отъезду был под недюжинным впечатлением, что человек, не знающий толком грамоты, оказался таким сметливым. Разумеется, сметливым в том смысле, насколько может быть сметливой дрессированная собака или обезьяна. Ишь как он заправляет мне об инопланетянах, а сам смотрит, клюну ли я на все это. И при этом мина у мистера Кларка такая серьезная, что я даже разок глянул на небо посмотреть, не станет ли оно серым, чтобы поддать его рассказу настроения.

— А сказать я хочу то, — не унимается он, — что эта страна находится на перепутье. И следующие два года будут решающими. Так вот, можем ли мы на тебя рассчитывать?

Я даже не знаю, какую хрень этот человек ожидает услышать в ответ. Каких слов он от меня ждет — что я готов взойти на борт? Может, гаркнуть ему «на абордаж!», учитывая то, что мы

сейчас сидим в пиратской гавани? Доктор Лав мечет на меня взгляд, после чего размеренно кивает с закрытыми глазами — дескать, скажи этому кретину то, что он хочет услышать, *muchacho*.

— Я готов взойти на борт, сэр.

— Рад это слышать. Высший, язви его, балл. Очко.

Мистер Кларк встает со словами, что машина доставит его обратно в отель «Мейфэр», где он бросит кости, пока под него готовится квартира. Оставив на столе десять американских долларов, он отдаляется, но затем резко оборачивается и припадает мне к левому уху:

— Кстати. Я заметил, ты последнее время совершаешь отлучки в Майами и на Коста-Рику. Жужжишь как пчелка, стало быть? Разумеется, американское правительство не проявляет интереса к бизнес-активности между Ямайкой и членами ее диаспоры. Содействуй с нами по всем вопросам, и мы будем чтить конфиденциальность наших соглашений. Луис, переведешь это ему?

— Езжайте с легкой душой, мистер Кларк.

— Просто Кларк, без…

— …«*е*» на конце, я понял.

— *¡Hasta la vista!*[198]

Я смотрю на Доктора Лава:

— Его правда звать Кларк?

— А меня правда звать Доктор Лав?

— Вместо «мы» он говорит «я».

— Я тоже это заметил, *hombre*.

— Мне на это обратить внимание?

— Да хер бы его знал. Прись себе дальше, и все тут. Вы тот свой ящик с барахлом еще не распаковали?

— Кажется, американцы говорят «барахлишко».

— Я, по-твоему, похож на гребаного янки?

— Как, по-твоему, мне на это ответить, Доктор Леви Страусс? Ящик тот уж давно распакован.

Он имеет в виду еще одну поставку, которая пришла тем же путем, что и та декабрьская семьдесят шестого года. В громоздком ящике с маркировкой «Аудиооборудование / Концерт за Мир», оставленном на причале. Мы его оприходовали вместе с Ревуном, Тони Паваротти и еще двоими. Семьдесят пять «М16» мы оставили себе. Двадцать пять продали человеку из Уэнг-Сэнг, который с некоторых пор испытывает острую

---

[198] Примечания: 198
До свидания! (*исп.*)

потребность в стволах. Патроны мы оставили себе. Идея Ревуна — пускай, говорит, сами себе пули льют. Мы как будто готовились к войне, в то время как все остальные настраивались на мир. Сам Папа Ло вышел из-за серой тучи, которую надернул на себя с того дня, как стреляли в Певца. Он как будто брал на себя всю вину — обратная сторона приписывания себе всех заслуг. Певцу он сказал, что все стряслось потому, что он отсиживал в тюряге, иначе никакого покушения и вовсе бы не было. Папы Ло давно уже нет — умотал с этой планеты на волшебной ракете и сейчас, должно быть, кружится со «Свиньями в Космосе»[199]. Беда в том, что с каждым днем на этот рейс садится все больше народа. Лихорадка замирения охватила гетто настолько, что по окончовке первого Вечера Единения ко мне подошел тот, что убил моего кузена, с распростертыми, как для объятий, руками. Я назвал его жопником и ушел.

Мирный договор докатился аж до Уарейка-Хиллз, и оттуда впервые за годы спустился тот самый Медяк, словно забыв, что у каждого фараона на Ямайке есть в патроннике пуля с его именем. И вот когда даже Медяк явился сюда поесть-по-

[199] Примечания: 199

«Свиньи в Космосе» — одна из серий телевизионной юмористической программы «Маппет-шоу».

пить-повеселиться, я понял, что мне пора кинуть взгляд в сторону другой страны.

Ко мне в дом приходил сам Папа Ло, спросить, почему я не танцую под новые ритмы мира, и давно пора, чтобы черные вняли чаяниям Маркуса Гарви, радевшего о нас все эти годы. Я уж не стал спрашивать, знает ли он из Маркуса Гарви хоть строчку или же ему про все напел какой-нибудь чертов раста из Лондона. Но тут я увидел, что глаза его влажны. Что они упрашивают. И я понял нечто об этом человеке и о его делах. Он уже зрил за горизонт, гораздо дальше гетто, гораздо дальше времени и своего места в этом мире. Этот человек думал о том, что напишут на его надгробии. Что скажут о нем люди в дальних временах, когда последний кусок его прогнившей плоти отстанет от костей. Забудьте о его семи отсидках за убийства и покушения, после которых он неизменно выходил. Забудьте, что до того как в гетто пришли белый и Доктор Лав, каждого мужчину здесь учил стрелять он, Папа Ло. Забудьте, что границы в гетто прочертили они с Шотта Шерифом и они заправляли внутри них. Он хочет, чтобы на его надгробии было указано, что это он объединил гетто.

Есть такие, кто думает, будто я питаю к Папе Ло

враждебность. Хотя у меня к этому человеку нет ничего, кроме любви, и то же самое я повторю любому, кто меня спросит. Просто гетто есть гетто. Такой штуки, как мир, в нем не существует. Есть только этот непреложный факт. Твою волю убить меня может остановить только моя воля убить тебя. И в гетто живут люди, видящие лишь в этих границах. Я же смолоду видел только то, что за его пределами. Просыпался, глядя наружу, ходил в школу и весь день проводил глядя в окно, подходил к Мареско-роуд и стоял там у забора, отделяющего Уолмерскую школу для мальчиков от колледжа Мико — всего лишь цинковый забор, при виде которого многие и не догадываются, что он отделяет Кингстон от Сент-Эндрю, пригород от даунтауна: тех, кто имеет, от тех, кто нуждается. Люди без планов ждут и смотрят. Люди с планом видят и ждут нужного времени. Мир не гетто, и гетто не мир. Люди гетто страдают, потому что есть люди, что живут причинением им страданий. Хорошие времена для одних — это одновременно плохие времена для других.

Вот почему ни ЛПЯ, ни ННП с тем замирением не якшаются. Мир не может наступить, когда слишком уж многое завязано на войну. Да и кому он нужен, этот мир, если все при этом остаются

так же бедны? Я думал, Папа Ло это понимает. Да, можно стараться вести людей к миру. Можно полететь к Певцу и заставить его спеть за деньги, которые пойдут на строительство туалетов в гетто. Можно перекрыть говнотечки в Рэйтауне и Джунглях и даже замириться с теми, кто год назад убил твоих братьев. Но продвинуться при этом можно ровно настолько, насколько позволяет поводок, прежде чем он не натянулся. Пока хозяин не скажет: «Стоп, хватит. Нам не туда». Поводок Вавилона, поводок полицейских сводок, поводок суда за огнестрел, поводок двадцати трех семей, что рулят Ямайкой. Он начал натягиваться две недели назад, когда сирийский ублюдок Питер Нэссер попробовал повести со мной некий блудный разговорец. Или неделю назад, когда сошлись американец с кубинцем, показать мне книжку-раскраску и научить, что такое анархия.

Эти трое обеспечивают мне нешуточную занятость. Мистер Кларк рассуждает о Кубе как человек, не принимающий того, что женщина, которую он трахал, больше его не хочет. А потому он не допустит, чтобы нечто подобное произошло и на Ямайке (что именно, известно ему одному). Все-таки странно, когда человек хочет трахаться со страной, с которой прежде никогда не жил.

Может, ему бы следовало с годок повременить, а затем спросить себя, достойна ли она реально того, чтобы послать ей «валентинку». Истинно говорю: поведешься с белыми — начнешь разговаривать, как они. Может, Питер Нэссер потому и зовет меня «самбо» с некоторых пор. Один вульгарный политикан, каждый день замирающий от предчувствия звонка насчет пришествия раста-апокалипсиса. Один американец, подотчетный другому американцу, который подотчетен третьему, желающему всего лишь толкнуться об страну для перепрыгивания на Кубу. И один живущий в Венесуэле кубинец, желающий, чтобы этот вот ямаец помог колумбийцу протолкнуть его кокаин в Майами и внедрить его на улицу в Нью-Йорке, потому как багамцы скурвились и начали мутить свой фрибейс, оккупировав с этим дерьмом местный рынок. И что примечательно, эти трое пиздорванцев гнушаются крови. А потому предпочитают, чтобы за них управлялся четвертый — то есть я — и заточил таким образом под них нынешний семьдесят девятый год. Меня же нынче сильно утомляет делать что-то для других, включая Папу Ло.

Но Папа Ло, он хотя бы подкачивался своей миссией справедливости. Она его питала, как

поливитамин. За пятьдесят шесть пуль на Хоуп-роуд он, казалось, совершил пятьдесят шесть покаяний. И вот прямо перед вторым концертом за мир я скормил ему Зверюгу Легго. Сказал, что он прячется у матери в шкафу, всего в пяти домах от самого Папы, но не сказал, что прячется он там уже два года. Ту новость Папа встретил по-бычьи мощным сопеньем. Вместе с Тони Паваротти и еще кое с кем он двинулся к тому дому, как Христос на очищение храма. Он хотел сделать из этого представление для людей, для гетто и даже для Певца — смотрите, мол, как я свершаю месть, — хотя никто его об этом не просил. Выволок того парнягу вместе с мамашей на улицу и начал ее, бедную, избивать на людях, хотя ей шел уже пятый десяток. Одно дело разбираться с парнем, что покусился на Певца, но совсем другое — с женщиной, пытавшейся уберечь свое единственное дитя. Видно, он хотел, чтобы люди видели его способность на поступки. Как будто то, что уже было и прошло, от этого как-то изменится. Он хотел, чтобы она послужила примером, — сжег всю ее жизнь и выпнул одной ногой, но сам при этом выставил примером единственно себя. Как какой-нибудь ниггер, показывающий свою свирепость для ублажения хозяина.

А Зверюга Легго давай вопить, что все это ЦРУ, что это оно заставило его все это сделать. ЦРУ и люди с Кубы — что совсем уж смехотворно, потому как всем известно, что кубинцы-коммунисты и не стали бы иметь дело ни с кем из Америки. Как будто Папа Ло знал о ЦРУ больше, чем кто-нибудь из ямайцев. Потом Зверюга начал орать, что это все была моя затея. Я смотрю, как Папа Ло смотрит, моргну ли я. Легго орет уже так долго, что сам начинает сомневаться, правда ли это. На Ямайке ведь как говорят: «Если это не так, значит, это примерно так». Собственно, именно это Папа мне и говорит, когда через день после того, как я навел его на Легго, приходит и стучит ко мне в дверь. А с ним двое пацанов — таких еще сопливых, что стволы провисают до трусов. Под моим взглядом они отворачиваются — тот, что слева от Папы, ерзает, как девчонка, но другой снова поворачивается и пыжится на меня глянуть. Я его запоминаю. Папа Ло притопывает ногой, как будто сердит заранее. И говорит:

— Если это не так, значит, это примерно так. Что скажешь?

— А то и скажу: Зверюга Легго теперь чего только не нагородит. Ты ведь знаешь поговорку об утопающем?

— У утопающего нет времени на придумку такого рассказа.

Я невольно сжимаю кулаки: меня такие слова отчего-то раздражают.

— А у меня нет времени объяснять, что верить такому кретину, как Зверюга, просто глупо. Хорош умник: два года, чтобы убраться так, что и следов не найти, — а он долез всего до материна шкафа.

— Тем не менее ты знал, где его искать, брат.

— Оно немудрено. Мать каждую неделю ходила на рынок, а возвращалась оттуда со здоровенным кулем. Спрашивается: зачем столько снеди, если она живет одна? Или у нее на довольствии Армия Спасения? Но вопрос не в этом, а в том, как ты, дон из донов, ничего даже не заметил?

— Не могу же я, парень брат, следить за каждой щелью. Разве не ты у нас для этих целей?

— Ну тогда и не задавай глупых вопросов насчет Певца, коли сам знаешь ответ.

— Правда? А ты не быстрее ли мне ответишь? Поскольку…

— Если б убить Певца пытался я, ни одна из тех пятидесяти шести пуль не прошла бы мимо.

Хочешь дать человеку понять, что разговор окончен, — говори на четком английском. Папа

Ло уходит, его щеглы сикотят следом.

Вскоре после этого он отвозит Зверюгу Легго на кенгуриное представление у Канала Макгрегора, лишний раз доказать свою способность вершить пусть неправый, но суд. Поговаривают, что там присутствовал сам Певец (довольно странно, когда весь мир следит за каждым его шагом), однако сам я верю слову одного лишь Тони Паваротти, а он хранит молчание. Затем он отыскивает кое-кого из тех, что участвовал в той афере с конскими бегами, отвозит их в старый форт и превращает в корм для рыб. Честно говоря, хотелось бы спросить: как можно иметь всю эту кровь на руках, когда твоя миссия — мир?

В гостиной темнеет. Я дожидаюсь еще трех звонков. Мимо с куриной ножкой в руке проходит мой старший сын. Он уже сейчас так похож на меня, что я невольно потираю себе пузо, убедиться, что это все же я, а не он.

— Мальчик, что ты делаешь здесь? Почему ты не с матерью? Эй, я с тобой разговариваю.

— Да ну, па. Я ее иногда реально выносить не могу.

— Ну, а сейчас что ты такое вытворил, чтоб вывести бедную женщину из себя?

— Она всегда куксится, когда я что-нибудь го-

ворю про тебя.

— Ну, а я — про тебя. Ей это тоже не нравится.

— Да брось, па.

— Так что ты сказал своей матери?

— Что даже лихой человек умеет готовить лучше, чем она.

— Ха-ха-ха. Ты малый, я вижу, непростой… Хотя правда. Я никогда еще не встречал такого врага кухни, как она. Может, потому с ней лишнего и не задержался. Тебе еще повезло, что она тебя не пристрелила.

— Чё? Мама, что ли, умеет обращаться со стволом?

— Ну а ты как думаешь? Или ты забыл, кто был ее муж?.. Ладно, поздно уже. Хватит шататься по моему дому, как даппи.

— Но ты ж не спишь. Ты всегда тут сидишь допоздна.

— Вот как? С каких это ты пор шпионишь за отцом?

— Да я не…

— Вранье у тебя такое же умелое, как материна готовка.

Не знаю, как я все это проглядел. Я смотрю на своего мальчика — ему скоро двенадцать, до средней школы рукой подать. Он храбрится, смотрит

мне прямиком в глаза и слегка хмурится, еще не зная, что для каменного лица нужно нажить годы. Делает он это впервые (об этом знаем и он и я): сын, пытающийся взглядом пересилить отца. Но мальчишка — это всего лишь мальчишка, не мужчина, выстоять он не может — пока. Отводит глаза и тут же снова их наводит, но раунд уже проигран, и он это знает.

— Я жду звонка. А ты иди поозоруй с братом, — говорю я, провожая его взглядом.

Когда-нибудь, сын, ты узнаешь достаточно и научишься держать себя так, чтобы последнее слово оставалось за тобой. Но не нынче. Один звонок, нежелательный в поздний час, будет от Питера Нэссера. Вот уже два месяца, как я дал ему затравку насчет раста-апокалипсиса, и он все еще или обильно потеет, или устраивает пятиминутный армагеддон какой-нибудь тупой девке в «Розовой леди» так, что та потом уходит враскоряку. Насчет Певца все уже ясно и ему, и Ямайке, и Медельину, и даже Кали, хотя с этим ему сложно смириться. Почему? Потому что даже если Певец не станет голосом партии, или движения, или чего там еще, то он станет чем-то куда более важным: деньгами. Достаточно того, что сегодня три тысячи семей ежемесячно

получают благодаря ему какие-то деньги — даже семья парня, который в него стрелял. Кстати, о стрельбе: даже я был донельзя потрясен, увидев однажды его фото в «Глинере». Бок о бок с ним там находился Хекль.

В ту ночь, когда Ревун остановил машину в Мусорных землях и вышвырнул Хекля, я больше не видел от него ни ушей, ни хвоста. Вот вам еще один из тех, кто на поверку оказался если не храбрее, то, во всяком случае, сметливей Ревуна, настолько смекалист, что я крепко задумался, кого оставлять в живых. Умен настолько, что оказался единственным, кто держал нос по ветру и понял: после такого дела живыми обратно не возвращаются. Мне по нраву, когда человек умеет читать письмена на стене. Но Хеклю следовало знать: беспокоиться ему было не о чем; возмездие ждало только тупых, а не умных. Если б я мог с ним перемолвиться, я бы сказал: «Не волнуйся, брат. Мир с тобой занятней, чем мир без тебя». Тем не менее он подловил струю попутного ветра и дал деру, выпрыгнув из машины, как собака с отстегнутым ошейником. Оставаться на Мусорных землях он и не думал. Ревун вынюхал, куда сбежало большинство людей, а тех, кого не нашли мы, нашли растафари. Вслух о них никто

не говорил, а единственным свидетельством, что они выходили на охоту, был труп Демуса, что раскачивался на дереве в горах Джона Кроу. Глаза и губы ему склевали грифы. Но где находится Хекль, сказать никто не смог. Даже его женщина, даже после того, как ее трижды отделали и чуть не удушили. Это, скажу я вам, вызывает во мне восхищение даже большее: не человек, а прямо-таки призрак.

И вот спустя почти год ко мне припирается Папа Ло, еще безумней, чем обычно. Точнее, не безумный, а такой озадаченный, что глаза сходятся чуть ли не к переносице.

— Он взял того гаденыша с собой в турне, ты можешь это представить? Сделал этому гаду, бомбоклат, визу!

— Успокойся, успокойся. Еще не вечер.

На самом деле стоял как раз вечер, на редкость мирный для гетто.

— Ничего не понимаю. Может, он в самом деле какой-нибудь пророк… Не знаю даже, выкидывал ли Иисус такие фортели, хотя он любил ставить в тупик мудрецов.

— Кому он на сегодня еще мог шлепнуть визу?

Речь, безусловно, шла о Певце.

— Я никак не мог поверить, пока не увидел

того дрючка, как он прячется за ним испуганным фазаненком. Хекль.

— Хекль? В самом деле?

— Ну, а я что говорю?

Кто знает, где он скрывался почти два года? На южном побережье среди хиппи? На Кубе? Где бы он того ни делал, но с приездом Певца на второй концерт он прочно окопался на Хоуп-роуд, 56. Без оружия, без обуви, воняя пустырем. Певец, безусловно, понял, кто он, хотя из нападавших, я уверен, не разглядел никого. Не знаю, чем восторгаться больше, храбростью его или тупостью, но Хекль пешком проделал путь до Хоуп-роуд, пробрался мимо секьюрити — доходяга, кожа да кости, — а когда Певец вышел из дома, бросился к нему в ноги и стал вымаливать прощение. «Убей меня или спаси» — так, кажется, сказал. Само собой, любая живая душа на дворе жаждала над ним расправы. Как потом быть с телом, их даже не заботило.

Возможно, Хеклю подфартило, что в это время там не находился Папа Ло. Или же свезло в том, что Певец стал видеть вещи в ином свете. Ну а может, он подумал, что доходяге с такими запавшими глазами, воняющему, как зверюга лесная, и с пальцами, торчащими из дырявых башмаков,

падать ниже просто некуда. Или же он в самом деле пророк. Певец его не только простил, но и вскоре ввел в свой ближний круг, а уезжая с Ямайки, взял с собой. Папа Ло ничего этого не знал, пока не наткнулся на снимок в «Глинере».

Впервые за годы я вынужден переосмыслить образ Певца. Папа Ло бранится, что, дескать, вот еще одна ситуация, над которой мы не властны. Какой же человек после благословения Певца осмелится кого-то хулить? Хекль сделался неприкосновенным. В Копенгаген-то он не вернется, это понятно; ни в Джунгли не вернется, ни в Роузтаун, но зато обоснуется в том самом доме, обитателей которого мы пытались перебить. А когда его нет там, он будет с комфортом разъезжать по всему свету.

По времени уже поздновато, а я все сижу у телефона, ожидая, когда тот оживет три раза. Этим людям известно мое неукоснительное отношение ко времени. Я не могу терпеть, когда поздно и когда рано. Надо вовремя. У одного из тех людей есть в запасе четыре минуты. У второго — восемь. У третьего — двенадцать.

— Поцелуйте меня в маковку. Да что ж это такое, дети у меня нынче как неупокоенные?

В дверях стоит моя младшенькая, потирает гла-

за. Стоит на одной ножонке, шоркая ею о другую. И в майчонке с портретом Чудо-Женщины во все пузо[200]. Даже в полутьме видать. Мать перед сном заплела ей волосы в две косы (сейчас бы она устроила дочушке за позднюю прогулку и за постоянное подтягивание трусишек, будто попа зудится). Ишь, щечки какие — как и у матери, они у нее с возрастом никуда не денутся… Для темной девчонки на Ямайке будущего нет, несмотря на всю эту бодягу с правами черных. Достаточно взглянуть, кто у нас недавно стал Мисс Мира.

— Что, лапка, даппи в тебя влетел? Говорил я: ротик прикрывай, когда зеваешь.

Вместо ответа она молчком подходит ко мне, поддергивая на ходу трусишки, и останавливается возле моего колена. Снова трет глаза и смотрит на меня детски неотрывно, будто проверяя, я ли это. А затем, все так же молча, хватает меня за штаны, обезьянкой взбирается мне на колено и засыпает, втеревшись мне в объятие. Откуда у нее такая тяга к своеволию, от матери или от меня?

И как лихие люди делали свой бизнес до появления телефона? Черт возьми, даже я теперь не помню, как принимались и передавались весточ-

---

[200] Примечания: 200

Чудо-Женщина — вымышленная супергероиня комиксов.

ки. Первый звонок через три минуты. В голове с внезапной четкостью вдруг оживает еще один телефонный звонок. Безусловно, я знаю почему. Доктор Лав называет это «дежавю». Речь о тех днях, когда каждого здравомыслящего человека стала постепенно утомлять вся та хрень насчет любви и мира. Примерно тогда с гор спустился Медяк. Спустился с таким видом, будто люди вроде меня забыли, кем этот козел был до замирения; как он насиловал женщин вслед за тем, как убивал их мужчин. Даже Папа Ло, с этим его «убью каждого, кто изнасилует», дал тому мудаку улизнуть на Уарейка-Хиллз. Хорошие времена для одних — это плохие времена для других, и люди, которым светят плохие времена, скапливаются в то, что нынешние американцы называют «критической массой». Критическая масса сознает то же, что и женщина, которую лупит муж. Да, дела худы, но не рыпайся, если он работает на тебя. Эта худость нам известна. Ну а хорошесть? Хорошее, оно, конечно, хорошо, только вот никому не известно. Оно так, призрак. От хорошего деньги в кармане не заводятся. Плохое, оно для Ямайки годней, потому что по-своему работает. А потому, когда определенные люди впадают чуть ли не в панику от всех тех флюидов хорошего, что

угрожают следующим выборам — особенно когда видно, чем это все чревато, — у меня начинает трезвонить телефон. Моя женщина тогда приняла послание, состоящее из всего одного слова.

— Медяк.

— Ну, и?.. Дальше что?

— Просто Медяк.

— И всё?

— И всё.

Да нет проблем. Этот бокастый кусок дерьма был ненавистен мне со времен оных. Хотя от замирения Медяк не поглупел. То есть не потерял бдительность. На холмах он поживал вполне себе безопасно, то же самое и в Копенгагене, и даже в Восьми Проулках. Но от полиции он застрахован не был. Надо сказать, что Медяк не шустрит ни в одном из загонов, которых не знает. А потому на одной воскресной вечеринке в Рэйтауне я подкатил к нему и сказал:

— Послушай, Медяк. Вот ты и тебе подобные, что чалятся на холмах, когда последний раз лакомились жареной рыбкой?

— У-у-у, — мечтательно повел он голосом, — по правде сказать, я уж и запах тот позабыл.

— Да ты что? Ну, брат, так не годится. Завтра, вот прямо-таки завтра отправляемся прямиком

на берег, жарим там рыбу и фестивалим.

— Уау. Реально фестивалим? И поджарка на рыбьем жиру? Да ты кто такой, демон-соблазнитель, что ли?

— Жареный желтый ямс, печеная кукурузка с сухим кокосом, десяток рыбок с маниокой, пяток на пару с перчиком, пяток жарятся на своем жиру… А?

— Бллиин…

— Готовь кого-нибудь из своих, чтоб выехали в Форт-Кларенс.

— Вавилонский пляж? Да ну, ты чё.

— Я сделаю, чтоб секьюрити о тебе знало. Можно подумать, ты сам не хочешь. Рыбы от пуза, веселья тоже. Будешь гулять по Вавилонскому пляжу, как у себя дома, а фараонов на дух не будет.

— Будь ты женщиной, я бы пал на одно колено и предложил тебе руку и сердце. Но, бро, не могу никак. Я ж знаю: не успею доехать до дамбы, как ко мне пристроится сразу три фараонских наряда. Я и рук поднять не успею. Хотя они этого дожидаться не станут.

— Брат, да ты подумай головой. Фараоны думают, они все из себя такие умные. Что лихие непременно думают их обхитрить, пробираясь

окольными путями.

— Ну…

— Да без всяких «ну». Лучший способ спрятаться — это быть на виду.

— Черт. Заманчиво, блин, звучит… Но дерзко. Не, не здраво.

— Послушай, я когда-нибудь в жизни предлагал что-нибудь нездравое? Если хочешь попасться фараонам — езжай по дамбе. Езжай через Тренчтаун, через Максфилд-парк-авеню. Ну а если хочешь доехать до пляжа с миром, езжай по той самой дороге, которой остерегаешься. Ты что, за все эти годы не уяснил, как мыслят фараоны? Да им никогда и в голову не придет, что ты средь бела дня поедешь по Харбор-стрит. Потому и караулить там не будут. Профан в одном — профан во всем.

В заключение я советую Медяку спросить там мисс Джини, азиатку, у которой на пляже своя рыбацкая хибара. А в хибарке той две спелых раскосеньких дочери, Бетси и Пэтси. Залучи одну из них в машину, и десерт тебе обеспечен. Стало быть, по рукам.

В ту же ночь я бужу телефонным звонком полицейского инспектора. Сто́ит ли говорить, что Медяк до пляжа не доехал.

Одна минута.

Сорок пять секунд.

Двадцать.

Пять.

Трубку я хватаю на первом же звонке: шибко невтерпеж.

— Ну?

— Тебя мать учила хорошим манерам? Приличные люди вообще-то здороваются.

— И чё?

— Да всё. Чик-чик.

— Христовы сопли, ты можешь говорить внятней?

— Я вижу, Джоси Уэйлс, ты человек богобоязненный.

— Да, я не Бог, я всего лишь святитель. Где?

— На дамбе.

— Пятьдесят шесть раз?

— Босс, ты меня, часом, не путаешь с персонажем из «Улицы Сезам»?[201]

— Отследи, чтобы в газеты обязательно просочилось: пятьдесят шесть пуль. Ты меня слышишь?

— Слышу, босс.

---

[201] Примечания: 201

«Улица Сезам» — детская образовательная телепрограмма.

— Пятьдесят шесть.

— Полста шесть. Тут еще кое-что, я…

Вешаю трубку. Чертов звонок съел все четыре минуты. Он сегодня больше не отзвонится.

Сорок три секунды.

Тридцать пять.

Двенадцать.

Одна.

Минус пять.

Минус десять.

Минус минута.

Звонок.

— Ты припозднился.

— Извини, босс.

— Ну?

— Босс… Короче, не знаю, что и говорить.

— Лучше скажи.

— Он пропал, босс. Исчез.

— Люди не пропадают. А исчезают только с посторонней помощью.

— Он ушел, босс.

— Ты о чем, идиот? Куда он, разъязви тебя, ушел? У него что, виза есть?

— Не знаю, босс, но мы уже везде искали. Дома, в доме у его женщины, в доме у еще одной его женщины, в клубе Рэйтауна, где он одно время

работал. Даже в доме у Певца, где у него была комната для встреч. Со вчерашнего караулим его на всех дорогах.

— И?..

— Пусто. Когда по новой обшаривали его дом, там все, кроме одного комода, было дочиста вынесено. Прямо чисто-чисто. Даже паутины не осталось.

— Ты хочешь мне сказать, что один припиздок-раста сумел уйти от десятерых лихих людей? Так, я тебя спрашиваю? Или ты ему кинул весточку, что вы за ним идете?

— Да что ты, босс. Как можно.

— Ну, тогда тебе лучше его отыскать.

— Да, босс.

— И еще.

— Да, босс?

— Выясни, кто довел до него эту утечку, и убей его. И, бро, если ты в три дня его не разыщешь, я убью тебя.

Молчу и жду, пока он повесит трубку.

Бомбоклат. Дерьмо.

Не знаю, думаю я это или говорю вслух. Дочка моя так и спит, пустив мне на правое колено слюнку. Только что исчез Тристан Филипс — тот самый раста, что, по сути, начертал карту зами-

рения и возглавлял Совет единства. Такие вот дела. Остается добавить его к таким, как Хекль. Мертвый или нет, но он однозначно исчез. А Питер Нэссер, при всей своей тупости, от этого не поумнеет. До меня только что доходит, что одного звонка я недосчитываюсь. Его просто не было. От человека, который не опаздывает никогда. Ни-ко-гда.

Пять минут задержки.

Семь.

Десять.

Пятнадцать.

Двадцать.

Тони Паваротти. Я поднимаю трубку и слышу гудок, кладу ее обратно, и тут раздается звонок.

— Тони?

— Нет. Это я, Ревун.

— О. Чё надо?

— У тебя там чё, муравьишки чешутся в штанишках?

— Откуда ты знал, что я не сплю?

— Да все знают, что ты не спишь. Ты сейчас бдишь.

— Чего? Ты… Ладно, поздняк метаться. Уйди с линии, я жду звонка.

— От кого?

— От Паваротти.

— А когда он должен позвонить?

— В одиннадцать.

— А, так оно уж протикало… Значит, уже не позвонит. Если б в одиннадцать, то он и позвонил бы в одиннадцать. Ты ж знаешь, как у него заведено.

— Я то же самое думал.

— А с чего он должен был звонить тебе так поздно?

— Да вот, посылал его подчистить одно дельце в «Четырех сезонах».

— Такая мелочь, а он все еще не отзвонился? Удивляюсь, что ты не пошлешь за ним проверку. Взял бы человека два…

— Ревун, не учи меня, что делать.

— Слушай, а у тебя и вправду муравьишки в штанишках.

— Не нравится мне, когда единственно надежный во всем Копенгагене человек и вдруг не оправдывает доверия.

— Ауч.

— Ауч? Это ты от своих новых американосовских дружков поднахватался?

— Да, наверное… Слушай. А может, что-то произошло и он вынужден залечь? Ты ж знаешь, он

не станет перезванивать, пока работа не сделана как надо. Только после этого.

— Не знаю.

– *Я* знаю. А как так складывается, что про перемену планов тут знают чуть ли не все, кроме меня? Я прямо-таки идиотом смотрюсь перед той колумбийской сукой.

— Бро, ну сколько раз тебе говорить, чтобы ты не обсуждал со мной вопросы по моему домашнему телефону?

— Драть твою лети, Джоси. Мы же занимаемся ганджей. Ты ж мне так и сказал, когда посылал меня сюда: «Все силы на ганджу». Но ни разу не заикался насчет «беляка».

— Брат, говорю тебе уже в четвертый раз. Ганджа — слишком хлопотно и, черт возьми, объемно. А «беляк» меньше занимает места, а денег за него в семь раз больше.

— Не знаю, не знаю. Знаю только, что эти кубинцы мне не по нраву. Уж на что коммуняки были гадки, но эти, в Америке, вообще оторвы. И никто из них не умеет водить машину.

— Кубинцы или колумбийцы? Реально, брат, я сейчас на тебя и на них разорваться не могу.

— Особенно та баба — вообще отморозь. Та, что всем рулит. Просто безбашенная. Всю ночь лижет

своим шлюшкам манду, а назавтра их грохает.

— Кто тебе это сказал?

— Да сам знаю.

— Ревун, давай я тебе сам завтра перезвоню по «Джаминтел»[202]. А то в такую ночь у телефона, сам знаешь, уши могут отрасти. Сходи пока куда-нибудь, развейся.

— Это в каком смысле?

— Да в таком. Только не устраивай больше хрени вроде той, что на прошлой неделе в «Мирамаре».

— Ну, а что мне оставалось? Тот мужик мне просто в жопу въелся…

— Всё! Ты как думаешь, как мне быть с Паваротти?

— Дай ему время до утра. Если от него ничего не услышишь, то довольно скоро услышишь о нем.

— Ладно, Ревун, спокойной ночи. И не доверяйся той колумбийской суке. Я только на той неделе допёр, что она — лишь привал перед пунктом, куда мы в самом деле метим.

— Н-да? И что ж это за пункт, милый мой человек?

— Нью-Йорк.

---

[202] Примечания: 202
«Джаминтел» — телефонная служба Ямайки.

Сэр Артур Джордж Дженнингс

Что-то новое веет нынче в воздухе — ветер недобрый. Малярийная хмарь. И многим, многим еще предстоит пострадать, а многим и умереть — двоим, троим, сотне, восьмистам восьмидесяти девяти. Пока же я смотрю, как ты кружишься, словно дервиш, под ритм и в опережение, прыгаешь вверх-вниз по сцене, всегда приземляясь на свой многострадальный большой палец. Давно, годы назад, на футбольном поле, один игрок в шиповках (это ж надо, футболист, и в шиповках) вжикнул тебе по ноге и рассек на ней большой палец. А когда ты был совсем еще мальчик, то чуть не разрубил его надвое тяпкой. Рак — это бунт; клетка-ренегат, что восстает против тела и изменщически, часть за частью, соблазняет остальных уподобиться ей. Я разделю твои части и покорю. Одну за другой обездвижу твои конечности; налью ядом твои кости, потому как глянь, во мне же нет ничего, кроме тьмы. И неважно, сколько раз мать перебинтовывала тебе палец марлей, посыпала лечебным порошком — он так и не исцелился. Даже не собирался этого делать.

И вот веет что-то новое, задувает иной ветер.

Трое белых людей постучались в твою дверь. Пять лет назад первый из них предупредил, чтобы ты не уезжал. В глубине семьдесят восьмого года третий (они всегда знали, где тебя найти) предостерег, чтобы ты не возвращался. Второй же явился с дарами. Ты его теперь толком и не помнишь, а ведь он приходил к тебе как один из Трех Мудрецов, с коробкой, упакованной как на Рождество. Ты открыл ее и подскочил (кто-то же знал, что каждый человек в гетто втайне мечтает быть человеком, застрелившим Либерти Вэланса[203]). Коричневые сапоги, змеиная кожа, заигрывание с красным; кто-то же знал, что сапоги ты любишь почти так же, как коричневые кожаные штаны. Ты натянул правый сапог и вскрикнул, как тот мальчик, что сломал ступню, пытаясь расколоть ею кокос. Сапог ты снял, отбросил в сторону и не сводил глаз со своего большого пальца, который, вторя биению твоего пульса, ритмично брызгал кровью. У Джилли и Джорди наготове были ножики. Надрез по шву, и кожа с сапога спущена, и вот он — тонкий вытянутый волосок медной проволоки; прямая безукоризненная иголка, при виде которой тебе невольно подумалось о

[203] Примечания: 203

«Человек, который застрелил Либерти Вэланса» (1962) — мелодрама, вестерн.

Спящей Красавице.

Поднимается ветер недобрый. У подножия Уарейка-Хиллз выходит из дома человек по кличке Медяк, выходит и закрывает ворота. Бирюзовая ночь накатывается и сходит, сходит и накатывается. Он делает два шага, а вот третий уже не делается. Человек по кличке Медяк падает и исплевывает небольшой сгусток крови, натекшей из груди и живота. Ганмен роняет «М1», но передумывает и поднимает, после чего бежит к уже пришедшей в движение машине.

Ты в студии с группой, за созданием очередной песни. Часы идут по ямайскому времени. Те, кто созерцает, делают пару затяжек «травкой», остальное передают по кругу. Два гитарных соло свиваются тугим клубком, словно змеи в схватке. Новый гитарист с более короткими дредами (он рокер и поклонник Хендрикса), доиграв, убирает громкость и выдергивает из гитары «джек». Ты бросаешь на него взгляд широко открытых глаз:

— Не уходи! Сроки меня и так поджимают.

Задувает что-то новое. Дон по имени Папа Ло едет со скачек домой на такси, проезжающем по дамбе. Окна такси опущены. Кто-то отпускает шутку, и солоноватый морской ветер подхватывает зычный глубокий смех дона. Дорога не

петляет, а лишь делает плавный поворот на мост, который всходит, а затем спускается к трем полицейским машинам, блокирующим дорогу. Еще до того, как шофер останавливается, он знает, что они знают, кто он. Они знают, что он знает, что они знают, еще до того, как выкрикивают насчет «выборочной дорожной проверки». Еще до того, как такси останавливается, он знает, что там, сзади, ползут еще машины. Полицейский номер один говорит: «*Отойдите все от машины, чтобы мы могли ее обыскать. Двигаться налево и идти, пока не встанете овозля пустыря сбоку от дороги*». Полицейский номер два находит в ней «магнум» тридцать восьмого калибра. Полицейские номер 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 16 стреляют. Кто-то потом скажет, что было выпущено сорок четыре пули, кто-то, что их было пятьдесят шесть — ровно по числу гильз, найденных на Хоуп-роуд, 56 в тот декабрьский вечер семьдесят шестого года.

Ты играешь в футбол в Париже, на изумрудно-зеленом поле под Эйфелевой башней. Играешь просто так, абы играть. С благоговеющими перед звездой белыми мальчиками и человеком из французской национальной сборной. Твой персонал даже после долгих лет гастролирования все

еще не привык к городам, которые никогда не спят. Они медлительны и вялы, хотя уже далеко за полдень. Французы играют не как британцы. Ну и что, что этот парень из сборной, — один все равно в поле не воин. Зато мальчики движутся, как слаженная команда, хотя до этого меж собой не встречались. Один из них играет неважнецки, делает неловкое движение и всем весом наступает тебе на правый большой палец, срывая с него ноготь.

Дует что-то новое. Убивший меня человек платит «Уэнг-Гэнг» шестьдесят долларов в день, чтобы они устроили пальбу на двух из Восьми Проулков. Двух самых ближних к морю. Дикие трущобы с проржавленными цинковыми заборами и загноинами стоячей воды. Банда в течение дня наезжает с неровными интервалами и открывает огонь наобум из всех стволов. Дикий шквал пуль. Дождь с градом.

Ты в Лондоне. «Отрезать этот палец, прямо сейчас», — говорит доктор, не глядя тебе в глаза. Набить эту обувь тканью, ватой, штукатуркой, и все шито-крыто. Помещение пахнет антисептиком, который сыплют на дерьмо, чтоб не воняло. И железом, словно кто-то в соседней палате лудит стальные горшки. Но раста и ушибленный

палец считает Божьей карой, чего уж говорить об ампутированном.

Ты в Майами. Доктор вырезает кусочек и пересаживает ткань с левой ноги. «Все успешно», — заверяет он, хотя и другими словами (запомнить их в точности тебе не удается). Однако он говорит, что рак побежден, что его больше нет. Все хорошо, но поздним вечером, топая после сцены по Вавилону, ты чувствуешь, что правый ботинок у тебя почти доверху наполнен кровью.

Веет чем-то новым. Член парламента от ННП Тони Макферсон вместе со своим телохранителем попадает в Огесттауне в засаду. Ганмены с холмов в союзе с Копенгагеном, сходясь с двух сторон, открывают плотный огонь. Макферсон с телохранителем отстреливаются. Вмятины от пуль покрывают корпус машины, паутинки от трещин расходятся по стеклам, но пробить броню пули не могут. Огонь идет безжалостный, но стрелки расположены далековато, на кустистом пустыре, и отгорожены от проезжей части «колючкой», как волки от овчарни. А дальше сирены, полиция и глухой удаляющийся топот многих ног — отступление столь же стремительное, как сам бросок. Пытаясь сцепиться с дорогой, шипят по гравию бешено крутящиеся колеса. Вой

сирен все громче, полиция уже рядом, без двух минут здесь. Уф-ф, пронесло. Тони Макферсон встает и первым открывает дверцу; на лице его широкая улыбка облегчения, в которой с сотни шагов видна победность. Три частых выстрела откуда-то сбоку, и третья пуля пронзает шею, взрывая спинной мозг и убивая все, что снизу, пока сам мозг не сознает, что мертв.

Двадцать первое сентября. Ты в Нью-Йорке. Все знают, что ты всегда поднимаешься первым, а ложишься последним, особенно когда в студии. Никто не замечает, что этот порядок уже год как не существует. Ты просыпаешься, ощущая себя тлеющей головней; матрас от твоей кожи впитал пару фунтов воды, хотя где-то поблизости слышно гудение кондиционера. Стоит тебе подумать о боли где-то справа в голове, как она тут как тут. Теперь ты прибрасываешь, была ли она просто отстраненной мыслью до того мгновения, как ты о ней подумал. Или, может, боль в тебе уже так долго, что стала невидимой частью тела, кротом, угнездившимся меж пальцев ног. Или же ты каким-то словом всколыхнул к жизни проклятие, как сказали бы старухи с холмов. Ты не знаешь, что сегодня двадцать первое сентября, у тебя нет памяти о позавчерашнем втором концерте, нет

понятия о том, где ты и с кем; есть лишь смутное представление, что вокруг тебя Нью-Йорк.

Задувает что-то новое. Исильда говорит Кристоферу: «Съедай все полностью; ишь ты, уже куриной спинкой брезгует». Ее мальчик наспех заглатывает все одним куском и стремглав мчится к двери. На ходу он с тумбочки прихватывает свежетиснутую копию пластинки. «Не забывай, что тебе завтра на работу», — напоминает Исильда, а сама улыбается, провожая его взглядом. Ребята на Голд-стрит, ча-ча-ча, разодеты как картинки: габардиновые штаны, полиэстеровые рубашки, у девчонок джинсы зазывно в облипон, титечки в лифчиках торчат аппетитно, поджиг хоть куда. Из динамиков звучит «Тамлинс», а после него — вообще полный свежак, новый «Мичиган и Смайли»[204]. Но все это макается в сравнении с тем, что принес с собой Кристофер. А принес он новенький, муха не сидела, «Блэк Ухуру»[205], который здесь всех просто уроет. Девчонки танцуют с парнями впритирку, пары

[204] Примечания: 204

«Мичиган и Смайли» — ямайский диджей-дуэт первой волны дансхолла конца 1970-х гг.

[205] Примечания: 205

«Блэк Ухуру» — культовая ямайская регги-группа, популярная с конца 1970-х гг.

виснут друг на дружке, а басок из колонок клево поддает в грудь. Отпад. Но кто припер на вечеринку хлопушки? Да не хлопушки даже, а какой-то то ли дождь, то ли град, откуда ни возьмись, хлещет по цинку — «тутутум», «тутутутум». «Ничего, не намокнем», — громко говорит Жаклин, и тут две пули пробивают ей правую грудь. Ее вопль раздается прямо в гуще танцующих. Она оглядывается: со стороны моря надвигаются сгорбленные тени, а из дула автомата в пять сторон бьют напряженные прерывистые сполохи огня. От пули в шею падает диджей. Толпа с воплями разбегается, прет напропалую прямо по упавшим девчонкам. Пули скашивают одного, второго, третьего. Теней с моря все больше; стреляя, они еще и слепят людей фонариками. Цепочка их растягивается. Жаклин скачет через режущую ноги цинковую изгородь, бежит во всю прыть по Лэдд-лейн; сзади доносятся заполошные вопли, стоны, визг. Она забывает, что из груди у нее хлещет кровь. Вскоре она падает прямо посреди проулка. Ее подхватывают чьи-то руки и уволакивают.

Ответить на град пуль Голд-стрит может всего двумя стволами: это все, что здесь есть. Между тем людей с моря прибывает все больше; кто-то подходит по суше, перекрывая все три выхода.

Стрельба будит полицейских, спящих в своей караулке неподалеку от квартала; они хватаются за оружие, но дверь оказывается заперта на навешенный снаружи замок. Растаману некуда бежать, хотя народ все прибывает. Люди сзади падают медленной волной. Толстый Граф на земле истекает бурлящей кровью. Раста бросается к нему, еще живому, пытается как-то унять кровь. Подошедшие ганмены принимают за мертвого как раз его и достреливают Толстого Графа. А затем отступают к морю.

Ты совершаешь пробежку вокруг пруда в южной части Центрального парка. Другая страна, тот же персонал, и на секунду у тебя возникает ощущение, будто ты вновь оказался на предрассветном Булл-Бэй. Пробежка по черному песку пляжа, окунание в водопады, возможно, игра в футбол, отчего нагуливается здоровый аппетит к завтраку, сготовленному Джилли. Но нет, ты по-прежнему в Нью-Йорке, и уже начинает скапливаться влажность. На бегу ты приподнимаешь левую ногу, ширя шаг над бугорком, и тут спохватываешься, что тебе не повинуется правая. Бедро проворачивается (это что еще за хрень?), но правая нога отказывается слушаться. Так дело не пойдет. А ну-ка, отдай мысленно приказ. Надо же,

ни в какую… А теперь стопорится и левая нога. Стопорятся обе, хотя ты четко им скомандовал, трижды мысленно выкрикнув «бомбоклат!». Сзади подоспевает твой спарринг-партнер, и ты поворачиваешься его позвать, но тут тебе клинит шею. Ни кивнуть «да», ни мотнуть «нет». Крик растворяется на пути от горла к губам. Тело нависает, и его невозможно остановить. Точнее, оно не нависает, а опрокидывается, а ты не можешь вытянуть перед собой руки, чтобы смягчить падение. Земля встает дыбом и бьет в лицо.

Ты приходишь в себя в Эссекс-хаус. Ноги-руки вроде бы слушаются, но страх остается и зависает. Пригвожденный слабостью к постели, ты не знаешь, что какие-то минуты назад к тебе приходила жена, но ее не пропустили. Ты приходишь в себя и чуешь запахи секса, сигаретного дыма и виски. Ты видишь и ждешь, но никто не слушает, никто не заглядывает, никто не приходит. Уши, когда ты в сознании, ловят звуки друзей, что сменяют друг друга на дежурстве у твоей комнаты; за белой стенкой друзья храпят, друзья трахают группи, друзья трахают шлюх, друзья трахают друзей, растаман на фрибейсе насилует священную трубку для «травки». Мелькают люди в костюмах, падкие до наживы дельцы, бизне-

смены пьют твое вино; твоя комната как храм в ожидании, что его очистит от скверны Христос. Или какой-нибудь пророк. Или любой пророк. Но ты безвольно утопаешь в своей кровати, благодарный уже за то, что можешь шевелить шеей. Мимо гуляют бруклинские парни со стволами, бруклинские парни с херами. Огонь расты неумолимо угасает. У тебя нет силы стоять, нет силы браниться, и ты единственно шепчешь «*закройте пожалуйста дверь*». Но никто не слышит, и, когда Эссекс-хаус разбухает и лопается, друзья растекаются по Седьмому авеню.

Задувает что-то новое. Эволюция в обратном порядке. Мужчины, женщины и дети в розтаунском гетто начинают с того, что стоят и ходят, иногда бегом, из школы домой, из дома в магазин, из магазина в распивочную. К полудню все усаживаются играть в домино, перекусывать, делать уроки, сплетничать о бляди из проулка Свинского Дерьма. Во второй половине дня все ютятся дома на полу. К вечеру плетутся из комнаты в комнату и ужинают на полу, как рыбы, что питаются на дне. К ночи все лежат вповалку на линолеуме, но никто не спит. Пули схлестываются с пулями, жужжат сквозь окна, лупятся в потолки, делают дыры в стенах, зеркалах, светильниках и в любом

дураке, которого угораздит встать. Тем временем человек, убивший меня, выступает по телевизору; Майклу Мэнли и ННП необходимо назвать дату предстоящих выборов.

В Питсбурге ты падаешь в обморок. Ничего хорошего не бывает, когда слышишь докторов, как они произносят слова с окончанием «*ома*». Та «*ома*» подняла голову, скакнула и перенеслась с ноги твоей на печень, легкие и мозг. На Манхэттене тебя подвергают радиооблучению, и твои упрямые кудри распрямляются и редеют. Ты отправляешься в Майами, затем в Мексику, в ту самую клинику, что не смогла спасти Стива Маккуина[206].

Четвертое ноября. В православной церкви Эфиопии твоя жена устраивает обряд крещения. Никто не знает, что отныне ты зовешься Берхане Селассие.

Теперь ты христианин.

Веет чем-то новым. На стене кингстонского даунтауна значится надпись: «*МВФ — Мэнли Виноват во Фсём*». Всеобщие выборы назначаются на 30 октября 1980 года.

Кто-то отвозит тебя через Баварию к австрий-

---

[206] Примечания: 206

Теренс Стивен Маккуин — американский киноактер, авто– и мотогонщик. Умер в 1980 г. в Чиуауа, Мексика.

ской границе. Из леса там как по волшебству прорастает клиника. На горизонте горы, словно сахарной глазурью, увенчаны снегом. Тебя знакомят с высоким мерзлым баварцем — говорят, он помогает безнадежным. Он улыбается, но глаза его посажены так глубоко, что не видны из-под тени лба. «Рак — сигнал тревоги, предупреждающий, что в опасности все тело», — говорит он. Хорошо еще, что он запрещает еду, от которой сам растафари давно отказался. Восход солнца выглядит обещанием.

Что-то новое в этом задувании. Ноябрь восьмидесятого. Выборы выигрывает другая партия, и убивший меня человек восходит со своими собратьями на подиум, чтобы принять бразды правления страной. Он так долго этого ждал, что при заходе по ступеням спотыкается.

Баварец откланивается. О надежде никто не говорит, никто не говорит вообще ни о чем. Ты в Майами, без всякой памяти о перелете. Одиннадцатое мая ты встречаешь с отрытыми глазами, самым первым (как в былые времена), но видишь лишь старушечьи руки в черных венах и костлявые торчащие колени. Тебе под кожу загоняют пластмассовую штуковину, которая справляет за тебя все жизненные надобности. Ты уже чувству-

ешь себя погруженным в сон, возможно, от всех этих снадобий, но эта штуковина ощущается как ползучее растение-паразит, и ты уже знаешь, что, куда бы теперь ни отправился, возврата оттуда не будет. Из окна неожиданно доносится что-то вроде уандеровского «Мастер Бластер». Ого. Полуденное небо над Нью-Йорком и Кингстоном яркое и белесое.

Как вдруг его и тут и там одновременно раскалывает удар грома, а наружу ослепительно-быстрой огненной змеей высверкивает молния. Летняя молния, на три месяца раньше срока. При этом на Манхэттене просыпается одна женщина, а другая сидит на крыльце в Кингстоне. И обе знают: Ты изошел.

Часть IV
Белые дорожки (Парни в Америке)[207]
14 августа 1985 г

[207] Примечания: 207

«Белые дорожки» (*англ.* White Lines) — название хип-хоп-композиции Мелль Мела (1983); «Парни в Америке» (*англ.* Kids in America) — название песни Ким Уайлд (1981).

Доркас Палмер

— Ты ж знаешь, какие они, все эти девки, неисправимые: прутся аж в Америку, а все равно ведут себя, как грязные потаскухи с Канала. Ох, устала я от них по самое не могу. Сказала тут одной лярве, что работала у мисс Колтхерст: «Лярва ты сучачья, — говорю, — коль уж втерлась на работу и живешь под приличной крышей, то запри свой давальник на замок, поняла? Давалище свое, на такущий вот замок». И что ты думаешь? Та сучка хоть бы одним ухом меня послушала. Бац, и уже залетела-забрюхатела. Ну, и мисс Колтхерст ее, понятное дело, выставила — с моей рекомендации, само собой. Нет, ты представляешь? Не хватало еще, чтоб по дому там колупался какой-нибудь черножопик-соплезвон. Это на Пятой-то авеню? Здрасте-жопожалуйте. Белые люди, они и есть белые: на гэ изойдут. Такую истерику закатят, не приведи господь.

— Так она ходила к мисс Колтхерст или к миссис Колхерст?

– *Мисс, миссис*… Ишь ты, какая щепетильная. Они у них там меняются, как спички: чирк, и уже нет. Попробуй уследи. Я сама иногда путаюсь

во всех этих «мисс», «миссис»… Зову их просто «мэм».

— Мэм? Как при рабстве?

В кои-то веки она не находит что ответить. Вот уже три года я хожу в это треклятое «Боже благослови» на предмет трудоустройства, и всякий раз у этой мадам находится новоиспеченная история про какую-нибудь девицу из трущоб, которая залетела в свою смену. Чего я не понимаю, так это почему она всегда считает нужным рассказывать это именно мне. Я не пытаюсь выражать ей ни понимания, ни участия — мне просто нужна работа, чтобы хозяин моей конурки не выпнул меня из моего супер-пупер-пентхауса на пятом этаже без лифта, где унитаз, когда спускаешь воду, ревет и стонет так, что все ужастики просто макаются, а крысы чувствуют себя настолько вольготно, что скоро уже начнут сидеть в обнимку на диванчике и смотреть со мною телик.

— Старайся слова «рабство» при Колтхерстах не употреблять. Ньюйоркцев с Парк-авеню от него коробит.

— Оу.

— У тебя хоть имя благозвучное, какое они любят у ямайцев. Я тут одного со звучным именем даже на работу пристроила с неделю назад.

Наверное, потому, что Иезекией[208] звали. А что? Может, подумали, что с таким именем он у них подворовывать не будет… Ну а ты, часом, не подворовываешь?

Этот вопрос она задает мне каждую неделю, когда я прихожу сюда за оплатой (а хожу я сюда уже три года). Но теперь она смотрит на меня так, будто реально ждет ответа. Понятное дело: Колтхерсты — клиенты необычные. Эх, где сейчас моя учительница из выпускного класса? Я бы ей сказала, сколько дверей в этой жизни я открыла лишь тем, что умела правильно говорить. Мисс Бетси все смотрит на меня. Безусловно, с ревнивинкой, ну да это есть в каждой женщине. Понятно, что и с толикой зависти, потому что есть во мне то, что конкурсантки, претендующие на звание красавиц, именуют «манерностью»: я ведь все же девушка с образованием, окончила школу Сент-Эндрю в Хэйвендейле. А еще гордость, потому что у нее есть кто-то, кем она может наконец впечатлить Колтхерстов, причем настолько, что готова будет наплести насчет последней трудоустроенной, чтобы ее оттуда выставили. Хотя, безусловно, есть в ее взгляде и жалость, куда без

---

[208] Примечания: 208
Иезекия (*библ.*) — царь Иудеи из династии дома Давида.

этого. Как, мол, ты, раскрасавица, докатилась до жизни такой?

— Подворовываю? Да что вы, мисс Бетси.

— Ну вот и хорошо. Славненько.

Не спрашивайте, почему я гуляла по Бродвею мимо 55-й улицы. Наверное, потому, что ничего не происходило. То есть *вообще* ничего — ни на той улице, ни в моей жизни. Но иногда, не знаю, все эти мотания по нью-йоркским улицам… проблемы от этого не уменьшаются, сладу с ними как не было, так и нет, но ощущение такое, что гуляй себе да гуляй. Пофигизм какой-то. Да и проблем у меня особых нет. Нет вообще ничего. Хотя могу поспорить: *мое* «ничего» всяко круче *их* «ничего», какой день ни копни. Иногда само то, что беспокоиться не о чем, вызывает во мне беспокойство, но это все так, психологическая бодяга, чтобы чем-то занять голову. Может, мне просто скучно. Народ здесь имеет по три работы и ищет четвертую, ну а я вообще не работаю. А раз не работаешь, то иди гуляй. Даже я понимаю, что это лишено смысла, хотя объясняет, почему здесь люди не переставая мотаются туда-сюда пёхом, даже туда, куда, в принципе, можно доехать на метро. Иногда прямо-таки реально недоумеваешь, работает ли вообще кто-нибудь в

этом городе? Почему на улицах так многолюдно? И вот я все гуляла по Бродвею, вниз от 120-й. Не знаю, иногда, когда гуляешь, наступает момент, что ты зашла чересчур далеко — настолько, что не остается уже ничего иного, кроме как продолжать. До каких пор, не знаю. Всегда забываю, пока не спохватываюсь, что вот я снова иду непонятно куда и зачем. К тому же всего в нескольких кварталах от Таймс-сквер. Бог знает почему, но мне десяти минут на Таймс-сквер хватает, чтобы затосковать по причудливому, очаровательному захолустью Западного Кингстона. Пусть даже мне там светило расстаться с жизнью. Вот и тогда я бесцельно вышагивала по Бродвею мимо 55-й улицы, остерегаясь вполглаза всяких там извращенцев, эксгибиционистов и всего того, что не переставая кажут по телику, но здесь я этого чего-то не замечаю (кроме торчков и бомжей, из который ни один не тянет на замаскированного Гари Сэнди[209]). И тут мой взгляд падает на вывеску, которая пыжится быть заметной меж двумя китайскими ресторанами на 51-й. Бюро занятости «Боже благослови» — уже одного этого хватает понять, что здесь заправляют ямайцы;

[209] Примечания: 209
Гари Сэнди — популярный актер теле– и киносериалов.

а даже если сразу этого не сообразишь, то взятая с потолка пословица внизу вывески — «Кроткий Ответ Отвращает Гнев» — заставляет это понять окончательно. Единственно, чего еще можно подбавить, — это надпись «INTERNATIONAL» в названии.

Настрой у меня, понятно, тоже был — застолбиться в конторе, где помогают страждущим вроде меня, тем более что не вечно же мне теребить по телефону моего бывшего янки в Арканзасе: помоги, мол, деньгами. В прошлый раз он мне ясно сказал: «Хорошо. Немного я тебе вышлю, но если ты еще хоть раз позвонишь сюда с угрозами поговорить с моей женой, то я быстренько наберу номерок в СИН[210], и ты перднуть своей хитрожопой черной задницей не успеешь, как уже вылетишь на свою Ямайку с прозрачным пакетом, которые выдают в аэропорту, — чтобы все видели на досмотре, какого у тебя там цвета трусы и комбинашки». Я уж не стала ему говорить, что ямайских девок никакой там «жопой», тем более «черной», не проймешь. Потому что мы на Ямайке не черные, а шоколадные. И все же я была не в том положении, чтобы пройти мимо

[210] Примечания: 210
Служба иммиграции и натурализации США.

места с вывеской «Бюро занятости». Последний дар моего американоса на тот момент уже иссякал.

— Ты знаешь, почему я даю работу именно тебе? Потому что ты первая из девиц, которая показывает хоть какие-то намеки на воспитанность.

— В самом деле, мисс Бетси?

Такую беседу мы тоже уже проходили. Эта мадам руководит бюро занятости, поставляющим женщин — в основном темнокожих и в основном иммигранток — по большей части в зажиточные дома, водиться с мелкими отпрысками или престарелыми родителями, у которых (я раньше и не представляла) основные потребности примерно одни и те же. В обмен на то, что мы возимся с их дерьмом (нередко в самом буквальном смысле), они не задают нам вопросов, откуда мы родом и легально ли работаем. В выигрыше обе стороны. Точнее, в выигрыше двое, а я просто забираю плату. Не знаю. Одно дело, когда клянчишь у своего начальника кэш, а другое — когда работодатель сам рад тебе его выдать. Первыми клиентами, к которым мисс Бетси меня послала, была белая, умеренно пожилая чета из Грамерси[211], в силу своей чрезмерной занятости не чующая, что их

[211] Примечания: 211
Грамерси — район на северо-востоке Нижнего Манхэттена.

немощная мать воняет, как кошачье дерьмо, а говорит все о каких-то бедных парнях с линкора «Аризона»[212]. Старушка безвылазно торчала у себя в комнате, где обогреватель был все время поставлен на минимум. Когда я встретилась с той парой впервые, жена не удостоила меня ни единым взглядом, зато ее муженек, наоборот, не сводил с меня глаз. Оба были в черном, да еще в темных очках кружочками, как у Джона Леннона. Жена сказала, обращаясь к стене возле меня: «Она там, заходите и делайте что положено». У меня мелькнула мысль: а может, они ждут, что я ее прикончу? Ну, а что же та женщина? В комнате я не увидела ничего, кроме простыней и подушек, нагроможденных на кровати. Лишь подойдя ближе, я разглядела, что там посередине лежит мелкая дряблая старушонка. Моча и кал смердели так, что я была в шаге от того, чтобы уйти, но тут вспомнила, что подачки из Арканзаса приходить перестали.

В целом меня тогда хватило на три месяца, а это вам не дерьма кусок. Когда находишься под одной крышей с мужиком, всегда наступает момент, когда ему приходит в голову, что он

[212] Примечания: 212

«Аризона» — американский линкор, потопленный японской авиацией в Перл-Харбор 7 декабря 1941 г.; до сих пор не поднят.

может щеголять перед тобой без одежды. Так и этот. Когда он сделал это в первый раз, то по нему было видно, что он надеется меня этим возбудить — но я лишь увидела, что еще одному старому хрену вот-вот понадобится нянька. На пятый раз он сообщил, что жена у него ушла на собрание матерей-ветеранов, и вернется не скоро. «То есть это *мне* теперь искать, куда вы дели подштанники?» — спросила я его. На седьмой он уже в открытую позвякивал передо мной седыми бубенчиками, отчего я расхохоталась до коликов. Даже старушка из своей конуры заверещала: «Что там за шутка?», и я ей рассказала. Она тоже рассмеялась — «хю-хю-хю» — и сказала, что он весь в отца, который тоже откалывал такие номера, что хоть билеты продавай. С этого дня старушка перестала при мне маразмировать и даже стала травить сальные байки. Я бросила ходить к ним прежде, чем тот мудозвон меня уволил. А мисс Бетси я сказала, что кала могу выскребать сколько угодно, но вот со сморщенными седыми пенисами дело иметь отказываюсь. Ее впечатлило то, что я за все это время ни разу не сбилась на нецензурщину, хотя и задала вопрос, не бордель ли это с уходом за бабулькой в виде бонуса.

— Я вижу, ты в образцовую школу ходила, —

подметила мисс Бетси.

— «Святое детство» называется, — ответила я.

— Хоть принцессой назовут, все равно потом ебут, — усмехнулась она.

В день, когда убили Джона Леннона, я выгуливала по парку вторую мою работу — еще одну старушенцию, забывчивость которой еще не дошла до той стадии, когда она забывает про свою потерю памяти. По парку я ее уже выгуляла и собиралась вести укладывать «бай-бай», как вдруг она заявила, что хочет идти к «Дакоте»[213], и упорно отказывалась слезать с этой темы. То есть или мы туда идем, или она будет вопить до хрипоты, что все эти незнакомцы (включая дочь) и эта вот негритоска ее похитили. Так вот заканчивалось наше гуляние.

— Хочу идти и пойду, черт вас подери. Вы меня не остановите, — притомившись орать, упрямо сказала она.

Дочь посмотрела на меня так, будто я выкрала у ее мамаши диазепам[214]. А затем махнула рукой — дескать, катитесь вы ко всем чертям

---

[213] Примечания: 213

«Дакота» — фешенебельное жилое здание, находящееся в районе Манхэттена; здесь 8 декабря 1980 г. был убит Джон Леннон.

[214] Примечания: 214

Диазепам — успокоительное психотропное средство.

— и ушла.

Всю ту ночь я с этой женщиной провела у «Дакоты», среди примерно еще двух тысяч человек. Кажется, там пели «Дайте миру шанс», пели всю ночь напролет. В какой-то момент к пению присоединилась и я, и даже всплакнула. Через две недели та женщина умерла.

На следующей неделе я отправилась в ямайский клуб «Стар трек» в Бруклине. Не спрашивайте зачем: я не люблю регги и не танцую. К тому же видит бог, никакого проку мне от такого похода нет. Но я просто почувствовала, что мне это нужно: никак не могла вытряхнуть из головы те две смерти. Клуб располагался в старом трехэтажном здании, почти что городской особняк. Когда я входила, внутри играла «Ночная сиделка» Грегори Айзекса[215]. Кое-кто из мужчин и женщин поднял на меня глаза, как будто их работой было оценивать входящих, как в салунах времен Дикого Запада. Временами то тут, то там всплывало облачко от косячка с ганджей или от сигары. Задержись я здесь достаточно долго, ко мне неминуемо подсел бы кто-нибудь с Ямайки со словами, что он меня узнал (еще этого мне не

[215] Примечания: 215
Грегори Айзекс (1951–2010) — ямайский регги-музыкант.

хватало). Ну а если б подсела баба, то уже вскоре принялась бы расспрашивать, чем я занимаюсь, и, не дослушав, начала бы рассказывать, чем здесь занимается она сама, и где живет, и кто здесь успел разжиреть, как боров, а кто трахается, как гребаный кролик, и с кем.

В какой-то момент ко мне подсел раста, не сводивший с меня взгляда с самого моего прихода, и сказал, что мне нужен массаж спины. Это та часть, где мужики дают понять: если они вам не интересны, они уйдут. Собственно, мне-то какая разница. «Ну да ладно, хотя бы посмотрим на него», — произнес в моей голове кто-то, весьма похожий на меня. Ага, дреды есть, но явно обихоженные парикмахером. Кожа светлая, почти как у азиата, губы полные, но слишком розовые даже после годов курева в попытке их подтемнить. «Что здесь делает Янник Ноа?[216]» — спросила бы я, если б была уверена, что он знает, о ком идет речь. Он спросил, как я думаю, поправится ли Певец, который нынче смотрится как-то не

[216] Примечания: 216

Янник Ноа (р. 1960) — известный французский теннисист и поп-соул-певец.

очень хорошо[217]. Что это за, на фиг, ямаец, который употребляет выражения «как-то не очень хорошо»? «О Певце я говорить реально не хочу», — отвечаю я. В самом деле, реально не хочу. А он все продолжал ворковать с небольшим ямайским акцентом, которому подучился у родителей или, может, у соседей. Мне нет нужды слышать, как он сокращает Монтего-Бэй до «Монтего» (вместо «Мобэй»), чтобы понять: ямаец он не настоящий, а тот, кого кличут «ямайриканцами». Это подтвердилось в ту минуту, когда он участливо спросил, кончила ли я. На Ямайке мужики таких вопросов не задают. Перед уходом он оставил на прикроватном столике листок со своим номером; я в это время уже дремала. Часть меня была готова обидеться, если под листком обнаружатся деньги, хотя другая тайком надеялась, что там будет по меньшей мере баксов пятьдесят.

На дворе тысяча девятьсот восемьдесят пятый год, и я не хочу думать, что меня безо всяких трахают *ямайриканцы*, а я уже четыре года как подтираю старческие жопы — хотя работа есть работа, а жизнь есть жизнь. И вот теперь моя мадам поставила меня к Колтхерстам, у кото-

[217] Примечания: 217

Здесь автор несколько отходит от правдоподобности, поскольку Боб Марли к описываемому моменту времени уже умер (в 1981 г.).

рых мне для разнообразия придется смотреть не за старухой, а за стариком. Не знаю… Одно дело, подмывать женские причиндалы, и совсем другое — мужские. Понятно, тело есть тело, но у женщин нет такой части, которая отвердевает и утыкается тебе в платье. Хотя что я такое говорю? Мужик небось ничем никуда не утыкался с той еще поры, как Никсон попался на мухлеже. Однако все равно мужик.

Первый день, четырнадцатое августа. 86-я улица, между Мэдисоном и Парком. Пятнадцатый этаж. Я стучу в дверь, и мне открывает мужчина, чем-то похожий на Лайла Ваггонера[218]. Я стою, как идиотка, у двери.

— Вы, должно быть, та новенькая, которую наняли вытирать мне задницу? — говорит он с порога.

[218] Примечания: 218

Лайл Ваггонер — американский киноактер (1970-е гг.), до этого модель.

Ревун

Кто-нибудь, стяните с меня простынь. Лежу, смотрю на себя: как подымается-опускается моя грудь с двумя сосками, шевелятся на ней волоски, а на животе заснул хер. Смотрю налево, а там он, завернутый в простыню — туго, как гусеница в кокон за два дня до того, как стать бабочкой. Погода не холодная, просто утро выдалось прохладным. Он лежит так, будто кто-то согласился, чтобы он остался, или, наоборот, устал его выпроваживать. Вначале я подумал, что он просто крашенный в блондина латинос, но он мне сказал: «Я стопроцентно белый сын греха, дорогуша». Сбоку часы у кровати показывают утро. Хотя небо за окном этого подтверждать не спешит. Бруклин в синеватом тумане. От света фонарей лишь сгущается темень в проулках, где мужчин убивают, женщин насилуют, а мудаков-слабаков грабят и отвешивают им по две пощечины, как сукам: знай, членосос, какая тебе цена.

Три недели назад, ночь субботы, место действия — проулок. Иду домой, срезая путь, поджарые мышцы под майкой напружинены — не от спортзала, а от крэка, — а за мной, как мусульманская

жена, тянется тот блондин. Мы оба молчим, и только Дэнис Уильямс поет «Похломаем моему парню»[219] в окошке второго этажа, откуда к водосточной трубе протянута веревка с уныло висящими трусами. «*Чё, голубки, обжиматься тут вздумали*? — как кусочек пазла, отлепляется вдруг от стены проулка ниггер. — *Вы, любители ванильных помадок! Не то гетто себе для обнимашек присмотрели. У нас тут в сраку не лупятся, у нас по ней лупят*». Мой блондин делает осторожный шаг назад, но я ему говорю: «Стой». Блондин тихо шипит, как бы предостерегая, что этот ниггер сейчас на меня накинется. Я делаю нырок влево, левой рукой дергаю ниггеру руку книзу, а правой в развороте леплю ему костяшками в нос. Ниггер вякает, но уже от того, что получает от меня коленом по мудям. Я выдергиваю у него из руки нож и пришпиливаю за оба запястья к заколоченному окну первого этажа. Он, распятый, орет, а я командую блондину: «Бегом марш!» Тот ржет, но слушается. Мы припускаем бегмя оба, хлопая друг друга по задницам, и хохочем, и распаляемся, а затем останавливаемся, и он суется мне в рот языком,

[219] Примечания: 219

Дэнис Уильямс (р. 1950) — американская поп-певица, исполняющая соул и госпел.

на что я говорю: «Убери — откушу». Забежав в мой подъезд без лифта, мы мчимся вверх через две ступеньки. Вот моя площадка. Я распахиваю дверь, расстегиваю на ходу пряжку — штаны спадают на пол, — сдергиваю до колен трусы и становлюсь на диване раком.

«А СПИДа не боишься?» — спрашивает он, смачивает плевком себе хер и вставляет.

«Не-а», — отвечаю я.

То было три недели назад.

А сегодня — это сегодня.

Итак, утро. Ноги уже на полу. Солнце скоро все равно появится, так или иначе. Ост-норд-ост. Ну-ка потянем за этот край простыни, чтобы он выкатился наружу… При этом он грохнется об пол, но зато хотя бы перестанет храпеть. Ишь, обтянул себя простыней туго, как гондоном, а зачем? От чего бережется? Тянем-потянем, тянем-потянем, тянем… надо же, пидор, даже не просыпается. Попробуем запомнить его лицо. Волосы каштановые, борода и загривок с рыжинкой. На по-ребячьи белой груди растительность тоже рыжая. «Ах ты, скверный мальчуган, *на* тебе!» — приговаривал он всякий раз, когда засаживал глубже. Ну вот, наконец я его из простыни вытянул, теперь он лежит на спине. Но даже это

его не разбудило. Спит. А может, отдал концы? Да ну. Вчера на Стрэнде Бертрана Расселла мне встретить не удалось. То, что я мыслитель, здесь знают немногие. Может, открыть окно? Или лечь обратно на кровать, потереть ему волосатую грудь и соски, вставить язык ему в пупок, провести кончиком до причинного места, взять за щеку, начать посасывать, и тогда он проснется? Прошлой ночью он был еще одним умом, открывшим для себя что-то новое. Не думай, что человек, которого ты трахаешь, — это сука в мужском обличье. Я закрыл ему рот указательным пальцем и показал, для чего у меня на самом деле дырка.

«Я люблю тебя…»

«Нет, я не это имею в виду», — сказал я.

Дать ему по ногам, чтобы проснулся, и выставить за дверь.

Или оставить его, и тогда к твоему возвращению он может быть по-прежнему здесь.

Оставить, и, возвратившись, ты застанешь свою халупу обчищенной дочиста, вместе с тараканами. Дать ему по ногам и выпнуть отсюда.

Оставить его здесь, а вернувшись, разделить с ним «дорожку». Денег он с тебя не спрашивал.

На небе розоватая полоска, ост-норд-ост. Скоро точно взойдет солнце. Этот поворачивается на

бок, затем снова на спину. Представь, что это кино. В этой части ты одеваешься, а парень просыпается (только там парень будет девкой), и один из вас говорит: «Радость моя, мне нужно идти». Или вы остаетесь в постели и занимаетесь чем-нибудь еще: у мужчины простынь непременно до пояса, у женщины — по грудь. Только такую халупу, как твоя, в кино никогда не покажут. Не знаю. Может, и мне сейчас снова улечься, подлезть ему под руку и остаться в такой позе дней на пять… Да. Сделай это, прямо сейчас. Пусть сегодня станет тем самым днем, который пройдет без тебя. Сделай именно так. Вот перед тобою не мальчик, но муж. Раскинувшийся на простыни с таким видом, словно он одобряет все и не переживает ни о чем. Я прислушиваюсь к тому, что произошло во мне нынче ночью. Лихой человек хер в себя не впустит. Но я не лихой, я хуже. Лихой не покажет своему ёбарю, что получает от ебли удовольствие, потому что тот тогда почувствует себя наверху. Можно встать раком, нагнуться, чтобы тот подошел сзади и вставил. Немного постонать, повтягивать зубами воздух, поприговаривать «ну давай же, жарь меня, жарь», как белая девка, которая в порнухе подставляет дырку под черный член. Но дело-то

в том, что ты действительно хочешь выть и вопить. Так что дело не в этом белом недоумке, а в тебе; в том, что ты хочешь выть и стенать, но не можешь этого допустить, потому что выть и стенать означает полностью отдаться, а ты этого не можешь, не можешь отдаться никому — ни этому вот белому, ни кому бы то ни было еще. Если ты не начинаешь стенать, то ты не баба. Ты не создан для этого, не создан по рождению.

Вот отсиди срок, тогда и говори: «Насрать, что там сказано в Библии, а по мне так дырка — это просто дырка». Делай вклад или снимай со вклада, с каким-нибудь остатком. Ты или вкладчик, или банк. В тюрьме ты по-любому всегда что-нибудь носишь в жопе, а все жопники за решеткой присовокупляются к одному торговому маршруту. Козел с востока таранит товар козлу с запада, а пункт назначения — козел на юге с деньгами или другим товаром. Пакет кокса, пачка жвачек, плитка шоколада, «Марс» или «Сникерс», ганджа, гашиш, пейджер, тюбик пасты, блистер таблеток, ксанакс, перкоцет[220], сахар, аспирин, сигарета, зажигалка, табак, мяч для гольфа с табаком или коксом, папиросная бумага, спички, блеск для

[220] Примечания: 220

Ксанакс — антидепрессант, перкоцет — обезболивающее лекарственное вещество.

губ, смазка для жопы, шприц с колпачком, дюжина лотерейных билетов. Три года в тюрьме, и хер становится всего лишь еще одной штуковиной, которая запихивается в задницу. У этого, что раскинулся на кровати, акцент не как у ньюйоркца. Не думай, что когда-нибудь снова с ним встретишься. Хер — это всего лишь елдырь. Всех их и не упомнишь. Начиная с Майами и гребаного Гризельды Бланко. Пора двигать в аэропорт.

Шесть пятнадцать. Через девять часов из Ямайки вылетает Джоси. Часов через двенадцать-тринадцать он будет здесь. Мы собираемся в дом на Бруклине, который он наметил еще с Ямайки. В каждом квартале Нью-Йорка есть точка, где торгуют крэком, но он хочет посмотреть именно эту. Он заранее хочет знать, кто покупает кокаин, а кто его продает, чтобы можно было лично доложиться Медельину. Так он сказал по телефону. Я спросил, надежна ли эта линия. Он смеялся, не переставая, три минуты, а затем сказал: «Делай свою работу и меньше пялься в ящик». «Нью-Йорк надо взять в клещи плотно, как Майами», — сказал Джоси, но не сказал, верит ли он в то, что я могу такое обеспечить. Ну, а я просто хочу подлезть под руку этого вот парня и там жить. Он сказал, что в Нью-Йорк приезжает

затем, чтобы охолонуть от Ямайки. А Ямайка, пожалуй, должна всерьез охолонуть от Джоси Уэйлса. Две недели назад через Буклин проезжал инфорсер и пробросил весточку о том, что должно случиться в мае.

Пришла и ушла Пасха, и Рема, этот прыщ на заду у Копенгагена, как обычно, развыступалась. Никто не знает, где заканчиваются Мусорные земли и начинается Рема, но по крайней мере раз в год она надувает щеки и заявляет, что хочет большего. То есть чего-то большего, чем быть подсрачником у Копенгагена, а думает, что может, типа, требовать и пригрожать, что переметнется к ННП. С севера у них мусорные горы, с юга — море, но не вздумайте есть рыбу, которую мы удим.

Суббота, девять вечера, может, десять; наверное, все еще жарко. Мужчины играют в домино, женщины на задних дворах заняты постирушками возле колонок. Детвора играет в «Денди-Шэнди». И тут на улицу влетают шесть машин и поворачивают три влево, три вправо. Из первой выскакивают Джоси и еще пятеро. Еще полтора десятка выскакивают из остальных пяти, каждый с «M16». Джоси со своим отрядом припускает трусцой вдоль дороги, а мужчины, женщины и дети с воплями бросаются врассып-

ную. Мужчина с женщиной подбегают к дому, но Джоси идет по пятам и срезает их уже у дверей. Его парни открывают огонь и расстреливают всех доминошников; двое пытаются убежать, но попадают под пляску пуль. Хватает своего соплезвона и пускается наутек какая-то женщина. Отряд перебегает от дома к дому, от забора к забору; они свешивают через цинк свои стволы и — «тра-та-та-та». Мужиков здесь как будто нет. Девятнадцать ганменов бегают и стреляют; люди, обезумев, носятся, как тараканы. Джоси Уэйлс никогда не бегает, он ходит. Видит цель, взвешивает, не торопясь подходит и убивает. Ганмены пулями превращают заборы в решето. Кто-то подстреливает пацаненка. Какая-то баба вопит так громко и долго, что Джоси подходит к ней и подставляет ствол ей к затылку. Из Ремы своих ганменов он отводит, оставляя позади двенадцать мертвяков. В Копенгаген приезжает полиция, но только и делов, что конфискует два ствола. Дона трогать никто не смеет.

Сюда, в Нью-Йорк, едет Джоси. Не знаю, приезжал ли он сюда раньше: от него ж не дознаешься. Его братки в Бронксе держат под собой окраины. Застолбились здесь, говорят, еще с шестьдесят шестого года. С семьдесят седьмого торговали

«травкой», а потом переключились на кокаин, ну а там и на крэк. «Беляк». Его тут еще «белой женкой» называют. Бизнес растет как на дрожжах: сто пятьдесят тонн ганджи, сотка кокса. Бронкс — это база, а из нее продукт поставляется в Торонто, Филадельфию и Мэриленд. Не знаю, *что* Джоси этот тип нашептывает про меня; может, ему такой работник, как я, здесь не нужен. Или, может, тот тип наговаривает ему: «Зря ты его сюда прислал». Не зря ведь, когда при поставке нужна силовая поддержка, он подсылает людей из Кингстона, Монтего-Бэй и Святой Анны. «Отвязь он, этот твой, ненадежный» — так меня ему за глаза называют. Но говорят это не мне, а Джоси.

Джоси едет в Нью-Йорк. Стало быть, дело во мне. А может, и не во мне, и не в этом, что рядом на кровати. Ямаец, как только приезжает в Нью-Йорк, то сразу растворяется. Цепляется за своего собрата в Бронксе, чтобы сообща строить свой Джемдаун между Бостон-роуд и Ган-Хилл. Но не я. Хотя я тоже хотел раствориться, потому из Майами и двинул в Нью-Йорк. Мотаюсь тут до ночи, идти-то особо некуда.

На журнальном столике три с половиной дорожки кокса. Этот, на кровати, так и лежит на спине. Руки сцепил за головой и смотрит на меня.

Помню прошлую неделю в Ист-Виллидж, парковочную площадку за многоэтажкой. Этот белый, расшеперив ноги, раскинулся на шезлонге, будто на пляже. Каштановые волосы, рыжая борода, на белой груди рыжеватая поросль, голубые шорты закатаны так, что я вначале подумал, это бикини.

— Загораю, — говорит. — Солнечная ванна.

Я спросил:

— Ты думаешь, если так посидеть, то солнце отмоет тебя дочиста?

Он вынул пачку «Ньюпорта», одну сигарету протянул мне.

— Ты не отсюда?

— А?

— Не из этих, говорю, мест?

— Да нет.

— Высматриваешь-вынюхиваешь?

— Э-э… Да нет, собственно.

— Тогда как узнаешь, *что* нашел?

Тристан Филипс

Я вот заметил, Алекс Пирс, как ты на меня посмотрел. Не сию секунду, как, типа, сова таращится на фонарик, а с полминуты назад. Мне знаком этот взгляд. Ты меня какое-то время кропотливо изучаешь: сколько месяцев, шесть или уже семь? Ты ведь знаешь, каково оно, в тюряге: все теряют счет дням, даже если там календарь приклеить над парашей. А может, и не знаешь. Хорошо на этот счет сказал Джимми, ветеран Вьетнама: она как учебка для новобранцев. В основном кромешная скука. Единственно, что тебе предоставлено, это смотреть и ждать. Дожидаться, в сущности, нечего, и ты это понимаешь, но все равно ждешь и ждешь, а когда забываешь, чего именно, то ждешь просто абы ждать. Попробуй сам, не помешает.

Сейчас вот я отсчитываю дни, когда мне пора будет высирать очередной пузырек с крэком и совать его в карман кому-нибудь из охранников, чтобы выкупить еще один месяц ношения моих дредов. Мне один паренек сказал на той неделе: «Дредди, как тебе свой хаер удается сохранять в тюрьме так долго? Они, наверное, думают, у тебя

там еще с полтора десятка нычек?» Я на это ему говорю — прошу прощения, сказал; всё забываю, что ты это записываешь, — что годами уже втемяшиваю надзирателям: раз у мусульманского брата есть право носить шапочку и красить бороду хной, то и я имею право носить дреды. Они, понятно, отмахнулись, и мне пришлось прибегнуть к привычному: «Попробуйте троньте. С этим моим рассадником вшей и блох одного прикосновения достаточно, чтобы подцепить чесотку». И опять у меня прохиляло, за счет решительного выражения лица. Терять-то мне все равно было нечего. Эх, если б только у меня была пруха… нет, надо по-грамотному: если б только у меня была возможность, то я, возможно, стал бы кем-нибудь другим, может, даже тобой. Проблема, правда, в том, что в таком случае я бы всю свою жизнь дожидался разговора с таким, как я. Нет, не спрашивай меня о жизни в гребучем гетто, я те дни давно запамятовал. В «Рикерсе» ты не сдюжил бы и пары дней, если б не научился забывать. Здесь ты забываешь, например, что не обязан сосать хер. Так что нет, я не тот, кого расспрашивать, что за житье было в гетто. Я там как будто и не рождался.

Шестьдесят шестой год? Ты в самом деле, бро,

хочешь расспросить меня о шестьдесят шестом годе? Нет, солнце, о шестьдесят шестом я не разговариваю. И о шестьдесят седьмом тоже.

А если серьезно, Алекс, то библиотека здесь, в тюрьме, — это вам не хуё моё. На Ямайке я много куда ходил в библиотеки и ни в одной из них не видал столько книг, сколько в «Рикерсе». И одна из тех книг — это «Средний путь». Написал ее один кули, по фамилии Найпол[221]. Этот человек, бро, пишет, что Западный Кингстон — такая гадость, что ее даже нельзя снять на фотоаппарат, потому как даже сам процесс съемки лжет тебе насчет того, как там на самом деле гадко. О, так ты читал? Поверь мне, даже он, тот кули, насчет этого заблуждался. Красота того, как он выписывал то самое предложение, сама по себе скрадывает, насколько там погано. Погано настолько, что от этого даже возникнуть не может никаких приятных фраз. Никогда.

Но как ты узнаешь о мире без знания, отчего прежде всего началась война? Какой из тебя журналист, если ты не желаешь знать предысторию? А может, ты ее уже знаешь. По-любому, ты

---

[221] Примечания: 221

«Средний путь. Карибское путешествие» (1962) — книга Видиадхара Сураджпрасада Найпола (р. 1932), лауреата Нобелевской премии по литературе.

не можешь знать о войне и мире или даже как Копенгаген выбился на первое место, пока ты не узнал о месте под названием Балаклава.

Засеки это, белый малый. Две — *две* — колонки. Два общественных сортира. Пять тыщ человек. Водопровода нет, смыва тоже. Дом, который разнес ураган, а тот потом собрался, как магнит, потому что на месте его удерживала одна штуковина. А затем погляди, что его окружало. Самая громадная свалка в Бампер-Холл; Мусорные земли, где стоит средняя школа. Скотобойня, пускающая кровь и гнилье вдоль улиц до самого канала. Самая большая водоочистная станция на окраине такой дальней, что все говно стекалось к нам. Самое большое кладбище во всей Вест-Индии. Коронейшн-маркет, самый большой рынок на Карибах, почти все похоронные конторы, нефть, железная дорога, автобусный парк. И… А зачем ты, собственно, сюда пришел, Алекс Пирс? Чего ты действительно хочешь знать и зачем транжиришь мое время, пытая вопросами, на которые запросто может ответить ямайская справочная?.. А, понятно. Я просекаю твою методу. Когда ты последний раз возвращался на Ямайку? Реального резона для этого у тебя нет; вид у тебя, как у того, кто там никогда не бывал или не

может туда вернуться. Ну, что скажешь? Честно говоря, я об этом и не думал, пока не сказал всех этих слов, чтобы посмотреть, как ты себя поведешь. Теперь я знаю, что к чему. Сколько струн ты дернул, Пирс, чтобы сюда попасть? Хотя лучше не говори. Я это выясню каким-нибудь своим способом, таким же, каким выяснил насчет тебя и Ямайки. Так что валяй, задавай свои вопросы.

Бро, ты же знаешь, что я из района растафари, а потому зачем задавать такой вопрос? Ты в самом деле считаешь, что ЛПЯ думала помочь расте, а ННП — Балаклаве? Ты все еще настолько глуп? Рис «Анкл Бенс» жесткий, как сухой горох. Но в те дни… Ох-х.

Знаешь что? А ведь в Балаклаве житье было не так уж и худо, особенно в зависимости от того, где ты жил и с кем. То есть не было такого, чтобы каждый день мерли младенцы, или кому-то лицо обгрызали крысы, или еще чего. Раем это, понятно, тоже не назовешь. Совсем не назовешь. Но я все еще помню, выдавались утра, когда я выходил и ложился на чистую зеленую траву и смотрел, как надо мной в танце вьются пересмешник и бабочка. Я-то родился в сорок девятом. У меня всегда чувство, будто мать родила меня уже на пути в Англию, да вот по дороге скинула с корабля. Не

беда, что мои мамаша с папашей сделали ноги, но вот зачем они оставили меня с полуазиатской физиономией? Даже мои собратья растафари над этим подсмеиваются — дескать, когда «Черная Звезда» приплывет наконец за нами, чтобы забрать в Африку, придется нам тебя разрубить на две половинки. Да что ты, янки, понимаешь в ямайском укладе? Иногда мне кажется, что быть наполовину кули еще хуже, чем быть жопником. Одна наша смуглянка как-то глянула на меня и сказала: «Печально, однако, что Бог благословил тебя такими красивыми волосами, но проклял, дав такую кожу». Сказала, сучка: темная моя кожа напоминает ей, что мой праотец был рабом. А я ей ответил: «И мне тебя жалко. Потому как твоя светлая кожа напоминает мне, что твою праматерь пежили все кому не лень». Так вот, Балаклава…

Воскресенье. Спал я на раскладушке, которая раскидывается на ночь, а днем убирается. Вообще, я уже не спал: проснулся от какого-то рокота. Не спрашивай, услышал я это сперва или почувствовал. Еще секунду назад его вроде бы не было, а тут — бах, и рокот, сердитый такой. Затем с табуретки упала моя кружка. А рокот все громче и громче, да теперь еще с таким гудением,

будто низко летит самолет. Все четыре стены сотрясаются. Я уже сижу на своей раскладушке и тут смотрю — а стенка-то, которая с окном, на моих глазах сминается. Здоровенная железная челюсть ее просто крушит и скусывает, сглатывает кусок за куском. Я взвизгиваю, как девка. Вскакиваю с раскладушки за чуть-чуть до того, как челюсти прорываются, вгрызаются в землю и зачерпывают и раскладушку мою, и табуретку, и часть кровли, которую я возводил своими собственными руками. Ну, а раз кровля лишается опоры из двух стен, то она, понятно, начинает распадаться. Я выскакиваю наружу, пока все не рухнуло окончательно, а челюсти сзади все не унимаются. Нет, про Уарейка-Хиллз я говорить не хочу. Откуда ты выкапываешь эти вопросы, язви их?

Блин, так тебе что нужно-то, про шестьдесят шестой или про восемьдесят пятый? Ты уж определись и перестань задавать вопросы, на которые сам уже знаешь ответ. Ты ж пришел сюда пытать о Джоси Уэйлсе. Об этом все только и хотят говорить с мая месяца прошлого года. Погоди, так ты, что ль, не знаешь? Да ну. Я тут в «Рикерсе» знаю все, а ты, весь из себя новостник, и ничегошеньки не ведаешь?

Я слыхал, что мы с Уэйлсом живем неподалеку, но прошло еще с десяток лет, прежде чем я его повстречал. Ведь он был от ЛПЯ, а после того как ЛПЯ выгнала меня из Балаклавы, я с такими, как он, срать рядом не садился, вплоть до того мирного договора. Низкий поклон Селассие Первому Джа Растафарай, а то и не знаю, куда бы я зашел. Во всяком случае, после падения Балаклавы, ты кумекаешь? После этого самого падения меня забрал Вавилон. Даже и не помню, в каком из клубов меня взяли — то ли в «Вертушке», то ли в баре «Нептун». Как там в поговорке: «Тот, кому видней, он и делает складней». У меня в кармане, черт возьми, было единственно пять долларов да бутылка «Джонни Уокера». То есть за каждый доллар по году, так получается?

И вот я выхожу из тюряги общего режима — кажется, в семьдесят втором? И ощущение такое, что Джемдаун — совсем уже другое место. Или, по крайней мере, здесь рулит другая партия. Даже музыка звучит по-другому. А может, и нет. Только теперь, в семьдесят втором году, если ты молод и тебе чего-то надо — работу, дом, блин, да даже какую-нибудь бабу, — то тебе надо заручиться согласием двоих: Бантин-Бэнтона или Тряпки. Оба считались главными донами по Кингстону, а

может, и по всей Ямайке. То есть выхожу я и вижу всех этих — Шотта Шерифа, упокой Господи его душу; Шотландца, Тони Флэша из банды «С-90»; все разодеты, как сэры, с оравой девок вокруг, готовых хоть сейчас. И я спрашиваю: «Откуда бабло, ребята?» А они мне: «Свяжись-ка лучше с Бантин-Бэнтоном и Тряпкой — глядишь, получишь работу. На Канале Макгрегора».

Ну, а что? Деньги, по крайней мере, были приличные, хотя пускать в ход голову не доводилось ни разу. Беспокоиться приходилось единственно о полиции. Так было, пока фараоны не порешили Бантин-Бэнтона с Тряпкой. Забавно: когда водились шоттеры[222], у меня была приличная работа, а когда их перещелкали, шоттером стал я сам. Дело в том, что нацпаты при всей своей злобности не имеют нужного замаха. Киллеры, как правило, узколобы. Главным доном Восьми Проулков был теперь Шотта Шериф, а вторым человеком при нем — сейчас он, кажется, первый — некто Шутник. Теперь уж не упомню. Так вот, всё, что все эти ребята могли, — оберегать территорию, чтобы, не дай бог, хоть краешка не уступить ганменам из ЛПЯ. А в ЛПЯ, там насто-

[222] Примечания: 222
Зд. (от *англ.* shot — выстрел): стрелок-киллер.

ящие рудбои. С охватом, с идеями. Джоси Уэйлс вел разговоры с колумбийцами еще задолго до того, как те поняли, что багамцы их достанут. Да, и есть еще кое-что, чего многие не знали. Что Джоси свободно чирикает на испанском. Я слышал его как-то раз на проводе. Одному Богу известно, когда он успел его выучить.

Обе стороны — и ННП, и ЛПЯ — роднит нечто общее. Вавилон настроен на убийство вне зависимости от того, какое ты животное, в пятнышко или в полоску. После Грин-Бэй это стало ясно всем, не одним лишь ганменам. Вавилону поровну, от ННП ты или от кого-то еще, — армейцы и фараоны грохнут любого. Это я готов подтвердить с той самой поры, как наскочил на Дубленую Кожу… Как, ты не знаешь Дубленую Кожу? Ну вот, а еще собрался писать книгу про Ямайку. Дубленая Кожа — это один инспектор из полиции, и он же телохранитель одного шишки-политикана. Нет, настоящего его имени я не знаю. Сидим мы как-то в «Двух друзьях» — «ночник» такой в даунтауне, в самых дебрях, возле пирса. Обстановка наидушевная, никто не выступает, все расслаблены, сидят себе попивают да перетирают по-тихому; кто-то трется в танце с девахами — как раз, помнится, хорошая песня Дэнис Браун звучала. Ну

и кто, по-твоему, врывается с шумом, если не Дубленая Кожа? Тут все лихие рудбои, один к одному, никого не боятся, но всем известно, что и Дубленая Кожа страха ни перед кем не держит. Он как-то урыл в хлам одного моего парня, урыл по всем статьям. По бокам у него два ствола, как будто он действительно Дубленая Кожа, а в руке еще и «M16». Увидит при тебе ствол — все, ты мертвец. Да, прямо так: бац — и хана. Без вопросов. И вот я снимаю с себя ствол тихонько, двумя пальчиками, как платочек, и сую его меж титек девке, с которой танцую. Лола, кажется, ее звали. Да, Лола. Она… А чего ты лыбишься? А, ну да. Я-то думал, ты меня расспрашиваешь насчет договора о замирении. Что за мето́да у тебя, сбиваться с темы… А вот скажи мне, Алекс Пирс: чего этот предмет так тебя интригует? Такое, кажется, словцо? Почему этот субъект так тебя заинтриговал? Честно говоря, сейчас вот мысленно оглядываюсь на него и думаю: мир этот был так, мелкой говешкой, которая смывается при первых же постирушках.

Шотта Шериф — это он обратился ко мне насчет того, чтобы стать председателем Совета замирения. Сначала они с Папой Ло и с кем-то еще съездили в Англию, убедить Певца вернуться

и дать концерт, чтобы собрать денег для гетто. Ха, ну ты спросил: почему при всех тех политиканах, что каждый день наведывались в гетто, для сбора денег все равно понадобилось устраивать концерт. Короче, он выставил мое имя как председателя, и никто не возразил. Шотта Шериф — никогда еще не видел человека, который бы так печально вручал мне ствол, будто я его разочаровываю или типа того. Даже среди ганменов он всегда поручал мне не ганменскую работу, вроде организовать танцульки, провести похороны; пару раз даже приставлял меня к политиканам, когда те проходили через гетто. А однажды туда пришли двое белых с камерой, снять какой-то сюжет про Коронейшн-маркет, и он мне сказал: «Тристан, кули ты наш, сходи покажи этим людям рынок и поговори, как умеешь». Я-то и не знал, о чем говорить, и тут белая женщина наводит на меня камеру, и я вижу, она не просто ждет, что я покажу им рынок, но еще и расскажу о нем. Дают мне микрофон, как будто я ведущий «Поезда соул»[223]. Шотта Шериф, скажу я тебе, был не такой, как все. Он был… был… Я…

[223] Примечания: 223

«Поезд соул» (*англ.* Soul Train) — американская музыкальная телепередача (1971–2006). В программе в основном выступали исполнители в жанрах ритм-н-блюз, соул и хип-хоп.

Я… Нажми на «стоп». Останови пленку. Останови пленку, твою мать.

Ты куда? Садись давай. Я тебе, так и быть, порассказываю. Вот Певец готовится ко второму своему концерту за мир. Свет на месте, микрофоны, аппаратура на сцене, он даже проводит повторный саундчек. Мне в офис звонит Джоси Уэйлс: один из ящиков со световым оборудованием, оказывается, до сих пор на пристани, а им его срочно нужно на сцену. Ну я, понятно, делаю звонок министру нацбезопасности, чтобы тот ящик растаможили. Для решения этого вопроса Уэйлс посылает одного из своих людей, тоже от ЛПЯ. Назвался он Ревуном. С ним достаточно одной минуты, чтобы почуять, что он играет, что что-то в нем не то — снаружи одно, а внутри совсем другое. Он даже «да» говорит, как на публику. И вот я на совещании, и мне кто-то говорит, что тот ящик с оборудованием до сцены так и не дошел, хотя все документы на него были у меня на столе. Ну, а когда кто-то пробросил, что в Копенгагене многие сейчас сплавляют свои старые стволы «Уэнг-Гэнг», потому как получили новенькие, еще в масле, то я прямиком смотрю на Ревуна, а тот и глазом не моргнет. Совещание я заканчиваю пораньше и напоминаю ему, что чего-то

часть денег за концерт задерживается.

— Ревун, минуточку, — говорю я ему, а он отодвигается. — Что такое вообще, бомбоклат, деется?

— Насчет чего? — включает он дурака.

— Что там за херь со световым оборудованием? Ты знал, что там вместо аппаратуры стволы?

— А я, что ли, тот ящик разгружал? Так чего меня пытать?

— Не умничай тут, засранец, тебя это не красит, — говорю я ему.

Он скорчил мину, как будто унюхал дурной запах. А затем говорит:

— Послушай, бро. Ты тут ради мира радеешь, ну так радей, я ж тебе не препятствую. А я тут тоже с миром имею дело, только пишется он по-другому. «Писáть» и «пи́сать» — чуешь разницу?

И уходит. Забавно — не думаю, чтобы он так разговаривал с кем-нибудь другим в гетто. Так и не знаю, хотел он меня припугнуть или ум свой показать. Ему определенно не понравилось, что я не счел его симпатягой… Ну да хватит об этом козле. Скажи-ка мне лучше правду, Алекс Пирс: почему ты не можешь вернуться на Ямайку?

Джон-Джон Кей

Насчет халтурки эта двинутая на всю голову колумбийская сука проявила свое всегдашнее своеобразие. «Прикончить его, но не торопясь, чтобы он напоследок узнал: удар готовила не я, так что ничего личного. Просто пусть все негрилы от Бискейна до Кендалл-Уэст[224] научатся уважать маму-джаму».

Ее слова, не мои: эта лесбия-нелегалка до сих пор так и не научилась разговаривать, как янки. В общем, это я должен довести до мазафакера, пока тот истекает кровью. Она еще много всякой хрени буровила, которую я тоже не понял, — может, потому, что она сама толком не запомнила изначального послания. Эта сука все делает вид, будто приказы исходят от нее, хотя сама она всего лишь гребаная штафирка. Секретутка, блин. Да ну ее, эту Гризельду Бланко, нах. Я в Нью-Йорке, и поцелуйте все меня в очко.

Прикиньте, я снова оказался в Чикаго, хотя пообещал кой-кому из громил, что больше туда

---

[224] Примечания: 224
Залив Бискейн, Кендалл-Уэст — территория шт. Флорида, США.

ни ногой, потому что последняя ликвидация, пять лет назад, вышла очень уж криво. Устранение того перца на Саут-Сайде выросло в чек на кругленькую сумму, который банда хотела обналичить. Чек я забрал на квартире у Денни, там и перемолвились по делам. Мне предложили: как насчет пятисот баксов по-быстрому? Мы вдвоем с Пако убираем одного кренделя по имени Юстас, и бабло на руки. «Юстас? — переспросил Пако. — Он что, педик какой-то?» Парень из банды не ответил. Сказал лишь, что все, в общем-то, просто: в девять десять по четвергам жена у него уходит на спевки в хор, а он усаживается в подвале со своим проектором, сигарой в одной руке и хером в другой и балуется под «Вишневые хлопушки» (выпуски с первого по четвертый). Пако соскочил, сказав, что он вор, а не громила. Когда я почти уже спустился в подвал, тот тип меня заметил, но с одной рукой на хере, а другой вообще стыд сказать где, ствола он схватить не успел. Я стрелял и все не мог остановиться. Грохот стоял такой, что я не сразу расслышал, как верещит его жена, — оказалась, как назло, дома. Она побежала, а я побежал за ней, молясь, чтобы она не успела домчаться до двери. Но она добежала и с воплями выскочила наружу. И вот мы бежим

вниз по Мартин-стрит — она в комбинашке, тапках с помпонами и визжит как резаная, а я сзади с «Глоком». Шлепнул ее посреди дороги, как раз когда мимо проезжали два пикапа. Один затормозил, и я выстрелил в заднее стекло — жахал не останавливаясь, пока тот не въехал в дерево ярдах в семидесяти. Покончив с этим дерьмом, из Чикаго я был вынужден сделать ноги.

И вот когда я за полгода уже подостыл в Нью-Йорке, мне поступил звонок. Похоже, слушок пополз. Дело в Саут-Сайде вышло неряшливым и топорным, но без срыва. Единственный минус — большие сопутствующие потери, ну да это что. Я был молодой, но не дурак; дерзкий, но умел прислушиваться, а здесь дело обещало быть легким. Жидяра, что вел бухгалтерию банды вот уже десять лет, вдруг впал в подозрительную задумчивость. Кто знает, виноват он или нет — налицо были всего лишь снимки, где он заходит в офис ФБР, а через три часа оттуда выходит. Свое дело жид сделал: чек обналичил. К тому же на момент звонка он так мне надоел, что я сам собирался шмальнуть его в ванне. Четырнадцатое декабря, четыре часа вечера. 207-я улица, еврейский Бронкс, где какие-то ямайские нигеры со смешным акцентом, которые обычно тише воды,

начали понемногу просачиваться в окраины. Два этажа и чердак. Замки я чпокаю с семи лет. Главное — это ступеньки; я надеялся, что они чем-нибудь покрыты, это маскирует скрипы. Никаких деталей мне не дали — не сказали даже, сколько в доме комнат, так что приходилось все сложности брать на себя.

Первая дверь оказалась стенным шкафом (тоже мне, какой дурак помещает стенной шкаф у лестницы); вторая вела в санузел, третья походила на спальню, поэтому я вошел, ощущая легкое неудобство от излишнего веса нового ствола. Пусто. Я спустился в прихожую и отворил последнюю дверь. Тот паренек сидел, прислонясь к спинке кровати, как будто б меня ждал. Бля буду. Сидит и смотрит в упор, я даже не сумел выстрелить. А затем понял, что он пялится не на меня, а просто в никуда. Короче, куда-то сквозь, и при этом надрачивает. Вот же дела. Если стрелять сейчас, можно перебудить весь дом.

— Они щас спят на чердаке, — сказал он. — Ты ж знаешь, как оно у пожилых: подавай им температуру пятьдесят градусов[225], и баста.

Не прошло и недели, как «Нью-Йорк пост»

---

[225] Примечания: 225
По Фаренгейту; т. е. 10 градусов по Цельсию.

разродился говёхой насчет новоявленного Сына Сэма[226]. А затем мне позвонил Пако и попросил приехать к нему в Майами. Короче, ну его нах, этот Нью-Йорк, да и всю эту озабоченную Америку — сплошная Гоморра вперемежку с гемором. Здесь у них замораживают алмазы и используют их как кубики льда. В общем, я улетел оттуда первым же рейсом.

И вот мы сидим в «Анаконде», где до меня доходит, что про нью-йоркское дельце дошло уже и сюда: сообщение о двойном убийстве; дескать, муж с женой убиты во сне, оба застрелены в голову. В «Анаконде» кипит ночная жизнь; говорят, тут в артистической уборной готовится к выступлению Донна Саммер[227], а в VIP-зоне отдыхает и еще кое-кто из мира знаменитостей. Ко мне подходит братан по имени Бакстер; я знаю, что он перец ничего себе.

— Что, еще один мазафакер за солнечной ванной пожаловал? — смеется он, а затем его взгляд становится серьезным. — Хорошо ты там зачи-

---

[226] Примечания: 226

Сын Сэма — прозвище Дэвида Берковица, американского серийного убийцы.

[227] Примечания: 227

До́нна Са́ммер (1948–2012) — американская певица, исполнявшая композиции в музыкальных стилях ритм-н-блюз и диско.

стил, в Нью-Йорке.

— Бог ты мой, да лишь бы мама-джама была довольна. Пако знает, что ты здесь?

— Да ну его нах, мелкого *putito*.

— Значит, не знает.

— Не, а серьезно, Джей-Джей: что ты здесь делаешь?

— Да вот, сушу весла. Брат притащил меня сюда из Нью-Йорка, там сейчас жарковато, надо слегка остудить задницу. Или кому-то здесь по ней напинать.

— А вот с этим давай в какой-нибудь другой клуб. В «Тропик Сити» через дорогу не пробовал?

— А здесь чем плохо?

— Древний китайский секрет.

— То есть?

— Слушай, я тебе озвучиваю только потому, что у меня к тебе нежные чувства.

— Что?.. Музыка, блин, громко орет.

— Видишь вон там кубинцев? Большой стол на шестерых?

— Да.

— Их тут нынче замочат.

— Откуда ты знаешь, что они кубинцы?

— Да ты на пиджачины их взгляни. У колумбийцев хоть какой-то вкус, а у этих… Мы за ними уже

давненько ходим, да только застать их вместе никак не удавалось. Зато теперь всех за одним столиком подловили. Все равно что когда телка тебе за одну ночь и отсасывает, и в жопу дает. Двое из них неправильно мою шефиню терли, а она с такой хренью не мирится. Так что гореть им тут нынче, как в Сонгми[228]. Потеха будет что надо. Поимей в виду. Со всеми вытекающими.

— Понял, брат. Спасибо за наколку.

Пако я застал у барной стойки с какой-то телкой, которой он обеими руками обжимал титьки, как бы вместо лифчика.

— Эй, чувак, надо дуть отсюда: тут что-то серьезное затевается.

— Дуть? А в какое именно место? Я вот в хэ себе не дую, а с Шарленой знай балую. Хошь одну сисю дам помацать?

— Я серьезно, чувак. Мотать отсюда надо.

— Да брось ты, ну… Тут Донна Саммер выступает. А еще, говорят, в каком-то номере Джин Симмонс с Питером Криссом[229] китайскую цыпку на пару разделывают. Остынь, чувак, охолони:

---

[228] Примечания: 228

Сонгми — деревня, уничтоженная американской армией в ходе войны во Вьетнаме.

[229] Примечания: 229

Джин Симмонс, Питер Крисс — музыканты из рок-группы «Кисс».

ты не видишь, я занят?

— Я тут что, по ушам тебе втирать пришел? Сейчас говно метнут в вентилятор — брызнет по всем углам. Так что перестань колупать эту блядву и слушай меня.

— Чёё? Кого ты, мля, блядвой назвал?

— Охолони, цыпа. Видишь — это ж гомосек. Не знает даже, с какой стороны к даме подгребать.

— Куда уж мне. Пако, реально, ну какого хера?

— Ну а ты какого, солнце мое?

— Я сейчас только перемолвился с Бакстером.

— Бакстер? Этот гондон здесь? Да ёшь твою медь, какого…

— Он здесь на работе, кретин. Он и еще дюжина громил.

— Бли-ин!.. Ну почему здесь? Такой милый клуб превратят в руины!

— Не знаю, но сейчас тут начнется разборка колумбийцев с кубинцами. Один из столиков размолотят в хлам.

— Ой, бля… Надо мне предупредить моего парня.

— Делай что хочешь, а я отсюда сваливаю.

Я отправился наружу, в то время как Пако, видимо, пошел известить о грядущем катаклизме своего кореша. На выходе я прислушался, недо-

умевая, что со мной — может, оглох? Выстрелов чего-то не слышно, но не прошло и пяти минут, как из «Анаконды» густо повалил народ, хотя стрельбы по-прежнему не слышалось. Пако, нагнав меня, сообщил, что сработала пожарная сигнализация.

— А своего кореша ты предупредил?

— А то. И вовремя. Он ведь там не один был: к нему из-за границы пять братовьев нагрянуло.

— Не один? Пять братовьев? Ты про стол с шестерыми кубинцами?

— Ну да. А что…

— Гре-ба-ный кре-тин! Ну надо ж быть таким опездолом! О, мазафакер!

В тот вечер я забронировал себе билет на Нью-Йорк, на первый же рейс. А когда выскочил в аэропорту из такси, меня там уже ждали четверо. Один в коричневом костюме с лацканами, как крылья, трое в рубашках-гавайках — красной, желтой и розовой, как гибискус. Отбиваться было бессмысленно.

Меня усадили и повезли — далеко, куда-то за Корал-Гейблс[230], мимо участков, где ничего, кроме деревьев; мимо дорог со знаками; мимо

---

[230] Примечания: 230

Корал-Гейблс — город на юго-востоке шт. Флорида.

погнутых тропическим ураганом фонарных столбов; мимо каких-то двух клубов, где днем шаром покати. Оставили позади городскую среднюю школу — двухэтажную, с припаркованным впереди сиротливым «Мустангом».

— Доставить мы тебя должны живым, — сказал Розовый Гибискус. — Но это не значит, что цельным куском.

— Это все из-за прошлой ночи?

— Ага.

— Так это все из-за моего корешка Пако, дай ему бог здоровьица.

— Не знаем никакого Пако. Бакстер сказал, что наколку дал тебе.

— Так почему вы с Бакстера и не спросите?

— Да уж спросили. Со всей строгостью.

— Н-да. А ваш босс, он…

— Она. Кто знает, что ей на ум взбредет?

Я сказал, что она как громкий знак вопроса, но никто в машине не отозвался — не расслышали, должно быть. Я сидел и тупо смотрел, как Флорида за окном становится все однообразней в плане цвета.

— Мы все еще в Корал-Гейблс?

— Нет.

— Если она думает меня убить, то почему б

вам, ребята, не сделать это прямо сейчас? А труп скормите какому-нибудь аллигатору.

— Потому что аллигаторов она для этого слишком уважает. А ты заткнись. Твой гребаный нуёркский акцент меня так достает, что…

— Чикагский.

— Да какая разница. Всё, приехали.

Впечатление такое, что за Корал-Гейблс мы и не выезжали. Припарковались на подъездной дорожке, на которую выбежали двое по пояс голых пацанов, — один, тот что гонится, с водяным пистолетом. Улица сонная, пустая. Через дорогу за «Мустангом» стоит синий «Шевроле». После Нью-Йорка с Чикаго все эти пригороды кажутся необъятно большими: до обозримого конца дороги всего один дом, две машины и три дерева, и та же самая хрень по другую сторону. А дом так похож на предыдущий и следующий, что кажется, это намеренно, а хозяин или хозяйка — *chico* или *chica* — пытается всем своим видом хилять под средних американцев (для маскировки, что ли?). Хоромы-то, блин, какие… И при этом всего один этаж, будто лестница на второй может вызвать кислородное голодание от высоты. Все крыши, как на подбор, из желобчатой черепицы, различных оттенков пастели, — эта, например,

синяя. В Корал-Гейблс довольно быстро бросается в глаза разница в материальном достатке — вон особняк, козыряющий своим шиком и лоском, а вон новодел, где добавленные комнаты торчат, как прыщи на харе. То есть из грязи в князи — вот вам, гляньте, бабло у меня теперь есть, так что нате вам!

Подъездная дорожка оказалась протяженной. По обеим сторонам пальмы, как будто дом стоит на кокосовой плантации. Примитивным его, кстати, не назовешь. Вместо входа просто каменная арка, а окна везде широкие, сплошные, так что снаружи со всех углов видно гостиную. Классно.

Коричневый Костюм указал на переднюю дверь, что вызвало у меня некоторое облегчение. Может, они просто хотят поговорить, хотя бы для начала. Стильность, утонченность, лоск — возможно, нахождение на континенте как-то прививает колумбийцам эти черты, в отличие от мужланов-кубинцев. За мной двинулся только Коричневый Костюм; гавайки остались на месте.

Пахнет домашней едой. А ведь я проголодался. Не помню, чтобы я доро́гой останавливался, но чуть не запнулся от внезапного тычка Коричневого Костюма.

— Да ёб же ж, — вырвалось у меня.

Костюм угрожающе высунул из кармана рукоятку пистолета.

— Хозяйка не любит, когда в доме ругаются, — сказал он.

Слева оказался еще один арочный проход, ведущий в гостиную, где мальчуган с копной мелкокурчавых волос смотрел по телику «Улицу Сезам». Бекон и оладьи. Мы шли на запах бекона с оладьями.

Джоси Уэйлс

Лихие люди пометок в книжках не делают. Я говорю что-то с уверенностью знания: например, что от солнца снаружи все становится жарче и тяжелей. А вы записываете это себе в голову и тренируете ее, чтобы она запоминала. «*Прощать*» и «*забывать*» — таких слов в моей книге нет. Не потому, что я ничего не прощаю, — будь оно так, река взбухала бы кровью во всем своем течении от Парка национальных героев до Кингстонской бухты. Просто я действую с опорой на три установки: помнить, ждать и шевелиться. Жопный юноша Бой Джордж[231] однажды пропел по радио вопрос: «Ты торгуешь черными деньгами?» У меня есть ответ: я торгую всем, что черное.

Сидящий в Нью-Йорке Ревун говорит мне, что староват для брейк-данса. Для Майами он не тот типаж, что я, впрочем, знал еще по Ямайке. Ревуну нравится считать себя мыслителем, но он им не является. Этот человек не думающий, он просто прочел несколько книг. Точно так же, как

---

[231] Примечания: 231

Бой Джордж (*наст.* Джордж Алан О'Дауд, р. 1961) — британский поп-певец и композитор.

некоторые из этих ребят считают себя зрелыми и опытными, хотя на самом деле всего-то прошли через пару-тройку неурядиц. Ревуну я поручил одно. Он обеспечивает связь между Джемдауном и Гризельдой Бланко. Ей нужно поставлять дерьмо ускоренным темпом в Майами, чтобы оттуда оно плыло до Нью-Йорка. Что до нас, то мы поставляем дерьмо ускоренным ходом из Кингстона в Майами через северное побережье или Кубу.

При этом у Ревуна есть одна особенность: он не уживается ни с какой бабой. Точнее, никакая баба не может ему указывать, что делать. Хотя, опять же, Гризельда не баба. Не женщина. Она вампир, у которого сотню лет назад отпал хер. Ревун выводит ее из себя; с ним она теряет терпение, а когда сумасшедшая вроде нее теряет терпение, перед ней отступают даже закоренелые ямайские рудбои (что правда, то правда: эта сука, бомбоклат, в своей ярости несравнима ни с кем). То, что она своими руками прикончит Ревуна, — дело считаных месяцев.

Церковь, кажется, говорит о даре прови́дения. Наделены им не только святые и ясновидцы, но и все, кто считает, что способен запрыгнуть в эти штаны и шагать впереди всех; шагать, пока шагается. В ту самую секунду, едва лишь встре-

тив Бланко, я понял, что передо мною грубая и жестокая бестия, рассудительности в которой не так уж много, но решимости столько, что она сшибет наземь быка. Как и я, Гризельда понимает, что «правота» и «неправота» — всего лишь два слова, выдуманные глупцом, а значение имеет лишь то, какой вес я имею над тобой, а ты — подо мной. Но она пока не определилась, как с этим обходиться, так что иногда тупоумный ниггер — это страхолюдина из Колумбии, по тугодумию своему не въезжающая, что я веду дела разом и с Медельином, и с Кали, где ребята известны тем, что хотя бы слегка дружат с головой. Провидение. Проницательность. Я всегда, когда смотрю на человека, могу его прочесть. Взять того же Ревуна. Вот уж сколько лет я знаю, что он не только трахает мужиков, но и сам порой подставляет им зад. И что бы он там ни говорил, а сам в душе все еще томится по тюряге. Мне за одно это давно б уже полагалось его прикончить, но я как-то мирюсь. Смотрю, как он трахает мужика за мужиком, бабу за бабой, и все думаю: может, он все же остепенится, перестанет быть жопником, пересмотрит свое поведение… Изживет хотя бы потребность, чтобы ему вставляли… Ну да ладно, в отношениях содомитов я не разбираюсь, а Библию не читаю.

Знаю только наверняка, когда человек дурит сам себя. Тут на другое нужно смотреть. На то, что он там затевает в Нью-Йорке. А повесить ему на хвост человека не могу, потому как тот все разузнает. К тому же есть вещи, которые проделывать может только Ревун.

Вчера моя женщина спросила, как это мне дали визу в Америку, и рассмеялась. Правильно смеется. Хотя в этом году мне есть чем заняться. Не могу сказать, когда меня последний раз интересовало, что делается на улицах Кингстона. ЛПЯ так хотела заполучить страну в руки — и вот заполучила. Так что зажритесь. В моем внимании теперь нуждается другая улица, так что мне остается единственно вглядываться. Лихой человек пометок не делает. Лихой человек все записывает в уме.

В Бронксе у меня Юби. Люди не могут понять, как я вообще его терплю (в данном случае «люди» — это Ревун, который его на дух не переносит). В самом деле, непросто питать симпатию к парню, который подстригается каждые две недели, разговаривает так, будто окончил навороченную среднюю школу, а одет всегда в костюм с отливом, вне зависимости от погоды. Но вот резон, который мало кто ловит: если людям западает в

голову, что ты сутенер, никто из них не подумает, что ты наркодилер. У Юби вид студента, и это дает ему повод думать, что он стильный. Немного в самом деле есть. Этот парень всерьез думал поступать в колумбийскую школу юриспруденции, но раздумал, потому как счел себя и без того докой. Он вольготно обосновался в Куинсе и Бронксе, и я позволил ему взять под себя Майами вместо Ревуна. Ревуна я в известность не поставил, и тот мне на той же неделе перезвонил:

— Брат, что там за хрень деется?

— Тебе надо смениться. Майами для тебя слишком захолустен, тебе нужен Нью-Йорк. Там и вечерами есть куда пойти, развеяться.

— Что ты, бомбоклат, имеешь в виду?

— Имею то, что имею, мандюк. В общем, размещаю тебя на Манхэттене или, может, в Бруклине.

— Я те места не знаю.

— Ну так купи, бомбоклат, путеводитель и изучи.

«Брат, ты ж знаешь, у меня на эти вещи чутье, и я этому перцу не доверяю», — не устает он повторять при каждом звонке, почти одной и той же фразой. Но Ревун человек недумающий, он лишь прочел пару-тройку книжек, а вот Юби, не в

пример ему, мыслит широко и глубоко. Он кинул Колумбию ради торговли «травой», потому как Колумбия в плане деланья денег уже не могла научить его ничему, чего бы он сам уже не знал.

Сметлив просто даже слишком. Сто тыщ фунтов «травы» и десять тыщ «беляка» всего за один год. Это знаю и я, и он, и Ревун, который Юби от этого еще больше ненавидит. Мозг этого человека обогащает нас всех. Но он же, этот мозг, нуждается в моем снабжении, и хотя я уверен, что Юби пытался контактировать с Эскобаром напрямую, доверия ему при таком ловкачестве от тех дельцов нет. Что ж, пускай себе ловчит — иное и представить сложно, — только Ревуна я в это не посвящаю. В другой раз Ревун позвонил мне просто с тем, чтобы сказать: со всего Джемдауна Юби единственный, кто делает педикюр, а значит, он, наверное, жопник или что-нибудь в этом роде. Без бэ. Я хохотал так долго, что Ревун напрягся — ничего, мол, в этом смешного нет. Я сказал ему поостыть. И не сказал, что Юби, когда не убивает сам, подсылает для этого двух своих братцев — родная кровь, ничего не скажешь, — которые, если верить молве, уже укокошили для него больше полусотни человек. Почему он зовется Юби — это вопрос, но, наверное, к пси-

хиатру. Лихие люди пометок не делают. Вместо этого я припоминаю имя на манер скороговорки — ля-ля-ля, тра-ля-ля, — как в детской считалке или песенке. Если б кто-то это знал, меня бы, наверное, перестали воспринимать всерьез. И вот я послал Ревуна с еще одним парнем встретить кое-какой груз во Флориде и уже другой фурой переправить окольным путем в Вирджинию, а то и в Огайо. Но в Западной Вирджинии фуру перехватывают копы. И мало того, что пропала такая тьма доз, это бы еще полбеды. Но тут еще всюду начали выщелкивать наших: под Вашингтоном, в Детройте, Майами, Чикаго и по всему Нью-Йорку.

Но за всем этим наш Ревун упорно не слезает с Юби.

— Он, наверное, точно «ча-ча-ча»: ты глянь на него. Взять этот его костюмчик с отливом: шит-то небось из материной шторы… Помяни мое слово, Джоси: рано или поздно этот подонок обернется против тебя.

— Я за ним смотрю, Ревун.

— Тогда смотри крепче. У меня к нему большого доверия нету. У него рука всегда на подбородке, все чего-то думает: прибрасывает небось, как тебя скинуть…

— Ты серьезно? Ну так учти: он не единственный, за кем я смотрю.

— Это ты о чем?

— А о том. Почему мне мой человек в Куинсе докладывает, что поставки между тобой и Юби нестабильны? Почему не налаживаются каналы по Нью-Йорку?

— Что значит «нестабильны»? Этому мудаку нужно усвоить: за один день дела не делаются.

— Ждать у моря погоды, что ли? Ревун, ты там, часом, не захворал?

— В смысле?

— Братан, ты что, на Нью-Йорк монополию взял, что ли? А «Иерархия донов»? А «Артель Кровавой Розы»? А «Хотстепперы»? Им всем кусок подай, от каждой улицы — и это я только о ямайцах говорю. Не будем поставлять мы — они найдут другого поставщика, все просто. И вот из-за таких, как ты, я вынужден сам лететь в Нью-Йорк и наводить там мало-мальский порядок. А ты подумал, Ревун: зачем мне туда лететь? Может, мне лучше просто передать Куинс тому же Юби, а тебя отозвать обратно на Ямайку?

— Да что ты, Джоси! Ни даже-даже. Я… Не, ну так нельзя. Я же просто…

— Ты просто *что*? На будущее: не вынуждай то-

го человека из Куинса звонить мне. Я половины не понял из того, что он мне наговорил.

— Хорошо-хорошо, брат, я этим подзаймусь, — спешит меня заверить Ревун. Но не говорит того, что действительно должно занимать его на всю голову: не низовой бизнес, а то, что на его территорию пролезает новая банда — та самая, что пытается пролезть и на Майами. Люди подзабыли, что, когда к власти в восьмидесятом пришла ЛПЯ, куча народа, недолго думая, свалила в Штаты. И вот теперь «Кровавая Роза», «Хотстепперы», а уж в особенности «Иерархия донов» пытаются столбить там территорию, как у себя в Кингстоне. И вновь я убеждаюсь, что Ревун человек недумающий, а просто прочел пару-тройку книжек.

И еще одна деталь. Сказать по правде, мне не очень-то много надо, но я говорю Ревуну:

— Слушай, ты помнишь того опездола, Тристана Филипса? Ну этого, из Совета замирения с Папой Ло, Шотта Шерифом и Певцом? Который исчез, как иллюзионист, хотя я посылал разобраться с ним не одного, а целых двоих? Так вот, он сейчас живет в Куинсе, и мне нужно, чтобы ты поставил на этом братане крест. Пока он не примкнул к какой-нибудь банде от ННП, пусть даже засветился на американском ТВ с речами за

мир и дружбу.

В восемьдесят втором я отрядил Ревуна заняться этим долбаком. Сказал ему взять билет на самолет и отправиться в Нью-Йорк, найти там ствол и закрыть эту страницу в ямайской истории. Через неделю последовал звонок, но не от Ревуна, а от Бенни, одного из его бегунков, с сообщением, что дело сделано. Я уж не стал Ревуна спрашивать, под какой он был балдой, давая этому засранцу мой номер телефона. Хуже того — дал его тому, кто позволил себе базар таким тоном: «*Ну это, короче. Ревун велел сказать, что фокусник, типа, накрылся, ага? Ну пока*». Не потому, что он засранец, а просто потому, что он реально не знал, с кем разговаривает. Ну да бог бы с ним: с Филипсом покончено, страница закрыта, и дело с концом.

А затем в позапрошлый четверг один из моих людей, который только что вышел из «Рикерса», спросил, знаю ли я такого Тристана Филипса, который, по его словам, знает всё обо мне. Я уточнил: «Ты, наверное, хочешь сказать, не *знаю*, а *знал*?» А он мне отвечает: «Нет, Джоси, тот братан отсиживает в “Рикерсе”; второй годок мотает из пяти, полученных за вооруженный грабеж. Сидел в “Аттике”, а затем перевели в “Рикерс”. Он сейчас

влился в “Иерархию донов”. Если хочешь, могу отправить весточку, чтобы его там чикнули». Я тогда сказал: «Да не надо, пускай живет». А сам в пятницу звоню Ревуну:

— Знаешь, с кем я нынче пересекся? С Тристановым знакомцем. Приходил в ЛПЯ за деньгами, жаловался, что кореш твой совсем от рук отбился, денег на ребенка не дает… Ну, что скажешь? Забавно? — спрашиваю я.

— Да, прикольно, — отвечает он в замешательстве.

И вот я собираю спортивную сумку, чтобы лететь в Нью-Йорк. Надолго отлучаться не планирую. Юби там уже все подготовил. Случайно глянув, замечаю моего старшего: стоит в дверях и смотрит, в школьной форме.

— Па, ты откуда, бомбоклат, вернулся? Ты там не вмазанный маненько?

— А ты чего маячишь надо мной сторожем? Отправляйся-ка в школу, юноша.

— Да ну ее нах.

— Что? Я похож на родителя, который позволяет своему отпрыску выражаться в своем присутствии?

— Да брось ты, па.

— Хорошо. А ты брось кривить рожу и ступай-

ка в школу. Думаешь, мужская школа Уолмера дается за бесплатно?

— Нас учат, что образование должно быть всеобщим и бесплатным, так что…

— Ну-ну, поучи меня. А за прекословье тебя пестиком по голове. Отойди-ка лучше с дороги и марш в школу, пока там ворота не заперли.

— Па, ну откуда мне знать, что…

— Знать *что*? У нас речь сейчас, кажется, об образовании. И я думал, ты уходишь в школу; так почему я все еще вижу здесь твою постную физиономию? Ты мне с каждым днем все больше напоминаешь твою, бомбоклат, матушку.

Я улыбаюсь, чтобы он не чувствовал с моей стороны угрозы. Но ему уже шестнадцать, а я по себе помню, как в этом беспутном возрасте начинает играть кровь. Внутри голод, который все растет, и его ничем не унять. Все это так знакомо. Чувствуется, что мы дурачимся, но во всем этом сквозит и некая угроза. Мне отчасти нравится то, как этот засранец ерепенится, выпячивает грудь.

— Смотри у меня, — говорю я шутливо, когда он поворачивается уходить.

Сын лишь один раз кивает и удаляется, поправляя на спине синий ранец. Еще год, от силы два, и управы на этого парня у меня уже не будет.

Тристан Филипс

Не гони давай. Что, «Двое друзей» в семьдесят седьмом году не существовал? Открылся только в семьдесят девятом? Тогда в каком клубе я нарвался на Дубленую Кожу — в «Вертушке», что ль?.. Нет, солнце, представить не могу, чтобы это была «Вертушка», — туда ведь даже премьер-министр захаживал. Смычка людей из высших сфер со средними слоями — связь культур, хождение в народ, всякое такое… Ты уверен? С чего ты так уверен? Для человека, который говорит, что на Ямайке не был с семьдесят восьмого года, ты о семьдесят девятом знаешь до хрена. Ты вот мне говоришь, что пишешь книгу о Певце, но какое отношение она имеет к самому Певцу? Он же в мир иной ушел в восемьдесят первом, так? Ну, а ты до этого дня где скрывался — в заднице, что ли? Или я, по-твоему, родился из-под коровы? Или ты пишешь историю о привидениях? Типа, как даппи Певца разгуливает по Роуз-холл? Ты сам-то подумай: если ты в самом деле пишешь про Певца, то за каким хреном ты ведешь разговор со мной? Ты меня, блин, что, за идиота держишь? А, Пирс?

Да не извиняйся ты, что транжиришь мое время, — садись, какого хера. Вот гляжу на тебя и читаю по глазам: еще один мелкий вопрос, и ты на всех своих жопных парах вылетишь из этой комнаты. Единственно значимое дело, которое ты сделаешь за весь день. Глянь-ка, как у тебя физиономия покраснела — прямо как подсвинок, что подавился… Да садись ты, садись, Александр Пирс. Ладно, давай так: ты не говоришь, зачем тебе нужно знать о замирении, о Джоси Уэйлсе, Папе Ло и Шотта Шерифе, а я не скажу, как я это все в тебе раскусил. Годится? По рукам?

У Совета за мир был даже офис. Его обустроил Певец на первом этаже своего дома, вход сзади. Мы с ним ладили так, что люди думали, будто мы с ним братья. В каком-то смысле мы ими и были. Реально. Оба из гетто в Джемдауне. Мало кто знает, но я и в музыке когда-то тоже продвинулся. Раз с ребятами играли в доме самого премьер-министра — точнее, бывшего; правда, не у премьера, а у его отца. Я и рос вместе с лучшим другом Певца. Дураком я себя сроду не считал, но, как видно, Певец оказался-таки поумней. Не знаю. То ли кто-то так устроен внутри, или же в гетто заведено, что если тебя не уничтожает другой человек, то ты непременно уничтожаешь сам

себя. В гетто каждый рождается с этим, только Певец каким-то образом этого избег, излечился. Есть у меня одна фотография, где мы с ним двое: оба для гетто чересчур умные, но только один реально оттуда выбрался. А вот другие даже при уме роковым образом обречены на то, чтобы в нем сгинуть.

И вот Певец выделяет мне комнату под офис Совета за мир. Я все еще прикидывал, чем заниматься, но первым делом надо было собрать до конца деньги за концерт мира. Как-то днем Папа Ло подослал к нам в дом Джоси Уэйлса, чтобы тот скинул деньги за проданные на западные сектора билеты. Певец стоял возле входа, как раз после игры в футбол. Джоси Уэйлс припарковал свой белый «Датсун», вылез из него и прошел мимо, а Певец при этом на него посмотрел, а затем глянул через окно офиса прямиком на меня. Скажу тебе, брат, если б глаза у него были реально как те лучи у парня из «Людей Икс»[232], от меня не осталось бы и следа, равно как и от всего дома.

А когда Уэйлс ушел, Певец резким шагом зашел в офис. «Кто это был?» — спросил он еще до того, как я спросил, в чем дело. Я сказал, что это Джоси

---

[232] Примечания: 232

«Люди Икс» — команда супергероев-мутантов из популярного комикса и серии кинофильмов.

Уэйлс, общественный активист из Копенгагена, типа зам Папы Ло. Надо сказать, что за то недолгое время я уже узнал Певца очень хорошо и видел, как он раз или два выходил из себя. Но я никогда еще не видел его в такой ярости — его буквально трясло, и пару минут он даже ничего не мог выговорить. А я сижу и смотрю, как Певец от ярости задыхается, а затем не сразу выговаривает:

— Тристан, этого человека я знаю. Он был здесь, был именно той ночью, когда в меня стреляли. Знаешь, почему я сразу понял, что это замирение не будет долговечным? Как раз из-за той ночи.

И вот я лечу в Канаду на разговор с кое-какими организациями, все насчет Совета о мире, а еще чтобы встретиться с одним из братьев в Торонто. Он рассказывает мне все насчет того концерта, да так ярко, что я говорю: «Брат, ты как будто там побывал». А он и говорит: «Так я ж все видел. Его от и до по ТВ показывали, на канале культурных событий». Я удивился, откуда в Канаде видели концерт, когда со мной никто даже не заикался о покупке прав. И тут в разговоре всплывает какая-то «Копенгаген-сити промоушнз», продающая материал телестанциям в Торонто, Лондоне и Миссиссоге. Я, понятно, звоню Папе Ло и спрашиваю: «Брат, что за чертовщина?» Он говорит,

что насчет материала ничего не знает, так как все время занимался только Миком Джаггером. Но как кто-то мог окрестить свою фирму «Копенгагеном», если он сам не оттуда? Папа рассудил: «Может, она из настоящего Копенгагена, который за границей». Ага, а у меня на лбу выведено, что я идиот… Я уж не стал говорить ему, что никаких белых на съемках концерта не было и, похоже, мы оба знаем, кто за этим стоял. Тогда он говорит: «Наверное, это Шотта Шериф». Я рассмеялся, а перед тем, как повесить трубку, сказал: «Натяни поводок у Джоси Уэйлса, иначе мне придется это сделать за тебя». Дальше мне позвонили из Нью-Йорка с радио и пригласили в качестве гостя к себе на передачу. Тогда я сказал Папе Ло, что меняю свой маршрут из Торонто на Нью-Йорк, в аэропорт Кеннеди. Но как только вешаю трубку, то передумываю и решаю вместо этого лететь в Майами. Там тьма ямайцев, которые о Совете замирения еще ничего не слышали, а интервью на радио можно дать и по телефону.

Через четыре дня я в Майами. На уме у меня встретиться с А-Плюсом, бро еще по Балаклаве. Когда я стучу ему в дверь, он открывает и буквально подпрыгивает, взвизгнув, как девушка. Ты не ослышался. Он шарахается назад, слово видит

перед собой даппи. Даппи, кстати, это призрак. Типа, злой дух. Истинно говорю, А-Плюс сейчас как бы даже не знал, обоссаться ему или обосраться. И вот он хватает меня, как своего родного отпрыска, хотя есть правило: лихой человек ни с кем не обнимается. И уж тем более с мужиком. А этот обвивается вокруг меня и говорит навзрыд:

— Господи Иисусе, Тристан, как ты здесь очутился? Ты что, уцелел?

— Уцелел от чего? — не понимаю я.

— Ну как же! Или ты не слышал, бро? Про тебя сейчас только растрезвонили, что тебя нет в живых!

— Чего? Это что еще за разговоры? И кто их ведет?

— Ревун. Четырехглазый зам Джоси Уэйлса. Он буквально позавчера пустил, что только что слетал в Нью-Йорк и поставил на тебе крест.

— Крест, на мне? А перед тобой, получается, кто стоит — даппи, что ли?

— Честно сказать, я сам сейчас над этим раздумываю.

— Брат, этот мудак не только меня не убил, но и сам я не появлялся в Нью-Йорке.

— Что?!

— А то, солнце. Передумал, когда понял, что с

радиостанцией в Нью-Йорке могу потрещать и по телефону. А в Майами стольким не мешает услышать о созданном Совете мира…

— Братуха, как хорошо, что ты явился… А то уж я думал брать двоих и идти строить того мандюка.

— Так погоди, он что, еще в Майами?

— Да, здесь. Сейчас к другану поехал починрикать, в дом на углу Тридцатого и Сорок Шестой. Ты знаешь, где здесь парк с памятником Линкольну?

— Ну конечно. Какие у тебя есть причиндалы?

А-Плюс показывает мне автомат «томпсон» и «девятку». Я беру «девятку», он снаряжает автомат, и мы выезжаем к мемориалу Линкольна. Машину ставим в двух кварталах и направляемся ко двору того другана. Ты вообще знаком с той частью Майами? Одноэтажный дом с верандой сбоку, иногда застекленной. Лужайка у них — это высохшая трава и сухая грязь. Тот дом со сплющенной машиной на лужайке как будто перенесли из Восточного Кингстона. Короче, подваливаем к дому. А-Плюс заходит спереди, я сзади. Дверь у тех мудаков, само собой, не заперта. Конечно же, громко и четко слышен голос Ревуна. В дом попадаю с левой стороны прихожей. Делаю два шага, и вот он, голубчик, стоит ко мне спиной

и ссыт в унитаз. Хоть бы дверь прикрыл. Бросаюсь на него и пихаю мимо унитаза так, что мы влетаем в занавеску для душа и я впечатываю его в стену. Прямо мордой, так что удар его оглушает. Очки слетают. Пока он не опомнился, подставляю ему ствол к виску и взвожу, чтобы он слышал щелчок. Ревуна начинает бить дрожь, да так, что от тряски у меня чуть не выпадает пистолет. При этом ссать он не перестает. Я говорю:

— Представь себе, мандюк: я спускаюсь с трапа в Майами и узна́ю, что меня уже нет в живых, и это слышали все на свете, кроме меня. Как ты такое представляешь?

— Ай, ай! Не знаю, Тристан, не знаю, каково оно быть мертвым… Но ты-то, я вижу, вот он здесь, ай!

— Ах не знаешь? Но при этом, бро, расхаживаешь и рассказываешь, как ты меня убил? И когда же — на той неделе? Вчера?

В это время из-за угла появляется его дружок, которого сзади дулом автомата подталкивает А-Плюс.

— Ну так, Ревун, братец мой, расскажи, как ты меня убил? А то я мертвым себя что-то совершенно не чувствую.

— Да кто сказал, что я тебя убил, босс? Кто мог

такое наплести?

— Хочу просто узнать, откуда у тебя такая резвость. Ты б хоть сначала убил, а потом уж бахвалился… А?

Мандюк помалкивает. А затем начинает плакать, а вместе с ним и его друг. Хотя сказать «плакать» будет мало — больше похоже на рыдания, в голос. Безусловно, кто сегодня не убил меня, того завтра убью я, и вот я прижимаю Ревуну ствол плотнее к виску, чтобы прикончить. А тот второй начинает выть, чтобы его пощадили. Прямо реально молит о пощаде, вот уж и на колени опустился, даже неудобно. Прямо как маленькие оба. В тот момент, как я отводил ствол, Ревун метнул взгляд на своего дружка. Было видно, что он разъярен донельзя. Ну, я дал им обоим раза рукояткой пистолета, и мы с А-Плюсом ушли.

Что-то, я гляжу, Алекс Пирс, ты все это принимаешь очень уж непринужденно. Не обмочился там втихомолку под столом? А впрочем, что-то мне подсказывает, что ты не из пугливых…

Боюсь ли я чего-то? Скажем, возмездия? Поверь, из тех, кто отважится меня преследовать, Ревун самый последний. А вот полиция между делом шлепнула Медяка, а затем добралась и до Папы Ло. Тут надо кое-что пояснить. То замирение было

между гетто ЛПЯ и ННП. Полиция не подписывала договора ни с теми, ни с другими. Правда, фараоны Ямайки известны своим тупоумием. Ты, пожалуй, слишком молод и не помнишь старых черно-белых фильмов. Никогда не видал коротких немых комедий про «Кейстонских копов»? Видал все же? Так вот, полицейские силы Ямайки — это та шайка копов и есть, только без Чарли Чаплина. И Медяку, и Папе Ло хватало ума понять, что фараоны слишком увлечены своей уличной вендеттой, чтобы придавать значение тому мирному договору. Вместе с тем, чтобы выследить такого человека, как Медяк, у этих тупиц ушло не меньше десяти лет. У тебя, Алекс Пирс, ума тоже должно быть достаточно, чтобы понять, к чему я клоню. К тому, какая непруха поперла с гибелью Джейкоба Миллера. О происходящем вскоре смекнул Шотта Шериф и зачастил летать в Майами; пять раз летал. А затем умыкнул партию кокаина у брата человека из «Уэнг-Гэнг» и перепрыгнул в Бруклин. Где его выследил и замочил один из нью-йоркских братьев «Уэнг-Гэнг»; шмальнул прямо на танцполе клуба «Старлайт». Так не успели люди опомниться, как все, кто входил в Совет мира, оказались мертвы, кроме меня и той женщины. Случайно иль нарочно, выяснять у ме-

ня времени не было. Потом я еще разок вернулся на Ямайку, на похороны Медяка, и снова умотал. И теперь обратно ни ногой.

Доркас Палмер

Вот уже час я сижу и смотрю на мужчину, который сидит и смотрит на меня. Понятно, что я жду инструкций от миссис, мисс или как она там себя, эта фря, величает; ну, а он-то чего сидит, будто тоже ждет указаний? Спина по струнке, руки сложены перед собой, шея прямая — прямо-таки дроид из «Звездных войн». Вообще, это придает ему сходство с домашним песиком. Кобельком. Ну, а я, особь женского пола, в таком случае сучка? Можно сказать, неучтенный пункт договора — сидеть, смотреть и ждать, кто кого пересидит. Ну и пожалуйста, мне-то что. Может, это какая-то тактическая уловка? Типа, научить прислугу знать свое место. Дескать, я плачу́, а потому сидите и не звените. Вот чек, так что стоп мотор и ждем, пока мне не надоест, а счетчик пускай тикает. Чертова страна. Хотя, опять же, это ж не мои, а ее, хозяйкины, деньги. Хочет на почасовке платить мне за то, чтобы я ничего не делала, — ради бога. А он и в самом деле похож на Лайла Ваггонера, этот мужик. Меня не обманешь,

я ведь «Шоу Кэрол Бернетт»[233] каждую неделю смотрю, в повторах. Рослый, темные волосы с заметями проседи, подбородок, как у волевого персонажа в мультиках. И каждую минуту нет-нет да и глянет на меня, а встретив мой взгляд, тут же отводит глаза.

Может, сказать ему, что мне нужно отлить, и тогда получится выйти из этой комнаты? Точнее, попи́сать… Блин, терпеть не могу это слово: «пи́сать». Лицам мужского пола нужно запретить употреблять его с десятилетнего возраста. Всякий раз, когда я слышу его от мужиков, мне сразу представляется, что хренчики у них мелкие-премелкие и струйки из них тонкие-претонкие. Внезапно он стреляет в меня взглядом — так сказать, вне графика, — может, потому, что я хмыкнула или хохотнула. О господи, надеюсь, я не сказала всего этого вслух. Теперь, если что, остается только прикинуться, что это был кашель. Слышно, как у себя в кабинете та миссис/мисс повышает на кого-то голос (наверное, на мужа, хотя кто его знает). Лайл Ваггонер смотрит на ее дверь и иронично поводит головой из стороны в сторону. Какой мужик носит розовые штаны

---

[233] Примечания: 233

Кэрол Бёрнетт (р. 1933) — американская актриса, комедиантка и певица, наиболее известная благодаря «Шоу Кэрол Бёрнетт».

— эпатажник? Гом? Впрочем, если б он был гомом, не было бы у него сейчас ни дочерей, ни внучек. Сверху на нем белая безрукавка, приятно обтягивающая грудь и мышцы. Пожалуй, такого Лайла Ваггонера вряд ли прогнали бы и с любовной оргии, покажись он туда. Готова поспорить на свою будущую зарплату, что в бассейне он носит стринги. Пожалуй, его можно даже назвать «седым плейбоем», как американские девицы именуют мужиков, с которыми им не трахаться. Господи, скорей бы уж эта мисс/миссис закончила свою трепотню, иначе я начну мыслить вслух и опомнюсь лишь тогда, когда Лайл Ваггонер начнет недоуменно казать на меня пальцем: мол, она же помешанная.

Не мешало бы оглядеть дом. Я б, пожалуй, поднялась, но что-то мне подсказывает, что Лайл Ваггонер, стоит мне отойти хотя бы на шаг, цыкнет: «Ты куда?» Дом как будто из тех, где в пустой вазе на столе не сыщешь ни монетки, ни потерянной пуговицы. Стол, разумеется, стеклянный, но не обеденный. Мы с Лайлом Ваггонером сидим на деревянных стульях с округлой спинкой и пышным сиденьем. Обивка кремовая с орнаментом. На стене висят портреты — три пожилых женщины с глухими воротниками и двое мужчин — все

белые, с кисловато-чопорными лицами, какие у белых всегда бывают на картинах. Справа и слева от входа еще два стула, в точности такие же, на каких сидим мы. Ковровое покрытие полностью в тон стульям. На журнальном столике кипа журналов «Город и деревня» (единственная часть комнаты, которая выглядит малость неприбранной). Пурпурный диванчик на таких же разлапистых ножках, как ванна у меня дома. Одна из гостиных, которые всегда можно увидеть в рекламе на задних обложках «Нью-Йорк таймс мэгэзин». На левой стене хаотичное буйство красок.

— Вон там, посередке, Поллок[234], — говорит он мне.

— А мне кажется, это де Кунинг[235], — замечаю я.

Он сверкает на меня взглядом, а затем кивает.

— Право, не знаю, что и за каким чертом покупает моя семья, но эта мазня висит здесь уже довольно давно. Лично у меня впечатление, будто

---

[234] Примечания: 234

Джексон Поллок (1912–1956) — американский художник, идеолог и лидер абстрактного экспрессионизма.

[235] Примечания: 235

Виллем де Кунинг (1904–1997) — американский художник и скульптор голландского происхождения, один из лидеров абстрактного экспрессионизма.

ребенок сожрал весь свой набор цветных мелков, а затем изблевался на холст.

— Да будет так.

— Вы, я вижу, не согласны.

— Честно говоря, сэр, мне нет дела до того, что думают об искусстве другие. До вас оно или доходит, или нет, и довольно глупо дожидаться, что другие им проникнутся. Это даже приятно, когда уголок зала для вас освобождается от еще одного идиота, бубнящего, что его четырехлетка-дочь намалевала бы лучше.

— Ого. Где ж они вас такую сыскали?

— Сэр?

— Кен.

– *Мистер* Кен.

— Да ну, просто… А впрочем, ладно. Как вы думаете, мисс Жу-Жу-Жу-На-Проводе-Сижу начнет когда-нибудь уважать людское время и *слезет, язви ее, с телефонного аппарата*?

— Я не думаю, сэр, что она вас расслышала.

— Я же сказал, меня звать… а, ладно. Вы, наверное, не в курсе, но… как вы думаете, моя невестка специально запросила темнокожую домработницу?

— Меня в такую информацию не посвящают, сэр.

— Кен.

– *Мистер* Кен.

— А то эта Консуэла — мне кажется, ее звали именно Консуэла — пёрла из дома все, что только можно.

— Бывает.

Среди ямайских домработниц имени Консуэла не значится, в этом я была уверена.

— Она была весьма своеобразна. Все, что думала своровать, клала сначала под мебель. Скажем, сегодня она ворует постельное белье. Но, прежде чем украсть, куркует под кровать. Назавтра это может быть мыло под стулом у двери спальни, которое затем перекочевывает к столику снаружи, затем под кресло, затем под соседнее кресло и наконец оказывается на подвесном столике у входной двери. Таким образом каждый день, перемещая каждую вещь одним и тем же маршрутом, она всегда подготавливала что-нибудь у двери на вынос. Я ей сказал: «Гляди-ка! Нелегальный иммигрант прорубил у нас дома прямо-таки канал контрабанды!» А она мне знаешь, что сказала? «На севере, папаша, такие речи недопустимы. Можно подумать, я родилась не в Коннектикуте, драть его некому».

Это дало мне основание предположить, что она

из когорты пуэрториканцев.

— А я с Ямайки.

— Да ну, не поверю. На Ямайке я был.

Я лишь подумала: ну вот, начинается, очередной белый начнет мне сейчас втирать, как он без ума от Очо Риоса[236], но был бы без ума еще больше, если б там не было такой нищеты. И страна-то такая красивая, и народ-то такой дружелюбный, и даже при всей своей трагичности находит в себе силы улыбаться, особенно, язви их, ребятишки. Хотя вид у них слегка негроидный.

— Еще бы. Пляж Сокровищ.

— А?

— Что?

— Вы сказали, Пляж Сокровищ?

— Ты его знаешь?

— Ну да.

Сказать по правде, я о нем понятия не имею. Так, слышала краем уха. То ли в Кларендоне он, то ли в Сент-Мэри — в одном из тех мест, где я никогда не бывала: у нас не было бабушки, которая бы все еще жила на селе. Одно из тех мест, для посещения которых нужно быть туристом, вроде Французской бухты и иже с ней. Да и ладно.

---

[236] Примечания: 236

Очо Риос — город на северном побережье Ямайки.

— Все такое чистое, нетронутое. Богом дарованное, как обычно называют место, которое еще не засрано, а лишь понемногу загаживается. Скажем так: никто там не носил маек «*Отъямай меня Ямайка*». Я попросил одного парня, который был в белой рубашке и черных брюках, принести мне колу, так он сказал: «Иди, бомбоклат, сам возьми». Представь себе… К тому месту я проникся сразу. Да и вообще, ты…

Из комнаты наконец появляется хозяйка. Держа под мышкой клатч, она на ходу поправляет волосы.

— Папа, будьте добры, проведите мисс Палмер по дому. Только сегодня без переутомлений, ладно?

— Прошу прощения, мисс Палмер: там за вами случайно не стоит какой-нибудь младенчик? Где-нибудь в дверях…

— Папа, — укоризненно смотрит хозяйка.

— А то я не пойму, с каким ребятенком она разговаривает.

— О боже правый, *папа*… Ваш сын там, на новой квартире, с ума сходит только потому, что я хочу микроволновку; говорит, что она слишком дорогая… Всё, пора бежать. Покажите, папа, мисс Палмер, где кухня. Ничего, если я буду звать вас

Доркас?

— Ничего, мэм.

— Ну и отлично. Чистящие средства в тумбочке под раковиной. Прошу осторожней с аммиаком, от него сложно выветривается запах. Обед обычно в пять, но на этот раз можно взять пиццу, только не «Шейкэй», в ней слишком много соли. Что еще я хотела сказать?… М-м-м… Да вроде всё. Ну ладно, всем пока. Папа, вы слышите? До свиданьица.

Она закрывает за собой дверь, оставляя нас наедине. Может, сказать, пока не поздно, что я вообще-то не уборщица, а «Боже благослови» агентство иного профиля?

— Тут, наверное, какая-то ошибка…

— А то я не знаю. Но мой сын, как видишь, все равно на ней женился. Вот такие дела.

Он встает и подходит к окну. Тоже высокому. Чем больше я смотрю на этого мужчину, тем больше недоумеваю, зачем я здесь. Мне не представляется, что наступит момент, когда надо будет очищать его от собственного дерьма или укладывать в постель после того, как я сменю засранные простыни. Сейчас он стоит, подавшись к окну, — одна нога прямая, другая согнута, как будто он собирается толкнуться через стекло. Я,

пожалуй, еще не видела человека в таких летах, у которого все еще сохранился зад.

— За месяц ты вторая, — говорит он, по-прежнему глядя в окно. — Не знаю, как долго ты продержишься.

— Прошу прощения, сэр, но мне не совсем понятно, зачем я здесь.

— Ей непонятно, зачем она здесь…

— «Боже благослови» — не служба гувернанток, сэр. Наверное, вот почему люди у вас не задерживаются.

Он поворачивается, и теперь к стеклу прилегает его спина.

— Знать ничего не знаю ни о каком «Боже благослови». И пожалуйста, пожалуйста, *пожалуйста,* перестань называть меня сэром.

— Хорошо. Мистер Кен.

— Ладно, пусть хоть так. Большего все равно не добиться. Сколько сейчас времени? Ты есть хочешь?

Я мельком смотрю на часы.

— Двенадцать пятьдесят две. И я прихватила с собой сэндвич, мистер Кен.

— Ты в игры играешь?

— Извините, что?

— Да это я так, балуюсь. Хотя мне куда больше

по нраву твое «а», а не это твое «извините». Один из немногих разов, когда я чувствую, что в этой комнате со мной настоящая ямайка.

Я внушаю себе: «Это приманка, не клюй, приманка, не клюй, приманка, не клюй».

— Ну, а если я ямайка не настоящая, мистер Кен?

— Не знаю. Кто-то что-то затевает или играет. Я скоро вычислю.

— Насчет этого, сэр, говорить не берусь, но ваша дочь определенно позвонила не в то агентство. Работу горничной я не делаю.

— Да расслабься ты. Эта стервоза всех вокруг считает горничными. Я уверен, что в твое агентство позвонила не она, а мой сын. Она меня обычно игнорирует, но с недавних пор я плотно общаюсь со своим адвокатом, и она, видимо, заволновалась, не думаю ли я переделать свое завещание. Каким-то образом она убедила моего сына, что я дошел до точки, где за мной нужен присмотр.

— Зачем?

— Об этом спроси моего сына… Ой, да бог бы с ними. Скучно мне. Ты анекдоты травишь?

— Нет.

— О-о, надо же… Ты что, действительно такая

неюморная тугодумка? Ну ладно, тогда я тебе расскажу. Та-ак… ага. Как ты думаешь, почему акулы никогда не нападают на черных?

Я хочу сказать: «Послушайте, эта ямайка, что перед вами, умеет плавать и нырять», но он договаривает:

— Потому что они принимают их за китовое говно.

И смеется. Не ржет, а так, похмыкивает. Я прибрасываю, сплотить ли мне всех черных американцев и завопить об оскорблении или же просто дать нависнуть молчанию, пока оно не начнет давить гнетом.

— А сколько времени у белой уходит на то, чтобы высрать какашку?

— Опа. Не… не знаю.

— Девять месяцев.

Он медленно рдеет. А после затяжной секунды его пробивает заливистый хохот. Хохочет он так долго, что вот уже хватается за бока, отдувается, кашляет и отирает с глаз слезы. Я и не думала, что его так проймет.

— О боже… О бог ты мой…

— Нет, в самом деле, мистер Кен, я, пожалуй, пойду. А ваш сын пусть позвонит в службу горничных и…

— Еще не хватало! Нет, черт возьми. Никуда я тебя сейчас не отпущу. А ну-ка, быстро: почему у черных белые ладони и подошвы?

— Не думаю, что я сгораю от любопытства.

— Когда Господь обрызгивал их спреем, они стояли на четвереньках.

Он снова закатывается. Я, как могу, сдерживаюсь, но тело начинает непроизвольно сотрясаться еще до того, как разбирает смех. Он подходит ко мне, хохоча так, что глаза на лице смотрятся чуть заметными щелками.

— Значит, на четвереньках, да? — спрашиваю я. — А что нужно делать, когда тебя трахает стая белых?

— О господи, что?

— Ничего. Если не хочешь, чтобы тебя объебал сутенер.

Его рука у меня на плече — судя по всему, для опоры: он весь сотрясается от беззвучного смеха.

— Ой, погоди… Ой, погоди… А вот тебе белая байка: что общего у белых вездесуев с тампоном?

— Не знаю. Оба, что ли, кровососы?

— Нет! И он, и она к каждой манде затычка!

Теперь уже и я держу руку у него на плече, не в силах удержаться от хохота, который периодически то отступает, то снова подкатывает. Вот

уж пробило на «хи-хи», обоих сразу. В какой-то момент, не помню какой, у меня с плеча спадает на пол сумка. Мы усаживаемся в кресла, стоящие напротив друг друга.

— Пожалуйста, не уходи, — отсмеявшись, говорит он. — Я тебя очень прошу.

Джон-Джон Кей

Кухня, отстоящая по коридору на три двери, встречает меня шкворчанием и потрескиваньем. Почти по всему периметру здесь тянутся стенные шкафы из темного дерева; у одного из них дверцы открыты, являя взору разносортицу сухих завтраков — «Уитиз», «Корнфлекс», «Лайф». Во главе стола начальственно восседает мужчина, схожий по комплекции с Коричневым Костюмом; он углубленно читает газету, делая в ней красным маркером пометки. По бокам сидят двое мальчиков — один, по виду старшенький, уже с ниточкой усиков; смазливый, но с карикатурно большими ушами. Второй заставляет меня запоздало пожалеть, что отец обзывал меня «опездрухом», когда я в двенадцать пробовал отрастить волосы.

— Юкка![237] Дай еще юкки!

— Артуро! Сколько раз тебе говорила, не кричи за столом, — одергивает его мать.

Каждое из этих слов она словно выдыхает спи-

---

[237] Примечания: 237

Юкка — корнеплод, по вкусу напоминающий подслащенный картофель.

ной. Ребристый свитер придает ей сходство с символом «Мишлен»[238], но белые слаксы его нивелируют, вызывая ассоциацию с покупателями яхт, которые никак не могут от них избавиться. Волосы утянуты в тугой понитейл, отчего брови, когда она ко мне поворачивается, кажутся задранными вверх. Гризельда Бланко. Глаза темные, уже с утра с макияжем, а губы намалеваны едва ли не больше, чем у девчонки, припавшей на материну косметику.

— Ты, пипка.

— Извиняюсь, чё?

— Что значит «чё»? Я не ясно выражаюсь? Или ты тормоз?

— Ма, ну ты прооооосто отпад, — стонет старший.

— Что, guapo[239], нравится? — спрашивает она с покровительственной улыбкой.

— А то. Козе понятно, ма.

— Вот и перестань вести себя, как козел. «Ма» да «ма»… Скажи еще «ме».

Старший опять нарочито стонет, в то время как

---

[238] Примечания: 238

«Мишлен» — фирма-производитель шин с эмблемой; эмблема — человек, состоящий из нагромождения дутых кругов.

[239] Примечания: 239

Красавчик (*исп.*).

второй протягивает тарелку за добавкой.

— Ну и ты давай к завтраку, — указывает Гризельда сковородой на меня.

Я стою неподвижно, не вполне понимая, что она имеет в виду. Но тут Коричневый Костюм подталкивает меня вперед — вернее, припечатывает кулаком в спину. Старшенький смотрит на меня и отворачивается, младший задумчиво вымакивает соус, а мужик за все это время ни разу не отводит глаз от газеты.

— Достань ему тарелку, — командует Гризельда непонятно кому.

Мужик встает, без единого звука вынимает из шкафа тарелку, ставит на стол и возвращается к своей газете. Гризельда кладет на тарелку юкку, добавляет к ней чоризо из красной сковороды. Тарелка, похоже, предназначена мне.

— Мазафакер, ты ж мне бизнес похерил, — говорит Гризельда.

— Извиняюсь?

— Опять ты со своим «извиняюсь»… Ты, наверное, с ним и на горшок ходишь?

Младшенький смеется.

— Ну так какано?

— Не «какано», а «как оно», ма! Ты чё?

— Мои *muchachos* считают, что английский

у меня недостаточно хорош. Я им говорю, что я американская бизнесвумен, а значит, мне и звучать надо по-американски, верно?

— А то, ма.

— Ну вот. А вы… то есть *ты*, я ж с тобой разговариваю. Ты — херило, который мне все обгадил. Сорвал мероприятие.

— Я не хотел. Твой парень…

— Тот парень уже исторический.

— Не «исторический», а «история», ма!

— Ах да, история. Тот парень уже история. Влип в нее безвозвратно. Так всегда бывает, когда даешь работу черноте. Ни дисциплины, ничего; палят весь твой бизнес на раз. Что он тебе сказал?

— Да ничего такого. Сказал, что сейчас здесь уроют столик с козлами-иммигрантами…

— А ну полегче насчет «козлов», *putito*.

— Извини. Сказал, что они с ребятами думают сейчас мочкануть каких-то там кубинцев. Короче, намекнул, чтобы я уходил. А я сказал об этом своему корешу Пако. А тот, когда услышал, сказал, что хочет предупредить своего товарища. Я думал, кого-то из вышибал или типа того, а не…

— Хватит трепаться. Твоя история, она… неинтересная. А знаешь, что интересное? Тех *maricones*

не удавалось собрать вместе полгода. Полгода, *хонко*.

– *Хонки*[240], ма. Пиндосы, бля…

— А ну веди себя прилично за столом! — хлопает она ладонью по столешнице, и старшенький мгновенно затыкается. — Я тебе дам «бэ»!.. Ну так вот. Ты знаешь, кто я? Я американская бизнесвумен. А ты встал мне в кучу бабла, понял? Просто гору кэша. И теперь я хочу знать, как ты думаешь за это рассчитываться.

— Я?

Я в растерянности откусываю юкку. Если это моя последняя трапеза на этом свете, то логичней, чтобы это был завтрак. В эту минуту до кухни докатывается квохтанье телевизора: «*А вот вам сорокафутовая гориииллллааа!*» Мужик так и сидит, уткнувшись в газету. Интересно, что ж такого должно произойти в Майами, чтобы с таким упоением об этом читать? А юкка, кстати, вполне себе ничего. Вообще, я от нее не в восторге, но как-никак это домашняя еда, а значит, по умолчанию должна быть вкуснее фастфуда. В эту секунду мне прилетает жесткая оплеуха. Кажется, Гризельда упрекнула меня в том, что я отвлекаюсь, но от

---

[240] Примечания: 240
Хонки — уничижительное прозвище белых.

оплеухи меня буквально перемкнуло. Рука сама юркнула в пиджак, да так быстро, что я даже не вспомнил: пистолет-то у меня тю-тю. Не успело мне ожечь лицо, не успела Гризельда отвести для удара руку со сковородой, не успел я даже обложить ее «злоебучей мандой» и «помесью мохнатого эмигранта с сапожной щеткой», как до слуха донеслись металлические щелчки. Пять, десять, все пятнадцать. Не помню, каким образом на кухню стянулись Гавайки, но они тут были в сборе. И Коричневый Костюм, и мужик за столом, и старшенький — все смотрели на меня, сурово сдвинув брови поверх и уставив стволы — «магнумы», «глоки» и даже один наган с ручкой из слоновой кости. Я встал и поднял руки.

— Сядь, — коротко сказал мужик за столом.

— И усохни, — добавила Гризельда. — Всем надо помнить: маму-джаму нужно чтить.

Розовая Гавайка подал ей желтый конверт. Гризельда вскрыла его и вынула фото, взглянув на которое всплеснула руками и смешливо фыркнула. Почему-то фотка повергла ее в охрененное веселье. Она сунула ее мужику за столом, а он посмотрел на нее с такой же каменной миной, с какой читал свою газету. Фотку он перебросил мне. Бумажка пронеслась веером, а приземли-

лась четко и аккуратно прямо передо мной.

— Говорят, аллигаторы предпочитают ловить добычу самостоятельно? — живо спросила Гризельда. — Ну так в следующий раз буду скармливать им мазафакеров живыми, а не мертвыми.

На фото был Бакстер. Аллигаторы не могли определиться, что делать с его головой. «Я не заблюю, не заблюю», — повторяй это из раза в раз и сумеешь этого добиться.

— Зачем же было убирать Бакстера?

— Как зачем? В назидание. «Имеющий уши да услышит», — говорила сестра из… Как это здесь называется? Ах да, женский монастырь. О-хо-хо. Бакстер обмарался, теперь вот ты… Но у моих ребят ушки на макушке, они все смотрят, проверяют. Ходит слух, что ты провернул в Нью-Йорке работенку, которую даже фараоны сочли чистой. Я буквально рассмеялась. Многие считают, что я неопрятна. Но какими же лажовщиками должны быть парни из Майами, чтобы на их фоне даже я смотрелась аккуратисткой? Так вот, слушай, что ты должен будешь проделать для меня…

* * *

Должно быть, я на несколько часов обрубился наглухо: спал беспробудно. И даже понятия не

имел, что лежу в постели не один, пока над ухом не послышалось: «Нет, я не знаю, что должен для тебя сделать».

* * *

Надо же, сальноволосый жиголо с прошлой ночи. Вот черт, не потащил же я этого пидора к себе для того лишь, чтобы под ним вырубиться. Из того, что он все еще здесь, следует, что ему или понравилось, или же он не смог найти мой бумажник и ждет оплаты. А может, ему просто некуда податься. И что это вообще за фигня? Я на полу в одной майке, та колумбийская сука бороздит мои сны своими гребаными указаниями, и я даже не помню своего перелета из Майами в Нью-Йорк. Ну-ка, попробуем восстановить. Приземлился я, допустим, в семь вечера. Номер в «Челси» занял в девять («Зачем тебе туда?» — спросил меня Розовая Гавайка. Я не стал спрашивать, почему у него при упоминании этого отеля выпал глаз). Затем в заводском районе снял этого блядунишку в тесных шортах и майке «Рэмоунз» — кажется, он напросился на съем примерно в половине двенадцатого.

— Э-э… И что?

— Ты сказал, что хочешь, чтобы я тебе кое-что

сделал. Но если за это не доплатишь, то я уйду.

— Уйдешь? И куда же? Торговать очком на пирсе? Конечно, как же себе в этом отказать…

— Пирс? Чувак, да ты устарел. На том квадрате можно запросто провалиться сквозь настил, подхватить столбняк или еще какую хрень. Туда, к твоему сведению, никто особо и не ходит с той самой поры, как рак геев стал именоваться СПИДом. И кабинки там частично позакрывали.

— Да неужто? Тогда давай займемся вот чем. Для начала ты снимешь штаны… Да погоди ты, придержи удила. Сначала вытащи у себя из заднего кармана мой лопатник… Эй, видишь у меня в руке эту штуковину? Учти, ты и воздух испортить не успеешь, как в тебе уже будет дырка. Чего моргаешь? Я его из-под кровати достал.

— Бог ты мой, папик…

— Давай-ка без «папиков»… Вот теперь хороший мальчик. В следующий раз, тормоз, как будешь подрезать кошелек, не жди завтрака. Ну а теперь о том, что тебе предстоит сделать…

Дрыгнув в воздухе ногами, я сел и обхватил себе колени, расшеперив их цветком. Ствол оставался у меня в руке.

«Для этого ты будешь стараться на совесть, до седьмого пота».

Папки с досье я от нее, понятно, не ожидал, но сведения о ямайце были такими отрывочными, что его фигуру уже в первую минуту окутал флер таинственности. Вначале я спросил, отчего бы мне просто не доделать работу Бакстера, но эта лярва сказала, что нет, до этого, во-первых, надо дослужиться («во-первых» — это как пить дать намек, что дальше будет и «во-вторых», и «в-третьих», и бог весть сколько еще). Стало быть, существует некий ямаец, которого нужно устранить в Нью-Йорке, и сегодня как раз выпадает шанс, который бывает раз в жизни (драматический эффект ее, а не мой; о господи, ну я, блин, и вляпался). Его внешность она даже не описала, сказав лишь, что он «чернющий» и что при нем, по всей видимости, имеется пушка. Коричневый Костюм дал мне его адрес и скупо обрисовал методы. Однажды в восьмидесятом этот тип просто всплыл как ниоткуда с одним гребаным кубинцем по кличке Доктор Лав, с этого все и началось. Ни с какими кубинцами Гризельда дел не имела, если не считать попыток их поубивать, так что приказы взаимодействовать с ними и с ямайцами поступали ей, по всей видимости, из Медельинского картеля. И тут *этот*, как хрен из-за куста, начинает вести себя так, будто уже подмял под

себя весь рынок, встроив Ямайку перевалочным пунктом между Колумбией и Майами, — и это сейчас, когда проходу нет от долбаков-багамцев, путающих все карты своими потугами растыркивать свою собственную дребедень. Гризельда выяснила, что ямайцы работают еще и с картелем Кали, а это уже, извините, ни в какие ворота не лезет. Но Медельин ямайцы, видите ли, устраивали, между их цепочками было даже что-то вроде командной солидарности. Так что хочешь не хочешь, а приходилось с ними взаимодействовать — не нравится, а что скажешь. Хотя ужас как не по нутру было, как эти мерзавцы вклинились посередке, контролируя поставки из Колумбии в Штаты и тесня Гризельдиных ребят, торгующих пакетиками с крэком на улицах. Говорят, тот ямаец получил выучку в ЦРУ (врут, наверное, но все равно ухо нужно держать востро).

В общем, он в Нью-Йорке и кому-то нужно, чтобы его не стало. Кто этого хочет, Гризельда не сказала, но дала понять, что не она. «Я так, просто несу весть», — пожала она плечами. На самом деле мне по барабану — кто, кого, зачем, лишь бы деньги платили. Но странно как-то: дав инструктаж, она захотела, чтобы я остался и мы поговорили наедине. Остальных Гризельда

выставила — и снова зарядила про него. Как она слышала, что он не понимает шуток, и не знает, когда его обсирают всерьез, а когда просто для прикола; один раз он даже застрелил парня за одни лишь слова, что, мол, его толстые губы созданы для того, чтобы сосать ему хер. «Не знаю, хонко: ты как думаешь, ямайцы смеются, когда смотрят “Джефферсонов” или “Трое — это компания”?[241] Точно тебе говорю, этот тип никогда ни над чем не смеется».

В общем, кто-то захотел, чтобы он умер, причем не из-за бизнеса, потому что бизнес он как раз делал исправно. Просто это был заказ откуда-то сверху. А чем выше верхи, тем бессмысленней причина. Гризельда умолкла; нижняя губа у нее тряслась. Судя по всему, она хотела сказать еще что-то, но осеклась. Что-то точило ее изнутри; нечто, о чем ей хотелось сказать, но не моглось. Это было не в ее власти. Что за этим парнем в Нью-Йорк возвращаются какие-то призраки или духи с Ямайки. Тем, кто желает его смерти, это неважно, но у меня всего один день и одна ночь, — ну а если конкретно, то нынешний вечер. Стрелять лучше дома, когда цель можно застичь

[241] Примечания: 241

«Джефферсоны», «Трое — это компания» — длительные (1975–1985) американские комедийные телесериалы.

врасплох. Она сказала, что сегодня он, вероятно, будет дома допоздна. Не исключено, что там не протолкнуться от инфорсеров, а потому все это дело лучше осуществить на снайперский манер.

Что до меня, то я думал просто прийти, хлопнуть его и сделать ноги.

Мой жиголо заметно нервничал, поглядывая то на мой лопатник, то на подушку, под которую я сунул пистолет. Неизвестно, что у этого блядунишки на уме.

— Ну что, трахаться будем или как?

Джоси Уэйлс

Я наблюдал, как моя женщина собирает мой «Адидас», когда зазвонил телефон. К аппарату я подошел под ее хлестким взглядом: мол, я тебе тут что, упаковщица?

— Алло?

— Брат, надеюсь, ты прихватишь хотя бы пару плодов хлебного дерева, баночку шпротов и мешочек с рисом или горохом — для меня, по-свойски?

— Юби? Как там у вас дела, брат?

— Да ничего, крутимся. Пытаемся дюжить по мере сил.

— Чтобы дюжить, нужно контролировать. Чтоб работало без сбоев. Хватай и жми до полного износа.

— Вот и я о том. Как там братия?

— Нормалёк, все нормалёк.

— Я тут, понимаешь ли, решил загодя побеспокоиться. Мне известна твоя нелюбовь к самолетам. У тебя там паспорт с визой уже есть? Это ж тебе не на автобусе, сам понимаешь.

— Юби, всё тип-топ.

— Круто. Я так понимаю, Джоси, ты в Нью-Йор-

ке раньше не бывал?

— Нет, солнце, только в Майами. У бизнесмена времени на отпуска́ нет.

— Это верно. Как там миссис?

— Она была бы рада, если б ты назвал ее «миссис Черт в юбке». Уже месяц прессует меня, когда же мы обручимся, как благородные люди из предместий, и почему у нас все так приземленно-обыденно, как в гетто. Это не ты ее там подучил?

— Ха-ха, да что ты, солнце ясное. Хотя в Библии говорится: «Человек, обретший жену, обрел благую вещь».

— То есть ты мою женщину считаешь вещью?

— Я? Да бог с тобой. А вот Библия… Слова Божьего никто не отменял. Хотя она не обязывает толковать все буквально. Ты понима…

— Понимаю, Юби. Для этого мне в Колумбийский университет ходить не надо.

— А то. Хотя я здесь, в Нью-Йорке, живу уже скоро десять лет, а понимаю до сих пор еще не все. Будет очень интересно, как ты его воспримешь. Нью-Йорк, как я его себе представлял, с небоскребами и всем…

— …типа «Джефферсонов»?

— Да уж хотя бы Стиви Уандера. Вы же, ямайцы, понимаете, что братья здесь создали нечто

позамысловатей «Мастера Бластера», верно?

Всего две минуты разговора, а Юби уже дважды меня кольнул, что я невежа.

— Да уж куда нам, ямайцам… У нас тут один на той неделе спрыгнул в Нью-Йорке с морского трамвайчика — испугался, что проедет остановку.

— Ха-ха-ха, Джоси. Хорошо песочишь, вправду хорошо.

Моя женщина ожигает меня взглядом: с кем это ты там треплешься? Мое ощущение к Юби она знает, хотя сама этого парня ни разу не встречала. Особенность Юби в том, что, в отличие от других, кого взрастил Западный Кингстон, он родом не из гетто. Юби полностью сформировался прежде, чем я вообще его повстречал. У него Бронкс и Куинс слились с Медельином еще до того, как мне пришло в голову оставить Майами этой лярве Гризельде Бланко, которая все равно предпочитает иметь дело с багамцами. И он уже с семьдесят седьмого года прибрал к себе лучших из братьев Копенгагена. Забавно то, что внешне я его едва помню. Вышел он не из Балаклавы, не из Газы и не из Джунглей, а из зажиточного дома с двумя приличными машинами, и получил хорошее образование. Я это понял из того единственного

раза, что он приезжал сюда на побывку и косился на все так, будто попал в зоосад. Как он потел в своем шелковом костюме, но так и не вынимал из нагрудного кармана белоснежного платка, чтобы отереть им лицо. Здесь народ, чтобы притереться и подняться, шуршит и вертится как белка в колесе, а он вот другой. В общем, не знаю. На его месте и с его бэкграундом я бы во все то, чем занимаюсь, впаиваться вообще бы не стал. Из всех моих знакомых Юби единственный, кто в этой игре по доброй воле и даже по желанию. Более того, для него она примерно то же, что для некоторых ребят погоня за свежими пизденками, для кого установка менять их чаще и по восходящей. Человек с крупными амбициями при мелких ставках. И в то же время этот человек, находясь в шаге от того, чтобы подмять под себя весь город, находится в плену нелепых суеверий. Вы думаете, для чего он с таким благолепием носит тот белый платок — для красоты? Да нет же. Никто в Америке и не догадывается, что это знак его страха перед Обейей, которой он боится больше, чем праведники дьявола.

— Ну так, Юби. Ты просто ужас как соскучился по моему голосу, даром что скоро меня увидишь, или ты что-то хочешь мне пробросить?

— Уау, Джоси, а ты сметлив. Тебе об этом никто не говорил?

— Моя мамаша.

— Ха. Я действительно тебе звоню насчет кое-чего. Тут вопрос в… Кстати, брат, как только скажешь, что это не мое дело, я тут же затыкаюсь и обо всем помалкиваю.

— Так что за тема, брат?

— Я тут пробовал обсудить этот вопрос с твоим Ревуном, но не смог его застать и…

— Что за дело?

— Так Ревун тебе не перезванивал? Я-то думал, ты мне скажешь, что оно уже устаканилось… Тут суть вот в чем. Когда по полной занимаешься Бронксом и слышишь что-то о бизнесе в Бруклине, то сразу думаешь: «Это не моего ума дело, это епархия Ревуна». Но, как я сказал, я набрал его по домашнему — ты мне сам когда-то дал номер, — а он чего-то не взял трубку. Он что, сменил номер?

— В чем суть вопроса?

Юби сделал паузу. Понятное дело, он меня не боится, поэтому чувствуется, что не ерзает. Не торопится, тянет время. Хочет, чтобы я понял: у него есть что-то, нужное мне, хотя я сам об этом не догадываюсь.

— Видишь ли, когда случай происходит единичный, то и бог с ним, он мало что значит. Иногда бывает, крекеры[242] скачут из района в район, ища, где бы надыбать дозняк, так? То есть дело житейское. Но когда их припирается шестеро, да еще из Бруклина в Бронкс, это значит: что-то такое случилось.

— Ты хочешь сказать, к тебе сегодня приходило шесть клиентов из Бруклина? Может, они просто не знают, куда им пойти там, у себя?

— Джоси, извини, ты не с дуба рухнул? Когда крекеру нужно вставиться, он, поверь мне, в лепешку расшибется, но придет куда надо. И место это будет в пределах досягаемости, иначе оно нерентабельно. Шаговая доступность — ключ к успеху, брат мой; извини, что говорю тебе вещи, которые ты сам знаешь назубок. Так вот, мой человек припирает одного из тех долболобов к стенке и спрашивает, чего ради он забрался в Куинс, а тот отвечает, что с Бушвиком[243] дел больше не имеет.

— Что там случилось в Бушвике?

— А там разве не твой Ревун заправляет?

---

[242] Примечания: 242
Зд.: потребители фрибейса или крэка.

[243] Примечания: 243
Бушвик — район на севере Бруклина.

— Что случилось в Бушвике, бро?

— Тот человек сказал, что двое дилеров вдруг задрали цену вдвое против обычного. Такие вот дела. Я знаю, как и ты, что мы здесь выстраиваем работу на доверии и всегда высматриваем новую клиентуру, но что-то я не помню, чтобы ты говорил об увеличении цены, поэтому меня и удивил тот ее взлет в Бруклине. Это же нелогично. И наоборот, скакотне из района в район мы препятствуем именно тем, что держим цены примерно на одной планке. Так?

— Хм-м.

— И еще одно, милый мой юноша. Я тут обнаружил, что пара твоих дилеров *употребляет*. За Майами говорить не буду, но здесь это всегда очень-очень вредит бизнесу. Один из тех крекеров рассказал, что не мог найти твоего дилера и потому пошел на «точку» в расчете, что там ему кто-нибудь даст дозу. Заходит, и что видит? Там оба дилера уже лучатся в кайфе. Оба двое! Это же уму непостижимо! Два дилера залипают на «точке», в то время как снаружи из желания заполучить дозу чешется очередь из клиентов. И как, кроме того, можно доверять обсаженному осуществлять бизнес-транзакцию? А может, они по обсадке вообще спалят твой запас? Джоси, аллё!

— Да, я слышу.

— Брат мой, я говорю все как есть. То есть как вижу. Когда клиент рыщет из района в чужое расположение, чтобы раздобыть два или три пакетика, это уже проблема. Вот у меня, скажем, в Бронксе все ходят по струнке с тех еще пор, как я всего лишь приторговывал «травкой». Ну а с семьдесят девятого я отладил механизм, как в настоящей бизнес-структуре, лучше любого магазина, потому что знаю еще с тех дней, когда дьявол ходил в коротких штанишках, что не будет никакого роста, если все не отлажено на корневой базе. Терпеть не могу расхлябанности. И уж тем более от своих братьев. Знаешь, что я сказал человеку, который в последний раз допустил лажу? Я ему сказал: «Даю тебе выбор. Выбирай, какого глаза ты готов лишиться, правого или левого». Если у твоей машины неисправен руль, она рано или поздно воткнется, и тогда кирдык будет всем. И то же, что относится к Бронксу, у меня распространяется на Куинс.

Мне все еще не верится, что он только что назвал меня «юношей».

— Так кто их нанял, ты или Ревун? Я в том смысле, что Ревун должен был это предвидеть и по-быстрому исправить, но, опять же, Ревун… Ты

же должен знать, что делает твоя правая рука.

— Да.

— Опять же, от себя скажу: когда у меня последний раз зам начал употреблять, я его просто кокнул. Шлеп, и всё. Потому что тут дело такое: кокаин — это тебе не крэк. Те, кто на коксе, они по большей части стильные, а если и нет, то по крайней мере с деньгами. Так что вести себя с ними приходится по-светски. А крэк что? Тот, кто на нем сидит, ради кайфа на все готов: хоть за щеку взять, хоть сердце у своего младенца вырезать. Но нельзя же, Джоси, допустить, чтобы такой факер торговал твоей хренью? Нет, юноша мой. Никак. Надо бы вам с Ревуном это повторно обсудить, тебе не кажется?

— Повторно зачем?

— Ну.

Н-да. Как я уже говорил, Ревуна знать надо. Но нужно хотя бы проверить, что происходит на твоей делянке в Бушвике. Я на каждую разборку прихожу с иглой и стволом. Чтоб или прибить, или усыпить, чтоб мудак не мучился. В общем, надо будет навести порядок и в Бед-Стае[244], и в Бушвике, и везде, где придется. Понадобится

---

[244] Примечания: 244

Бед-Стай (Бедфорд — Стайвесант) — район на севере Бруклина.

больше рабочей силы, но все равно я…

— Юби, я тебе уже говорил: участки у меня поделены. Работай там, где ты сейчас. Жди, я по прибытии свяжусь с тобой.

— А?.. Да, конечно. Жду звонка.

Я вешаю трубку. Моя женщина по-прежнему на меня смотрит. Я набираю Ревуна, но у него сплошные длинные гудки. Я чувствую, как она на меня смотрит, потому как знает: меня разбирает ярость. Уже, можно сказать, слышу, как она говорит: «Да брось ты, тем более перед родными своими детьми, не хватало еще».

Смотрю на нее и говорю:

— Да все нормально, не смотри ты так.

Ревун

— Трубку брать будешь?

— Нет.

— Ты ж должен кого-то встречать в аэропорту?

— Я тебе разве об этом говорил? Да это позже, к вечеру.

— Тогда хотя бы отключи звонок. Эта штука, она…

— Да знаю я, где этот долбаный звонок. А где, кстати, ключ?

— Не знаю, наверное, где-то на этой кровати.

— И где же?

— Откуда мне знать. Может, ты на нем лежишь. Или под подушкой, ты ее тоже подмял… А знаешь что? Перевернись. Да ничего, у меня не опустится. И не знаю, что такого плохого в слюне? Вы, ямайцы, от нее будто шарахаетесь.

— Что за ремарка? Получается, что ты плюешь на человека, а это неуважение.

— Да всего лишь влага. Вода. Как если б ты плюнул мне на задницу и подлизал.

— О боже! Ни за что.

— Из-за того, что это задница или слюна? Ты ж понимаешь, что если лижешь задницу, то все

равно слизываешь свою слюну.

— Как так, слизывать обратно свои слюни? Фу! Как только они покидают рот, то обратно в него попадать уже не должны.

— Ха-ха. Переворачивайся.

— Что?

— Что слышал. Переворачивайся.

— А мне так лучше нравится. Глубже проникаешь.

— Можно подумать. Ты просто не хочешь на меня смотреть.

В комнате день в разгаре. Я переворачиваюсь. Постель слишком мягкая, я в ней утопаю, а он наверху вдавливает меня в простыни. Вставляет, вводит. Журит, что я «закомплексованный», хотя и с улыбкой, но я все равно не понимаю, о чем он. Смотрит на меня без отрыва. Сегодня вторник, день с желтоватым оттенком. Он по-прежнему смотрит на меня. У меня что, растрескались губы? Или косят глаза? Он думает, что я отведу взгляд первым, но я не отвожу, даже не моргаю.

— Ты красивый.

— Ой, да брось ты.

— Нет, правда, не так уж и многим мужчинам идут очки.

— Да хватит тебе. Мужчина не должен говорить

мужчине всякую…

— …пидорскую чушь? Ты это уже седьмой раз повторяешь. Клянусь, тебе бы полюбились пуэрториканцы. Они тоже не считают сосание хера и еблю в задницу гомосексуализмом. Только если трахают тебя, то ты пидор.

— Ты называешь своего брата пидором?

— Да ну, ты чё. Ты же любишь и в женскую щель потыкаться.

— Ох, обожаю.

— Мужик, так мы трахаемся, или я из нас двоих Гарри Хэмлин, а ты Майкл Онткин?[245]

— Ты о чем, язви тебя?

— Знаешь, сколько раз за эти два года я слушал подобные разговорчики? Меня они уже притомили, как и всякие там защеканцы. Особенно из вас, черных. Займусь-ка я лучше вот чем…

Я умолкаю в ожидании. А он уже насасывает мне правый сосок и переключается на левый, жестче, будто собираясь его оторвать. Я уже собираюсь сказать «какого черта, больно», но он принимается его лизать. Мелькает языком

---

[245] Примечания: 245

Гарри Хэмлин — американский актер, наиболее известный благодаря роли в сериале «Закон Лос-Анджелеса»; в 1987 г. назван «Самым сексуальным мужчиной года» (журнал «Пипл»). Майкл Онткин — канадский актер; наиболее известен по роли в знаменитом американском телесериале «Твин Пикс».

и облизывает. Я крупно содрогаюсь. Хочу взмолиться, чтобы он полизал еще и правый, чтобы меня перестало так пробивать. У себя на соске я ощущаю кружок теплой слюны, который он струйкой воздуха обдувает до сухой прохлады. Хватит делать из меня женщину. Порево — ладно, а вот обдувание соска — это уже лишнее.

— Да оставь ты его в покое, факер. А то, не ровен час, подавишься.

— Что?

— Нельзя одновременно ублажать партнера и тащиться от себя, так что выбери что-нибудь одно. Наверное, мне лучше уйти, а ты меня позовешь, когда определишься.

— Нет. Правда нет.

И припадает к моему рту, прежде чем я успеваю сказать «не лезь с поцелуями». Посасывает мне язык, водит губами по губам, языком по языку, трепетно касается его и вынуждает отвечать на это тем же. Заставляет ощущать себя гомосеком.

— Ты посмотри, хихикаешь, как игривая школьница. Может, для тебя еще есть какая-то надежда…

Губа поверх губы, губа с подворотом и полизыванием рта, язык на языке, под ним, губы посасывают мой язык; я приоткрываю один глаз

и вижу, что его глаза плотно зажмурены. Затем стон, он исходит непонятно от кого, из него или из меня. Я протягиваю ладони и сжимаю ему соски, но не сильно, все еще не зная истинной разницы между жаром и болью. Но он все равно стонет и ведет языком мне вниз по груди, к соскам, а мой пупок оставляет влажноватый след, который ощущается холодком, несмотря на то что язык у партнера теплый. Нью-Йорк, шпионишь ли ты за мной за этим занятием? Если шпионю я, то в чем суть такого шпионства? «П.Е.Д.И.К.» — проглядывает через угольное ушко. Это окно на пятом этаже, но нет уверенности, скрыты ли мы от глаз снаружи. Для мойщика окон, голубя или лазальщика по стене расстояние преодолимое, хотя кто будет карабкаться сюда по стене? Нас не видит никто, кроме неба. А вот «Эйр Ямайка», пролетая мимо, даст Джоси возможность меня углядеть. Обязательно. Партнер щекочет мне языком пупок, а я обхватываю ему ладонями голову. На секунду он поднимает глаза и лукаво улыбается, а его тонкие, мягкие каштановые волосы струятся сквозь мои пальцы. «Тонкие, мягкие, каштановые» — все это эпитеты сугубо для описания волос белого человека. «Возвращайся, факер», — хочу сказать я, ведь я вот он, здесь, но в

эту секунду он заглатывает мой член, и слова так и остаются невысказанными. Он бормочет что-то насчет крайней плоти, отодвигает ее, смотрит на головку и ныряет на нее сверху всем ртом, отчего я вздрагиваю. «*Что, необрезанные, ощущаете, а?*» Он лижет, засасывает вначале лишь головку члена, а затем заглатывает его весь, пока не стукается ртом о выступ моего лобка. Взад-вперед, движениями коитуса, и я чувствую его губы, его язык, влажное жаркое тепло и вакуум всасывания — туда, назад, туда, назад, туда, назад — и невольно впиваюсь партнеру в плечо всякий раз, когда он отодвигает мою крайнюю плоть. Видно, как белое плавно скользит по черному — вниз-вверх, вверх-вниз, — после чего извивом снова вверх, с мельканием розового языка. На третий раз я сжимаю ему оба плеча и неистово сдавливаю. Он наконец останавливает эту сладостную экзекуцию. Но затем хватает меня за лодыжки, подталкивает мою задницу кверху и делает коитальное проникновение языком. Я гоню от себя мысль, что мне это не очень-то и нравится, как будто что-то жаркое смачивает мне задний проход. Он оставляет мои ноги поднятыми в воздух, скатывается с кровати и подхватывает презерватив. Я все еще не могу обо-

значить разницу между латексом и кожей и не понимаю смысла использования изделия. Знаю, что нахожусь в пяти этажах от земли, но вдруг кто-то пройдет сейчас мимо окна и увидит мои задранные ноги? Это в самом деле сейчас произойдет, снова. Я все еще не трахаюсь настолько часто, чтобы не предвкушать этого момента. Не насыщаюсь настолько, чтобы забывать, что в комнате есть еще один стоячий хер, кроме моего. И мне просто хочется схватить его, стиснуть и потянуть, а затем, может, и отсосать. И вот его пальцы втирают мне в задницу смазку, а я снова гоню от себя мысли о трахании в тюрьме, хотя, гоня их от себя, я думаю именно о трахании в тюрьме, а он как следует втирает мне смазку и трахает вначале пальцем, доставая до одного укромного местечка, от которого я подскакиваю, и неудивительно, что нечто подобное при досягании заветной «точки джи» ощущают женщины, потому что трахать женщин, трахать в манду, это одно, и совсем иное жахать пидора, по крайней мере здесь, сию минуту, в пяти этажах от земли. И ну на хер все эти прибросы, что означает белый сверху, потому что я не думаю о белом сверху до тех пор, пока не думаю, что это Америка, а если я думаю как ниггер, то это означает что-то вроде

того, что белый наверху, но наверх могу влезть и я, хотя он при этом по-прежнему будет на мне скакать. Как хорошо, что у меня нет необходимости в эрекции…

Опять звонит телефон.

— Ты меня хоть в какой-то момент впустишь в себя, милый?

— Что?.. Ой!

— Чего ты такой скованный? Вся эта лабуда насчет раскрепощенности ямайцев все больше превращается для меня в миф. Говорю как на духу.

— Я не скован.

— Милок, с таким же успехом я мог бы свисать с потолка, запихивая тебе в попу свой большой палец.

— Ха-ха.

— Ага. Значит, фокус в том, чтобы ты у меня смеялся. Или трахать тебя в темноте. Тогда бы у тебя, может, не было проблемы.

— Почему-то во всех фильмах герои трахаются исключительно в темноте. Даже в сериалах.

— В какой, интересно, миг до тебя доперло, что не все мужики в Америке похожи на Бобби

Юинга?[246]

— А мне темнота нравится.

— Умоляю, Бэтмен, смени пластинку.

— Это ты смени, а не я.

— Знаешь, единственное существо, которое увидит тебя из этого окна, — это Супермен. Верить в него или нет — дело твое. А я схожу отолью — и сразу назад.

Вынужден шлепнуть себя ладонью по губам, чтобы не сказать «поспеши». Меня по-прежнему свербит нелепая мысль, что сейчас через подоконник покажутся лоб и глаза Джоси Уэйлса, на манер картинки «Здесь был Килрой»[247]. И знаете что? Я скажу ему: «Это Америка, блин, поэтому делаю что хочу, и положить на то, что ты мне скажешь; как говорят американцы, “kiss my ass”[248]. В Нижнем Ист-Сайде все схвачено, и в Бед-Стае я тоже рулю, и не надо звать никакого идиота Юби, а если он не будет смотреть в оба, то я скоро подомну под себя и Бронкс. В сущности, не нужен

---

[246] Примечания: 246

Бобби Юинг — вымышленный персонаж длительного американского телесериала «Даллас».

[247] Примечания: 247

«Здесь был Килрой» — рисунок-граффити, популярный в англоязычных странах с начала 1940-х по конец 1950-х гг.

[248] Примечания: 248

Поцелуй меня в задницу (*англ.*).

мне этот Бронкс с его гребаными темнокожими, у меня есть белые люди на Манхэттене, с которых я беру тройную цену. Так что когда самолет Джоси наконец приземлится, то пусть он увидит, что Ревун заправляет Нью-Йорком, и всё, что нужно делать, делается мастерски благодаря мне, так что оставь меня в покое и не лезь ко мне в дом, не смотри под одеяло, а уж если залез, то ничего не говори. Что еще человеку, язви тебя, надо?

Дела идут туго, только и всего. Всегда со скрипом.

Партнер выходит из санузла со стоячим, загнутым влево хером, уже в резине. Кожа у белого под цвет плавок. А вокруг хера огнистая курчавость. Интересно, будет ли он нежен; если да, то я буду чувствовать себя педиком. По-другому не бывает ни в «Шахте», ни в «Орлином гнезде», ни в «Шипе», ни в «Новом театре Давида», ни в «Театре Адониса», ни в «Западном мире», ни в «Бижу 82», ни в «Драгоценном камне», ни в «Книжной лавке на Кристофер-Стрит», ни в «Логове Джея», ни в «Клубе адского пламени», ни в «Лез оммс», ни в «Книжном магазине на Энн-Стрит», ни в «Шомполе», ни в «Бэдлэнде», ни в «Прогулке», ни у бизнесмена, идущего домой к своей жене, ни у байкера, ни у патлатого хипповатого студента, ни

у *guapo, muchacho* или *mariconcito*, ни у церковного хориста, ни у клоуна с аршинной надписью на джинсах, ни у мужика, которого другой мужик называет «голубком», ни у седовласого джентльмена, выгуливающего собаку, ни у человека без особых примет с обычного рода занятиями и ничем больше. Кто-то подходит сзади, когда я спускаю шорты, кто-то меня снимает, если дома у него есть «белая женка» (хотя никто в Америке понятия не имеет, что такое «белая женка», и поэтому я говорю «лимон» или «йейо», «порошок бурундучка» или просто «кокс»). Дилер может втихую курковать себе нычку. Дома или в парке я спускаю шорты и жду, когда они вздрогнут при эякуляции, а иногда они ждут, чтобы первым кончил я, и сдрачивают спущёнку мне на задницу. Но все равно при этом пежат меня, как мужик мужика. А когда вот так, по-нежному, в постели, то возникает ощущение, что мы два педика. И разговариваем, как педики. Ну так что? Значит, мы, наверное, ими и являемся.

— Ты там так и будешь весь день стоять дрочиться? — спрашиваю я.

В эту секунду звонит телефон. Он смотрит на него, затем на меня и видит, что я на него не смотрю. Думает что-то сказать, но не говорит.

Телефон все звонит. Я жду, когда он перестанет, забираюсь на кровать, и он поднимает мне лодыжки. Звонки обрываются, и он задирает мне обе ноги. Я жду, не начнется ли снова трезвон, потому что, если что-нибудь важное, мне перезвонят. Он умащивает мне дырку смазкой. Телефон молчит. Он смазывает себе хер. Телефон молчит. Я все жду, что тот вот-вот зазвонит, и, хотя он молчит, хихикаю, как шаловливая девчонка. Он улыбается, смотрит прямо на меня и вставляет мне на всю длину, не быстро и не медленно, но уверенно и не останавливаясь, и секундная боль вскоре проходит, когда он умещает в меня весь свой загиб кривизны. Поехали.

Не успеваю я сходить отлить, как телефон оживает снова.

— Алло?

Черт. Трубку беру не я, а он.

— Алло? Секундочку… Кажется, тебя.

Через пять секунд я у аппарата:

— Аллё?

— Что там за херь?

— Что? Ты о чем?

— Что там у тебя за херь? Там у тебя что, даппи берет трубку?

— Нет, Юби.

— Тогда кто?

— Это мой бро зашел… зашел за… Хочешь, я тебе музычку поставлю? Фила Коллинза?

— И он снимает трубку с твоего рабочего телефона?

— Да погоди ты, Юби. Никто ее не снимает. Просто я отлучился в туалет, выхожу и вижу, он ее уже взял. Ну так что там у тебя? Что стряслось?

— Не гундось со мной на пиндосовский манер.

— Ну а ты не разговаривай со мной, как с сынком. Что, спрашиваю, стряслось?

— Да вот стряслось, блин. Третий раз тебя уже набираю.

— Ну вот, я у аппарата.

— Мне есть что сообщить.

— Ну так что именно, ёшь твою медь?

— Короче, планы поменялись. Джоси встречаю я, а не ты, и…

— Ну нах. О перемене планов Джоси мне сказал бы.

— Тогда милости прошу в аэропорт, увидишь, как я его там встречаю. В любом месте веселее вместе, я всегда так говорю. И еще. Джоси не хочет ехать в Ист-Виллидж, а хочет посмотреть, как дела идут в Бушвике.

— Бушвик? Чего это вдруг Бушвик, ни с того

ни с сего?

— Ты думаешь, мое имя Экстрасенс? Если у тебя проблема с Джоси, то с ним ее и обсуждай.

— Я хотел для начала сводить его в «Мисс Куини». Лучшая ямайская еда во всем Нью-Йорке. Прямо в бруклинском Флэтбуше.

— Ревун, Джоси Уэйлс похож на того, кто улетает с Ямайки затем лишь, чтобы променять настоящую ямайскую кухню на подделку? Ты идиот или прикидываешься?

— Ты с кем так разговариваешь…

— Прибытие в девять тридцать. Увидимся в Бушвике.

Доркас Палмер

Может, кто-то знает побольше моего, но лично я не знаю случая, чтобы мужчина произносил фразу «это я так, из праздного любопытства», не имея при этом какого-то добавочного подтекста. «*Ты живешь одна? Это я так, из праздного любопытства*». Да, то было началом одной сказочной ночки. Понятно, я идиотка, что потянула его к себе домой в тот же вечер. Почему? Потому что увязываться за мужиком в том шумном ямайском клубе только из-за того, что он не похож на ямайца; виснуть на нем и давать на парковке повод для продолжения; не идти к нему домой, потому что «настоящие гулящие так не поступают» (слова директрисы школы «Непорочное зачатие»), — как еще можно такую кретинку назвать? В общем, я привела его к себе домой, а у него, как только мы переступили порог, тут же выросло еще семь рук — одна обвилась мне вокруг шеи, другая полезла в трусы и облапила мое «верблюжье копытце» — он, очевидно, полагал, что клитор у женщин потарчивает вперед, как хренок. Примечательно, что пиво пахнет зазывно только в баре. Я сказала, что передумала, на что

он без лишних слов схватил меня за горло и стал душить. Я схватила его за руки, на что хватка его лишь окрепла, и он задушевно пропел: «Нам же, я думаю, проблемки не нужны?» Я ответила в том духе, что просто хочу пойти в спальню и переодеться во что-нибудь поудобнее. Прямо как в кино.

«Тогда скажи, где у тебя тут бар, я себе плесну».

«У тебя на это не будет времени, любёночек».

И вот я пошла в ванную и отыскала там кое-что, внушающее мне большую отраду и комфорт. Помнится, в поисках этой штуковины я в свое время спустилась до самого конца Ган-Хилл. Хозяин магазина внимательно так поглядел на меня и спросил, что я собираюсь этим косить. В это время тот ухажер расположился на одном из кухонных стульев, которые у меня стояли в гостиной. Не беда, в паре кварталов есть магазинчик с такими же. Что поделать, сопутствующий ущерб. Он сейчас нагибался, стягивая с себя последнее из одежды — нелепого вида носки. Мачете свистнуло сквозь воздух с такой легкостью, что я даже удивилась, шутя прорубило рейку спинки и вонзилось в сиденье. Ухажер подпрыгнул, хотя и недостаточно быстро — думал, наверное, что с ним шутят. Поступил он, как обычно поступают

мужики: стал, хохоча, подступать, полагая, что я струхну. Но испугал его до усрачки не сам удар, а то, с какой искусной легкостью я выдернула мачете и взмахнула им снова, как матерая дублерша в фильмах Брюса Ли. «Девушкам положено иметь хобби», — говорила мне мать. Я снова вжикнула мачете — теперь перед его физиономией — и завопила: «А ну брысь, бомбоклат, из моего дома!» Он, типа, «ты давай полегче», а я: «На-силу-ют! А ну прочь, прочь отсюда!» И вжик, вжик перед самой его мордой, причем один раз так, будто нечаянно промахнулась и разбила свою дорогую вазу — хотя цена ей грош, а грохнула я ее потому лишь, чтобы показать: эта сука, обезумев, не остановится ни перед чем. Теперь он пятится, но все еще жутко медленно. «Могу я хоть одежду забрать?» А я все ору и напираю, и размахиваю мачете, все равно что в джунглях. Ну, он тогда подбежал к двери и выскочил на лестницу, бежит и орет что-то насчет двинутой гребаной суки. Уж не знаю, о ком это он. Была ли я тогда в большей степени ямайкой, а теперь просто какая-нибудь рядовая американская лахудра. И…

— Да ладно, не рассказывай. Мне знать необязательно.

— Знать *что*?

— Клянусь, у моего кузена Ларри с его Альцгеймером объем внимания шире, чем у тебя.

— Ой, извините.

— Извинить не могу. Придется мне по такому случаю рассказать тебе анекдот.

— О боже, мистер Кен, опять о ниггерах?

— О нет, о них больше не проси. Я хотел об Альцгеймере. Забавно: когда люди с большим А шутят о людях с большим Б, как будто отвлекаясь от мысли о своем недуге, они делают эту болезнь чуток симпатичней.

— А вы — большое А или большое Б? Или П, или Д? У меня, например, вся родня на Ямайке может похвастаться большим Д.

— Это чем же?

— Диабетом.

— А П в таком случае — Паркинсон? Иногда мне хочется, чтоб у меня лучше уж была б какая-нибудь средневековая хворь, вроде чахотки или кровавого поноса.

— А у вас что?

— Не будем обращать это в главный кинопоказ недели, ладно? А то у меня сложится ощущение, будто я живу в телевизоре своей доченьки. Вообще, всей этой картине надо меньше походить на

«Имитацию жизни»[249], а больше на «Путешествия Гулливера».

Он выходит в прихожую и возвращается с шапочкой и шарфом.

— Идем.

— Что? Куда? К лилипутам? Скоро же пиццу должны привезти.

— Ой, эту гадость я на дух не переношу. Они просто оставляют ее у порога и снимают стоимость с нашего счета. Давай махнем отсюда на волю, мне здесь так осточертело.

Честно говоря, мне бы тоже хотелось выйти. Вся эта меблировка эпохи рабства, изготовленная считаные годы назад, действовала мне на нервы. Где-то в этом доме мисс Колтхерст наверняка держит все номера «Виктории». А еще, наверное, «Красную книжку» на случай, если ей захочется самой сделать сахарную глазурь.

— Куда ж пойдем?

— Да черт его знает. Может, ты сводишь меня на обед в Бронксе. Тогда я буду знать, что ты читала Свифта.

— Ямайские школьницы знакомятся с «Гулливером» к двенадцати годам.

---

[249] Примечания: 249

«Имитация жизни» (1959) — фильм, признанный одной из вершин классической голливудской мелодрамы.

— Ого… Какой же сюрприз одна из них раскроет в предстоящие сорок минут? Пытливые умы хотят знать. Идем.

Насчет Бронкса он не шутил. Не знаю, почему я ничего не сказала, когда мы не сговариваясь выскочили из такси на подъезде к Юнион-сквер, спустились в метро и прыгнули на 5-й маршрут, направляясь прямиком туда, откуда приехали. Сели мы на трехместное сиденье у двери. Чтобы не ловить на себе взглядов, я старалась не поднимать глаз. Граффити с каждой станцией становилось все гуще. До 96-й улицы в вагоне находились преимущественно белые — старики и женщины, которые никуда не торопились, а также школьники, без спешки едущие домой. Между 110-й и 125-й число белых убавилось, зато прибавилось латиносов и темнокожих. К 145-й в вагоне остались почти одни черные. Все эти этносы не могли сдержать соблазна оглядеть нас. Я уже жалела, что не оделась сиделкой, а мой спутник так похож на Лайла Ваггонера. Черные мужчины, вероятно, прибрасывали, что этот старикан ничего себе, раз может позволить себе темнокожую гетеру. Или, наоборот, недоумевали, что сподвигло его ехать в такую даль к путане. Что еще хуже, ближе к 180-й улице вагон начал

освобождаться и стало почти пусто. Случись что, и вступиться некому.

— Ты где-то здесь живешь?

— Нет.

— Я просто так спросил.

— А вы знаете, что ехать на этом поезде в такое место и в такое время дня небезопасно?

— В пять-то вечера? Ты о чем?

— Не просто пять, а пять вечера *в Бронксе*.

— Ну и?..

— У вас телевизор дома есть?

— В этом мире, Доркас, люди сами решают, чего им страшиться.

— Люди, что живут на Парк-авеню, сами решают, настроены ли они сегодня чего-то бояться. Ну а у нас, остальных, есть предписание: в Бронкс после пяти не ездить.

— Так чего ж мы едем?

— Я не еду. Это *вы* едете. А я просто сопровождаю.

— Ха. А кто мне сказал о курице джерк на Бостон-роуд? А я тебе сказал, что ямайской кухни не ел с семьдесят третьего года.

— Получается, что у каждого белого должно

быть свое ощущение «Сердца тьмы»[250].

— Не знаю, что производит на меня большее впечатление, — то, что ты так начитанна, или то, что чем больше мы отдаляемся от Пятой авеню, тем смелее становится твой тон.

— И что из этого следует, мистер Кен? Что вы так безупречны в своем английском? Или что американцы не читают в старших классах книг? Что до тона, то поскольку мой найм оказался ошибкой, можете быть уверены, что с завтрашнего дня вы не увидите ни меня, ни кого-либо еще из агентства.

— А вот это было бы ошибкой чудовищных размеров, — пробурчал он не мне, а кому-то или чему-то за окном. Я украдкой оглядела вагон на предмет того, слушает ли кто-нибудь наш диалог.

— Мне кажется, я знаю, что вами движет, — сказала я.

— Вот как? Поделись, сделай одолжение.

— Чем бы вы там ни страдали, оно определенно вызывает у вас подспудное желание умереть. Поэтому вы больше не видите причины чего-либо бояться и считаете, что можете делать все, что

---

[250] Примечания: 250

«Сердце тьмы» (1902) — приключенческая повесть английского писателя Дж. Конрада.

захотите.

— Может быть. Или, может, ненаглядный мой Фрейд, я просто хочу свинины джерк, язви ее, и ромового пунша. Так что не надо меня грузить своей дешевой попсовой психологией. Об этом ты не подумала?

На нас покосились двое мужчин.

— Извини, — вздохнул он. — Я просто столько уже наслушался этой дрянцы от своего сына и его женушки… Мне она не нужна, и особенно от того, кому я плачу.

На нас подняли глаза еще трое мужчин и две женщины.

— Что ж, спасибо за повод, который вы сейчас подкинули этим людям, — сказала я. — Они сейчас все подумали, что я проститутка.

— Что-о? О чем ты?

— Вас все слышали.

— Да ну! Да не может быть!

И тут он встает. Я открываю пошире свою сумку, прибрасывая, получится ли нырнуть в нее головой.

— Гм! Люди, минутку внимания. Я… э-э… знаю, что вы могли ненароком подумать.

— Вы что, серьезно? Сядьте, прошу вас. Они ни о чем не думают.

— Я просто хочу, чтобы вы слышали: эта вот Доркас, она моя жена, а не какая-нибудь там проститутка. Я знаю, что мысленно я исходил криком. Не знаю, заметно ли это на публике, но внутри себя я просто орал. Так вот… сколько лет, милая, мы с тобой уже женаты? Четыре года? И я всем хочу сказать: у меня ощущение, что у нас все еще длится первый день нашей совместной жизни, настолько она прекрасна. Все слышали?

Сложно сказать, пытается ли он так неуклюже вступиться за мою репутацию или эта клоунада в самом деле доставляет ему удовольствие. Я тем временем всматриваюсь в людей, изо всех сил стараясь на них не смотреть. Какая-то пожилая женщина прикрывает рот, чтобы не рассмеяться. Я тоже хочу засмеяться — просто показать, что я в этой игре не при делах, — но смех не идет. Забавно то, что я на этого человека даже не злюсь. А он держится за поручень, раскачиваясь вместе с поездом, словно в ритме танца. Поезд останавливается на «Моррис-парк».

— Нам выходить.

— Как? Это же «Моррис-парк». Я думал, мы сходим на «Ган-Хилл-роуд»?

— Нет, нужно здесь.

Я выскакиваю, как только открываются двери,

не дожидаясь своего спутника. Даже не оглядываюсь. Хоть бы он там остался и ехал к чертям на «Ган-Хилл-роуд», вообще куда захочет. Но вот сзади слышится его учащенное дыхание.

— Вот это повеселились.

— По-вашему, вводить людей в замешательство — это весело?

Я стою на платформе в ожидании извинений (кажется, так положено, такие сцены я видела в кино).

— Тебе, пожалуй, не мешало бы задуматься, отчего тебя так легко вогнать в смущение.

— Чё?

— Мне так нравится, когда ты говоришь на ямайский лад.

— Вы серьезно?

— Черт возьми, Доркас. В поезде ты не знаешь ровным счетом никого и больше никого из них ни разу не увидишь. А если и увидишь, то не вспомнишь, как они выглядят, так что кому какое дело, что они там подумали? Боже ты мой, терпеть не могу, когда я в помещении не единственный глас разума.

— Теперь нам ждать следующего поезда.

— Да ну его. Пойдем пешком.

— Вы, пешком? По Бронксу?

— А что? Запросто.

— А вы в курсе, что в Хаффен-парк что ни день, то находят мертвое тело?

— Ты хочешь напугать ветерана трупами?

— Одно дело смотреть «Женщину-полицейского», а другое — видеть настоящую преступность.

— «Женщину-полицейского»? Ты когда последний раз включала телик?

— По Бронксу пешком нам ходить нельзя.

— Не волнуйся, Доркас. В худшем случае пусть просто подумают, что ты помогаешь мне раздобыть «герыча».

— Как-как? Вы только что упомянули героин?

Просто фантастика: иммигрантка с сомнительными документами разгуливает по Бронксу со странным пожилым белым явно не от мира сего — опившимся, должно быть, эликсира «*я белый, мне море по колено*».

— Так вы что, даже со своей семьей не думаете созваниваться?

— Да ну их. Тоже мне, нашла семью… Морщинки, что появятся у моей невестки после недавнего лифтинга, будут самым отрадным для меня призом.

Тристан Филипс

То есть ты можешь воротиться на Ямайку, как только того захочешь? Даже так? Ну-ну. Ты похож на пьяницу, который говорит, что ему бросить пить нет ничто, стоит только захотеть. Так вот имей в виду, Алекс Пирс, Ямайка может прорасти в твоих жилах и стать самой сладостной вещью, как и любой темный соблазн, который не сулит тебе ничего хорошего… Ну да ладно, хорош изъясняться загадками. Скажу одно: если б ты не знал, где искать Тристана Филипса, ты бы его ни за что не нашел. Да-да, я вот вижу, тебя волнует то, как у нас загнулся мирный процесс, поэтому скажи-ка мне вот что: а как ты планируешь узнать о нем хоть что-то, если не был в стране с семьдесят восьмого года? Удивляюсь, что ты хотя бы что-то о нем слышал, ведь ты сроду не оказывался в щекотливом положении, когда все это происходило. Так ты будешь составлять разговор с Люси?.. Брат, ты несерьезный человек. Люси — это ключ. Мы с ней единственные из Совета замирения, которые все еще живы. Тебе придется поискать ее по Ямайке, друг мой. Ты никогда не задумывался, почему мы двое все еще живы,

когда все остальные мертвы? Конечно же нет, до этого самого момента ты думал, что выжил только один… Хотя, как ты помнишь, на бумаге я тоже значусь мертвым. Всех поубивали, и в зависимости от того, с кем говорить, это относится и к Певцу. Скажи-ка мне вот что: ты когда-нибудь слышал, чтобы кто-нибудь заразился раком?

Все не могу понять одного: чего эта тема так тебя цепляет? Ты ее муссируешь, как в той комедии — «День, когда Ямайка отправилась к чертям», — ну была и сплыла. Кстати, а какое у тебя на Ямайке любимое место? Тренчтаун? Это каким же человеком надо быть, чтобы обозначить Тренчтаун как свое самое любимое место? Тебе повезло, ты белый. А вот позволь тебя спросить: ты думаешь, для самих жителей Тренчтауна он, этот самый Тренчтаун, любимое место? Думаешь, кто-нибудь из них сидит у себя на крылечке и говорит: «О-о, вот это жизнь!» Смешной вы народ, туристы. Хотя ты не турист. Не рассказывай мне: настоящую Ямайку ты знаешь. У тебя, кажись, и зазноба там была? Аиша. Приятное имечко, его как бы выдыхаешь, когда брызгаешь спущёнку. Она была твоей девушкой или так, за щечку у тебя брала? Ха-ха-ха, да не журись, белый парень, я-то как раз человек мира. Пускай даже он третий. Сколько

у нас сегодня еще времени? Хоть сколько? Это в «Рикерсе»? Брат, это какие ж ты струны тянешь? Ну да ладно, давай-ка обратно к теме.

Пока мне о Джоси Уэйлсе не рассказал Певец, у меня о том парне и мнения особого не было. Но потом всякое разное стало происходить, и тут уж начинаешь просматривать знаки, хотя в Бога веруешь разве что по воскресеньям, когда в церковь ходишь. Я думаю, если б Джоси реально думал убить Певца, он бы с этой работой управился назавтра за один вечерок. Значит, на уме у него было что-то иное. Вот так заявиться через два года, как ни в чем не бывало, прямехонько к Певцу во двор? Тут, брат, знаешь какие яйца нужны? Тут яйца о-го-го какие нужны. Так что у такого на пути не стой. Теперь-то легко говорить, что мир был обречен на срыв, потому как нутро у людей гетто состоит из войны. Да, смысл в этом есть, но нужно понимать и другое: ты знаешь, каково оно, когда надежда так нова и свежа, что даже имеет цвет? Как ты держишь нечто в самой глубине ума, потому как случиться ему никогда не суждено, и вдруг видишь, что оно реально может сбыться? Это как все равно что выяснить, что ты умеешь наяву летать. Из-под коровы никто из нас не родился — или, если выражаться вашими

словами, наивных дурачков среди нас нет. И не было. Мы все понимали, что это замирение долго не продержится, — девяносто процентов говорило за то. Но вот остальные десять… остальные десять казались такими сладкими, какие только бывают в жизни. Их оставалось только урвать, как птицу счастья. И когда Шотта Шериф сказал мне, что я должен возглавить тот самый Совет замирения, это он все равно что впервые на меня поглядел и впервые разглядел нечто иное, такое, чего даже я сам в себе не видел. Я… я… Чего-то я снова потерялся.

И вдруг бац — Медяк застрелен, Папа Ло застрелен. Вначале я подумал, что это полиция сводит счеты, пока мы не начеку. Или того хуже: партии, которым мир и так-то никогда не был нужен, избавляются от него в преддверии следующих выборов. Но о разуме полиции мы уже говорили. Да и политиканы не захотели бы, чтоб наружу всплыла их вина в срыве мира.

Тут нужно смотреть глубже. Фараоны убивали лихих людей из-за вендетты. Но какая им с того выгода, кроме как поплясать вокруг трупа на улицах даунтауна? Тут думать надо. Кто сейчас в положении более выигрышном, чем до всех этих убийств? Только один человек. Джоси, бом-

боклат, Уэйлс.

Со смертью Папы Ло он становится верховным доном Копенгагена. Со смертью Шотта Шерифа разваливаются нью-йоркские банды ННП, включая мою собственную. Между тем в Нью-Йорке все, кого ни ткни, нюхают, курят и ширяются, а колумбийцам нужны люди с опытом, которые могут переправлять это дерьмо дальше, в Штаты. А теперь, я слыхал, и в Англию. Убери с дороги договор о замирении, окажи кое-кому из политиков такую ценную услугу, так они ж тебе всю жизнь будут ее отрабатывать. Ликвидируй движение растаманов, и у американцев больше не будет опасений, что мы превратимся в еще одну Кубу. Точно знать не могу, но готов побиться об заклад, что и кое-кто наверху — в береговой охране, службе иммиграции, таможне или еще где — охотно закрывает глаза на ту или иную лодку, самолет или корабль, а все из-за того, что один человек в восьмидесятом году поднес им на блюде Ямайку. Брат, если б я знал, почему люди вроде меня оказываются в тюрьме, люди вроде меня в тюрьме не оказывались бы. Вот и начни свою книжку с этого абзаца — назови его тюремной мудростью или как-нибудь еще; уж что вы там, белые, пишете, когда попадаете к черным уголовникам…

Я ведь тоже, Алекс Пирс, книжки почитываю, да еще поболе твоего. Получается, люди вроде меня тебя волнуют? Усади белого журналиста с его собственным Стаггером Ли[251], и мозг полыхнет не знаю как. Это потому, что у тебя нет своей, собственной истории? Верно, она не про тебя, ты здесь для того, чтобы ее рассказать, но сам ты не история. И все же какая-то часть во мне говорит, что это история твоя, а не моя. Тебя интересует еще какой-нибудь год, кроме семьдесят восьмого? Как насчет восемьдесят первого? Много ведь чего произошло: Певец познакомился с местом под названием «небеса», я познакомился с местом слегка другим, под названием «Аттика»… Что, ты думаешь, человека отправляют в «Рикерс» из-за того, что поглядели ту книжонку? Надо б тебе, бро, пройти школу «Рикерса» от звонка до звонка.

Я хотя и знаю, что тот жопник Ревун за мной никогда не придет, это не значит, что за мной не попробует прийти Джоси Уэйлс. Ты, кстати, никогда не встречал этого деятеля? Нет? Ну ты даешь: рассказывать о мирном процессе и при этом ни разу не повстречать… Ладно, не будем. Что на

[251] Примечания: 251

Стаггер Ли — прототип фигуры афро-американского бандита; образ жестокого убийцы в американском городском фольклоре и музыке.

уме у этого человека, я не знал, поэтому начал кучковаться с «Иерархией донов». Всё просто: «Шторм-группа», над которой Джоси Уэйлс, — это Копенгаген, а «Иерархия донов» — это Восемь Проулков. Ну, а коли я с Восемью Проулками с того самого дня, как снесли Балаклаву, куда я еще мог пойти? Нет, солнце, политические войны со сменой поля боя не заканчиваются. Я был вынужден примкнуть из соображений безопасности, им же нужны были мозги: их недоумкам даже не хватало ума отслеживать, кто торгует на какой улице, а где тебя может подстрелить Юби со своей бандой.

Нет проблем, бро, меняй свою кассету.

Хотя попробуй назови так «Шторм-группу» при Юби или даже Джоси Уэйлсе. Ради одного человека, которого нужно завалить, они готовы смести целый ряд зрителей в кинозале; но в них, по крайней мере, есть какая-то стильность. Во всяком случае, она есть в Юби. Или он просто умеет носить шелк и не выглядеть при этом сутенером… Но моя бригада? Вот уж одарил Господь: сплошная срань, ниггер на ниггере. Однажды у нас был случай: до шефа дошло, что один крендель из Джемдауна, обосновавшийся в Филадельфии, получил крупную партейку «травы», но, хотя

сам он относился к Копенгагену, крыши «Шторм-группы» над собой не имел: думал по дурости, что она ему не нужна. И вот шеф посылает нас к нему в Филадельфию.

Тот крендель был настолько не готов к визиту, что мы просто вошли к нему в дом: он даже дверь не запер. А вел себя совсем не как делец, закурковавший крупную партейку. Помнится, я сказал «Иерархии донов», что если эта нычка для Юби, то не миновать еще одной войны как минимум в одном из пяти районов. Но доны пребывали в уверенности, что этот крендель ни к кому не привязан, а просто шел, запнулся и упал на тюк «травы». В общем, завидев нас, за стволом крендель побежал наверх, поскольку при себе ствола у него не оказалось. Дурак конченый. Я втихую спросил себя: «Это что еще за опездрух?» Даже усомнился, в тот ли дом направили меня доны, уж очень бестолково вел себя этот парень, как будто ничего ценного у него в доме и нет. А долболоб, что был со мной, сказал, что он это, может, спецом так себя ведет: мол, нету у меня ничего, я чист, идите себе с богом. Вынужден признать: в этом действительно была логика. Тогда мы этого кренделя связываем и начинаем потихоньку поколачивать и внушать: «Лучше говори,

где нычка. Все равно найдем, а тебе только хуже будет». Не успели мы сказать, насколько будет хуже, как тот долболоб хрясь его пистолетной рукояткой прямо по рту. «Эй, ты чего?» — спрашиваю я долболоба, а он в ответ только лыбится, как идиот. «Как он нам расскажет, тормоз, если ты его хреначишь как раз по тому месту, из которого ему говорить?» — выговариваю я ему, и он затыкается, но вначале меряет меня тупым взглядом, будто я его испугаюсь.

Если б она не завопила, мы б и не узнали, что у этого типа есть жена. Она пыталась убежать, но с младенцем на руках далеко не убежишь. Мы силком усадили ее на стул, и вот я держу ее младенца, потому что тот долболоб хотел просто кинуть его на холодный пол. Я еще трижды спрашивал того кренделя, где у него нычка с «травой», и он трижды отвечал, что ее у него нет. Понятно, что врал. Да и кто б на его месте сказал правду? После этого ставки пока не поднимались. А надо сказать, что все это время долболоб поглядывал на его жену и хватался себе за ширинку. Вот он ногой поднял ей юбку и увидал зеленые трусы. «Зеленые? — спросил он. — А почему не розовые?» Я уже подустал и от этого дома, и от кренделя, и от его жены, и от заснувшего у меня

на руках чада, но еще больше от долболоба. И тут тот говорит: «Эй, малый, постой пока здесь, а я эту манду по-быстрому вздрючу, понял?» Не успел я что-то сказать, как он уже скинул штаны и сквозь трусы стал обжимать свой хер. «Ты не из тех пиндосовских сук, что сосут? Только как будешь сосать, не вздумай сделать, чтобы я кончил раньше, чем тебе вставлю. Смотри у меня, без фокусов».

— Сильничать ты ее не будешь, — говорю я долболобу.

— А ты чё, меня остановишь, что ли? А?

Говорит так, будто бросает мне перчатку. А я думаю: «Блин, этот долболоб хочет изнасиловать бедную девку прямо перед ее собственным ребенком, а я ничего и поделать не могу, потому как все, от машины до отеля, записано на имя долболоба». И вот он ей тычет в морду, а она вскрикивает.

— Что ты, бомбоклат, вытворяешь?

— Ничего. Учу эту суку, что молчание — золото. — Он снимает с себя трусы и говорит: — А ну расшеперивай ноги и открывай дырку, а то я сам тебя расстелю.

Та ревет и смотрит то на меня, то на младенца.

— Бро, одень обратно штаны.

— Пошел нах. Одену, когда хер обвиснет.

— Ты что, думаешь бабу сильничать прямо перед ее мужем?

— Пусть смотрит и учится, как с бабой нужно обходиться.

— Бро, еще раз говорю: сильничать нельзя.

Тут он целит ствол в меня.

— Заткнись, — говорит.

Она спрашивает, есть ли у него с собой гондоны, а он отвечает:

— Гондоны задуманы, чтобы изводить на корню черных. Да к тому же с резиной ощущение не то.

Я смотрю, как он пинком раздвигает ей ноги, а крендель смотрит на меня, а я — на младенца. «Они в подвале за полкой, — говорит он, — но только у меня всего пять мешков». Кажется, после этого добавляет еще и «пожалуйста». Тут его жена ойкает, потому что долболоб сжал ей груди. Затем он пихнул ее на пол.

— Бро…

— Пшел нах, я сказал.

— Ты идиот? Берем «траву» и уходим. Полицию он вызвать не сможет. Но если ты ее отделаешь, то фараоны нас нагонят, не успеем мы даже выехать за пределы штата.

— Тогда мы их прикончим.

Вот так и говорит. Вообще-то мне ничего не

стоит перестрелять целый бордель, но я не могу хладнокровно убить оступившуюся семью, решившую по недомыслию заняться наркотой.

— Дурень, ты сколько раз сидел?

— Кого ты дурнем назвал?

— Еще раз спрашиваю: сколько раз в тюряге сидел, бомбоклат?

— Один, и обратно туда не собираюсь.

— А вот сядешь, если тебя возьмут за изнасилование. А если убьешь ее, то сядешь за убийство. Ты, наверное, не обратил внимания, но из нас двоих только один в перчатках, и это, бомбоклат, не ты.

Он смотрит на меня так, будто я завел его в ловушку, но винить в тупости ему приходится только себя. Особенно учитывая, как он всю поездку топырился, как дон из донов.

— В общем, давай натягивай штаны и марш за «травой».

Он спускается в подвал и возвращается с мешками, каждый размером с котомку, но их только четыре. На этот раз я сам луплю того кренделя рукояткой ствола. И говорю ему:

— Будешь мне врать — уйду из этой комнаты и оставлю этого мавра делать с твоей женой все, что он захочет.

Этот опездрух ударяется в слезы — не знал, видно, во что вляпался. Если жена после этого останется с ним, то любовь, как видно, не просто слепа, а еще глуха, нема и тупа. Он выдает, что еще один мешок лежит в спальне. Долболоб находит его под кроватью, а еще — три ствола, которые, безусловно, думает оставить себе. Мне все равно; я даже не говорю ему, что эти стволы элементарно отследить. Кроме того, что-то мне внушает: в полицию эта пара обращаться не будет. Тяжелый случай, правда? Но по крайней мере, когда Джоси Уэйлс говорит, что в доме пять мешков, то поверь мне, их там именно пять. Как он узнал? Потому что это он. А вот «Иерархия донов» и из открытой двери нычку толком не может вытащить… Знаешь, что я замечаю, Алекс Пирс? Что всякий раз, как я упоминаю имя Джоси Уэйлса, ты подскакиваешь. Несильно, но заметно. Нервный тик, наверно? У Сеаги тоже был нервный тик. Ты подскакиваешь. И думается мне, потому ты ко мне и пришел. Все, кому нужно знать, знают, что одно время Джоси Уэйлс хотел, чтобы я умер, но теперь он за мной явно не ходит. А вот какая цена была назначена за твою голову — это большой вопрос.

Ревун

— Еще раз говорю: я подловила ту блядву за попыткой отсосать у моего мальчугана писю за его карманные деньги. Вон она, та блядешка, скётся у подворотни. Я, по-твоему, что, совсем слепая? Ему ж всего двенадцать!.. Эти вонючие пробляди таскают свои кошелки по всей округе. Суются везде, проходу нет. Ты мне что говорил? Что не будешь их сюда пускать, что у тебя бизнес почти легальный и всякое такое. Поцелуйте, мол, мою черную задницу. А еще…

Бушвик. Давно уже стемнело, но жара в этом районе не спадает никогда. Баба стоит прямо передо мной, я чувствую, как от нее пованивает чесноком. Без помады, но в тенях, смоляные кудри влажноваты. Живот, как булка, нависает над джинсами. Мы стоим посреди улицы.

— Так чего ж ты мне не сказал, что сделал из той квартиры «точку»? — говорит она, указывая на изникающую скорым шагом шлюху, прикупившую крэк. — Ты меня уже притомил. Эти дома, между прочим, принадлежат не тебе, а городу.

Живет она не в этом корпусе, а через улицу, в той вон цепочке отдельно стоящих кирпич-

ных домов, что придают Бушвику сходство с Бронксом. У железной ограды перед домом трое темнокожих мальчишек и девчонка чинят велосипед; ограда защищает не газон, а только бетон. На другой стороне дороги пять домов, и все обнесены заборами. Мы стоим перед моим домом, где «точка» находится на третьем этаже. Улицу с некоторых пор регулярно патрулирует полицейская машина, поэтому добро приходится держать внутри, выдавая дилерам пакетики лишь на краткосрочную продажу — столько, чтобы полиция, если что, не подняла бучу. Лучше так, по крайней мере, можно контролировать процесс. Корпус подремонтировал муниципалитет и запустил сюда бездомных; вместе с ними въехали и мы. Изначально задача была договориться со старшим по дому: если он молчит, то получает кропалёк на лапу. Ну а если пробует раскрыть рот, я напоминаю, что если полиция накроет «точку», то кирдык настанет в том числе и ему. В Бруклине от меня кормится целая стая старших по домам; все хотят, чтобы им чего-то отломилось. Ну а Бушвик — просто кусок дерьма. По Ист-Виллидж у меня вообще не возникает проблем, и только Бушвик мне постоянно что-нибудь подкидывает, и каждый раз что-нибудь

новое. Пока по всей длине улицы я не замечаю ни одного споттера[252] или курьера-бегунка.

В двух обшарпанных домах отсюда на поребрике сидит темнокожий паренек-споттер, а рядом с ним буцкает бумбокс, что-то насчет «фриков, гуляющих в ночи». Паренек сидит, притопывая своими пока еще новыми, незамызганными кроссовками. На прошлой неделе у него, кстати, еще не было ни кроссовок, ни бумбокса. Он не замечает, как я подхожу и останавливаюсь прямо перед ним.

— Валите нах, сучьё, заебли! — буркает он, не поднимая кучерявой головы. — Я не при делах.

На что я говорю:

— Ты кверху глянь, шибзденыш.

Паренек вскакивает, как чертик из табакерки, и истово пучит глаза:

— Да, сэр! Да, сэр!

— Ты чё, в армии, что ли?

— Нет, сэр!

— Как обстановка?

Он тупит голову, как будто боясь, что услышанное мне не понравится.

— Бро, твое дело сообщать мне обстановку.

---

[252] Примечания: 252
Споттер (*зд.*) — наводчик.

Посыльных я не стреляю. Ну так что там с бизнесом?

Парнишка по-прежнему смотрит в землю, но что-то мямлит.

— Чего?

— Гм, да ничего. Ничего вокруг такого, уже несколько дней.

— Херово. Это что же получается: все крекеры очухались и разом пересели на героин? Так и рынок может пересохнуть, а этого допустить нельзя.

— Э-э…

— Что «э»?

— Да я уж замаялся посылать народ куда надо, а они приходят обратно и говорят: чё за лажа? Там, дескать, в том проулке никого с товаром нет. Ну, я-то новичков с деньгами за милю срисовываю. Когда надо, сам подхожу и заговариваю по-братски: «Хой, тут в Бушвике все еще не отлажено. Я ж вижу, чего вы ищете, а у нас тут как раз всего на любой вкус». Они кивают, начинают что-то буровить, а я им тоже киваю — на проулок возле межи.

— Ты сам-то знаешь, где у нас межа?

— А кто ж ее, мля, не знает… Короче, с тобой чё-то не хотят иметь дела. Обычно ты отправляешь

двух-трех бегунков с фасованным товаром, и те его продают. Но вот уже четыре дня как народ сюда приходит со словами, что у нас тут какая-то хрень: никаких бегунков вдоль улицы. Да и дилеров чего-то не видать. Твоего охранщика так это притомило, что он ушел и нашел себе настоящую работу во Флэтбуше.

— А куда бегунки делись?

— Откуда ж я знаю… Только вот что-то не бегают. И дилеры твои больше не крутятся.

— А с ними-то что за хрень?

— Ты б взял да и проверил на «точке».

Я смотрю на этого пацана: ишь ты, разыгрывает из себя крутого. То ли вмазать ему разá рукояткой пистолета, то ли, наоборот, повысить… Ёшь твою медь, сюда ж через четыре часа нагрянет Джоси!

— И еще: коль уж покупатели не срисовываются, я тут срисовал еще кое-что. Пару дней назад тут начал какой-то сраный «Понтиак» разъезжать, и мне показалось, что ниггеры в нем, как пить дать, из «Иерархии донов». Уже вынюхивают насчет этого места, знают, что с охраной тут слабовато.

— Зрение у тебя, щегол, гляжу, развито не по годам…

— Как платят, так и зырю.

Я смотрю на этого парнишку и уже прибра-

сываю, как он мне до прибытия Джоси наладит обстановку в Бушвике. Я даже не заметил, как за мной увязалась та чертова бабень.

— Сначала та проблядь припирается к самым моим воротам, задирает свою юбку без трусов и говорит моему младшенькому, что за два бакса даст ему взломать мохнажку. Хорошо, что я в это время находилась у окна и слышала ту возню. Но не успела я опомниться, как сюда притаскиваются еще трое нариков, решив, что здесь торгуют крэком, — это у меня-то дома! А все потому, что торгуют в этом же корпусе.

Дом с моей «точкой». Межа. Самый слабо охраняемый секрет во всем Нью-Йорке. «Краснокирпичники» под цвет ямайской красной глины, каждая комната с двумя окнами. Посредине пожарная лестница. Крыльцо с тремя ступенями под небольшим куполом входа, с претензией на шик, хотя единственно богатые люди, обитавшие за все время в Бушвике, занимались варкой пива. Мы с Омаром стоим здесь уже минут десять, но, кроме этой вот бабы через улицу, что сейчас меня костерит, снаружи никого — ни дилеров, ни охранщика. И прав паренек: никаких тебе бегунков, вообще нигде.

— Омар, сходи проверь внутри. Проверь, те двое

бомбоклатов вообще там или нет.

— Понял.

Прежде чем пойти, Омар озирается. Привычка. А затем идет мимо приткнувшейся на крыльце прошманды к двери в подъезд, толкает ее и заходит. Черт, надо было сказать ему, чтобы вынул на всякий случай ствол, но теперь-то уж что… На отдалении у проезжей части стоит «Додж» на четырех бакулках: колеса хозяева ему на ночь снимают. Ребятня, что чинила велик, скрылась к станции метро лексингтонской ветки. Бабень продолжает вопить, что ей накласть, что какой-то там ниггер делает свой бизнес — дело есть дело — и что какой-нибудь тупой негрила или нарколыга решает палить свои деньги на эту дрянь, это тоже его дело, но никто не смеет ей указывать, что у нее на дому наркопритон. И какой вообще дебил обустраивает «точку» рядом с тем местом, где идет продажа крэка? Я хотел было отправить ее на все шесть направлений, потому как нарик, стоит ему раздобыть снадобье, стремится употребить его тут же, поэтому надежное место, где можно обсадиться, должно находиться поблизости, и там же можно прикупить еще, то есть двойной доход. Плюс уже не нужно переживать, что полиция застукает тебя с дозой в кармане:

выкусите, она уже во мне. Хотя кто она такая, эта лярва, чтобы я с ней объяснялся, как со своей школьной директрисой?

Омар, показавшись из двери, мотает головой, и до меня только тут доходит, что паренек прав и межа действительно брошена, а дилеры залипают на «точке». В двух кварталах к западу угол Гейт и Сентрал[253]. Единственные два здания во всем квартале, которые никто не поджег или которые по случайности не сгорели сами. В Бушвике, пожалуй, нет ни одного квартала, улицы или дома, который люди не спалили бы дотла для получения страховки, потому как продать нынче жилье здесь — нечто из области фантастики. Сейчас мы на углу Гейт и Сентрал. «Точка» с крэком.

— Ты — как все твои долбаные братья-ямайцы, — костерит меня баба. — Хотя нет, ты не такой. Ты не можешь распоряжаться даже своим собственным дерьмом. Хотя ты даже не дерьмо, а вообще невесть что. Тебе лучше нанять меня управляться со всей твоей хренью, потому что тебе даже куриц стеречь нельзя доверить: проворонишь…

От моей полновесной резкой оплеухи она,

[253] Примечания: 253

Гейт — квартал моста Хелл-Гейт, соединяющий районы Куинс и Бронкс; Сентрал — квартал Сентрал-Парк-Уэст, или Восьмая авеню.

поперхнувшись собственной руганью, отшатывается, а затем открывает рот, чтобы продолжить, но под моей зуботычиной, вякнув, захлопывает рот, ничего не успев выкрикнуть. Я хватаю ее за щеки и стискиваю, пока она не начинает крякать, как утка.

— Слушай сюда, лахудра жирная, ты мне уже все уши прожужжала хуже комара. Тебе что, каждую неделю не перепадают бабки? Так чего ты, бля, хочешь: бабла или смерти? А?.. Ага. Я так и понял. А теперь дуй с глаз моих, пока я твое брюхо как боксерскую грушу не использовал, поняла?

Она подхватывается и бежит. А я вместе с Омаром и парнишкой шагаю к «точке». Кто-то для прикола пришпилил на входе табличку, «Не влезай — убьет». Все проясняется достаточно быстро. Один из моих дилеров валяется на матрасе прямо в прихожей, чуть левее от двери. Судя по всему, он только что принял дозняк, да так, что трубка едва не валится у него из пальцев, но он на автопилоте ее держит. Бессмысленные глаза полузакрыты.

— Ах ты, сучара… Запас из общака тыришь?

— Чёёёё? А, брааат? Вмазаться пришел? Ну на, мля. Мне ж не жалко, бро, я с тобой поделюсь.

— Гаденыш, а кто межу стеречь будет, пока ты здесь залипаешь?

— М-межу?

— Межу, межу. Стеречь место, беречь товар. Фасовать запас, раздавать его бегунам. Где они, кстати?

— Хто?

— Бегуны.

— Бегуны, бе-гу-ны… А чё… Так ты вмазываться буешь, или я нычку себе забираю?

Он осоловело поводит на меня глазами и кивает, будто я с ним согласился.

— Ты хоть понял, дурила, что тут учудил? — спрашиваю я. — Мне теперь искать нового бегуна, нового дилера, даже нового охранщика. А времени остается всего четыре часа, и все из-за того, что мой гребаный дилер заделался юзером.

— Ди-лер ю-зе-ром, — лепечет он сонно, пытаясь повторить.

Я даже не прохожу в помещение. Тут голову в комнату засовывает та самая прошманда, что пыталась отсосать у пацана, заглядывает с таким видом, будто этого дилера знает. Или меня. Я машу ей стволом, и она не шарахается, а просто оглядывает меня снизу вверх и скрывается в потемках. Омар стоит снаружи под окном. Муниципалитет заколотил их щитами, но нарики щиты снова отодрали. Из мебели в комнате един-

ственно матрас с дилером и хилая лампочка.

— А где твой напарник? — спрашиваю я.

— Хто?

— Так. Вставай давай, пока я тебя не ляпнул прямо тут.

Он смотрит на меня. Глаза остекленелые, но слегка проясняются, или же он впервые вглядывается в меня внимательно.

— Будут тут мне еще всякие пидоры указывать гнойные.

Не сводя с него глаз, я поднимаю ствол и делаю ему дырку во лбу. Он откидывается на матрасе. Я хватаю его за ногу и подволакиваю к окну. Снова появляется та шалава, норовя нагнуться и вынуть у него трубку. Я навожу ствол на нее:

— Секунда, и тебя нет. Пристрелю нах, коза.

Она поворачивается и уходит так же неспешно, как и зашла. Я усаживаю труп, складываю его руки на коленях, а голову нагибаю так, будто он задрушлял или сидит в чумовом кайфе. Из кармана у него выпадают два пакетика с коксом. Пакетики, трубку и зажигалку я перекладываю к себе.

Снаружи меня ждет Омар.

— Омар, отыщи второго дилера. И приведи мне того споттера. Давай по-быстрому.

Джон-Джон Кей

Ох, блин, скорей бы оно кончилось. Или чтоб я хотя бы никогда не встречал той кубинской сучки. Не натыкался сдуру на Бакстера. Не заявлялся в тот гребаный клуб. А лучше, чтобы тот долбаный Пако вообще не подстегнул меня изначально лететь в Майами. Потому что тогда я шастал бы себе по Чикаго, ища того кренделя, который, держу пари, не скучал по мне ни единой минуты. «*Эгей, дорогуша, извини, но я снова здесь… Ой, а я и не заметил, что ты отлучался; ты попперс*[254] *с собой, случаем, не прихватил?*»

Всего делов, правда? Но, правда, ломовей любого кайфа. Как такое вообще могло случиться? Все из-за того, что тебе когда-то кто-то взнадобился — *тебе*, а не *ты* кому-то? То был единственный, судьбоносный раз. Тот единственный раз, когда…

— Пупик, ты мне «зелёнки» подкинешь? И на такси бы денежек не мешало, чтоб я уплыл обратно в свой рабочий район…

---

[254] Примечания: 254

Попперс — наркотические вещества из группы алкилнитритов, потребляются путем вдыхания.

Я дал ему пятнадцать баксов. Чувак взглянул на меня с холодным презрением, после чего сунул себе кэш в левый передний карман. Штаны он натягивал с яростным нашептываньем: «Пидор дешманский». Еще с год назад я б за такие слова втер ему в пятак без разговоров. Он бы шатнулся и запутался в собственных штанах. И приземлился бы жестко, попутно грянувшись головой о тот вон столик. А я б его, еще квелого, сгреб в кучу, подтащил к пожарному выходу и шурнул кубарем по лестнице — звонкой, металлической. Знай, гондон, «пидора дешманского». Я тебе покажу, кто из нас пидор и кто дешман. А потом бы еще затащил его обратно для повтора процедурки, но только после того, как он зассыт себе штаники. Однако с той поры я подостыл и позволил ему уйти с миром.

Об инфорсинге не написано книг, а если б такая книга была, то я бы значился в ней фигурой номер один в главе под названием «Как облажаться». Льдисто-прохладный — нет, холодный как лед, весь из себя на лоске и чуточку двинутый… Это не про меня. Я — простая чикагская отвязь с тонкой кожей и взрывным темпераментом, киллер по совместительству, умудрившийся вляпаться туда, куда влезать не было ну никакой нужды.

Помню, что был крупный угон и топорно сделанная работа в западной части города, но что было посередине, в голове будто дымовая завеса. Эх, Роки, Роки… До него мне даже не было нужды запоминать телефонные номера. И все равно я держу на него зуб. Этот сучий сын, язви его, наверняка был дома, но просто клал на звонки.

День клонится к вечеру. Я знаю это потому, что полчаса назад, когда я вовсю занимался сами знаете чем, мне позвонила Гризельда и сказала «chico, уже вечереет» (звонок она совмещала с нотациями сыну, чтобы тот гасил уже свой гребаный телик и шел есть тамале[255]).

Ямаец. Гризельдовские шестерки насчет адреса не ошиблись. С минуту я в этом сомневался, в основном потому, что Флэтбуш был мне совершенно незнаком. А те Гавайки — действительно форменные лузеры. Итак, восточная оконечность 18-й улицы, квартира 4106, четвертый этаж краснокирпичной шестиэтажки без лифта. Студия окнами к востоку, на восход солнца. Дома тот ямайский перец или нет, она оставила выяснять мне. Добрый старый Нью-Йорк — вся улица из одних шестиэтажек без лифтов, и так на все два

---

[255] Примечания: 255
Тамале — острое блюдо мексиканской кухни.

квартала. Хотя над входом синий навес: понт дороже денег. Можно подумать, я до самых сумерек буду маячить тут на бордюре — ясное дело, ухоженный белый парень здесь абсолютно незаметен. Судя по этим домам, черных в Нью-Йорке воплощением эстетизма назвать нельзя. Тоже мне, эстетствующий пидор.

Вполне себе ухоженный белый парень с блондинистым ежиком и в камуфляжной куртке. С собой я чуть было не прихватил кофр, где лежал «узи». Кофр мне выдал Розовая Гавайка — несомненно потому, что так киллеры орудуют в Майами. Он же взял на себя труд объяснить мне мою задачу. Установка была использовать «узи», а затем бросить его, в стиле мафиози. Но поскольку убрать мне предстояло всего одного человека, а не этническую группу, я предпочел обойтись своей «девяткой». «Девяточка», а к ней «АМТ»[256]: девочке нужен мальчик, для резерва. Эх, скорей бы уж эта гей-бодяга с покушением кончилась; как-то оно все идет не так, и с каждой минутой моего пребывания в этой выгребной яме это чувствуется все острее. «АМТ, *muchacho*, — это если тебе понадобится подойти ближе», — пояс-

[256] Примечания: 256
АМТ — копия пистолета «Кольт М1911» из нержавеющей стали.

нил Розовая Гавайка. А почему, кстати, розовая? «Гей-радар», что ли? Всё может быть: останься я еще на ночку в Майами, то, глядишь, этот же *pendejo*[257] еще и впендюрил бы мне по самые гланды. Там, в отеле, увидев «узи», я спросил: «Это кого же я должен грохнуть — Кеннеди, что ли?» Ну а теперь что? Теперь остается только ждать.

Чикаго. Он ведь сидел дома, тот перчик, верно? Сидел, забившись в углу квартиры, и не отвечал на звонки; паренек, который терпеть не мог кроватей. Должно быть, ежился там, как какая-нибудь пичуга в уголке папашина логова, пытаясь представить, как он этого самого папашу укокошит, совершит поступок, так сказать, *pro bono*[258]. Понятно, что вышло тогда несколько потопорному. Грубо, дерзко; а я ни во что особо не вдавался, действовал на автомате. И глупо как-то. А ведь меня кто только не предупреждал, ставя мне на вид мою якобы запальчивость и то, как мне коротит мозги. Годами предостерегали. Даже папашка мой, который считал, что для драки у меня кулачки мелковаты.

Или взять тот второй приварок на Саутсайде,

---

[257] Примечания: 257
Мудак (*исп.*).

[258] Примечания: 258
Ради общественного блага (*лат.*).

когда я устранял счетовода банды; угол 48-й и 8-й. Тоже все шло, мягко говоря, не как задумано. Этот поц оказался такой горой сала, что пули в его жировых глыбах просто застревали, а он, это чудище, сидел и хохотал. Я даже не сразу сообразил (ох, как он меня крыл — и «тушканчиком», и «цуциком», и «киской мяучей»), что шмалять надо в голову. Но даже после того, как пуля шваркнула ему прямиком в левый глаз и вынесла затылок, обдав спинку кровати и стену кровавой кашей, он так и продолжал гоготать.

Я стрелял и стрелял, придвигаясь шаг за шагом, пока на плечах у него не остался лишь обрубок шеи с жидкими кудряшками. Но его хохот преследовал меня по всей Восьмой улице: я все бежал и не мог от него оторваться. А когда прискочил к себе на квартиру, меня бил колючий озноб вперемешку со смехом, который словно вскипал у меня под кожей. Роки притронулся ко мне, а я схватил его и порывисто прижал к стене. А затем отпустил и дал ему раздеть меня, как ребенка, отнести в ванную и поглаживать мне голову, пока ванна наполнялась теплой водой. «Тихо, бэби, я легонько», — повторял он всю ночь. Что выламывало: когда меня прет, «легонько» — это последнее, чего мне хочется.

И вот я стою и роняю кал во Флэтбуше. Дурь неимоверная, а все из-за того гребаного педрилы, который ко мне приклеился; просто-таки навязался парню, который убивает людей, а рано или поздно посчитается и с тем, с кого все началось и который толкнул этого парня на скользкую, блин, дорожку. Так что глумитесь до поры. А уж я, как придет время, проделаю пулей дыру в этом гребаном мире козлов и извращенцев, тех, кто подлавливал меня за подглядыванием на ребят в душе, а в спортзале сдергивал с меня полотенце, открывая всем на обозрение мой стояк.

Ладно, хватит. Если продолжать в таком духе, можно не справиться с задачей, а это исключено. И остается ждать, когда снова отзвонится Гризельда. Или покажется один из Гаваек (она наверняка подослала одного отследить, как я выполню задание, а затем зачистить следы — то есть меня). Возможно, это будет Розовая Гавайка (он, похоже, знает здесь наперечет все клубы), который, может статься, отпустит меня, если я у него отсосу. Даже плохой минет заставляет мужика прижмуриться в надежде, что дальше будет лучше. Ну, а мне нужна всего секунда, чтобы выхватить у него ствол и жахнуть в башку через подбородок, так, чтобы кровища брызнула в по-

толок. Иногда я жалею, что бросил Чайна-таун: сидел бы себе там да обчищал-угонял машины…

В десятке футов отсюда телефонная будка.

— Алло?

— Роки? Где тебя черти носят? Ты, блин, специально трубку не берешь?

— Джон-Джон?

— Я тебя набирал. И не раз.

— Да? Мне вообще-то спать пора.

— Ну, конечно. Уработался, блин, за день…

— Ну не совсем чтобы. Раздумывал, какую карточку послать на днюшку папику. Каждый год это делаю. А чего ты мне звонишь?

— А, что?.. Как тебя понимать?

— Понимать меня всегда легко. Зачем звонишь?

— Ну как. Просто.

— Ну если просто, то сейчас я смотрел один гнетущий эпизод из «Мэш» и еще более гнетущий из «Однажды за один раз»[259]. Когда включаешь, там обязательно или «Лу Грант»[260], или что-нибудь

---

[259] Примечания: 259

«Чертова служба в госпитале Мэш» — американский телесериал о жизни военно-полевого госпиталя во время Корейской войны; «Однажды за один раз» — американский комедийный телесериал.

[260] Примечания: 260

«Лу Грант» — американский драматический телесериал.

на постельную тематику. Хотя на этот раз речь шла о нерадивой девчонке с суицидальными наклонностями. Правда, это была лишь первая часть — я имею в виду «Однажды за один раз». Ну так чего ты хотел?

— Я, хотел? Да ничего я не хотел.

— Тогда мне в самом деле пора на боковую.

— Ну так, блин, ложись и дрыхни.

— А? У тебя там что, какая-то проблемка?

— Да нет у меня никакой проблемки. Ну ты, блин, даешь, а? Это ж надо: ни хрена весь день не делать и так уставать…

— Я-то думал, моя мачеха померла. А оказывается, вот она, по телефону со мной болтает.

— Шла б она куда, твоя мачеха.

— Ты меня, по-моему, не ловишь?

— Не заставляй меня смеяться в голос. Что за глупый, разъязви его, вопрос…

— Ну да, глупый. Причем если ты отвечаешь «да», то смотришься гомом.

— Это *ты* гом.

— Ну, а ты в таком случае двенадцатилетка. Или то, или это, для меня не принципиально.

— Тебя не волнует, что я педераст?

— Меня не волнует, что разговор принимает такой оборот. Еще что-нибудь?

— Почему ты такой, блин… Знаешь что? Нет. *Нет,* язви тебя, Рок.

— Ну тогда спокойной ночи.

— Спокойной… Стой! В смысле, погоди.

— Что там?

— Я… э-э… Я… ты… у тебя там с кем-нибудь *было*?

— Тебе-то что?

— Гребаный Рок, ну вот ей-богу!

— Да нет. Короче, ответ «нет». Хотя кому какое дело, мы ведь с тобой не сожители, да и вообще… И ты свободен на все сто, делай что хочешь. У тебя с кем-то было?

— Нет.

— Хотя, казалось бы, зачем себе отказывать… Ты там, в Нью-Йорке, где полно педиков, разных там чудаков, иностранцев, к тому же ты еще вполне молод… Ну ладно, мне пора укладываться в кровать.

— Это не твоя кровать.

— Спокойной ночи.

— Погоди.

— Господи Иисусе, ну что еще? Хочешь, типа, секс по телефону? Чтобы я застонал: «О-о, о-о, трахай меня, папочка, пока не кончишь, о-о, кончи мне на лицо, валяй меня, как суку, о-о…»

— Господи боже мой, ну неужели ты не можешь сказать что-нибудь приятное? Хотя бы раз.

— Доброй ночи.

— Пока.

Трубку я успел повесить первым: *так* ему, этому сучаре. Теперь сфокусироваться. Я стою на противоположной стороне улицы в ожидании, когда Ямаец выйдет наружу. Но когда это произойдет, мне точно не известно. Я даже не знаю, под силу ли эта работа одному, слишком уж много вводных приходится решать разом. Мне даже не известно, один ли он там у себя. Движения туда-оттуда на протяжении нескольких часов не наблюдалось, во всяком случае, насколько это различимо в густеющих сумерках, пока не включили фонари. Всё вслепую и вглухую, пусть даже изначально это тупая задумка Гризельды. «Завали его, и дело с концом». Легко сказать; а если это *он* меня завалит? То-то будет номер. Времени всего восемь вечера. Если он у себя, то не спит. Лучше всего, конечно, дождаться, когда он выйдет по своим делам, и тут-то, на улице, его и замочить. Но если он такой, каким мне его описали, один он ни за что не выйдет (для того мне, видимо, те парни из Майами и выдали «узи»). Вот как все усложняется. Остается един-

ственно ждать подходящего часа и действовать. Накрутить «глушак». Вскрыть замок, осмотреть помещение, отмерить дистанцию и взять цель. Возможно, для того чтобы быть профессионалом, нужно всего лишь подобающе мыслить. Четко и хладнокровно, как альпинист. У меня же, наоборот, все строится на нервах. Учтите, это вовсе не моя разработка: лично я пытаюсь всего-то на несколько дней продлить себе жизнь.

Черт возьми, у какого еще киллера хранится кипа замшелой порнухи? Вообще, дело было десять лет назад, на углу «Севен-илевен»[261] в Чикаго. За день до этого я исколесил несколько кварталов, пока не нашел того, что искал. Ходил, потея в отцовом охазном кожане. Вчера, когда я присматривал место, за прилавком торчал старик с транзистором. Но сегодня там под радиохит (кажется, «Поезд любви») тихо подтаскивалась деваха в бордовой майке с надписью «Вирджиния для лохов». На меня, когда я зашел, она даже не взглянула. В углу, на дальнем конце журнального стенда, топорщилась подборка из «Пентхаусов», «Уи» и «Плейбоев». Удачно был представлен «Хастлер», так как в нем присутствовали елдаки,

[261] Примечания: 261

«Севен-илевен» («С семи до одиннадцати») — сеть продовольственных магазинов шаговой доступности.

хотя я тогда и не сознавал, что тяготею именно к ним. Но вот за ними открывалось доподлинное раздолье: «Хончо», «Мандат», «Дюймы», «Черные дюймы» и «Прямо в ад»[262]. Увы, все запечатанные. А вот «Блубой» оказался не запечатан, и по проходу как раз никто не ходил. В какой-то момент я спохватился, кто это рядом сопит, как Дарт Вейдер, и тут понял, что это же я сам. Хотя в двадцати кварталах от дома кто ж меня застукает? В это время какой-то крендель втусовывал девке за прилавком, что Иран-де совсем от рук отбился и нашему президенту Буббе не мешало бы что-то с ним сделать. На обложке журнала красовался ковбой в шляпе, которому тень скрывала лицо, но картинно выставляла сочные красные губы, как бы целующие сигарету. «Блубой», март 1979 года. И надпись: «*ВНЕ ЗАКОНА: Плохие парни, которым Этого все мало*». «Тошнотик, дрыщ» — так меня, видно, клял папаша, когда однажды шарился в моей дряни в поисках мелочовки на курево и газировку с чипсами (наверное, чтобы жопа еще сильнее росла). И вот нарыл. Жаль, что меня там не было, когда он обнаружил «Члены Супер-нова», «Висящие суперчлены», «Члены:

[262] Примечания: 262
Порножурналы для геев.

обнаженка», «Голод по членам» и «Стоячие суперхеры», где Эл Паркер[263] похож на Христа в момент эякуляции. Интересно, сорвался ли папашка на крик? Покачал ли головой со словами: «Я всегда чувствовал в этом дрыще какую-то гнильцу»? Присел, полистал и почитал? И вот я прихожу домой, утомленный своими странствиями и совершенно не ожидая разборок, и тут вдруг из комнаты, хлябая телесами, колыхает папаша с «Членами Супер-нова» на отлете и с ходу орет:

— Ах ты, грязный содомит, твою мать! Грязный, твою мать, педрила! Для таких, как ты, есть особое место в аду! Поверить не могу: мой родной сын, сын плоть от плоти моей — нормальной, между прочим, — и жарит в задницу каких-то… грязножопых ублюдков! Если это так, то, как пить дать, по материной линии. Так вот чем ты занимаешься — жаришь в жопу мужиков ночами напролет?

— Нет, пап. Обычно это *меня* жарят. В дупло. Ночами напролет.

— Что ты такое сказал?!

— Ты плохо слышал, пап? Лупят в самую что ни на есть жаркую дырку на всем Истсайде. В

---

[263] Примечания: 263
Эл Паркер (1952–1992) — гей-порнозвезда.

очередь строятся за квартал, чтобы заполучить меня, особенно черные. Тут один кинг-конг так меня отодрал всухаря, что очко горело, два дня присесть не мог…

— Да я…

— Что *да я*?

Папашка подступил ко мне, но мне было уже не двенадцать лет. Понятное дело, он был крупнее и толще, но я эту сцену предвкушал уже годами.

— Да я…

— Да иди-ка ты к себе, бля, в комнату и смотри семейную комедию, а в мои дела не суйся. Дать тебе пару баксов на чипсики?

Я шагнул мимо него к себе, но папашка ухватил меня за рукав и потянул обратно.

— Вот взял бы и убил тебя за позор, который ты навлекаешь на нашу семью!

— Убери, блин, руку.

— Гореть тебе в аду, ты…

— Руку убери, гнида.

— Да я…

Я вынул из кобуры «беретту». Да, тогда я уже таскал с собой ствол: а вдруг в какой-нибудь из тех машин окажется шофер и начнет возбухать? Папашка отпрыгнул и напряг перед собой кулачки, как какой-нибудь клерк при ограблении

конторы.

— «Да я, да я»… Что «ты», сучий ты потрох? Думаешь, я тебя боюсь?

— Ах ты, ах ты…

— Я один из тех, кого ты лишь делаешь вид, что знаешь. И городишь всякую чушь. Я иду к себе в комнату, где залягу спать. А ты не смей, блин, никогда сюда соваться, понял меня?

— Ах ты… Прочь из моего дома, выблядок поганый!

— Я — выблядок, а ты — лузер, который не сумел взрастить никого, кроме пидораса. Можешь сказать это за бриджем мистеру Косту, когда тот снова придет в гости. Я, кстати, частенько беру у него за щеку, когда он поднимается наверх, якобы в сортир.

— Заткни свой поганый рот!

— Вот он-то мне его и затыкает. Хер у него знаешь какой мясистый…

— Прочь из моего дома!

— Да иду, старикан, иду. Бегу. Задолбала меня уже эта халупа, пропади она пропадом… Кэша нужно?

— У пидоров денег не беру.

— Как скажешь. Тогда пойду, куплю на них своему ёбарю бурбона.

— Ты — *демон*, язви тебя. *Исчадие*.

— А ты — лузер.

Я прошел к себе в комнату. Он мне вослед что-то пробурчал.

— Что ты там сказал?

— Оставь меня. Подонок!

— Что ты, бля, такое сказал?

— Ты небось думаешь, что ты такой умник? Может, я и лузер, но ты тот, кого все считают дерьмом еще более низменным, чем я… Ох как намучилась с тобой Лиза, когда ты народился. Чуть на тот свет не изошла. Знала б она…

О господи, как же мне все это дерьмо остопиздело… Да что же я такое творю? Мне сейчас вообще об этом думать нельзя. Нельзя, нель-зя. Нужно прикидывать, как унести ноги из этого города. До меня только сейчас дошло, что я снова стою у телефонной будки, а в руке у меня трубка.

— Роки, это я. Я… э-э… Я в Нью-Йорке и… э-э… Я хочу сказать… э-э… Я…

«Оставьте сообщение после длинного сигнала. Пи-и-и».

Я брякнул трубку.

Доркас Палмер

Теперь уже слишком темно, чтобы использовать слово «темнеет» как повод для его ухода. Еще одна Доркас Палмер, которая посообразительней, недоумевает, каким таким образом вечер закончился так, что этот мужик оказался у нее в квартире. А впрочем, кому какое дело… Мужчина, приходя в квартиру женщины, не обязан думать, как отнесутся к этому соседи. К тому же я своих соседей не знаю. Однако если он рассчитывает завершить этот вечер, как в какой-нибудь французской комедии — я в постели, укрытая по титьки простынкой, он с томно-удовлетворенным видом покуривает, — то его ждет разочарование. Он смотрит из окна на линию горизонта. Вид отсюда, я бы сказала, отстойный.

Эту часть я знаю, сериалы как-никак смотрю. Сейчас нужно спросить, не желает ли он чего-нибудь выпить. Правда, из выпивки у меня только дешевая водка (горчинку в коктейлях никто не отменял) и ананасовый сок, который не мешало бы проверить на свежесть. А предложение выпить — это не зашифрованный ли призыв перепихнуться? Чего произойти, впрочем, не

должно, хотя он и в самом деле похож на Лайла Ваггонера, а я слышала, что Лайл позировал для «Плейгерл». Незадача в том, что я на самом деле очень хочу переодеться во что-нибудь более комфортное. От этого чертова твида в летний день неимоверно чешется кожа. А у ступней заведен строгий четырехчасовой лимит на носку высоких каблуков; если дольше, то они начинают бастовать: эй, стервоза, ты нас что, угробить пытаешься? Мой смешок получается чересчур громким, и он оборачивается и смотрит на меня. Улыбка от мужчины — это обычно платеж авансом, Доркас Палмер. Не сватай ему ничего.

— Я помню, что обещала не заикаться насчет вашего ухода, — сказала я.

— Вот и молчи. Ты не представляешь, сколько из известных мне людей не держат обещаний.

— У богатых свои причуды.

— То есть?

— Вы меня слышали.

— Клянусь: частично причиной, почему я не могу уйти…

— Не можете?

— Не могу, а все из-за того, что ты с каждым часом становишься все развязней. Уж и не знаю, что с тобой станется к десяти вечера.

— Не уверена, что это звучит как комплимент.

— Я вообще-то тоже. В таком случае нам остается одно: ждать до десяти.

Мне хотелось сказать что-нибудь насчет настырности этого мужчины — вторгнуться в мое пространство, раскромсать мое время, как будто мне больше нечем заняться, — но тут он говорит:

— Хотя, опять же, в тебе есть нечто более достойное, чем ублажать старика.

— Я уже дважды повторяла: вы не старик. Возможно, вам лучше понапрашиваться на какой-нибудь другой комплимент.

Он смеется.

— Солнце скрылось. Выпить ничего нет?

— Водка. Ананасовый сок оставался вроде как.

— Лед есть?

— Если нет, то можно сделать.

— Черт-те что… Ладно, можно водки с ананасовым, или что там еще есть в холодильнике.

— У вас руки из плеч растут? Все перед вами на столешнице: и водка, и чистые стаканы.

Он смотрит на меня и говорит со смешком: «Блин, мне это нравится». Похоже на кино, где развязная черненькая гувернантка вдыхает жизнь в престарелого патриарха. Хотя этот не

похож не то что на старика, а вообще на того, кому нужна помощь.

— Ваш сын с невесткой, наверное, уже беспокоятся.

— Может быть… О, содовая, сбоку спряталась. Можно?

— Почему нет…

— А вот этот ломтик пиццы выбросить пора. А это что — недоеденная порция лапши? Туда же.

— Благодарю. Какие еще рекомендации по моему холодильнику?

— То же самое с этим надкушенным чизбургером. А это что, «Миллер»? Уважающему себя человеку зазорно его не то что пить, а даже попадаться с ним на глаза.

— Я даже не ожидала таких предложений. Вы просто знаток чужих холодильников.

— Хм. А зачем тогда спрашивать? Водку будешь, с придыхом ананасика?

— Можно.

— Заказ принят.

Я смотрю, как мужчина осваивается на моей кухне. Не помню, чтобы я покупала лаймы, к тому же недавно: он смело пускает их в ход. После третьей попытки резать моим ножом он хватает еще один и начинает вжикать ими друг о дружку,

как в сабельном поединке с самим собой. Затем насекает лайм. Смотрит на мою столешницу и как-то жалеючи покачивает головой. Не помню, чтобы у меня оставалось две бутылочки сальсы, но он находит и их. Тук-тук, вжик-вжик, побрякивание, помешивание; да, наблюдать мужчину за работой — это нечто. Не припомню, видела ли я вообще мужика за готовкой, кроме как в кулинарных телешоу. А вот на тебе. Он подходит с двумя стаканами, один протягивает мне:

— Ну как, годится?

— М-м… Прелесть.

— Ну, так спасибо за зрительскую поддержку.

— Нет, правда вкусно.

Он усаживается в одно из кресел, занести которые с улицы мне помогал сосед. С той поры я с ним даже не пересекалась. Надеюсь, на кресле успел выветриться запах. Мой гость пригубляет медленно, как бы нехотя, будто за счет этого в стакане продлевается содержимое.

— На тебе юбка не чешется? В смысле, лето все-таки.

— Я юбок не снимаю.

— Да я и не просил. Наверное, раздумываешь, как ты допустила прокол, пригласив меня?

— Да нет.

— Значит, да.

— Эзоповым языком не изъясняюсь.

— И это хорошо.

Странно, но единственное слово, которое напрашивается для описания того, как он сидит, это «крепкий». Или «сильный». Я обратила на это внимание еще у него дома, а затем в метро, — как он отвергает все эти зазывно мягкие диваны и кресла, приглашающие в них плюхнуться, и сидит с прямыми, расправленными плечами. Наверное, осталось со времен армейской службы.

— А полиция вас, часом, уже не разыскивает?

— В розыск положено объявлять только через сутки, не раньше.

— Ну а похищение?

— Для киднеппинга я малость крупноват, тебе не кажется?

— Я думала, размер здесь значения не имеет.

— Держись в этом же ключе — и, возможно, угодишь в резонанс с моим бодрым настроем. Музыка у тебя тут есть?

— Хотите слышать, чем нынче дышит мажорная ребятня?

— Почему бы нет. Что там нынче в тренде?

Мне кажется, «Добрые времена»[264] вполне себе хорош, разве нет?

— У-у… Да вы устарели.

Я встаю и ставлю пластинку, просто верхнюю в стопке. Забавно: дома, на Ямайке, пластинки слушал в основном отец, ставил по большей части какие-нибудь томные инструменталы вроде «Ла Паломы» Билли Вона[265] или оркестр Джеймса Ласта. В восемьдесят пятом году я, пожалуй, единственная, у кого проигрыватель с одной колонкой («хромое стерео», как его называют меломаны). Мать, на моей памяти, принесла домой всего одну пластинку — «сорокапятку» Милли Джексон с длинным названием: «Если вы не полюбили к понедельнику». Прежде чем ее поставить, она, кажется, предварительно дождалась, когда все уйдут из дома.

— Орга́н? Боже правый, ты любишь церковную музыку?

— Да нет же.

— Как «нет», это же проповедник, слышишь?

---

[264] Примечания: 264

«Good Times» (1974) — девятнадцатый студийный альбом Элвиса Пресли.

[265] Примечания: 265

Билли Вон (1919–1991) — американский певец и музыкант, дирижер эстрадного оркестра.

Вон, вещает о загробном мире, и там точно играет орган. Только какой-то кривоватый.

— Вы помолчите и послушайте.

Он умолкает, как раз когда Принс заводит: «В этой жизни ты сам по себе».

— О-о… О да, это мне нравится.

Гость встает, ритмично прищелкивает пальцами и кивает в такт. Интересно, угорал ли он тинейджером под Элвиса и как он относится к «Битлз»? Я хочу спросить, любит ли он рок-н-ролл, но вопрос кажется неуместным при виде человека, что прищелкивает и притопывает так, будто джайву его обучал лично Билл Косби.

«Давай сходить с ума, давай безумствова-а…» — повторяет он за вокалом. Мне как-то неловко, что я не танцую. Поэтому я встаю и начинаю приплясывать. А затем откалываю то, чего не делаю никогда.

«Доктор Всё он будет в масти, всё раскинет на запчасти, срасти здрасте и мордасти, держитесь дети от напасти. Он идет. Он идет. Он приходит. Уу-ууу-у-у-ууу».

Со столешницы я ухватываю массажную щетку — это у меня микрофон — и еще три раза укаю. Дальше идет гитарный солешник; я спохватываюсь, что у моего гостя приступ, но это,

оказывается, он изображает соло на гитаре. Я гарцую и ору: «Сойдем с ума, сойдем с ума», а песня все длится — то есть я ее слушала уже сиксиллион раз, но она еще никогда не была такой нескончаемой, — и наконец мы с ним просто валимся: я на пол, гость на диван. Затем под «Возьми меня с собой» он вспрыгивает, а я так и валяюсь на полу, отдуваясь и хохоча.

— Уф-ф… Так я не веселился, пожалуй, с той поры, как «битлы» отжигали на «Шоу Эда Салливана».

— «Битлз»? Вам нравится?

— Что значит «нравится»? Это величайшая поп-группа всех времен!

— А мы, между прочим, стояли с одной моей клиенткой у дома, где убили Джона Леннона, как раз в ту самую ночь.

— Ждали, пока они поладят с Полом Маккартни?

— Не очень-то смешно.

Вместо ответа мой гость подходит к проигрывателю и берет в руки обложку альбома.

— Та-ак, а что это за кудрявый поцик на моцике?

— Принс.

— Что за принц? Чего он принц?

— Да не принц, а Принс. Вон и усики какие благородные.

— Да-а… А я уж подумал: какая зажигательная бабенка с бородой.

— У него есть еще и видео, называется «Пурпурный дождь».

— Разве не «Пурпурная дымка»?

— Нет, именно «дождь». Принс, а не Хендрикс[266]. Ладно, сниму-ка я ее…

А то он тут расходился не на шутку.

— Да оставь, голубушка. В этом округе я единственный белый, кому принадлежит «Мухобойка рекордз». Так что Принцем меня не запугать. Кстати, извини за «голубушку». Я и здесь, должно быть, устарел: к женщинам нынче так уже не обращаются.

Мне хочется сказать, что извиняться не надо и что это вообще первое благозвучное слово, которым меня в кои-то веки одарил мужчина. Но вместо этого я гляжу в окно, где уже успела зажечься россыпь вечерних огней.

— А что это за девица на обложке?

---

[266] Примечания: 266

«Purple Rain» (1984) — шестой студийный альбом Принса, выпущенный саундтреком к одноименному музыкальному фильму с его участием; «Purple Haze» (1967) — второй сингл группы «Jimi Hendrix Experience», одна из известнейших рок-композиций мира.

— Аполлония. Его подруга в реальной жизни.

— Ого. Так он разве не гей?

— Вы, должно быть, голодны. Пиццу-то дома не поели.

— Можно и куснуть… У тебя что-нибудь есть из еды?

— Чипсы, лапша быстрого приготовления.

— Хорошее сочетаньице.

— А наггетсы пойдут? Правда, недельной давности.

— Эх-х, миледи… Ну давай. Чем черт не шутит.

Для лапши я грею чайник, что означает сидеть сложа руки и дослушивать альбом. К моменту свистка чайника альбом почти уже дослушан, и я думаю снова перевернуть пластинку на первую сторону: не сидеть же в тишине, ни мне, ни ему это не под силу.

— Так откуда ты конкретно?

— Что?

— Откуда… Ты можешь это выключить? Все же не Элвис, надо признать. Так откуда ты?

— Ешьте лапшу. Я из Кингстона.

— Это ты уже говорила.

— Есть там такое местечко, Хейвендэйл.

— В самом городе?

— Скорее пригород.

— Типа Северный Ист-сайд?

— Скорее Куинс.

— Мрак… А уехала чего?

— Настала пора.

— Вот так взяла и приперла? Пару лет назад там, кажется, Майкл Мэнли резвился со своей коммунячьей камарильей?

— Я вижу, вы весьма информированы о «холодной войне».

— Дорогуша, я ведь дитя пятидесятых.

— Да я так, иронизирую.

— Я так и понял.

— Вы спрашиваете, что меня оттуда выжило?.. Не знаю. Так, просто захотелось уехать. У вас никогда не было ощущения, что вот вы живете с семьей, в родных стенах, и вдруг чувствуете, что засиделись?

— Бог ты мой, она мне еще рассказывает… Хуже, когда это твой собственный дом, который ты, черт возьми, проплатил из собственного кармана.

— Вам все равно предстоит туда вернуться.

— Да? Ты так думаешь? Ну а тебе?

— А вот мне возвращаться некуда.

— В самом деле? А семья, родня? Зазноба?

— Я вижу, вы и вправду дитя пятидесятых. На Ямайке зазноба — это женщина, с которой вы

изменяете своей жене.

— Шикарно. Это я насчет идеи посетить твой тубзик.

— Это милости прошу обратно в прихожку, где вы уже были, и там сразу направо.

— Уловил.

Было бы забавно включить телик, а в нем Кронкайт[267] озабоченно вещает об отце семейства Колтхерстов, похищенном с целью выкупа. Жена/невестка бурно рыдает на камеру, пока не спохватывается, что у нее по щекам течет тушь, и тогда кричит: «Прекратить съемку!» А сын смотрится стоиком, потому что или не желает говорить, или его женушка не дает ему слова сказать. «Мы думали, это бюро надежное, но вот ведь как обернулось… Верить никому нельзя. Нам показалось, что она внушает доверие, ведь ее звали Доркас — понимаете, имя-то какое! Одному богу известно, какую она затребует сумму выкупа». Интересно, пододенется ли она сообразно случаю: как-никак снимают для новостей… Ну а как там в телике будет выглядеть мое фото? Хотя в агентстве оно вряд ли даже есть… во всяком случае, я не помню. Но предположим, что все-таки есть, хотя при

---

[267] Примечания: 267

Уолтер Кронкайт — американский тележурналист и телеведущий.

данном раскладе, кроме фоторобота, ничего не поместят. Помнится, я как-то выскочила из квартиры с растрепанными волосами (что угодно, только не это!). Возможно, пара будет держаться за руки, а женщина умолять похитителя — то есть меня — проявить гуманность к пожилому отцу, который нездоров, очень нездоров, и…

— Что это?

Как он вышел из санузла, я не слышала. Ни шума воды, ни скрипа двери, ничего. Или мысли так меня унесли, что я опомнилась лишь тогда, когда он встал вплотную передо мной.

— Я спрашиваю: что это? Ты вообще кто, черт возьми?

Он взмахивает передо мной *этим*. Я же не рассчитывала, что день у меня закончится гостями в моем доме. Это же дом женщины, никогда не ожидающей у себя компанию. Черт возьми, надо было сначала проверить санузел, чтоб хотя бы просто убедиться в наличии туалетной бумаги на бачке и свежего полотенца над раковиной. А теперь вот он стоит передо мной, как полицейский, помахивая книжкой, которую я обычно надежно прячу под подушкой.

«Как исчезнуть так, чтобы тебя никогда не нашли». Автор — Даг Ричмонд.

Приплыли, бомбоклат.

Тристан Филипс

Трёп, трёп, трёп. У тебя столько трёпа, что как бы язык не побурел. Нет? Ладно, давай крутанем по-твоему. О чем ты еще хочешь меня порасспросить? О Балаклаве? Ты это уже сделал. О Медяке? Посмотри по своим записям, дурила. О Папе Ло и Шотта Шерифе? Последнего я уже довел с Восьми Проулков до самого Бруклина, так что сверься с записями.

Да? В самом деле?

А вот я так не думаю. Хочешь знать, что думаю я? Никаких заметок у тебя нет. Все, что ты там насобирал, — конфета из говна и пыли. Сидишь и скребешь все это время «У Мэри был барашек» справа налево, как у арабов. Нет? А вот дай-ка гляну. Ну вот. «Йеа», как вы, американосы, говорите. В точности как я и думал. Белый парень, завязывай-ка ты уже с этой хренью. Лучше посиди помолчи, а я тебе скажу, зачем ты здесь. Хочешь? Ты на себя посмотри. На дворе восемьдесят пятый год, из-за всей этой дискотечной лабуды вокруг нормальных причесок не встретишь. Джинсовые рубашки, как у ковбоев, дискотечные штаны, а на ногах ковбойские… нет, байкерские сапожки.

Сплошная бодяга. Между прочим, даже в тюрьме все видели хотя бы по одной сценке из «Полиции Майами». Знаешь, каким это словом можно назвать? Пидерсия. Сплошняковая. Ты понимаешь, о чем я? Вот. Это у тебя такой стиль — вбуровиться и торчать в одном-единственном годе, как клещ в заду, а вы все шагайте лесом?

Вот ты прикатываешь сюда ко мне и говоришь, что пишешь историю о том мирном процессе. Но, во-первых, это все происходило семь лет назад, и попробуй-ка меня убедить, что все это кому-нибудь еще интересно. За лоха меня считаешь? Брат, есть такая вещь, называется «контекст», и вот ее-то ты мне предоставить и не можешь. Так что не обижай меня, а то я ведь и послать могу. Ты ж безусловно знаешь, что значит этот самый «контекст»? Ты вообще в курсе наших тогдашних дел или полагаешь, что мы только и содеяли, что тот концерт с Певцом? Ты, кстати, почему-то пытаешь меня только об оконцовке того мирного процесса, но никогда о начале или даже серединке. И вот еще в чем странность. Ты заявляешь, что не был на острове с семьдесят восьмого года, а между тем каждый твой заданный вопрос указывает на то, что происходило там в семьдесят девятом и восьмидесятом, — это отчего же?

Спрашиваешь о Папе Ло, но только как он ушел из жизни. О Медяке, но только как его грохнули. О Люси, например, ты не спросил ни разу, даже когда я сам про нее пробросил. Но ты двинулся себе дальше, будто она не значила ничего…

Ах, ты стремишься к точности изложения. Да-да, ты же журналист или где. Ага, ага. Ах да, юнош ты мой.

Ты хочешь побольше узнать, как я в восьмидесятом примкнул к «Иерархии донов».

Пирс ты Пирс, Алекс ты Алекс…

Я никогда не говорил, что примкнул к ним в восьмидесятом, а просто сказал, что примкнул к «Иерархии донов». А о Джоси Уэйлсе ты случайно не хочешь знать? Например, о том, что он нынче прибывает в Нью-Йорк? В «Рикерсе» говорят, что посадка у него как раз сегодня. И еще неизвестно, зачем он прилетел. Или за кем.

Ой.

Что притих? Глянь на себя. Ты, я подмечаю, примолкаешь при всяком моем упоминании о Джоси Уэйлсе. Вот всего несколько минут назад, когда я рассказывал, как он поставил крест на замирении, ты сразу перескочил на тему, как это я очутился в тюряге, хотя сам про это определенно знаешь. Ты ж ни одного вопроса обо мне не

задаешь, не зная заранее ответа, будь то из моего интервью насчет Совета или хотя бы мой базар с нью-йоркской радиостанцией. Но это же так. Джоси Уэйлс прибывает в Нью-Йорк сегодня. И точно не для встречи со мной.

Глянь на себя. Сидишь с небрежным видом, будто очко у тебя не «жим-жим». Я даю тебе пять минут, чтобы свернуть интервью, потому как у тебя появилась куда более насущная задача: мчаться в свою халупу в Бед-Стае и спрятаться там под умывальником. Сколько мне, по-твоему, потребовалось, чтобы вычислить о тебе то, что нужно? А, Алекс Пирс? Думаешь, если ты живешь на углу Бедфорда и Клифтона, ты непробиваемый, что ли? Клифтон-плейс, двести тридцать восемь, так? Квартира на первом этаже… ой, погодь, на втором: я забыл, что американцы понятия «нижний этаж» не используют. Ха-ха. На улице твоей живут только черные и одеваются, как на кастинг для «Триллера»[268], а у тебя вид такой, будто ты откуда-нибудь из «Иглз»[269]… А ты па-

[268] Примечания: 268

Имеется в виду видеоклип к песне из одноименного альбома Майкла Джексона.

[269] Примечания: 269

«Eagles» (*англ.* Eagles) — американская рок-группа, исполняющая мелодичный гитарный софт-рок.

рень с гонором, Алекс Пирс: ишь, как скривился, стоило мне приписать тебя к «Иглз». Однако насчет тебя я ошибся. Пять минут прошло, а ты все не уходишь. Уйти думаешь лишь после того, как получишь то, зачем пришел. Джоси Уэйлс приезжает в Нью-Йорк усложнять всем жизнь, а ты отчего-то все еще здесь…

Ага, угу. Н-да. Гм. А? Ну давай, давай.

Что, просто вот так? Будем сидеть и играть в молчанку?

Знаешь что? Я утих, так что говори ты.

Хмммммммм. Хмммммм.

Блин, Алекс Пирс.

Блин.

Ха-ха-ха-ха.

Извини, смеяться я не хотел. Но все равно как-то смешно. Просыпаешься у себя в кровати, а рядом сидит мужик. Ты уверен, что вы с ним не жахались, а потом он просто очнулся первый? Да успокойся, юнош ты мой, все видят, что ты не жопник.

А ты раньше никого не убивал? Да, Алекс Пирс, мне это хочется знать. Можешь орать «мазафакер, да иди нах, я сейчас позову охрану!». Но ответь на вопрос.

А потом, с той поры? А? Ха-ха, я знаю, эдакий

сквозной повтор шутки. Каково ж оно, убивать человека, а? Черт, а ведь в этом ох сколь многое. На всем, что он намечал осуществить от рассвета до заката, ты взял и поставил крест. Жирную такую точку. Вот так, на раз. И неважно, хороший то был человек или плохой; ты смотришь на него мертвого и прикидываешь: интересно, а начинал ли он этот день с мыслью, что тот будет у него последний? Занятно, да? Вот ты просыпаешься, съедаешь завтрак, обед, ужин, работаешь, гуляешь, трахаешься, затем просыпаешься и начинаешь все сызнова. А вот он уже не подымется, не примет душ, не посерит, не пойдет через дорогу на автобус, не поиграет со своими детьми, то есть вообще ничего. И все это по причине тебя. Ты это у него отнял. Я тебя выслушал. Тут суть, знаешь ли, была в том, что он собирался лишить тебя жизни, а ты был вынужден поступить, как поступил. Иначе б сейчас, в эту самую минуту, ты бы передо мной не сидел. Отчего тебе показалось, что он мертв? Ты к нему притрагивался? Просто оставил как есть? Так откуда ты знаешь, что он был неживой?

Юнош мой, ты, что ли, просто съехал из своего номера и всё на этом? Ой как интересно… Ты ведь заселился не под чужим именем, верно? Надо

же: ничего в новостях, никакого расследования, звонков из полиции… Ничего, будто это все во сне происходило… Да успокойся ты, белый парняга, я даже словом не намекаю, что это был сон. Но кто-то ведь после тебя все подчистил, причем подчистил хорошо. И… постой. Ты говоришь, типа, как синяя униформа? Синяя, типа, форма?

И лысая голова?

Что он как бы индей — светловатая кожа, вроде метиса?

Бомбоклат.

Ты, что ли, хочешь мне сказать, что прикончил Тони Паваротти?

Юнош, юнош ты мой. Бомбоклат…

Да нет, так-то я его не знал, но кто в гетто не слыхал о Тони Паваротти? Он же был у Джоси Уэйлса главным инфорсером. Я слышал, что этот человек холоден как лед, никто в жизни от него единого слова не слыхал. Ты слышал когда-нибудь о «Школе Америк»?.. Хотя откуда тебе, для этого надо находиться вне Штатов… Все, что мне известно, это что Паваротти единственный, кто реально вышел из нее. И единственный, кто знал, как обращаться с оружием. Снайпер лучший, чем вся полиция или армейцы. И ты хочешь сказать, что худосочный хиппарик убил киллера номер

один всей Ямайки? Брат, ну согласись, как тут не рассмеяться в голос. Ну хорошо, может, ты и прав. Я понимаю, ты за это очень переживаешь, как не понять. То есть ты уверен, что это был он? Да понятно, откуда ж тебе было знать… Ты просто можешь описать его внешность. Извини, брат, но мне нужно какое-то время, чтобы все это усвоить. Для меня это все равно что смотреть на человека, прикончившего Гарри Каллахана. Ты помнишь, когда это случилось? Февраль семьдесят девятого? Ну вот, теперь вырисовывается. Ты был на Ямайке до февраля семьдесят девятого. И говоришь, что пробовал там что-то такое раскрыть насчет Грин-Бэй, верно? Хотя это ничего не значит: даже ямайские газеты раскрыли насчет этого все, что только можно, причем гораздо раньше. Но если за тобой шел Тони Паваротти, то приказ должен был исходить из Копенгагена. Ну а поскольку это не в стиле Папы Ло, то единственный, кто мог отрядить Паваротти, это Джоси Уэйлс… Черт возьми, юнош мой, что ты такое понаделал, что Джоси Уэйлс послал кого-то тебя обнулить?

Ну да, ты не знаешь.

Может, ты не сознаешь всего, что знаешь. Хотя какой журналист не знает даже своих собственных фактов? Ты, видно, раскопал насчет Джоси

Уэйлса что-то, чего больше не знает никто. Но, опять же, это ни о чем не говорит. Джоси выяснил, что у тебя на него есть что-то, цену чему ты сам даже и не знаешь. Да, то было шесть лет назад, но оно, безусловно, тебя преследует, так что ты наверняка должен что-то помнить. Что-нибудь в твоих записях, нет? Хотя забавно, ведь Джоси как будто ничего и не боится. Люди называют таких безбашенными… Ну так думай, мозгуй. Что может быть такого, о чем известно только вам обоим? Ты знаешь о его связях с наркотой, бандюганами? Или писал недавно репортаж про Колумбию?.. Хотя нет, это, должно быть, *оттуда*, из тех времен. В семьдесят девятом ничего такого еще не происходило — во всяком случае, такого, о чем бы ты знал. Грин-Бэй? Нет. С политикой ты тоже не соприкасался. Ты интересовался договором о замирении, но что вовлекло тебя в ту историю? Ты шел по следам Певца? О. Певец. Зачем же?

О. Брат.

Послушай, Пирс, ты же мне все рассказал. Только что выложил весь план, а сам его до сих пор так и не видишь. У нас больше общего, чем тебе кажется. Ты вдумайся. Сейчас уже всем известно, что, кто бы там ни стрелял в Певца, целил в сердце, но попал в грудь потому лишь, что Певец

на тот момент делал выдох, а не вдох, верно? Это даже в книге про него написано. Но тогда, в семьдесят восьмом, кто мог это знать, кроме самого Певца, того ганмена и, получается, тебя? И вот до Джоси дошло, что он сболтнул тебе нечто, чего ты не должен был знать, — ведь, на то пошло, даже больница могла назвать лишь место, куда попала пуля, а не то, куда метился киллер. Я-то знал, что выстрел тот сделал Джоси, но узнал это лишь в семьдесят девятом году, не раньше. И даже тогда никто не мог знать умысла, за исключением того, в кого, собственно, стреляли, и того, кто пытался застрелить. Не выдал ли Джоси тебе интервью как раз вскоре после этого? Должно быть, так… Черт возьми, юнош мой, да ты у нас прямо из кино. Взять тот же Грин-Бэй: пускай о нем на сегодня все знают, но если я тебя верно понял, то правду о нем ты установил гораздо раньше, чем все, вместе взятые. Тебя, часом, не Шерлок зовут? Так что убить тебя Джоси пытался или из-за того, что ты выяснил, кто именно поднял руку на самого Певца, или же потому, что ты вызнал всю подноготную насчет Грин-Бэй. Хотя не могу взять в толк, зачем он пытался убить своих же собственных людей… Не знаю, что и сказать.

А впрочем, о Грин-Бэй забудь. Хоть ты о нем и

знаешь сверх меры, но то, что убить тебя посылали самого Тони Паваротти, уже само говорит о многом. А послать его мог точно только Джоси Уэйлс. Тут вопросов нет: он смекнул, что ты знаешь про то, что это он пытался грохнуть Певца. Или хотя бы со временем об этом догадаешься. Но догадливость твою он, как видно, переоценил: шесть лет минуло, а тебе ничего и в голову не пришло…

Ну вот, теперь одно клеится к другому. Вот, стало быть, зачем ты нагрянул ко мне с визитом… Должно быть, я один на всем свете, кто разделяет теперь с тобой что-то общее. Надо же, каково: лишь двое из тех, кого Джоси Уэйлс пытался убрать, до сих пор живы. А он между тем с часу на час должен приземлиться в Нью-Йорке.

Джоси Уэйлс

Двадцать пять минут назад самолет сел в аэропорту Кеннеди, и как раз сейчас мы покидаем зону таможни. Одна птица нащебетала мне, что такое происходит, только когда приземляются ямайцы. Не знаю, откуда я знаю, просто знаю. Когда в прошлый раз я летал на Багамы, один опездол с таможни во всеуслышание сказал: «Всем ямайцам просьба встать слева от очереди». Ни на какое «лево» я, понятно, становиться не стал, и никакой кретин не сказал мне ни слова, когда я прошел прямиком через зону досмотра и предъявил на контроле свой паспорт. Даже чемодана не открывая. Не поступил ли однажды таким же образом Певец, стоя в очереди, когда таможенник завел с ним свою еботень с досмотром? Просто взял свою сумку и двинулся к выходу наружу…

Двоих ямайцев из этого строя уже укатывают вместе с тележками, а одну ямайку так и вовсе сопровождают три офицера. Вот дура; надеюсь, кокс она запихала себе в задницу, а не в манду или, хуже того, заглотила: каждая минута такого хранения дорого ей обойдется. Кто меня послу-

шает, может ненароком решить, что все ямайцы до единого — мулы по перевозке наркоты.

Зря эту перевозчицу задержали здесь: позор для страны. Шмон надо было устраивать еще на борту. Посреди полета, на высоте тридцати двух тысяч футов, стюардесса объявляет, что сейчас будет подан обед. Моя попутчица лишь один раз смотрит на то, что подают, и говорит: «Такое, как говорится, не ртом, а другим местом впору есть. Хорошо, что я захватила свой хавчик». Мне волей-неволей приходится смотреть, как она вынимает ведерко из-под мороженого, где лежат жареная рыба, горох и рис. Первый класс затмевает такая вонина, что я чуть не спрашиваю стюардессу пересадить меня куда-нибудь назад — я даже готов заплатить за то место. Или это, или выхватить ствол (если б я его с собой взял) и треснуть им эту засранку по башке.

«Добро пожаловать в Соединенные Штаты, мистер…»

Из багажного отделения я выхожу как раз в тот момент, когда двое офицеров наваливаются на молодую женщину из очереди и кидают ее на пол. За пределами таможенной зоны мы все равно находимся внутри аэропорта — еще одно, что отличает Штаты от Ямайки. А вон и Юби, держит-

ся впереди толпы преимущественно негритосов и индийцев, ждущих выходящих пассажиров. Роскошно-синий шелковый костюм с белым платком в нагрудном кармане придает ему сходство с темнокожим из «Полиции Майами». Надо обязательно посмотреть этот сериал. Что-то мне подсказывает, что, если назвать его Таббсом[270], ему это понравится: парень с окраины, кажущий из себя крутого, только ему это действительно удается. О Ревуне я тоже размышляю изрядно, но не в таких выражениях и не в этой связи… А что это у него в руке за хреновина?

— Юби?

— О мэн! Мой мэн-супермен, — приветствует он на здешний мажорно-ниггеровский лад, а сам все держит в руках плакатик с надписью «Джоси Уэйлс» (примерно такие же транспаранты с именами держат по соседству с ним два шофера).

— Это что?

— Ха-ха, это? Это шутенция, именуемая «Джоси Уэйлс».

— Да? Что-то не смешно.

— Бог ты мой, Джоси, куда подевалось твое чувство юмора? Или его у тебя никогда и не было?

---

[270] Примечания: 270

Тони Таббс — американский боксер-профессионал 80—90-х, выступавший в тяжелой весовой категории.

Ненавижу, когда ямайцы начинают имитировать американосовский базар. Когда они на нем блеют, мне как будто железом по стеклу. Я в ответ скалю зубы:

— Это ближе к теме, но не лги самому себе.

Тут он залихватски пуляет плакатик в воздух, подхватывает мою сумку и берет курс на выход. Я иду следом, при этом машинально глядя, как плакатик планером снижается и приземляется возле стойки проката автомобилей.

— Наверное, интересно приземляться в Нью-Йорке вечером, когда стемнело, — мечтательно произносит Юби. — Вид совсем иной, чем днем.

— Как скоро мы будем в Бушвике?

— Да подостынь ты, Джоси, не гони лошадей. Вечер еще только начинается, а ты только что прибыл. Ты голоден?

— В самолете кормили.

— Ты к той жрачке небось и не притронулся. А вот мы тебя угостим бостонским цыпленком джерк на Бостон-роуд. Как тебе?

— Ты всерьез полагаешь, что я прилетел с Ямайки затем, чтобы поесть второсортной ямайской еды? Так, что ли?

— Ну ладно, а как насчет бигмака? Такущий вот бургер, а?

На парковке к нам подчаливает и останавливается черный минивэн. Может, оно и хорошо, что я не захватил с собой ствол, иначе бы я его сейчас выхватил. Однако это не даунтаун Кингстона. Дверца отъезжает, и Юби кивком указывает внутрь. Именно по этой причине я туда не влезаю, пока первым не усаживается он.

— Добрый старый Джоси, — кивает он с улыбкой. — Спустя все те годы так никому и не доверяет.

Он смеется, а я никак не могу взять в толк его слов: «все те годы» мы с Юби знакомства не водили. Я ожидал, что мы сразу поедем мимо зданий с милю вышиной, но мы ехали по какой-то автостраде со светофорами. Пока Нью-Йорк мало чем отличался от Леджена в Майами; я думал, улицы здесь будут пошире. По хайвэю на скорости мчат машины, им нет конца и края; странно — по словам Юби, в Нью-Йорке за рулем мало кого увидишь. Я бы спросил разъяснения, но не надо давать повода Юби чувствовать себя чересчур умным. Минивэн замедляет ход, и до меня только тут доходит, что сзади в машине сидит еще один человек. Глупый недотепа Джоси Уэйлс, вот уж не ожидал от тебя такой лоховистости… Ствола при тебе нет, вокруг тебя окружает бригада че-

ловека, с которым ты работаешь, но доверяешь с оглядкой. Надо было хотя бы потребовать ствол сразу, как только вышли из здания аэропорта. Мы сворачиваем с хайвэя, и я вижу знак со светящейся надписью «Бульвар Куинс». Странно то, что этот бульвар гораздо шире, чем магистраль. Мы катим вниз по улице с кирпичными таунхаусами в три, иногда четыре этажа с террасами, снаружи которых застыли пластиковые стульчики и велосипеды.

— Это, кстати, Куинс.

— Знаю.

— В самом деле?

Я не отвечаю. Внезапно минивэн наскакивает на выбоину, и я подпрыгиваю.

— Бетрам, какого хера — ты там козу сбил, что ли?

— Колдобина, босс.

— Ты только представь: дон ехал из самого Джемдауна, и для чего? Чтобы наскакивать на выбоины? Вот это лажа так лажа.

— Мы не хотели, чтобы он здесь чувствовал себя чужим, Юби.

— Ха-ха-ха.

Я уповаю на то, что никто в темноте не заметил, как я подскочил, иначе просто не знаю что.

Конфуз.

— Наш брат Джоси подпрыгнул так, будто углядел даппи.

Все смеются. Мне не нравится, как Юби фамильярничает, будто он со всеми одного роста. Не нравится, язви ее, проявляемая ко мне непочтительность, пусть даже в виде шутки. Этот человек действительно считает, что мы с ним на одной доске? Да, похоже на то… Интересно, обстояло бы это так, если б Ревун заправлял Манхэттеном и Бруклином так же, как Юби заправляет Куинсом и Бронксом? Нужно составить с ним разговор сразу же, как только мы выйдем из этого фургона. Тем временем я прибрасываю, чем занимается тот человек сзади. Вот следом еще один хайвэй, и, посмотрев вбок, я различаю море или реку, а также неоновую вывеску с эмблемой «Пепси» — старой, еще со времени моего детства.

— Гм. Джоси. Я тут подумал, и…

— Ты думаешь разговаривать о бизнесе в машине?

— Что? А, это… Своим людям я доверяю всецело, Джоси. Что означает…

— Что такое «всецело», мне объяснять не надо.

— Да брось ты, Джоси. Вот ведь человек, бедовей греха!.. Ну да ладно. Можно подождать,

пока мы доедем до «Бостон джерк чикен». Существует, кстати, вероятность, что цыплята джерк из Портленда пустили корни на Бостон-роуд в Нью-Йорке. Забавно, правда? Мой сын по своей просвещенности назвал бы это «иронией». Ох, дети быстро растут, да? Твоему-то старшему сейчас уже сколько?

— Четырнадцать. А это может подождать до той поры, когда мы вылезем из фургона?

— Да я же просто разговор поддерживаю… Ну, как знаешь.

Минивэн остановился. Я даже не заметил, что мы попали в Бронкс. Шел уже десятый час вечера, однако на улицах было все так же людно, люди шагали туда-сюда, и по проезжей части, и по тротуарам, входя и выходя из магазинов, как будто был все еще белый день. Машины парковались вдоль обочин, в основном «Бьюики», «Олдсмобили» или «Шевроле». «Мисс Беула: Укладка волос», «Грузоперевозки братьев Фонтейн», «Вестерн юнион», еще один «Вестерн юнион», «Бутик Питера», «Мужская одежда», «Банк Эппл», и вот наконец «Бостон джерк чикен». Заведение, судя по всему, собиралось закрываться, но кто-то, должно быть, завидел Юби, и свет в тыльной части помещения не погасили. Интересно, он

запамятовал о моем отказе есть ямайскую пищу или же это очередное проявление неуважения в завуалированном виде? Мы сели вдвоем, Юби и я, в оранжевой пластиковой загородке возле двери; он напротив меня. Один из его людей занял место возле кассы, еще двое расположились снаружи.

— Сколько тебе здесь обычно требуется секьюрити?

— Да не особо много. «Иерархия донов» в курсе, что в «Бостон» и на Ган-Хилл им лучше не соваться. В прошлый раз они единственно положили двоих моих дилеров. Но этот ниггер, что перед тобой, сам понимаешь, спустить такого не мог. И вот они как-то устроили в Хэффен-парке вечеринку, куда съехались многие из «Донов». Тут подъезжают три наших машины, выскакивают ребята и уливают весь парк свинцом. Стрельба была даже не прицельная, но некоторым из них на орехи досталось. Хотя меня устраивало и то, что хотя бы один из них до конца дней будет справлять нужду из бока. Это был последний раз, когда их жопники пошучивали в Бронксе. На что их единственно хватает — это вылезать в Филадельфии с фасованным герычем. Но в Бруклине они начинают поднимать голову. И даже понемногу наглеют, я бы так сказал.

— Рассказывай.

— Что — рассказывай?

— Как наглеют.

— Да мне кажется, это тебе и Ревун мог бы рассказать…

— Я спрашиваю не Ревуна. Я спрашиваю тебя.

— Ну ладно. Хорошо. Базар так базар. Твой парень лажается, допускает прокол за проколом, а «Доны» раскатывают вверх-вниз по треугольнику Бродвея, Гейтса и Миртла и все те огрехи подмечают. Споттеры не могут вовремя сыскать бегунов, дилеры ширяются, а те «Шевроле» с «Донами» плавают, как акулы по периметру, только в Бронкс и Куинс заплыть боятся. Все это мне докладывает мой человек.

— Твой человек? Откуда он столько знает?

— Не принимай близко к сердцу, но один из ревуновых бегунков приглядывает там за меня.

— Как, ты смотришь за моим парнем? Юби, это же все равно что смотреть за мной!

— Ой, да брось ты, Джоси. Можно подумать, у *тебя* за мной люди не смотрят. Или латиносы не бегают по ночам в автомат, звонить своей крестной мамаше за ее счет… А мне до этого и дела нет. Пускай себе шпионят. От этого я лишь прочнее стою на ногах и крепче спрашиваю с себя, чтобы

не лажаться. Тот человек докладывает мне два раза в неделю. Но я не представляю, чтобы он вызнал что-то, чего ты сам не знаешь.

— А ну-ка, давай попробуем. Валяй.

— Ну допустим, что твой Ревун употребляет.

— Тоже мне новость. Да он на коксе еще с семьдесят пятого года.

— Новость все-таки есть, Джоси. Он теперь курит крэк, а мы с тобой знаем, что крэк и кокс не одно и то же. Может ли человек делать бизнес, когда он на коксе? Определенно да. Сколько у меня таких клиентов от шоу-бизнеса. «Лизуны» и «духовики» — так их называют. Раньше это считалось чуть ли не признаком богемности. А вот крэк — это совсем иное. Любой дилер, что пересаживается с кокса на крэк, считай что стреляется в голову. На крэке ты не удержишь в голове ни одной мысли, какое уж там бизнес вести… Пользовать крэк — вот и все твои занятия. На крэке ты ни чисел не составишь, ни учет купленному-проданному. Пусть все валится в тартарары, горит синим пламенем — тебе по барабану. Когда увидишь Ревуна, спроси его, когда он последний раз бывал в Бушвике. Курит себе да… еще кое-чем занимается, что к бизнесу можно отнести с большой натяжкой. Он теперь сам крекер, и это его,

бомбоклат, бизнес.

— Откуда ты знаешь, что он курит крэк?

— Мой человек его за этим видел.

— Ложь, Юби. Ты мне лжешь, язви тебя.

— Брат, ты думаешь, он сам это скрывает? Да нет. Ты пойми: когда человек на крэке, ему все становится по барабану. Он мягчает, становится дряблым, как проткнутый мяч. Твой человек, извини, вовсю курвится, пропускает встречи, херит дела, и все у него приходит в запустение. А сам он в это время занимается всякими гадостями, которых понахватался в Майами. В Джемдауне он так себя не вел…

— Хватит.

— А «Доны» кружат вокруг него, как вороны, все ближе и ближе, даже не дожидаясь, пока он сдохнет.

— Хва-тит. Юби, я сказал.

— Хорошо-хорошо, брат.

— Хватит с этим мозгоёбством, поехали.

— Брат, так ведь еще даже еду не подали…

— Я тебе что, жрать сюда приехал? А ну едем в Бушвик. Сейчас же, Юби.

Джон-Джон Кей

Был тот случай в Майами — это как ехать вниз по Коллинз на Саут-Бич. Я сидел, покуривал «Парламент» в вонючем, как задница, «Мустанге», злой как черт от новости о сорвавшемся дельце: грузовичок с «травой», который должен был подъехать, да так и не появился (надо было подрезать на нем нычку и потом загнать). И тут смотрю — как моль на новую обивку, появляются какие-то ребятки. Один, с длинными блондинистыми кудрями — ну прямо-таки претендент на двойника Фарры Фосетт, — катит на роликах, а у самого джинсы с боков сексуальненько так раскроены, высоко, до самых кармашков, торчащих белыми гульфиками. И при этом напевает голосом низким и гнусавым, что тут же сводит сходство с Фаррой на нет: «Еще, еще, еще, как тебе это нравится…» Так и хочется ему сказать: «Пидор, на дворе, бля, восемьдесят третий год».

Ролики у мазафакера девчачьего цвета, что-то между розовым и лиловым. Сиреневые, наверное, — пидор их различит. Катит самозабвенно и не видит, как к обочине подкрадывается чумазый пацан, черные волосы будто присыпаны пылью.

Я сам его заметил только тогда, когда он выскочил из-за машины и вписал в прыжке педриле прямо в бок. Тот вякнул, вильнул, а ролики-то катятся, как у пьяной королевы танцев; он пытается выровняться, но никак не остановиться без того, чтобы грохнуться об асфальт. Орет, кроет на чем свет стоит, но ноги под ним уже не те, и он с ходу влетает на развороте прямо в мусорные баки у сетчатого забора. «Хуярь со своим выпендрежем в Хайалию!»[271] — провожает его выкриком пацан. Латинос, понятное дело, смазливенький — наверное, недавно с Кубы; так недавно, что не усвоил еще, грязный *pinguero*[272], что «Дикарь»[273] — уже конченое старье, а кожа — не лучший прикид на как-никак тропической жаре.

Латинос нагнулся ко мне в окошко (запах изо рта такой, будто пыхнул всего с полчаса назад). Глаза черные и голодные, во рту недостает левого клыка, а подбородок квадратный, как у сына Винни Барбарино в «Добро пожаловать назад,

[271] Примечания: 271

Хайалия — город на юго-востоке шт. Флорида.

[272] Примечания: 272

Мужчина-проститутка (*исп.*).

[273] Примечания: 273

«Дикарь» (1953) — культовый фильм с Марлоном Брандо в главной роли; оказал сильное влияние на развитие «байкерского кино».

Коттер»[274].

Пацан сунул руку в окошко, и я ее схватил — охотничий инстинкт, ничего не поделаешь.

— За «травкой», — пояснил он, и я его отпустил. Он молча обогнул машину и влез на сиденье рядом со мной.

Можно было пульнуть ему за щеку прямо там, но очень уж хотелось отсюда смотаться: все эти захудалые отели в стиле ар-деко действуют на меня угнетающе. Я завел мотор, и парнишка сказал:

— Папик, какого хера? Я никуда не еду.

— Ну так вали из моей машины, — сказал я.

Паренек передумал и сказал:

— Тогда отвези меня куда-нибудь туда, где красиво.

При этом он вытащил из моей пачки сигарету и сунул ее себе за ухо. «Хорошо, что винтовка лежит не на сиденье», — подумал я запоздало. Иначе паренек струхнул бы и не остался. А так он, блуждая взглядом, остановился на моих ковбойских сапогах.

---

[274] Примечания: 274

«Добро пожаловать назад, Коттер» (1975–1979) — комедийный телесериал.

— Ты какой-нибудь ranchero[275], папик?

— Шлифани мне сомбреро — узнаешь.

Надо же, как оно в меня въелось: все это время я думал только о Роки. Даже погрузив руку в грязные кудри того пацана, когда он старательно мне наяривал, я раздумывал о наших с Роки правилах. У нас ведь с ним были определенные правила. Или мы считали, что они у нас есть. Одно из них: если ты с кем-то занялся, то делай это на диване, кровать — это уже неверность и измена. И если решаешь заняться, то делай это действительно с симпотным пареньком, который в жизни, чувствуется, попадается тебе только раз и с ним необходимо это сделать: ведь мы же геи и на устои нам наплевать. Точнее, они у нас свои, не как у «традиционщиков».

Но, драть вас насухо, — тот, с кем я взялся совокупляться без всякой кровати годы назад, в эти дни неожиданно воскрес у меня в голове (это что еще за воссоединение?). Черт знает почему, но в Нью-Йорке я раньше никогда не бывал. «*Погляди, как это делается. Соси мой пальчик, соси, хорошо соси, пока сам не превратишься в вакуум, будто всасываешь пластиковый пакет*

---

[275] Примечания: 275

Владелец или работник ранчо (*исп.*).

до отказа, чтобы из него вышел весь воздух. Всасывай плотно, так, чтобы я не мог вытянуть пальчик наружу, — вот как это делается». Никто не говорил мне, что Нью-Йорк — это место, где правят бал призраки прошлого. «*Ты двинутый фрик, Джон-Джон. Извращенец*». Я никогда и не думал трахаться с мальчиком. В самом деле нет. А тем более делать ему больно. Ни за что на свете. А уж чтобы убить его — такого у меня и в мыслях не было. Что значит «не было»? Когда он упал вниз лицом на железнодорожное полотно, я приподнял его так, чтобы голова его приходилась точнехонько на рельс, на который он лег обвислыми губами, словно целуя. После этого я несколько раз саданул ему ногой по затылку — и раз, и два, и три, — пока не почувствовал, как под каблуком у меня хрупнуло. И все это время я думал единственно о летнем лагере. «*Ну как, чувствуешь, что я засадил? О да-а. До упора? Угу*». Мне четырнадцать, и я только что возвратился из лагеря, а папашка с порога ткнул мне кулаком в живот со словами: «У-у, дрыщ. Ишь, как вытянулся, а всё глиста». Летний лагерь помнился мне единственно привонью средства от прыщей и воспитателями, что разгуливали меж танцующих пар с линейками, то и дело бдительно вымеряя,

чтобы между танцующими оставалось «*место для Иисуса*». Мы сидим с Томми Матео — рыжим, как солнце, белым мальчиком с копной волос под афро, — который все танцы сидел в сторонке и тихо брюзжал, какая это все фигня. «*Слушай, а ты покурить хочешь?*» — «*Ну а чё*», — с томной вялостью ответил он. Две недели после лагеря я помышлял единственно о том, как бы снова с ним встретиться. По телефону Томми показался другим — рассеянно-озабоченным, словно в это же время общался с кем-то еще. Знаете старый туннель под Линкольном? Мы договорились, что свидимся там. И вот я пришел, а он встретил меня там совсем как чужой, будто это не я каждую ночь вставлял ему и мял булки в перелеске. Когда я придвигаюсь слишком близко, Томми презрительно пускает мне в лицо струйку дыма.

«Томми, ну давай, ты же хочешь?»

«Чё? Нет, педик ты гребаный. Нисколечко».

«Это ты педик, дырку под мой хрен весь сезон подставлял».

«Да пошел ты знаешь куда? Это все потому, что там девчонок нормальных не было».

«Ой, умора! Девчонки что, трахают пацанов в задницу? И в лагере девчонок было полно».

«Таких, каких бы я хотел трахнуть, там не

было, даже ты был лучше их всех. Только теперь мы дома, и девчонки здесь есть клевые».

«А я не хочу с девчонками».

«А ты должен, иначе ты педик. Ты педик-извращенец, и я все твоему отцу расскажу».

Блин, блин, блин! Ну почему я сейчас, в эту самую минуту, думаю о такой хрени? В спальне этого парня наконец зажегся свет, затем погас, затем на полчаса зажегся в санузле и тоже погас. Не горит уже с полчаса. Дать ему с полчаса на то, чтобы он заснул? А может, он с погашенным светом пялит какую-нибудь цыпку? Хотя от перемены слагаемых сумма не меняется. Он или заснет, или будет чем-то отвлечен. Можно попробовать взобраться по пожарной лестнице, но это как-никак третий этаж, и подлезать втихую на цыпочках будет ох как непросто. Гризельда дала мне набор ключей, но переться через переднюю дверь вообще верх глупости. Это Нью-Йорк, и у него все двери на замках. А может, он пялит какую-нибудь цыпку и не хочет, чтобы она у него оставалась?

Улицу я пересек и теперь в здании. То и дело подлавливаю себя на мысли, что я типичный педик: с негодованием раздумываю, кому пришло в голову раскрасить всю прихожку в горчичный

цвет? Поубивал бы. Десять, пятнадцать футов; вот уже и площадка первого этажа, а на ступенях все еще ковровое покрытие. Площадка третьего этажа (это там что, не пот ли стекает по спине?). Я у двери; рука машинально водит по дверному полотну, как будто проверяя, настоящее это дерево или так, подъёбка. Учитывая, какое у меня недоверие к той колумбийской суке, я был наполовину уверен, что ключ не подойдет, а потому вставил его и резко повернул, ожидая, что он надломится или типа того, но он, гляди-ка, сработал, хотя и с громким хрустом. Вот язви его, в первую секунду я инстинктивно подрываюсь сделать ноги. Может, оно громче послышалось здесь, чем там? Впрочем, по-любому будет предусмотрительней снять оружие с предохранителя.

Дверь, скрипнув, отворяется; прихожей здесь как таковой нет — видимо, народ в Нью-Йорке в них не нуждается. Прямо по центру обеденный стол с двумя стульями; остальные стулья, вероятно, растыканы где-то еще. Снаружи света почти не поступает, и я различаю только диван у одной стены и двуспальную кровать у другой. Телевизор сразу у окна. Непонятно, то ли простыни на кровати черные, то ли там просто темно. Тем не менее я осторожно приближаюсь, высматривая

на постели хоть какой-то бугорок, и пускаю из обоймы семь пуль. Происходит три вещи: «пзззт», «пзззт» глушителя, легкое пуканье пуль, взрывающих подушку, и какой-то изумленный вздох за моей спиной. Оборачиваясь рывком, я вижу там голого белого мужика, кажется рыжего (в темноте сказать сложно: при выходе он не стал включать в санузле свет). Та сука дала мне не тот адрес. Я поднимаю ствол, чтобы чмокнуть его в голову, но он бросает мне что-то прямо в глаза, и я как будто со стороны слышу свой вопль. Что-то стекает мне по лицу, попадает на губы… ёшь твою медь, это ж жидкость для полоскания рта. Пока я залетаю в ванную и вымываю эту хрень из глаз, он успевает открыть окно и сигануть на пожарную лестницу. Я кидаюсь за ним, а он голышом скачет через две ступеньки и орет благим матом. Я, наспех прицелившись, стреляю, и пуля чиркает о металл, вышибая искры. Я грохочу по ступеням вниз до следующей площадки, стреляя в вопящего обнаженного чувака; что он там вопит, не разобрать, но на призывы о помощи не похоже. Я все стреляю по этой чертовой лестнице. Вместо того чтобы добежать до низа, чувак сигает через перила на асфальт.

И вот мы припускаем по проулку — чувак все

так же визжит как резаный, а я за ним, полуслепой: правый глаз меня, блин, просто доканывает. А еще с каждым шагом в проулке все сильнее начинает ощущаться неимоверная вонища от какой-то, блин, прели и гнили. Я пытаюсь посылать пули твердой рукой, но такое получается только у мазафакеров в кино, и то при двух зрячих глазах. Все мои пули исчезают во тьме — просто вглухую, без рикошетов. Для босого чувак бежит очень даже быстро, подпрыгивая и ныряя зигзагами по темному проулку, полному выбоин и мятых жестянок. На бегу я давлю что-то гадко-податливое — неудивительно, если крысу. Добегаем до перекрестка, и тут беглец непозволительно долго тормозит под внезапными огнями безудержно мчащихся машин. Мой выстрел хлопает как раз в тот момент, когда он возобновляет бег, а его с двух сторон обжимают встречно проезжающие машины. Одна из них притормаживает, а затем рвет с новой силой, закладывая правый вираж и чуть не врезаясь при этом в столб — влево, затем снова вправо, и исчезает из виду. Отчего-то на улице здесь нет никого, что для Нью-Йорка странновато. Вначале мне кажется, что стена передо мной какого-то странного вида — черная, вся из выпуклостей, глянцевито поблескивающая. И

тут до меня доходит, что это мусорные мешки, накиданные поверх друг друга так, что образуется стена, наглухо перегораживающая в темени всю улицу. Я подхожу к упавшему беглецу, хватаю его за левую лодыжку и волоку обратно в проулок.

Доркас Палмер

— Так ты что, всерьез эту ерундистику штудировала? Ты на обложку глянь: розовый шнобель, очки с толстенными дужками… Клоун, просто клоун — не Граучо Маркс, часом?[276] А чего стоят другие твои пасквили, боже ж ты мой! «Оружие американского подполья» или вот — «Как сделать дома профессиональный фейерверк»… Ну а это вообще из разряда классики: «Как навсегда потерять свою бывшую». В самом деле, что это? Я бы мог подумать, что ты активистка-радикалка, но, во-первых, ты не из Техаса, а во-вторых, у них там насчет черных ухо по-прежнему востро. Ни за что к себе не примут.

Я тем временем пытаюсь уяснить, на каком таком основании мой гость решил, что имеет право качать права в моем доме. Ну да, весь этот день он вел себя довольно фамильярно, но такая линия поведения, как будто он мне отец, муж или что-то в этом роде, — это уже слишком. Он ведь просто старик, которому все наскучило, а теперь вдруг

---

[276] Примечания: 276

Граучо Маркс (1890–1977) — американский актер-комик, участник комик-труппы «Братья Маркс».

появилась некая интрига, о которую можно погреть душу и разогнать кровь. Со мной он якобы общается, потому что у меня перед ним какая-то невыполненная обязанность, а так он жестоко во мне разочарован. Надо отдать ему должное, играет с чувством. Можно сказать, талантливо.

— Да вы успокойтесь.

— Что значит «успокойтесь»? Ты что, какая-то беженка, скрываешься? Чего ради тебе понадобилась такая книжка?

— Объясняться я вам не обязана. Ну, увидела ее на полке в магазине, прониклась любопытством… Дальше что?

— Каком таком магазине — «Солдат удачи»[277], что ли? Чтиво этих чокнутых?

— Просто книжка.

— Да не книжка, а руководство, Доркас. Если это твое настоящее имя. Никто не покупает руководство, если не планирует применить его на практике. А судя по тому, как загнуты страницы, ты исчитала ее до дыр.

— Я не обязана перед вами отчитываться.

— Ну и не надо. Но согласись, что эта книжонка — дерьма кусок!

---

[277] Примечания: 277
«Солдат удачи» — военный наемник.

— Утильсырье, хотите вы сказать. Потому я и не использую ее для…

— Я просто сказал, что эта книжка — дрянь. А не то, что ты ее использовала или нет.

Почему я не выставлю его из своего дома за то, что он устраивает мне эти разборки?

— Здесь никто не говорит громче, чем я.

— Что?

— То, что это мой дом и никто здесь, черт возьми, не говорит громче меня.

— Извини.

— Не надо извиняться. Извиниться впору мне.

Он присаживается на краешек дивана.

— Это же твой дом.

Потаенно-обособленная часть меня не прочь заметить, что мне приятно его неравнодушие, что я даже тронута тем, что кому-то есть до меня дело, несмотря на то, что мы знакомы всего ничего. Но вслух я этого не говорю.

— Как руководство к действию я эту книгу не использую.

— Ну и слава богу.

— Потому что…

— Почему же?

— Потому что то, что она рекомендует, я уже и сама проделала в основном. Так что на ней свет

клином не сошелся.

— Что ты такое говоришь?

Мистер Колтхерст подтягивает один из моих кухонных стульев и усаживается прямо передо мной. Он снимает пиджак, а я пытаюсь во всем прочесть символы, хотя бы на этот единственный вечер. Это то, чему я поднаучилась от американских женщин: улавливать во всем, что делает мужчина, тайные умыслы, адресованные мне. В данную минуту, черт возьми, беженец он, а не я. Это он скрывается от семьи. Он смотрит на меня, накренив голову, словно задал вопрос и ждет на него ответа. Ему б не мешало понять, что я не из тех, кого он видит в телике на «Шоу Донахью»[278]. Все эти люди с их частными делами и проблемами, которые им не терпится выплеснуть на двадцатимиллионную аудиторию. Скажи одному из них «привет», не более, и он весь перед тобой изогнется и весь из себя выложится. Всех их тянет в чем-то исповедаться, хотя на самом деле ничего они о себе не расскажут. И уж тем более не раскроют подноготную.

— Кладбище «Флашинг». Сорок шестое авеню,

[278] Примечания: 278

Фил Донахью (р. 1935) — американский журналист и телеведущий; благодаря ему в 1960-х гг. возник такой жанр телепрограммы, как ток-шоу.

Нью-Йорк.

— Чего-чего?

— Кладбище «Флашинг». Там вы ее и отыщете, если потрудитесь искать.

— Кого?

— Доркас Палмер. Доркас Неврин Палмер, пятьдесят восьмого года рождения, Сполдингс, Кларендон, Ямайка. Умерла пятнадцатого июня семьдесят девятого года в Астории, Куинс. Причина смерти: трагическое стечение обстоятельств. Так написано в некрологе, что означает «сбита машиной». Вы представляете, чтобы кого-нибудь в Нью-Йорке слизнула машина?

— Как понять «слизнула»?

— Ну, сшибла.

— И ты вот так используешь ее имя?

— Клодетт Кольбер как-то прискучило.

— Не смешно.

— А я и не смешу. Клодетт Кольбер уже начинало резать слух.

— Нельзя же вот так пользоваться именем-фамилией умершего. По нему же можно все легко отследить? Отмотать к началу?

— Не хочу никого изумлять, но служба, выдающая свидетельства о смерти, в муниципалитете не самая крупная.

— Меня больше изумляет твое постоянное ерничанье. Этого я в ямайцах не припомню. Не смотри на меня так. Если ты каждые пять минут не можешь обойтись без искрометания, то я вынужден обороняться и тоже пускать шутихи. Или относиться ко всему не всерьез.

— Правда? Но вы же сами этого добивались. Хотели, чтобы я все рассказала.

— А ты, можно подумать, так уж этого хочешь.

— Нет, не хочу. И все эти «хи-хи ха-ха» не очень-то меня, честно сказать, прикалывают. Это вы, американцы, с этим вашим «хочешь, я тебя выслушаю?»… Господи, терпеть этого не могу.

— Но все равно…

— Все равно это Нью-Йорк, потому что это Нью-Йорк. И не многие из тех, кто здесь умер, здесь в свое время родились. И у Штатов нет никакой четкой системы учета для всех. Фактически отдел свидетельств о рождении и отдел свидетельств о смерти друг с другом не соприкасаются, они даже не находятся в одних стенах. Так что если есть в наличии свидетельство о смерти, то необязательно…

— …иметь в наличии свидетельство о рождении.

— А если заполучить свидетельство о рожде-

нии…

— …то у тебя есть доказательство, что ты это ты, хотя твоим реальным «я» здесь может и не пахнуть. А ее семья? Ну этой, Доркас Палмер…

— Все на Ямайке. Прилететь на похороны им было не по средствам.

— Ну а социалка?

— С этим у нее в порядке.

— Но ведь она не…

— Главное — получить свидетельство о рождении. Да, я всего лишь позвонила в бюро регистрации на Ямайке и запросила копию моего — то есть *ее* — свидетельства о рождении. Даже не помню, сколько я за него отдала. Люди всегда склонны верить худшему, чем не самому плохому, так что легко на это покупаются. Вы удивитесь, во скольких местах можете сказать: «Понимаете, у меня украли паспорт, но у меня с собой свидетельство о рождении». И это прокатит.

— Н-да… Наверное, было бы проблемней, если б тебя все еще звали Клодетт Кольбер.

— Или Ким Кларк.

— Чего? Ты и его успела побыть?

— Уже давно. Ее больше нет. Так вот, затем я обратилась в Бюро переписи с запросом информации насчет Доркас Палмер.

— И что, тебе ее сразу выдали?

— Не сразу. Сначала взяли с меня семь пятьдесят.

— Боже ж ты мой… А сколько тебе лет?

— А вам это зачем?

— Уф-ф… Ладно, храни это в секрете. А служба соцстрахования не насторожилась, что ты обращаешься за номером так поздно?

— Если ты иммигрантка, то нет. То же самое, если у тебя есть свидетельство о рождении, но при этом утерян паспорт. Или если у тебя есть на этот счет история, такая длинная и занудная, что они сделают все, лишь бы поскорей спихнуть тебя с плеч долой. Имей при себе один, а лучше два элемента из этого набора, и временное ай-ди тебе обеспечено. Ну, а после этого плати тридцать пять долларов — и получишь паспорт. Только я его не получила. Но это уже во второй главе.

— То есть ты не гражданка США?

— Нет.

— И даже не с видом на жительство?

— Ну, как сказать… У меня есть ямайский паспорт.

— С твоим настоящим именем?

— Нет.

— Господи… Там-то ты что вытворила?

— Я? Да ничего.

— Ой, не скажи… Ты, поди, в бегах. То, что ты рассказала, для меня уже волнительней всего ранее слышанного. Так чего ты там понаделала? От кого бежишь? Должен сказать, это жутко интересно.

— Кто знал, что, открыв сегодня дверь, вы к концу дня окажетесь здесь? И, кстати, я не в бегах. Я не преступница.

— У тебя был сукин сын муж, который тебя поколачивал.

— Да.

— В самом деле?

— Нет.

— Доркас… Или как там тебя звать.

— Теперь Доркас.

— Надеюсь, ты поблагодарила ее за щедрость. Дать тебе пользоваться своим именем… — Он встает и снова подходит к окну. — То, что ты иммигрировала под чужим именем, наталкивает меня на мысль, что человек или люди, от которых ты бежишь, находятся на Ямайке, но у них есть ресурсы, чтобы выследить тебя и здесь, отсюда все эти подложные имена.

— Вам бы детективом быть.

— А с чего ты взяла, что тебе, черт возьми, ни-

чего не грозит?

— Здрасте. Я здесь с семьдесят девятого года, а он меня до сих пор не нашел.

– *Он*. Значит, это «он», а не «они». А детишек ты там не оставила?

— Чего?.. Нет, чего нет, того нет. Слава богу.

— Детишки не так уж плохи, пока не начинают разговаривать… И что это за парняга, от которого ты бежишь?

— Вам-то оно зачем?

— Ну, может, я могу…

— Что, помочь? Да я уж сама себе помогла. К тому же он далеко от Нью-Йорка. Да и причины приезжать сюда у него, скорее всего, нет.

— Тем не менее ты все равно прячешься.

— Здесь, в Нью-Йорке, полно ямайцев. Кто-нибудь из них может его знать. Поэтому я рядом с ямайцами не живу.

— Но зачем именно Нью-Йорк?

— Ну, а где мне еще? Не в Мэриленде же торчать или там в Арканзасе. Кроме того, у мегаполиса есть свои преимущества. Общественный транспорт, так что нет нужды в машине. И на общем фоне ты не выделяешься, если только не разъезжаешь с белым в пригородных поездах. И работа есть такая, где тебя никто ни о чем не спраши-

вает. Хотя если ее и нет, то все равно приходится делать вид: уходить по будням из дома примерно в одно время и возвращаться так же вечером. Я вот, когда не работаю, просто хожу в библиотеку или МСИ[279].

— Ах вон откуда у нас познания насчет Поллока и де Куннинга…

— Да бросьте. Это я и без всякого МСИ знаю.

— И все равно это не житье, когда постоянно приходится оглядываться. Не устаешь?

— От чего?

— В самом деле, от чего бы…

— Жизнь понемногу налаживается, открывает кредитный лимит. Здесь все требует погашения долгов, хотя многие из них я, можно сказать, с лихвой оплатила наперед. Впрочем, это уже из четвертой главы… Послушайте, если это у нас момент катарсиса, то вынуждена вас разочаровать.

— Разочарование — последнее, что я думаю при мысли о тебе, милашка.

Мне реально следовало сказать ему: «Я вам не милашка». Просто надо было. Но я сказала:

— Поздно уже. Вам пора домой.

— И как ты представляешь, чтобы я, почтенный

---

[279] Примечания: 279
Музей современного искусства.

белый джентльмен неюного возраста, выбирался из… Мы сейчас где?

— В Бронксе.

— А? Странно, я совсем забыл. А как мы… Ладно, отложим. Зов естества.

Он прикрывает за собой дверь. Его накинутая на стул ветровка соскальзывает на пол, и я ее поднимаю. Ого, какая увесистая, явно не для лета… Да еще с подстежкой; летом в такой употеть можно. Ветровку я складываю, и тут в районе левого плеча замечаю ярлык с надписью, явно не похожей на инструкцию по стирке. Сделана рукой и как будто фломастером: «ЕСЛИ ВЫ ЧИТАЕТЕ ЭТО РЯДОМ С ВЛАДЕЛЬЦЕМ КУРТКИ, ПРОСИМ СРОЧНО НАБРАТЬ 2124687767. СРОЧНО. ОЧЕНЬ ПРОСИМ».

Три длинных гудка.

— Алло, папа?! Папа! Господи, ты…

— Это Доркас.

— Кто-кто?

— Доркас Палмер.

— Что за ё… Подождите, вы та женщина из агентства?.. Лапка, это та, из агентства.

— Да, из агентства. Мистер Колтхерст…

— Умоляю, скажите, что он с вами!

— Да, он со мной. Просто хочу вам дать знать, что это он настоял на том, чтобы мы вышли из

дома. То есть он взрослый человек и может сам делать что хочет, просто я не могла оставить его одного и…

— Где вы сейчас? С ним всё в порядке?

— В Бронксе, и да, в порядке. Что…

— Дайте мне ваш адрес, срочно! Алло, вы меня слышите?

— Конечно.

Я диктую адрес, и он брякает трубку. Хоть бы слово сказал. «Что толку биться вокруг куста», как говорят американцы.

Я осторожно стучусь в дверь санузла:

— Мистер Колтхерст? Кен? Я позвонила вашему сыну. Он говорит, что за вами выезжает. Извините, но уже совсем поздно, а оставаться здесь вам нельзя. Кен, вы слышите? Мистер Колтхерст?

— Ты кто?

Я приникаю головой к двери, чтобы повторить, хотя сказала вроде бы разборчиво.

— Ты кто, ёб твою? А ну прочь от двери! — слышится изнутри неузнаваемо колючий голос. — Иди нах отсюда.

— Мистер Колтхерст?

Я берусь за ручку, но дверь заперта изнутри.

— Иди нах, я сказал!

Тристан Филипс

Скажи-ка мне всё как на духу, скажи сейчас. Ты в самом деле думаешь, что Джоси Уэйлс летел всю дорогу до Нью-Йорка для того лишь, чтобы с шестилетним опозданием лично заняться тобой? Кажется мне, брат мой, что ты слишком уж высокого о себе мнения. Уж извини, но послушай умудренного. Одна из причин, почему Джоси оставил меня в покое, в том, что он на самом деле хотел уничтожить единственно ту движуху за замирение. Я в этом уверен. А когда с миром было покончено, он уже больше никого убивать не хотел. Плюс к тому я изо всех сил стараюсь не попадаться ему на пути, а он мне, так как надвинуться на меня означало бы надвинуться на «Иерархию донов». Понятно, размером нам со «Штормом» не сравниться, и тем не менее на то, чтобы меня обнулить, труда и времени у него ушло бы изрядно. Что до Ревуна, то и ему, и мне известно, почему он на меня никогда не рыпнется.

Однако твой случай по-своему особенный, он стоит особняком. Джоси приказал тебя устранить, а ты возьми и сам устрани его лучшего человека,

считай что правую руку. Может, он тебя даже зауважал, у него случаются такие странные перепады. Может, он о тебе позабудет… Хотя стоп, Джоси Уэйлс не забывает ничего. Скорее всего он думает, что нет различия в том, живой ты или мертвый; разница лишь во времени и деньгах, которые могут понадобиться на твое устранение. Или же приоритеты у него сменились.

И все-таки я не думаю, что он сюда прибыл за тобой. Народ здесь осведомлен постольку поскольку, а Джоси не тот, с кем ты, по твоим словам, *не* пересекался шесть лет назад. Он и этот самый Юби, который здесь с семьдесят девятого года торгует «травой» и коксом, превратили свое дилерство почти что в узаконенный бизнес. Почти. Я уже говорил, что есть одна причина, по какой «Шторм» всегда будет крупнее «Донов»: у этих ребят больше апломба. У них есть планы. Один человек здесь рассказал мне, что «Шторм» рулит в Нью-Йорке, округе Колумбия, Филадельфии и Балтиморе. То есть за то время, что я в тюрьме, они оттеснили кубинцев обратно в Майами. Благодаря им Медельинский картель даже не помышляет закрутить роман с «Донами». Ты знаешь, как плохо, когда среди всего этого крэк-бума ты вынужден переходить на героин.

Но этот Джоси Уэйлс, скажу я тебе, он человек действительно мыслящий, а Юби и подавно. И оба они, к слову сказать, слишком умны, чтобы доверять друг другу.

Похоже, бро, я так тебя и не убедил, что он прибыл не по твою душу. Послушай: Джоси Уйэлс за тобой не придет, пока ты не дашь ему на то повода. Из этих ребят тоже никто не торопится убивать белых, потому что к этому могут принюхаться федералы. Так что, бро, ты нынче чист. Если только не начнешь писать насчет всего этого новую статью.

Книга, говоришь? Кто-то ее ах как ждет? Нет, брат, книгу об этом ты писать не можешь. Позволь мне сказать напрямик. Ты пишешь книгу о Певце, об уличных бандах, о мирном договоре. Но о нынешних бандформированиях… Известно ли тебе, что из них каждое само по себе — целая книга? О чем тебе вообще писать? Никаких конкретных доказательств у тебя нет. С кем тебе даже поговорить-то, кроме меня?

Слушай, ты уже сейчас Божью милость испытываешь на прочность. Стоит тебе об этом что-то написать, и защитить тебя не сможет никто. Ты больше не тот, о ком ему стоит беспокоиться. Родня у тебя есть?.. Нет?.. А что так? Это по-любому

хорошо, потому как эти ребятки в случае чего не побоятся пощекотать и твоих родственников. Ты имеешь в виду, что у тебя нет брата, сестры, матери? Есть? Пирс, так в таком случае родни у тебя, блин, целый вагон. Имей в виду, что в одном лишь нынешнем году эти ребята отловили двоих дилеров из Спэнглерса, что работали в Бронксе. На этот раз «Шторм» поливать ничего пулями не стал. Вместо этого они их обезглавили, поменяв местами головы с туловищами. Почему б тебе не набраться терпения и не дождаться, пока они все друг дружку не перебьют? Это же банды, так что, возможно, слишком долго дожидаться не придется. Глянь на меня. Я вроде как разбираюсь в этих делах получше. Ты ж знаешь, что я однажды даже выступал на телевидении? Дважды перетирал об уличных войнах и мире. Теперь все на меня смотрят и думают: вот он, человек, который вышел из гетто, прошел его школу от и до. Но… да, целая жизнь позади, со всем ее мозгоёбством, но… Даже я, кто, казалось бы, говорит со знанием дела, где ты меня сейчас застаешь? Сам видишь где.

Ну а как насчет Джоси?

Нет, мой юнош, такой, как он, в тюрьме не отсиживает. Я так думаю, он ее после семьдесят пятого года и не видел. Какой полиции, какой

армии под силу его взять? Копенгагена я не видел с семьдесят девятого года, но слышал о нем. В новостях, брат, он предстает эдакой коммунистической зоной. Везде плакаты, настенные рисунки с Папой Ло и Джоси. Женщины называют своих чад Джоси Первый и Джоси Второй, хотя он и не трахал никого, кроме своей жены, с которой они, собственно, до сих пор не обручены. Его можно назвать классическим бандюганом. Но все равно, чтобы до него дотянуться, придется сначала положить весь Копенгаген, и то вопрос, удастся ли это в итоге. Для этого надо будет свергнуть и тех, кто у власти. Правительство. Ну-ка скажи мне, Алекс Пирс, каким, по-твоему, путем партии власти удалось выиграть выборы восьмидесятого года?

Ты знаешь, что я начинаю улавливать насчет тебя? Ты, безусловно, репортер. В этом сомнения нет. Умеешь проникать куда надо и собирать информацию, особенно ту, которую люди давать тебе не планировали. Глянь, к примеру, что ты добыл у меня буквально за сегодня. Ты задаешь нужные вопросы — или, по крайней мере, такие с виду ненужные, которые развязывают людям языки. Но знаешь, что в тебе не то? А может, так оно и надо, и это просто лишний раз доказывает, что ты репортер… В тебе нет соображона, как раз-

ложить все это по полочкам. А может, соображон в тебе есть, просто ты об этом не догадываешься. Забавно, правда? Джоси Уэйлс гонится за тобой по какой-то причине, которая тебе даже невдомек. Или она становится видна теперь? Потому ты и пишешь книгу? Потому что получается все сгруппировать? Или пишешь только затем, чтобы получилось осмыслить потом?

У меня к тебе вопрос.

Я хочу в точности знать, Пирс, чем Ямайка тебя зацепила. Не надо говорить почему: я знаю, ты начнешь лепить ту же лабуду, которую неизменно начинают нести белые, когда говорят о Ямайке, — типа, есть там одна сука с такой сладкой дыркой, что просто не могу с ней расстаться, или другую подобную дребедень. Мне это както брякнул один крекер, у которого членик с огрызок карандаша; но раз у тебя есть ямайская женщина, то, видимо, хер у тебя размером все же не с карандашик. Так что «положи это на меня», как говорят американосы. Чем тебя приковывает Ямайка — красивыми пляжами? Но ты же знаешь, Пирс, мы больше, чем пляж. Мы — страна.

Йоу.

Спасибо, что не вешаешь мне все ту же лапшу с дерьмом. Это место — оно поистине чан дерьма.

Здесь жарко, как в аду, движение всегда замедленно, со встречными тут не поулыбаешься, а проблему нажить ничего не стоит, и глазом не успеешь моргнуть. Все здесь порочно, пронизано сексом и опасностью, и реально, реально, реально скучно. Признаться честно, мне это все уже вот где. И тем не менее глянь на нас обоих. Изменись обстоятельства, и мы бы отдали многое, чтобы вновь оказаться там. Хотя это ох как непросто. Я с тобой согласен: ее сложно не сравнивать с женщиной, эту страну. Поздравляю, с твоей стороны это очень по-небелому. Какой пассаж! Антиклимакс — так это у вас, кажется, называется? Надо признать, если б на выходе у тюремных ворот тебя дожидался Джоси Уэйлс, такой расклад был бы более интересен. Во всяком случае, тебе остается уходить, ну а мне единственно ждать.

Март восемьдесят шестого, юноша. Срок выхода. Что я буду делать? Не знаю. Отправлюсь куда-нибудь в Бруклин, где можно отведать лайма с соленой рыбкой.

Ха-ха. Как будто я могу отделаться от «Иерархии донов». Моя жизнь складывается примерно как у тебя, Пирс. У людей вроде нас жизнь прописывается наперед, без всяких на то разрешений. И ничего особо не поделать с тем, что Господь

вознамерился на тебя обрушить. Йоу, так это называется фатализмом? Не знаю, брат, это слово кажется мне связанным больше с фатальностью, чем с фатумом. Знаешь что, может, тебе и в самом деле имеет смысл написать эту книгу? Я знаю, знаю, что только что сказал обратное, но теперь я вглядываюсь в вещи как-то глубже. Может, кому-то надлежит собрать все это безумство воедино, потому как никто из ямайцев этого не сделает. Ну не могут они этого сделать, потому что или стоят слишком уж близко, или же их кто-то останавливает. Такие, брат, дела. Тут даже не нужно забредать далеко; останавливаться заставляет просто страх, что за тобой могут прийти.

Вот же блин…

Бли-ин!

А знать людям необходимо. Просто быть в курсе, что было такое время, когда мы могли что-нибудь сделать, понимаешь? Реально могли что-то создать, поменять. Просто у людей была какая-то надежда, и усталость, и обрыдлость, и одновременно мечты, что что-нибудь реально может произойти. Знаешь, иногда я тут гляжу на ямайский «Глинер», а он весь черно-белый, и только один-два заголовка выделены красным. Ты как думаешь, сколько должно пройти времени, пока

картинки у нас станут цветными, — три года? Пять лет, десять? Да нет, брат, цвет тут у нас уже был, и мы его потеряли. Такова вот Ямайка. Это не значит, что у нас не бывает веселых проблесков или нам совсем уж не к чему стремиться. Бывали дни, когда у нас все шло более-менее гладко, а затем — бац, и псу под хвост. Сейчас, например, вокруг сплошное говнище, и уже так долго, что люди растут в том дерьме, полагая, что это все, что у них есть. Но людям нужно это знать. Для тебя это, быть может, чересчур крупно. Чересчур крупно для одной книги, и тебе приходится все спрессовывать, корнать и сужать. Фокусироваться. Ты сейчас смотришь на меня, как на остолопа: на то, как я прошу тебя дать объяснение, почему моя страна вот уже четыреста лет тщетно борется со своими неудачами, настоящими и будущими. Ей-богу, впору рассмеяться. Я б на твоем месте так и поступил. Но ведь ты все это заметил, правда? И потому эта история о замирении преследует тебя точно так же, как в свое время меня. Даже люди, которые обычно ожидают худшего, пусть хотя бы на два-три месяца прониклись мыслью о мире. Это все равно что ощущать дуновение свежего ветерка в предвкушении дождя после испепеляющей засухи — оно буквально чувствуется на

вкус. Ты вот погляди на меня. Мне нет и сорока, а я уже смотрю только на то, что позади меня, как какой-нибудь старик. Хотя эй, это десятилетие прошло еще только наполовину. Оно может еще двинуться в любую сторону. Ностальгия — так это называется? Может, потому, что я так долго торчу в зарубежье. Или не могу создать новую память в тюрьме. О чем ты думаешь? Ты должен мне сказать, когда у тебя оформится первое предложение. Я бы очень хотел знать, о чем оно… Как, уже есть? Нет, бро, не говори мне. Я хочу, чтобы ты сначала его написал.

Да, можешь использовать мое настоящее имя. А чье же еще? Однако да, брат, пиши-ка ты свою книгу. Окажи единственную услугу себе и мне. Но только, прежде чем ее публиковать, дождись, пока все помрут, ладно?

— И все же нужно отдать твоему Ревуну должное…

Бушвик. Я все еще раздумываю: как могут ямайцы приходить в гетто, которое в пять раз больше и с домами втрое выше? И при этом считать, что у них все тут будет тип-топ, не как у других. Это что же, никто не ловит различий между мелким добром и охрененной лажей? Дескать, наше дело ввязаться, а раздумывает пускай дядя…

Пока едем, в каждом квартале глаз подмечает как минимум по паре сгоревших домов. А в последнем их вообще уцелело всего два, и вокруг не видно никого, кроме бродячих собак, похожих на призраков людей и всевозможной рухляди. И везде, даже на более-менее сносных улицах, в воздухе веет чем-то затхлым, с привонью.

— Надо все-таки признать, что…

— Почему везде запах, как на задах мясной лавки?

— Так ведь Бушвик, друг мой. Вся мясопереработка до сих пор сосредоточена здесь. Ну, если не вся, то один-два завода точно. Большинство предприятий сдулось, и народ вот мается без работы.

— А с домами-то что?

— Элементарно — поджог. Я же сказал: фабрики позакрывались. Люди потеряли работу, стоимость недвижимости упала так, что денег можно больше выручить со страховки, чем с продажи жилья. Вот и жгут. Все здесь так оскудело и повымерло, что даже бляди в округе не селятся.

— Тогда зачем здесь укореняться?

— А вот это спроси у Ревуна. Он вообще-то поступил умно. Как я уже сказал, здесь как раз и тянет раскинуть лавочку. Почему «Доны» положили на это место глаз, хотят заграбастать? Люди, ищущие крэк, не хотят, чтобы их за этим занятием видели, и куда же они идут? Совершенно верно: туда, на что весь Нью-Йорк закрывает глаза. Оглядись: вот это и есть то место, куда люди идут, чтобы потеряться. Остается лишь создать «точку» при дороге, чтоб было недалеко. Удивляюсь, как я сам про это не дотумкал. Если б брал крэк, я бы не стал долго ждать, чтобы запалить волшебную трубочку. Наоборот, поторопился, чтоб поскорее забалдеть. И уж точно не стал бы тащить драгоценный груз туда, откуда пришел. Так что, брат, я и сам теперь подумываю организовать притончики кое-где в Куинсе, ей-бо.

Я неторопливо озираюсь, вбирая взглядом

окрестность. Ну а чего я, собственно, ожидал? Место вполне себе для бизнеса. Или как, ты думал, будет выглядеть Бушвик? Пока не видишь все своими глазами, не понимаешь, насколько всякое представление об Америке черпается из телика. Улица широкая, но пустынная. Как-то бесприютно. А еще хуже, что из людей на ней только я, Юби и его люди.

Минивэн остался в двух домах отсюда, и по дворам мы идем пешком. Останавливаемся перед домом с заколоченными окнами.

— Это оно? То самое место?

— Да, брат.

— Ну так заходим. Я думаю…

— Повремени, Джоси. Ты же хотел проверить, как здесь все работает? Вот давай и понаблюдаем, что да как.

Он указывает вдоль улицы, но я ничего не вижу. И тут становится видно, как из затенения под свет фонаря выходят двое. Отсюда толком не различить, но один из них, судя по всему, споттер. У другого лицо скрыто под капюшоном. Споттер оборачивается и указывает вниз по улице в нашем направлении. Капюшон продолжает идти, пока его не останавливает еще кто-то, — во всяком случае, пытается, — но Капюшон не сбав-

ляет хода. Второй что-то выкрикивает, и тогда Капюшон разворачивается и подходит к нему. А тот первый уже разговаривает с кем-то новым. Капюшон под фонарем ручкается со вторым. Юби утягивает меня обратно в темноту. Судя по тому, как Капюшон, меняя позу, скрещивает ноги, это девка. Второй человек делает с полтора десятка шагов и ручкается с третьим, который только сейчас появляется из-за фонаря. Зрение для меня предмет гордости, но даже я его раньше не замечал. Третий и второй разделяются, и второй возвращается к девке в капюшоне. Та приходит в движение, и в тот момент, когда она без остановки проходит мимо второго, их руки соприкасаются. Капюшон проходит мимо меня и удаляется вверх по улице.

— Куда?

— На «точку», — поясняет Юби. — Можно сходить проверить.

— Не надо. Подзови сюда того пацана, — указываю я на паренька, что стоял невидимый за фонарным столбом.

Юби подзывает, и тот фланирует в нашу сторону расхлябанной походкой, характерной для молодых чернокожих: ноги и руки при ходьбе болтаются как будто в противоположные

стороны. Паренек подходит ко мне и не останавливается, а как будто обвисает с вешалки.

— Чёмль.

— Как?

— Это в смысле «что, бля», — поясняет вполголоса Юби. — То есть «как дела», «что происхо…».

— Да понял я.

— Молодежь нынче буровит так, что я и своего-то мальчугана не понимаю, не то что…

— Как бизнес? — спрашиваю я парня.

— Пятница вечер, как он, по-твоему, должен? Людям башляют, вот они и шарятся по улицам: кто за пиздой, кто за хуем. Шлюхи, которые на крэке, отсасывают за мелочовку и прут ко мне. Короче, вечер пятницы, йоу.

— Сколько уже Ревун тебя тут держит?

— Кто?

Юби тихо смеется, но я все равно слышу.

— Ревун, твой босс.

— А, Майкл Джексон… Он где-то тут, по крайней мере был пару часов назад. Может, пошел домой охладиться: хлопотный денек для мазафакера.

— Разве можно своего босса называть мазафакером?

— Джоси, здесь оно по-другому, — вставляет слово Юби. — В целом их уважают, а за спиной

в шутку кличут мазафакерами. А еще факерами мазы.

— Что это за хрень, Юби? Я этого не одобряю.

— Хорошо, хорошо, папик, — успокаивает паренек. — «Мазафакером» больше ни-ни. Бля буду.

— А ты, я вижу, свое дело знаешь туго. Так сколько Ревун держит тебя на этом пятаке бегуном?

— Часы есть?

— Ну да.

— А скоко время?

— Одиннадцать.

— Значит, пять часов. У меня все четко.

— Что? Как ты сказал? Пять часов? Он так быстро ставит новичка бегуном?

— Я бы новенького сначала обкатал, прежде чем доверять, — качает головой Юби.

— Почему новенький, папик? Просто новый бегун. Я до этого две недели споттером был.

— Да уж я вижу, как ты тут заправски надзираешь, — говорю я. — Но как так вышло, что тебя так быстро повысили?

— Значит, такой я, бля, классный пацан. Сёдня все идет ништяк. Зашибись. Не то что с неделю назад. Полный отстой был.

— А ну-ка, поясни, — навостряется Юби.

— Мистер, — говорит паренек, глядя в упор на

меня и указывая на него, — я вашему сутенеру не дуру гоню, а говорю все как есть.

— Сутенер? — вскидывается Юби. — Ты кого, выблядок, сутенером назвал? Да я тебя сейчас…

— Юби, дослушай юношу, — говорю я якобы серьезно, но он, безусловно, видит, что я улыбаюсь (вот и хорошо). Мне этот парнишка нравится. Я делаю к нему шаг и кладу руку ему на плечо. — Хорошо, хорошо. Ты молодец, парень с головой и еботы ни от кого не терпишь. Хвалю. Но пойми вот что. Ревун платит тебе потому, что ему плачу я. И в живых ты у него постольку, поскольку его щажу я. Ты меня понял?

— Ясное дело, папа. Ты здесь за главного.

— Но постой, Джоси, откуда он все это знает?

— Так ведь ямайцы все заполонили, йо. Как те шлюхи, которых ты сутенируешь, обсидели весь Флэтбуш[280].

— Повторяю для глухих: я не сутенер.

— Так ты чё, бро, реально в такой прикид рядишься? Йяу, охереть.

Видно было, как Юби кипит на медленном огне: терпеть такое от щегла.

— Так что за отстой, ты говоришь, здесь был на

---

[280] Примечания: 280
Флэтбуш — жилой квартал Бруклина.

прошлой неделе? — напоминаю я.

— А, насчет того… Вообще я не стукач. Но если б мазафакер еще денек проваландался, на этом углу уже хозяйничали бы «Доны».

— Что?

— А то. Или я, по-твоему, обсаженный? Йоу, споттеров держат для посылки клиента к бегунам, а бегуны дыбают дурь у дилеров, а у нас тут оба дилера только и занимались, что потребляли запас из общака, сами постоянно под балдой — что в таком случае происходит?

— Вот видишь? — бдительно напоминает мне Юби. — Я тебе то же самое говорил.

— А что делал Ревун?

— Честно сказать? Хрень всякую делал. Вел себя, как настоящий мазафакер. Один из тех дилеров по обкурке послал его нах прямо на «точке», а он его взял и мочканул. Просто на раз, как консервную банку: чпок, и всё. Блиииин… С вами, ямайцами, играться опасно, это факт. А потом привел меня, повысил и спросил, есть ли у меня кореша, которые бабла хотят срубить. Я сказал: «Да, бля, есть у меня кореша». И вот теперь мы, папа, взяли тут всё под себя. Мышь по улице не проскочит.

— А дилера кто снабжает?

— Ну, наверное, твой Ревун.

— Куда он пошел?

— Я когда уходил, он был на «точке». Может, пошел другие базы проверить. Слушай, пап, я тут чем дольше с тобой пизжу, тем мне меньше денег на карман. И тебе, кстати, тоже.

— Да, да… Как тебя звать?

— Девки Ромео кличут.

— Ладно, иди, Ромео.

Под моим взглядом он отплывает фиглярской походкой.

— Это что, сегодня на сцене все нанятые Ревуном? — усмехается Юби. — Ничего себе: он даже не знает, как и кем у него контролируется важнейшая территория… Нет, ты только представь: пара новичков сейчас оберегает весь запас. Надо бы ту «точку» проверить, Джоси. Она прямо там, на…

— Идем прямо туда, — говорю я. — Где твои парни?

— Да здесь, невдалеке.

— Свяжись с ними, притормози. Я хочу осмотреть этот дом. Только без наезда.

Мы проходим два дома и поворачиваем направо. Обычная типовая халупа, где на третьем этаже с окон частично сбиты фанерные щиты.

Как в некоторых домах кингстонского даунтауна, где, если приглядеться, еще можно заметить в лоскутьях обоев следы былой роскоши. По всему видно, что ступени здесь доводят только до второго этажа. Все неимоверно загажено и замусорено; внизу пол в собачьем дерьме. А во дворе вместе с тем нарядная оградка, будто кто-то заботливый здесь живет и холит газон. В темноте не видно, но кажется, стены здесь из кирпича, как и везде. Свет над входом напоминает луч прожектора. Везде хлам и рухлядь. Посреди лестничного пролета сидит, должно быть, обдолбанный в созерцании собственной тени. Внутри источника света два: белесый, наподобие фонарика, и колеблющийся, как от свечи или трубки с крэком. Лишь в прошлом году я наконец добрался до Валье-дель-Каука[281]. А вот теперь стою здесь, у этого дома.

— Хочешь, чтобы мы зашли вместе? — спрашивает Юби.

Я не отвечаю. Не хочу, чтобы он счел, будто я испугался, но и входить пока не спешу. Чувствую, как Юби стоит сзади и ждет, когда я что-нибудь предприму. Внутри может быть Ревун.

— Я отлучусь, отолью за домом. Сейчас приду.

---

[281] Примечания: 281
Валье-дель-Каука — один из департаментов Колумбии.

Слышно, как шаги Юби отдаляются. Если Ревун внутри уже так долго, то я не знаю. Если он внутри так долго, то он… Если он внутри, то, может, выдаст отмазку в своем ревуновском стиле. Но что ему там делать все это время? Если он внутри, то ему, наверное, и выходить оттуда незачем. Если…

— Э, мазафака! Давай мль всё! *Всё* давай мль!

Я оборачиваюсь. В нос шибает запах пота, дерьма и блёва. На башке в волосах газетные клочки. Черный конь в пальто, чешет об ногу левое копыто, а свободной рукой направляет мне в лицо пистолет. Морщась, как от боли, мельком озирается и снова вылупляется на меня. При этом ногу он чесать не перестает. Точно сказать сложно, но, похоже, он босой. Перетаптываясь с ноги на ногу, черный сжимает бедра, как будто мучительно хочет ссать.

— Ну! Я чё мль, корки, что ль, буду мочить, мазафака? Играться с тобой, что ль? Ща засажу мль, засандалю свинец в дупло! А ну кончай с этой херней! — И снова взмахивает пистолетом: — Бабло гони, кому я сказал!

Из наружного кармана я достаю купюру. Думаю потянуться в бумажник еще за одной, но он выдергивает ее у меня из руки. Наводит ствол

мне в лицо, спускает курок, и не успеваю я даже напрячься, как мне в лоб бьет струйка и стекает по лицу.

Вода.

Нет.

Моча.

Черный ржет и взбегает вверх по лестнице к точке, мимо согбенно сидящего нарика, который при этом даже не шевелится. Как и я. Я отираю с лица ссаки. На расстоянии я вижу Юби: он идет ко мне, а из-за спины его обгоняет еще кто-то. Обгоняет и быстрым шагом подходит ко мне первым.

Ревун.

— Джоси! Джоси, брат, ты здесь совсем один? Юби-то, я знаю, отошел… Ты в порядке? Что за запах?

— Ссаки, Ревун. Ссаки, блядь!

— Но… как?

Подходит Юби. Я уж не интересуюсь, что он там из себя выссывал, реку Нил или Ниагарский водопад.

— Какой у тебя ствол? — спрашиваю я, глядя на него в упор.

— «Девятка».

— Давай сюда. Ревун?

— Она же. И еще «Глок».

— Давай «Глок».

Я снимаю оба ствола с предохранителя и стремительно, с «девяткой» в левой руке и «Глоком» в правой, направляюсь к «точке».

Ревун

По стволу в обеих руках — это реально как бандит с большой дороги. Ни голоса, ни звука, ничего вообще — взял и попер. Джоси Уэйлс тяжело ступает в темноте к «точке» и слышит, как сзади идем мы. Он оборачивается, останавливается и смотрит. Мы тоже останавливаемся и ждем, когда он двинется дальше, но Юби дальше не идет, а я — да. Джоси теперь идет быстро, плечами по-звериному подавшись вперед. Я хочу спросить, что случилось, но продолжаю идти. Сквознячок доносит привонь ссак от его рубашки. Вот Джоси минует человека на ступеньках и проходит в дверь. По всему полу здесь натыканы свечи, что придает халупе вид церкви. От свечей свет источается медленно, а Джоси движется споро. На полу уйма жестянок, готовых опрокинуться. Бумага, фанера, рулоном облезающей кожи свернут линолеум. От свечного света на стене колышется граффити — справа большие К и С, слева бахрома облупившейся краски. Посредине еще один проем, куда уже ступил Джоси. У меня на глазах он поднимает правую руку со стволом, и грохает выстрел. Джоси отпинывает бутылку из-под

виски. Я подбегаю сзади, а справа плашмя лежит человек, из-под которого медленно вытекает кровь. Справа находится сортир. Там на унитазе со спущенными штанами сидит то ли белый, то ли латинос с прямыми волосами — вероятно, присел похезать, но рукой пошлепывает себе левую руку, чтобы проступила вена. Джоси поднимает «Глок» и стреляет дважды. Вторая пуля сшибает человека с унитаза, и он грохается на пол. Джоси проходит в открытую дверь направо — там кухня, и к шкафу скотчем приделан фонарик. Свет фонарика сеется на пол, где в молитвенной позе застыл некто — волосы косицами, лицо с закрытыми глазами поднято, а во рту красненьким попыхивает трубка с крэком. «Кх» (никакое не «пумм», как в кино, а именно «кх-кх»). Тем не менее на этом Джоси не останавливается, и его шаги в этом сонном мареве хрустят по жестянкам, коробкам из-под пиццы и китайской лапши; он пинает по ходу какую-то бутыль, распинывает всякое сухое дерьмо и, топоча, подходит к очередному проему, где к притолоке припал кто-то, сидя к нам боком. За пояс его облапили две черные руки. Какая-то баба. На спине у нее висит в «несушке» младенец, сосущий пустышку, а сама баба в это время насасывает хер. Джоси пускает в

сластолюбца пулю, и тот, вздрогнув, роняет голову, но по-прежнему в сидячем положении, и баба ему все так же наяривает. Видимо, почувствовав, что хер обмяк, она озадаченно вынимает его изо рта и встряхивает (видимо, оплата ей положена только после того, как клиент кончит). Уходя, мы застаем ее за тем, как она снова запихивает хер себе в рот. Мы направляемся в гостиную («Кого ты ищешь?» — хочется спросить мне, но я этого не делаю) и застаем там справа еще одну черную бабу в белом лифчике и с косяком; одна лямка от лифчика сбилась ей на плечо. А к ней впритык пыхтит мужик без рубашки, а может, рубашка на нем темная, просто ее не видать из-за плохого освещения, и тоже с тлеющим косяком. «Кх-кх» — и мужик отваливается на диван. Черная бабень оборачивается — дескать, что это там, — после чего ошалело смотрит на меня. Секунда, и она разражается воплем. За одним воплем следует другой — его испускает белая женщина, которая при этом роняет шприц и ныряет на пол вниз лицом, при этом игла пронзает ей нижнюю губу, но она этого не замечает и в поисках упавшего шприца разбрасывает по сторонам мусор, а вокруг из потемок проступают люди — кто-то вприхромку, кто-то ползком, а кто-то

уже и вскачь. Ну а Джоси поднимает обе руки и учиняет адище. Люди бегут, качаются в угаре, спотыкаются; кто-то мчится прямиком на Джоси, но лоб у него лопается, и он валится, как дерево, а какая-то женщина вскакивает и выпрыгивает в окно — и вопить она снаружи будет не переставая, если только не убьется. Из соседней комнаты появляется кто-то в бейсболке, клетчатой рубахе и с бутылью вискаря — «чё тут, мля, у вас?» — но получает в грудь две пули, и бутыль, падая, разбивается. В смежной комнате сидят светлокожий курчавый паренек и девчонка в беретке; раскуривают на пару трубочку крэка, но сделать затяжку беретке не дает угодившая в лоб пуля, и трубочка выпадает (паренек кидается к ней с упреком: «Ты чё, торкнулась? Трубка же выпала, трубка!»). Помещение расчищается, но Джоси не унять; я хочу схватить его и сказать: «Джоси, что за дела?», но он выскакивает на лестницу и якобы невидимый застывает в нескольких ступенях справа от входа. Мне остается следовать за ним. Он поднимается к следующей площадке и оттуда палит с двух рук; кто-то валится через перила, а баба с ребенком перебегает в пустующую квартиру напротив, успевая как раз перед тем, как Джоси всаживает в дверь три пули. Он пинком

распахивает дверь, где его взору предстает сцена: здоровенный негр на матрасе энергично шпилит девку. «Кх-кх» — и негр грузно оседает, не давая девке пошевелиться; та под крэком, поэтому вопить начинает не сразу. Мимо двери кто-то прошмыгивает, и Джоси с криком «Стой, тварь!» кидается за ним. На выходе из двери он делает выстрел с правой руки, затем с левой, и пуля попадает беглецу в шею за ухом; затем он бьет с правой в плечо, с левой в затылок, с правой в спину, с левой в шею, и беглец падает на колено, а еще один выстрел с левой сносит ему макушку; кровь хлещет изо рта, беглец падает, а с головы осыпаются газетные клочки. Джоси подходит к нему и стреляет до полного опустошения обойм. И даже тут он не унимается: «щелк щелк щелк». «Джоси», — говорю я осторожно, на что он рывком оборачивается, наводит мне на голову ствол и снова «щелк». Он стоит с уставленным мне в голову стволом, а я стою, глядя на него, весь внутренне сжавшись и незаметно, по частям выдыхаю воздух, напружинив живот. «Дай сюда второй ствол», — приказывает мне Джоси. С ним он подходит к лежачему, переворачивает его ногой и забирает у него из кармана деньги — точнее, единственную купюру. Затем мы возвращаемся в

комнату, где под негром пришла в себя деваха — лежит, кряхтит и хнычет под его убойным весом (уж очень он здоров). Напоследок негр получает от Джоси в голову еще одну пулю. После этого Джоси спускается, поворачивает в одну из комнат и делает там выстрел, а я заглядываю и вижу, как плачет тот светлокожий кудряш, потирая своей бабенке круглый живот — она, оказывается, беременная. Джоси минует еще одного лежачего, у которого из глазницы стекает кровь, и делает ему повторный «кх» в голову. В гостиной все так же сонно возится та белая со шприцем в губе, все так же на четвереньках и все так же не может его отыскать. Минуем спальню, где сидела та черная бабень в белом лифчике; теперь ее там нет, а у мужика все еще дымится косяк. Джоси пускает в него еще одну пулю, и мы проходим последний проем, где все так же сидит приткнутый к притолоке мужик, а баба ему насасывает — «ну же, ну, красавчик, да вставай уже», — а младенец во сне держит ее кулачонками за свитер. Мы проходим мимо, минуем того, с косицами, который все еще прерывисто дышит, булькая кровью, сплевывает и давится, а растеки крови в свете фонарика кажутся черными. Джоси подставляет ствол ему ко лбу — «кх», — а затем подходит к сортиру и

всаживает пулю в неподвижного латиноса. Наконец мы близимся к входной двери, и я только тут вспоминаю про того, кого несколько часов назад застрелил собственноручно, — он все тут же, никуда не делся. Мы выходим из подъезда, и Джоси поглощают потемки. Я на какое-то время останавливаюсь и стою, а затем сбегаю по ступеням. Тот зомби на лестнице успел куда-то подеваться. Я нагоняю Джоси с Юби. Джоси снова резко оборачивается и уставляет в меня ствол. Долго держит его направленным на мою голову, в то время как я напряженно отсчитываю секунды до сработки. «Щелк».

— Джоси? Джоси? В чем дело, брат? Джоси, что случилось?

Пистолет он мне даже не отдает, а просто роняет и удаляется. Юби тоже поворачивается уходить, но останавливается и поворачивает в мою сторону. Его лица я не вижу.

Доркас Палмер

Говорите что хотите, но мне кажется, что в «Ти Джей Хукере» волосы у Хизер Локлир смотрятся лучше, чем в «Династии»[282]. Или же мне просто не нравится, что одна из героинь «Династии», вынужденная за все бороться, проявляет себя стервозой. И уж хоть бы была действительно сукой вроде Алексис Каррингтон, так ведь нет — при отсутствии денег она не сука, а всего лишь мелкая сучонка. Потому и никакие волосы ее в сериале не красят. Кроме того, при виде ее в «Ти Джей Хукере» у меня реально возникает желание надеть униформу. А может, даже заделаться полицейской, потому что носить привлекательную одежду на протяжении всего дня — чересчур дорогое удовольствие, даже когда ты не стремишься стрелять своей внешностью. Иногда хочется всего лишь рубашку, по которой мужчины могут распознать, что у тебя все-таки есть бюст.

Он так и торчит в санузле. Как я его только

---

[282] Примечания: 282

Хизер Локлир — американская актриса и продюсер. «Ти Джей Хукер» — американский полицейский телесериал. «Династия» — американская мелодрама; в центре сюжета — состоятельная семья Каррингтонов.

оттуда ни выманивала последние… сколько, пятьдесят пять минут? В сущности, я даже не знаю, кто там у меня сидит в ванной. Что за чертяка. Чем больше я над этим задумываюсь, тем меньше смысла, так что лучше просто перестать заморачиваться. Как тому персонажу в «Преступлении и наказании», про которого Достоевский выразился, что он вне мысли или типа того[283]. Иногда, ей-богу, мне так хочется снова быть женщиной, что едет себе где-нибудь по городу в автобусе и читает книжки… В какой-то момент ты просто проникаешься энергией своего усилия, что само по себе нормально, пока не начинаешь задумываться, а зачем оно всё. В конце концов, в основе всего лежит цель. Сама не знаю, что я такое несу. Ведь этот человек по-прежнему сидит у меня в ванной, как в том «Сиянии»[284], где я сижу под дверью навроде Джека Николсона. Все это время я пытаюсь вычислить, что за недуг может быть у этого вполне здорового на вид мужчины. Ведь мне и в голову не приходило, что эта проблема совсем не физического свойства. Надо же,

[283] Примечания: 283

Имеются в виду «воззрения Родиона Раскольникова».

[284] Примечания: 284

«Сияние» (1980) — культовый фильм ужасов С. Кубрика по одноименному роману С. Кинга.

как я притягиваю к себе несчастья… Как магнит. Что ж, по крайней мере, он заперся в санузле самостоятельно и не собирается превращаться в убийцу с топором. Исходя из контекста, убийца с топором здесь как раз я.

Блажь какая-то, если вдуматься. А ну-ка, стой, иначе ты опять впадешь в пагубную задумчивость. Что, если так: в санузле у меня находится человек, которому нужно выйти. Я его вызволить не могу, поэтому сюда для этой цели едет его семья. Ну вот. Теперь я могу хоть как-то отойти от этой концентрации на том, что здесь происходит. Мне нравится, как оно сокращается, скукоживается во что-то, о чем печься нет нужды. Как мне нравятся все эти сокращения, выкипания, вырезания, забывания… Всё, хватит. Хватит метафор для устранения лишнего дерьма из моей жизни. Как раз сейчас все это лишнее дерьмо сидит взаперти у меня в санузле.

Оп, два известных мне звука: оконная рама, вверх и снова вниз. Ничего, там решетка от непрошеных гостей, к тому же это пятый этаж (он, наверное, это и не усвоил). Попытка бегства не удается. Сколько времени пройдет, пока он наберется храбрости распахнуть дверь и устроить сражение? Успокоится ли он, застав в доме

одинокую женщину? Уйдет мирно или решит прорываться непременно с боем? Черт их знает, этих отставников. В этом городе все смотрятся совершенно непредсказуемо, что уж говорить о поведении… Знаете что? Вот так возьму и останусь сидеть на своем диване, полуукрывшись пледом, и досмотрю серию «Ти Джей Хукера». Так и дождусь приезда его сына или кто он ему. Хотя когда это произойдет — судя по тому, что они уже трижды перезванивали для уточнения координат?

Может, спросить, нуждается ли он в чем-нибудь? В сериалах обычно всегда так спрашивают. Спрашивать, хочет ли он поговорить по душам, я, понятное дело, не буду. Надо б, кстати, немножко прибраться: как-никак люди приходят. Можно подумать, они прибывают сюда для осмотра… Да они даже не заметят, на каком он там коврике сидит. Или на унитазе, или на краю ванны… А кстати, где? И чем он там занимается? Боже мой, всего пару часов назад он был таким милым, нормальным, таким… Нынче даже слов таких нет для описания мужчин, потому что они их недостойны. Фатоватый, удалой, обходительный… Какие еще есть слова из старосветской этики? Ну прямо такой, такой… Я ведь делала все, чтобы не думать

о нем таким образом: думать так о мужчинах никогда к добру не приводит; вот и сейчас такой «хеппи-энд». Должно быть, самые удовлетворенные люди на планете — это лесбиянки. Может, подойти к двери и сказать, что приезжает его сын? Хотя ну его. Слышать «иди ты нах, как там тебя» во второй раз ничуть не прикольней, чем в первый. Интересно, который из нас очнулся от кошмара? Ждать и смотреть — или смотреть и ждать? Никогда раньше не задумывалась о смысле этого перевертыша. Все равно что затишье перед боем, которое чаще мучительней самой схватки. Я смотрю на дверь и жду, когда он из нее выйдет, возможно, вооруженный моими щипцами для белья, феном или плойкой, — может, он сообразит, что имеет дело с женщиной и ее проще одолеть. Как забавно повели себя эти Колтхерсты… Забавно и подленько: из деликатности не упомянули, что мне предстоит иметь дело с шизиком. А может, и маньяком, только я…

Стук в дверь. Вот она, мисс Колтхерст, с шарфом на голове (бигуди, что ль, под ним прячет?) и в толстом верблюжьем пальто (самое то для лета). Нашептывает «о господи, о господи» и проходит мимо не здороваясь. Уверенность, что работы у меня больше нет, придает мне решимости не

миндальничать с этими белыми пройдохами. Я уже собираюсь высказать этой не в меру размалеванной сучке насчет приличия в моем доме, когда следом на площадку поднимается тот самый сын.

— Извините, пожалуйста. Мне очень неловко за то, что произошло, — говорит он, тоже входя без приглашения.

Теперь уже я ощущаю себя чужой в моем собственном жилище. Держаться я стараюсь без суеты; во всяком случае, надеюсь, что со стороны этого не заметно. Между тем вновь прибывшие сходятся у двери в санузел.

— Папа, ах, папа… Все это так неловко… Выйдите наружу.

— Подь ты нах, прошманда.

— Пап, ты ведь знаешь: я не люблю, когда ты так разговариваешь с моей женой.

— И у меня есть имя, — вставляет она, — Гейл. А у него — Гастон.

— Дорогая, давай не все сразу. Пап, ты можешь выйти наружу? Имей в виду, ты не дома, если ты этого еще не заметил.

— Кто это меня сюда упек?

— Папа, это потому, что вы не принимаете таблетки.

— С какой стати эта визгливая сука называет меня своим папой?

— Пап, ты был на нашей свадьбе. Так что перестань вести себя так, будто об этом тоже забыл.

Сын смотрит на меня и одними губами выговаривает: «Извините за все это».

— И вообще, пап, пора вернуть мисс Палмер ее жилье. Она и без того уже с нами хлебнула.

— Как я сюда попал?

— Вас похитили, папа.

— Никто меня не похищал, тупая ты задница. Думаешь, той мелкой чернушке хватило бы сил меня похитить?

«Мелкой?»

— Пап, мы ведь с тобой говорили… Помнишь, у нас был разговор о твоих затмениях?

— Я где?

— Вы в Бронксе, папа.

— Чушь. Кто это в затмении оказывается в Бронксе?

— По всей видимости, вы, папа.

— Кто-нибудь может заткнуть эту суку?

— Пап, ну в самом деле хватит. Прекрати и выходи наружу.

— Ну, ты шутник…

— Ладно, пап, ладно. Пусть я шутник. Тогда что

за умник великовозрастный только что допер, что находится в сортире чужой женщины посреди Бронкса, да еще и понятия не имеет, как сюда попал? Это я-то шутник? Уж не знаю, как ты попал в квартиру этой бедной женщины, хотя мне и до этого дела нет. Но если ты хочешь, чтобы она вызвала полицию, которая утащит тебя за задницу в тюрягу за взлом с проникновением, если чего не хуже, то мигом вылетай отсюда, пока еще можно уйти!

— Я не собираюсь…

— Я сказал, *мухой*, Кен!

Ко мне бочком близится жена.

— А вон то креслице, это у вас «дениш модерн»? — скороговоркой интересуется она.

Я отвечаю, что нет (знала б она, что этот самый «модерн» буквально на днях просто выставили на улицу). Вообще она ведет себя, как обычная богачка. Они все одинаковые, даже на Ямайке. Если б не браслеты, они бы и не знали, для чего им руки. Наконец появляется Кен (понятное дело, никто теперь не должен знать, что я его так называла). Вид у него примерно тот же, только волосы уже не как у пожилой кинозвезды: одна прядь свесилась на бровь. С чопорно выпрямленной спиной он покидает мою квартиру, держа руки

перед собой, будто на них надели наручники.

— Гейл, дорогая, ты не проводишь папу к машине? Мне б тут хотелось сказать несколько слов…

— С этой сученцией я никуда не пойду.

— Дорогой, может, ты сам отведешь своего отца?

— А ну, *вон* из дома этой женщины, оба! Вниз к машине, шагом марш!

Жена уходит, рассеянно покручивая на своем запястье браслет, словно тот обладает некой самостоятельной движущей силой. Мистер Колтхерст перед уходом смотрит на меня — не по-снобистски, сверху-вниз-снизу-вверх, а как дети, глаза в глаза. Я отвожу взгляд первой и не смотрю ему вслед.

— По-моему, мы с вами не встречались, — усаживаясь на тот самый «дениш модерн», заводит разговор сын.

— Нет. Вы были на работе.

— Точно. Вы ведь Доркас, верно?

— Да.

— Так как он сюда попал?

Не знаю, отвечать ему или просто посидеть, поразглядывать. Он, кстати, тоже похож на Лайла Ваггонера. Интересно, ему польстит или, наобо-

рот, уязвит, если сказать, что они смотрятся как два брата?

— Это он потянул меня из дома. И остановить его у меня вряд ли получилось бы. Оставалось только идти следом, чтобы он ни во что не влип.

— Но Бронкс… Ваша квартира…

— Между нами ничего не было.

— Мисс Доркас, мне это, признаться, без разницы. Так вы знали специфику насчет моего отца?

— Ваша жена мне ничего не объяснила. Но я вижу, что-то такое было, раз вы обратились в бюро.

— Для отца каждый день внове.

— Каждый день, он для всех новый.

— Да, но для него внове *всё*. У него такая специфика.

— Я что-то не вполне понимаю.

— Он *не помнит*. Не запоминает ни вчера, ни сегодня. Ни о том, что встретил вас, ни что ел на завтрак; завтра к полудню он даже не вспомнит, что сидел у вас в ванной.

— Вы прямо как кино рассказываете.

— Оно и есть кино. Очень, очень длинное. Кое-что он помнит безупречно — как завязывать галстук и шнурки, где у него банк, какой номер соцстраховки, — но президент у него по-прежнему Джимми Картер.

— А Джон Леннон все еще жив.

— Что?

— Да так, ничего.

— Неважно, что и как вы ему говорите, на следующий день он это забывает. Не помнит ничего примерно с апреля восьмидесятого. Хотя помнит, что у него есть мы; помнит, что ему ненавистна моя жена, — из-за размолвки, что случилась у них в тот самый день, когда это произошло; жизнь для него сплошной сюрприз, который ему что ни день подкидывают дети. Мама для него умерла всего как два года, а не шесть лет назад; ну, а когда пытаешься втолковать ему, он ничему этому не верит. Да и зачем оно ему, каждое утро начинать с чувства утраты? Слава богу, что он на этом хотя бы не фокусируется. Вот вы видели, как он прошел мимо вас? Как чужой. А ведь он провел с вами весь день. В этом гребаном Бронксе…

— Что же с ним такое?

— Долгая история. Болезнь, начавшаяся с какого-то дня. Спустя четыре года ни намека на улучшение.

— Он и не помнит про то, что забывает?

— Нет.

— А болезнь прогрессирует?

— Честно сказать, не знаю. Я не замечал.

Ну что ж, это не так уж плохо.

— Вам следует знать: ваша предшественница потому и ушла.

— В самом деле? Это не то, что…

— А?

— Да так, ничего. Ушла, значит?

— Да. Видимо, за несколько недель это ее притомило: всякий раз заново представляться чудаковатому старику, который не может взять в толк, зачем она здесь. При всем этом она не могла воспринимать его как больного, хотя была приставлена именно для этого. С ним, говорит, все время как на вулкане: вот-вот рванет.

— А ведь он не старый.

— А?.. Ну да, наверное, нет. Ладно, пора везти его домой. Завтра позвоним к вам в агентство, поставим в известность, что отлучка произошла не по вашей вине. Попросим замену…

— Не надо.

— Чего не надо?

— Не надо никуда звонить и ни о чем просить. Я остаюсь.

— Вы уверены?

— Да, уверена. Остаюсь у вас.

Джон-Джон Кей

Ой, бли-ин, какой неосмотрительный мазафакер. Я взял его сразу, как только он переступил через порог. В смысле, сшиб с катушек. Хоть бы свет включил, когда входил. И вот теперь он сидит на своей табуретке, понуро, как двоечник, со связанными за спиной руками. Я думал для начала малость попетушить его. Не знаю почему — может, потому, что он свежий с холодка, или просто у меня желание такое… Короче, не знаю.

— Это ты Ревун? — спрашиваю я.

— А ты-то, бля, кто? — спрашивает он.

Я навинчиваю обратно глушитель.

— А, понятно. Мне кажется, я тебя откуда-то знаю. Знаю или нет?

— Не-а.

— Ты уверен? У меня на людей, знаешь ли, глаз. Как только человек заходит, я его в момент срисовываю, просто на случай…

— Типа, шутишь?

— На случай, а вдруг с ним ствол. А у тебя что за ствол?

— Девятимиллиметровка.

— Пукалка… Ну я, блин, докатился: заполучить

в башку из жопнического ствола.

— Почему это жопнического?

— А то ты сам не знаешь.

— Чё? Слушай, ты вообще трепаться перестанешь?

— А чё ты мне тогда рот не заткнул, если не хочешь, чтоб я разговаривал? Вот возьму и закричу: «Убивают!»

— Давай, блажи, Китти Дженовезе[285].

— Это кто?

— Да какая разница.

— Ты, наверное, хочешь, чтобы я тебе что-то рассказал?

Я пододвигаю стул и усаживаюсь напротив.

— Курить будешь? — спрашиваю я.

— Кто-то бы, наверное, предпочел лизать репейник, чем сунуть мне сигаретку в рот.

— Принимаю за согласие.

Я сую сигаретку в рот себе, затем ему и запаливаю обе.

— Ты, пожалуй, первый белый инфорсер, которого я вижу. Но тебя я здесь не наблюдал. Хотя уверен, что видел. Может, ты на Ямайку туристом

---

[285] Примечания: 285

Китти Дженовезе — жительница Нью-Йорка; жертва убийцы, забившего ее до смерти на глазах нескольких свидетелей, ни один из которых не вмешался.

приезжал?

— Не-а.

— Странно. Я знаю всех, кто работает на Гризельду, а тебя вот не припомню.

— Откуда ты знаешь, что меня прислала Гризельда?

— Отнимаю тех, кто имеет желание, от тех, у кого есть средства.

— Ха. А что такого между вами с Гризельдой? Какой кошак пробежал?

— Да какой… Манда она вонючая, ведьмачка сучья. Знаешь, с кем она трахается? Когда-то давно Ямайка отрядила меня налаживать цепочку из Колумбии в Майами. Работать с этой гребаной сукой я терпеть не мог. Однако, видно, я не рассчитал, когда сказал, чтобы она сунула себе в дыру ножку своего младенца. А она по тупорогости приняла это на личный счет. Эта сука возомнила, что может меня лажать, когда у нас всего один раз вышла задержка с поставкой. Правда, потом, когда пошел слушок, что она бьет по руке кормящего, ее быстро стеганули по клитору. И тогда она… Хотя постой. Она ведь с белыми дел не имеет. Не доверяет никому из них. Как она с тобой-то спелась?

Он закашливается, и я вынимаю у него сигаре-

ту. А когда он успевает отдышаться, вставляю в уголок рта. Получается как у гангстера в кино.

— Чё к чему крутить, не догоняю.

— Чего?

— Да Гризельда. Не пойму, что у нее за шаги. Если б не я, ей бы до сих пор приходилось вошкаться с кубинцами. Она вообще врубается, *что* она на себя навлечет, если убьет меня? Что с ней будет, когда об этом услышит Джоси Уэйлс? Ой, дура баба… Ты кто все-таки?

— Никто. Так, услугу оказываю.

— Одним разом и кем-то, и никем ты быть не можешь. Может, ты и никто, но кем-то все равно зовешься. Хе-хе.

— А тебя почему Ревуном зовут?

— Лучше, чем Четырехглазкой.

— Прикольно. Еще сигаретку хочешь?

— Да ну их. Курить — здоровью вредить. Вот сука, а? Ну, сука… И сколько тебе платят?

— Много.

— Сумму удваиваю. Кокса желаешь? Подгоню такую гору, что в эту хибару не поместится. Будешь жить, как Элвис все десять лет. Блядей хочешь — добуду любую манду в Нью-Йорке, даже еще с живой целкой. Ну, а если малую дырку, то тоже можно.

— Малую?

— Ну да, анус. Задний проход. Очко.

— А, понятно.

— Мне все равно, какие у людей наклонности. Многие, знаешь ли, творят лихие дела, а затем запросто подставляют свои дырки мужикам. Люди есть люди. Я вот только ради денег работаю. Ты, может, слыхал, в одном из районов ННП рулит один деятель, звать которого Шутник? Так вот, этот Шутник пошучивает так: заставляет у себя отсасывать, вылизывать языком очко, а затем своего ублажителя все равно шмаляет.

— Прямо так?

— Прямо так.

— Неразумно. Прямая потеря умельца, если он действительно в этом искусен. Ты вот смеешься, а в нужных местах это реально ценится.

— Сколько тебе лет?

— Мне хватает.

— Все равно пацан, из начинающих. Я об этом самом деле. Ты вот меня связал, может, и убить думаешь, а самого главного не учел. Не думай, что они тебя из этого дома выпустят живым. После убийства кто-то должен провести чистку, так что через неделю твой труп будет вонять не хуже моего.

— Я останусь жить.

— Не надейся. Сдохнешь сразу, как только спустишь курок. Сколько она тебе обещала? Я дам вдвое. А могу и втрое.

— Тут знаешь, в чем проблемка? Сумму ту можно удваивать, утраивать, хоть удесятерять — она все равно одна и та же.

— Как? Она тебе ничего не платит? Ты все за так делаешь? Да ты, я вижу, еще безбашенней, чем эта отвязь. Вы там все двинутые вконец. Я сам перебил народу достаточно, но не было раза, чтобы за этим что-то не стояло. Вы, народ, тут слишком избалованы, потому что у вас бесконечный запас пуль. На Ямайке, в Джемдауне, их считают поштучно, потому как поставки не всегда приходят вовремя… Слушай, а скажи-ка мне вот что. Кто будет заниматься пересылкой, если она, эта дура, ликвидирует в цепи ямайское звено? Она думает, что опять завяжется с кубинцами, что ли? Хрена с два! Она недавно пробовала грохнуть шестерых из них в каком-то там клубе. Слыхал про это?

— Как не слыхать.

— Ну вот, а еще делаешь это за бесплатно… И чем они тебя таким охмурили? Ты видел, как она лижет у девок?

— Гризельда — лесбиянка?

— А Джонни Кэш[286] носит черное? Она постоянно клеит стриптизерш, а когда те начинают ей надоедать, то она им «бац» пульку, и спасибо. Ей бы с Шутником дуэт организовать. Пели бы на пару.

— А что, забавно.

— Какая уж тут забава, озабоченность одна. Но чтобы это выливалось в сведение счетов, такого у нее еще не было.

— Это потому что выстрел заказывает не она.

— То есть как?

— Она все просто организует, дружок.

— Откуда ты знаешь?

— Ты же сам только что сказал, что сведение счетов ей не свойственно. Значит, похоже, к тебе под прикрытием подбирается кто-то другой.

— Да ну. Хрень какую-то несешь. Из Джемдауна за этим никто стоять не может. Даже если б и был кто, все б делалось по-другому.

— Ну, а может, кто-то сделал ей предложение, от которого невозможно отказаться. А так ничего личного. Я слышал, у нее о тебе нет ничего, кроме добрых слов.

— Да пусть отымеет себя бутылкой из-под ко-

---

[286] Примечания: 286

Джонни Кэш (1932–2003) — американский певец и композитор, ключевая фигура в музыке кантри.

лы.

— Зачем? Вообще это все не моего ума дело. Кто-то сделал ей предложение, от которого она не смогла отказаться. Улавливаешь? «Крестный отец», а? «Ни один сицилиец не сможет отказать в просьбе в день свадьбы своей дочери». Ха-ха.

— То есть все-таки за деньги?

— Да что вы за народ, ямайцы… С чувством юмора у вас туго.

— Так деньги или нет?

— Да не деньги. Для меня и для нее, во всяком случае. Я вот просто угодил не в то, блин, место не в то время. Ну, а ты уперся в более крупного врага.

— Крупнее, чем она? Боссы из Колумбии? Ну так я им мертвый не нужен. Для них наш бизнес значит больше, чем для нее. Это Джоси, а не она, вышел на них еще годы назад.

— Значит, этот еще крупнее Колумбии.

— Остается только Бог… Так боженька, что ли? А ты что за ангел — Гавриил? Михаил? Может, надо бы окропить эту дверь кровью агнца…

— Ха-ха-ха. Хоть бы кто предупредил меня насчет этого гребаного города.

— Чем уж он так плох, этот Нью-Йорк? Прожигай мечту, брат. Здесь для этого самое место.

Делай, как я.

— Ты свое уже отделал.

— Дырка драная.

Мы оба смеемся.

— Не могу дождаться, чтобы сделать ноги из этого сраного города, — говорю я.

— А к кому бежишь-то?

— А? Что за вопрос такой?

— «Дын-дын», наверное, тугонький, неразработанный.

— Дын-дын?

— Ну, пися.

— А. Можно так и сказать.

— Значит, любишь ту сучку?

— Чего? Что за долбаный вопрос?

— Стало быть, любишь, видно по всему.

— Буровишь чё попало.

— Расскажи мне о ней.

— Перестань.

— Да брось ты. Я что, в «Нэшнл инкуайрер» сообщу, что ли?

— Перестань гнать.

— Да куда торопиться: я тут не единственный, кто на счетчике.

— Молчи давай.

— Она симпотная?

— Нет.

— Ты ее от людей бережешь?

— Как сказать…

— Значит, милашка. Как звать?

— Роки. Томас Аллен Бернстайн, но я его зову Роки. Теперь можешь заткнуться?

— Опа.

— Вот тебе и «опа». Попа. И не гони тут.

— Так он симпотный?

— Какого…

— Если ты из жопников, то хоть держи для себя лучшую попу.

— А что, так и поступлю. Попа у него, если вдуматься, и в самом деле ничего.

— Первым делом по жопе проверяешь? Ты случайно не с Ямайки родом?

— Жопа у него хороша. И лицо тоже. Ямочки. Да, у этого парня щеки с ямочками. Он все думает зарастить их щетиной, а я в душе против. И руки у него такие мужские, хотя он дня в своей жизни тяжелым трудом не занимался. А вот смеется, как суслик, — не смеется, а хихикает. И храпит. И…

— Да ладно, хватит уж о жопных делах.

— Хорошо поговорили. Даже жалко. Ты первый человек в этом гребаном городище, с кем хоть можно было поговорить по-людски.

Я встаю и подхожу к нему сзади. Притыкаю ствол через волосы к черепу.

— А тут кто-то был, когда ты залез? — спрашивает он. — Кто-нибудь здесь был?

— Нет. Никого не было.

— Ой, хорошо. Слава богу.

Я собираюсь спустить курок.

— Стой! Погоди! Повремени чуток. Ну как так: просто взять меня и жахнуть… А моя последняя просьба? Слышь, дай мне дозняк, а? Напоследок. Там у меня пакет сразу за теликом, уже начатый. Одну дорожку на дорожку. Мне по крайней мере будет все равно, как ты меня мочканешь.

— Да, блин, мне из этого города ноги делать надо.

— Тебе что, вспороть мешок и насыпать дозу жалко? Ну дай же человеку задурманиться. Разок, напоследок.

— Вы все, ямайцы, такие? У нас в Чикаго никто одновременно не употребляет и не торгует — во всяком случае, не своим запасом. Когда такое происходит, это всегда начало конца.

— Потому-то у вас, нынешних белых, и вид такой пресный. Нет у вас ни забав, ни приколов. Ты мне так и не скажешь, кто там на мою голову подписался, если не она?

— Не знаю, кореш. Значит, нюхать будешь?

— Ну, а как еще. Ты только дорожку насыпь. А то у меня обе руки заняты, если ты еще не заметил.

Я нахожу пакет — точнее, мешок с пакетами — между стойкой телевизора и стеной. Один из них вспарываю швейцарским ножиком и бросаю на стол. Кокаин высыпается.

— Ну делай дорожку, босс, не скупись, — говорит он.

Взяв порошок на лезвие ножа, я выкладываю на столешнице дорожку размером с сигару.

— Это ты для кого такую убойную простелил — для слона, что ли? Он ведь свалится.

— Ну так зато кайфанешь.

— Да от этого половину Флэтбуша торкнет.

Я выкладываю еще одну дорожку, мельче, размером со спичку.

— Мне ж трудно будет, со связанными-то руками.

— Прояви находчивость.

Ямаец пригибается к столу и накреняет влево голову, пытаясь втягивать порошок левой ноздрей. Затем бросает и подается вправо.

— Вот черт…

Он пробует снова, втягивает раз, другой, третий. Не получается.

— Не, это надо шприцем вводить.

— Я здесь не советчик и не помощник.

— Разъязви ее… Даже не верится. Вот же сука. Надо же, ведь все дело уже сделано! Ист-Вилледж и Бушвик под нами, более того, Джоси в Нью-Йорке. Как же оно сложится завтра, если не будет меня?

— Не знаю, дружок.

— Ее за это грохнут, помяни мое слово. Это же всеобщая война между нею и всеми ямайцами. Тут такое начнется… Она что, вообще, себе думает?

— Я же сказал: эта затея, похоже, не ее.

— Но это ведь она тебе про нее сказала. Так что все подтверждается… Ладно, все нормалёк. Так кто же там крупнее, чем Гризельда? А может, и сам Медельин… Я-то что, я мелкий делец, не более того. Кто же на меня так окрысился?

Не знаю зачем, но я подхожу к окну посмотреть, есть ли там кто-нибудь на обочине. Надо бы еще один ствол. И тут я кое-что припоминаю.

— Да, чуть не забыл. Она разговаривала не со мной, но сказала, что парень живет в Нью-Йорке. Что он взамен якобы нейтрализует «Иерархию донов» в Майами. Такая вот хрень.

— Как так? У «Шторма» проблем с «Донами» по

Майами нет.

— Но кто-то этим явно занимается, и живет он в Нью-Йорке.

— Ну и?.. Человек в Нью-Йорке, который наезжает на «Иерархию донов». Бро, это могу быть только я. Я и…

Блин.

Ямаец смотрит на меня, но глаза ничего не выражают.

— Юби. Я и Юби.

— Я как раз хотел сказать, что прозвучал кто-то вроде Тубы.

Ямаец таращится на меня выпученными глазами — типа Степин Фетчит[287], только не смешно. Совсем не смешно. Нижняя губа оттопырена, будто он пыжится что-то сказать, но не говорит. Она подергивается, а плечи у него обвисают. Он смотрит на меня и клонит голову.

— Гребаный козлина. Хочет заграбастать весь Нью-Йорк под себя. А Джоси так ни про что и не узнает… Не узнает потому, что это будет похоже на нападение «Донов».

— Сожалею, кореш.

Я возвращаюсь к окну.

---

[287] Примечания: 287
Степин Фетчит (1902–1985) — американский актер и комик.

— Юнош мой, подойди-ка сюда.

— Что такое?

— Если ты собираешься выпустить мне душу, то сделай хотя бы так, чтобы я взошел по небу, а?

— Блин, не могу понять, о чем ты.

Он указывает глазами на пакет с коксом.

— У тебя нюхнуть что-то не очень получилось? — замечаю я.

— Потому ты и поможешь мне им бахнуться.

— Это еще как?

— Внутривенно. Инъекция. Не лизать же его. Идиотство. Всё через жопу. Был бы крэк, так можно было бы курнуть, но у меня с собой и трубки нет.

— Мужик, у меня времени нет на…

— На кого? На твоего бойфренда снаружи? Подождет.

— Да язви ж тебя…

— Язви *тебя*. Будь добр исполнить последнюю волю покойного. Иглы в шкафчике в ванной. А ванна возле тво…

— Да знаю я, где она.

— Иголку новую возьми.

Я открываю его шкафчик, разрываю упаковку с иглой.

— Делать-то с этим что? — спрашиваю, направ-

ляясь обратно.

— Просто замути из мешка и всоси шприцем.

— А мутить-то чем, слюнями, ага?

— Просто водой из-под крана. Никогда не делал, что ли?

— Представь себе, нет. Не все пользуют кокс.

— Скажи наркотикам «нет», типа?.. Вот так хорошо. Просто смешай с водичкой.

— Только подумать, чем я сейчас занимаюсь.

— Делай давай.

— Не подгоняй меня, мазафакер.

Я хватаю пакет и подхожу к раковине.

— Кофейная чашка подойдет? — спрашиваю, а он кивает.

— Сколько кокса сыпать? Мужик, мне от тебя инструкции нужны, не молчи.

Постукивая пальцем, я пробую насыпать порошок в чашку.

— Нет, — бдительно указывает Ямаец, — используй чайную ложку. Воду набери шприцем. Выдави в ложечку. Порошка добавь примерно с дорожку. Можешь чуток помешать хотя бы пальцем, оно смешается быстро: кокс растворяется быстрее сахара. И все это всоси обратно шприцем.

— Куда, дружок? Я в смысле, руки-то у тебя

заняты.

— В жопу.

— В дырку вставить, что ли?

— А хоть бы и вставить. Остановить тебя я все равно не могу.

— Ха-ха-ха.

— Рука тебе, бро, не нужна. Можешь вставить между пальцами ступни, хотя оно и больновато. Нащупай у меня на шее, где пульс, и вводи.

Я касаюсь его шеи.

— Если будешь притрагиваться, как к целке, то так ничего и не нащупаешь.

Мне хочется вмазать ему рукояткой пистолета, но я хватаю ему шею, как в попытке задушить. Пульс трепетно бьется под моим указательным пальцем.

— Просто воткнуть и надавить?

— Будь добр.

— Как скажешь.

Я втыкаю и начинаю надавливать. В иглу заливается кровь, и я вздрагиваю:

— Мужик, кровь! У, блин…

— Ничего-ничего, кровь — это хорошо, не останавливайся. Да, да, дааааааа…

— Ну вот. Блин. Кажется, все-таки порезал.

— Ха-ха. Да нет, брат, ничего не порезал. Это…

Глаза Ревуна меняются. Что-то прокатывается по нему, словно шарик пинбола задевает не тот сенсор, отчего тело дает крен. Мазафакера начинает трясти — сначала электрическое дрожание, а затем все жестче и громче, как будто его колотит приступ. Зрачки закатываются, обнажая белки, и не возвращаются, а на губах скапливаются клочья пены, скатываясь по груди. Изо рта доносится прерывистое сиплое придыхание: «хахх-хахх-хахх». Голова начинает колотиться так, что я невольно отскакиваю. Из паха хлещет моча. Я хватаю его с желанием завопить: «Сучий потрох, ты заставил меня дать тебе чистый кокс!», но воплю не я, а его вслепую распахнутые, окаменевшие глаза. Он толкается с табурета, и мы оба заваливаемся назад. Колотит Ревуна так жутко, как будто его за ноги дергает какое-то чудовище. Я могу чуять его дыхание — пивная вонь, какие-то нечистоты… Он по-прежнему дергается, задыхаясь и шипя, как будто «шшшшшш» — это единственное, что способно исторгаться из его рта. Не знаю почему, но я хватаю его поперек груди и сжимаю, хотя упал он поверх меня. Так непонятно, зачем я его стискиваю и держу, а он трясется, трясется и трясется всей своей спиной и стучит мне затылком по лбу. Изо рта у него пузы-

рится пена. Я хватаю его за шею, но не сжимаю. Он еще трижды надрывно, с сипом вдыхает и утихает навсегда.

Сэр Артур Джордж Дженнингс

Четверо служителей чинно укрывают лица, воскликая литургию, которую среди паствы не знает никто. «Каждый из учеников написал завет, но не каждый завет есть в Библии», — говорит мужчина женщине, которой смысл его слов невдомек, тем более что она сидит десятью рядами ниже и тридцатью сиденьями правее. Национальная арена. Похороны Певца. Евангелие и ересь сходятся над телом в поединке. Растаман нараспев читает из Послания к Коринфянам, хотя старейшины велели ему декламировать из Псалмов, и все десятеро сидят, вынужденные слушать, как он именует царя Богом. Ересь. Эфиопский архиепископ возглашает: «Зачем отправляться в Африку, когда для вас было бы большим благом трудиться сообща ради лучшей жизни на Ямайке?» Растафари вскипают и ропщут. Архиепископ тоже явился не безоружный: каждый раста когда-нибудь да хочет проснуться в Шашэмэннеленде[288] — на пятистах акрах

[288] Примечания: 288

Шашэмэннеленд — район в Эфиопии, заселенный выходцами с Карибских островов.

земли, жалованной низложенным императором. Непокорные выкрикивают «Джа Растафарай!», и лишь некоторые интересуются, почему это похороны проходят по эфиопскому православному обряду, хотя Певец завсегда был растой. Сотни сидят, стоят и смотрят. Вон безмолвно бдит старый премьер-министр, все еще почитаемый своими страдальцами, сидит, согбенный чувством утраты. Сидит и новый премьер, дожидаясь, когда надо будет сказать речь. Дождавшись, он возносит панегирик человеку, которого едва и знал, а заканчивает свою речь благословением: «Да упокоится дух его в руках Джа». Вот так. Евангелие против ереси; ересь побеждает.

Как вообще проходят похороны? Человек погребается в земле или огонь его затаптывается? Певцу посмертно присуждают орден «За заслуги». Черный революционер удостаивается ордена британских сквайров и рыцарей; «Вавилон *in excelsis deo*»[289]. Огонь, который запаляют Зимбабве, Ангола, Мозамбик и Южная Африка, окунается и гаснет в двух литерах «З». Теперь он один из нас. Однако Певец лукав. Со временем люди увидят, что он все это фактически предрек,

[289] Примечания: 289

От *лат.* «Gloria in excelsis Deo» («Слава в вышних Богу») — католический и англиканский богослужебный гимн.

сложив песню о ложных почестях еще до того, как они были оказаны. Прежде чем его одолела болезнь. Я слышу, как он поет у себя во сне, поет о негритянских солдатах в Америке. Черных американских солдатах 24-го и 25-го пехотных полков, 9-го и 10-го кавалерийских под командованием бледнолицего, которые безжалостно забивали команчей, индейцев кайова, сиу, шайенов, юта и апачей. Четырнадцать чернокожих в грязных сапогах удостоились за убийство людей и идей «Почетной медали». Индейцы называли их «солдатами баффало»[290].

«Почетная медаль», орден «За заслуги» — те же звуки с переплавленным смыслом. Тем временем я вижу, как Певец входит и поднимается наверх, туда, где справа горкой навалены бандероли и письма. Я уже вне времени. Все это время человек, который меня убил, никак не умирает. Вместо этого он гниет. Я смотрю, как его секретарь касается его белой оголенной макушки с извивами прожилок, напоминающих синеватых змеек, и умащивает его жиденькие волосы черной краской. Его новая жена этим не занимается: пачкаются кончики пальцев и страдает лак на

[290] Примечания: 290

«Солдаты баффало» — кавалеристы из числа темнокожих. Так называлась знаменитая песня Б. Марли.

ногтях.

«Миста П., вы уверены, что не стоит сохранять седоватый оттенок? Это все равно вас молодит, но смотрится несколько более естественно».

«Пусть непременно черный, или я неясно сказал? Хочу, чтобы так».

Его партию оттерла от власти ННП, но он по утрам все равно одевается как на выход, будто направляется на работу.

Какое странное десятилетие, совсем не похоже на семидесятые, и он чувствует себя потерянным с теми, кто больше не разговаривает с ним на одном языке. Громилам из его партии он теперь в тягость, а мыслители никогда в нем не нуждались, и вот он, чтобы как-то быть на виду, отчаянно ратует против коммунизма и социализма, а брылья при этом колышутся, как у петуха. Я наблюдаю, как он идет к машине, забыв третий раз за неделю, что садиться за руль ему запрещено. По дороге он запинается о садовый шланг и грохается на асфальт. Падение вышибает из него дух — никакой надежды выкрикнуть, завопить или заплакать. Он лежит почти час, пока из кухонного окна его случайно не замечает повариха. Новое бедро, новый кардиостимулятор, новые синие пилюли, чтобы трахать жену, которая

привыкла к тому, как он наверху в минуту выдыхается и замирает беспомощный, как слизень. Он вновь смеется над смертью. Надо мной.

Я смотрю на человека, который посещал его однажды среди ночи. Он теперь еще толще и крупнее. Слишком большой для того, чтобы они вдвоем занимали одно пространство. Рейсы на Нью-Йорк и Майами. Бизнес, разрывающий черные карманы; тысяча мертвых. Деньги сливаются в канализацию и ударяют по гетто. В гетто за границей люди нюхают, варят, кипятят, вводят шприцами. Колумбия, Ямайка, Багамы. Майами. «*Сценарий изумляет. Всюду мы видим убийства*». Округ Колумбия, Детройт, Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Чикаго. Покупая оружие, продавая порошок, создавая чудовищ, не удивляйся, когда они достигают чудовищных размеров. Новые курьеры, новые бандгруппы, аналогов которым никто еще не видел. В Нью-Йорке газеты выходят с аршинными заголовками: «*Ямайцы подсадили город на крэк*». Между тем молодая присяжная заслушивает на суде одного из «Иерархии донов», недруга Джоси Уэйлса. В суде это ее первое дело.

— Я застрелил его в голову.

— Куда именно?

— В затылок.

— А сколько…

— Раз. Надо всего один.

— Как вы обошлись с телом?

— Скинул в водосток. А шоферу сказал, чтобы сжег машину.

— Что вы сделали, сэр, когда убедились, что все улики уничтожены?

— Да ничего. Спать лег.

При этом он смотрит на нее. Одетая, как школьная учительница, присяжная не может заснуть три ночи.

Трое киллеров пережили Певца. Один из них умирает в Нью-Йорке. Другой прожигает срок своей жизни в Кингстоне, окруженный деньгами и кокаином. Третий исчезает за «железным занавесом», где сидит со всей своей осведомленностью и ждет в голову пулю. Ждать уже недолго.

На импровизированной сцене три девушки из Кашмира — на басе, на гитаре и за ударными. Над долгополыми восточными одеяниями светятся свежестью лица. Единое пространство для выступления образует задник сцены — огромный трафаретный портрет Певца в красную, зеленую и золотистую полосу, каждая шириной со столб. Группа именуется «Первый Луч Света» — темнокожие сестры Певца, улыбающиеся

вместе с восходящим солнцем. Из уст одной из них рождается мелодия столь нежная и хрупкая, что кажется, истаивает в воздухе. Но ее пригвождает барабан, задающий общую ритмику; песня охватывает, раскачивая и одновременно умиротворяя. Теперь Певец — это бальзам, благодатью струящийся на сломленные покалеченные страны. Скоро мужчины, что убивают девушек, примут духовный сан, и юноши по всей долине поклянутся начистить стволы и навострить херы, чтобы оберегать свое и отнимать чужое. Певец — поддержка, но он не способен служить щитом, и музыка неистовствует.

А в другом городе, другой долине, другом гетто, другой трущобе, другой фавеле, другой войне, другом рождении, кто-то поет Песнь Искупления[291], как будто Певец создал ее не иначе как для того, чтобы страстотерпцы пели, кричали, шептали, выплакивали, выли и вопили ее прямо здесь, прямо сейчас.

---

[291] Примечания: 291

«Песнь искупления» — название песни Б. Марли (*англ.* Redemption Song»).

Часть V
Убийство диджея[292]
22 марта 1991 г

[292] Примечания: 292

«Убийство диджея» (*англ.* Sound Boy Killing) — название композиции Мега Бантона.

Один

— Интересно, он сейчас спит?

— Босс, я-то откуда знаю.

— Гм. Ладно, просто укажи мне его камеру.

— Да я уж пару минут назад указал. Здесь, в узилище, сидельцев не так уж много.

— Узилище? Название какое-то допотопное…

— Как управишься, обратно выходи сам.

— То есть на постоянное сопровождение мне не рассчитывать?

— Темноты не люблю.

Моим шагам вторит звучное эхо. В голове издевательская мысль: сам ведь напросился, все хотел увидеть своими глазами. Вот и давай, дерзай. Кроме шуток: на этого занозистого щегла они спикировали в духе Гризельды Бланко. Такой вот стиль, коварный, как стилет, отточился на Ямайке. Надо отдать должное этой суке, сгинувшей дорогой ценой: уж что-что, а одну великую инновацию она у нас все же воплотила. Вот как все складывалось. Пока папаша Джоси отсчитывал дни до своей экстрадиции в США за убийство, рэкет, препятствование правосудию, наркотрафик и т. д. и т. п. (теперь ему все это аукнется по жопе

бумерангом), на правление Копенгагеном в качестве дона сел его подросший сынок Бенджи (более толстая, темнокожая и занудная версия своего отца). Типа регента или наместника — точнее, сатрапа. И вот Бенджи Уэйлс взялся за подготовку ежегодного матча в крикет памяти Папы Ло. Сюда так или иначе входила предварительная встреча на Кинг-стрит, восточнее Западного Кингстона. Когда дон Запада направляется на восток, это всегда сопряжено с проблемами, а тут он еще взял и отправился в одиночку на моцике. И вот он едет, глядя прямиком перед собой и думая, вероятно, о своем, притормаживает на светофоре у перекрестка, и тут рядом с ним останавливается еще один мотоцикл. Когда он наконец оборачивается поглядеть, кто там, с мотоцикла открывают огонь двое в черном, вышибая Бенджи сердце из груди.

Забавно, правда? Казалось бы, Бенджи, отпрыск гребаного Джоси Уэйлса, с пеленок рос среди разборок и пальбы, но все равно путешествовал по миру, во всяком случае по Штатам, ходил в навороченную школу и ни дня в своей жизни не ложился спать голодным. И что же получается? Ганмен из него как из говна пуля, расслаблен от хорошей жизни. Ничем не лучше какого-нибудь жопошника, что выходит из папикова апартмен-

та на Сентрал-Парк-Уэст.

Его папаша считай что всю страну держал за горло по меньшей мере трижды, да так, что у нее сердчишко обмирало, а этот его золотой мальчик? Отправляется на моцике, сам по себе… О чем он думал? Что все ганмены в это время в церкви, что ли? Убийство в стиле Гризельды вот так на дурняк не происходит. Эта хрень была не просто спланирована, а еще и координировалась извне до самого, так сказать, места происшествия. До того конкретного перекрестка. Эти юнцы, они же безголовые. Я вот стар, как скипидар. Одно время я думал, что старый — это когда человек впервые, разгибаясь, ахает от прострела в спине. Теперь же я понимаю, что старость — это когда встречаешь своих давних врагов, слишком уже дряхлых, чтобы биться, и все, что у вас осталось от застарелой вражды, это ностальгия. А за ностальгию принято чокаться, а не стреляться.

Входные пулевые отверстия в голове и груди, а исходящие — в голове, шее, плече и спине. На прошлой неделе я разговаривал с доктором Лопесом, который в то утро дежурил по неотложке. «Бомбоклат, — рассказывал он, — я в жизни своей не был так напуган, как тогда. И страх был даже не за себя, а за армагеддон, который вот-вот грозил

разразиться в операционной. К тому моменту, как Бенджи Уэйлса доставили в больницу, он был уже не жилец, оставалось это только констатировать. Но его тело прибыло в сопровождении трех тысяч активистов, которые волнами вкатывались и выкатывались из приемного покоя. В сущности, врачам оставалось лишь установить факт смерти, но попробуй это сделать, когда у дверей бушует трехтысячная толпа; бушует и ждет, что ты обставишь самого Иисуса Христа — а как же, ведь речь идет об особе дона! И потому нам приходилось разыгрывать нелепейшее представление, театр “кабуки” и рядом не стоял». Вот что мне рассказывал доктор Лопес. «Поступившего пришлось уложить на кровать — напрасная трата места, но толпа уже скандировала “Бен-джи! Бен-джи!”, да так громко, что разносилось, наверное, по всей округе. Первым делом полагалось восстановить дыхательные пути — иначе никак — и воспрепятствовать колоссальному кровоизлиянию. Хотя уже на момент доставки в легких у него не было ничего, помимо крови. А толпа все громче, все бесноватей, и врачам надо было что-то делать — разыгрывать, язви его, спектакль с этим трупом. Представьте: как восстановить кровообращение телу, в котором уже не бьется

сердце? Нет ни пульса, ни давления, ни сознания — вообще ничего. Человек не просто перестал дышать — он просто *готов*». Я спросил, через какое время они решились разгласить, что он покойник, и Лопес ответил: «Честное слово, босс, к моменту, когда мы приступили к реанимации, я еще надеялся на чудо». А толпа снаружи напирала так, что в двух окнах полопались стекла.

Хуже всего вышло с дефибриллятором. Всякий раз, когда Бенджи пронизывал удар и тело его содрогалось, вся толпа тоже подскакивала; скакали даже те, кто стоял снаружи и видеть ничего не мог. Электрошок — тело дрыг — толпа скок. Электрошок — тело дрыг — толпа скок. Электрошок — тело дрыг — толпа скок. Через час доктор Лопес объявил то, что можно было объявить сразу по поступлении тела. А уж затем… По толпе пошло, что врачи его могли, да не спасли. Что Бенджи Уэйлс теперь мертв. Сперва вышибли двери в операционной. Три тысячи — мужчины, женщины и дети, некоторые со стволами, остальные с сердцами, полыхающими так, что и стволов не надо. «*Ну, бля, бомбоклаты, держитесь… Да мы вас тут всех разнесем, вместе с вашей богадельней… На куски рвать будем и докторов и нянек за то, что не уберегли Бенджи…*» Кто-то — двое

или трое — схватили медсестру и принялись ее волтузить. Доктор Лопес рассказывал, что метнулся к ней на выручку, но его скрутили двое и ну пистолетными рукоятками по голове. Стойка регистратуры оказалась опрокинута, а бедные охранники сделали единственное, на что были способны, — дали деру. Доктор не знает, как такое произошло, но вскоре на бушующую толпу накатила новая волна, с криками, что врачи здесь ни при чем, а в смерти Бенджи виновата ННП.

В воскресенье к вечеру последовал набег на Восемь Проулков, в частности на Шестой. Перестреляли всех мужчин, которых застигли, и отодрали всех женщин, до которых дотянулись. Сожгли почти треть домов, а под занавес еще и подстрелили нескольких ребятишек. Спустя два дня в Третьем проулке прошла чуть ли не децимация. После этого грозовой фронт сместился в Майами: стрельба из проезжающих машин и с мотоциклов, дырки от пуль в автомобилях и в окнах «ночников». Двое моих приятелей рассказывали, что кое-как выбрались из «Ролекс-клуба», такое там поднялось месилово с пальбой между ямайцами. Сам премьер-министр был вынужден обратиться к ЛПЯ с воззванием о перемирии; в дело пришлось вступить даже церкви, которая

организовала крестные ходы. Насилие прекратилось лишь тогда, когда перестрелки стали мешать подготовке похорон Бенджи. Я на похороны не пошел. Официально меня здесь даже не должно быть. Да ладно, вру. Конечно, я сходил на те похороны, но меня там, должно быть, приняли за бодигарда или вроде того.

Последний раз на моей памяти такие пышные похороны были только у Певца. Людей тысяч двадцать, не меньше. Среди них, само собой, бывший премьер-министр. Есть ли смысл напоминать: в семьдесят шестом он возглавлял оппозицию, затем в восьмидесятом встал у руля, а в девяносто первом опять ушел в тень. Впереди шествует духовой оркестр, почти как в Новом Орлеане — мужчины все в белом, девушки в красных мини-юбках и с помпонами. Дальше гроб, черный с серебряными ручками, а в нем виновник торжества в черном бархатном костюме (раз не потеет, то чего б не вырядиться в зимнем стиле?). Гроб на стеклянном катафалке с конной тягой (кони белые, с траурными султанами), сразу позади оркестра. Дальше идет бывший премьер-министр, а рядом с ним — дама сердца Бенджи в черном платьишке в облипон и в золотой цепи, как на рэперах. Большущие серьги. При виде ее сразу

замечаешь всех остальных женщин. Мини из золотистой парчи, мини розовые, мини белые, чулки в сеточку, высоченные серебряные цырлы, шляпы, похожие на птиц, шляпки, похожие на птичек, цепочки, цепки и цепи от миниатюрных до почти якорных. На одной девице открытое черное платье с разрезом до самых булок. И все вышагивают по улице, как по подиуму. Джоси пытался выхлопотать себе отпуск (слово в данном контексте не вполне уместное), чтобы наведаться на похороны к своему сыну, но его не отпустили. С какой стати? Выпустить из тюрьмы главного дона к двадцати тысячам его приверженцев — да как же его после этого заполучишь обратно? Там небось аж из Вашингтона звонили с окриками и угрозами. Забавно, что, пока Джоси на протяжении восьмидесятых строил свою империю (не без существенной сторонней помощи, само собой), всем до него совершенно не было дела. Гребаный Нью-Йорк, а? Я ведь предупреждал, чтобы он так себя не вел, не кидался в крайности. Черным в самом деле нужно научиться обуздывать свой шалый темперамент. В тот день — точнее, ночь — восемьдесят пятого года Джоси Уэйлс из ниоткуда угодил почти что в самый верх списка

УБН[293] и федералов. А как только ЛПЯ пнули с Олимпа, он тут же сделался «сидячей уткой».

А до всего этого Джоси, набирая рост и вес, становился все более неприкосновенным. И безнаказанным. Как-то раз он гнал на машине по улице — какой, не помню, помню только, что было это в городке Дэнем-Таун. Так вот, гонит он, гонит и врезается прямехонько в автобус. Шофер вылезает разъяренный. И вместо того, чтобы как-то поладить, собирает вокруг себя толпу. Уж не знаю, что он там такое говорил, но распалялся все больше и больше, кричал, угрожал и бог весть что еще делал. Заткнулся он единственно тогда, когда одна из женщин прокричала: «*Да это же Джоси Уэйлс!*», и вся улица бросилась врассыпную, оставляя беднягу шофера наедине со своим визави. Джоси, сидя в машине, постукивает пальцами по рулю и в его сторону даже не смотрит, а водила, прямо как Дорожный Бегун, кидается прямиком в участок. Бедолага. Примерно через полчаса туда заявляется Джоси с десятком своих головорезов. Заходят внутрь, хватают шофера и волокут наружу. Тот просто пересрал и запричитал при виде того, как

---

[293] Примечания: 293
УБН — Управление по борьбе с наркотиками (США).

фараоны отвернулись в разные стороны, и это в своем-то собственном участке! Ну, а как вышли, так прямо на глазах у фараонов и людей те, кто со стволами, его пристрелили, а те, кто без стволов, почиркали перьями. Скучились, как вороны, над свежим трупом. Джоси, разумеется, арестовали, только у той расправы не обнаружилось ни одного свидетеля. Прямо-таки ни единого.

Тем временем из Кали стали поступать жалобы, что этот мазафакер много себе позволяет — хамит, грубит, наглеет так, как не позволял себе еще никто из хамов, грубиянов и наглецов. Дескать, подай ему и его банде Англию. А не жирно? Кроме того, этот человек отправился со своими в Ремо и уложил там как за нефиг делать двенадцать человек. Зачем, спрашивается? Потому что некоторые там, видите ли, начали сетовать, что их интересы совсем уж в игноре. Джоси всегда отличался грубоватой прямолинейностью. Полиция выдала ордер на его арест, и тогда он переметнулся в США, но теперь уже и там привлекал к себе внимание, поэтому скакнул обратно на родину. Здесь его ждал суд, но на единственную свидетельницу отчего-то нашла амнезия (постойте, ее же там не было, да и времени уж сколько прошло; ой, у нее и диоптрии в очках не те, слепа, как

курица ночью; ничего не помнит, а в показаниях безнадежно путается: тогда ведь пули свистели повсеместно).

А в прошлом году, когда его дочка стояла возле какого-то клуба со своим бойфрендом, откуда ни возьмись, появились громилы из Восьми Проулков и открыли по ним огонь. Парня изрешетили, как ту головку сыра, сплошные дырья. Девушка обвивала руками его недвижное тело, когда к ней подошли и сделали выстрел прямо в голову. Хочется надеяться, что перед этим ее хотя бы не изнасиловали. Я все еще раздумываю, знали ли те парни, кто она такая. Дело в том, что если ты все время продолжаешь напирать, то рано или поздно твои враги надавят встречно (наглядный пример — Гризельда в Майами). А если ты продолжаешь плодить врагов, то рано или поздно они скопятся в критическую массу. И тогда уже лишь дело времени, когда враги в своей беспощадности сравняются с тобой — ведь это ты, коли на то пошло, все время повышаешь планку. Что до меня, то я никогда не нахожусь в одном месте так долго, чтобы дать своим врагам время протрубить сбор. Эта хрень подобна любым другим отношениям: ты сам их взращиваешь. Вот почему я никогда не задерживался лишнего ни

в Колумбии, ни в Кингстоне. Я — посредник, перекати-поле. Ну, а говоря о критической массе… К тому времени федералы накопили на Джоси столько обвинений, что за ним началась охота. Кто-то в той войне за наркотики должен был выйти победителем, и это был, безусловно, не ниггер из карибской дыры, которому изначально было предписано заниматься «травой». А он распоясался, и тогда его упрятали за решетку. Причем по полной.

Да, я пришел к нему в тюрьму, хотя далеко не в час свиданий. Как только я, приблизившись к дверной решетке, тихо окликнул его по имени, он сел на своей койке и медленно поднял голову. А подняв ее и вглядевшись, заулыбался, но как-то неуверенно, с толикой растерянности. И сказал:

— Я знал, что они пришлют тебя.

— Как делишки, *mijo*?[294]

— Видя тебя, скажу: с тобой всяко лучше, Доктор Лав.

---

[294] Примечания: 294
Зд.: сынок (*исп.*).

Два

— Э-э-э… мисс Сегри? Мисс Сегри? Миллисент Сегри?

— Я не мисс.

— Разве? Ой, извините. *Миссис* Сегри.

— Не мисс. И не миссис. Я — *Миллисент*. Миллисент Сегри.

— А, ну понятно.

— Вот и хорошо. Сколько за всё?

— За весь рецепт, мэм, четырнадцать долларов семьдесят центов.

Весь этот феминизм — не более чем пристрастие белых американок поучать небелых, *что* делать и *как* делать. Вещать с благостно-снисходительной миной: «Будешь стараться — станешь такой как я, свободной». Чушь собачья. Но в одном я, пожалуй, солидарна: ненавижу всеми фибрами, когда приходится выкладывать совершенно незнакомым людям свое семейное положение — особенно мужикам, я им что, обязана, что ли? Взять хотя бы этот вздор насчет того, замужем я или нет — «миссис» я или «мисс», — как будто это единственные два варианта, которые существуют в природе. Статус, видите ли. Как будто

если я женщина, то без него мне обойтись никак нельзя. Да вот он, мой статус, подставляйте руки! Еще имени своего не назвала, а вот уже статус. Может, проще говорить им в глаза, что я лесби, и пусть уж сами разбираются, на какую полку меня ставить?

Так. «Ксанакс» от нервов. «Валиум» для сна. «Прозак» при депрессии. «Фенерган» от тошноты. «Тайленол» при головных болях. «Миланта» при вздутиях. «Мидол» при спазмах. Менопауза, вот она, назревает. Есть ли какое-нибудь быстродействующее средство при приливах?[295] Вынашивать я не собираюсь; зачем вы вообще держите двери открытыми? Я в «Райт Эйд»[296] на Истчестере в Бронксе, всего в квартале от моего жилья на Коста-авеню. Август, это значит, что я скоро уже два года как там живу. Само собой, при «Бет Исраэл»[297], где я работаю, есть своя аптека, но рецепты я отовариваю на Истчестере: кому захочется держать медсестру, набирающую такую кучу таблеток? Да, всем прописана кон-

---

[295] Примечания: 295
Прилив — ощущение жара в климактерический период.

[296] Примечания: 296
«Райт Эйд» — сеть аптек в США.

[297] Примечания: 297
«Бет Исраэл» — медицинский центр в Нью-Йорке.

фиденциальность, но я еще ни разу не видела, чтобы кто-то, дай ему волю, не начал за глаза про тебя трепаться. Я стараюсь не усложнять себе жизнь, с учетом того, что за последние несколько лет у меня аллергия на усложненные вещи. Женщины, вы не выносите мужчин, которые одинаковы вчера, сегодня и всегда? Дайте им мой номер. Пик невыносимости наступает, когда они заговаривают о своих чувствах, и (вот это мне особенно нравится) чем оно оборачивается? Здесь мне становится так дурно, что рука невольно тянется за «Фенерганом». И вот я перехожу улицу и заныриваю в аптеку, что у автобусной остановки. «Зантак». Он нужен мне после того, как я сглатываю на завтрак плюшку. Ну почему вдоль всей дороги по Ган-Хилл-роуд понатыканы павильончики «Данкин Донатс»? Ведь я бы могла бы обойтись и одним кофе. Терпеть не могу Ган-Хилл-роуд. Особенно в эти промозглые дни, когда зима еще не решается уйти, а весна — прийти ей на смену. А пока они мнутся, у меня есть верный шанс испортить обувь. Снаружи у станции метро все те же лица без определенного маршрута следования, и сложно сказать, смотрят они на меня как мужчины или как ямайцы. Пробираться с улицы к двери, от двери к турникету,

от турникета к поезду ничуть не веселей, чем стоять среди голубиной пачкотни в ожидании автобуса. Здесь сразу становится видно, кто едет по делам, а кто — невесть зачем, и его впору назвать праздношатающимся. Если при тебе нет хозяйственной сумки, или рюкзака, или кейса, то твою социальную миссию определить непросто. Я вот, например, выгляжу как мисс Дева Мария, потому что собираюсь в больницу. Еще не медсестра, но учусь.

Помнится, директор курсов посмотрел на меня и сказал:

— Вообще, женщин с вашим жизненным стажем мы обычно не берем, у нас тут только начинающие.

— А может, я только сейчас и начинаю жизнь? — спросила я.

Этой фразе он наверняка не придал значения, но по какой-то причине не стал забраковывать женщину по причине ее возраста. И вот каждый день, находясь на работе, я пытаюсь осмыслить его поведение. Бог его знает, может, я сведуща в людях только постольку, поскольку им что-то нужно от меня? Миллисент, а чего это ты ни свет ни заря такая мрачная? Вспомни, тебе же импонируют твои белые чулки и туфельки в

стиле «секс не здесь»? А в «Бет Исраэл» ты работаешь на сортировке пациентов и работой своей очень даже довольна. Так чего ж кукситься? Правда, с некоторых пор в больницу стали интенсивно поступать ямайцы со всевозможными огнестрельными ранениями. Это длится уже на протяжении недели. Все, как один, мужчины, из них четверо к моменту доставки уже приказали долго жить. Их подруги и матери малолетних детей выли, как плакальщицы: «Уо-ой! Что делать-то, уой, с детями-то малыми?» Как будто я знала ответ. Говорить я стала с нарочито американским акцентом (с глубоким «rrr» и слегка в нос): не хотела, чтобы во мне кто-нибудь признавал ямайку, хотя сама же млела, когда в больнице меня сочли подобием Мэдж Синклер в «Охотнике Джоне»[298]. Один из докторов даже разок назвал меня Эрни, по имени одной из героинь; и хотя я его поправила — «меня звать Миллисент», — сама была на верху блаженства. Что характерно, все те ямайцы с ранениями поступали из Бронкса, то есть не из близлежащих кварталов. Что там именно стряслось, я не спрашивала; но об этом

[298] Примечания: 298

Мэдж Синклер (1938–1995) — американская киноактриса; род. в Кингстоне, Ямайка. «Охотник Джон» — американский драматический телесериал (1979–1986), события которого развиваются в больнице.

спросил врач, на что один из поступивших, с тремя пулями в области таза, ответил: «*Младшего Бенджи завалили. Щас там везде адище — в Кингстоне, Майами, Нью-Йорке, Лондоне. Младшего Бенджи замочили*».

— Что за Бенджи и как его убили? — интересуется врач.

Я стою рядом с капельницей, сжав ее так, что вот-вот лопнет.

— Сестра?

Я не глядя вживляю в руку пациента капельницу, в тихом ужасе, как бы он не признал во мне «родную кровь».

— Кто такой Бенджи? — снова спрашивает доктор.

Я мысленно заклинаю, чтобы он умолк, но могу заниматься только капельницей. Слава богу, когда я наконец бросаю взгляд на пациента, тот с негодующе поднятыми бровями смотрит на доктора — дескать, «как, ты ничего не знаешь о Бенджи?».

— Бенджи Уэйлс, — говорит он вслух, — сын дона из донов.

Лицо доктора особо не изменилось, а вот я была вынуждена отвести глаза. И прекратила всякую работу. Не знаю — какое-то затмение нашло,

и я просто пошла вон из помещения. «Сестра? Сестра!» — слышался вслед удивленный голос доктора, но я никак не отреагировала. Как будто где-то вдалеке вещал транзистор. Я шла и шла, пока не оказалась в лифте. Следующий час я просидела в кафетерии на первом этаже. Сказала, что у меня вдруг закружилась голова, и была вынуждена как минимум трижды вытерпеть вопрос, не беременна ли я. В ответ я чуть не сказала, что сейчас выну мохнажку и помещу ее себе на лоб. Сказала, что у меня разыгралась мигрень и сейчас я даже капельницы толком ставить не могу.

У меня есть такая система. Состоит она всего из трех слов: «БОЛЬШЕ НИКАКОЙ ДРАМЫ». Ее я усвоила от темнокожих американок, которых вконец достали мужики и вся их фигня. Не нужно никакой суеты, маеты, хреноты, несогласий и путаницы. Не хочу драмы даже по телевизору. После того как ямайцы принялись отгружать в больницу партии своих товарищей, в свой список пилюль я добавила «Тайленол», а чтобы исправно ходить на работу, повысила дозу «Ксанакса». Уэйлс, это ж всего лишь имя. Просто, язви ее, фамилия. Вроде Миллисент Сегри.

Жду «М10-экспресс». С того самого момента у меня над правым виском пульсирует боль. Не

становится ни лучше, ни хуже, просто не проходит. Наверное, какая-то совокупность симптомов. Вероятно, мне нужно перестать пестовать в себе ипохондрика. Честно говоря, два дня назад я так разволновалась, что у меня перехватило дыхание, и тут я вспомнила, что именно от таких приступов волнения бывают летальные исходы. Разумеется, от этого я лишь взволновалась еще сильней. Когда нечто подобное стало твориться со мной в прошлый раз, я в голос запела какой-то из хитов Шер — прямо на автобусной остановке, лишь бы избавиться от этой мути. Вместе со мной песню подхватила, кажется, какая-то трехлетка. Сцена сама по себе впечатляющая: баба голосит, мелкая чернушка вьется в танце вокруг скамейки, а еще одна, совсем кроха, сидит на коленях у отца. А он на скамейке ждет автобуса. Девчушка нарезает круги и озорно горланит полную отсебятину. Отец тем временем пытается не нарушить баланс: кроха — в одной руке, газета — в другой. Девчушка сбоку врезается ему головой в бок, и он, хрюкнув, смеется. В ручонке девочка держит крендель, который сует отцу в рот, а он неуклюже надкусывает. Девчушка взвизгивает. Я пытаюсь отвести взгляд — и не могу, во всяком случае, пока они сами первыми не смотрят на меня.

Девочки, любящие своих папиков, всегда атакуют их сбоку. Я постоянно наблюдаю это в больнице. Папиков, что бережно вносят своих бедных, едва дышащих крошек с укусами насекомых. Женщин, что привозят своих больных отцов на очередную МРТ или последнюю дозу химиотерапии. Может, отцы сбоку просто более узки, а значит, доступны? Вчера в приемном покое какая-то девочка-подросток, провопив на своего отца десять минут кряду, подошла затем к нему сбоку, обвила руками до смыкания пальцев и нырнула головой ему под мышку, как птенчик под крыло. Ну а я? Я по своему отцу как-то не скучаю. Не знаю даже, жив он или нет. Нехватку «Ксанакса» я переживаю заметно острей.

Я жду автобуса в компании этого самого отца и двух его дочурок. Он все смеется, что-то воркуя им и сюсюкая. Так и не понятно, ямаец ли он, — район может быть какой угодно, от Ган-Хилл до Бостон-роуд. В нем налицо явный «синдром матушки гусыни». Как сказал мне один человек в больнице: «Ты и не догадываешься, какую к кому-то питаешь любовь. И тебя все время пробивает испуг, когда вдруг слышишь, что где-то какой-то ребенок попал под машину». Неизвестно, когда этот синдром проходит и проходит ли вообще.

В отсутствие хороших известий я перестала смотреть новости. О том, что там, на Ямайке, я даже знать не желаю, но если война перекидывается на Бронкс и Манхэттен, значит, ничего хорошего. Ямайцы здесь не доносят до меня ничего радующего слух, поэтому я с ними и не разговариваю. По своей родине мне ни разу даже не взгрустнулось. Ностальгию я ненавижу, ностальгия не память, а память у меня чересчур остра, чтобы ностальгировать. Спрашивается: если все это правда, то какого черта я вообще торчу в ямайском Бронксе? Корса, Фентон, Бостон, Гирван — всю эту округу можно смело назвать Кингстоном номер два или двадцать два. На Корсе я одинокая женщина из углового дома; такая умрет, истлеет и пустит маковые ростки, а никто так и не хватится, что с ней случилось. Ведьма на околице, Страшила Рэдли[299]. Перед кем делаю вид, непонятно. Они-то небось думают, что я какая-нибудь чопорная недотрога, у которой бойфренда сроду не бывало. Медичка с задранным носом, вечно в своих белых чулках и туфлях без каблуков, уходит и возвращается бессменно в своей униформе, так что о ее жизни

[299] Примечания: 299

Бу Рэдли по прозвищу «Страшила» — персонаж романа Ли Харпер «Убить пересмешника».

больше ничего и не известно, тем более что сама она ни с кем не общается.

Видит ли, интересно, кто-нибудь, как я выхожу вечерами? Мне нравится думать, что мне по барабану, что обо мне думают, но выхожу я всегда через черный ход. И все надеюсь, что ямайцы с огнестрельными ранениями наконец перестанут к нам поступать. Надеюсь, и все на этом… А знаешь что, Миллисент Сегри? Нет ничего хорошего в том, как твои мысли тебя гнетут, пригибают книзу. Даже мысль об этих самых мыслях будит и заставляет тлеть боль сбоку над виском. Хватит, черт возьми, раздумывать. На прошлой неделе один белый паренек из студентов услышал мой акцент и спросил, не встречала ли я когда-нибудь Певца. И меня как обухом: а ведь я из немногих, кто может ответить на этот вопрос положительно, да еще *как* положительно. И все равно я на эту мысль взъелась. А паренек к тому же начал напевать песню о полуночных рейверах. Какое-то время я это еще терпела, пока не начала думать о погибших годах. Черт, при мысли о них во мне реально оживает память обо всем том умершем и… да будь оно проклято. Будь проклято все мертвое, погибшее. Я же все еще живу.

Вот и автобус.

Я до сих пор жива.

Три

— Это «А»?

— Не. «С». А «А» до Сто двадцать пятой идет без остановок.

Мужчина спиной вперед вышагивает из проема, как будто увидел в вагоне кого-то крайне для себя нежелательного. Я смотрю, как двери перед ним смыкаются, и откидываюсь на сиденье, в то время как поезд набирает ход. Ньюйоркеры, дорогие мои, поезд в спальные районы — вещь крайне ненадежная. Вы торопитесь, прыгаете на «С» от Сто шестьдесят третьей до Сто сорок пятой улицы, чтобы там вскочить в своей лихорадочной спешке на экспресс, а это окраины, и здесь всегда случаются сбои — то задержка, то какая-нибудь драма приключается. Скажем, всего лишь на прошлой неделе, когда я несся сломя голову в аэропорт Кеннеди успеть на рейс в Миннесоту (мама занемогла), какой-то бугай снял штаны и начал срать прямо в вагоне. Сидел на корточках, валил под себя и при этом зычно так орал, будто рожает. Разумеется, этим своим делом он занялся в ту же секунду, как поезд отошел от Фултона — то есть следующая остановка не раньше чем

на Хай-стрит в Бруклине, а это целая вечность. Нас в вагоне шестеро или семеро, не помню точно. И все мы метнулись к межвагонной двери, а она, само собой, оказалась заперта, никуда не перейти. Я мысленно взмолился: «Господи, не допусти, чтобы он стал швыряться своим говном! Прошу, умоляю!» Когда поезд наконец пришел на Хай-стрит, мы все дружно ломанулись из вагона прочь. Но я не об этом. А о том, что на «С» лучше ехать до Сто сорок пятой, а там пересаживаться на «А», потому что там экспресс. Но имейте в виду: «А» на порядок медленней, чем «С». Выйдите, к примеру, на 4-й Западной улице, подождите минуту-другую, и к вам подойдет тот самый поезд «С», с которого вы соскочили на Сто сорок пятой. Каково?

В данный момент я продолжаю ехать на «С» и пробую читать. Хотя неправда. Я не читаю, а ревниво послеживаю, как народ шелестит «Нью-Йоркером». А *мое* они там читают или нет? Один мой друг, ирландский новеллист, как-то рассказал, что однажды в поезде заметил некую даму, которая читала его книгу. Он подсел и спросил: «Ну как, вам нравится?» А дама ответила: «Кое-что ничего, а так — дебри». У него тогда осадок остался на весь день, к тому же та бабенка его да-

же не признала. Так что вот, иногда и я на поезде «С» подыскиваю глазами подобную женщину, они почти всегда читают «Нью-Йоркер», и я надеюсь, что, сев рядом, смогу дождаться, когда они переключатся на *это*. Не исключено, что у меня появится возможность сказать: «Ёксель-моксель, ну прямо как в кино. То есть в реальной жизни такого не бывает». Она мне: «Чего именно?» А я: «Чтобы писатель случайно ехал на поезде и вдруг увидел, что кто-то читает его произведение». Мне представляется, что она окажется еще и смазлива, желательно темнокожа и без предвзятости к полигамии. Хотя кого я пытаюсь обмануть… В этом своем изъявлении свободной любви я выгляжу бесконечно устарелым. Времена хиппи давно миновали. Благодаря республиканцам и СПИДу нынче все тяготеют к брачным узам, даже геи о них подумывают.

А вон какой-то парняга в рваной толстовке, а под ней длинные мешковатые шорты. Сверху кожаная куртка, но больше ничего не видать, так как он укрыт «Роллинг стоуном» с кем-то вроде Эксла Роуза на обложке. Несколько лет назад «Ганз-н-роузес» якобы спасли рок-н-ролл — во всяком случае, это вам настырно твердят те, кто работает в «Роллинг стоун». Я обычно

аргументирую: если это так, то почему изо всех щелей слышатся одни лишь педерастичные англичане? Какой-то там, прости господи, «Джизэс Джонс»[300]. И прошу вас, ради бога, не крутите мне больше тот альбом «Черных ворон»[301] — точь-в-точь такие песни я уже слышал во времена «Липких пальцев»[302].Черт возьми, а не потому ли вагон полупустой, что все здесь ощущают, в сколь воинственного мазафакера я переродился? Специфический промежуток между часом пик и обедом, когда можно средь бела дня разъезжать в пустом вагоне. Вагон весь как есть покрыт новым граффити — окна, сиденья, даже пол; четко проглядывает модерновый орнамент в духе сайфай — литеры, имеющие вид расплавленного металла. Всё в тренде, включая плакаты соков «Тэнг», пластыря от мозолей и осточертевшей «Мисс Сайгон»[303].

---

[300] Примечания: 300

«Джизэс Джонс» (*англ.* Jesus Jones) — английская дэнс-техно и брит-поп-группа.

[301] Примечания: 301

«Черные вороны» (*англ.* The Black Crowes) — американская блюз– и хард-рок-группа.

[302] Примечания: 302

«Липкие пальцы» (*англ.* Sticky Fingers) — альбом «Роллинг стоунз» (1971).

[303] Примечания: 303

«Мисс Сайгон» — мюзикл Клода-Мишеля Шёнберга и Алена Бублиля.

Черт, мне бы в руки «Нью-Йоркер»… Или сам не знаю что. Я выскочил из офиса, потому как понял, что близок к дэдлайну, а под прессингом я предпочитаю работать на дому. Вчера я сдал четвертую часть. Четвертую из семи. Да, некто во мне надеется, что люди все еще читают «Нью-Йоркер» или хотя бы обращают на него внимание, как в свое время на опусы Джанет Малкольм о Джеффри Макдональде и Джо Макгиниссе[304], что было всего несколько месяцев назад. Не то чтобы мне мое писание давалось так тяжело; кроме того, кому сейчас есть дело до Певца или до Ямайки, кроме каких-нибудь богатеньких студентиков? Ты, Алекс Пирс, из тех, кого нынче молодежь кличет «реликтами». А на дворе всего лишь март.

Я выхожу на 163-й улице и поднимаюсь по ступеням в надежде, что там не отирается тот тип, снова готовый стрельнуть у меня сигарету. Неплохо устроился: зачем разоряться на пачку, если можно что ни день подрезать одну-две у ме-

---

[304] Примечания: 304

Джанет Малкольм (р. 1934) — журналистка «Нью-Йоркера», автор многих аналитических публикаций. Джеффри Макдональд (р. 1943) — армейский офицер и практикующий врач; в 1970 г. признан виновным в убийстве своей беременной жены и двух дочерей. Джо Макгиннисс (1942–2014) — американский писатель нон-фикшн; автор бестселлеров на криминальную тематику.

ня? Чем дальше я отхожу от «Си-Тауна»[305], тем глубже во мне заноза, что дома в холодильнике шаром покати. Приду, а там пусто, и от этого еще сильнее рассвирепею, надену со злостью это же пальто и пойду обратно к тому самому магазину, мимо которого сейчас безалаберно прошел. Но, драть ее лети, я уже на 160-й.

Март. Все еще стоит промозглый холод, приходится торчать дома — а что поделаешь. Таунхаус, который я купил, ремонта не требовал, и тем не менее хозяин втусовывал его мне с таким пылом, что напрашивалась мысль: что-то с этим домом не так, и серьезно. Сначала он мне прогнал, будто здесь в свое время жил Луис Армстронг. Затем, уже через три минуты, что здесь творил Кэб Кэллоуэй[306]. Но купился я не из-за этого, а из-за того, что мне в принципе нравилась эта округа, откуда люди с конца семидесятых стали делать ноги. Им не нравилось, что эта часть Вашингтонских холмов[307] — пардон, исторический Гарлем — за

---

[305] Примечания: 305

«Си-Таун» — сеть магазинов шаговой доступности.

[306] Примечания: 306

Кэбелл «Кэб» Кэллоуэй-третий (1907–1994) — американский джазовый певец и шоумен.

[307] Примечания: 307

«Вашингтонские холмы» — квартал на севере Манхэттена.

короткий срок превратилась в отстойную дыру, несмотря на то, что в восьмидесятые здесь еще наблюдались признаки оживления.

Сейчас, в это время суток, на этой улице оживления точно не наблюдается. Поэтому что там за четверка черных парней, по виду как из рэперского видео, расселась на моем крыльце? Повернуть назад я не мог: они меня уже увидели. Если разыгрывать из себя испуганного белого парня, они в секунду меня окликнут или, если учуют мой страх, бросятся в погоню. Чтоб тебя… Один из них, с завитками вроде свинячьих хвостиков, встает и оглядывает меня с дистанции. Я всего в двадцати футах от своего дома, а эти четверо сидят на ступенях. Вот двое из них громко перекинулись какой-то шуткой. Я подхожу на шаг ближе, чувствуя себя полным идиотом. Это же всего лишь черные парни, сидят на моих ступенях. Ступени в принципе могут быть чьими угодно, например соседскими, а то, что ты никого из них не знаешь, опять же, твоя вина. Я похлопываю себя по бедру, как будто потянулся за кошельком, а его там не оказалось (якобы «надо же, вот досада: бумажник забыл»). Свиной Хвост все так же смотрит на меня — не смотрит, а скорее пялится, — но это, может, я сам себя накручиваю. Нельзя же вот так тор-

чать на месте. Может, мне удастся пройти мимо и повернуть за угол в кафе. Переждать немного, пока они свалят; но валить-то, судя по всему, они никуда не собираются. Блин. Не стоять же здесь вечно. Уж если на то пошло, это Нью-Йорк, и эти черные хорошенько подумают, прежде чем бросаться на беззащитного с виду белого парня — о Берни Гетце-то небось наслышаны, подонки?[308] Хотя сколько уже времени прошло, может и забыться… На подходе к крыльцу моя дверь широко распахивается, а Свиной Хвост отодвигается в сторонку и гостеприимным жестом предлагает войти, будто этот дом не мой, а его. Я приостанавливаюсь в надежде, что сюда по наитию подъедет полицейский «Додж», что кружит здесь по одному ему известному графику. Свиной Хвост снова манит меня внутрь, на этот раз картинно изгибаясь, как Дживз[309], и я делаю шаг. Остальные трое таращатся на меня.

Один прячет лицо под серым капюшоном, у другого на волосы как будто напялен чулок, а

[308] Примечания: 308

В 1984 г. в нью-йоркской подземке при нападении чернокожих Берни Гетц открыл по ним стрельбу, истолкованную на суде как необходимая самооборона.

[309] Примечания: 309

Дживз — олицетворение идеального слуги, по фамилии безупречного камердинера в комических романах П. Вудхауса.

у третьего причесон из косичек, как у ямайцев до перехода на афро. Штаны висят так низко, что ширинки где-то в области колен, а на ногах у всех бежевые «тимберленды»[310]. Если меня трамбуют, то показывать это мне они явно не собираются. Я не хочу, чтобы Свиной Хвост третий раз направлял меня в мой собственный дом, и решаюсь взойти на крыльцо. Иду, не чуя под собой ног. Бог ты мой. Буквально на прошлой неделе мой приятель, снабжавший в свое время коксом «Флитвуд Мэк»[311], сказал мне, что ушел из бизнеса, потому что все подмяли под себя гребаные ямайцы, которым решительно по барабану, скольких и как они положат. «Братан, когда я говорю, делай», — говорит со стороны чей-то голос с ямайским акцентом. Здесь не мешало бы подкинуть анекдотец, как ямайские мамаши учат своих чад соблюдать гигиену, но только рассказывать его мне некому.

В свою прихожую я захожу как в чужую, и половицы скрипом выдают мое присутствие. Проходя мимо лестницы на второй этаж, слышу

---

[310] Примечания: 310

«Тимберленд» — марка спортивной обуви.

[311] Примечания: 311

«Флитвуд Мэк» — знаменитая британо-американская рок-группа, существующая с 1967 г.

незнакомые голоса. Кто-то (один или несколько) возится у меня на кухне. Рослый черный в майке-«алкоголичке» и комбезе со сползшей лямкой смешивает желтый сок в моем (а чьем же еще) блендере. В моем поле зрения всплывает еще один, возникший как по сигналу тревоги. Сев возле раковины на табуретку, он начинает со мной разговаривать. Тоже темнокожий, круглолицый, с аккуратной стрижкой, ростом выше, чем тот мужик в «алкоголичке». На нем лазурно-синий шелковый костюм, из нагрудного кармана которого увядшим цветком торчит белый платок. Я этого парня не знаю. Да и второго тоже. Таких надраенных туфель, как на этом, что в костюме, я, пожалуй, еще и не видел. Темно-красные, местами почти черные. Заметив, что я не свожу с них завороженного взгляда, он вслух поясняет:

— «Джорджио Брутини».

Я хочу спросить, не контрафактная ли это версия «Джорджио Армани», но тут вспоминаю, что ирония — не всегда подходящая карта при игре с ямайцем.

— Уау, — произношу я.

— Видишь перед собой этого? Это у нас Питбуль. Он думает, я его нанял за то, что он хорошо владеет стволом. Но на самом-то деле я его держу

потому, что он несравним в умении делать сок. Видит Джа.

— Йоу, босс. Мне уже пора на курсы кулинарии.

— Тебе бы надо перейти с дневного отделения на вечернее.

Шелковый Костюм поднимает палец, бдительно осекая мои слова, хотя я ничего говорить и не собирался, затем поднимает стакан и опорожняет его несколькими шумными глотками.

— Мх, — удовлетворенно крякает он. — Манго.

— А по какому рецепту? — уточняет Питбуль.

— «Джули» и… погоди, я знаю… Не «Вест-Индис», часом?

— Джа ведает, босс. Ты у нас, наверное, экстрасенс.

— Скорее просто сельский парень, который понимает в манго. Налей немного белому парню.

— Да я пить особо не хочу.

— Я разве спрашиваю, хочешь ты или нет?

Улыбка исчезает в мгновение — раз, и нет. Клянусь, я такое видел только в подаче ямайцев, а они могут это делать мастерски, все до одного. Внезапная смена выражения лица на льдисто-холодное. Брови властно нахмурены, неподвижные глаза пронизывают. Ребенок десяти лет может и

в слезы удариться.

— Пожалуй, можно что-нибудь и выпить.

— Отрадно слышать, мой юнош. Милости прошу ко всему запасу молока, йогурта и фруктов, какие только есть в твоем холодильнике. Эй, Питбуль, открой брату холодильник. Я уж было решил, что он серийный убийца, который держит там труп.

— А правда, босс. Удивительно, что крысы до сих пор еще не прогрызли тут снизу дно, — кивает на холодильник Питбуль.

— Ты в курсе, что у тебя здесь молоко хранится с января?

— Да я тут пробовал сам сделать йогурт.

— Он, наверное, комик, босс.

— Ха-ха, похоже на то. Или просто так шутит… Ну да ладно, брат. Подойди-ка сюда, чтобы я хорошенько тебя рассмотрел.

Я подтягиваю табурет, усаживаюсь. Сложно сказать, как он отреагирует, если смотреть ему в глаза: впечатлит это его или ввергнет в раздражение. Затем он начинает похаживать вокруг меня, как вокруг какого-нибудь экспоната. Меня тянет ему сказать: «Музей закрыт». Я буквально в шаге от этого. Не знаю, откуда у меня убеждение, что шутки разряжают обстановку; как правило,

выходит наоборот.

— Питбуль, я тебе не рассказывал о таком Тони Паваротти?

— Нет, босс, но я и так о нем знаю. Кто из молодых, когда рос, не слышал о Тони Паваротти?

— А я тебя лет уж пятнадцать разыскиваю, ты это знаешь?

До меня не сразу доходит, что он обращается ко мне.

— Юби, а чего ты речь завел о Паваротти? Его ведь не стало, кажется, году в семьдесят седьмом — семьдесят восьмом?

— Семьдесят девятом. Тысяча девятьсот семьдесят девятом. Глянь сюда, Питбуль. Вот перед тобой человек, который его убил.

Четыре

— Ого, ты раздобрел. А что у тебя с волосами?

— Поседели. Сначала преждевременно стал пегим, а там и вовсе побелел. Дамы зовут меня серебристым лисом.

— А почему не барсуком?

— Смешно, Джоси.

— Ты теперь, как окопался в Америке, звучишь, как один из них.

— Американцев, что ли?

— Да нет. Кубинцев, среди которых ты трешься.

— Ха-ха. А ведь никто не верит, когда я говорю, что у Джоси Уэйлса есть чувство юмора.

— Правда? И с кем это ты обо мне разговариваешь?

— Эх, Джоси, да ты глянь на нас. Ты когда-нибудь думаешь о прошлом, *muchacho*?

— Нет. О прошлом, знаешь, никогда не думаю. Ну его. Оно тебе, сволочь, по мордасам, а ты ему ответить не можешь.

— Грязноватый у тебя язычок стал в тюрьме, *mijo*.

— Грязноватый… В Риме веди себя как рим-

ляне.

— Ха-ха-ха. Хорошо сказано, Джоси, хорошо…

— Перестань, Луис, говорить со мною свысока. Это тебя не красит. Как тебе вообще нравится, а? Не видимся семь лет и где в итоге встречаемся? В тюрьме. Теперь ты понимаешь, когда я говорю, что настоящее, язви его, штука по меньшей мере странная? Особенно когда высовывает свою голову прошлое — скажем, на этой неделе. Мамаша ребенка, про которую я уже и думать забыл, теребит родственника насчет денег — и не меня, заметь, а Питера Нэссера. Жаль, что у меня тут нету скрытой камеры. Один лишь этот субъект заставляет меня задуматься, умнеют люди с годами или нет.

— Питер Нэссер?

— Не делай вид, что ты с ним не знаком.

— Да я с ним с восьмидесятого даже не разговаривал. Не забывай, что с ним я контактировал исключительно затем, чтоб выйти на тебя.

— Так вот теперь, когда он хочет заделаться сэром, он надеется, что прошлое не сделает ему стоп-кран.

— Это как?

— Ну, в смысле, подножку.

— А. Однако насчет «сэра», *hombre*… Он *сэром*,

что ли, хочет стать? А быть просто хером ему уже мало?

— В сэры метит, типа «рыцари». Вроде Ланселота. Неймется ему, видите ли, преклониться перед королевой, чтобы та благословила его своим мечом. Естественная, надо сказать, тяга всех чернокожих мужиков: чтобы белая баба приблизила их к себе. Обласкала. Разве не так?

— А я, Джозеф, и не знал, что он черный.

— Забавно: за пять минут ты уже в пятый раз кличешь меня имечком. И каждый раз разным.

— А что я могу сказать, *mijo*? Каждый раз, как я тебя вижу, передо мной предстает другой человек.

— Да почему? Я все тот же.

— Да нет. Ты вот только что сказал, что никогда не думаешь о прошлом. Потому и не различаешь, как ты выглядишь.

— Не понимаю, что ты несешь. Заходишь и начинаешь с порога поливать словесным поносом… Еще немного, и польются звуки скрипки.

— Ну вот, опять юмор от Джоси, о котором никто не догадывается.

— Брат, я уже утомился. Мы же оба знаем: у тебя это не конечная остановка.

— Куда ж еще ты меня направишь?

— Прямиком обратно к тому сукину сыну, который тебя прислал.

— А что, если меня никто не посылал?

— Доктор Лав за бесплатно даже с боку на бок не перевернется.

— Знаешь, кто мы такие, Джозеф?

— Знаю, что ты несешь полную муть.

— Развалины мы, вот кто. Реликты.

— Ты хоть краем уха услышал, что я сейчас сказал?

— Что-то из вчерашних дней. *Memento*[312].

— Боже ты мой.

— Это означает, друг мой, что большинство людей никогда о наших деяниях не узнает. Может, кто-нибудь и обнаружит в нас что-нибудь ценное, ну а скорей всего, просто выбросит на свалку истории.

— Бро, если ты пытаешься донести до меня что-то посредством метафор, то лучше прекрати эту хрень: напрасные старания.

— Да я просто пытаюсь внести в наш разговор чуток веселья, *mijo*.

— Слушай, ты гонишь пыль просто безудержно. Так, наверное, кролики шпарятся. Может, и ты

---

[312] Примечания: 312
Помни (*лат.*).

тоже?

— Сейчас в тренде телефонный секс.

— Правда, что ли?

Луис смеется.

— Нынче все порнушники перелезают с реала на телефон. Какой-нибудь унылый, отродясь не женатый говнюк набирает 1 — 900-WET-TWAT[313], и ему там сука в полтора центнера весом сексуальным голосом воркует: «Ну что, морячок, развлечемся?» Он под ее стоны вздрачивает, а затем получает телефонный счет с нагрузкой.

— Реально?

— Реально орально идеально.

— Эх-х… Надо было мне, наверное, сутенером быть.

— Не знаю, брат. Из тебя вон наркодилер вышел неплохой. Пока ты здесь не оказался.

— Да вот, захотел смену обстановки.

— Ага, а теперь кто из нас вставляет метафору?

— Все эти годы я хоть бы раз от тебя услышал. Берлинская стена пала, Джеймс Бонд вышел на пенсию, и Доктор Лав вроде как оказался не у дел. Ты там что, переквалифицировался обратно в доктора? Нет, правда, что ли? Ты сейчас реально

---

[313] Примечания: 313

Зд.: влажное влагалище.

врач? И как же ты, бро, оперируешь — подрывом частей тела?

— Хе-хе-хе.

— Сохранять тело живым, даже для разнообразия, тебе чуждо. Скажи-ка мне, Доктор Лав, как та семейная ссора дошла до тебя в Майами?

— Кто сказал, что я был в Майами?

— Я вижу не слабее твоего.

— Хм. Ты сметливый человек, Джозеф. Я бы сказал, самый сметливый из всех, кого я встречал. Ты, конечно, рассчитывал, что если будешь говорить достаточно долго, то тебя расслышат многие, в том числе и те, кто надо…

— Я говорю о делах двухлетней давности. Так почему сейчас и почему ты?

— Я так, просто наблюдаю.

— Бомбоклат, скажи это кому другому. Знаешь что? Давай убыстрим тему, потому как ты меня начинаешь конкретно раздражать. Ты знаешь, что если со мной что-нибудь случится, то на стол кое-какому районному прокурору могут лечь кое-какие папки.

— Сарафанная молва…

— О сарафанной молве ты не знаешь ни хера.

— Тот инспектор из УБН — когда он тебя навещал, в прошлый четверг?

— Если ты знаешь о том визите из УБН, то ты уже знаешь и день. Бог ты мой, Луис, лучше б уж ты был реликтом. Вот в самом деле: нынешняя твоя версия — сплошное разочарование. Сколько кило ты набрал с нашей прошлой встречи?

— Жизнь крайне благоприятствовала.

— Жизнь превратила тебя в борова. У тебя нынче палец-то в пистолетную скобу пролезет?

— Зато ты у нас стройный, как кустик.

— И херню ты в свое время нес складнее.

— Как и ты, козлина. Скажем, насчет папок — бред сивой кобылы. Всем известно, Джоси: записей ты никогда не делал. УБН нужно то, что ты держишь у себя в голове, а не в каких-то там липовых папках. То, что в тебе живет, с тобой и умрет. На этот счет можешь быть спокоен. Всем было на тебя наплевать, пока ты не учинил в восемьдесят пятом году бойню в том наркопритоне. Примерно в то же время тобой заинтересовались и твои новые друзья из УБН. Будь жив Ревун, я бы спросил его, был ли то один из тех редких моментов, когда дон срывается с катушек, но он, похоже, сгинул вместе с тем, восемьдесят пятым годом.

— В том, что случилось с Ревуном, никакой тайны нет. Он так и не научился вовремя бить себе по рукам. И передоз для него был делом немину-

емым. Рано или поздно это все равно случилось бы. Все к тому шло.

— Ввести себе шприцем чистый кокс? Какой, интересно, дилер такое допустит? Даже если сам употребляет.

— Может, то была не случайность.

— Ты хочешь сказать, у твоего парня были суицидальные наклонности?

— У Ревуна? У него не было никаких причин накладывать на себя руки. И уж тем более после того, как он зажил так, как всегда хотел. Хотя, зная его, скажу: до Нью-Йорка единственно, когда он был счастлив, это когда… отсиживал в дерьме. То есть в тюрьме. Как раз в этой самой.

— Так что ты хочешь сказать, Джоси?

— Да ничего. Это ты всю бодягу поднял. Еще и Ревуна приплел, чтоб его. Я знал, что это произойдет. Так ты за этим сюда пришел, Луис? Я смотрю, ты все время ведешь речь о дерьме, которое для меня уже давно осталось позади.

— Забавно, как ты говоришь о людях, что любят поболтать… Я в самом деле рад тебя видеть, Джоси. Невзирая на обстоятельства.

— Если б не обстоятельства, я бы тебя и не увидел.

— Верно. Скорей всего.

— Когда ты убываешь?

— На Ямайку? Четкого времени нет.

— А если конкретно?

— Завтра в шесть утра. Первым рейсом.

— Времени хватает.

— На что?

— На то, что тебе нужно сделать. И составить сводку.

— Так вы с мистером от УБН уже заключили сделку насчет скостить срок?

— Ты о сделке с правосудием? Что-то ты больно скор. Надо еще, чтобы дело дошло до суда, Доктор Лав.

— Да ты что? В самом деле?

— В самом деле. Когда жизнь вращается вокруг тюряги и суда, многое постигаешь.

— Что до судов, то там все уже схвачено. Хотя можно подать апелляцию, но она тоже не исключает экстрадицию в Штаты.

— Да это Тайный совет, а не суд. А что до проигрыша, так это смотря кто проигрывает. Я, что ли? По мне, так это просто запоздалый вояж в Америку.

— Ты рассуждаешь так, будто собираешься в гости к бабушке.

— Американская тюрьма страха во мне не вы-

зывает. Если у кого очко и поигрывает, так это скорее у тех, кто тебя послал.

— Да никто меня не посы…

— Ладно, хватит. То, что нужно утаить, держи при себе, я не в обиде. Все, что думаешь сделать, делай тихо, пока я сплю.

— А те похороны, знаешь, удались.

— Что?

— Нет, правда. Самые шумные из тех, на которых я бывал, но в самом деле удались на славу. Не припомню, чтобы я прежде видел шествующий за катафалком духовой оркестр. Да еще с мажоретками[314]. Сексапильные такие, в миниюбках… Вначале я подумал, слишком уж смело, а потом вижу: они все в синих трусах. Класс! Твой мальчик был бы доволен.

— Не говори о моем сыне.

— Был, правда, один нюанс. Странноватый, я такого раньше не видел.

— Луис.

— Когда Бенджи опускали в могилу, там в два ряда встала группа мужчин и женщин. По обе стороны от могилы. А затем кто-то — наверное, его женщина? — подала крайнему мужчине мла-

---

[314] Примечания: 314

Мажоретка — девушка с тамбурмажорной тростью, марширующая впереди оркестра.

денца, и они стали передавать его туда-сюда над могилой, из конца в конец строя. Это что значит, Джоси?

— Не говори о моем мальчике.

— Да я просто в порядке интереса, мне…

— Повторяю, бомбоклат: умолкни.

Пять

— Сестра, а он щас разве не должен очнуться? Сестра, а, сестра? Очнуться он щас разве не должен?

— Мэм, технически он сейчас не спит. Мы держим его под наркозом, для его же собственного блага.

— А чё доктор ничё не делает? Почему его не будит? Чё-то ж делать надо?

— С этим вопросом, мэм, обратитесь к доктору.

— Мэм, у вас акцент какой-то знакомый. Вы, часом, не из Мэнор-Парк?

— Из Бронкса.

Она подскакивает с каждым писком монитора. Я стою у дверного проема, уже пять минут как пытаясь отсюда выйти. Да, я, конечно же, медсестра, но, когда работаешь в больнице, этот запах начинает тебя доставать. Не те запахи, которые ощущают визитеры, и не те, которые чувствуют пациенты. Другие. Вроде того, какой исходит от человека с серьезным ранением и которому так худо, что без всякого эпикриза ясно: ему не выкарабкаться. Такой человек пахнет как что-то неодушевленное, вроде механизма. Как чистый

пластик. Надраенная «утка». Дезинфектант. Чистота такая, что тебя тошнит. У этого, на кровати, в обе руки и шею вживлены трубки; пучок из еще четырех скрывается во рту. Одна отводит мочу, другая — то, чему положено быть калом. На прошлой неделе ему требовался крантик: в мозгу скопилось слишком много жидкости. Чернокожий ямаец под белыми простынями, пижама в крапинку. Я не из бригады медсестер, из которых одна каждые несколько часов его поворачивает то немного влево, то немного вправо. И не та, что проверяет его жизненные функции, — она несколько минут назад ушла. Я не обязана проверять ему ни капельницы с нутриентами, ни общий уровень наркоза. В сущности, не должна даже находиться на этом этаже: у меня хватает хлопот в отделении экстренной помощи. Но я снова здесь, в интенсивной терапии, и прихожу сюда так часто, что эта женщина (должно быть, мать его ребенка — обычно она сидит здесь с младенцем, но сегодня его почему-то нет), наверное, думает, что я его сиделка. Сказать, что это не так, я не могу, иначе она призадумается, что я здесь делаю. А в самом деле, что?

Не знаю.

Большинство ямайцев, прошедших через опе-

рационную, получили помощь и были выписаны домой (в том числе один, который месяца полтора будет теперь ходить по-большому с чрезвычайной осторожностью). Двоим помочь не удалось, а еще двое отдали концы, не успев сюда доехать. И вот он, этот человек с шестью огнестрельными ранениями, массивной травмой головы и переломом шейных позвонков. Даже если он неделю-другую продюжит, то все, что составляло его жизнь, теперь, скорее всего, упразднено ввиду отмирания. С семьями критических пациентов нас обучали держаться приятно-абстрактно, с обнадеживающими нотками. Однако все, на что хватает меня, — это напускное безразличие, на которое эта женщина рано или поздно обратит внимание.

Я ухожу из палаты раньше, чем она, а когда заглядываю поутру, то обычно она уже сидит там, возле кровати, и отирает ему лоб. Вчера я напомнила ей, что пациент, как и здоровые люди, может быть рассадником инфекции, поэтому, прежде чем подносить к кровати ребенка, ей следует на входе обрабатывать себя дезинфектантом. Она посмотрела на меня так, будто услышала в свой адрес оскорбление. «Это просто рекомендация, — пояснила я, — а не требование больницы». Когда

ее нет, мне почему-то хочется его поразглядывать. Сама себе я твержу, что это так, из праздного любопытства, и не нужно на этом зацикливаться. Этот человек лежит в больнице из-за чего-то, на что удаленность Ямайки не влияет: как ни беги, а погоня всегда за спиной, в какой-то паре дюймов. Как он сюда попал, я не желаю знать. Все эти гангстерские разборки мне совершенно безынтересны. Единственная причина, почему я все еще обитаю в Бронксе, — это элементарная нехватка денег на переезд куда-нибудь в другое место. В общем, если ямайцам угодно стреляться из-за наркоты или чего-либо еще, это их дело. Знать и слышать имя этого человека я не хочу. Даром что вокруг ходят разговоры о его сыне. На первых порах я буквально затыкала себе уши. Теперь же, стоит мне заслышать это имя, как я перестаю сознавать, что происходит, пока не прихожу в себя или кто-нибудь не окликает меня у окна кафетерия, куда я бездумно таращусь, как потерянная. Черт, мне б хотя бы припомнить, почему это имя так на меня действует. И как я ни стараюсь этому противиться, все тщетно. А стараюсь я неизбывно.

— Но хоть *что-то* вы знаете?

— Извините?

Надеюсь, она не разговаривала со мной все это время. Она притрагивается к его голове, не глядя на меня.

— Вы тут все говорите, что ничего не знаете. Или вы не сиделка? Или он не поправляется? Или вы не даете ему новых лекарств? Почему никто не хочет со мной обмолвиться, будет ли он снова ходить? Я ведь слышала обо всех этих вещах, какие случаются из-за позвоночника. Мне надоела эта чертова медсестра, которая сюда приходит, утыкается в планшетку и читает, и ворохает его, переворачивает туда-сюда, делает какие-то одной ей понятные вещи, но ничего не может сказать мне, кроме как «идите к доктору». И где он у вас, этот чертов доктор?

— Я уверена, мэм, что он вот-вот появится.

— А вот и он, милые дамы! Собственной персоной!

Надеюсь, я не произнесла всю ту белиберду вслух. В палату вальяжно заходит доктор Стивенсон. Сейчас его блондинистые волосы прилизаны (видимо, планирует после осмотра куда-нибудь на встречу). Высокий, бледный, сухо-породист, на манер английского джентльмена (видно, еще не начал пользоваться тренажером, который поставил себе в кабинет пару месяцев назад, но

все равно смотрится так, будто сошел с афиши «Огненных колесниц»[315]). На прошлой неделе он, закатав рукав, продемонстрировал, насколько рука у него белее, чем ладонь, и спросил меня, сумеет ли он подзагореть на Ямайке — а то, куда бы он ни ездил, нигде не получается. Эта баба меня задержала. Находиться здесь я не должна, а уж попадаться на глаза доктору — тем более.

— О! Вот где мы встретились, медсестра Сегри. А в неотложке что, поток поступающих на нуле? Или вас перебросили сюда, в интенсивку?

— Гм… Да я, доктор, просто шла мимо и заглянула…

— Что-нибудь случилось? Дежурная сестра оповещена?

— Да ничего такого. Ничего, чтобы… Я тут просто проходила мимо.

— Хм. С каких это пор операционка посылает своих стажерок наверх, в блок интенсивной терапии? Кстати, медсестра Сегри, вы единственная, кого из них я знаю по имени.

— Доктор, мне вообще-то пора…

— Нет, задержитесь на минутку. Вы мне можете понадобиться.

---

[315] Примечания: 315

«Огненные колесницы» (1981) — поставленный по реальным событиям фильм о соперничестве двух атлетов-бегунов.

Придумать откоряку я не успела: прикрыв глаза, он отрывисто кивнул — дескать, вопрос решен и возражений быть не может.

— Итак, здравствуйте, мэм, — учтиво обратился он к женщине.

— Почему тут все со мной балакают, как с какой-нибудь тугой на ухо?

— М-м? Медсестра, что она… Впрочем, ладно. Это, значит, ваш муж?

— Доктор Стивенсон, — подала я голос.

Хотелось сказать: да поговори ты с этой бабой просто, не надо ее пытать насчет всяких там семейных положений. Если она начнет углубляться в дебри своего сожительства, тебе месяц придется разбираться, сам не рад будешь. Но вместо этого я лишь сказала:

— Доктор, она указана как ближайший родственник.

— Угу. Понимаете ли, мэм, говорить о чем-либо еще рано. Он откликается… то есть лечение начато, но это пока лишь ранняя стадия. Первые дни, сами понимаете… Сейчас состояние у него все еще критическое, но через несколько дней оно может стабилизироваться. А за это время нам еще надо провести его через целый ряд тестов. У каждого теста…

— Теста? Что еще за тесто?

— Речь идет о контрольных замерах…

— Он что, в школе учится, чтобы контрольные сдавать? Всем этим вашим контрольным впору поставить двойку!

— А… э-э… Миллисент, можно вас на минутку?

— Миллисент? — настораживается баба. Необязательно на нее глядеть, чтобы чувствовать сейчас на себе ее хмурый, подозрительный взгляд.

Доктор отводит меня в сторонку, но недалеко. Ей все равно будет слышно, о чем мы говорим.

— Миллисент, э-э… Как бы это выразиться? Я не совсем ухватываю, что она говорит. То есть общую суть — да, но насчет ее акцента мне слон на ухо наступил. Вы не можете сами с ней объясниться?

— Ну, вообще-то да.

— Если можно, то на вашем родном языке.

— Как?

— Ну, знаете, на ямайском наречии. Оно такое напевное, все равно что слушать под кокосовый сок «Горящее копье»[316].

— Под кокосовую воду.

---

[316] Примечания: 316

Ресь идет об Уинстоне Родни (р. 1945), более известном как «Горящее копье» (*англ.* Burning Spear), популярном ямайском исполнителе регги.

— Не принципиально. Оно такое красивое, но, черт возьми, я, убей, не ловлю, о чем вы там говорите.

— Она хочет знать, доктор, зачем вам так много тестов.

— Н-да? Можете ей сказать…

— Доктор, по-английски она понимает.

— Но вы могли бы разъяснить на ее языке…

— Доктор, язык, по сути, тот же.

— Разве? Ну ладно. Скажите ей буквально следующее: «Мэм, как вам известно, ваш муж перенес операцию в связи с пулевыми ранениями, вызвавшими сильную травму головы и нестабильный перелом позвоночника. Иногда — в основном, когда пациент поступает в сознании — мы можем определиться, как проводить ему те или иные процедуры. Но ваш муж не в сознании. К тому же у пулевых ранений есть неприятная особенность наносить больший урон на выходе пули из тела, чем на входе в него. Учитывая, что он без сознания, а приводить его в чувство слишком рискованно, мы все еще не уверены, повреждена ли только спинная функция или же нарушено его умственное состояние. Нам нужно провести тесты, потому что динамика состояния пациента может меняться, может,

даже к лучшему. Однако без регулярного тестирования ничего определенно сказать нельзя. Возможно, нам понадобится повысить дозировку седативов, а может, наоборот, понизить. Или даже потребуется дополнительное хирургическое вмешательство, причем такое, какое на данный момент не очевидно. И для всего этого нам нужны регулярные тесты». Мэм, я внятно изъясняюсь?

— Все замечательно, доктор, — отвечаю я, зная, что такая ремарка наверняка выведет его из себя.

Он кивает вначале ей, затем мне и удаляется. Я уже сейчас слышу слова выволочки, которую он мне устроит в коридоре возле кулера. Ладно, я хотя бы слишком стара для того, чтобы он клал мне на ладонь свою руку — трюк, от которого медсестрички по умолчанию должны сквиртовать в трусики. Готова поспорить: если доктора не будут мешать, медсестры вполне успешно смогут лечить людей.

— Так ты, стало быть, с Ямайки?

— Извините?

— Извиняйся перед собой. Ты с Ямайки, что ли?

— Я не вижу, каким образом ваше…

— Послушай, фря. Я ведь слышала, как ты сказа-

ла доктору, что всего лишь шла мимо — это через тринадцать-то этажей от оперички, куда моего мужика привезли? Что бы твой доктор сказал, раскрой я ему, что ты каждый день заходишь в палату к моему мужчине, как будто он твой, без всякой на то причины? Так что прекрати елозить по ушам насчет того, что с таким именем, как Миллисент, ты не с Ямайки. Миллисент Сегри… Да ты не только с Ямайки, а еще и из самой вшивой ее глубинки. Поэтому можешь вешать белым все, что хочешь, но меня ты никак не проведешь.

Я внушаю себе, что не обязана все это выслушивать, и если прямо сейчас уйти, то здание больницы так огромно, что снова она меня никогда не увидит. Надо только выйти. Просто ставить одну ногу перед другой и бойко ушагать отсюда, пока эта баба не начнет выплескивать всю свою вульгарность.

— Только, если б ты была из глубинки, ты бы с Ямайки хрен выбралась. Значит, ты не из тех мест.

— Ну, а если я из пригорода?

— А вот это может быть. Там такие, как ты, и живут — языкастые и стервозные. И разговаривают вот так же. По крайней мере, у тебя вид не такой, будто ты ютилась в трущобах. Нет, ты…

Монитор снова пикнул, а она снова подскочила.

— Этот звук тебя, наоборот, утешать должен, — поясняю я. — А вот если зуммер сплошной и не останавливается, тогда беда.

— Да? Может быть. Не знаю. Мне никто не рассказывал. Так зачем ты все время приходишь сюда смотреть на моего мужа?

— С твоим мужем у меня ровным счетом ничего.

— Поверь, любовь моя, мне это вообще поровну.

Мне хочется одновременно послать ее подальше и выразить восхищение такой цепкой сообразительностью.

— Ямайцев в этой больнице немного, — нехотя говорю я. — Была всего одна старуха, так умерла в прошлом году от удара. И тут вдруг повалили к нам валом, и все, как один, с огнестрелами. Этот последний из тех, кто до сих пор здесь. Понятно, меня разобрало любопытство.

— Не мели ерунды. Если б было любопытно, ты пришла бы и все враз прочла с планшетки у кровати, как другие сиделки. А ты приходишь и смотришь, смотришь… Если я припоздняюсь, то ты уже здесь, а если прихожу рано, ты впопыхах

сразу на выход.

— На Ямайке народ стреляет повсеместно, а мне, получается, аж в Нью-Йорк понадобилось ехать, чтобы видеть это вблизи.

— Видеть вблизи? Да ничего ты не видишь. Вот дождись, погляжу я на тебя, когда твоего парня в клубе подстрелят.

— Но зачем? Зачем тащить все это за собой в Америку? Я, наоборот, считала, что если попадаешь сюда, то можно от всей той дряни отряхнуться, начать все заново…

— Это ты так за себя говоришь?

— Да ничего я не сказала.

— А то мне не видно. Вишь, как балакаешь по-ихнему…

Она привстает со стульчика, но снова усаживается. Я все так же у двери, прикидывая, как отсюда лучше выйти, быстро или неторопливо.

— Кое-кто, да почти все, валят сюда не от хорошей жизни, а за той же дрянью. Иначе в Америку им не попасть.

— Наверное.

— Да факт. И ты здесь не потому, что не видишь никого из ямайцев. А с чем-то другим. Леди, я ведь тоже женщина, пойми. Я знаю, когда баба чего-то хочет.

— Мне в самом деле пора к себе.

— Ну так иди, не держу. А я в следующий раз при случае скажу доктору — он, кстати, положил на тебя глаз, — как ты сюда шастаешь напропалую.

— Слушай, чего тебе надо?

— Знать. О своем муже. Я когда-нибудь услышу, как он разговаривает?

— Тебе надо спросить доктора…

— Говори ты.

— Я же не доктор, что я могу сказать. Да и не понравится тебе.

— Говори, я сказала.

— Будет как четырехлетка. И то в лучшем случае, если оклемается. Всему он должен будет учиться заново и все равно будет как заторможенный.

— М-м. А ходить-то будет?

— Ходить… Да ему бы хоть кружку держать научиться. Ты, надеюсь, понимаешь, что меня за сказанное сейчас могут с работы турнуть?

— Это за что же? За то, что ты первой мне правду сказала?

— Говорить тебе правду — не моя работа. Моя работа говорить то, что, по общему мнению, щадит твои чувства. Хотя здесь никто не может реально предсказать, что может случиться с

пациентом, так что никто ничего не хочет и говорить, пусть все идет как идет. Он может пойти на поправку или…

— …или умереть.

— Может и так обернуться.

Она смотрит на меня словно в ожидании вопроса. Или это я считываю выражение ее лица. Снова пищит монитор, но на этот раз она не дергается.

— Это его Джоси Уэйлс подстрелил? — вырывается у меня.

Все эти годы я не произносила этого имени ни разу. Никогда не могла заставить себя даже произнести его вслух. Понятно, что позднее я буду есть себя поедом за то, что меня вот так нежданно понесло. Годами я думала, что этот человек меня преследует, хотя даже не факт, что он бы меня узнал, если б я в людном месте проходила вблизи. И даже если бы при этом он остановил меня спросить, который час.

— Джоси Уэйлс?

— Ну, не он лично. А типа его банда.

— Ты знаешь ямайцев в Бронксе?

— При чем здесь это?

— Они теперь вместо слова «банда» используют слово «группа». Например, «Шторм-группа». А сам Джоси никуда уже не ходок: два года как

сидит в тюряге.

— Да ты что?!

— Я вижу, ты «Глинер» вообще не читаешь. А ямайские новости тоже не смотришь? Его в этом месяце отправляют в Америку и там будут судить их судом. Так-то, дорогуша. А клуб тот обстреляла «Шторм-группа» Джоси Уэйлса. Все знают, что «Тэттерс» — это «ночник» «Иерархии донов». Они его не купили, а просто всегда там кучкуются. Знаешь, в чем прикол? Я до сих пор помню песню, которая там играла. Я как раз сказала кому-то: «Гляди-ка, столько лет прошло, а “Полуночные рейверы” звучит так же классно». Не спрашивай, почему я не успела почуять беду. На Ямайке у Джоси Уэйлса убили сына, а тот, кто это сделал, наверняка был как-то связан с «Донами». Тебе повезло, что ты сумела удрать так далеко от Джемдауна, а вот большинству наших он по-прежнему дышит в спину.

— Так твой муж случайно попал под те пули?

— Нет, дорогуша. Он был одним из «Донов».

Шесть

— Так это кто убил Тони Паваротти — Иисус Христос?

— Точно, Иисус. Ты на волосы его взгляни. Твоя женщина тебя таким из дома выпустит? Я тут понял, что все белые мужчины бреются, за исключением одного культа, где принято совокупляться с сестрами.

— А эти джинсовые клеша? Мать честна…

— Брат, я единственно хочу узнать: куда мне послать телеграмму, чтоб сообщить тебе, что на дворе девяносто первый год? А то вид у тебя такой, будто ты сейчас запоешь «Утят»[317].

— Не, Юби. Если петь, то лучше «На флоте»[318].

— И то и это достойно. Кто не помнит всех тех фасонов, когда только еще появилось MTV, — ты небось тоже смотрел? Мой тебе совет: сядь в обнимку со своей пушкой и дождись, пока этот прикид снова войдет в моду.

---

[317] Примечания: 317

Имеется в виду диско-хит конца 1970-х — начала 1980-х гг. «Disco Duck».

[318] Примечания: 318

«In the Navy» (1979) — хит диско-группы «Виллидж пипл».

— Только ждать, наверное, долго придется. И, кроме ожидания, чем еще заниматься ближайшие пятнадцать лет? Ждать, чтобы кто-нибудь из наших пришел и меня тут нашел?

У меня предчувствие, что просить этих людей говорить по существу бесполезно. Я сижу, как забытый, на табурете, а они кружат вокруг меня — ощущение такое, будто на тебя в любую минуту водрузят дурацкий колпак. Или внезапно набросятся и шарахнут по голове бейсбольной битой. Вначале я сравнивал их с кружащими акулами, но вообще сравнение неудачное. Крайне хреновое время для неуместных метафор. Долболоб, ты пролистываешь свою жизнь в то время, как по твоему дому ошивается стая черных громил со стволами. Причем вариант с ограблением я вынужден с сожалением вычеркнуть. Имени Тони Паваротти я не слышал уже лет семь, да и то его всего раз упомянул Тристан Филипс. О том дне я не вспоминал никогда. Как, похоже, и никто — судя по тому, что не было никакого шума. Однажды я даже сделал проверку, прокрутив микропленку с ямайскими газетами, но там тоже ничего не оказалось. Ни полицейского репортажа об убийстве, ни даже информации о трупе,

обнаруженном в отеле. Язви тебя, Фолкнер[319]: прошлое-то, оказывается, не умирает. А это даже и не прошлое. До встречи с Тристаном Филипсом я даже имени того кренделя не знал.

— В шею, — говорю я.

Шелковый Костюм и Свиной Хвост смотрят на меня так, словно я их перебил. Питбуль (во всяком случае, я считаю, что так его звать) кладет оставшийся фрукт в холодильник и несет блендер к раковине. У меня, по-моему, задвиг: я хочу его одернуть, чтобы ради одного лишь блендера он посудомоечную машину не включал. Но Свиной Хвост и Шелковый Костюм не сводят с меня глаз.

— В шею я сделал, — повторяю я.

— Сделал *что*? — спрашивает Свиной Хвост. Костюм, кажется, зовется Юби, но всех в памяти не удержать. Сейчас здесь топчется человек шесть или семь, память киксует.

— Убил, — поясняю я. — То есть пырнул. Короче, вонзил острие в шею, похоже, в яремную вену.

— Он имеет в виду в шею, босс, — говорит Свиной Хвост. Юби смотрит на него так пристально, что тот морщится и смаргивает.

— Который из нас двоих ходил в Колумбий-

[319] Примечания: 319

Уильям Фолкнер (1897–1962) — американский писатель, прозаик, лауреат Нобелевской премии по литературе.

ский университет? А? Кто из нас? Я, по-твоему, не знаю, где находится яремная вена? Сколько он протянул? Две минуты?

— Почти пять.

— Значит, яремная, да не та, юнош мой.

— У меня в этой области познаний негусто.

— В самом деле? С вопросами, что ты любишь задавать, и писаниной, которую ты строчишь, тебе не мешало бы задуматься над этим поплотней. Особенно из того, что я читаю в «Нью-Йоркере».

— Все, блин, в критики лезут, — говорю я.

Я не успеваю заметить, как мне прилетает в висок — бамм! Я смаргиваю, пытаясь встряхнуться от шока:

— Ты чё, бля!..

— Тебе это как кино? Или я похож на того, у кого есть время на белого словоблуда?

— А вы, ямайцы, наверное, любите сводить застарелые счеты?

— Не понял, молодой человек.

— Ну это, насчет Тони Паваротти? Ваш высший авторитет. Вы тут говорите, что круче, чем он, удальца не было, а тут какой-то щегол-журналист взял и завалил его, и чем? Вскрывалкой от конвертов! И вот вы всей своей кодлой заявляетесь спустя пятнадцать лет…

— Шестнадцать.

— Да по барабану. Являетесь, и зачем? Доделать работенку? Ну прямо «Крестный отец», вторая часть.

— Босс…

— Все ништяк, Питбуль. Брат думает, что никто из нас не смотрит фильмов.

Я потираю висок, а они продолжают нарезать круги. Прежде чем заговорить, он заходит мне за спину.

— Ты думаешь, зачем они… Зачем Питбуль находится в этой кухне — чтобы делать сок?

— Не знаю.

— Питбуль?

Громила смотрит на меня и говорит:

— Эм-шестьдесят.

— Ты слышал? «Эм-шестьдесят». Знаешь, как у нас заведено? Каждый человек в этой группе выбирает себе автобус и остановку. Первого сходящего пассажира — мужчину или женщину — он снимает выстрелом. Если насмерть, то получает бонус.

— Это должно меня напугать?

— Глянь, босс: у кого-то какушки в штанах побрякивают, — говорит Свиной Хвост.

Я смотрю на этого рэпера с завитками как поро-

сячьи хвостики; громилу в майке-«алкоголичке» и с блендером в клешнях; мужика в костюме из шелка, напоминающего мятую шторину, и с торчащей из нагрудного кармана белой тряпицей (видно, мама в детстве не научила, как складывать платочек квадратиком) и как это все абсурдно. Нет, не абсурдно — нелепо.

— А ты наглеешь, пацан, — подмечает Питбуль.

— Да нет, я напуган до усрачки.

— Глянь…

— Нет, это *ты* глянь. Меня уже достало ваше разыгрывание из себя крутых, как в херовой комедии. Припираетесь в мой дом, мутите сок, пыжитесь выглядеть интеллигентными преступниками, все из себя такие утонченные, как, блин, в кино, хотя на самом деле вы просто шайка отморозков, стреляющих по женщинам и детям. Мне плевать, что вы там читаете или какие вы там умные. И насрать мне на этот ваш свежесмешанный сок. Или как я завалил самого крутого гангстера, которого только мог породить ваш гребаный остров. Давайте-ка лучше делайте, за чем пришли, а? Валяйте, и дело с концом. Чем меньше вашего дерьма я слышу, тем мне по-любому лучше. Делайте ваше дело и валите из моего

дома, чтобы соседи могли вызвать копов. И ваши фруктики с собой заберите — сок я не люблю.

— Ты прав, — говорит мне Юби. — Пугать тебя должно не это. Когда я хочу кого-то напугать, я в словеса не играю. Питбуль, займись этим мудаком.

Семь

— Так что все-таки хотел сказать Питер Нэссер?

Джоси Уэйлс безудержно расхаживает по камере туда-сюда, туда-сюда. И всякий раз, когда он уныривает в темный угол, я напряженно жду, что обратно он появится с каким-нибудь коварным сюрпризом — если не со стволом, то как минимум с заточкой, которую метнет прямо мне в глаз. И так с каждым его исчезновением в тени. Он медленно проходит мимо прутьев решетки, не сводя с меня магнитящего взгляда, пока не доходит до угла; здесь он поворачивает голову, пока его не скрывает косая тень. Под ее сенью Джоси утихает, и невозможно отследить, чем он там занимается — в темени скрадывается даже звук. Шаги и те не слышны. Временами он как будто замирает, и закрадывается напряженная мысль: а что он там такое делает? Что готовит? А когда Джоси снова выныривает на свет, сердце тревожно екает. И так раз за разом. Не помню точно, кто мне говорил, какой из львов опасней: раненый или тот, что в клетке.

— Хотел, да не сказал: очко жим-жим. А с чего

это тебя стал вдруг интересовать Питер Нэссер? Ты же сам сказал, что не виделся с ним одиннадцать лет? Он, кстати, всего лишь шестой из числа тех, кто нанес мне визит на этой неделе. Нынче все желают знать, что я собираюсь делать, если меня сошлют в американскую тюрягу. Им, гадам, раньше надо было печься, как не допустить, чтобы я попал за решетку. Забавно — все как будто уже решили, что американский суд непременно признает меня виновным. Заметь — как только правосудие янки постучалось в дверь, все сразу лапки кверху и кинули меня: разгребайся, мол, в одиночку. А теперь, когда стало ясно, что из воды торчат концы, все пытаются хоть что-то разгрести самостоятельно, чтобы выгородить себя.

— И что все это значит?

— А то, что кое-кто по-прежнему пытается найти удобный способ меня прикончить. Раз или два они уже пытались. А может, три. Но не четыре. С четвертым мои люди здесь разобрались на прошлой неделе. Они мне об этом даже не сказали, пока кто-то из охраны, отправившись по нужде, не наткнулся в унитазе на голову того пиздорванца. Тут до сих пор пожимают плечами, как голова сидельца попала в сортир охраны? Что она здесь делает? Не охрана, а припиздки. Даже сортир

укараулить не могут. Первый из тех двоих серит теперь через трубочку, а второй после того, как подобрался к моей камере и продырявил пулями пустой матрас, вмиг стал вдовцом, узнав к тому же, что через два дня мог стать отцом ребенка.

— Ну и дела, *hombre*…

— Некоторые забывают, зачем они сидят в верхах и кто их туда продвинул.

— Ты говоришь это с таким видом, будто тебе кто-то что-то должен.

— Да, должны. Причем, бля, все подряд. Я дал этой стране ее гребаное правительство.

— Оно теперь больше не правительство. И никто тебе, Джозеф, ничегошеньки не должен. Никто тебя не дергал за рукав, никто не останавливал, когда ты разыгрывал из себя Тони Монтану[320]. Всех устраивало смотреть в сторонку, пока тебе не мочкануло в голову перестрелять тех долбаных нариков в притоне. А зная тебя, скажу: сделал ты это без всякой причины, просто потому, что кто-то наступил на твои начищенные туфли. И огреб ты за это на полную катушку, которая причиталась тебе задним числом. Так что ты сам себе напортачил, понял? Сам себе поднасрал.

---

[320] Примечания: 320

Тони Монтана — главный герой криминального фильма «Лицо со шрамом» (1983).

Он снова скрывается в потемках. Я жду, прислушиваясь к шарканью шагов. А из потемок возвращается как бы уже и не Джоси: плечи расправлены, грудь набычена, даже в росте чуток прибавился.

— Кто пожалеет какого-то там обдолбанного крекера?

— Крекера, может, и нет. А вот его беременную подругу… Это несколько иное. В «Нью-Йоркере» об этом целая история. Это как бы твой фирменный почерк, Джозеф? Щелкать беременных мамзелек?

— Да пошел ты!

— Реально стильно, дон из донов. Чего пачкаться с одним *hombre*, когда можно грохнуть весь дом. Эдакий девиз, а? Град пуль и ураган расправы. Ямайская «Шторм-группа» со своим предводителем. Просто класс.

— Этих парней, босс, создал ты, а не я. Породив чудовище, не вой запоздало, какое оно получилось жуткое.

— Дружище, когда мы с тобой якшались, некоторые из тех ребят еще ходили пешком под стол. Так что уродились они, папик, не в меня.

— Ты знаешь, сколько у меня времени уходит на проверку жратвы?

— Чего? Что ты…

— Двадцать минут, три раза в день. Спроси у крыс. Каждый день я бросаю им кусок и смотрю, сожрут они его или нет. И каждый день жду, что одна из крыс свалится замертво. Отколупываю кусочек от каждого банана, разглядываю все ризинки, всасываю зубами каждый пакетик сока, чтобы не заполучить в рот толченого стекла, ржавого гвоздя, а может, и кое-чего со СПИДом. Знаешь, сколько у меня уходит времени на то, чтобы проглотить всего ложку еды? И это при том, что я купил всех, кто дежурит на кухне.

— Да ну, Джоси, никто не посмеет.

— Может, оно и так, но только там, снаружи, все боятся до усрачки, что может рано или поздно произнести мой рот. Так-то, брат. А потому найти охранника или сидельца, который их боится больше, чем меня, для них лишь дело времени.

— Ты слишком долго сидишь за решеткой.

— Ну да. Может, пора устроить какую-нибудь перестановку, развесить шторки…

— Никогда тебя не… Никогда не подмечал за тобой эшафотного юмора, *mijo*.

— Однако я еще не умер, Доктор Лав.

Он усаживается на кровать и смотрит в сторону, как будто разговор на этом закончен. Я впервые

за все это время позволяю себе оглянуться и впервые замечаю, что стены у камеры, как и у всего коридора, из красного кирпича (несколько штук уже выпало). Надо сказать, что вид у этой ямайской тюрьмы действительно как у узилища; каземат в классическом смысле слова. Хотя бы пол здесь теперь бетонный, и то ладно. В такой тюрьме всерьез представляется, что узнику необходимы единственно железная ложка и то, что американцы именуют «предприимчивостью», и за несколько лет можно будет отсюда прокопаться к свободе.

— Этот Питер Нэссер, бедный сучара, приковылял сюда и пробовал мне угрожать.

— Да неужто? И как это все обстояло?

— Все равно что импотент грозился, будто меня изнасилует. Затревожился вдруг, что канарейка запоет. Именно так и сказал. Я бы такой идиотской хрени сроду не сморозил.

— Я знаю. Но он не единственный, Джоси.

— Что в сотый раз подчеркивает, зачем сюда пожаловал ты.

— Может, я просто решил тебя навестить.

— Ты мог бы навестить меня в Америке. Я буду там через два дня.

— Позор, конечно, что тебе не дали проститься

с твоим мальчиком.

— Ты гребаный негодяй, де лас Касас. Гребаный негодяй.

— Знаешь, Джоси, что меня в тебе неизменно очаровывает? Большинство из тех, кого я знаю, могут тему неохотно, но обсуждать. И только ты можешь судачить о чем-то кошмарном, как о чем-то обыденном, а что-нибудь пустячное не переносить на дух. Здесь мы играем, а здесь — нет. Ты не можешь выносить разговоров о своем погибшем сыне, а насчет того, как ты грохнул двух беременных девчонок, и ухом не ведешь. Таких, как ты, называют психопатами. Ты чего? Что тут такого смешного?

Он принимается хохотать. Хохочет так долго, что его пробивает икота, но и тогда не перестает. Так долго, что во мне пробуждается к нему что-то вроде ненависти, ей-богу, раньше я такого не испытывал.

— Эта самая фраза — ты ее перед приходом репетировал?

— Джозеф, да ну тебя.

— Нет, серьезно. Как там называют этих, типа фокусников? Ну, их еще по телику кажут. Сидит такой, с куклой-болванчиком на коленях, и та кукла открывает рот, а разговаривает за нее кто-

то другой.

— Чревовещатель. Ты называешь меня чревовещателем? Для кого, для ЦРУ?

— Да нет, для меня ты как раз тот болванчик. Так кто тебя прислал, брат? Мистер Кларк без «е» на конце? Не, я серьезно: он все еще где-то маячит?

— Да я уж сколько лет о нем не думал. Кажется, он где-то в Кувейте.

— Память у тебя какая-то пятнистая… А вот такой, как я, все помнит. Имена, например. Ты в курсе, что большинство людей склонно забывать имена? Например, Луис Джонсон, Кларк без «е» на конце, Питер Нэссер, Луис Эрнан Родриго де лас Касас. Или, скажем, Сэл Резник. А вот я имен не забываю. И определенные события тоже. Взять, скажем, «Операцию “Оборотень”». А?.. Не забываю, как видишь. Даже даты определенные помню — такие, как шестнадцатое октября шестьдесят восьмого года. Пятнадцатое июня семьдесят шестого. Третье декабря семьдесят шестого. Двадцатое мая восьмидесятого. Четырнадцатое октября восьмидесятого… Не забываю, как видишь, и дат. Ну, что скажешь? Что-то ты прижух, *muchacho*.

— Мне думается, многих искренне беспокоит,

что ты нынче можешь высказать.

— И выскажу, Луис. Непременно выскажу. Люди роют мне ту яму. Я не говорил им делать ее таких размеров, что она поглотит всех. Не знаю, о чем там переживает твой босс. Ведь единственное, чего ему нужно сделать, это позвонить в УБН — федералам, верно? Сделать звонок, и кое-что из того рассказа скомкается.

— УБН — не федералы. И они в этом вопросе тоже не рулят.

— «Они»? Значит, кто-то в самом деле тебя подослал.

— Наши беседы вызывали у меня больше симпатии, когда мы с тобой были на одной стороне.

— Есть ворота, и есть замок. Милости прошу в калитку.

— Каким остроумным ты стал к старости.

— Все равно помоложе тебя. Чего тебе нужно, Доктор Лав? Если я буду молчать, у тебя есть тайник с деньгами, которые ты мне выдашь по выходе из тюрьмы?

— Я этого не говорил.

— Тогда давай *я* это скажу, а ты мне дашь ответ. Что наводит тебя на мысль, что я выйду из тюрьмы?

— Сделка, которую ты, вероятно, заключишь

с УБН.

— Так и не знаю, о чем ты переживаешь. Не ты ли мне говорил: Доктор Лав — это миф, видимость? Люди в большинстве даже не догадываются о твоем существовании. Может, ты погиб в Заливе Свиней или взорвался на том самолете над Барбадосом, или ты теперь работаешь на сандинистов…

— Скорее на контрас.

— Да одна херня. Или ты просто порождение, которое создают с нуля, когда им нужен даппи.

— Может, я просто призрак, который сейчас с тобой общается.

— Почему бы нет? Такой, как ты, миру больше не нужен. Знаешь, с какой поры я это разглядел? С семьдесят шестого года. Политиканы не значат ничего. Власть — пустой звук. А вот деньги… Деньги что-то значат. Дают людям то, чего они хотят. Питер Нэссер думает, что может подослать кого-нибудь, кто перетрет со мной насчет ошибочности моих путей и подходов, но скажи, кто из людишек в Кингстоне не принадлежит мне?

— Ты уверен, Джозеф? Что все они принадлежат тебе?

— Да.

— Все до единого?

— Мне что, в мегафон это повторить, или ты стал туг на ухо?

— Прямо все-превсе?

— Да, язви тебя!

— А в Нью-Йорке?

— И особенно в Нью-Йорке. Потому им, должно быть, и не терпится, когда я там окажусь.

— Кто, по-твоему, убрал твоего Ревуна?

— Ты имеешь в виду кого-то, помимо него самого? Эта тема, Доктор Лав, начинает мне прискучивать. Нет смысла вглядываться, чтобы понять, что там случилось с Ревуном.

— Хм. Ты знаешь, у меня был премилый разговор с госпожой Гризельдой Бланко, пока ее еще не пустили под откос.

— Медельин разве не разобрался со всем сучеством этой бешеной манды?

– *До* того, Джоси. Послушай меня, ладно? Это было, когда она почуяла, что тучи сгущаются, и начала искать себе друзей. И вот она рассказала мне о той банде… то есть бандформировании под названием «Иерархия донов» — слыхал про такое? Большинство из них ямайцы.

— Да, Луис. Об «Иерархии донов» я наслышан.

— Вот как? А я и не знал, в курсе ты или нет… Так вот, она мне рассказала, как в какой-то мо-

мент они чуть ли не подмяли под себя весь рэкет в Майами. А затем в пределах месяца взяли и фактически исчезли.

— Ну и?..

— Вот тебе и «ну». У Гризельды, конечно же, было желание от них избавиться, но ума на это явно недоставало. Да и живой силы, которая управилась бы с вами, ямайцами. Для того чтобы с вами сладить, ей нужен был не человек, а истинно скала. Предпочтительно такой, который уже жил бы в Штатах и мог быстро сплотить силы, ну и, безусловно, иметь к тому делу надлежащий интерес. И чтобы этот мазафакер, Джозеф, был не ты. Получается, *mijo,* ты допустил не свойственную тебе промашку: недооценил парня. А он отдал ей Южный Майами. А она отдала ему Ревуна. И тот парень решил переиграть могучего Джоси Уэйлса. Просто дождаться, когда ты лажанешься. Зайдешь в тот притон. И чего тебя тогда так понесло, что ты сорвался?

— Терпеть не могу вкус ссак.

— Чего?

— Да ничего.

— Нет, ты что-то сказал.

— Ничего я, бомбоклат, не сказал, Доктор Лав.

— Буквально один человек, Джоси.

— Юби?
— Юби.

Восемь

— Я просто ни разу не была вблизи, как бы это сказать…

— Вблизи чего?

— Мужчины. В смысле, одного из таких мужчин.

— Как ты выражаешься мудрено… Я тебе, что ли, сказала, что мой мужик один из тех?

— Ты же сказала, что он из «Иерархии донов».

— А. Ну не каждый же, кто в церкви, христианин.

— Мне кажется, я не вполне тебя понимаю.

— Ей кажется, она меня не понимает. Нет, серьезно, ты всегда так витиевато разговариваешь? Или это ты так от белых наблатыкалась?

— Ты думаешь, если кто-то правильно говорит на английском, то это обязательно из подражания белым?

— Ну, мало ли чему бывает подражание…

— В таком случае, если ты говоришь небрежно, то это значит, что ты настоящая ямайка. Хочу тебя порадовать: белым ваш говор гораздо милей на слух, чем мой.

– *Ваш.*

— Да, ваш. Настоящих ямайцев. Вы все такие, черт возьми, натуральные. И вы… ну ты знаешь. Мне здесь, на этаже, не место, и меня за это могут даже уволить. Мало того, что я говорю с ближайшей родственницей, так теперь я еще и влипаю в разборки. Если дальше начнут поступать жалобы, меня если не уволят, то точно объявят выговор. Уж лучше бы он поправился.

— Ты хочешь сказать, что ни разу не видела ганмена? С чего тебе так захотелось его увидеть?

Она смотрит на меня так, будто это в самом деле вызывает у нее интерес. Брови чуть приподняты, рот приоткрыт, словно ее действительно разбирает любопытство. Мне бы ополчиться на ее заносчивость, но ей как будто в самом деле хочется знать. А у меня нет ни одного ответа, который звучал бы правдоподобно. Возможно потому, что мне самой ничего не известно. Она встает с табурета и отходит от кровати к окну. День ни к черту. И это март месяц?

— Я не представляю никого в целом свете, кого бы я хотела видеть, — произносит она.

— Я понимаю.

— Откуда ты вообще, с какого района?

— Из Хэйвендейла.

— Тогда ты точно не знаешь. И вблизи их ни-

кого не видала.

— Да. То есть нет.

— Ну, оно и понятно. Смотришь и разговариваешь, как будто мы тут в зоосаде, а он горилла. Впору рассмеяться, настолько оно забавно. Вообще эта заваруха между «Донами» и «Штормом» кипит уже давно.

— Но зачем переносить ее сюда?

— Здрасте. А куда ж еще? Там, где у людей нужда в наркоте, там все эти разборки и вспыхивают, разве нет?

Она смотрит на меня с видом матери, теряющей терпение со своим тугодумным дитятей. Я хочу сказать, что не идиотка, но вместо этого подхожу к окну и становлюсь рядом с ней.

— Хотя сейчас оно уже почти кончилось.

– *Что* кончилось? — выговариваю я так тихо, что она вряд ли меня и слышит.

— Все это смертоубийство.

— Откуда ты знаешь?

— Людей не так много осталось, чтоб убивать. А Джоси Уэйлса скоро упекут в американосовскую тюрягу, и надолго. Я сразу это поняла, как только узнала.

— А я не знала, что он в тюрьме.

— Да что ты вообще знаешь о Ямайке? Там все

газеты только и писали, что про Джоси Уэйлса. Считай, что все новости про одного него. Я сама читала. Что ни день, то новые россказни о суде, о слушаниях, о свидетелях, о показаниях, о Тайном совете. О всех тех, которых он убил, и как янки хотят его к себе заполучить. Включишь телик, а там даже в американских новостях разговор все о нем, будто он какая кинозвезда. Всё Джоси Уэйлс, Джоси Уэйлс, Джоси Уэйлс, и… С тобой все в порядке? Ой, дорогая ты моя… Тихо, тихо… Дай помогу… Всё, всё, подхватила…

Я киваю и осознаю, что сижу на стуле у кровати того «Дона». Даже из головы вылетело, как я сюда добралась, хотя сознания вроде не теряла. Только голова кружится.

— Ты щас в порядке?

— Ага. Не, воды не надо.

— Чё?

— Это в сериалах людям вечно суют воду, чтоб отмякли. Кажут всякую фигню…

— Девочка моя, это ты что, лишилась чувств и вдруг заговорила на ямайском? Ну и дела…

— Да нет, я в себе.

И тут она начинает смеяться, да так громко, что как бы не очнулся ее муженек из «Донов». Смех переходит в широкую улыбку, гасится в смешок,

затем ее грудь просто приподнимается. Что-то мне подсказывает: в какой-то момент я перестала быть для нее мишенью смеха.

— Так когда ты последний раз говорила на ямайском?

— Я? Да я на нем говорю все вре… Впрочем, знаешь когда? На прошлой неделе, когда тот жирюга, что заправляет «Райт Эйд» в Бронксе, спросил, как высоко под юбкой у меня кончаются белые чулки.

— Омля… А ты что ему сказала?

— А я ему: тебе, говнюга, не дотянуться.

Головокружение вроде бы унялось. Непонятно. Точно даже не знаю, зачем и как оно открылось. А затем она говорит:

— Интересно, а сам процесс по телику будут казать?

— Какой еще процесс?

— Ты чё, до сих пор не в себе? Судебный, над Джоси Уэйлсом.

Знаете, как можно понять, что женщина напускает на себя равнодушный вид? По тому, как она распрямляет и без того прямую спину, начинает играться со своим колье и отворачивается, даже если на нее никто не смотрит. И при этом туманно улыбается, будто ей что-то смешное

рассказывает призрак. Улыбается до тех пор, пока от улыбки не остается и следа, а губы растягиваются в гримасе, напоминающей скорее оскал. Да, именно такую женщину я сейчас исподтишка разглядываю в зеркало по ту сторону кровати, на которой лежит «Дон».

— По тому типу плачет петля. Или пуля от кого-нибудь из тюряги. Лично я была бы «за».

— Из-за этого? — спрашиваю я.

Указывать на лежачего мне не хочется — слишком уж пафосно, — и я ограничиваюсь тихим кивком.

— А «Доны», по-твоему, никого не убивали и чисты как агнцы? — спрашиваю я.

Забавно: всю эту муть я пытаюсь гнать из головы, но помню, что не так давно в «Нью-Йорк пост» мне на глаза попался заголовок… да-да, статья о ямайце, который подсадил на крэк Нью-Йорк и встал во главе «Иерархии донов». Я это помню как раз по тому, что это был последний раз, когда я вообще брала в руки «Нью-Йорк пост».

— У «Донов» главы нет.

— Конечно, раз он в тюрьме.

— Нет, я про то, что у них нет такого вожака, как Джоси Уэйлс. Тот другой. Настоящий волчара. Как-то раз кто-то въехал ему в автомобиль… точ-

ней, наоборот, это *он* въехал и за тем человеком погнался. Ты представляешь? Тот забегает прямо в полицейский участок…

— И полиция отвозит его домой?

— Ха-ха. Они сидят, как суслики, а Джоси заявляется прямо в участок со своей бандой, выводит того парня и приканчивает прямо на улице, под окнами у фараонов.

— О боже…

— Вот и я про то. Но знаешь, если в тебе такое зло, то не удивляйся, когда оно вернется тебе сторицей. Потому и дочь его, и сына, который ходил у него в школу Уолмера — папаша хотел, чтобы его сынок выглядел крутым, — обоих пристрелили. Как матери, мне, конечно, жаль, когда гибнет ребенок. Но тому факеру это был хороший урок. И как раз это послужило началом всей той мудянки. Ты только представь: когда погибла девушка, ничего не произошло, но когда пулю влепили его отпрыску, весь Кингстон взорвался вулканом. Вот как. И огонь перекинулся до самого Майами и Нью-Йорка. Мой муж рассказывал, что дым донесло аж до Канзаса. Ты знаешь, где этот Канзас?

— Не-а.

— И я тоже.

— Значит, он теперь в тюрьме. И на волю не выйдет.

— И хотел бы, да не выпустят. Если б он мог выйти, то сделал бы это на Ямайке. Но, как я слышала, он стал слишком разговорчив. И многие этим напуганы до одури. На его месте я б давно уже села на самолет и перепорхнула сюда.

— Значит, он за решеткой? И ему оттуда не выйти?

— Пока, во всяком случае. А чего у тебя до Джоси Уэйлса такой интерес? Ты ж сама не из гетто?

— Я…

Еще даже не Рождество — всего лишь декабрь, — а кто-то уже с веселым треском пускает хлопушки, и я бегу, бегу и снова бегу, затем скачу, затем замедляю ход, и уже в десятке футов от ворот дома № 56 моя поступь становится напряженной — слишком уж громко те хлопушки трещат; особенно мне не нравятся эти заполошно-быстрые «тра-та-та-та-та», и я хочу сделать поворот, но ворота дома уже открыты — милости просим, — и открытые створки словно две гостеприимно распахнутых руки — «входи, дщерь, здесь тебя ждет лишь любовь и единение»; и тут мимо меня пробегает тот хлопушечник. Мужчина бежит спиной вперед и

чуть меня не сбивает; он в безрукавке-«сеточке», а в руках у него автомат, и он дергается от… отдачи? Да, отдача, в кино это называют «отдачей». Автомат трясется трясом и «тра-та-та-та-та» — именно так, а не «па-па-папа», — и этот человек пробегает мимо меня; вот он уже за мной, а я провожаю его взглядом до белой машины — «Кортины», кажется; он кричит «бомбоклат», а я оглядываюсь и вижу еще двоих — один впереди, тоже что-то вопит, второй сзади с двумя пистолетами, палит из них вверх и вниз «пап-пап-пап»; от каждого такого «пап» я вздрагиваю всем телом, а один из тех двоих на бегу сшибает меня вбок, а другой сзади сшибает меня в другую сторону, и я кружусь кружусь кружусь на месте, а еще один стреляет дважды и белая машина со скрежетом срывается с места; я не заметила, что там стоит и еще одна машина, а у меня по-прежнему ощущение, будто я кружусь, хотя я знаю, что остановилась, ведь я топнула ногой о землю, чтобы встать прочно, и я как будто очухиваюсь от воя сирен или может это комары, а вон там совсем рядом возле караульной будки распласталась в грязи женщина, у нее возле головы растекается кровь и люди вопят и вопят, а я поворачиваюсь и утыкаюсь в грудь

высокому мужчине выше меня, и плотный хотя и поджарый, а кожа у него темная или может это из-за темноты, а глаза узкие как у китайца только сам он черный, хотя нет просто темный и утыкается прямо мне в лицо и прямо в шею и нюхает нюхает нюхает как пес, «Джоси давай бомбоклат в машину» кричат ему из белой «Кортины», а он подставляет ствол пистолета прямо к моему лицу и в нем дырка, нет это буква «О», нет это «О» с дыркой, и оно пахнет как спички когда ими чиркаешь, «Джоси давай бомбоклат в машину» кричит кто-то из «Кортины», но он по-прежнему передо мной машет пистолетом все ближе и ближе и уже прямо перед моим левым глазом, но сирены все громче и он уходит пятясь и глядя на меня и целясь, уходит дальше и дальше но приближается все сильней и сильней и вот он уже в машине но я чувствую его дыхание на моей шее, и вот он уже отъезжает но я чувствую что он все еще здесь и не могу пошевелиться, а та женщина все так же в грязи, но к ней с криком сбегается ребятня, а сзади сходятся еще какие-то люди, должно быть чтобы меня застрелить и я бегу бегу бегу, а машины гудят и воет сирена и проносится мимо, а я все бегу, вот на светофоре притормаживает автобус и я вспрыгиваю на

ступеньку и люди смотрят на меня во все глаза. Забегаю домой только чтобы схватить чемодан нет сумку нет сумочку ты с ума сошла зачем тебе эта чертова сумочка, хватай чемоданчик под кроватью который брала с собой в Негрил с Дэнни, белый иностранец, хватай бомбоклат чемодан мухой мухой мухой, бомбоклат это ж какая пылища под кроватью всё времени на это нет, красное платье, синяя юбка, синяя джинсовая юбка, «Фиоруччи», «Шелли-энн», джинсовый комбинезон, столько джинсов но куда ты собираешься? Платье «Калико» нет, пурпурное платье нет, бархатная юбка нет непонятно вообще зачем ты ее покупала просто чтоб понравилось матери, набор трусиков из верхнего ящика, носки вразнобой да кому они нужны, косметика да кому она нужна, помаду не надо, тушь для ресниц боже ты мой дура он же там со стволом с дыркой «О» с пулей, какого хрена ты рассусоливаешь? А куда ты собралась? Зубная щетка, зубная паста, эликсир, тоже мне нашла время давай давай давай шевелись, блокнот — кому писать? Библия — когда читать? Сабо, макси «адидас» для повседневной носки, надо изменить свою внешность, изменить так чтобы он никогда меня не узнал, он идет за мной по пятам он у дверей он

уехал но… нет нет нет слишком много платьев, а в них неудобно бегать, надо больше штанов и кроссовок, нет я не могу… нет… оставайся на месте. Просто оставайся не своем месте, он ведь тебя не узнает. Ему ведь тебя не сыскать. Где ему тебя искать? Но Кингстон тесен. Ямайка и так-то тесна, а Кингстон еще теснее, он тебя будет вынюхивать, как пес, потому-то он тебя и нюхал, он будет тебя преследовать и застрелит нынче ночью, как собаку. Думай ради бога думай. Полиция вызовет тебя как свидетеля, а защиты тебе не обеспечит. Возьми Библию. Нет. Нет, сука, бери Библию. Не включай радио, не включай телевизора, он тебя через него разыщет, вынюхает по запаху и убьет из этого своего «О» с дыркой и пулей внутри, я знаю. Кто не знает насчет гетто, потому у нас и чрезвычайное положение, потому что обитатель гетто может пролезть всюду куда захочет, раз уж он может вломиться в дом моей матери, избить отца, а ее изнасиловать, то они могут найти кого угодно где угодно, не думай о них, гони их из головы, гони их всех прочь.

Всех гони прочь. Все вон.

Уходи, просто уходи.

Но я по-прежнему его чую. Чую его сейчас…

— Сестра? Сестра!

Девять

Алекс Пирс
«Краткая история семи убийств»

Часть 3
«Дом крэка»
Бойня и Создание криминальной династии

«На этот раз Монифа Тибодо решилась всерьез. Мать поняла это по голосу дочери, в котором сквозило нечто категоричное и окончательное. Правда, эту “окончательность” ей доводилось слышать и раньше, но так уж хитро обстояло лицедейство у девушки вроде Монифы, искусницы выражать свои мысли и намерения так, что “окончательность” у нее на поверку оказывается чем-то зыбким, текучим, каждую неделю означая что-нибудь новое и разное настолько, что когда думается, будто дальше по наклонной человек опуститься уже не может, он тем не менее соскальзывает на новую глубину — такую, какая ее бедной матери и не снилась. Однако теперь решимость дочери отчего-то воспринималась иначе, на порядок серьезней, чем прежде, хотя ставки, казалось бы, мало чем отличались. Дочь собира-

лась покончить со своей привычкой завтра.

Об этом она заявила своей матери, Анджелине Дженкинс. Повторила это своей лучшей подруге Карле, порвавшей с нею три года назад, после того как она нашла Монифу у себя в ванной с иглой, воткнутой меж пальцев ступни. Сказала и своему бывшему бойфренду Ларри, который когда-то хотел на ней жениться и пошел даже на то, что сводил ее в “Зэйлс”[321] присмотреть обручальное кольцо — такой вот сюрприз. Впечатление было такое, словно Монифа вернулась с программы реабилитации и поставила перед собой цель искупить и залечить душевные раны, нанесенные родным и близким.

Порвать со своим пристрастием Монифа собиралась завтра. Но разрыв в первую очередь означал преодоление самоедского пристрастия к наркотикам и отказа от того, что ее родная мать называла “блудовством с крэком”. В случае с Монифой “завтра” всегда означало “не сегодня”. Бросить завтра она собиралась и пару месяцев назад. И за пять месяцев перед этим. И за семь месяцев до того срока. И полутора годами ранее. На этот же раз под “завтра” подразумевалось

---

[321] Примечания: 321

«Зэйлс» — американская сеть ювелирных магазинов.

конкретно 15 августа 1985 года.

На 14 августа Монифа блюла себя уже почти неделю. Бросившая среднюю школу Стайвесанта, беременная в свои семнадцать, она была, по сути, олицетворением злополучного бытия гетто, не будь сюжет ее жизни несколько более разнопланов и противоречив. Школу она бросила, сдав предварительные экзамены почти на “отлично”; беременность вынашивала, почти не прикасаясь к наркотикам. Росла, кочуя между квартирой матери в пуэрто-риканском Бушвике и родней в Бедстае и Бронксе. По словам ее сестры, Монифа отчаянно стремилась избежать жизненной развязки, которую ей навязывала сама статистика жизни цветных в тех районах…»

— Что еще за «статистика цветных»? Ты что, сильно умным себя мнил, когда ту ересь кропал?

— Босс, а что значит «блюла себя»? Тоже была содомиткой, что ли?

— Питбуль, ты думаешь, что любая баба, которая не дает мужикам, уже содомитка? На то пошло, не содомитка, а лесбиянка, а во-вторых, «блюсти себя» в данном случае означает «слезть с кокса». Моя девка тоже вон неделю не пыхала трубочкой.

— Ну по-онял…

— Я вот чего хочу знать. В первой части ты говоришь, что было убито одиннадцать человек. Так с чего ты тогда пишешь только о семи?

Я не знаю, отвечать мне или нет. Пять минут назад я сказал им, что мне нужно помочиться, и Юби ответил: «Я тебя не останавливаю». В тот момент, что я поднимался, Питбуль залепил мне кулаком в лицо, расшатав левый клык. Перед этим Свиной Хвост пинком сшиб меня на пол. А еще до этого Юби сказал Питбулю мной заняться, и тот, схватив меня за рубашку, ее порвал. Затем кто-то сзади дал мне по голове, и я ударился коленями об пол. Не помню, как и когда с меня стащили штаны и ботинки. Меня за руки поволокли наверх, при этом моя голова, стукаясь о каждую ступеньку, вызывала общий смех, вскрики и улюлюканье, уж не знаю почему. Питбуль схватил меня за шею — сильный, гад, — и вот мы в санузле, а кто-то снова засмеялся, и он меня толкнул, а я по инерции, сделав шаг назад, запнулся и приземлился в ванну и попробовал подняться, но поскользнулся. Он снова схватил меня за шею, при этом я невпопад наносил удары, шлепал его и царапал, а кто-то там снова рассмеялся и пихнул меня прямо под кран и включил его на полный напор. Струя ударила мне по лбу

и по глазам; я пытался вспомнить, что нужно задержать дыхание, но вода все равно заливалась в нос и рот, и каждый раз, когда я пытался завопить, рот у меня наполнялся до отказа. Чувствовалось, как мою грудь придавил башмак, и я не мог пошевелить рукой, а вода хлестала, шлепала и била мне по губам, по зубам, щипала глаза и нос, и я начал давиться, кашлять и плакать, но шею мне по-прежнему удерживали, и это все, что я помню. Очнулся я весь мокрый на табурете, в трусах, и надсадно кашлял. Юби швырнул мне «Нью-Йоркер» и приказал читать.

— Я… Мне в самом деле нужно по-маленькому. В самом деле нужно…

Они смотрят на меня и хохочут.

— Ну пожалуйста. Прошу вас. Мне нужно в туалет.

— Так ты сейчас только оттуда, пацанчик.

И все ржут.

— Пожалуйста. Мне нужно…

— Ну так ссы, дурачина.

Я на табурете, но я как-никак мужчина, и хочу сказать: «Я как-никак мужчина, и вы не смеете обращаться так с людьми, и я…» Я хочу спать, очень, и я хочу стоять и держаться, просто чтоб показать им, что я кое-что могу, но я не могу

многого, не могу даже вспомнить про глубокое дыхание, а глаза жжет, и мокрые трусы спереди становятся теплыми и желтоватыми.

— Босс, он чё, реально обоссался?

— Как? Он что, шестилетний?.. Вот зассанец.

— Видно, не смог удержаться. Недержание у мальчишечки.

И снова гогот. Хохочут все, кроме Юби. Мне ежеминутно приходится тереть глаза, такая в них рябь. И я принимаюсь читать — медленно, потому что, когда я дойду до конца статьи, они меня прикончат. Я чувствую от себя запах и ощущаю на ногах собственную мочу.

— Информации по остальным четырем я найти не смог. К тому же семь — нормальное круглое число.

— Бэбику нужен подгузник, — влезает Питбуль.

— Продолжай, — говорит Юби.

Питбуль снова подходит ко мне, а я отодвигаюсь так резко, что запрокидываюсь на спину. Он поднимает меня за грудки, у меня снова невольно текут слезы, а он говорит:

— Соберись, мальчик.

— Вот. Теперь продолжай, — кивает Юби.

— «Но… но… но вот… но вот… но вот появляется

некий парень».

— Брателла, с последнего предложения. Думаешь, мы его все еще помним?

— Изв… извините.

— Да ладно. Следи за собой. А то мы так далеко не уедем.

— «По сло… по словам ее сестры, Монифа отчаянно стремилась избежать жизненной развязки, которую ей навязывала сама статистика жизни цветных в тех районах. Но вот появляется некий парень. “Всегда возникает какой-нибудь долбаный чувак”, — говорит ее сестра. Над стаканчиком крем-соды в закусочной “Шеллиз”, что во Флэтбуше, она успевает дважды всплакнуть. Приземистая, круглощекая и…»

— Почему ты подаешь ее именно так, как ховагу из гетто?

— А? Я не пони…

— «Приземистая», «круглощекая», и я даже помню остальное: «Темнокожая, с завитками волос, кончики которых будто ощипывали поштучно». Ты думаешь, белый, ей понравится читать такое?

— Это что…

— Вот именно: это что?

Он встал у меня за спиной, а я изо всех сил ста-

рался не трястись. Лицо скукоживалось болью всякий раз, едва я открывал рот.

— Тебе бы понравилось, если б я написал: «Александр Пирс вышел из санузла, отряхивая ссаки со своего дюймового члена»?

— Вы… вы говорите мне, как писать?

— О. Теперь я вижу: умняга Александр Пирс наконец оклемывается. Я говорю, что не берусь судить о твоем членике. Потому что мне нет до него никакого дела. А ты не можешь судить о волосах черных женщин, потому что ни хрена в них не смыслишь.

Его рука у меня на шее. Он ее только что ухватил. Не так чтобы нежно (я чувствую на ней его мозоли), но и не очень крепко. Сейчас он ее слегка сдавливает.

— Ты меня все еще не понимаешь? Мне надо, чтобы ты понял: я с тобой не играюсь. Я человек, который отрежет тебе голову и отошлет ее твоей матери. И говорю это я не для красного словца. Ты понимаешь меня?

— Да.

— Ну так скажи.

— Что сказать?

— Скажи: «Я тебя понимаю».

— Я тебя понимаю.

— Вот и хорошо. Продолжай.

С минуту я кашляю.

— Гм, «…будто ощипывали поштучно. “Мани-Фани как раз собирался сваливать, понимаешь? А она как бы зашла попрощаться с Бушвиком, типа чао. Это буквально кожей ощущалось, ты въезжаешь? Типа, с головой-то она дружила о-го-го…”»

— Хе-хе. Ничто так не выдает в белом белого, чем когда он пыжится изображать черную девчонку.

— Э-э… «…“с головой-то она дружила о-го-го. И тут, как из ниоткуда, появляется тот мазафакер и губит ей жизнь. В ее убийстве я даже не виню наркодилера. Я виню его”. Неизвестно, привил ли ей пристрастие к крэку тот самый бойфренд, но к 1984 году Монифа оказалась полностью в плену у своей привязанности, незадолго перед тем, как крэк рванул к пику популярности с середины по конец восьмидесятых. Поставки наркотика, пробившего потолок спроса в Нью-Йорке, можно в принципе отследить. Их контролировали несколько человек. В том числе банда, убившая Монифу. Для наркоманов, решивших покончить со своим пристрастием, бывает вполне типично, так сказать, отвязаться напоследок. Фактически Монифа…»

— Ладно, хватит об этой сученции. Читай ниже.

— Гм… Откуда именно?

— А ту часть, где ты начинаешь рассказывать о «точке». О «доме крэка». Ну ты знаешь, кажется, во второй части. Это ведь там про убийство номер два, верно? Вторая часть у тебя более-менее реально правдива. Ты хотя бы не корчил из себя умника, щеголяющего кучерявыми словами. Двигайся туда, где она становится номером три.

— А-а… э-э… секундочку.

— Ты что, собственного рассказа не знаешь?

Он на секунду стискивает мне шею.

— Ладно, ладно. Так откуда?

— Где про «дом крэка».

— Спасибо. «Есть Бушвик, различимый на уровне улицы, на уровне крэка, но все это дружно исчезает, стоит лишь поднять голову. Со всем своим наркодилерством, порочными связями, уличной проституцией, жульем, наркотой, сутенерством и рэперством Бушвик все еще остается одним из тех редких мест в Нью-Йорке, где сверху на тебя взирает Позолоченный век[322].

---

[322] Примечания: 322

«Позолоченный век» — саркастическое название конца XIX в. в США, для которого были характерны быстрое обогащение, коррупция и легкие нравы.

Обветшалые твидовские[323] особняки мясников-миллионеров с витиеватыми колоннами и тяжеловесными фасадами, скопированными с европейских дворцов и облицованными импортным кирпичом и каменной лепниной. Остатки пристроек людских[324] и пожарных лестниц снаружи, кухонных лифтов и потайных ходов внутри. Бушвик словно был выстроен и завещан баронами-разбойниками[325] для будущих баронов крэка.

Наркопритон (он же “крэк-хаус”, он же “точка”) на углу Гейт и Сентрал все еще отличался величавостью краснокирпичных строений. К двум подъездным аркам всходили пролеты лестниц, а между ними умещалась третья, широкие окна над которой открывали взгляду то, что некогда представляло собой просторную гостиную. Оба подъезда все еще выделялись сочно-зеленой краской. Остальной же дом являл собой живую

---

[323] Примечания: 323

Уильям Твид (1823–1878) — сенатор от шт. Нью-Йорк, имя которого стало нарицательным для обозначения политической коррупции.

[324] Примечания: 324

Людска́я (*ист.*) — помещение, предназначенное для слуг при господском доме.

[325] Примечания: 325

Бароны-разбойники (*ист.*) — феодалы, разбойничавшие на дорогах; во второй половине XIX в. — американские капиталисты, нажившие состояние нечестным путем.

декорацию городского фильма ужасов — зияющие провалы там, где раньше красовались двустворчатые окна; дыры заколочены фанерой, заложены кипами газет или забиты крест-накрест прогнившими от непогоды досками. Весь первый этаж испещрен граффити; бродячие собаки роются в сугробах из мусорных куч. К 1984 году верхний этаж здесь стал так ненадежен, что какой-то нарик, провалившись сквозь половицы, напоролся на штырь, истек кровью и провисел там мертвым неделю, пока кто-то не вызвал полицию. И…»

— Бог ты мой, белый парняга, давай уже к убийству, а? Ты не видишь — Питбуль успел закемарить?

— Чё-то в самом деле, — подтверждает тот с поистине львиным, исполненным патетики зевком.

Я читаю:

— «Для наркоманов, решивших покончить со своим пристрастием, бывает вполне типично, так сказать, отвязаться напоследок. Фактически Монифа…» А, вот: — «…так что неудивительно, что Монифа тем вечером направилась в крэк-хаус. Но даже зная об этом, ее друзья полагали, что завтрашний день она начнет уже “чистой”,

с чистого листа. Для тех, кто употребляет крэк, притон на углу Гейт и Сентрал был своего рода Меккой…»

Вся кухня издает дружный стон.

— Бог ты мой, белый, ты реально так написал? — спрашивает Юби.

— Написал *что*?

— Ну, *это*. Ты что, сравнил одно из святейших мест на земле с наркопритоном? Да тебе бы этот самый отрывок прибить гвоздем к груди и сбросить с крыши, во имя сыновей Ислама.

— Да я не хотел…

— Чего ты хотел, мы видим. Ты даже не задумался. За такое мне нужно приказать пустить тебе пулю в лоб. Без разговоров, немедленно. Урод гребаный. Такая безответственность…

— Я не думал, что какой-нибудь наркодилер раздует из этого такую драму…

Он выпинывает из-под меня табурет, и я падаю.

— Встань.

Я пытаюсь подняться, но в живот снова шибает боль, и я валюсь на бок. Не могу даже дыхнуть. Между тем Юби желчно смотрит на меня, выжидая. Я снова поднимаюсь — не сразу и только на колени, подтягиваю к себе табурет и кое-как

усаживаюсь. Какая-то часть меня надеется, что на щеке теплится слюна, а не слезы, а другая начинает проникаться усталым равнодушием.

— Читай остальное. Давай, шевелись.

— «Всего через два дома от дилеров, но все еще на Центральной авеню. Никто теперь не может подтвердить ее связи с Мани-Фани — бывшим местным дилером, изгнанным из круга за то, что потреблял лишку из товарного запаса. Взаимное чувство у них было, пожалуй, одно: пристрастие к крэку. Мани-Фани — наполовину мексиканец, улыбчивый обаяшка с густой курчавой шевелюрой. По словам его братьев, в девятом часу того вечера он с кем-то ушел — предположительно с еще одним парнем, но это была Монифа, одетая в толстовку с капюшоном и мешковатые джинсы; не для того, чтобы сойти за мужчину, а скорее чтобы скрыть свою беременность — вид беременной женщины мог заставить призадуматься даже матерого наркодилера: сбывать ей дозу или нет.

В том старом особняке на Гейтс-стрит было много комнат, закутков, проходов и закоулков, потому-то здесь можно было и складировать крэк, и продавать его, курить, колоть и даже проституировать за него — все это под одной крышей. Мани-Фани зафрахтовал комнату вто-

рого этажа возле лестницы — единственную, где сохранилась кровать, — а Монифа, надвинув на голову капюшон, прикупила на улице крэк. Вкалывать его она предпочитала в одиночку, но курила обычно на пару с Мани-Фани. Уединившись в комнате второго этажа, они понятия не имели, что там, внизу, уже творится вакханалия. В крэк-хаус ворвалась банда, связанная с наркодельцами, что контролировали большинство улиц Бушвика, и принялась убивать всех без разбора. Уже пал замертво проповедник Боб, варивший смеси на кухне (точнее, на том, что от нее осталось); в ту же минуту не стало и Мистера Кейфа. Наркоманы на первом этаже, натыкаясь друг на друга, метались в панике: с одной стороны, надо спасаться, а с другой — как же бросить свои трубки, шприцы и ампулы? Потом ищи в потемках. На втором этаже в конце коридора выпрыгнула из окна женщина, сломав обе ноги. Снаружи прямо под дверью упал еще один человек с двумя пулями в груди (из “глока” и еще одного полуавтомата). Банда вышибла дверь, и Монифа получила пулю прямо в голову; сила выстрела сшибла ее на кровать, и беременный живот выпирал над матрасом недвижным бугром. Мани-Фани, еще не поняв, что происхо-

дит, подхватил выпавшую у нее трубку и в этот момент сам получил пулю. Банда на этом не остановилась, и счет убийствам продолжился. Эти люди именовали себя “Шторм-группой”; полицейские протоколы показывают, что именно она орудовала в том крэк-хаусе. Возможно, массовое убийство было своего рода предостережением. Хотя один из свидетелей утверждал, что стрельбу вела не банда, а один из ее участников, по всей видимости главарь. При всем при этом почерк был характерен именно для “Шторм-группы” — непрочного союза ямайских головорезов, выросшего на насилии, свойственном третьему миру, и колумбийских наркоденьгах; преступный синдикат, всего за несколько лет ставший грозой всего Восточного побережья».

Юби выхватает у меня «Ньюйоркер».

— «Часть четвертая: Ти-Рэй Бенитес и Джемдаунский след». Ты этот кусок уже отправил?

— Да.

— Тебе же хуже. Потому что прямо сейчас ты туда позвонишь и сделаешь офигенную правку.

Десять

— Джоси. Ну серьезно, *hombre*. Джоси.

Его даже не видно: мое поле зрения загорожено матрасом, который он схватил обеими руками и кинул в меня. Я успел отпрыгнуть до того, как он схватил металлический каркас кровати и бахнул им о прутья дверной решетки. Матрас смягчил удар, но спинка все равно грянула о прутья так, что посыпались искры. Я отскочил и запнулся, хотя проломить ту решетку Джоси все равно бы не смог. Сейчас он в потемках, рыча по-звериному, пытается вырвать из стены раковину, но та не поддается.

— Джоси. Ну хватит, Джозеф.

— Чего тебе, бомбоклат?

— Ты не первый в кутузке, кто пытается выкорчевать раковину или унитаз.

— Бли-ин!

Я в дверном проеме, пытаюсь отстранить от себя матрас, а левой рукой — каркас кровати. Не получается ни то, ни это. В тот момент, как я просовываю сквозь прутья правую руку, он цепко ее хватает.

— Джоси, какого черта?

— Не джось тут мне, долболоб! — жарко, с придыханием, говорит он. — Если я не останавливаюсь перед тем, чтобы грохнуть беременную суку, то, думаешь, перед тобой замешкаюсь?

Он жестко дергает меня за руку, и я ударяюсь о решетку виском и правой бровью.

— Всякие паскуды мнят, что могут тут со мной шутки шутить.

— Джоси.

Он дергает меня снова; прутья бьют меня в грудь, а он с медвежьим упрямством пытается продернуть меня сквозь решетку.

— Ну, Джоси.

Мелькает вспышка света — наверное, потому, что я моргнул.

— Джоси, отпусти. Ну хватит, больно.

Вспышка исходит от мачете, которое сияет, как новое.

— Хочешь знать, что случилось с четвертым фараоном, который приходил сюда меня укокошить?

— О бог ты мой, Джоси…

— Но мы с тобой как-никак бывшие кореша, поэтому я даю тебе выбор. Выше локтя или ниже? Думай хорошенько: я слышал, протезы нынче дороги.

— Боже мой…

— Ха. Гляньте на Доктора Лава, мнящего себя крутым, потому как он, видите ли, взрывал самолеты и убивал стариков, которым все равно дорога на тот свет. Заявляется так, будто я тут жду на коленях, какую кость он мне бросит. А? Тебя еще не притомило меня недооценивать, козлина? Не устал еще от того, что я тебе все время демонстрирую: лезвие у тебя, но рукоятка-то вот она, у меня? Так что выбирай, козел. Время ограничено.

Он взмахивает мачете у меня над локтем и рассекает кожу до крови.

— Выше локтя…

Он взмахивает ниже локтя, на этот раз глубже; снова появляется кровь.

— …или ниже? Даю тебе на размышление пять секунд, или все решу сам и отхвачу по самое плечо.

— Джоси, перестань.

— Пять, четыре…

— О боже ты мой…

— Три, два…

— У тебя есть еще одна, Джоси.

— Еще одна ч*то*? Секунда? Зато у *тебя* ее нет.

— Еще одна кровинка, Джоси. Еще один сын.

Блесткий клинок возносится и исчезает в темноте.

— У тебя есть еще один сын.

Мачете появляется снова, но уже возле моего горла. Он по-прежнему тянет через решетку мою руку.

— Да господи, Джоси!

— Что ты сейчас сказал?

— А то ты не слышал! У тебя есть еще один сын. Ты думаешь, мы не знаем? Твой первенец мертв, девочка тоже, и отпрыск у тебя остался всего один. И если ты не думаешь, что за ним придут, то клянусь Богом: возьму эту вот другую руку и выпотрошу его, как гребаную рыбину.

— Ха. Как это ты, интересно, собираешься сделать? Ты ж истечешь кровью, даже не добравшись до выхода.

— Скажу одно: ты прав, Джоси. Я действую не в одиночку. А ты как думал, *hombre*? Что я, вальсируя как идиот, вплыву сюда? Я что, тебя не знаю? Думаешь, папины людишки с пукалками уберегут его от меня? Я Доктор Лав, мазафакер. Ты, похоже, забываешь мой послужной список. Так что лучше отпусти меня.

— А то я такой, бомбоклат, идиот… Отпустить тебя, чтобы ты сомкнул два проводка и поднял на

воздух мой, язви его, дом?

— Нет, *mijo*, чтобы я, наоборот, разомкнул те проводки и вознесение не состоялось.

Прежде чем отцепиться, он отбрасывает мачете. Я хватаю свою руку, хотя теперь остается лишь дожидаться, когда перестанет течь кровь.

— Тебе сюда давали хотя бы рулон туалетной бумаги? Наверное, нет.

— Надо было все же тебя грохнуть…

— Ну и что толку, если б ты меня убил, Джозеф? Вместо меня подослали бы еще кого-нибудь. Менее приветливого.

Он отходит от меня и оттягивает каркас койки так, что тот с чугунным грохотом падает. Матрас соскальзывает на пол. Джоси усаживается на пружины, в мою сторону даже не глядя.

— Чего Юби хочет от моего сына?

— Ничего он от него не хочет. Он и от тебя-то ничего не хочет. Лишь бы ты не совался в Нью-Йорк. Я так полагаю.

— А чего хочет ЦРУ?

— Раста на ЦРУ не работает… Извини, шутка с бородой. Я здесь не затем, Джоси, чтобы рассказывать, кто меня послал. Расслабься, никому твой сынок не нужен. По мне, так пускай он становится хоть таким, как ты. И ведь надо же: все

было тип-топ, поверь мне, все шло как по маслу, пока ты сам все не обгадил. Тебе не хватило ума попасться хотя бы тогда, когда у власти стояло твое правительство.

— Я не хочу, чтобы кто-то тронул моего сына, Луис.

— Я тебе уже сказал, Джоси: мне твой сын не нужен.

— А насчет проводков под моим домом — это правда?

— Ну конечно, правда, язви тя. Мы с тобой оба знаем: у тебя на блеф нюх, как у собаки.

Он смеется, я тоже. Жаль, что здесь негде присесть. Он все еще смеется, когда я, согнувшись, усаживаюсь на пол, припав спиной к коридорной стене и не спуская с Джоси глаз.

— Но при всем при этом ты так и не говоришь, кто тебя прислал.

— Я думал, ты уже сам догадался. Ответ я держу только перед двумя-тремя людьми.

— Ты его держишь перед любым, у кого чек пожирнее.

— Не совсем. Я известен тем, что иногда делаю вещи *pro bono*.

— Даже не знаю, что это значит.

— Ну и не мучься.

— Забавно: никто даже не заходит проверить, что здесь такое происходит, при эдаком расколбасе.

— Сегодня, *hombre*, никто сюда не войдет.

— Надо было догадаться об этом в ту же секунду, как ты сюда вошел. То есть имени ты мне так и не назовешь?

— Может, тебе еще сказать, кто убил Кеннеди?.. Черт, шутки у меня сегодня какие-то плоские.

— Да, Доктор Лав, сегодня я что-то от них не смеюсь.

Я пожимаю плечами. Он встает и подходит к решетке прямо напротив меня.

— Что, если я не стану петь насчет чувствительных вопросов?

— Ты имеешь в виду то, о чем как раз грозился спеть?

— Ага.

— А ты знаешь, что на сегодня чувствительно, а что нет?

— Ты в самом деле считаешь, что один человечек не может кого-то помножить на ноль?

— Блин, как вы, ямайцы, любите отвечать на вопросы вопросами… Но что ответить, Джоси, я не знаю: это ведь ты держишь карты в рукаве.

— Скажи своим, что мы можем кое о чем дого-

вориться. Пусть они играют без мухлежа, и тогда я смогу разом потерять память обо всем, что было до восемьдесят первого года. Могу сказать, что все дороги ведут ко мне. Что семьдесят шестой не их рук дело, и семьдесят девятый тоже. Это же УБН, им нужен только приговор по наркоте.

— И тогда в комедиях по телику перестанут показывать ляпы с Нэнси Рейган.

— Что?

— Еще одна неудачная шутка.

— Скажи своим, что я могу продать им потерю памяти, и не за такие уж большие деньги.

— Не делай этого, Джоси.

— Не делать *чего*?

— Не пресмыкайся.

— Где ты видел, чтобы лихие люди пресмыкались?

— Тогда просто не проявляй себя в недостойном свете.

— Я просто проявляю благоразумие, Луис. Ты хоть раз видел, чтобы я действовал неблагоразумно? Думаешь, у людей в УБН есть какие-то доказательства? Мой адвокат говорит: схватить я могу от силы семерик, и то лишь за наркоту и рэкет. Больше мне ничего пришить не могут.

— Ты многое забываешь с удобством для себя.

— Что, например?

— То, о чем ты до сих пор помалкивал. Ты говорил так: если руками янки тебя сцапают, то ты за собой поволокешь всех. Цитата не совсем точная, но в твоем цветистом стиле. Так вот, *muchacho*: все складывается так, что…

— Ты оглянись вокруг. Вавилон пал? Нет? Что ты вообще думаешь, Луис? Ты в самом деле считаешь, что у них на меня есть управа? После того как они раструбили обо всем в крупной газете, собрали большущую свору репортеров, где распинались, что выиграли войну с наркотиками, глянь, как быстро они на все наплевали, поняв, что на меня нет управы. Устраивают обкидку дерьмом, перекраивая Рональда Рейгана в Джорджа Буша, борются якобы за то, чтобы спасти драгоценных белых девушек от участи черных крэк-блудниц. И смотри, как только я расплевался со всем этим янки-ебаторием, меня тут же сгребли и отправили прямиком обратно в Копенгаген, как будто ничего и не было. Но я, Луис, своих друзей не забываю. Как и тех, кто бросает меня гнить, когда убить меня у них не получилось. Я все запоминаю, Луис. Медельин, мне думается, тоже запомнит.

— А ты уверен, Джозеф, что меня послал как раз

не Медельин?

Как обычно, при взгляде на лицо Джоси ничего разглядеть нельзя. Нужно смотреть на его руки — на то, как у него вот так как сейчас сжимаются кулаки, как напрягаются и слегка сутулятся плечи, как он вдыхает и плавно, носом выдыхает воздух, как сейчас, а спина распрямляется, каменея. Чувствуется, что эти слова угодили куда надо. И вот он выговаривает так тихо, что я чуть ли не прошу его повторить:

— Так тебя послал Медельин?

— Ты же знаешь, сказать тебе я не могу. Но серьезно, Джозеф, все уже не важно. По большому счету. Ты говоришь мне, что можешь от себя сделать, предлагаешь сделку. Но ты ведь знаешь, брат, как делаются дела. Если б сделки были им все еще интересны, они прислали бы сюда кого-нибудь другого. Не меня.

— Ясен месяц.

— Я с ними разговоров не веду, они со мной тоже. Весточек от них я тебе не тараню, равно как и от тебя им. Так уж все устроено. Если Доктор Лав в твоем городке, бро, значит, поделать уже ничего нельзя. И время вышло.

— Эх, надо было мне отсечь тебе руку…

— Может быть. И все же твою маленькую дина-

стию я оставляю в покое. Так, как есть.

— Как я узна́ю, что ты не думаешь убить моего сына?

— Уже никак, Джоси. Но если за ним кто-нибудь явится — не будем себя обманывать, ты ж знаешь, что рано или поздно это произойдет, — то, во всяком случае, это буду не я.

Он смотрит на меня долго и пристально — по всей видимости, обдумывает, хотя лицо совершенно непроницаемое.

— Держи Юби в сторонке от моего мальчика.

— Джоси, твой сынок ему на дух не нужен. Но сообщение я пошлю. И он меня послушается.

— Почему?

— Ты знаешь почему.

— Эй!

— Аюшки?

— Ты как думаешь, наш приятель из ЦРУ так и не выяснил, что я знаю испанский?

— Бог ты мой, Джоси, нашел о чем спрашивать… Нет. Кстати, насчет сынка: он сейчас на искусственном ПМЖ, после того как в Ботсване измителил местную девчонку. А наш Луис Джонсон оказался таким дерьмом, что скомандовал через свой офис местным копам задержать его на четверо суток, вплоть до ордера на освобож-

дение.

— Вот же бомбоклат.

— Человек — лишь муха на стене. Чего мы стоим в этой жизни бренной?

— Ты небось даже глушителя с собой не захватил.

— Никаких стволов.

— Это как же?

— Для Джоси Уэйлса они хотят чего-нибудь повидней.

— Бог ты мой, Доктор Лав, уж не вздумал ли ты разнести тюрягу?

— Признателен за такой размах фантазии. Но бомба тоже исключена. Во-первых, нужно возиться с установкой. А во-вторых, хотя второго мне не дано, это было бы все-таки чрезмерно.

— Какой сегодня день?

— День? Да хрен бы его… Постой. Кажется, двадцать второе. Да, двадцать второе марта.

— Девяносто первого года.

— А когда у тебя, Джозеф, день рождения?

— Шестнадцатого апреля.

— Овен? Ох уж эта мне астрология…

— Ты как думаешь, появятся ли длиннющие некрологи под всеобщий плач, когда обо мне будут снимать фильм?

— Сплю и вижу, дружище.

— Как устранять-то будешь?

— Да ты не переживай.

— И все-таки, как?

Я приближаюсь к решетке и протягиваю руку:

— На. Держи вот это.

— Это что еще за хрень?

— Да бери.

— Пошел ты знаешь куда?

— Джозеф, я тебе говорю: налей водички в кружку и прими эти пилюли, будь они неладны.

— Это что еще за тараканьи какашки?

– *Mijo*, послушай. Мне дали четкую установку, что ты должен принять мучения. Вообще, нарушать инструкции не в моих правилах, но сейчас я их конкретно нарушаю.

— А что, по-быстрому меня завалить никак нельзя?

— Нет.

— И что мне с этих пилюль? Некое волшебство, которое лишит меня страданий?

— Тоже нет. Некое волшебство, от которого тебе все станет по барабану.

— Бог ты мой, Луис. Бог ты мой, бог ты…

— Бро, перестань. Ну что ты как маленький. Сейчас не место. Тем более между нами.

Он берет таблетки и отходит обратно в темноту. Из крана хлещет струя. Слышно, как наполняется кружка, но, как Джоси пьет, отсюда не слыхать. Вот он возвращается, берет матрас и укладывает его обратно на койку. Снова смотрит на меня и неторопливо принимает лежачее положение. Я смотрю, слушаю его размеренное дыхание. Джоси лежит на спине, со скрещенными на груди руками, уставясь в потолок. Хочется ему сказать: «*Mijo*, ну чего ты, ей-богу, улегся, как в гробу?» Но с этим человеком я с семьдесят шестого года уже так наговорился, что больше говорить как бы и не о чем.

— Луис, сколько еще?

— Уже недолго. Ты лучше не молчи. Говори что-нибудь.

— Луис.

— Аюшки, *mijo*?

— Я иногда о нем думаю.

— О ком?

— Да о Певце. О той песне, что вышла уже после его кончины. «*Солдат баффало*». Наводит меня на мысли.

— А вот мне уже пятьдесят два — слишком стар для думанья. Ты жалеешь, что пытался его убить?

— Да нет. Жалею только, что он страдал. Погибнуть от выстрела было б куда легче. Иногда мне думается: то, что роднит таких, как он и я, — это, наверное, обреченность. Что бы мы ни начинали, оно может закончиться только с нашим уходом. Не забывай, что этот человек из гетто обладал незаурядным умом.

— Джозеф, Джозеф… А вот такого, как я, забудут. Вспомни, я ведь как бы и не существую.

— Доктор Лав, а вот мне бы хотелось, чтобы снова был семьдесят шестой год. Нет, лучше — семьдесят восьмой.

— Что уж такого грандиозного было в семьдесят восьмом?

— Да всё, брат. Всё. Ведь мы с тобой…

Для того чтобы он отключился, было достаточно одной таблетки, но я решаю подстраховаться. Стою еще двадцать минут, после чего достаю из кармана ключ и отпираю дверь камеры. Всем известно, что говорится о раненых львах в клетке.

Одиннадцать

— Я поначалу про этих крекеров даже не без удовольствия читал. Мол, надо же, кто-то этих чмошников даже считает за людей, а все эти истории за возврат к «человеческому облику» дадут белому стаду повод лишний раз созвучно помычать. Но затем ты сам все обгадил, когда взялся корчить из себя детектива.

Я в ответ молчу. Даже не смотрю ни на него, ни на Питбуля, ни на запачканный пол. А «Нью-Йоркер» сделался вдруг таким тяжелым, что вот-вот выскользнет из рук.

— Для того, кто не знает, протянет ли он еще десять минут, держишься ты, как говорят белые, нахраписто.

— Похоже, белые вызывают у тебя недюжинный интерес.

— У меня вообще много чего вызывает интерес. Вот, допустим, где у тебя в этой части про убийство номер четыре?

— Ты хочешь, чтобы я ответил?

— Нет, я хочу, чтобы ты сплясал рэп. Откуда тебе знать, чего я хочу? Говори, чего молчишь?

— Ну, начиная с какого-то момента сюжет тре-

бует расширения. Нельзя просто держать рассказ в едином ракурсе, фабуле нужен охват. В вакууме дерьмо не бродит, существуют брызги, круги и последствия. Но даже при этом снаружи существует и вращается целый мир, вне зависимости от того, делаем мы что-то или нет. Иначе это просто сухой отчет: что там-то и там-то случилось то-то и то-то, а этого предостаточно и в любом дежурном выпуске новостей. Скажем, Монифа, перед тем как получить под кайфом пулю, где-то приобрела ту дозу крэка, а тот, кто его ей продал, перекупил крэк из третьих рук. Формируется целая цепочка. А с ней и сюжет.

Со мной на кухне только Юби и Питбуль, остальным, по всей видимости, это занятие наскучило. Питбуль и тот отлучился к холодильнику за соком манго, который, по его словам, оставил мне. Все это время я внушаю себе, что эта мирная с виду сцена не менее опасна, чем десять минут назад, просто обстановка внешне разрядилась. Шайка киллеров освоилась в моем доме, и создается впечатление, будто я в каком-нибудь рэперском видео. Но я прихожу в себя, стоит мне ощутить на себе намокшие трусы. Или с трудом разлепить губы. Или, превозмогая боль, сглотнуть.

— Сначала о том, что было вначале. Вся та

хрень, что ты пишешь о «Шторм-группе», по сути своей придумка. Начать с того, что Шутник из Восьми Проулков и по-прежнему обретается там, так что он к «Шторм-группе» никаким боком. Или вот кто тебе набрехал, что мы зовемся «Шторм-группой» потому, что — как там у тебя — срезаем наших врагов и случайных свидетелей градом пуль? Если так, то нас, по идее, надо звать «Град». А ты хоть от одного из этих людей такое слово слышал? Значит, соврал. Что ты вообще, блин, себе позволяешь? А я вот думал, что слово «Шторм» мы выбрали потому, что слишком уж долго бушует вся эта буча со стрельбой.

— У меня есть источник.

– *Твой* источник.

— Вообще-то ничей.

— Ах, как это благородно с твоей стороны, прикрывать милягу Тристана Филипса. Ты думаешь, он воздает тебе тем же?

— Это он вас на меня навел?

— Не сказать, чтобы у него совсем уж вода в заднице не держалась. Но кто ты такой, чтобы он держал тебя в секрете? Блин, когда у тебя вышла первая часть, двое моих людей, которые раньше держались с «Донами», припомнили, как Тристан рассказывал о тебе и ему было все равно, чьи уши

рядом. Брат, серьезно: тебе не мешало позаботиться о перемене внешности. Стоило тем двоим взглянуть на твое фото, и бац — дело в шляпе. В общем, так мы о тебе разузнали.

— Значит, Тристан меня сдал…

— Единственно, кого Тристан сдал, это сам себя. Он сейчас жесть как припал на крэк. Дурак, язви его, сам себя сжигает. Но такая уж, видно, судьбина у всех, кто в «Иерархии донов». Если б свою нычку с товаром начал пользовать человек из «Шторма», я бы поторопился его прикончить. Хотя Филипса в тюрьме ты, наверное, навещал как минимум несколько лет назад. Чего ж сейчас-то о том писать?

— Я узнал, что Джоси Уэйлс теперь в тюрьме.

— Вот как. И ты думаешь, что он оттуда не может до тебя дотянуться? Или что он такой тупой, что никогда не слышал ни о каком «Нью-Йоркере»?

Я не знаю, что ответить, поэтому просто смотрю на стакан сока, который держит в руке Питбуль, и пытаюсь вспомнить, сколько их он уже опустошил.

— Не волнуйся, брат мой. Ты прав по обоим счетам. Только этот самый Юби совсем другой фрукт. Глянь на обложку журнала: тут и имя мое,

и адресок. Так ты думаешь, если он в тюрьме, то ты в безопасности? Отвечай.

— Да, я так думал.

— Тот, кто так наивно думает, получает пулю в лоб, как самый что ни на есть мазафакер.

Юби подхватывает стул у кухонного стола и подтягивает ко мне. Затем усаживается ко мне лицом настолько близко, что на квадратике его нагрудного кармана различается узор в виде бабочки.

— Это та часть, где ты велишь мне бросить писать или ты что-нибудь со мной учинишь? — спрашиваю я.

— Не терпится узнать, юноша? Острослов ты наш… Или дерзишь напоследок оттого, что тебе нечего терять? Да нет, бро. Мне самому любопытно узнать, во что это все выльется. То есть я-то как раз знаю, но мне нравится, как ты там возишься под полом. А потому вот что: перестань копать вширь и уймись, тогда мне с тобой ничего не придется делать.

— Не понимаю?

Он шлепает меня по лицу «Нью-Йоркером» — чувствительно, но не больно.

— Не прикидывайся пиздоголовым. Ты на сегодня не единственная моя остановка, хотя двум

другим развязка светит куда горчей. Короче, к концу третьей части с темы о крэк-хаусе ты слезаешь. Причина: теряется ямайский след. Типа исписался. И…

— Ты хочешь, чтобы я от нее совсем отошел?

Он шлепает меня еще раз.

— Я хочу, чтобы ты не перебивал, когда я с тобой разговариваю.

— Но ведь ты *этого* хочешь? Хочешь, чтобы я убрал все насчет ямайцев?

— Нет, мой юнош. Совсем наоборот. Про Ямайку можешь по-прежнему городить что хочешь. И про Джоси Уэйлса оставь. Кстати, хочешь, я тебе насчет него кой-чего даже подкину? Да такое, о чем тебе и не снилось… Эта самая Монифа — она даже не единственная беременная, которую он укокошил. Так что оставляй его, оставляй Ямайку, пусть она там у тебя горит синим пламенем — мне дела нет. Но о Нью-Йорке чтобы больше ни гу-гу.

— То есть?

— Ты у себя пробрасываешь про «Шторм-группу» и разные там уличные банды Нью-Йорка. Меня это не устраивает.

— Но ведь «Шторм-группа» действует в Нью-Йорке.

— Парень, ты опять дурака включаешь? Ладно, открою тебе еще кое-что, о чем ты не догадываешься. Никакая банда в том притоне не орудовала. Это все был один Джоси. Один человек с двумя стволами. Джоси Уэйлс в одиночку положил всех на той «точке». Я сам это видел, своими глазами.

— К-как? Это невероятно.

— Ты не знаешь Джоси. Но в одном прав. Он в самом деле посылал предупреждение. Но ни о каком продуманном нападении банды, как ты у себя пишешь, речи не шло.

— Так в чем же тогда состоял месседж? Просто выразить свое… отрицание?

— Блин, да этот малый сплошной анекдот, а? Жаль, что мы с ним не сходимся.

— Ой.

— Слышь, Питбуль? У этого парня чувство юмора чего-то заклинило. Я что, похож на идиота, который стал бы убивать писаку посреди его самозабвенного вранья? Оставив по всей его халупе свои отпечатки? Или я, по-твоему, хочу заделаться очередным Готти?[326]

— Да вроде нет.

— Не вроде, а наверняка.

---

[326] Примечания: 326

Джон Джозеф Готти Младший (1940–2002) — один из самых знаменитых гангстеров Нью-Йорка, босс семьи Гамбино в 1986–1992 гг.

— Так в чем же был месседж?

— А вот в чем: не ссыте на дона Горгона.

— Как-как? Я вправду не понял.

— Этого тебе, белый малый, и не понять. Однако слушай меня. Я не хочу привязки этого человека к какому-нибудь конкретному району. Если федералам и убээнщикам хочется его покарать, пускай карают. Но чтобы никто не заинтересовался мною, в случае если им вздумается начать в Нью-Йорке поиск кротов. В смысле, резидентов. Ты меня понял?

— Серьезно? Но ведь это всего лишь вопрос времени. УБН, может, и нерасторопно, и у него свои раздоры с федералами, но и там, и там не дураки сидят.

— Возможно. Но это произойдет не сегодня. А героем, что меня спалит, быть все равно не тебе.

— Но послушай, ко мне в связи с моей публикацией никакие агенты еще не обращались. Так что беспокоиться тебе не о чем.

— Это потому, что у тебя пока нет ничего, что они могут использовать. Но с этой твоей четвертой частью они могут взяться за дело. Насколько тебе известно, ребята, что заправляли той «точкой», регулярно летали сюда по делам именно с Ямайки. Не в Бостон и не в Канзас-Сити. И не

банды, а конкретные люди.

— Они все равно знают, что ты здесь. То есть в этом городе.

— Но не знают, что я организовал и поставил дело на поток.

— Тогда во всем рассказе образуется дыра.

— Ты об *этой* дыре переживаешь? Я б на твоем месте беспокоился о другой. Я не говорю тебе, как писать, босс. Но напоминаю: твоя история — о людях, которых замочили. Вот и пиши о людях, которых замочили.

— Те убийства, сэр, не в вакууме произошли.

— Мне нравится: ты все еще тешишь себя мыслью, что у нас идет торг. Но я бы этого не сказал. В общем, так: вывешивай Джоси Уэйлса на всех твоих прищепках, суши и жарь его, как хочешь. Но все остальное чтобы вымарал. Под одним прожектором с мистером Уэйлсом я светиться не желаю, понял?

— То есть технически ты меня шантажируешь?

— Да нет, брателла. Технически я оставляю тебя в живых. Ты ведь пишешь краткую историю семи убийств? Ну, так у тебя есть еще четыре, о которых можно написать.

— Понятно. А если…

— А вот если про «если», то не делай это частью истории, где ты задаешь вопрос: «Что, если я откажусь?» Терпение у меня на исходе, да и Питбуль вон без работы притомился.

Юби встает и отходит к Питбулю. О чем они там перешептываются, неизвестно, но сразу после этого тот уходит. Через несколько секунд внизу открывается и захлопывается входная дверь. Юби возвращается и усаживается еще ближе. Одеколон «Кул уотер». Да, точно, я как-то сразу не распознал. На этот раз Юби придвигается и заговаривает чуть ли не шепотом, с легкой сипотцой:

— Я вот все думаю: если за тобой шел Тони Паваротти, значит, кто-то ведь за тобой его послал. Это мог быть только Папа Ло или Джоси Уэйлс. Но Папа Ло был до самой смертушки верен своему замирению; значит, остается Джоси, тут и гадать нечего. Так отчего же Джоси хотел тебя убить?

— Ты в самом деле думаешь, что я отвечу?

— Да. Я в самом деле думаю, что ты ответишь.

— Что это? Пидерсия типа «мне один хрен помирать, так что исповедаюсь напоследок»?

– *Пидерсия*? Бро, мне нравится, как ты все еще вворачиваешь ямайские словечки. Не забыл, стало быть… Насчет твоего убийства скажу: зачем

мне это сейчас, когда я все свои пожелания уже четко обозначил? Кстати, Джоси Уэйлс теперь тоже долго ни к кому не притронется, и уж во всяком случае к тебе.

— Это он тебе обо мне рассказал?

— Да не то чтобы. Имени твоего он не помнил, просто, говорит, кто-то вроде тебя подлез, какой-то белый паренек от «Роллинг стоун», и очень уж въедливо расспрашивал про наркоту, так что Джоси послал Паваротти его подровнять. Ну а потом шли годы, а никто из белых при всем своем уме так ничего и не раскрыл насчет дилерской сети. Ну и понятно, раз ты убил его лучшего человека, то зачем рисковать еще одним. К тому же ты сразу после этого сделал ноги. А теперь вот Джоси Уэйлс в тюряге, и живым ему оттуда не выйти. А я хочу узнать, что же ты такого тогда нарыл, что он попытался убить тебя — белого, да еще из Америки… И когда — в семьдесят девятом году! Это, знаешь, со стороны Джоси был форменный беспредел по всем статьям.

— Но сам-то ты из «Шторм-группы». Ты на него, часом, не работаешь?

— Я? Да как у тебя язык поворачивается! Я вообще ни на кого не работаю. И уж подавно на какую-то там крысу из кингстонского гетто. Этот

мазафакер даже книжки-раскраски прочесть не сумеет, даром что мнит себя умником. Но учти, белый малый: в третий раз я спрашивать не буду.

— Гм. Я… я только через несколько лет допер, что того парня послал он. На Ямайке тогда столько всего творилось, столько кипело разного дерьма, что это мог организовать кто угодно, даже гребаное правительство. Тот парень заставил меня понять… Бли-ин! Не знаю, зачем ты меня об этом пытаешь. Ты ведь с ним работаешь, так что, наверное, сам все уже знаешь. Может, ты эту хрень сам с ним и затевал.

— Какую хрень? Какую именно?

— Да насчет Певца. Чтобы его убить. Это же он в него стрелял, в Певца.

– *Что* ты такое сказал?!

Не успеваю я что-либо ответить, как он вскакивает и начинает вокруг меня кружить.

— Что ты щас такое сказал, мазафакер?

— Ничего. Что это он в семьдесят шестом году стрелял в Певца.

— В смысле, он был в той банде? Босс, да даже *я* думал, что это были делишки отморозков из Джунглей. Хотя я никак не ожидал, что…

— Еще раз говорю: выстрел сделал именно он. Точнее, выстрелы.

— Откуда, блин, ты это знаешь?

— Я у Певца через несколько месяцев брал интервью. Всем известно, что ему попали в грудь и в руку, верно? Ведь так?

— Так.

— А на тот момент лишь трое были в курсе, что, сделай он в тот момент вдох вместо выдоха, пуля угодила бы ему прямо в сердце. И были эти трое хирург, сам Певец и я.

— И что?

— Я отправился в Копенгаген, взять интервью у «Донов» насчет того перемирия семьдесят девятого года. И когда разговаривал с Уэйлсом, то невзначай всплыла тема насчет Певца. Он сказал, что по чистой случайности Певец получил ранение в грудь, а не в сердце. Что пуля впилась на какие-то полдюйма сбоку. Этого он тогда знать не мог, если только сам не был доктором, Певцом, мной или…

— Стрелком.

— Именно.

— Бомбоклат. Бомбоклат, юнош ты мой! Я и не знал…

— Теперь уже *ты* меня ввергаешь в оторопь. Я-то думал, об этом знают все, кто был связан с Уэйлсом.

— Кто тебе сказал, что я связан с Уэйлсом? Когда я налаживал бизнес в Бронксе, где был этот твой Уэйлс? А то ты не знаешь, что я все время считал: за всем этим стоял кто-то другой!

— И кто же?

— Забавно: он единственный, который, насколько мне известно, до сих пор жив.

— Уэйлс, что ли?

— Нет, не он.

— Что ты имеешь в виду…

— А тебе известно, мистер Пирс, что Певец одного из тех ребят простил? Да не только простил, а еще взял с собой в турне и ввел как брата в свой ближний круг…

— Да ты что, серьезно? — Градус моего расположения к этому человеку идет резко вверх. — Черт. Что же с ним сталось?

— Исчез. Пропал сразу вслед за смертью Певца. Понимал, что вся эта мудота скверно пахнет.

— Вот так взял и ни с того ни с сего исчез?

— Ни с того ни с сего, Пирс, никто не исчезает.

— У меня есть одни знакомые чилийцы, с которыми я могу тебя познакомить.

— Что?

— Ничего.

— Ты, что ли, с немецким в ладах?

— Да слушал одно время краут-рок[327]… А так — нет.

— Жаль. Такая тема для рассказа… Все люди, что окружали Певца, погибли — кроме одного.

— Но ведь Джоси Уэйлс не…

— Единственный, кто мог остаться в живых, исчез в восемьдесят первом году, и никто не знает куда. Один я знаю.

— И куда же?

— Да тебе по барабану.

— Почему, очень даже интересно. Правда. Так где он?

— Да я же вижу, тебе не интересно.

— А я говорю, да. Откуда ты знаешь, интересно мне или нет?

— Если интересно, то дознавайся сам. Хотя лучше не напрягайся. Тема для тебя, наверное, неподъемная. Может, когда-нибудь кто-то этим и займется.

— Ну, как скажешь.

— А ты возвращайся к своей «Краткой истории семи убийств».

Я чуть не говорю «спасибо», но вовремя спо-

---

[327] Примечания: 327

Краут-рок — направление экспериментальной и психоделической рок-музыки, возникшее в конце 1960-х — начале 1970-х гг. в Западной Германии.

хватываюсь, что с таким же успехом можно благодарить налетчика за то, что он не убил тебя, а только пограбил. Сидеть болванчиком на табурете донельзя утомительно, но я не встаю. А, все равно. Достало. Меня подмывает спросить: если я напишу все то дерьмо, означает ли это, что Юби избавит меня от удовольствия увидеться с ним снова? Впрочем, ямайцы, насколько мне помнится, редко понимают сарказм, и кто знает, не таков ли сейчас расклад, что твои слова могут быть истолкованы как враждебность. Лучше обо всем этом дерьме не думать (ну и денек выдался, сюрреализм какой-то). Тут на кухне снова появляется Питбуль, и они с Юби вблизи меня переговариваются о чем-то, для моих ушей явно не предназначенном.

— И еще одно, белый малый, — оборачивается ко мне Юби.

В руке у него ствол. С глушителем. В руке. Ствол. С глушителем. Он…

— Аааааааааааааа!!! Бллля гребаный ты в ррот!! В ррот гребаный бляааа! О боже. Оооо боже. Охххххренеть. Оххх…

— Вот и я о том. Не сквернословь, пожалуйста, уши вянут.

— Да ты ж в меня шмальнул! Подстрелил меня,

бли-ин!!

Из ступни вольно хлещет кровь, как будто меня только что пригвоздили. Я хватаюсь за ногу и понимаю, что ору, но не сознаю, что слетел с табурета и катаюсь по полу, пока Юби не хватает меня и не притыкает мне к шее ствол.

— А ну, заткнись, язви тебя, — командует Питбуль и хватает меня за волосы. — Заткнись, козлина!

— Вы меня, бля, подстрелили! Он меня, бля, подстрелил!

— Ну, подстрелил, и что? Небо синее, вода мокрая…

— О-о боже! О боже ты мой!

— Смешно, ей-богу. Все подстреленные меж собой будто сговариваются орать одно и то же. Может, у них какое-то руководство, специально на такой случай?

— Да пошел ты…

— Уже иду. Ты только не плачь, дитятко. У нас на Ямайке двенадцатилеток знаешь как стреляют? Но они так не орут, как в жопу раненные.

— О боже…

Ступня у меня буквально вопит, а он нагибается и баюкает меня, как дебила-переростка.

— Надо набрать «девять один один». Мне в

больницу надо!

— Ну да. А еще бабу, чтоб все это за тобой подтерла.

— О боже…

— Послушай, белый малый. Это тебе в назидание. Мы тут с тобой так душевно сидели, что ты, вероятно, забыл: с этими мазафакерами лучше не факаться, ты понял? Джоси Уэйлс — самый двинутый сучий сын из всех, каких я только встречал по жизни, и я прибить его готов. Так что ты представляешь, чего мне все это стоило?

— Я не…

— Опездол, это риторический вопрос.

Юби наклоняется и трогает мою ступню. Потирает мне носок вокруг пулевого отверстия, а затем неожиданно тычет туда пальцем. Я вздрагиваю всем телом и ору в ладонь Питбуля, шлепком заткнувшую мне рот.

— Учитывая то, как мне понравились наши посиделки и мою большую любовь к «Нью-Йоркеру», подписчиком которого я являюсь, избавь меня от необходимости приходить сюда снова. Ты меня понял?

Он водит рукой мне по плечу, а я исхожу на ор. Даже не на плач, а именно на крик.

— Так понял или нет? — повторяет он, снова

трогая мне ступню.

— Да понял, понял! — со слезами злости ору я. — Все я, черт возьми, понял!

— Ну и славно. «Славно, когда вставляют справно», как любит приговаривать моя бабенка.

Питбуль хватает меня за плечи и заваливает на диван.

— Смотри, сейчас зажгет, как сучара, — лаконично предупреждает он, прежде чем сдернуть с меня носки. Я стискиваю зубы, чтобы удержать в горле вопль. Он откидывает носки в сторону, сбивает комом кухонное полотенце и кладет на мою ступню сверху. Я не осмеливаюсь даже взглянуть. Питбуль исчезает из виду, а Юби берет мою телефонную трубку:

— С нашим уходом вызывай «девять один один».

— Какого хе… как, мля… у меня ж в ноге пуля, как мне объяснить… пулю в ноге?

— Ты же писатель, Александр Пирс. — Я успеваю прикрыть ладонями муди, и трубка, шлепаясь, ударяет меня сверху по костяшкам. — Придумай что-нибудь.

Двенадцать

Всякий раз, проходя мимо метро на автобус, я забываю, что автобус на порядок медлительней. Цена за клаустрофобию, которая охватывает меня под землей. По крайней мере, я бодрствую. На прошлой неделе я проспала семь лишних остановок, а проснулась под взглядом сидящего напротив мужчины, прикидывающего, судя по виду, за какое место меня тронуть, чтобы разбудить. Сегодня мужчин в автобусе не видно. Пуст и Истчестер: должно быть, где-то продувает матч ямайская футбольная команда. Вот, наверное, еще одно косвенное подтверждение тому, что в душе я еще та сучка. Хотя что я; если копнуть, то и любой другой обыватель в душе такой же скрытый грубиян, скабрезник и расист, так что нечего заниматься самобичеванием. Сейчас домой, сварганить «нудлс» и плюхнуться на тахту, пяля глаза на «Самое смешное видео Америки»[328] или еще какую-нибудь телемишуру. Вообще о чем-то связанном с Ямайкой лучше не думать.

[328] Примечания: 328

«Самое смешное видео Америки» — коллекция забавных случаев из жизни американцев, запечатленных на домашнюю камеру.

Может, лучше докинуть «Ксанакса». Чувствую я себя вполне даже сносно, просто внутри, бывает, может назревать не только простуда.

Вот уже и Корса. А еды-то дома нет. Последнюю лапшу я доела два дня назад; всю китайскую дребедень повыбрасывала сегодня утром, а наггетсы, наверное, купила зря, хотя они и свежие. Окно перед уходом я, кажется, оставила приоткрытым, хотя на улице март. Н-да, а из еды-то дома действительно шаром покати. Плестись на Бостон-роуд ужас как не хочется, хотя заранее знаю: придется. Наверное, посижу дома, погляжу телик, пока окончательно не проголодаюсь, а там — деваться некуда — потопаю за продуктами.

Сейчас я иду вниз по Корсе, лелея дурашливую надежду, что со мной случится что-нибудь эдакое, какой-нибудь забавный казус в духе Мэри Тайлер Мур. Мысль откровенно вздорная. Почему именно со мной, когда на улице и так полно людей? Но уж такая, какая есть. Вот что бывает, когда жизнь твоя сплошь состоит из работы, телика и жрачки навынос. Черт возьми, я совсем уж уподобилась американкам. Да ну вас всех, с вашим укладом. Не знаю. Знаю только, что если б я заглотила «ксанашку», то думки уже не так меня донимали бы. Мне импонирует мысль, что все в моем до-

ме, от полотенец единого цвета до кофеварки с единственной кнопкой, призваны упрощать мою жизнь, хотя понятно, что на самом деле их предназначение — не заставлять меня задумываться лишнего. Представьте: моя мать всегда считала, что я никогда не сумею ни устроиться в жизни, ни обустроить свой быт.

«*Бостон Джерк Чикен: Ямайская кухня с пылу с жару*». Два ряда закутков из оранжевого пластика, в каждом на столике кетчуп, соль и перец. Может, поесть здесь? Мысль мелькает и тотчас проходит. На прилавке рядом с кассовым аппаратом ноздреватые пирожные в корзинке, эдакие сельские мотивы. Мне выезжать на село никогда не нравилось: слишком много таких вот стряпендюшек и сортирных будок. А вот рядом блюдо с чем-то вроде картофельного пудинга. Картофельного пудинга я не ела с семьдесят девятого года — да нет, пожалуй что и дольше. Чем больше я на него смотрю, тем больше хочу, и тем явственней ощущение, что на самом-то деле мне хочется чего-то другого, более глубокого. На самом деле мне хочется вкусить Ямайки, а это уже что-то из области белиберды с подсознанием. Забавней думать, что я хочу во рту чего-то истинно ямайского, но чтобы это был не пенис. Чертова

развратница (нет-нет, лучше на ямайский манер: «грязнуля-черножопка»).

Отчего-то я чувствую в себе желание болтать на родном говоре ночь напролет, и не потому, что нынче толклась рядом с той женщиной и ее мужем-ганменом. А скорее потому, что вижу перед собой эти ноздреватые кокосовые пирожные, и у меня появляется соблазн спросить, а нет ли в этом заведении еще и дукуну, ашама или острой кукурузы[329].

— Что-нибудь подать, мэм? — с некоторым опозданием окликают меня.

Я даже не заметила сидящего за прилавком человека, а затем поняла, почему и он отреагировал на меня не сразу. Рядом с ним на пластиковом стуле стоит маленький черно-белый телик, по которому показывают крикет.

— Вест-Индия против Индии, — поясняет он. — Понятное дело, опять просираем вчистую. Срамцы.

Я киваю. К крикету я всегда была равнодушна. У мужчины темная кожа, круглое пузо меж мускулистых рук и седая бородка клинышком. Это, пожалуй, первый ямаец-мужчина, с которым я

---

[329] Примечания: 329
Пищевые ингредиенты, характерные для блюд ямайской кухни.

разговариваю за несколько недель. Брови приподняты — похоже, я его притомляю уже самим своим появлением.

— Можно мне печеного цыпленка — именно печеного, а не жареного? А к нему рис с горошком, если есть рис и горошек, а еще можно жареный банан, нашинкованный салат, ну и…

— Йоу, мэм, давайте не так быстро. Еда ведь никуда не сбежит.

Он смеется — вернее, щерится улыбкой, ну и пусть (честно сказать, я не припомню, когда последний раз вызывала смех у мужчины).

— Только чтобы банан был спелый — у вас есть?

— Есть, мэм.

— В какой стадии?

— В достаточной.

— Правда?

— Леди, да вы не волнуйтесь, все обеспечим. Бананчик на языке таять будет.

Я сдерживаюсь, чтобы не сказать: «Вы так аппетитно описываете, что слюнки текут», и вслух говорю:

— Мне тройную порцию.

— Тройную?

— Да, тройную. И еще: у вас есть бычьи хвосты

и козлятина с кэрри?

— Бычьи хвосты у нас по выходным. А вот козлятина, увы, как раз перед вами закончилась.

— Ничего, цыпленок тоже хорошо. Если можно, бедро и голень.

— А пить что будете?

— Тут у вас в меню соррел[330] указан — он у вас есть?

— Да, мэм.

— А я думала, соррел бывает только в Рождество.

— Да бросьте вы. Вы же тут, наверное, не первый год? У нас в ассортименте все, что только бывает на Ямайке.

— А вкус приятный?

— Да не жаловались.

— Тогда давайте один.

Я рассчитываюсь и несу еду к столику. Вообще-то тащить домой доги-бэг мне не хочется. Но отчего-то глянется идея расположиться в этом ресторанчике и угоститься печеным цыпленком под возбужденную скороговорку крикетного телекомментатора. В закутке как раз напротив на столике выложены ямайские «Глинер» и «Стар».

---

[330] Примечания: 330

Соррел — традиционный рождественский напиток Ямайки.

А еще «Джамайка обсервер», о котором я раньше никогда не слышала. Мужчина за прилавком включает большой экран под потолком, и первое, что на нем возникает, это, разумеется, крикет.

— «Джей Би Си»?[331] — интересуюсь я.

— Не-а. Какая-то карибская байда вроде Тринидада — ишь как нараспев говорят. Это с их подачи на Ямайке нынче карнавал.

— Карнавал? Неужто под сока?[332]

— Угу.

— С каких это пор ямайцы запали на сока?

— А как богатеньким втемяшилось гарцевать у всех на виду в трусах да лифчиках. Вы что, о карнавале не слышали?

— Нет.

— Значит, и родину не навещаете. Или у вас нет семьи на родных камнях. Вы хоть газеты читаете?

— Не читаю.

— Бежите от памяти, стало быть…

— Что?

---

[331] Примечания: 331

Телевещательная корпорация Ямайки.

[332] Примечания: 332

Сока — танцевальная музыка Карибских островов; как жанр оформилась в конце 1970-х гг. на о. Тринидад и Тобаго; посвящена карнавалам на исходе зимы.

— Да это я так, мэм, к слову. Надеюсь, вы хоть деток своих растите как ямайцев, а не как этих американосовских оболтусов.

— У меня не… Да-да, конечно.

— Вот и славно. Как там в Библии: «Наставь чадо в начале пути его, и…»[333]

А я уже вычисляю. Сижу в мелком ямайском ресторанчике и вычисляю, что за мужлан вещает мне тут бабушкину мудрость. Но, черт возьми, цыпленок-то действительно отменный: прожаренный, снаружи с хрусткой золотистой корочкой, а внутри мягкий и упруго-сочный, будто его сначала обжарили, а затем пропекли. И рис с горохом как один цельный гарнир, а не кеся-меся, что получается из магазинной заморозки. Справившись с блюдом на треть (жареный бананчик — сплошное объедение), я уже в шаге от того, чтобы причаститься моим любимым рождественским — «домашним», как указано в меню, — соррелом (или его искусственной, возможно, слегка токсичной версией).

— Бомбоклат. Разъязви его…

Таких слов, произносимых кем-то помимо меня, я уж и не помню.

---

[333] Примечания: 333

«Наставь юношу при начале пути его: он не уклонится от него, когда и состарится» (Прит. 22:6).

— Бом-бо-клат…

— Что? Что такое?

— Да вы гляньте, мэм. Вот это да-а…

На экране мутное, слегка расплывчатое видео ямайской толпы — возможно, те же кадры, которые вставляют все кому не лень, когда нужно состряпать репортаж о событиях на Ямайке. Все те же темнокожие мужчины в майках-«сеточках»; те же снующие туда-сюда женщины, те же невнятные плакаты из картона, накорябанные людьми, что и писать едва умеют. Тот же армейский джип, то выныривающий, то заныривающий в кадр. Как будто и впрямь что-то серьезное.

— Бомбоклат, ептыть…

Я собираюсь спросить, что уж тут такого особенного, когда взгляд у меня падает на бегущую внизу экрана строку:

«ДЖОСИ УЭЙЛС НАЙДЕН СОЖЖЕННЫМ
В ТЮРЕМНОЙ КАМЕРЕ»

Мужчина прибавляет громкость, но никакой ясности это не вносит. Во весь экран фото: голый пол, на полу голый мужчина, от пояса и выше. Кожа глянцевито поблескивает, словно оплавленная; грудь и бока местами обуглены,

а местами, наоборот, белые, там, где плоть отслаивается ломтями, как у поданного из печи молочного поросенка. Картина тоже расплывчатая, толком не разглядеть.

— В Копенгагене сейчас, должно быть, адище кромешный. И это почти день в день как схоронили его сына? Боже милостивый…

А строка на экране все бежит и бежит: «ДЖОСИ УЭЙЛС НАЙДЕН СОЖЖЕННЫМ В ТЮРЕМНОЙ КАМЕРЕ * ДЖОСИ УЭЙЛС НАЙДЕН СОЖЖЕННЫМ В ТЮРЕМНОЙ КАМЕРЕ * ДЖОСИ УЭЙЛС НАЙДЕН СОЖЖЕННЫМ В ТЮРЕМНОЙ КАМЕРЕ * ДЖОСИ УЭЙЛС НАЙДЕН СОЖЖЕННЫМ В ТЮРЕМНОЙ КАМЕРЕ * ДЖОСИ УЭЙЛС…»

— Следов взлома нет, внутрь никого не пускают; как он зажегся, никто сказать не может. Может, сам себя как-то подпалил? Бес его знает. Хотя мне не верится…

— А это точно он?

— Ну а кто ж еще? Второго такого, с именем Джоси Уэйлс, в центральном блоке быть не могло. Вот же черт… Мать его ети. Извините, мэм, надо отлучиться, кой-кому звякнуть. Так что… Леди, с вами все в порядке?

Я на непослушных ногах лечу к двери и успеваю выскочить ровно в тот момент, как изо рта у меня

струей бьет рвота и обдает тротуар. Кто-то через улицу, должно быть, видит, как из меня в такт безудержным рвотным спазмам по кусочкам выпархивает цыпленок. Наружу никто не выходит, хотя вход в заведение я конкретно испакостила. Стоять прямо не получается: желудок своими сокращениями заставляет меня сгибаться, хотя и рвоты уже нет, гнусь и мучительно, по-кошачьи надсадно, взвываю впустую. О, мужчина за прилавком, будь ко мне милосерден. Я возвращаюсь внутрь, молча подхватываю сумочку и выхожу.

Я на тахте перед включенным телевизором — два часа минуло, а что шло, убей не помню. Человека в жареном виде я прежде, пожалуй, не видела. Особенно крупным планом. Надо бы купить на тахту покрывало или плед. А еще не мешало бы картину для гостиной. И хорошее растение — живое, не искусственное, — только б не погибло при такой горе-хозяйке, как я. На коленях у меня уже несколько минут стоит телефон. Когда на экране начинают идти титры, он оглушает меня своим трезвоном.

— Алло?

— Мэм, соединяю с вызываемым абонентом.

— Да-да, спасибо.

Руки у меня дрожат так отчаянно, что трубка

побрякивает о серьгу.

— Алло? Алло? Кто говорит? Я слушаю! Говорите, ну!

Руки дрожат. И я знаю: если сейчас ничего не скажу, то на следующем возгласе брошу трубку.

— Кимми?..

От автора

Еще до того, как я понял, что тяну на роман, предварительными исследованиями для него уже занимался Колин Уильямс. Часть этой нелегкой работы фигурирует в данной книге, а другая, я рассчитываю, появится в следующей. К той поре, как эстафету в исследовании подхватил Бенджамин Войт, у меня уже сложилась канва повествования и даже появилось несколько страниц, но в роман это еще ни в коей мере не вызрело. Дело в том, что я никак не мог определиться, о ком же именно эта история, кому она принадлежит и от кого исходит. Набросок за наброском, страница за страницей, персонаж за персонажем — а все еще не было ни выверенной линии, ни четко построенного сюжета, вообще ничего. И вот однажды воскресным вечером, в уютном ресторанчике Сент-Пола, Рэйчел Перлметер за ужином спросила, а нужно ли вообще, чтобы этот роман был об одном человеке? А также давно ли я перечитывал «Когда я умирала» Уильяма Фолкнера? За дословность не ручаюсь, но в беседе мы затронули еще и Маргерит Дюрас, что подвигло

меня прочесть ее роман «Любовник». И все это время передо мною незримо присутствовала моя книга — ее наполовину и полностью сформированные персонажи, разноплановые сцены, сотни страниц, нуждающихся в выстраивании и доработке. Роман, готовый зажить велением одного лишь голоса. Во всяком случае, на этом этапе я уже знал, что сказать двум другим моим помощникам, Кеннету Барретту и Джисону Чою, куда им направить свой поиск. Одновременно с тем, благодаря гранту на путешествия и исследования от Колледжа Макалестер, где я преподаю, я и сам мог осуществлять изрядный объем работы. Скажу откровенно: если б на пятки мне все то время не наступали мои замечательные, с творческой жилкой студенты, а в спину не подталкивала крепкая и дружеская рука кафедры английского языка, то четыре года, потраченных на роман, едва ли оказались бы столь успешны и отрадны. Не помешал и годичный творческий отпуск. Изрядную его часть я провел за писанием во французском кафе на Саут-Бич (Майами), во многом благодаря гостеприимству и бесплатному пансиону Тома Боррапа и Гарри Уотерса-мл., которые (тьфу-тьфу-тьфу) еще могут выставить мне счет, несмотря на мою изощренность в придумывании

причин, почему я все время гощу непременно у них. Фактически черновик, который я в итоге предоставил своему замечательному агенту Эллен Левин и великолепному редактору Джейку Морриси, был написан неподалеку от того самого пляжа. А до них, безусловно, был Роберт Маклин, мой первый читчик черновика и по-прежнему единственный, кому я доверяю вычитывать свои рукописи еще в процессе их написания (даром что он порой недоумевает зачем). Мой несравненный читчик итогового черновика Джеффри Беннетт, отсмотрев рукопись еще на раз буквально построчно, отправился с нею в издательство, где, помимо прочего, внес правку в мое, мягко говоря, неверное описание маршрута езды из аэропорта им. Кеннеди в Бронкс. А благодаря Марте Диктон моя небрежная англоязычная версия мексиканского испанского была преобразована в кубинский испанский, что совсем не одно и то же. Писателю свойственно днями отвлекаться и изводить себя самокопанием, так что спасибо Ингрид Райли и Кейси Джаррин за непоколебимую дружбу, поддержку, а иногда и вдохновляющие пинки под зад. Благодарю мою семью и друзей, а маме, думается мне, надо отвлечься от четвертой части данной книги.